ХАЧИМ ТЕУНОВ

избранное

ХАЧИМ ТЕУНОВ

избранное

●

Авторизованный
перевод с кабардинского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

С (Кав)
Т 37

Вступительная статья
НАФИ ДЖУСОЙТЫ

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

Т $\frac{70303-108}{028(01)-76}$ 121-76

ГЛАВНАЯ ПЕСНЬ — ПЕСНЬ О ЖИЗНИ

Хачим Исхакович Теунов — типичный представитель советской горской интеллигенции первого поколения. Он совмещает широкую историко-литературную и историко-этнографическую образованность с точным знанием психологии, повседневных забот, нравственных устоев, быта и живой, многокрасочной речи родного народа. Мягкий и неизменно доброжелательный в общении с людьми, он производит впечатление доброго школьного наставника. И если внимательно присмотреться к его облику, к испытующему взгляду серых глаз за толстыми стеклами очков, можно заметить, что за внешней мягкостью и корректностью таится «одна, но пламенная страсть» — горячая любовь к родному народу, к его истории и культурному наследию, к его современному жизнетворчеству и былым подвигам в борьбе за человеческое достоинство и свободу. Тесное общение с ним убеждает, что в нем своеобразно сошлись филолог, этнограф и историк, профессиональный пропагандист и народный певец, больше жизни дорожащий человеческим достоинством и правдивостью песенного слова. Эти же черты личности писателя ярко и неизменно проявляются и в его многогранном творчестве.

Хачим Исхакович Теунов родился в семье крестьянина села Арик Терского района в 1912 году. Первоначальное образование получил в интернате Мало-Кабардинской окружной сельскохозяйственной школы. Затем, в 1932 году, окончил Московский литературный рабфак им. А. М. Горького. Вслед за этим прошел всестороннюю журналистскую подготовку на курсах редакторов газет при Московском институте журналистики и долгое время работал в прессе родной республики. Работе в редакциях газет писатель отдал почти десять лет своей жизни, пройдя за это время путь от литературного сотрудника до главного редактора областных газет. Опыт газетной публицистики до сих пор плодотворно сказывается на его творчестве: Теунов легко переходит от многопланового романа к публицистическому повествованию о родном крае, о свершениях народа за годы социалистического преобразования всего уклада его жизни.

Молодой Теунов был и комсомольским вожаком Кабардино-Балкарии, руководил и комитетом радиофикации и радиовещания в родной республике, был штатным лектором Обкома партии, но больше всего

любил литературу. В 1945 году был избран председателем правления союза писателей Кабардино-Балкарии.

Писательскую организацию Кабардино-Балкарии Теунов возглавлял в 1945—1951 годы и многое сделал для роста национальной литературы, для воспитания молодых литераторов, для поднятия авторитета художественного творчества. Слабость зрения заставила его оставить службу и всецело посвятить себя литературе. С 1951 года Теунов занят исключительно литературной работой. Правда, творческую деятельность в 1950-е годы он совмещал с учебой в Кабардино-Балкарском университете и на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А. М. Горького в Москве.

Хачим Теунов сделал многое и как общественный деятель, и как писатель. И за свои бесспорные заслуги награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями. Но самой большой наградой для него, конечно, является народное признание его художнического труда, которое выразилось и в том, что за роман «Род Шогемоковых» он одним из первых удостоен звания лауреата республиканской литературной премии.

Хачим Теунов — один из создателей кабардинской прозы. Прозаические произведения на русском языке писали многие кабардинские писатели еще в XIX веке, но до создания национальной прозы тогда было еще далеко. Кабардинский народ, по существу, до Октябрьской революции оставался бесписьменным. И создать новую традицию в художественном развитии родного народа было делом не только почетным, но и трудным — об этом свидетельствует творчество первого поколения советских кабардинских писателей. Вместе с Али Шогенцуковым, Дж. Налоевым, С. Кожаевым Хачим Теунов создавал в 30-е годы первые образцы кабардинской художественной прозы — свои первые очерки, рассказы, знаменитую повесть «Аслан», опубликованную в самом конце десятилетия.

Газетчик и по образованию и по опыту работы, Хачим Теунов много писал как репортер, публицист и очеркист. Но его талант ярче всего проявлялся в жанре художественного очерка. Здесь он научился прежде всего откликаться на самые важные темы и проблемы быстротекущей, стремительно меняющейся действительности. Очерк привил ему живой интерес к конкретной человеческой судьбе и индивидуальности, умение в отдельной судьбе видеть судьбу народную. Знакомство с повседневными делами, свершениями и заботами родного края дало писателю широту кругозора, детальное знание жизни народа, его мироощущения. Газете обязан писатель и такой ярко выраженной чертой своего творчества, как активная публицистичность.

И все же писательскую судьбу Теунова определила не публицистика, а повесть «Аслан», в которой крупно и отчетливо видны ведущие черты его художнической индивидуальности.

В молодых советских литературах в 20 и 30-е годы стало устойчивой традицией контрастное противопоставление явлений социалистической нови дореволюционной действительности. На этом контрасте ярко и выразительно выявлялись все преимущества нового. Правда, порой контраст в про-

изведениях приобретал черты заданной публицистической схемы и не вызывал в душе читателя ожидаемого эмоционального отклика. Хачим Теунов избежал этой опасности. В его повести художественно исследуется конкретная судьба бедного крестьянина в условиях дореволюционной Кабарды. И характер главного героя, и тревоги его многотрудного бытия, мечты и наивные упования его рисуются писателем живо, реалистично, с большой, искренней симпатией, с точным знанием эмоционального мира крестьянина, его разума и предрассудков, его реакции на бесконечную вереницу несправедливостей и бед. Это наполнило повесть множеством живых деталей, реальным содержанием социальной действительности и быта кабардинского крестьянства в предреволюционные годы. Схема была преодолена, вытеснена полнокровным реалистическим изображением судьбы и характера бедного одинокого крестьянина, чье сознание подавлено религиозными предрассудками, чья воля скована несправедливостью, ставшей законом повседневной жизни, чье доброе сердце и чувство человеческого достоинства унижены людским пренебрежением, одиночеством, покорностью силе окружающего зла.

Повесть об Аслане — это рассказ о том, как добрый и наивный человек, вечный труженик высвобождается из плена авторитарного мышления, религиозных предрассудков, прежде всего мусульманского фатализма,— все совершается по воле аллаха, а эта воля неоспорима и неминуема. И еще: в повести выпрямление души Аслана показывается как раскрытие внутренней духовной красоты этой недюжинной личности, как перерастание его социальных инстинктов в начальные формы классового самосознания.

Аслан — по прозвищу «Мишаж», медведь,— действительно напоминает косматого обитателя лесов: дремучее сознание, одиночество, страшная физическая сила и наивное, доброе сердце. Он, как беспомощный ребенок, покорен судьбе, адату, фатализму мусульманского вероучения.

В своем одиночестве он тоскует по теплу очага, по простому человеческому участию. И как будто такая возможность обрести тихий уют и дружбу близкого человека начинает маячить на горизонте его несчастного бытия: он влюбляется в бедную вдову Нисаф, всей душой тянется к малолетним детям, уверен, что в силах отвести от этой семьи беду сиротства и беззащитности. Но княжеский приспешник, объездчик Ибрагим, своим диким поступком разрушил все надежды бедного Мишажа.

Все свои несчастья Аслан объясняет собственной греховностью: «Аллах больше не мог терпеть мои грехи. Вот и послал он злобного пса — Ибрагима...» Такая покорность воле аллаха приводит Аслана к мулле, к реальному исполнителю и истолкователю воли аллаха на земле, и мечеть указывает Аслану путь к преступленью: во искупленье своих «грехов» он должен пролить кровь гяура, иноверца. Аслан покорен и этому велению эфенди, настолько неразвито его самосознанье. Но при исполнении предписания муллы Аслан приходит в ужас — он чуть было не убил невинного человека, своего друга, русского печника Михаила. Это было тяжкое испытание для Аслана — рухнула последняя его опора, его наивное упование на божью справедливость. Скорее своим добрым сердцем, чем умом, он понял, что и у бога нельзя найти справедливости. Это ожесточило его больше, чем все предыдущие несчастья. Обманутый богом, он иначе стал

смотреть и на несправедливость людского общежития. Отчаяние посетило его душу, и он наконец вырвался из тенет покорства не только предписаниям веры, но и авторитету князей и чиновных властей. С особенной силой почувствовал он унижение своего человеческого достоинства в системе сложившихся отношений и взорвался, дал выход накопившейся с малолетства ненависти к хозяевам жизни — поднял руку на князя и его приспешников, на их ложный авторитет, показал, что истинное мужество и рыцарское достоинство хранятся в сердце темного и загнанного крестьянина, а не в пустой душе спесивых князей и их знатных сотрапезников.

Это прямое столкновение с князем и его приспешниками, с властями, защищающими их, дало развитию сознания Мишажа больше, чем долгая и неприкаянная жизнь в покорстве несправедливостям, оправдываемым волей аллаха. Душа его выпрямилась, обрела подлинную опору в идее протеста и борьбы, предложенной ему действительностью и объясненной Михаилом.

Писатель открыл перед героем широкий и опасный путь борьбы. Как он будет вести себя в дальнейшем — это уже предмет иного повествования. Но поставленную задачу писатель решил достоверно, художественно убедительно. Образ Аслана встает перед нами во всем обаянии живого человеческого характера, исполненный непочатых духовных сил, красоты, доброты, мужества.

Повесть раскрыла основные тенденции и внутреннюю идейно-нравственную сердцевину творчества писателя. Образ Аслана ясно указывает на то, что писателю особенно дороги в национальном характере родного народа рыцарская неприкосновенность чести, человеческое достоинство, добродушие, органическая убежденность в том, что человек предназначен творить добро и созидать жизнь своим трудом и талантом. Когда человек осознает необходимость борьбы за свое достоинство — индивидуальное, личностное и национальное,— в нем просыпается высокое мужество и решимость отстоять свое достоинство хотя бы ценою жизни.

И еще одна особенность художнической мысли Теунова нашла своеобразное проявление в повести. Это — убеждение в том, что в судьбе малочисленных народов России передовая русская общественная мысль и ее мужественные носители — русские революционеры — играли исключительно прогрессивную, творческую, просвещающую и направляющую роль. В повести эта идея связана с образом Михаила, друга и идейного наставника Аслана. Эта же идея является основной и для всех последующих крупных произведений писателя.

Самый образ центрального персонажа повести, прямо и зримо перекликающийся с образами народных мстителей из народно-героических песен, мог увлечь писателя на путь романтической идеализации, но Теунов твердо стал на путь реалистического воспроизведения действительности и национального характера родного народа.

В годы войны практическая общественная деятельность оторвала его от творчества — он сумел создать лишь злободневную драму о событиях военных лет («Испытание»). И хотя, видимо, драматический жанр не в природе дарования писателя, надо сказать, что драматический опыт не

прошел для него даром — роман «Род Шогемоковых», например, предельно насыщен эпизодами крайне драматическими, коллизиями, созданными будто специально для сценического воплощения.

В послевоенные годы творческие интересы писателя как бы разветвляются на два потока. С одной стороны — повествование о социалистическом преображении родного края, о достижениях в экономическом переустройстве жизни и всей духовной, психологической и нравственной действительности (повести «Новый поток» и «Золотое утро»). С другой — писатель серьезно занялся историей родной литературы, восстановлением исторической преемственности в художественном развитии родного народа. Он создает очерки о лучших представителях кабардинской национальной художественной интеллигенции — Шоре Ногмове («Свет с Севера»), Бекмурзе Пачеве («Чудесный самородок»), основоположнике советской кабардинской литературы Али Шогенцукове («Путь поэта»), выдающемся советском кабардинском поэте и прозаике, авторе знаменитой дилогии «Вершины не спят» Алиме Кешокове («Жизнь и поэзия»). Эти очерки вместе с развернутыми обзорными исследованиями («Устное творчество кабардинского народа», «Кабардинская письменная литература») составили единую и своеобразную книгу «Литература и писатели Кабарды», выдержавшую несколько изданий.

Рассказы и повести послевоенных лет несколько проигрывают в сравнении с этой книгой. Дело в том, что рассказы и повести хотя и продолжали идейно-эстетические тенденции, ярко проявившиеся в повести «Аслан», но не стали дальнейшим развитием ее достоинств. В них ново все — и темы, и характеры, и сама изображаемая действительность, но нет дальнейшего углубления в психологическую и нравственную реальность. В них господствует атмосфера восторженного авторского мироощущения в ущерб реалистическому исследованию нравственно-психологического начала изображаемых характеров.

Вряд ли можно ставить это в вину автору, но сказать об этом следует как об объективном факте творчества, как об одном из объективных свойств манеры письма Теунова вообще. Вот что говорит об этом он сам в недавно вышедшей публицистической книге: «...мы, не имевшие своей письменности, своей государственности, за несколько десятилетий обрели все, чем может гордиться человек. И как об этом не заявить громко и сильно?

Вы, уважаемый критик, призываете меня к тому, чтобы говорить потише, советуете не употреблять восклицаний и превосходных степеней. Я люблю мудрый, спокойный тон Льва Толстого. Со временем этот стиль придет и к нам. Но тогда, когда мы выскажем свою радость!

А сможем ли до конца ее выразить? И разве ослабнет с годами наша гордость от сознания того, что народы Кабардино-Балкарии возродились для новой жизни?» Правда, вслед за этими словами идут другие, как бы снимающие их категоричность: «Уровень развития моей республики уже на такой высоте, что пора нам перейти к спокойному повествованию, к сдержанности.

Умом понимаю это. И все же боюсь. Сдержу ли восторг и восхищение? Замкну ли в сердце торжественные слова? Не смогу, не сдержу — тогда пойдут гулять по страницам величественные здравицы — хохи».

Эта вторая мысль («пора перейти к спокойному повествованию, к сдержанности», «умом понимаю это...») пришла к писателю после стремительного развития кабардинской прозы за последние два десятилетия, после собственного опыта романиста. Но тогда, когда писались повести «Новый поток» и «Золотое утро» (вторая половина 40-х годов), писатель, видимо, был весь во власти «торжественных слов», «восторга и восхищения» и в его прозе оставалось мало места для «спокойного повествования», для полнокровного реалистического исследования противоречий живой действительности. К мысли о синтезе «торжественных слов» и «спокойного повествования» он пришел позже, когда занял иную эстетическую позицию: «Святой долг писателя — писать правду, и только правду. Я выполню свой долг. И буду сдержан. Но если иной раз прорвется восторг, не осуждай меня, читатель. Сам знаешь: когда весна в цвету, на сердце легко и радостно, и душа открыта для чувств высоких, и восхищение вызывает вечно обновляющаяся природа.

А ведь мой рассказ будет не о той весне, которая каждый год в свой час приходит к нам и уходит,— речь пойдет о весне народов Кабардино-Балкарии, о весне людей, распрямивших согбенные спины.

Эта весна не уходит. Она молодит, преображает мою родину и людей моей земли» («Путь на Эльбрус». М., 1974, стр 10—11).

Как уже сказано, в «Новом потоке» и «Золотом утре» писатель ставит своей задачей показать преображение родного края и «людей своей земли» в весну социалистического переустройства жизни. И это ему удается, но в повествовании авторская восторженность заслоняет реалистическое исследование сложного процесса.

Этого никак не скажешь о портретах писателей Кабарды, созданных Теуновым в те же годы. В «Избранное» вошел только «Чудесный самородок» — о знаменитом народном певце и прекрасном поэте Бекмурзе Пачеве. Но и по этому очерку можно судить о достоинствах и характере историко-литературных произведений Теунова.

Очерки Теунова — своеобразное сочетание строго документированного историко-литературного исследования, критического разбора и эссеистского видения личности писателя, его творческого подвига. Теунов рассказывает о Бекмурзе Пачеве как о большом и оригинальном человеке, образцовом воплощении народного характера и народных идеалов, о справедливости и благородстве. Рассказывает и со слов близко знавших его людей (ибо поэт стал легендарной личностью!), и по своим личным впечатлениям, и по фактам, зафиксированным в печати. И лишь затем переходит к анализу его поэтического наследия, особо останавливаясь на стихах, в которых ярче всего проявилась тесная связь поэта с жизнью, с трудной судьбой родного народа. Такое сочетание разных аспектов освещения личности и творчества поэта создает колоритный портрет, очищает образ поэта от второстепенных, случайных черт, вот почему основное в его характере и поэзии предстает перед нами крупно и впечатляюще.

Историко-литературные очерки и портреты Теунова прочно вошли в обиход молодой кабардинской литературной науки. Они легко и с интересом читаются и людьми, далекими от филологии, читаются как художественные повести о больших человеческих характерах. И это говорит о том,

что они писаны не только исследователем, оперирующим силой и логикой объективных, точно установленных фактов, но и художником, умеющим за фактами видеть проявления живого человеческого характера.

В романе «Подари красоту души» писатель изображает жизнь, духовное и профессионально-гражданское мужание молодого современного поколения кабардинской интеллигенции. Главный герой романа Ахмед Наурзоков проходит перед нами с детских лет до того момента, когда он, вооруженный знаниями, воспитанный добрыми и умными представителями русской интеллигенции в традициях постоянных духовных исканий, глубокого, непоказного демократизма и гуманизма, возвращается в родной край, чтобы включиться здесь в процесс культурного строительства.

Судьба Ахмеда показана в тесной связи с жизнью народа, края. За событиями жизни маленького героя мы видим большую и трудную жизнь народа в годы войны и в послевоенный период. И еще: в романе мы встречаемся с полнокровно реализованной в самом сюжете и художественной ткани произведения давней идеей писателя о неразрывной связи родного народа с русским народом и его культурой. Ахмед в прямом смысле этого слова воспитан русской интеллигентной семьей, давним другом своего погибшего отца, на русской культуре и науке.

Роман привлекает своим лиризмом и точным видением проявлений детской формирующейся психологии и нравственного ядра характера. Правда, повествование несколько перегружено филологическими интересами студента Ахмеда,— видимо, писатель не смог полностью отключиться от опыта собственных историко-литературных разысканий,— но это не особенно отвлекает наше внимание, так как поиски героя связаны с ростом и закалкой его характера и написаны они живо и правдиво.

Самым большим достижением прозы Теунова — ныне это общепризнано — является роман «Род Шогемоковых». В нем автор как бы возвращается к изображению исторической ситуации, знакомой нам по повести «Аслан», к предреволюционным годам, к духовным исканиям и освободительной борьбе народов бывшей царской империи.

Время действия предельно сжато — всего лишь пять лет жизни одного села и всей страны прослежены на страницах просторного и многопланового повествования, но судьбы героев (а их множество), социальные и нравственные их устои исследуются неторопливо и всесторонне.

Основная мысль, заставившая писателя взяться за перо,— это, конечно, исследование социальных, политических, идеологических причин революционно-освободительной войны народа против царизма. Это — сама объективная историческая закономерность народной революции и ее победоносного завершения. Революция не вызвана и не приведена к победе только волей партии, силой ее передовых идей, она вызрела в самой действительности, выстрадана народом в вековых муках, идеи партии только разбудили и развили народное самосознание, сплотили ряды народа и его вековые чаяния в одну железную волю и повели народ на решительный штурм твердыни рабства и унижения, невежества и насилия. Такова общая историческая и социальная концепция романа. И она верна.

Но концепция эта — обобщенное впечатление от романа, а не умозрительная идея автора. И роман — не иллюстрация к заданной идее, а глубокое художественное исследование народной жизни в определенный исторический момент.

Описывая исполнение старинных песен народными певцами, Теунов замечает: «Человеческую душу можно настроить на определенный лад, как это делают с музыкальным инструментом. Но, конечно, не сразу, не вдруг. И седобородые певцы-джегуако хорошо знают это. Сначала — малозначащие слова, короткие фразы, паузы. Потом постепенно приходят сосредоточенность, глубина. И начинается главная песнь — песнь о жизни, старой и вечно новой».

Мне кажется, что Хачим Теунов, подобно джегуако, всю жизнь готовился к написанию своей главной книги, идя к сосредоточенности и глубине, чтобы сложить главную песнь — песнь о жизни. «Род Шогемоковых» — это песнь о жизни кабардинского народа в предреволюционные годы и во время установления советской власти на Тереке.

И ценность романа прежде всего в этом — в художественном изображении народного характера и бытия, проникнутом глубокой и искренней любовью. Автор отдал любимому детищу все свои знания о психологии, нравственных устоях, художественной культуре, вековечной борьбе за свободу, о душе народа, протестующей против насилия, но творящей и под княжеским и чиновничьим бичом. Он выразил весь свой опыт общения с народом, его культурой и историей с младенческих лет до седых волос. И это самое привлекательное и впечатляющее в романе.

Общая историко-социальная концепция повествования, собственно, не нова, она встречается почти во всех значительных историко-революционных романах в наших молодых литературах. Ново и оригинально все то, что нам поведал писатель о душе народа, культуре, быте, сознании, разуме и предрассудках, протестующем мужестве и благородстве народного характера. В этом непреходящая эстетическая ценность обширного и многокрасочного повествования Теунова.

В то же время в этом романе нашли свое дальнейшее развитие все особенности дарования писателя — и его публицистическая открытость (он порой позволяет себе и прямое обращение к персонажу, как к давнему и близкому другу), и лиризм повествования, и влюбленность в природу родного края, и неприятие покорности, и поэтизация героических порывов народа, и нескрываемая тенденция в распределении авторских симпатий и антипатий.

Роман «Род Шогемоковых» — произведение итоговое. И о нем можно говорить долго и в самых разных аспектах. Однако он не нуждается в особом комментировании,— читательское восприятие вполне может заменить самую доброжелательную критическую рекомендацию.

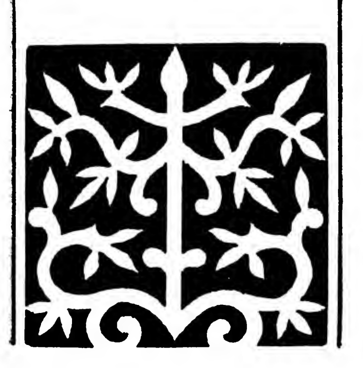
Рост истинного писательского дарования, мне кажется, всегда подобен восхождению в горах: здесь нет за далью дали, но за одной вершиной открывается новая сияющая вершина. И я думаю, что и Хачим Теунов нас обрадует покорением новых вершин в своем творчестве.

Нафи Джусойты

РОД ШОГЕМОКОВЫХ

Посвящаю светлой памяти братьев моих Лукмана, Шиды и Абузеда, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ШОГЕМОКОВ И ЕГО СЫНОВЬЯ

1

Широким морским заливом, зеленым при солнце, голубовато-серым в ненастье, легла у предгорий Кабардинская равнина. С востока, с юга и запада поднялись друг за другом, становясь все выше, светлее, воздушнее и отдаленнее, фиолетовые, синие, прозрачно-голубые горы; а дальше в ясные дни видны словно бы висящие над землей неподвижные снежные облака — Главный хребет Кавказа.

Медленно идет равнинной дорогой, приближаясь к предгорьям, усталый, очень усталый старик с хурджином через плечо. Свободно свисает с его плеч вылинявшая черкеска; ветер играет ее полами; лохматая папаха надвинута на брови; голова опущена, и старик видит лишь носки своих чувяк, медленно переступающих по пыли... Кажется, не переметную суму, а непосильную тяжесть несет старик.

Вот уже показались впереди первые крутые холмы; грозными крепостными валами прикрывают они ущелье — ворота, ведущие в глубь кавказских гор. За холмами, в начале ущелья, лежит старое кабардинское селение Аюбей.

Старик остановился, поднял голову, посмотрел вокруг помутневшими печальными глазами.

Дождя не было, но тучи сплошной пеленой, то светлея, то снова омрачая все окрест, текли над головой.

Старик стоял в нерешительности: не хотелось появляться на сельских улочках с тяжелым хурджином горя средь бела дня, да еще пешком... «А где твоя Ласточка, почтенный Дамжуко Шогемоков?» — спросят в недоумении люди. Неужели ответить, что продал коня, а деньги потратил на взятки?!

Вздохнув, старик отряхнул пыль, застегнулся, поверх черкески надел пояс с кинжалом, оглядел себя и медленно, нехотя вступил в Аюбей. Неторопливо, сосредоточенно, не глядя по сторонам, шел он запутанным лабиринтом улочек и переулков мимо крытых камышом приземистых строений с крохотными оконцами и широкими печными трубами, обмазанными глиной, мимо дворов, обнесенных плетнями, стесненных конюшнями, хлевами, овчарнями. Пахло кизячным дымом, навозом, молоком.

Прошел старик и мимо сельского правления, где у окна стоял в раздумье аюбейский старшина Туган Бороков. Дородный, краснощекий старшина в серой черкеске с кинжалом и револьвером у пояса хмуро смотрел на улицу. Увидев старика, Бороков задумчиво погладил подстриженную бороду и, резко надвинув на лоб высокую золотисто-серую папаху, вышел из дому.

Легко догнав старика, старшина пошел рядом, слева, как положено, если хотят оказать уважение старшему. И спросил участливо и негромко:

— Чем дело кончилось, Дамжуко? Тебе разрешили свидание?

Старик остановился, взглянул на Борокова глазами, полными недоверия и непролившихся слез, покачал головой.

Молча они прошли переулок. Бороков снова спросил:

— Повидал сына, Дамжуко?

— Не дали обнять сына,— глухо отозвался старик.— Взглянуть и то не позволили! Видишь, полный хурджин, что хотел передать ему на дорогу, несу обратно...— Старик зачем-то потрогал хурджин.— Всех их загнали в вагоны с железными решетками и увезли. И даже не сказали, куда везут!

— Какое бессердечие! — гневно воскликнул старшина.— Аллах не простит такой жестокости! Поверь моему слову, Дамжуко,— не простит аллах!

И снова остановился, словно споткнувшись, старый Дамжуко Шогемоков, вновь посмотрел удивленно, внимательно, недоверчиво на старшину. И вновь старшина выдержал, не моргнув, этот пытливый взгляд. И сказал почти оскорбленно:

— Напрасно не доверяешь мне, Дамжуко. Аллах свидетель, я сделал все, что мог, лишь бы облегчить судьбу осужденных.

Старик смутился:

— Нет, нет, Туган, зачем говоришь о недоверии?

— Клянусь именем аллаха,— продолжал, словно не слыша, старшина,— как только я увидел, что восстание на Золке [1] будет проиграно, сразу кинулся предупреждать, успокаивать. Умолял людей не губить себя зря...

И Шогемоков признал, что старшина был мудр. А потом снял папаху, опустил голову и глухо промолвил:

— Во имя аллаха, во имя отца и матери! Мы оба мусульмане... Пожалуйста, напиши бумагу. Съезди к начальнику. Упроси, чтоб освободил Пшикана. Он погибнет в Сибири. Сгинет... Я готов пожертвовать собой ради тебя!

— Сделаю, сделаю. Все, что в моих силах, сделаю, дорогой Дамжуко! — воскликнул старшина.— Постараюсь спасти и Пшикана, как спас от ареста твоего Исмела. Разве я мало писал, мало ездил, мало просил, мало потратился, чтобы освободить Хару-

---

[1] Золка — название урочища, где произошло восстание кабардинских крестьян в 1913 г.

на Бевова, Беймурзу Алхасова, Музачира Сохова, Мадина Маремова, Шахбана Каздохова?!

— Аллах воздаст тебе за это добро, дорогой Туган! Если б еще и бедного моего Пшикана, я бы...

— Трудно, очень трудно, уважаемый. Ярость властей против поднявших восстание беспредельна. Бурным потоком обрушились на Кабарду аресты, приговоры, ссылки на каторгу... И все-таки я готов просить, умолять, убеждать, взывать к милосердию...

И снова склонил голову старый Шогемоков, повторил:

— Я готов принести себя в жертву! Спаси сына... Тебя же начальство знает! А я не пожалею ни скота, ни денег.

— Мне, Дамжуко, не нужны твои деньги. Добьюсь, чтоб освободили Пшикана,— это будет нашей общей радостью. Не смогу добиться — не обижайся на меня. Ох, золотой мой, жизнь сейчас сложная, в ней такие течения, такие водовороты, что и не разберешься. Однако видно всем: не поровну аллах разделил счастье!

С гор налетел ветер, поволок на север густые облака, висевшие над долиной, и разом будто поднялось заголубевшее небо, просияло солнце, земля закурилась легким парком.

Шогемоков встрепенулся, ожил. С благодарностью и надеждой взглянул на Борокова. Теперь они шли молча, и старик думал о словах старшины — ох, как неравно поделено на земле счастье! Вспомнился ему тот далекий вечер, когда он сказал сыновьям: «Собака зализывает раны языком. Так она лечится. Люди лечат сердечные раны и рубцы от обид языком надежд. Но довольно обманывать себя надеждами. Пора положить конец нашему унижению, пора перешагнуть черту, что отделяет нас от уорков [1]. А путь для этого один — надо разбогатеть. Когда немного оперимся, поеду ко святым местам — в Мекку и Медину; а вернусь в белой чалме,— уорки сами станут сажать меня на почетное место... За мной потянетесь и вы...»

Вспомнив свой обет, Шогемоков вздрогнул: «Ой, не исполнил слово, которое дал аллаху! Вот и наказал аллах — отнял Пшикана. Напомнил о моих грехах. А ведь мы уже начинали богатеть: не одну запрягали подводу, немало завели скота...»

— Это верно,— сказал старик, вздохнув,— что не поровну поделено счастье меж людьми. А только сказано, что аллах венчает добрые стремления успехом...

Бороков не отозвался на этот намек, а спросил, почему Исмел не вернулся вместе с отцом.

— Во Владикавказе остался. Хочет кое-что разузнать в суде...

Бороков остановился.

— Хотел проводить тебя до дому, уважаемый. Но вижу, теперь не до этого: вернусь в правление, велю писарю написать

---

[1] Уорк — дворянин.

прошение от всего нашего села и сегодня же повезу его во Владикавказ.

— Да пошлет тебе аллах много лет жизни, золотой ты человек!

И, не слушая, Бороков повернул обратно; он шел, ступая мягко, как тигр, хоть был большим и грузным.

Сосед Шогемоковых Мурат Кабардов, увидев печально бредущего Дамжуко, вышел на улицу и пошел рядом, ни о чем не спрашивая. Только снял тяжелый хурджин с усталых плеч старика.

Все, кто был в доме Шогемоковых, выбежали во двор встречать Дамжуко. Отвечая на их немой вопрос, старик хмуро сказал:

— Увезли!

И сразу двор огласили причитания, плач, горестные вопли. Женщины рвали на себе волосы, били себя ладонями, выли: «О-о-о, несчастье!» И безутешнее всех рыдал Зрамук, внук Дамжуко, сын Исмела, любимый племянник Пшикана.

— Перестаньте, прошу вас! — негромко сказал старик.

Но его будто не слышали.

И тогда старый Дамжуко крикнул повелительно:

— Наши враги подумают, что оплакиваем смерть Пшикана,— обрадуются. Перестаньте!

А когда стихли причитания, добавил:

— Туган обещал написать прошение, чтоб освободили Пшикана. Да не оставит нас аллах своей милостью!

Тихо плача, все ушли в дом. И только Зрамук никак не мог сдержать рыдания, несмотря на утешения Мурата, пока тот не сказал шепотом:

— Посмотри на улицу, Жанэт идет! Стыдись!

Зрамук взглянул: по улице медленно шла обеспокоенная их воплями и причитаниями дочь старшины Борокова.

И подросток, зажав ладонью рот, поспешил за Муратом в низенький домик родителей.

* * *

Во Владикавказе Бороков прежде всего направился на квартиру судебного секретаря, в недавнем прошлом присяжного поверенного Вадима Геннадиевича Нестерова. Но тот его не принял. Стоя на пороге своего кабинета, Нестеров сказал:

— После того как вы нарушили свое слово, я не желаю вас знать, господин старшина. Что же касается моего обещания найти человека, который мог бы вести ваши торговые дела, то вот вам записка к господину Кулибину и его адрес. Договоритесь сами.

Очнувшись на улице, Бороков повертел бумажку и так и этак, посетовал на свою малограмотность и аккуратно положил записку под черкеску, в нагрудный карман бешмета. А затем

тяжело ввалился в фаэтон. «Куда ехать-то?» — спросил, обернувшись, извозчик. Бороков показал адрес. Фаэтон тронулся.

«Эх, как рассердился Нестеров! — думал старшина с огорчением.— Конечно, я сам виноват: он выиграл мне тогда судебное дело, а я не заплатил обещанного... Но кто ж знал, что он из присяжного поверенного станет секретарем суда?! Как же теперь узнать, что говорили обо мне, когда судили аюбейцев за восстание на Золке?»

Фаэтон остановился у маленького домика на берегу Терека. Кулибин оказался во дворе.

— Здрасту, пэжалустэ,— сказал старшина, подавая записку.

Кулибин пригласил в комнату, предложил сесть, развернул записку. Там было написано аккуратным почерком Нестерова:

«Михаил Петрович, податель сей записки — тот самый герой восстания кабардинских крестьян, о котором я рассказывал. Если Ваши намерения не изменились, можете договориться сами. Но советую быть осторожным.

С почтением *В. Г.*».

Нет, намерения Кулибина не изменились и не могли измениться: человеку, уволенному из местной газеты за неумеренную резкость его политических статей, следовало на время где-нибудь затеряться; недаром здешняя социал-демократическая группа по предложению Сергея Мироновича Кирова решила направить его в глухое селение, из тех, что подверглись репрессиям после крестьянского восстания на Зольских пастбищах... Там следовало исподволь сплотить, собрать воедино недовольных и свободолюбивых. Считалось удачей, что определить на работу помогал судебный чиновник, посторонний человек для партии; это, по мнению Кирова, обеспечивало конспирацию.

Пока Кулибин читал, Бороков рассматривал его, изучал: широкоплечий, наверное, сильный; большой лоб, ясный как луна; пятерней все время отбрасывает назад густые русые волосы; глаза добрые; вот только одет бедновато...

«Любопытен и лукав»,— подумал Михаил Петрович, заметив, как наблюдает за ним гость. И громко сказал:

— Я вас слушаю...

— Нашэ нужна арботник,— ответил старшина.— Хорош арботник, грамэтнэ, чеснэ арботник, чтоб умел бумагэ писат, шот порвират, тэвар пирвозит. Такой джигит, штоб когда наша скажит «пирноси шапка того шеловек», умел пирносит его голова...

Усмехнувшись, Михаил Петрович ответил на чистом кабардинском языке:

— Твою бухгалтерию так чисто поведу, что все дела, как в зеркале, отразятся. И письма стану писать, как хочешь. И товары смогу привозить. Но вот чего не могу, того не могу — вместо шапок приносить головы.

— Что это?! — удивился Бороков.— Кабардинец? Как может быть, ы-ы?

— Нет, я русский. Рос в черкесском ауле на Кубани, где отец работал сельским писарем. Там и научился.

Подумав, Кулибин добавил, что после смерти отца вынужден был оставить Одесский политехнический институт и сейчас нигде не служит.

«Бедный! — решил Бороков.— Значит, дешевле обойдется». А вслух сказал:

— Хочу доверить тебе важное дело. Когда исполнишь, договоримся о жалованье...

— А если не справлюсь? — улыбнулся Кулибин.

— Нет такого дела, где не помогут деньги,— возразил Бороков и вытащил из кармана пачку ассигнаций. Отсчитав сто пятьдесят рублей, доверительно попросил: — Воспользуйся знакомством с Нестеровым и разузнай, что говорили обо мне на суде, а главное — кто говорил...

— Нестеров расскажет мне и без денег.

— Бесплатно поднимать молот тяжело! — хитро улыбнулся Бороков.— Когда вручишь деньги, рот у него раскроется сам собой...

* * *

У здания окружного суда стоял опрятно, но скромно одетый крестьянин. Папаха без золотистого отлива, насечки на газырях не из слоновой кости, простые ножны без золотых украшений, черкеска поношена, сафьяновые чувяки стоптаны... Но как строен, широкоплеч, мускулист, с какой тонкой талией, мощной шеей, гордой осанкой этот крестьянин! С уважением и любопытством поглядывают на него прохожие — и видят в темных глазах глубокое горе.

Бороков сразу подошел к нему.

— Тебя, Исмел, пустили в зал, когда судили наших аюбейцев? Ты слышал, как разбирали дело?

Исмел печально покачал головой: нет, не пустили.

— А с братом удалось поговорить, попрощаться?

— Где там поговорить! Взглянуть на него не разрешили... Повезли в вагонах с железными решетками. И даже не хотят сообщить — куда.

— И Дамжуко говорит то же... Поэтому, Исмел, и я примчался сюда с прошением от всего нашего селения. Попытаюсь чего-нибудь добиться... Удастся ли?!

Исмел Шогемоков недоверчиво смотрел на старшину.

— Ты подожди меня здесь. Пойду в судебную палату, попрошу... Если откажут, пойду к самому правителю области господину Флейшеру. Подождешь?

Исмел кивнул.

Больше часа пришлось ждать, и все это время Исмел с горечью думал, что старшина поздновато стал хлопотать, бегать, писать прошения... Нет у людей к нему доверия. А с другой стороны, если вспомнить, что старшина сам подстрекал к восстанию... Может быть, сперва боялся и нос высунуть, а теперь бегает и просит о милосердии, чтоб замести следы, не запятнать имя, закрыть рты знающим...

Старшина вышел из здания суда взъерошенный, злой.

— Что за люди! — рычал он, оглядываясь на окна суда.— Словно белены объелись! Так и мечут громы да молнии, того гляди, усы загорятся...

— Что сказали? — нетерпеливо спросил Исмел.

— И не спрашивай! Набросились с бранью: как, мол, смеешь защищать государственных преступников, бунтовщиков! И слушать ничего не желают.

В сомнении смотрел Исмел на старшину: вроде бы обеспокоен, говорит нервно, сердится; вроде бы не лжет. А как ему поверить?

— Ну что ж! Когда орел нападает на цыплят, наседка не прячется в кусты, поддавшись страху,— громко говорил меж тем Бороков.— А мы с тобой, Исмел, мужчины, и спасать нам надо не цыплят. Пойду к самому большому правителю, к начальнику области, преклоню колени, стану умолять его превосходительство помиловать осужденных.

— Я пойду с тобой, Туган.

— Можно... Хотя, пожалуй, тебе не стоит идти. Вдруг их превосходительство узнают, что ты брат осужденного и сам участник восстания... С трудом я тогда избавил тебя от ареста, но уж если сам генерал Флейшер прикажет посадить тебя в тюрьму, что я смогу сделать? Ну, как решаешь, ы-ы?

Не понравилось Исмелу упоминание об аресте, тем более что не проверишь — вправду хотели арестовать или старшина все это сам выдумал, чтоб благодарили и слушались. Однако настаивать не стал.

И снова часа полтора нетерпеливо ждал на улице возвращения Борокова. Ждал и терзался сомнениями.

На этот раз старшина вернулся веселый, подкручивая усы и усмехаясь.

— Я б совершил большую, непоправимую ошибку, дорогой Исмел, если б уехал, не посетив большого правителя! Правда, это было трудно. Очень трудно попасть к такому начальнику. Но, хвала аллаху, он помог. И прошение принял, и обещал ответить, когда разберется с делом...

И на этот раз Исмел поверил. Почему? Может быть, потому, что очень хотелось поверить,— так нужна была измученному человеку хоть небольшая надежда. Да и выглядел старшина теперь совсем не так, как после разговора в судебной палате... От всего сердца поблагодарил на этот раз Исмел старшину и спросил:

— Правитель ответит сегодня или завтра?

— Что ты! — воскликнул Бороков.— Правители только осуждают поспешно, а на просьбы отвечать не торопятся. Может, месяц, может, два, а то и все три месяца придется ждать.

— В таком случае мне лучше уехать домой. Я и так здесь давно.

— Да, тут нам теперь нечего делать. Отправляйся на вокзал. Порадуй отца. Может быть, и я поеду сегодня.

Они разошлись. Бороков нанял фаэтон и, развалившись на мягком сиденье, приказал везти себя к Кулибину.

* * *

В вагон вечернего поезда вскочили два запыхавшихся пассажира: Бороков и Кулибин, они едва не опоздали.

Теперь они сидели и мирно беседовали на кабардинском языке, уверенные, что здесь никто их не поймет. А поезд мчал их в Кабарду.

— Значит, Кулибин, на суде обо мне не говорили? Совсем никто не говорил? Да? — спрашивал Бороков, пытливо глядя на собеседника.

Услышав голос Борокова, Исмел поднялся и подошел к соседнему отделению. Но, поняв, о чем идет речь, застыл у самой перегородки, прислушиваясь...

Усмехнувшись, Кулибин ответил:

— Нестеров говорит, что на суде твое имя не упоминали вовсе. А деньги он не взял, отказался. Вот они, бери!

— Ты чего-то улыбаешься,— сказал старшина.— Верно, не все мне сообщил?

— Все, хозяин! — возразил Кулибин.— Вы не знаете, как худо быть безработным... А теперь я на службе. Вот и не могу не радоваться, улыбаюсь.

И Михаил Петрович весело засмеялся.

— А почему все-таки не оставил деньги Нестерову?

— Если стану сорить деньгами, мой хозяин может разориться. Опять буду безработным! — смеялся Кулибин.

Бороков, ухмыльнувшись, покачал головой и, смочив пальцы слюной, старательно пересчитал деньги; хотел положить их в карман, но передумал, отделил десятку и протянул Кулибину.

— Нет, хозяин,— снова возразил Михаил Петрович,— не могу брать твои деньги зря. Я твой приказчик, исполнил поручение — за что ж тут платить сверх обычного?

В недоумении смотрел старшина: «Как это понять? Хитрый? Гордый? Скромный? Или честный дурак?»

Но на открытом, добродушном лице Кулибина не было и следа лукавства, и старшина ничего не понял.

Они были так увлечены, что не заметили Исмела. А тот, постояв у перегородки, вернулся на свое место, размышляя и сомневаясь: что за деньги они передавали друг другу и отчего так озабочен старшина, выполнит ли он свое обещание помочь Пшикану и неужели из-за Пшикана он примчался вдруг во Владикавказ с прошением? Вроде бы прежде не замечалось в старшине особенной отзывчивости и доброты.

А Михаил Петрович смотрел в окно на позолоченные заходящим солнцем снеговые вершины — казалось, плыли они океанскими кораблями среди белопенных облачных волн. Смотрел и думал о всегда живом, деятельном, чертовски влюбленном в жизнь Сергее Кирове, которому есть дело до всего, что делается на свете. И вспомнилось, как Сергей Миронович, напутствуя его, рассказал, что в недрах Казбека в далеком прошлом клокотала стихия страшной силы, рождавшая горы и пропасти, заставлявшая содрогаться землю, уничтожавшая все живое.

В недрах народов России, в том числе и горских,— говорил Киров,— тоже таятся силы, способные потрясти и всколыхнуть весь земной шар. И добавлял, что Зольское восстание — только первая вспышка не приведенных в настоящее движение потенциальных революционных сил, заложенных в горских народах. Очень важно не дать погаснуть этой вспышке...

Не дать погаснуть!..

2

Успокоенный словами Кулибина, старшина снова занялся торговыми делами, которые было запустил. Два дня он провел в Пятигорске, заключил выгодные контракты с перекупщиками скота и баранты.

Верхом на карем коне Бороков ехал теперь из Пятигорска на альпийские отгонные пастбища. Позади дребезжала повозка, на которой лежали два ящика русской водки, ящик с развесным турецким табаком и курительной бумагой в книжечках, спички, буханки пышного базарного хлеба, свежие огурцы, редька, столовая зелень... Ехали просторными Зольскими пастбищами, на которых весной 1913 года произошло восстание кабардинских крестьян.

Была уже вторая половина лета, но перепадали дожди, и вокруг колыхалось волнами сочное и свежее разнотравье: кое-где, словно мазки, положенные кистью художника, желтели небольшие участки созревающего проса.

Прохладное утро. Ни облачка в просторном голубом небе. Вдали вздымается белый двуглавый Эльбрус, до боли в глазах сверкают его снега на солнце.

Улыбаясь, глядел Бороков на Ошхамахо — Гору Счастья, как называют в Кабарде Эльбрус; сегодня он верил, что счастье от него не отвернулось, что все опасности уже позади...

И невольно, будто желая скорее достичь ожидающего его где-то впереди счастья, Бороков пришпорил Карего. Конь рванулся: комья земли полетели из-под копыт. Опомнившись, осадил коня, но Карий был разгорячен и все рвался вперед, не желая считаться с уздой, вытягивая шею, вскидывая голову. Он шел быстрой иноходью, навострив уши.

Низко пролетали стаи скворцов. Не умолкая заливались, звенели над головой невидимые жаворонки...

Не шевеля распростертыми крыльями, высоко в небе плыл огромный орел.

Бороков остановил Карего. Подняв голову, он наблюдал за орлом.

Вот орел сделал круг, второй и, сложив крылья, камнем упал вниз.

Бороков так и впился глазами в то место, где скрылась птица.

Тяжело махая крыльями, из просяной нивы взмыл орел: в когтях он нес зайца.

Мгновенно Бороков сорвал с плеча ружье и, почти не целясь, выстрелил.

Сначала упал заяц, а следом тяжко и медленно рухнул орел.

Первым подбежал возница.

— Э, хозяин! — крикнул он.— Заяц-то дохлый... Не годится!

— Мясо дохлое,— отозвался, подбегая, Бороков,— так шкура не дохлая!

Он вытащил из-под кинжала, из ножен, маленький нож, ловко снял шкурку, свернул и положил в повозку. А потом, немного отойдя от лошадей, прилег на траву.

— Вот так,— сказал он.— Когда человек счастлив, он получает все, на что взглянуло его ружье!

Но хотелось ему сказать по-другому: «Если человек удачлив, то и падая, он падает на добро и счастье... Уж какие тучи ходили над моей головой после восстания, а вот же ничего — обошлось!»

Отдохнув, Бороков сел, вытащил из кармана потрепанную записную книжку, где кое-как каракулями были нацарапаны имена, арабскими и русскими буквами вперемежку, и цифры — кому, когда и сколько дано в долг хлеба, денег, товаров... Потом прикинул общую сумму заключенных контрактов и улыбнулся: цифра получилась внушительная.

На следующий день добрались до альпийских лугов.

Солнце стояло высоко, но зноя не было. От вечных снегов, от ледников Эльбруса, от горных речек, что бешено мчали по камням пенные воды, подобные только что надоенному молоку, от гор-

ного ветра, пропахшего цветами и хвоей, было прохладно. Путники жадно вдыхали свежий, благоуханный воздух: казалось, с каждым вдохом они становятся моложе и здоровей.

И даже Бороков не сдержал приступа благодушия: остановился, когда проезжали мимо какой-то отары, и, улыбаясь, спросил своего возчика:

— Как полагаешь, парень, не привезти ли нам живого барашка чабанам на шашлык, ы-ы?

— Я слышал, Туган,— пошутил возчик,— будто русская джигит-вода очень подходит к баранинке...

— Ну, если так, сделаем доброе дело, не пожалеем денег!

И они купили ягненка.

На подступах к стоянке аюбейцев Бороков велел остановить повозку и собственноручно отобрал пять бутылок водки, четыре пачки табаку, четыре буханки хлеба, несколько десятков огурцов, редьки, а все остальное старательно прикрыл сеном и сверху еще набросил бурку.

Уже вечерело, когда они приблизились к стоянке. С лаем кинулись на гостей огромные волкодавы. На шум из шалаша, крытого сеном, вышли чабаны во главе с Исмелом Шогемоковым.

— Бохапши [1], бывалые чабаны! — сказал старшина.

— Будь здоров и ты, сын Бороко, чей удел быть в долине правителем, а в горах орлом! — пошутил Музачир Сохов, приземистый, краснощекий старик; но глаза старика смотрели из-под косматых бровей подозрительно и недружелюбно.

У Борокова дернулся рот, но старшина сдержался, усмехнулся:

— Бывалый чабан, испытанный всеми невзгодами горной жизни, ты напрасно задираешься! Я совершил нелегкий путь не для себя, а ради вас, ради ваших бедных братьев, что томятся в ссылке... Хочу посоветоваться с вами. Хочу, наконец, поднять рог за вас, своих односельчан.

Бороков пригладил бороду и велел возчику принести гостинцы.

Увидев испуганно блеющего ягненка, плещущуюся в бутылках джигит-воду, пышный базарный хлеб, табак, зелень — все, чего нет в горах и по чему тоскуют их желудки, чабаны забегали: одни снимали седло с Карего, другие выпрягали лошадей из повозки. Теперь они смотрели на старшину с волнением и надеждой: ведь он сказал, что приехал по их делам; должно быть, привез какие-то вести о сосланных родственниках; а раз улыбается и шутит, значит, вести добрые...

И Сохов торжественно пригласил старшину в плетеный и крытый сеном шалаш:

— Добро пожаловать, дорогой наш гость!

---

[1] Бохапши (букв.: много скота вам) — так приветствуют табунщиков и пастухов.

Музачир Сохов предложил гостю почетное место — то, где лежала свернутая вчетверо бурка. Но Бороков отказался, сказал, что это место для старшего по возрасту, и скромно сел рядом. Он по-прежнему улыбался, но думал про себя, что встретили его сперва не очень радушно, а теперь вот называют желанным гостем; «вот так всегда: дашь людям хлеба, сразу заиграет зурна. Когда в тебе нуждаются, ты желанный гость, но если нуждаешься в них,— ты для них хуже бельма в глазу».

Исмелу не нравилось, что Сохов словно бы заискивает перед старшиной; но вспомнил, что и у Сохова брат сослан, и сказал себе: «Что значит родная кровь! Даже гордый Музачир готов услужить ненавистному старшине».

Нетерпеливо поглядывал Исмел на Борокова, стараясь угадать — добрые или дурные вести привез нежданный гость.

А старшина не спешил рассказывать, все шутил и посмеивался:

— Ну, как живете, испытанные, бывалые, щедро одаренные судьбой чабаны? Как развлекаетесь, ы-ы? Скажите по правде,— старшина обвел чабанов взглядом,— настоящие волки поедают ваших ягнят, или, может, это делают красавицы барыни из Нартсанэ? [1] Они ведь тоже любят баранинку!

Исмел вспыхнул от неуместной шутки старшины, но кое-как сдержался.

— Нам не до барышень, Туган,— сказал он с горечью.— Князья да коннозаводчики захватили общинные пастбища и так нас прижали, что и пасти негде. Пойдешь направо — прогоняют; пойдешь на левобережье — грозят перебить нам спины... И смотрим мы не на красавиц в Кисловодске, а на отнятые у нас выпасы.

— Эх! — вздохнул и Сохов.— Прямо головы нам сняли. Не хватает кормов овцам. Приходится по ночам пасти на тех участках, что отобрали господа... На своих же пастбищах приходится быть ворами!

— Срам! — воскликнул старшина.— Своими глазами видел, как трудно приходится вам, дорогие. А что поделаешь?! Что угодно аллаху и чего пожелал царь, против того не пойдешь!..

И тут не выдержал стоявший по обычаю у порога Мурат Кабардов, самый молодой из чабанов. Уже давно у него горели глаза и нервно подергивались плечи. А теперь Мурат ступил вперед:

— Пока будем подпевать тем, кто правых делает виноватыми, а виноватых правыми, мы никогда...

Сурово глянул старшина на Мурата, резко прервал:

— Ты, юнец, помолчи! Еще молод. Не лезь в разговоры старших. Понял?

И Кабардов замолчал, отступил к порогу: не посмел нарушить старинный кабардинский обычай.

[1] Нартсанэ — кабардинское название Кисловодска. От него и слово «нарзан».

Бороков считал, что правильно начал разговор — шуткой, а вот насчет аллаха и царя, пожалуй, зря... И чтобы сгладить неловкость, сказал:

— Но и мы не сидим, сложив руки на животе. Исмелу известно, что я делал во Владикавказе, чтоб освободить наших братьев. Скажу честно, нет прямого обещания освободить, но обещают пересмотреть дело...

И хоть мало было надежды на то, о чем говорил старшина, старый Сохов горячо воскликнул:

— О великий аллах, всемогущий и милостивый, не лиши своей защиты правоверных мусульман, живущих по твоим законам! Верни бедных изгнанников здоровыми в их семьи. И пусть аллах дозволит и тебе, Туган, достать рукой то, к чему ты стремишься! А мы не забудем! Клянусь, не только мы, но и дети наши, и внуки не забудут твоих забот о несчастных!

— Мы люди одной веры, братья, да еще односельчане. Детьми, можно сказать, ели из одной миски. И если человек облечен доверием, если он сделан старшиной, он обязан заботиться о ближних, как наседка о цыплятах. Вот так!

Исмел не сдержался, спросил:

— Весть, которую ты сообщил, узнал в самом Владикавказе или прислали бумажку?

— Уговор — раз и навсегда,— спокойно возразил старшина,— не спрашивайте, как и через кого я добываю известия. Сами понимаете, как только власти узнают, что я и нанятый мной чиновник стараемся освободить государственных преступников, все дело лопнет, а нас посадят за решетку. И еще прошу: никому ни слова о том, что я добиваюсь освобождения ваших братьев. Обещаете?

И чабаны обещали от всего сердца: теперь они были уверены, что Бороков говорит правду.

А недоверчивый Исмел подумал: «Какая все-таки могучая сила народные обычаи! Даже злого человека вынуждают делать добро. Вот хоть бы Бороков, наш старый недоброжелатель и враг... Но и он так скован обычаями, что вынужден добиваться освобождения своих противников. Однако и от нас обычай требует позолотить руку того, кто делает доброе...»

— Мы знаем, Туган, что трудно поднимать молот бесплатно,— сказал Исмел.— Вот ты привлек какого-то чиновника, он занимается нашим делом,— значит, и ему надо губы помазать сладким. Нельзя оставить без внимания и того, с кем он связан... Я готов внести свою долю в расходы. Если можно овцами,— дам сейчас же. Если деньгами,— продам баранов и расплачусь.

— Золотой сын Бороко! — снял войлочную шляпу, поклонился Сохов.— Готов тебе в жертву принести свою душу! Помоги выйти на свободу нашим братьям, и мы никаких денег не пожалеем.

Старшина помедлил с ответом.

— Скажу честно, братья: вы правильно догадались, нужны будут деньги. Но я условился с чиновником, что мы заплатим только после того, как освободят заключенных. А сейчас мне не нужны ни ваши овцы, ни ваши деньги.

«Нет,— решил Исмел,— я все-таки напрасно так дурно думаю о нашем старшине!» И громко сказал Кабардову:

— Давай, юноша, давай, милый Мурат, разожги очаг, повесь над огнем котел, а я пойду за ягненком...

Бороков запротестовал: он же привез ягненка в подарок чабанам! Но Исмел не стал и слушать.

Трапезу устроили на свежем воздухе у входа в шалаш.

Молодое сочное мясо запивали русской джигит-водой и понемногу хмелели. Громко произносили тосты, желали удачи и счастья Борокову, а после четвертого тоста слегка опьяневший старшина стал угощать чабанов, назойливо приговаривая:

— Пейте, счастливые вы люди! Пейте, дорогие чабаны! Веселитесь, шумите! Живем один раз. Только один!

— Нет, Туган! — строго возразил Сохов.— Выпить лишнее — разгневать аллаха.

Обиженный взглянул на него старшина, но настаивать не решился.

Долго сидели чабаны под звездным небом. Много ели и, подняв руки к звездам, благодарили аллаха за изобилие, дарованное людям. Пели старинные песни о бесстрашных героях, чьи сабли овеяны боевой славой, чьи сердца полны радушия и щедрости.

Легли поздно, но Бороков встал на рассвете, чтобы управиться с делами, пока чабаны не угнали отары на выпасы. Едва поднявшись, он вытащил свою потрепанную записную книжку.

«Начинается!» — тоскливо подумали чабаны.

И началось.

— Ну, милейшие, кто будет первый, ы-ы? — спросил старшина.

Растерянно, почти виновато посмотрел на него Мурат Кабардов, который пас овец своих соседей. Был Мурат трудолюбив, горяч, усерден, понимал толк и в животноводстве, и в земледелии. И все-таки никогда не вылезал из долгов и никак не мог собрать денег на калым. А без калыма кто же выдаст дочь замуж? Вот и был он до сих пор не женат, хотя возраст его приближался к тридцати годам.

— Прячься не прячься, а начнем с тебя, Мурат,— сказал старшина,— загони-ка шесть овец из своей отары в закуток!

— За двадцать рублей шесть овец?! Что-то дешево платишь, Туган! Как же так?

— Во-первых, Мурат, на те двадцать рублей наросли проценты и ты мне должен теперь двадцать четыре рубля. А во-вторых,

заносчивый юноша, я вовсе не требую, чтоб ты расплатился овцами. Верни деньги — и делу конец.

— Если бы ты согласился подождать, пока возвратимся в селение...

Но Бороков уже не слушал. Послюнив карандаш, он вычеркнул из записной книжки фамилию Кабардова.

Мурат смотрел, и ему казалось, что это не карандаш царапает бумагу, а рукоять кинжала прошлась по его спине, сдирая кожу.

— Итак, юноша, ты вычеркнут из списка должников,— сказал старшина.

Больше Кабардов не просил, а взял герлыгу и отделил от своих десяти овечек шесть для Борокова. Хмурясь, он думал: «Дурак, ну зачем было просить, унижаться?! А женитьбу — к шайтану! В конце концов можно и не жениться! Прошелся старшина по бумаге, как по моей спине! Да ладно: почешусь — забуду...»

Тем временем Бороков обратился к Исмелу и Сохову:

— Ваше дело иное. В любой день вам могут понадобиться деньги, чтобы помочь несчастным. И я не могу требовать, чтоб вы вернули сейчас весь долг... Но если хотите продать несколько голов, я сразу готов уплатить...

Исмел и Сохов согласились на все; в счет долга один дал пятнадцать, другой девять голов, а кроме того, продали по десять баранов и шерсть осенней стрижки.

Бороков сразу вручил деньги. Чабаны пересчитали и переглянулись.

— Мало, Туган,— сказали они нерешительно.— Уплати хоть по три с полтиной за голову.

Старшина только покачал головой, а чабаны не решились настаивать...

Солнце поднялось, как говорится, уже на высоту копья, когда возчик Борокова погнал к соседнему кошу полсотни баранов. Старшина привязал своего Карего к задку повозки, сел на грядушку, взял вожжи и поехал вслед за своей отарой. Он ехал и рассматривал вторую страницу своей книжки. Рассматривал и улыбался в усы.

Возле шалаша стояли Сохов и Исмел. Они провожали Борокова взглядами, полными благодарности и надежды.

— Думаете, Бороков сдержит слово? — в сомнении спросил Кабардов.

— Пока у Тугана намерения честные... Да пошлет ему аллах удачу! — отозвался Сохов.

— Мне тоже сдается, что теперь он хлопочет искренне,— согласился Исмел.

И только Мурат Кабардов не верил ни в честность, ни в искренность старшины. Но не сказал ни слова.

3

Зрамук, сын Исмела, подошел к воротам бороковского дома и осмотрелся: было раннее утро, длинные тени лежали поперек улицы, вокруг ни души. Сунув два пальца в рот, подросток свистнул. Никто не отозвался, не вышел к воротам. Сложив руки рупором, Зрамук крикнул:

— Жа-нэ-эт!

Вскоре к воротам подошла Жангуаша, жена старшины; тронутые первой сединой косы она спрятала под косынку, завязанную узлом на лбу, над черными, вразлет, бровями. Спокойные голубые глаза смотрели ласково.

— Жанэт сейчас выйдет,— сказала она, чуть-чуть улыбаясь уголками губ.— Я слышала, милый, что ты хорошо учишься в медресе? Правда?

Зрамук покраснел до ушей; опустив голову, он что-то чертил в уличной пыли пальцами босых ног.

— Милый мальчик,— продолжала Жангуаша,— будь добрым, помоги учиться моей Жанэт! Хорошо?

Зрамук не ответил, но поднял голову и так взглянул, словно поклялся.

С любовью и грустью глядела на мальчика Жангуаша; когда-то, девушкой, Жангуаша любила Исмела. Любила сильно. И хоть жизнь сложилась не так, как мечталось, но старое чувство еще не совсем позабылось, и теперь она не пропускала случая поговорить со Зрамуком, который был так похож на отца.

— А вот и она! — сказала, оглядываясь, Жангуаша.

Из ворот вышла румяная, с чуть вьющимися, заплетенными в две косы черными волосами, аккуратненькая, как мать, Жанэт.

И долго еще смотрела Жангуаша, как удаляются две маленькие фигурки, весело щебеча, как скворцы весенним утром.

— Пойдем напрямик, через пустырь! — предложил Зрамук.

Жанэт покачала головкой, и косы зашевелились у нее на плечах:

— Нет, пойдем по улице...

— Через пустырь интереснее,— возразил Зрамук.— Помнишь, как мы там играли, когда были маленькими?

Жанэт смущенно улыбнулась и согласилась.

И они свернули на заросший кустарником пустырь, где когда-то был двор; но разрушился брошенный дом, рухнули и сгнили надворные постройки, истлел плетень, разрослись кусты, крапива, чертополох — и так интересно стало в этом одичавшем уголке.

В это время на сельской улице остановился учитель и мулла Мухамед-эфенди, подозрительно следя, куда вдруг свернули его ученики. Остановился и нахмурился и, покачав головой, провор-

чал негромко: «Ой, тут что-то неладное!..» Но ребята не видели его.

— А помнишь?..— спрашивал Зрамук, улыбаясь и блестя глазами.

Жанэт улыбалась в ответ и кивала. Ну, конечно, она помнила: здесь они устраивали кукольные свадьбы по всем правилам народного кабардинского этикета... Двадцать мальчишек гарцевали на хворостинках, а Зрамук докладывал тамаде:

— Двадцать джигитов готовы. Все вооружены. Кони оседланы, подпруги подтянуты. Ждем твоего приказа.

Тамада говорил:

— В добрый путь!

И Зрамук отправлял первым женский свадебный поезд на двух тачанках, а затем скакал и сам следом со своими двадцатью джигитами.

И хотя все было понарошку, но, право же, не хуже...

А разве этого не может быть и на самом деле?!

— Ты помнишь, Жанэт?..

Ну, конечно, она помнила... На полном скаку Зрамук хватал лежавшие на земле платочки, перескакивал на коне страшные канавы и рытвины, вскачь возвращался к свадебному поезду. И тогда Жанэт с грациозным поклоном принимала платки из рук Зрамука и играла храбрейшему из джигитов «кабардинку» на игрушечной гармонике. Зрамук закидывал левую руку за спину, правую поднимал и, возглашая традиционное «асса», на цыпочках подплывал к гармонистке, с поклоном приглашал...

— А ты помнишь, Зрамук?..

Ну, конечно, он помнил... Жанэт плыла лебедем навстречу, плыла по кругу, а Зрамук, как будто придерживая двумя руками кинжал, плясал с перепрыжками, с выпадами на коленях, вскидывал руки вверх, как взмахнувший крыльями орел, поднимался на носки и летел, летел, летел вокруг нее...

Пусть все это было игрой, но разве так не может быть на самом деле?!

Щебеча, как скворцы весенним утром, они подошли к медресе.

Зрамук задержался у ворот, подождал, пока Жанэт войдет в школу. Это — чтобы ребята потом не дразнили.

Низенький домик, крытый камышом, прежде был кунацкой — гостиной у муллы Мухамеда-эфенди и стоял у ворот поодаль от других строений. А когда мулла стал еще и учителем, он вынес отсюда тахту и старую кровать, содрал со стены оленьи рога, служившие вешалкой, и на том месте осталась впадина, в которой поселились пауки.

Вдоль стены медресе поставлены саманные кирпичи, на них положены длинные доски, а на досках сидят у одной стены — мальчики, у другой — девочки. А посреди комнаты стоит табуретка и лежат короткая палка и длинная хворостина, которой можно достать до любого угла медресе.

Школа разноголосо гудит, как растревоженный улей: одни учат вслух малый Коран, другие громко читают большой Коран да еще и разные суры [1] — кому какую задал учитель.

А вот и сам Мухамед-эфенди переступил порог, еще облизывая губы после завтрака.

Трудно сказать об аюбейском мулле, молод он или стар; нельзя назвать его красавцем, но и замухрышкой не назовешь: мужчина видный; невысок ростом, однако и не коротышка. Смуглый, черноволосый, с густыми бровями, в которых иные волосинки проросли далеко вбок и похожи на паучьи лапки; пожалуй, мулла скорее курнос, чем длиннонос; губы у него толстые и слегка отвислые, а подбородок широк, отчего и кажется, что духовный наставник аюбейцев упрям и несговорчив.

При всем этом Мухамед-эфенди славится изысканностью одежды и манер: папаха его золотится на солнце, бешмет медового цвета со стоячим воротником и множеством петель из черных шелковых ниток, синяя черкеска с белыми газырями, пояс и кинжал украшены золотыми чеканными бляшками, на ногах легкие сафьяновые чувяки. Говорит Мухамед-эфенди не в пример другим утонченно и несколько туманно, то и дело прибавляя «это самое» и «таким образом». И надо сказать, что такая изысканная манера выражать свои мысли производила впечатление, хотя за глаза муллу зовут теперь «Это самое».

Чаще иных произносят это прозвище люди из дворянских и княжеских семей, чтоб унизить муллу — выходца из простых крестьян.

Сам Мухамед-эфенди очень высокого мнения о себе и чувствует себя полномочным представителем аллаха в Аюбее. К своему же происхождению из простонародья относился мулла двояко; среди простых людей, бывало, говаривал: «Меня вскормил и выучил народ. Я ел тот чурек и тот кусок мяса, что вечерами клала в мой заплечный короб [2] щедрая рука крестьянина. Может, крестьянин сам оставался голодным, но мне не отказывал, знал: когда выучусь и стану муллой, буду защитником от произвола господ. Клянусь, с тех пор как, по воле аллаха, мне в руки вложили священный Коран, я верой и правдой служу вам...» Зато в компании дворян тот же Мухамед-эфенди называл крестьян презрительной кличкой «жагилы», то есть темное грубое стадо. Про это знали все и говорили, что мулла шатается, как седло на слишком откормленном коне.

Сидящие сейчас перед муллой мальчишки и девчонки, конечно, тоже прицепили ему какое-нибудь прозвище, но никогда не посмеют произнести вслух. Мулла строг. За всякую провинность больно бьет по ладоням просмоленной палочкой из боярышника.

---

[1] Сура — глава из Корана.

[2] Учащиеся кабардинских мусульманских семинарий жили на подаяние, которое собирали, обходя по вечерам двор за двором.

Мулла сидел на своей табуретке и, шевеля толстыми, еще жирными губами, громко читал суру Корана, которую собирался задать кому-нибудь из учеников. Ученики вразнобой голосили, читая иные суры, голосил со всеми и Зрамук, пока ему не сделалось скучно. Тогда он умолк и стал глядеть на ту самую впадину в стене, в которой поселились пауки и где сейчас билась большая муха, громко жужжа отходную суру Корана.

Но тут Мухамед-эфенди оторвал глаза от Корана и заметил, что у Зрамука не шевелятся губы. Он немедленно подхватил хворостинку и несильно стегнул мальчика по голове, назидательно присовокупив:

— Не глазей! Читай!

И Зрамук заголосил снова. Но, как и все остальные, он, умея читать без запинки, совсем не знал арабского языка и потому не понимал ни единого слова. И вскоре снова заскучал.

Теперь подросток стал глядеть не на муху, а на свою прилежную подружку Жанэт, которая усердно тянула нараспев какую-то суру.

На этот раз Мухамед-эфенди всерьез оскорбился непослушанием ученика и хлестнул Шогемокова весьма чувствительно. Ребята засмеялись, а Зрамук покраснел от обиды, потер рукой голову и опять взялся за Коран. Но теперь его жгло желание отомстить.

Наступил полдень. В медресе стало совсем душно. Мухамед-эфенди почувствовал утомление.

— Это самое,— громко сказал он,— мы поступим так... Приближается святой праздник великого аллаха — курман-байрам. Отправляйтесь на кладбище и над могилами родных почитайте Коран. Это будет святым, богоугодным делом! Ступайте!

Радостно высыпали дети из медресе на свежий воздух. Зрамук не пошел с другими на кладбище, а, вернувшись домой, долго рылся в сарае и амбаре, что-то разыскивал.

Наконец, лукаво ухмыляясь, вытащил из заваленного разным хламом угла моток ржавой проволоки, невесть откуда попавший в село, где всякий кусок железа ценится и сберегается, как вещь редкая, городская, привозная.

А когда стало смеркаться, Зрамук бесшумно, как летучая мышь, пробежал мимо дома муллы, потом неторопливо прошел мимо ворот, осматриваясь и прислушиваясь. Тихо было во дворе и в доме. Мулла совершал вечернее моление в мечети.

Узким переулком шмыгнул Зрамук в калитке, через которую обычно возвращался домой Мухамед-эфенди, оглянулся, прислушался, вытащил проволоку и, натянув поперек калитки, закрепил концы. И пустился бежать что есть духу. Но отбежал и остановился: месть сладка, когда совершается на твоих глазах; а вдруг мулла заметит подвох и ничего не выйдет, а он, Зрамук, будет думать, что отомстил?

И мальчик вернулся, перескочил через плетень и затаился в зарослях молодой акации.

Долго и терпеливо ждал Зрамук.

И вздрогнул, когда во тьме послышались шаги и солидное покашливание муллы. Скрипнула калитка... «У-у-уй, шайтан! — взвыл, рухнув, Мухамед-эфенди.— Что за безмозглые твари живут в моем доме! Бросают как попало все, что подвернется под руку!»

Ругаясь и стеная, мулла поднялся и побрел в дом.

Когда за муллой закрылась дверь, Зрамук быстро снял проволоку и, ликуя, поспешил исчезнуть во тьме ночи.

Утром Мухамед-эфенди пришел в медресе мрачный, с поцарапанным лицом, кое-где залепленным кусочками папиросной бумаги. Зрамук невольно пожалел, что поступил так жестоко. Но, вспомнив, как ругался и стонал почтенный мулла, едва не прыснул. Только мысль о том, какое его постигнет наказание, погасила желание рассмеяться.

— Это самое, значит,— мрачно сказал Мухамед-эфенди.— Приближается святой праздник курман-байрам... К тому же я что-то не совсем здоров... А поэтому отпускаю вас на неделю. Идите. Отдыхайте, дети!

Зрамук и Жанэт шли домой вместе. Мальчик что-то горячо рассказывал, давясь смехом; девочка слушала, глядя на него широко раскрытыми восторженными глазами, а потом закинула головку и тоже звонко расхохоталась.

Угрюмо смотрел им вслед стоявший у ворот медресе Мухамед-эфенди. Нет, он не слышал, о чем говорят, над чем смеются Зрамук и Жанэт, но ему не нравилась их дружба. «Чего это они все время ходят вместе? И глядят друг на друга, как на диковинных птиц? Будто людей не видали! Не-ет, тут что-то не так! Надо бы присмотреть... Шайтан — он силен...»

4

В Аюбей приехал на каникулы воспитанник Нальчикского реального училища шестнадцатилетний Адальбий Бороков, любимый и балованный сын старшины. Был он бледен и тощ, не отличался ни силой, ни красотой, но одевался как взрослый, носил черкеску вишневого цвета с белыми газырями, сафьяновые сапожки с золочеными пряжками и дорогую папаху. А иной раз, случалось, нацеплял на пояс кинжал и даже револьвер в кобуре.

И конечно, он появлялся на всех вечеринках, где поднимали заздравные чаши, где играла гармоника и танцевала молодежь.

И надо же было случиться, чтобы на одной из таких вечеринок, забыв о присутствии Адальбия, кто-то сказал, будто старшина Бороков не только не спасал Пшикана Шогемокова и многих других, а, наоборот, приложил руку к тому, чтобы осудить, за-

гнать их на каторгу. Адальбий нашумел, надерзил; его не стали слушать. Тогда Адальбий бросился к своему дяде Болату.

— Кто болтает?! — злобно спросил Болат.

— Увжуко Шогемоков, вот кто! — ответил Адальбий.

Посвежевший, с пышно разросшейся бородой, сбросив в горах лишний жир, в отличном настроении вернулся в Аюбей старшина. Там, на альпийских лугах, остались закупленные им и взятые в счет долгов отары, стада, табуны... Туган весело усмехнулся в пышные усы и сощурился, как сытый кот.

Выслушав брата и сына, Туган некоторое время сидел в раздумье.

— Будете смелыми и сильными,— сказал он наконец,— побоятся болтать всякую чушь... Надо заставлять этих хулителей брать обратно свои слова при тех же людях, при которых произносили!

Болат хотел было сказать, что уж больно много хулителей в Аюбее. Даже раскрыл рот, но Туган сурово остановил:

— Ты слышал, ы-ы?

— Слышал.

— Тогда не спорь. Понял?

Болат и Адальбий переглянулись: значит, отныне нельзя ничего никому прощать, чтобы чувячники совсем не распустились!

И они ушли, готовые схватиться с любым...

А глава рода задумался: как возблагодарить всевышнего, что все обошлось благополучно? Как приблизиться к тем людям, в чьих руках власть? Будешь дружен с власть имущими, удержишься в седле; иначе завистники схватят за ноги, стащат с коня и растопчут.

Вскоре Туган Бороков объявил, что в память своего отца, умершего давным-давно и теперь всеми позабытого, он устраивает большой праздник и скачки. Говор пошел по селению. «Ну, конечно,— говорили недоброжелатели.— Туган достиг сейчас полудня своей славы. Жезл правления в его руках. Разбогател. И такими поминками хочет еще больше возвысить род Бороковых...»

Может быть, они не ошибались.

Прямо у ворот бороковского дома стояли чаны с хмельной медовухой, и каждому, кто входил во двор, подносили полный деревянный чанак, предлагали горячее мясо откормленных к празднику волов и валухов.

Именитые гости — а Туган Бороков пригласил многих знатных людей и чиновников Нальчикского округа — сидели в кунацкой, поминая добрым словом «несравненное мужество, необыкновенную доблесть и неиссякаемую щедрость незабвенного Долата Борокова»,— в конце концов на поминках не принято говорить дурное... Да и что толку вспоминать проступки покойника!

Личные вещи Долата Борокова — черкески, бешметы, пояса, папахи — были разложены на бархатных подушках по просторной тахте; его оружие — старинное длинноствольное ружье, кремневый пистолет, огромная шашка, мерка для пороха — висело на ковре.

— Прибыли гости из Нальчика! — доложили Тугану.

И старшина поспешно вышел встречать прибывших.

Нет, начальник округа полковник Клишбиев не приехал! У Тугана даже лицо вытянулось. Но, впрочем, он тут же повеселел, увидев Хамида Чежокова, известного юриста, человека безупречной репутации. «Слава аллаху! — Старшина возвел глаза к небу.— Такой гость делает благородным золотом даже железо, когда его касается!»

Все, кто был во дворе, произнесли короткую поминальную молитву в память Долата, и почетные гости вошли в кунацкую.

Чаша пошла по кругу; следом несли закуску, но гости ели мало: этикет запрещал проявлять нетерпение и жадность.

Туган поднял голову и взглянул в сторону входной двери, где у порога стояли импровизатор-певец и музыканты. И, поняв знак хозяина, певец красивым баритоном запел о «знаменитом из знаменитых мужей Долате Борокове»; он сравнивал Долата то с луной, то с солнцем, его мудрость — с Эльбрусом, его мужество — с мужеством нартов-богатырей, его щедрость — со щедростью земли и осени... А музыканты подпевали, играли на зурне и похожей на арфу пшинодыкуаке.

И под эту песню гости снова заговорили о Долате Борокове, как о муже из мужей, как о витязе и герое.

Это был день наивысшей славы рода Бороковых!

— А когда скачки?

— Как только пожелают дорогие гости! — воскликнул счастливый Туган.— Прошу вас, господа!

И гостей в тачанках отвезли на просторную сельскую площадь, где для них был поставлен шатер.

По обе стороны улицы стояли люди, заслонив собой и беленые стены домов, и плетни, и калитки; все, кто мог двигаться, вышли посмотреть! И все с великим вниманием рассматривали участников скачек: мужчины больше интересовались конями, а девушки — молодыми наездниками. Мальчишки не сводили глаз со своих счастливых сверстников, гарцевавших на скаковых лошадях.

За всадниками, что ехали шагом, шумной гурьбой повалили дети на широкое поле, откуда должны были начаться скачки. Ребятишки уселись по обе стороны дороги на траве. Девочки сидели стайкой отдельно, плели венки, примеряли, переплетали снова, и в изящных их движениях нетрудно было угадать движения рук взрослых женщин, когда те вышивают золотом.

А задорный народ — мальчишки — шумел, проказничал, боролся, дрался, спорил, кто победит на скачках. Маленькие знатоки

утверждали, что в долгом беге нечего рассчитывать на гибкого и длинного коня; что среди коней рыжей масти бывает много слабосильных; что, вероятнее всего, первым придет вороной конь Боровых, на котором поскачет Адальбий...

Споры были прерваны криком:

— Едут! Едут!

Всадники мчались проселочной дорогой меж холмами предгорий. Первым шел вороной конь Адальбия. И только пятым скакал Зрамук на гнедой кобылке с белой звездочкой на лбу. Адальбий не сомневался в победе, но все же торопил, подхлестывал коня; вороной летел, низко опустив голову и так быстро перебирая ногами, что казалось, будто они не касаются земли, а мелькают в воздухе... Зрамук, наоборот, не только не торопил Звездолобую, но даже сдерживал, туго натягивая поводья.

— Адальбий! Адальбий! — кричали ребятишки.

Жанэт вскочила, чтобы увидеть брата. Она и радовалась, что он побеждает, что Адальбий такой ловкий джигит, и вместе с тем печалилась, что слишком уж отстает от него Зрамук; нет, ей не хотелось, чтобы Зрамук обогнал Адальбия, но почему бы Звездолобой не приблизиться к вороному, не прийти второй!..

И, казалось, Звездолобая услыхала!

Медленно, но упорно Зрамук настигал скакавших впереди. Вот он обогнал четвертого, вот приближается к третьему...

Но тут пыль, поднятая всадниками и влачившаяся за ними длинной пеленой, на момент скрыла от Жанэт скачущих, а когда ее отбросило ветром движения, Жанэт ахнула: Звездолобая скакала без всадника!

— Ой! — воскликнула девочка.— А где же... Где Зрамук?!

— Да вон же,— засмеялись мальчишки.— Просто прижался к холке, чтоб коню было легче...

Зрамук не подгонял, не подхлестывал лошадь. «Давай, давай!» — ласково приговаривал он над прижатыми ушами Звездолобой, изредка похлопывая ее ладонью по шее. А когда поравнялся с третьим всадником, ослабил поводья, и Звездолобая поняла: ей дали свободу!

Вот он настиг и второго всадника. «Быстрей! — сказал Зрамук в шелковое ухо лошади.— Ну еще, ну еще немножко!» И Звездолобая птицей пронеслась мимо второго всадника. Теперь она наседала уже на вороного.

Оглянувшись, Адальбий гневно ударил коня плетью. И еще, и еще!

А мальчишки растерялись... Они так горячо кричали, что вороному нет соперников, так были уверены в победе Адальбия, что теперь не верили своим глазам. В замешательстве они молча толпились у дороги.

А Жанэт цвела и сияла, голубые глаза ее были полны таким счастьем, таким упоением и азартом, что казалось, сейчас сорвется она с места, и побежит, и взлетит, и догонит...

В Кабарде говорят: «Если всадник растеряется, и хороший конь перестанет скакать...» Чувствуя приближение Звездолобой, Адальбий нещадно порол вороного плетью, но конь не только не прибавлял хода, но шел все тяжелее и тяжелее.

И вот Звездолобая поравнялась с вороным.

Зрамук приподнялся и, ликуя, крикнул: «Еще, умница! Еще чуть-чуть!»

Внезапно озверевший от азарта и гнева Адальбий резко толкнул Зрамука. От неожиданности Зрамук потерял равновесие, пошатнулся...

Не в силах смотреть, как падает Зрамук, Жанэт закрыла руками глаза...

— Разбился! Разбился! — услышала она взволнованные голоса.

А Звездолобая резко остановилась, оглянулась, подошла к упавшему седоку.

Гурьбой бросились на помощь ребятишки.

Но Зрамук, превозмогая боль и головокружение, уже поднялся, неверной ногой нащупал коленный сустав лошади, ступил на него, как в стремя, взобрался — и Звездолобая рванулась вперед, вослед проскакавшим; рванулась, опустив голову, таким стремительным, плавным, сумасшедшим галопом, что ребятишки даже рты разинули...

Ликование детей заставило Жанэт открыть глаза.

— Что?! Что случилось? — спросила она, сама не веря своим глазам.

Но ей не ответили. Презрительно взглянув на сестру Адальбия, человека, совершившего бесчестный поступок, ребятишки побежали к селению, оглашая окрестности визгом и радостными воплями.

Жанэт не знала — рыдать от обиды и позора или смеяться от радости, что все обошлось благополучно и Зрамук жив. В нерешительности она одиноко стояла в опустевшей степи, не зная, что делать. Было стыдно за брата, было стыдно идти по сельской улице, где даже девочки-сверстницы будут отворачиваться или насмехаться. Но ведь нельзя оставаться одной в пустой степи...

И она поплелась за убегавшей детворой.

Теперь она уже не считала себя счастливой.

Жанэт торопливо шла переулком, когда увидела впереди Зрамука. В правой руке он держал флаг победителя, к которому были прикреплены персидская шаль, косынки, золотое кольцо, разные безделушки. В левой руке Зрамука была длинная корзина, искусно сделанная из нанизанных на суровые нитки грецких орехов, которой по обычаю награждают победителя.

Звездолобая шла, гордо закидывая голову и пританцовывая, а всадник, хоть и были на лице его царапины и ссадины, сиял и улыбался.

Увидев Зрамука, Жанэт, как полагается женщине при встрече, остановилась, чтоб не переходить дорогу тому, кто носит папаху.

Не смея взглянуть в глаза другу, Жанэт стояла и ждала, пока он проедет мимо. Но Зрамук не проехал. Он остановил коня перед Жанэт, склонил перед ней флаг победителя так, чтобы она могла отвязать любую вещь, какая понравится. Ему хотелось предложить Жанэт персидскую шаль, но это могло бы вызвать потом насмешки и нарекания: вот, мол, из молодых, да ранний! И, поколебавшись, вздохнув, Зрамук предложил Жанэт красивую косынку и золотой перстень. Зардевшись, Жанэт словно бы окаменела; казалось, она даже перестала дышать. Тогда Зрамук сам сорвал с флага подарки и подал девочке. И сказал совсем по-взрослому, как повелевал обычай:

— Недаром, видно, говорится, что лань и девушку украшает скромность! Бери, красавица!

Жанэт приняла подарки, но не сказала ни слова. Она смущенно стояла перед Зрамуком, опустив голову. Весь вид ее выражал растерянность и недоумение. Казалось, она молча спрашивает: «Как же ты пришел первым, когда я видела, что ты упал?» И Зрамук понял:

— Туган не оставил без награды и Адальбия: дал ему одну пощечину и четыре плети!

И только тогда Жанэт подняла голову и взглянула на Зрамука с ясной и чистой улыбкой: отец смыл позорное пятно с Бороковых!

Люди расходились после скачек, громко разговаривая.

Кое-кто удивлялся: почему старшина подарил памятное наследство Долата — саблю, пистолет, позолоченный кинжал — Чежокову, человеку хоть и известному в Кабарде, но еще сравнительно молодому и не знавшему Долата лично?

Увжуко Шогемоков, все еще не остывший после истории с Адальбием и Зрамуком, сказал насмешливо:

— Хоть старшина и посвятил скачки памяти отца, но сам смотрит не назад, а вперед. Он устроил праздник потому, что сумел увильнуть от расплаты за Зольское восстание. Других упекли, а он из воды вылез сухоньким! Как не порадоваться!

Надо ж было случиться, что позади шел Болат Бороков.

Он обогнал Шогемокова, загородил дорогу, зло переспросил:

— Ты что сказал, ы-ы!

— Сам слышал! — так же зло ответил Увжуко.

— А ну-ка, повтори!

— Мужчина не повторяет дважды.

— Ничего, найду другое место и другое время: придется тебе повторить, Шогемоков! — И Болат быстро пошел вперед.

— Зачем откладывать? — крикнул вслед Увжуко.— Вот посажу перед тобой свою папаху: попробуй тронь!

Обозленный Болат обернулся, выхватил булатный кинжал, пошел назад. Увжуко тоже взялся за кинжал. У обоих глаза горели ненавистью.

Но люди схватили обезумевших от ярости молодых людей, не дали им приблизиться друг к другу.

Поняв, что ему не вырваться из объятий двух дюжих односельчан, Болат хрипло крикнул:

— Запомни, Шогемоков, не прощу!

— В любой час готов встретиться, Бороков! — ответил Увжуко.

5

— Делай со мной что хочешь, а в медресе не пойду! — насупившись, твердил Зрамук матери.

— Да упаси тебя аллах! Что ты городишь? Вернется отец с пастбищ, убьет!

— Да... Когда стали учить суру «Кулхола», другие принесли учителю и гедлибже [1], и куейжапхе [2], а я что принес?

— Меня же не было дома, сынок,— оправдывалась Хакулина.

— А когда надо было прищемить язык серебряными монетами и шелковым платком, ты мне дала их? Мне прищемили язык? Другим прищемили, а мне нет!

— Аллах милосердный! Да я б с радостью дала тебе и серебро и платочек, но ведь их нет у меня! Свидетель аллах и сотворенное им небо, нету, Зрамук!

— Мухамед-эфенди не знает, что у тебя есть, чего нет. А вот я за все время не сделал ему ни одного подношения... Он теперь смотрит на меня косо.

В медресе был обычай, который свято соблюдали все ученики: учитель «прищемлял» или «ломал» ребенку язык, зажав монетами, и оттого сразу будто бы становилось легче произносить трудные арабские слова.

Черная, худая, тонкогубая Хакулина славилась в селении жадностью, и Зрамуку было стыдно за мать. Вот сейчас они начинали учить суру «Алкари хату, малкари хату», и по давней традиции полагалось подарить учителю черную овцу [3]. И Зрамук требовал овцу: «Иначе не пойду в медресе!»

Хакулина знала, что Исмел будет сильно огорчен, если Зрамук перестанет учиться.

— Клянусь аллахом, Зрамук! — причитала она.— Призываю в свидетели небо! Если будешь учиться, то, как только вернется

[1] Гедлибже — курятина, приготовленная на сметане со специями.
[2] Куейжапхе — блюдо из творога и сметаны.
[3] Эта традиция возникла из случайного совпадения арабского слова «малкари» с кабардинским «мал кара» — черная овца.

отец с пастбищ, ты отведешь Мухамеду-эфенди жирного барана. Такого барана, что все станут завидовать. Иди, сынок, иди в медресе. О моем обещании можешь сказать учителю...

Но Зрамук не соглашался идти с пустыми руками.

Медленно, неохотно отцепила Хакулина от передника английскую булавку, которой был приколот ключ; так же медленно, нехотя подошла к сундуку и постояла в раздумье: уж очень жалко брать деньги из той небольшой суммы, что выручила, продавая яички, масло, петушков... Наконец она со звоном отперла старинный замок и стала рыться в сундуке. Долго, очень долго рылась Хакулина! Ей хотелось найти два серебряных двугривенных, но, как назло, двугривенных не было, и Хакулина выпрямилась, глядя в тяжком замешательстве на лежащие в ладони два серебряных рубля.

Наверное, она все-таки положила бы обратно в сундук один рубль, если б не вмешалась соседка, которая пришла попросить немного соли.

— Хакулина, милая,— воскликнула она,— да разве одной монетой прищемишь язык? Клянусь аллахом, ничего не выйдет. Нет, нет, не получится. Да и обычая такого нет, чтоб одной монетой прищемлять язык...

— Целых два рубля... Шутка ли?! — сокрушалась хозяйка.

— Да что ты, Хакулина! Мухамед-эфенди постесняется взять оба рубля. Вернет, обязательно вернет один-то рубль. Вот увидишь.

Нехотя протянула мать сыну монеты и платочек.

И, взяв под мышку Коран, довольный Зрамук побежал в медресе.

Мулла уже задал уроки ученикам и теперь сам читал нараспев Коран, показывая, как надо читать. Он как будто не заметил Зрамука, даже не спросил, почему мальчик опоздал.

Обеспокоенный Зрамук подошел к учителю, держа в руке монеты и платок. Мухамед-эфенди недовольно поморщился, и мальчик поспешил заявить:

— Мама сказала, что, когда вернется с пастбища отец, мы приведем тебе и валуха. Откормленного.

Мулла не стал расспрашивать: он знал, что Исмел сдержит обещание своей жены.

— Присядь-ка и высунь язык! — приказал мулла.

Ох, как старательно высунул язык Зрамук: ведь он искренне верил, что ему станет легче читать арабские слова! Мулла схватил кончик языка сначала платком, а затем и монетами, потянул вправо, влево, чувствительно прищемил и сказал:

— Ну вот, значит, твой язык обломан, Зрамук. А теперь иди на свое место, это самое.

Зрамук отошел не сразу: он ждал, что мулла вернет хоть одну монету. Но Мухамед-эфенди завернул оба рубля в платок и сунул в карман.

И Зрамуку оставалось отправиться на место, раскрыть Коран на той суре, что начинается словами: «Алкари хату, малкари хату». Мальчик и сейчас не понимал, что он читает, но читал увлеченно и с вдохновением. Как же: ведь ему сегодня обломали язык!

Последние дни стояло ненастье, трое суток лил дождь. А нынче день выдался солнечный, ласковый, веселый; вокруг все сверкало свежестью.

И дети задержались у медресе, не спешили расходиться. И щебетали. И смеялись. Щебетали и смеялись неумолчно, неугомонно.

Как хороша была сегодня Жанэт! Еще угловатая, но рослая, румяная, с заплетенными в косы и слегка вьющимися черными волосами, с глубокими озерами больших блестящих глаз под черными вразлет бровями.

Зрамук чувствовал, что не может расстаться с Жанэт.

— Ребята! — крикнул он.— Пойдем в лес за яблоками!

— И малины наберем! — добавил черноглазый, румяный красавчик Азамат, прозванный за малый рост «Коротышкой».

Все согласились с радостью: наскучались дома во время непастья. И веселой оравой, крича, смеясь, обгоняя друг друга, побежали за село в ущелье.

Вспотевшие, запыхавшиеся, добежали до речки. Солнце не просто пекло, а обжигало, «кусалось», как сказал, потирая шею, Азамат. И ребята остановились в речной прохладе под развесистой вербой...

— Искупаемся? — предложил Азамат.

Девочки в нерешительности посмотрели на мальчишек — и Зрамук понял: это укромное местечко надо оставить им.

— Эй, джигиты! — крикнул он.— По коням! За мной!

Красавец Азамат презрительно усмехнулся: он не любил Зрамука и видел в нем соперника; Азамат сам хотел командовать мальчишками, а командовал Зрамук; Азамату нравилась дочь Тугана Борокова, он так и вился вокруг Жанэт, девчонки уже стали поддразнивать ее, но Жанэт явно пренебрегала Азаматом. И самолюбивый мальчишка злился.

— Князь без княжества, командир без войска, всадник без лошади, в какой это поход ты собрался?! — крикнул он Зрамуку.

Ребятишки захохотали. И только Жанэт взглянула на Азамата с презрением и гневом.

— Коротыш, без тебя куда ж мне ехать? И что я могу совершить без твоей помощи?! — насмешливо отозвался Зрамук.

Азамат терпеть не мог своего прозвища и, услышав его, вспыхивал, как спичка. Вот и теперь он побагровел и сжал кулаки.

— Ну, ты...— крикнул он запальчиво.

И в тот же миг Зрамук схватил его, поднял и бросил в речку.

— Купайся, дорогой! — сказал он, слегка запыхавшись от короткой борьбы.

Жанэт весело расхохоталась, закричала:

— Смотрите, смотрите, буйволенок тонет!

И, наверное, это было всего обиднее Азамату: плавал он хорошо, у берега было неглубоко и утонуть здесь мог бы только новорожденный младенец. Но это новое прозвище «Буйволенок»! И от кого?!

Мрачный вылез он на берег и пошел в лес один, не оглядываясь.

А мальчишки двинулись вверх по реке, сказав девочкам, что они могут спокойно купаться в этом укрытом густой вербой уголке.

Раздевшись у широкого разлива на излучине реки, мальчишки долго плавали наперегонки от берега к берегу, потом швыряли камешки, соревнуясь, кто кинет дальше, испытывали силу, подымая тяжкие валуны, и так увлеклись, что не слышали, как девочки давно и упорно зовут идти дальше.

Сперва шли опушкой леса, слушая шум быстротекущей горной реки; а дальше углубились в лесную, тихую в полдень чащу, где все оцепенело в зное и безветрии. В этой тишине далеко слышались юные голоса и веселый смех захмелевших от свободы детей. Конечно, не обошлось без споров, куда лучше идти, где больше малины, где слаще лесные яблоки-дички... Постепенно все разбрелись. Жанэт и Зрамук оказались вдвоем. Весело болтая, они шли к заветному старому дубу.

В тени старого дуба они остановились передохнуть и вдруг поняли, что вокруг никого нет. Смутившись от этой уединенности, они стояли, искоса посматривая друг на друга и не смея заговорить. Оба понимали, что молчать неловко, но не могли произнести ни слова. Они в растерянности срывали листья, мяли в руках, бросали, отламывали сучки, крошили и тоже бросали. Случайно встретившись взглядами, оба мучительно краснели и сразу опускали глаза.

Внезапно со стороны Эльбруса донесся гулкий раскат грома, горное эхо его подхватило. Только теперь Зрамук и Жанэт заметили над вершинами леса первые грозовые облака.

— Э-ге-э-эй! — закричал что было мочи Зрамук.— Ребя-ата! Сюда! Бегите к ста-аро-му дубу!

Никто не отозвался, только первый порыв грозного ветра прошумел в лесу, дохнул свежестью.

— Пойдем домой,— вдруг попросила Жанэт.

Но едва они отошли, как начался ливень, и все вокруг разом посерело, померкло. Словно загоревшись в самом чреве неба, вспыхнула молния, и тут же с треском ударил гром, вызвав глухое эхо в лесу, а затем по небу прокатился такой страшный гул, что казалось, сейчас взорвется и рухнет вселенная. Дождь теперь лил сплошными струями, по которым хоть подымайся на небо.

Под мощным деревом было еще сухо, и промокшая до нитки Жанэт прижалась спиной к стволу. Зрамук поднял на нее глаза и тут же опустил в смятении: мокрая кофта облепила тело девушки, и впервые Зрамук заметил маленькие грудки Жанэт.

— Садись вот сюда,— глухо сказал он, указывая сухую впадину меж корней, и сам сел рядом, прижался к Жанэт, закинул руку ей за спину, чтоб согреть; он видел, что промокшая девушка зябнет.

Много раз попадал Зрамук под дождь, много раз сидели они, мальчишки, вот так, прижавшись друг к другу, чтобы согреться и просушить одежду... Но сейчас он всем телом ощущал, что прижимается не к мальчишке; тепло, что шло от Жанэт, было особенное, оно словно бы пьянило Зрамука. Здесь, под дубом, в грозу, он впервые понял, что Жанэт уже не просто школьная подруга, а девушка, с которой надо и обращаться по-другому.

Тяжело вздохнув, он нехотя, медленно убрал руку, положил на свои колени. Затем немножко отодвинулся. И вдруг почувствовал, что у него краснеют уши...

А Жанэт, застывшая от смущения, думая, что совершилось что-то недозволенное, поднялась и предложила:

— Пойдем домой. Дождь прекратился.

Едва они отошли от дуба, как Зрамук заметил какое-то движение в кустах, а вскоре различил и убегающего Коротышку. И Зрамук понял, что красавчик Азамат следил за ними, что обо всем увиденном и неувиденном он завтра же донесет Мухамеду-эфенди. В ярости и отчаянии бросился он вдогонку, но его остановил крик Жанэт:

— Ой, куда ты?! Я боюсь одна...

Пришлось вернуться. Чтоб не огорчать Жанэт, Зрамук сказал ей, будто увидел маленькую косулю и хотел попытаться поймать.

6

Снова установилась жара.

В душном медресе Мухамед-эфенди никак не мог справиться с дремотой, то и дело умолкал с полуоткрытым ртом, уронив голову на грудь. И так же внезапно просыпался и зорко вглядывался в лица учеников: все ли шевелят губами, все ли читают Коран? И сейчас же поднимал хворостину, если замечал непорядок.

На этот раз удар хворостиной достался Зрамуку.

И мальчик снова начал читать священную книгу.

Самому мулле этот удар хворостиной помог на минуту справиться с дремотой, многих учеников напугал, как вполне возможное возмездие и для них, а некоторых рассмешила растерянность очнувшегося Зрамука...

Но вскоре Мухамед-эфенди снова уронил голову на грудь и негромко, но внятно всхрапнул.

Зрамук поднялся, взял кумган и вышел, будто бы по неотложной надобности. Шел он медленно, на цыпочках. А когда вышел из медресе, повернул не к уборной, а к гумну.

Здесь на небольшом бугорке Зрамук уже давно прорыл узкую канавку, по бокам воткнул палочки с развилинками, как у рогатки, укрепил на них ось из кукурузного стебля, а на ось надел колесико с лопастями. Так получилась у него водяная мельница.

Вот и сегодня он вылил воду их кумгана в канавку и, улыбаясь, с увлечением смотрел, как заработала его мельничка. Право, это было гораздо веселее, чем голосить непонятные слова в душной комнате медресе. Потом Зрамук сходил к колодцу и снова лил воду из кумгана в канавку. Но у колодца его заметил внезапно проснувшийся Мухамед-эфенди и вышел посмотреть, для чего подростку понадобилось так много воды.

Ничего не подозревая, Зрамук все лил воду и увлеченно глядел, как вращается мельничное колесо. Но вода кончилась, и, огорченно вздохнув, Зрамук присел на корточки.

В плечо мальчика вцепились длинные пальцы муллы.

— Так-то ты учишь святой Коран, бездельник!

Мулла считал своим долгом воспитывать учеников в строгости и трепете, а главное, так, чтоб никому и в голову не приходило ухаживать за девочками. И сегодня он решил дать предметный урок всем.

Мухамед-эфенди привел Зрамука в класс, сел на свою табуретку, рядом поставил провинившегося.

— Сейчас я тебя научу, как забавляться игрушками да увлекаться девочками!

Зрамук побледнел. Искоса он взглянул на Жанэт. Она сидела с восковым лицом, не смея дохнуть.

— Давай сюда! — сказал мулла.

И хотя он не пояснил, что нужно дать, Зрамук без колебания и боязни протянул левую ладонь.

Мулла медленно поднял палку из боярышника, так же медленно взял руку подростка у запястья и, размахнувшись, изо всей силы ударил. Зрамук издал чуть слышный стон. Удар пришелся по самому краю большого пальца, возле ногтя. Там сразу обозначилось кровавое пятнышко.

Наставник как будто хотел ограничиться одним ударом, но стойкость ученика разозлила его. И мулла ударил второй раз. И снова Зрамук выдержал, не заплакал.

Каждый удар палки из боярышника отзывался острой болью в душе Жанэт. Она не могла смотреть на истязание, опустила голову и при всяком свисте палки и шлепке по ладони болезненно вздрагивала.

Взбешенный упрямством паренька, который не плакал и не просил пощады, Мухамед-эфенди прошипел сквозь зубы:

— Не-ет, собачье отродье! Таким образом, значит, я заставлю тебя сдаться!

И нанес изо всей силы новый удар по тому самому месту — у края большого пальца.

И тут Зрамук бессильно опустился на пол.

Правда, мгновение спустя он поднялся и снова протянул ладонь, но мулла уже был удовлетворен.

— Иди и садись на свое место! — приказал он.

Зрамук не сел. Он подошел к своему месту, взял Коран и сумку, пошел к двери.

— Куда?! — закричал Мухамед-эфенди.— А ну, сейчас же назад!

Но Зрамук даже не обернулся. Он вышел из медресе, чтобы больше туда не вернуться.

А багровый от гнева мулла приказал Жанэт:

— Завтра утром приведи его в медресе! Слышишь?

Потрясенная Жанэт еще ниже опустила голову.

7

Еще зелена трава на альпийских пастбищах, но нет уже в ней цветов и былой свежести. Горный ветер, что нес прежде человеку бодрость, теперь пронизывает холодом даже сквозь одежду. Капризные реки, что гремят в глубоких, узких ущельях, уже не прозрачно чисты, как зимой,— посветлевшие, пенные, они с диким ревом мчатся вниз. Теперь туман не только наполнял ущелья, но и полз по утрам с вершины на вершину. Начинались холода.

Наступала пора возвращения стад и людей на равнины Кабарды, где еще тепло греет солнце, где с фруктовых деревьев, ломая ветки, свисают румяно-пестрые яблоки и словно бы заржавевшие груши, а густая кукуруза шуршит листьями на ветру и кланяется прохожим, где освеженные предосенними дождями степи покрылись доброй, густой отавой.

Исмел Шогемоков проснулся задолго до рассвета и теперь лежал, думая о хлопотах с предстоящим перегоном стад и отар на равнину. И хотя в плетневый шалаш проникал горный ветер и продрогший Исмел, туго завернувшись в армяк, даже сквозь бурку, на которой лежал, ощущал холодную сырость травы, не холод, а заботы разбудили его. Предстояло сытно и рано накормить чабанов — им уже до самого вечера не придется есть. Кроме того, в коше Шогемокова было всего две арбы, а погрузить на них надо и шкуры прирезанных и павших с весны овец, и копченые бараньи туши, и выплавленный из курдюков жир, и плетни, которыми огораживают кошары, разобранный шалаш, постели чабанов, хозяйственную утварь...

А как переправляться через горные реки? В трех ущельях, которые придется пересечь, буйствовали три реки, одна свирепее другой,— Малка, Баксан, Чегем. Никогда еще на них не было мостов. И если случится, что головного козла унесет течением,— вся отара бросится за ним вплавь, и вряд ли чабаны сумеют спасти овец. И тогда погибла репутация Исмела Шогемокова, лучшего

главного чабана, руководителя коша; это значило бы подорвать уважение к себе, запятнать свою честь. Нет! Пусть вода в ущельях уже стала ледяной, Исмел сам разденется и поведет отару вместе со старым козлом на переправу. Холодно будет, обострится потом ревматизм, нажитый в таких вот осенних переправах. Но что ж делать? Лучше заболеть, чем отвечать перед теми, кто доверил тебе своих овец — свое богатство, а ты не сумел сберечь, погубил его. Нет, главное — сохранить честь!

А расчеты в те времена были трудные. Ни владелец овец, ни чабан не знали грамоты и вместо расписки обменивались палкой с нарезками, которых было ровно столько, сколько овец поручалось чабану. На палке выжжено тавро — то же, каким заклеймены овцы. Палку с насечками раскалывали вдоль: одну половину вручали чабану, а другую владелец овец оставлял у себя. Пригнав овец в кош, чабан показывал свою «половинку» главному чабану, и тот делал такие же зарубки на своей большой палке, а «половинку» возвращал чабану. Так палка становилась юридическим документом.

Осенью, когда отары возвращались в селение, хозяин и чабан складывали свои половинки палки, сверяя зарубки. И великим уважением пользовался чабан, у которого никогда не возникало обид и споров.

Но не только о делах думал в этот ранний час Исмел Шогемоков: волновала его судьба несчастного брата Пшикана, сосланного в Сибирь; улыбаясь, предвкушал он встречу с любимым сыном Зрамуком; да и по жене соскучился за пять месяцев разлуки, хоть и была она сварлива и капризна.

А кроме того, какая гордость для мужчины — вернуться домой не с пустыми руками, а с преумноженным поголовьем, с деньгами. Это — честь чабана!

Доходы в этом году были неплохи: три червонца деньгами, двадцать голов овец. Можно будет после стрижки овец, как положено по давней традиции, заколоть барана и угостить на славу тех, кто делил с тобой невзгоды и нелегкий труд на альпийских пастбищах.

Теперь можно и оглянуться назад... Правду говоря, тяжко пришлось ему нынче потрудиться! Лучшие луга отрезаны и переданы коннозаводчикам и князьям. Но Исмел по ночам тайно разведывал, где нет стражи, и посылал туда отары. Каждый день он сам объезжал все отары своего коша, следил, чтоб вовремя поили скот, давали соль, переправлял овец через реки, проверял, как кормят собак-волкодавов. Словом, жил среди чабанов, как наседка среди цыплят.

«Сегодня трогаться в путь, а они спят без задних ног! — думал Исмел о чабанах.— Спят, потому что во всем полагаются на меня!»

Исмел поднялся. Не спеша оделся, надел ноговицы, перетянул ремешками; помял сыромятную обувь, туго набил ее сеном, обул-

ся, завязал шнурки. Осторожно ступая, чтоб не разбудить остальных, подошел и растолкал повара.

Когда Исмел в накинутой черкеске вышел и осмотрелся, на небе горела предрассветная звезда, а трава казалась поседевшей от инея. Превозмогая дрожь, он направился к овцам, укрытым под скалами, куда не проникали порывы ледяного ночного ветра. Его встретили, визжа и пританцовывая, куцехвостые сторожевые собаки [1], и он весело приласкал их, потрепал по спинам, погладил головы... Вместе с ночным сторожем разжег костер; греясь у пляшущего пламени, они беседовали о предстоящем перегоне скота. А повар готовил прощальный завтрак...

Проснулись и другие чабаны: умывались, свертывали постели, разбирали плетневый шалаш.

Вскоре повар вооружился ножом с широкой спинкой, выкованным сельским кузнецом, и на большой скамье из чинаровых досок, заменявшей чабанам обеденный стол, нарезал аппетитными ломтями холодную мамалыгу, а рядом вывалил исходившие паром крупные куски вареного мяса: еще с вечера зарезали и освежевали жирного весеннего ягненка. Вдоль длинного стола-скамьи вместо табуретов лежали сложенные вчетверо бурки.

И хотя здесь, у подножия Эльбруса, не было ни порога, ни красного угла, пастухи расселись согласно традиции по старшинству. Самым почетным считалось место за верхним правым углом стола; его занял самый старший по годам чабан Музачир Сохов. Рядом сел Исмел Шогемоков.

Тамада Сохов окинул взглядом сидящих за длинным столом мужчин. Вкусно пахло свежей горячей бараниной и острой чесночной приправой, но никто не прикасался к пище: ждали приветственного слова тамады.

— Аллах великий! Не оставь нас милостью,— начал Сохов.

— Да будет воля его! — отозвались остальные.

— О аллах, великий и всемилостивый! Не оставь нас своей щедростью, ниспошли изобилие!

— Аминь!

— Да пребудем мы, о аллах, в чести и почете. Не дай нам жить без недругов, но не на радость им! Дай, аллах, счастливо вернуться домой нашим сосланным братьям!

— Аминь!

— А теперь ешьте...

Исмелу досталась лопатка ягненка, и, обглодав ее, он стал всматриваться в кость.

— Ну,— спросил тамада,— что обещает нам кость?

— Добрую погоду и легкий путь,— ответил Исмел.

Присмотрелся еще и добавил:

---

[1] Щенку-волкодаву ночью, когда он спит, отсекали хвост одним ударом. Считали, что после этого всю жизнь пес будет бдительным и сторожким в ночной темноте.

— Валлаги, мне, кажется, повезло, тамада! Моему сынишке кость предрекает светлый путь. Должно быть, кончил учить Коран. Если будет воля аллаха, отдам его в духовную семинарию.

— Да будет воля аллаха, да сбудутся предсказания кости! Пусть люди увидят твоего сына муллой.

Сохов громко рыгнул, произнес традиционное «все в божьей воле» и, улыбаясь, рассказал:

— Знал я удивительных мастеров гадания по бараньей лопатке... Мы, трое всадников, гостили в Малой Кабарде. Я и мой спутник ненадолго вышли, когда третий наш товарищ как раз гадал по лопатке. Возвращаемся, а нашего спутника нет. Ждали-ждали, а его нет и нет. Спрашиваем хозяина, тот говорит: «Ваш спутник сказал, что непременно вернется хоть ночью, и, вскочив на коня, ускакал». Мы забеспокоились. Второй мой спутник и говорит: «А ну-ка, дайте мне кость, по которой он гадал!» Стол уже был прибран после угощения, однако хозяин разыскал баранью лопатку. Мой друг всмотрелся и — чуть не свалился от смеха. Спрашиваем, что случилось? Отвечает: «Да ведь увидал по кости, что в его спальне сидит мужчина! Ослеп от ревности и не разглядел, что сидел-то мальчишка!» Мы, конечно, посмеялись, с тем и легли в полночь, сгорая от нетерпения. На второй день возвращается тот на взмыленном, замученном коне. Спрашиваем: куда ездил? Молчит. Тогда мастер гадания и говорит этак ехидно: «Ну, раз ты не можешь отличить мальчика от любовника, то не берись больше гадать по кости!» Валлаги, молодые люди, так прямо ему и сказал! А тому что оставалось? Пришлось признаться, что в спальне сидел брат его жены, подросток!.. Эх, были раньше мудрые люди. Да где теперь таких сыщешь?!

Когда человек сыт, когда впереди возвращение домой и радостная встреча с родными,— все тело наполняется силой и бодростью. Сразу после еды чабаны расторопно и весело погрузили на арбы и желтый медный котел, и чугунный котел, густо обросший сажей, и квадратное корыто, вырезанное кабардинским мастером из целого бревна, и круглую черпалку, и глиняные чашки, и деревянные ложки с загнутыми в бараний рог ручками, и опорные жерди, и столбы от плетневого шалаша, и перекладины, и свернутые постели, и копченые туши баранов, и мягкие овечьи шкуры...

Арбы наконец тронулись. Собаки было побрели следом, но остановились, увидев, что отары еще не двинулись в путь.

Но вот и чабаны в войлочных шляпах, похожих на завядшие в сильную жару лопухи, в старых бурках, делавших их фигуры квадратными, и в свисавших от самой шеи вылинявших серых башлыках погнали отары, держа на плечах герлыги и покрикивая: «Гайт! Гайт!» — да посвистывая. Отары шли медленно, паслись на ходу...

Солнце грело, но было еще не в силах слизнуть серебряный покров инея. С высокого холма Исмел Шогемоков оглядывал землю, ту вечную и безграничную землю, на которой люди празднуют

свои радости и оплакивают свои горести... Перед ним стояли Кавказские горы с их отрогами, провалами и крутыми подъемами, изнуряющими самых сильных мужчин, с вечно бьющими водопадами.

В туманную неизвестность уходили серые каменные громады, увенчанные ослепительно сверкающим на вершинах снегом. Переливаясь под солнцем, высился ледяной Эльбрус, слева от него тянулись цепи скал, над которыми возвышались две высокие горы — Дых-Тау и Коштан-Тау. А еще дальше сквозь марево смутно маячил Казбек, прозванный кабардинцами «Малым Эльбрусом».

Выше поднялось солнце. Горный ветер, собрав облака, погнал их, как отару, на север по-над вершинами и ущельями. Туда же с глухим бормотанием спешила река Малка, словно задыхавшаяся в тесном русле.

Громко сказал Исмел, глядя вдаль:

— Река стремится к морю, облака — к равнине, а люди — к счастью...

И со спокойной душой пошел навстречу шаткому крестьянскому счастью Исмел Шогемоков — вослед облакам и волнам бушующей Малки...

8

Арест и ссылка Пшикана заставили Дамжуко и Исмела забыть старые споры. Вернувшись с горных пастбищ, Исмел сразу пошел к отцу.

— Благодарение аллаху, милостивому и всемогущему! — воскликнул Дамжуко, поглядывая на сына грустными, слезящимися глазами.— Дозволил-таки нам увидеться перед отъездом...

— А куда ты собрался ехать, отец?

Тяжело вздыхая, Дамжуко покачал головой.

— Великий грех лежит на моей душе, сын мой. Задолжался я перед аллахом! И если б кара за это падала только на мою седую голову,— люди не услышали б моей жалобы. Но разве не за мой грех страдает бедный Пшикан?! Как вспомню, сердце рвется на части...

Совсем постаревший Дамжуко не мог уже сдержать себя: слезы сами лились из его глаз. И старик низко опустил голову, тщетно пытаясь скрыть, что плачет.

Узнав, что отец собирается в паломничество к святым местам мусульман — в Мекку и Медину, Исмел не стал отговаривать старика, только попросил подождать, пока пройдет праздник, которым в Кабарде отмечают возвращение чабанов с летних пастбищ.

— Боюсь,— сказал Дамжуко,— боюсь, сын мой, что отстану от других паломников... Как тогда я найду дорогу и кто поддержит меня в пути?

Исмел стал рассказывать отцу, какой приплод дала его отара. Дамжуко не слушал:

— Знаю, сын, ты не станешь зря транжирить добро. Зачем мне твой отчет, дорогой? — Он пристально посмотрел на Исмела и вдруг добавил: — Нет, не старшина Бороков сделает радостью наше горькое горе! Лишь аллах всемогущий и всемилостивый может дать нам счастье! Вот и еду в святые места просить его святого заступничества... Завещаю тебе, сын: не забывай, как подло обманул нас Бороков. И не прощай ему!

— Как обманул?! — забеспокоился Исмел.

— Наш старшина обманщик, торгующий совестью, презирающий честь! Говорил, что жизни не пожалеет, чтобы помочь Пшикану! А его приказчик сказал по секрету, что Бороков совсем не подавал никакого прошения, чтоб простили Пшикана...

— А сам Туган что говорит?

— Ой, горе мое! Разве я могу потребовать его к ответу?! Скажет: «Ты обманул аллаха, а жалуешься, что я обманул тебя!» Что я тогда отвечу? Эх, нет у меня права упрекать людей... Вот вернусь, тогда поговорю с ним. Так поговорю, что искры посыплются из его наглых глаз!

Проводив отца, Исмел сразу вернулся в Аюбей и в тот же вечер отправился к своему соседу Мурату Кабардову, у которого квартировал Кулибин.

Михаил Петрович Кулибин жил в кунацкой с глиняным полом и стенами, побеленными известью. У задней стены стояла высокая кровать под белым покрывалом. Над кроватью висела гитара. А невзрачный столик приткнулся между оконцами; и на столе и на подоконниках лежали книги. На самодельной вешалке, прибитой в углу, висела студенческая куртка с блестящими пуговицами и фуражка.

В Аюбее никогда прежде не бывало студентов, и, увидав фуражку и куртку, Исмел невольно подумал, что, наверное, Кулибин из чиновников. А чиновников в Аюбее остерегались, как нечистой силы.

Исмел долго сидел молча, исподтишка оглядывая комнату, оценивая, догадываясь и сомневаясь. Молчал и Кулибин, посматривал на Исмела исподлобья, время от времени ерошил пятерней длинные светлые волосы. Но не мрачным был взгляд Кулибина, а добродушно-приветливым, и Шогемоков даже подумал, что это лицо доброго, сильного и святого, как пророк, человека.

И, словно услышав эти мысли, Кулибин усмехнулся, сказал:

— Знаю, Исмел, о чем хочешь спросить... Но прежде хочу сказать два слова... Мы с тобой почти незнакомы. Но я успел узнать и тебя, и весь род Шогемоковых. Знаю, как и почему вы участвовали в Зольском восстании.

Исмел невольно пошевелился на табуретке: такое начало не предвещало ничего доброго.

Но Михаил Петрович, будто не замечая, продолжал так же спокойно и ровно:

— Знаю и понимаю. Твоему отцу я только намекнул, тебе скажу прямо: не обманывайтесь! Не ждите помощи от Борокова.

— Раньше я тоже подозревал его,— негромко отозвался Исмел.— Но потом увидел, как он приехал во Владикавказ, как ходил в судебную палату, как посетил самого начальника области... Ну и поверил... Думал, совесть его заговорила...

— Тебе хотелось поверить,— печально возразил Кулибин.— А волк всегда скрывает от посторонних свою тропу.

В тот вечер они беседовали долго.

— Вашего брата обирают, сживают со света не только князь Агаджоков и купец Бороков, но и ваши аюбейские богатеи Каноковы и Альботовы — выходцы из простонародья. Идет, дорогой, расслоение крестьян, и разбогатевший карахалк[1] проглатывает своего ослабевшего собрата... Да, да, Исмел! Наравне с Агаджоковым участки на Зольских пастбищах получили кулаки Альботовы и Каноковы, а вот вы остались без выпасов. Зато и кулаки поддерживают антинародные меры царя, поставляют царской кавалерии кабардинских коней, дают мясо для войск...

Когда Михаил Петрович сказал, что богатеющий проглатывает ослабевшего собрата, Исмел вздрогнул, но подумал и вздохнул:

— И Агаджоковы и Каноковы, верно,— один обоюдоострый кинжал, отточенный против нас...

— Правильно говоришь! — обрадовался Кулибин.— Отточенный против трудового народа. Недаром по всей России трудящийся люд протестует, борется. Взгляни пошире, Исмел!

Вернулся Мурат Кабардов, хозяин дома.

— На обнаженный кинжал господ,— сказал он в сердцах,— надо ответить обнаженной шашкой.

— Придет время,— обнажим, обязательно обнажим! — ответил Кулибин.

Мать хозяина принесла ужин, Мурат поставил на стол бутылку водки, оставшуюся от праздника по поводу возвращения чабанов.

Продолжая беседу, поужинали.

Исмел и Мурат слушали рассказ Кулибина о расстреле рабочих на золотых приисках в Сибири, о волнениях рабочих в Петербурге, Москве, Баку, о бунтах солдат в царской армии... Слушали с удивлением, растерянностью и смутной радостью: оказывается, не только в Кабарде, а по всей большой земле идет борьба. И какая решительная! «Меняется, видно, жизнь! — думал Исмел.— Новые начинают дуть ветры...»

---

[1] Карахалк — бедный крестьянин.

Внезапно Михаил Петрович поднялся, снял со стены гитару и тихо запел, перебирая струны:

Лишь мы, работники всемирной
великой армии труда,
владеть землей имеем право,
а паразиты — никогда!

Очень удивился Шогемоков: после такого разговора Кулибин вдруг поет песню?!

— Не осуждай, Исмел! — сказал Михаил Петрович.— Песня придает человеку бодрость и силу.

Помолчал и спросил:

— Ты понял, о чем я пел?

— Нет,— ответил Исмел.— Ты пел по-русски.

А когда Михаил Петрович пересказал содержание, Исмел произнес доверчиво и просяще:

— Пойдем ко мне в гости, друг... Посидим у меня, поговорим. Поднимем рог, наполненный хмельным напитком. А?

— Есть у вас, кабардинцев, пословица,— улыбнулся Михаил Петрович,— что от чрезмерной еды человек слепнет. Верно сказано! От обильной пищи человек делается рабом своего живота. И тогда ему приходится распоясываться. А нам с тобой, Исмел, распоясываться нельзя. Нам надобно быть всегда подтянутыми... «Нас еще судьбы безвестные ждут», как поется в одной хорошей песне...

И хотя Исмела обидел отказ, Кулибин ему очень понравился. На прощание Исмел обнял его, пожелал:

— Пусть аллах даст тебе долгую жизнь и благословит твои добрые помыслы!

Михаил Петрович усмехнулся, взъерошил волосы, сказал:

— Насчет аллаха тебе, конечно, виднее. Но есть у русских поговорка: «На бога надейся, а сам не плошай!» Остерегайся, Исмел, остерегайся тех птиц, что прилетают в ваши огороды, когда поспевает просо, и тех мужей, что шатаются из стороны в сторону, как седло на слишком откормленном коне. Иначе никогда не отвоюете обратно отнятые у вас пастбища...

9

Вот уже больше недели минуло после праздника возвращения стад, а до сих пор аюбейцы не могут успокоиться. И говорят-то о чем? Не о состязании стариков в остроумии и пении; не о том, как мастера поварского искусства, обмакнув бараньи туши в соленую воду, жарили их целиком прямо во дворе; и не о медовухе, которую пили вволю... Нет, до сих пор весь Аюбей говорит об Исмеле Шогемокове...

В нарушение обычая попросился Исмел Шогемоков участво-

вать в соревновании мудрых седобородых. Хоть и не имел права на это по возрасту.

Седобородые удивились, посовещались и разрешили: были уверены в своей мудрости. Для начала спросили:

— Ну, как живешь, как себя чувствуешь, Шогемоков?

— Как петух! — ответил, не колеблясь, Исмел.

Вокруг засмеялись. Кто-то, усмехнувшись в усы, заметил:

— А что ж: неплохо! Петухам живется здорово: у каждого по целому гарему...

— Замысловато сказано,— возразил другой старик.

— Может, и замысловато, но правильно. Разве я не роюсь все время в навозе, как настоящий петух? А как только петух что-нибудь себе нагребет,— сразу набегают чужие птицы и прямо из-под носа уносят все до последнего зернышка... И снова я остаюсь без единой, можно сказать, крупинки!

— Ну тогда, выходит, что и мы все тоже петухи,— смеясь, сказал кто-то из седобородых.

— Если б мы не были людьми одной судьбы, не стоило б и говорить,— грустно согласился Шогемоков.

— Вроде бы у тебя на душе тяжело, Исмел,— сказали седобородые.— Поделись с нами; может, сумеем помочь добрым советом...

Но Исмел начал не жалобой, а вопросом:

— Вот скажите мне, мудрые: что красивее всего на свете?

— Юная девушка!

— Кабардинский конь, у которого уши торчат, как гусиные перья.

— Нет, нет, нет! — заспорил третий.— Всего прекраснее поле, на котором зреет такой обильный урожай, что кажется, земля прогибается под его тяжестью.

Исмел только головой качает: не то, не то и не то!

— А что же, по-твоему?! — спрашивают его с любопытством седобородые.

— Весна! — сказал Исмел звонко.

Зашумели старики, заспорили, однако пришлось согласиться: весной пробуждаются, возрождаются, расцветают и растения, и всякая тварь, и люди.

— Твоя правда,— сказали наконец.— Всего лучше весна!

Улыбнулся Исмел Шогемоков.

— А скажите мне, мудрые: что всего богаче на свете?

Теперь не торопятся старики, думают. Только один поспешил.

— Самый богатый,— говорит,— старшина Бороков, потому что у него — в селе магазин, на вокзале харчевня, да еще хорошая мельница, да еще много земли...

Тут уж не вытерпел и второй:

— Наш князь Агаджоков: у него пятьсот коней и пятьдесят десятин земли. Вон сколько!

Третий даже расхохотался:

— Перед царем наш князь и старшина Бороков похожи на нищих, что держатся за кол у чужого плетня!

Покачал головой Шогемоков и, чтоб прекратить спор, начал говорить:

— Когда ульи полны свежего меда? Осенью. Когда ваши амбары ломятся от всякого добра? Осенью. А когда скотина бывает тучной? Осенью. Та же щедрая осень дарит нам сочный чернослив, крупные груши, спелые яблоки, гроздья винограда, наполненные соками земли и солнечным теплом... Нет, почтенные аксакалы, ничто не сравнится с богатством осени...

Пошумели, поспорили седобородые и согласились: прав Шогемоков, осень — самая богатая и самая щедрая пора!

И тогда признали Исмела Шогемокова победителем в состязании остроумцев.

И вот в Аюбее не перестают удивляться: когда это Исмел стал таким умным? Почему это он отважился соревноваться с мудрейшими в селе и даже победил? Что он храбр — ну, это всем известно! Что он трудолюбив, ну, что в том удивительного или нового? А вот отчего он вдруг стал таким умным? А?

А между тем Исмел попросился в компанию седобородых вовсе не затем, чтобы затмить их или поразить остроумием.

У Исмела Шогемокова язык чесался от обид!

Как было предсказано по бараньей лопатке, перегон отар с гор прошел благополучно. И доходы оказались даже больше, чем ожидали чабаны. В отаре Исмела поголовье возросло. Собран приличный урожай. После того как сдал он Борокову закупленную на пастбищах шерсть, осталось еще шерсти и на домотканое сукно для семьи... Вот только сена маловато: не успел накосить, был на пастбищах... Ну да все же неплохо прошло лето: хорошо потрудились,— есть и что на стол подать, и чем угостить, и вроде бы достаток образуется...

Едва Шогемоков вернулся, позвали его в сельское правление. Не хотелось идти, думал — опять старшина станет врать про свои хлопоты о Пшикане, но пришел сотский и потащил.

— Рад бы не беспокоить тебя, Исмел,— сказал старшина,— но пора налоги платить. Валлаги, Шогемоков, самому неприятно, но дело-то государственное.

— Раз государственное, что скажешь! — Исмел отсчитал десять рублей, положил на стол и вышел.

С весны Исмел не посещал мечети. И когда он явился туда, чтоб замолить грехи, нажитые за лето, как раз была пора вечерней молитвы. Мулла Мухамед-эфенди в своей проповеди напоминал правоверным: во имя аллаха и ради спасения собственных душ не скупитесь, не жадничайте, не медлите с битиром и саджитом [1].

---

[1] Битир — часть приплода скота, «принадлежащая аллаху»; саджит — десятая часть урожая, отдаваемая в пользу служителей культа и бедных членов общины.

Пришлось Исмелу на следующий день пожертвовать овцу и десятую часть урожая.

Приезжал в Аюбей почтенный гость — правитель Кабарды и пяти горских обществ полковник Клишбиев,— общество делало складчину, и снова пришлось Шогемокову на подарки и угощение дать овцу и деньги.

Чтоб отблагодарить за усердие чабанов-компаньонов, прирезал одну овцу на обратном пути с пастбищ и еще двух — на праздник возвращения стад в Аюбее.

— Клянусь аллахом! — заявила Хакулина.— Не поеду к своей старой матери без подарков: отреза на платье и барана.

Неужели из-за этого ссориться с женой?!

А уж совсем доконало Исмела паломничество отца в Мекку: все деньги, что собирал на взятки и хлопоты, чтобы освободить брата из ссылки, пришлось отдать старому Дамжуко.

У Шогемокова уже не было денег, чтоб расплатиться с сельским пастухом. А нужно еще приодеть семью, купить кое-что для хозяйства...

Отара, из которой часто берешь то одну, то две овцы, никак не может увеличиться. А ведь сколько мечтал, как бился Исмел, чтоб довести поголовье хотя бы до сотни овец!

Вот тут и показалось Исмелу, что набежала стая кур и растащила все, что он, петух, нагреб с таким трудом!

Исмел не забыл, как трудно было пасти отары после того, как у крестьян отобрали общинные Зольские пастбища; не забыл, как подло обманул его Бороков; не забыл, что любимый брат гниет где-то в Сибири.

Потому и сказал седобородым:

— А разве можем мы любоваться самым красивым в мире — весной?

Он не стал ждать ответа, просто напомнил, что весной скот гибнет от бескормицы, надо доставать семена и плуг, искать человека, чтобы вместе вспахать землю,— до красоты ли тут!

— Кто видит красавицу — улыбается, кто сел на аргамака — приосанивается,— говорил Шогемоков.— А разве у нас нет глаз, чтоб любоваться красавицами? Или нет гордости?

Никто не возразил: казалось, Исмел говорит об их собственных бедах.

— Богаче осени нет ничего,— продолжал Шогемоков.— Рассказал я вам, что заработал в этом году и что у меня осталось. А разве у вас по-другому?!

Что тут скажешь? Разве мало крестьян разорялось и шло батрачить?

— Куда же и почему убегает от нас заработанное добро? — спрашивал он.— И к кому убегает?

И хотя все и так поняли, о чем так смело говорит Шогемоков, он все-таки закончил:

— Валлаги, седобородые, и весна красна, и осень обильна лишь для Бороковых и других богатеев.

Многие удивились дерзости Исмела, некоторые подумали, что говорит он так из зависти; коротышка Шахбан Каздохов, которого прозвали маленьким человеком с большим кинжалом, сказал нерешительно:

— Ой, Исмел, сдается мне, с чужих слов твоя речь...

Но старики заставили замолчать маленького человека с большим кинжалом. А Шогемоков запел:

Нынче в Кабарде
правит беззаконье,
карахалк везде,
словно скот, в загоне...
По три шкуры враз
за вершок землицы
с нас дерут подчас
уорки-кровопийцы...
Прав торгаш, князек
да мулла ученый —
лишь для них, дружок,
писаны законы.
Для тебя ж — тумак,
от баранок дыры...
Эх, бедняк, бедняк,
мой приятель сирый!

Песню подхватили и спели дружно, взволнованно, громко.

Издревле в Кабарде певали на праздниках: какой же праздник в молчании! Но прежде всегда пели старинные героические сказания — о нартах Сосруко, Бадыноко или славном витязе Андемиркане. Впервые на празднике прозвучала песнь угнетенного народа.

Это было неслыханно! И поэтому Аюбей так долго не мог успокоиться, волнуясь, вспоминая, в сотый раз заговаривая о смелом Шогемокове, о трудной жизни карахалка, о несправедливости и притеснениях со стороны пши [1] и уорков...

Воистину наступали новые времена и начинали дуть новые ветры!

10

После стрижки овец Шогемоков рассчитался с Бороковым (тот еще в свой приезд на горные пастбища дал задаток), а остаток шерсти привез домой. Складывая ее в сенях, Исмел сказал Хакулине:

— Смуглянка моя, говорливая, как горная речка! Мое дело принести в дом шерсть. Вот я и принес. Одевать нас или держать нагими — воля твоя.

[1] Пши — князья.

«Говорливая, как горная речка», Хакулина была сварливой, острой на язык, резкой, но не ленивой. И теперь она ответила мужу:

— Аллах великий и милостивый! Ты трудишься, не зная ни дня, ни ночи, ни жары, ни холода, чтобы я с сыном жила в довольстве, как же я могу остаться в долгу?! Клянусь аллахом, я сделаю тебе такую бурку, что спасет от дождя в ненастье не хуже, чем крыша дома; убережет от жары в зной, укроет от холодного ветра; такую бурку, что заменит постель и стол, к тому же тонкую, которую легко будет свернуть и приторочить к седлу. Клянусь аллахом и небом, которое он сотворил,— сделаю такую бурку, чтоб люди, увидев, говорили: «Какие золотые руки у мастерицы!», чтоб ты тоже сказал мне: «Какая прелестная вещь! Ты осчастливила меня!» А еще сделаю я пять-шесть бурок на продажу, а деньги отдам тебе на преумножение поголовья...

Исмел слушал, посмеиваясь в усы, а потом добродушно сказал:

— Милая моя говорливая смуглянка! Если ты захочешь, трудно будет найти равную тебе мастерицу. И даже если не сделаешь мне подарка,— все равно спасибо за доброе пожелание и добрые слова.

Хакулина тут же побежала по соседкам, приглашая:

— Аллах тебя благослови, дорогая! Ты бы так меня уважила, если б пришла ко мне обработать шерсть...

Помощь ближнему — старинный народный обычай, и потому почти никто не отказался.

Стояла поздняя осень, моросил дождь, было прохладно и сыро. В такую погоду следовало б работать в доме, но Хакулина побоялась, что мелкие шерстинки набьются в постель, в посуду, засорят и загрязнят комнаты. И рассадила женщин во дворе под навесом. Женщины поморщились, но промолчали.

Они сидели на низких скамеечках вокруг горки шерсти и, быстро перебирая ее, говорили, говорили, говорили без умолку, не слушая друг друга, пересказывая в который раз все сельские сплетни; казалось, и впрямь сидишь на берегу горной реки...

Но и тут голос Хакулины перекрывал общий говор.

— Перебирая шерсть,— громко говорила она, будто обращаясь к молодым, еще неопытным,— не смешивайте, мои красавицы, длинную шерсть с короткой. Короткая пойдет на войлок, а длинная на ворс. Без этого бурки не сделаешь.

Пыль и мелкие волоски набивались в нос, в рот, в глаза; женщины отплевывались, чихали, но работали, работали, работали...

Расчесанную шерсть пропустили сквозь острые игольчатые зубья, потом положили на специальную плетенку и стали обивать тетивой. Жесткие и длинные ворсинки отлетали в стороны, а мягкая войлочная шерсть оставалась лежать на плетнях.

Мягкий пух сложили на циновку и побрызгали водой. Когда шерсть слежалась, женщины уселись по четыре у плетенок и ста-

ли катать войлок туда и сюда, туда и сюда, раскачиваясь, как маятники. У катальщиц заболели поясницы, пот лился со лба на глаза, но отдохнуть было нельзя, даже остановиться на минуту нельзя,— иначе шерсть плохо сваляется! И чтобы превозмочь усталость, женщины запели древнюю песню катальщиц:

У него ноговицы светлые,
у него и черкеска белая,
а сам джигит танцует
белыми ногами;
а жена рожает сына.
Ею рожденный будет долговечен,
ею сшитое не разорвется вечно!

Хорошо свалявшимся войлокам дали полежать, а на второй день понесли полоскать на речку.

Погода была прежняя: ветрено и холодно. Сначала женщины пытались полоскать с камней, не входя в воду. Но стоять на малых камнях было неудобно и трудно, а с больших валунов нелегко дотянуться до воды. И Хакулина не стерпела.

— Плох рыбак, что хочет наловить рыбки, не замочив ног! — воскликнула она и полезла в ледяную реку. Тщетно пытались женщины удержать Хакулину, отговорить,— она ничего не хотела слушать.

— Когда опрокидывается арба,— отвечала им Хакулина,— хозяин должен поставить ее обратно.

Словом, Хакулина вошла в студеную воду по колени и стояла так до тех пор, пока не прополоскали все войлоки.

Когда посиневшая Хакулина вышла наконец на берег, ее трясло от холода, зуб на зуб не попадал.

А тут еще подул ветер с Эльбруса — от ледников и вечного снега.

— Скорее, скорее беги домой, Хакулина! — закричали женщины.— Мы сами принесем войлоки...

И Хакулина побежала домой, трясясь от озноба. Но дома не села у огня согреться, а стала готовить угощение для помощниц. Побегала по двору, ловя кур, потом замесила тесто, перебрала пшено для пасты, которую подают на стол вместо хлеба к мясным и молочным блюдам, выпотрошила кур, повесила котел на очажную цепь.

А когда наконец поставила угощение на трехногий столик и села с подругами, то поняла, что не может есть: она вся горела, ее колотил озноб.

— Бедная Хакулина! — ахнула соседка.— Ты ж себя уморила из-за этих бурок!

— Ничего! — отозвалась другая.— Вот Исмел приголубит — и все недуги как рукой снимет. Сразу помолодеет, похорошеет, как девица...

— Ну, пока от мужа дождешься доброго слова,— возразила третья, обглядывая куриную ножку,— семь раз ноги протянешь...

— Да, да! Они всегда говорят: «А кто тебя заставлял? Я не просил тебя делать бурку!» — вмешалась еще одна.— Мужья считаются с нами не больше, чем буйвол с лающей на него собакой!

Словом, это были обычные женские посиделки: ровно текла беседа, женщины охотно жаловались друг дружке на мужей: дескать, бесчувственные они, толстокожие, равнодушные, неласковые, не умеют ценить женской нежности и доброты...

Исмел услыхал еще в сенцах, о чем говорят женщины; он открыл дверь и, стоя на пороге, сказал растроганно и душевно:

— Милые женщины! Разве не вы кормите и одеваете нас? Разве не вы воспитываете наших детей, создаете в доме уют, принимаете гостей, носите воду в кувшинах с реки? Разве не ваши золотые руки и нежные души несут спокойствие и мир старикам, сеют доброе расположение в сердцах мужей? Там, где нет вас, женщины, дома пустеют и плесневеют, становятся обиталищем пауков и мышей... И если иной раз вы в горячности поругиваете нас, мужчин, или по-женски перемываете нам косточки,— мы прощаем. Не можем не простить. Ибо без женщин мы ничто: без вас переведется род человеческий. Вот так, милые женщины!

Женщины смутились и встали.

— У нас, женщин,— сказали они, стесняясь,— главная сила в языке. Вот мы и... Кое-что, наверное, наболтали лишнее... А за благодушие и хорошие слова — спасибо, Исмел!

Хоть и бил Хакулину озноб, она проводила соседок до ворот, поблагодарила, сказала, что, мол, дальше справится уже сама. Но соседки запротестовали, возразили, что аллах не благословит дело, которое не закончено. «Как хочешь,— сказали они,— будем помогать до конца, раз уж взялись...»

Худо было Хакулине эти дни: знобило, болели суставы, мучил кашель, донимал насморк. Но, как ни настаивал Исмел, она отказалась лечь в постель и все возилась с войлоками: переворачивала, просушивала.

А когда войлоки просохли, снова собрались соседки, аккуратно просмолили те места, где изнутри торчали ворсинки. Хакулина в большом котле заварила ольховую кору с квасцами, сама погружала туда войлоки для окраски, мешала, вытаскивала... А потом, просушив, снова отнесла войлоки полоскать на речку. И опять Хакулина вошла по колени в ледяную воду.

Это и свалило ее совсем: горела и таяла, как восковая свечка, глаза ввалились, побледнела, надсадно кашляла, потела по ночам, не могла есть...

Больше месяца пролежала Хакулина в постели. А когда поднялась, сразу, не слушая уговоров и протестов Исмела и Зрамука, села шить бурки; работала днем и ночью.

И наконец настал долгожданный час: исхудавшая, почерневшая, но торжествующая Хакулина понесла бурки в бороковский магазин продавать. Но тут же вернулась растерянная, недоумевающая, с теми же бурками: в магазине ей предложили такую це-

ну, что продавать не имело смысла: лучше просто подарить друзьям.

Увидев, что муж сидит у очага, Хакулина гневно крикнула:

— Ты чего тут развалился, как объевшийся кот?!

— Что случилось, моя языкатая смуглянка? — с недоумением, но дружелюбно спросил Исмел.

— Будешь таким нерасторопным, вши тебя съедят, одни кости останутся...

Теперь уж Исмел спросил строго:

— Что случилось?

Что должна была отвечать Хакулина? Не о бурках же говорить... И она сказала первое, что пришло в голову:

— С Бороковым хочешь тягаться, а не можешь заставить учиться родного сына!

И попала в больное место. Исмел встал.

— Хватит! — сказал строго.— Придержи язык.

И вышел из дому.

Исмел пошел задать корм скотине. Он работал и думал о сыне. Дважды начинал Исмел разговор с сыном, спрашивал, почему он бросил медресе. Зрамук молчал словно каменный, а когда рассерженный отец стал искать плеть,— просто удрал из дому и долго не возвращался...

С обидой спрашивал себя Исмел: «Что же это такое? Ни в чем нету мне удачи. Не зная ни дня, ни ночи, работал под дождем и в зной, трудился весь год, а результаты труда будто мыши растащили: опять ничего нет! И родной сын вышел из моего повиновения...»

Исмел, как и Дамжуко, всю жизнь мечтал выбиться в люди, стать зажиточным и уважаемым. «Отец вернется и получит почетное имя хаджи; его будут уважать все правоверные мусульмане... Если бы еще Зрамук выучил малый и большой Коран и попал в духовную семинарию,— он мог бы со временем стать сельским муллой! А кабардинская пословица говорит, что из уважения к молоку съедают и пшенную пасту...» Тогда и сам Исмел стал бы почитаемым человеком в Аюбее, сидел бы во главе стола, при разделе общинных земель получал бы лучшие участки под посевы и выпасы...

И вот Зрамук свернул с дороги, перечеркнул отцовские мечты.

В тяжелом раздумье вернулся Исмел в дом и увидел вдруг, как впервые, изможденную, почерневшую Хакулину, которую душил тяжкий приступ кашля. Увидел и в страшной тревоге бросился к ней, чтоб помочь, поддержать, спасти...

11

Зимой мало работы у аюбеевских крестьян. Днем скот пасется в поле, кое-как добывая подножный корм. Перед вечером хозяева кладут быкам и коровам в ясли жесткие кукуруз-

ные бодылья, лошадям — сено и кукурузное зерно. И все: хозяин свободен!

Старики идут на вечернюю молитву в мечеть, молодежь ищет, где бы потанцевать, или собирается у магазина, где с незапамятных времен лежат бревна; на них и рассаживаются, чтобы покурить да поболтать и о том, и о сем, и вовсе ни о чем...

Вечер сегодня холодный, дует пронизывающий ветер, и на бревнах сидеть неуютно; мало-помалу все втиснулись в бороковский магазин.

Нынче надо было продолжить вчерашнее состязание: кто одним ударом кинжала разрежет надвое кусок мыла? Настала очередь Шахбана Каздохова. А он чего-то жмется и отговаривается: мол, не взял денег с собой; даже попросил Болата Борокова, который торговал в магазине, дать кусок мыла в долг. Но Болат потер ладонь и протянул руку: давай, мол, сперва твои денежки!

Мурат Кабардов рассердился, вытащил медный пятак, ударил им по стойке, приказал:

— Давай сюда мыло!

— А ты не шуми,— строго одернул его хозяин.— Здесь тебе не базар, а магазин, где торг ведут за наличные.

— О аллах! — воскликнул Кабардов.— А я-то думал, что Бороковы открыли лавку, чтоб облагодетельствовать бедняков, замолить грехи перед аллахом... Как же я глуп!

Люди засмеялись. Покрасневший от гнева Болат крикнул:

— А шиша в долг не хотите?!

Но Кабардов не обратил внимания на Болата, а повернулся к Каздохову:

— Хоть ты и мал, Шахбан, кинжал у тебя большой. Рассеки мыло — и я куплю тебе материи на бешмет. А если разрежу я,— ты купишь мне материю. Давай!

Каздохов сейчас пожалел, что вчера поспорил с Кабардовым и принял вызов. Он колебался. Он готов был отказаться и отступить. Но тут, как нарочно, вошел Увжуко Шогемоков и поднял его на смех:

— Ты на словах герой, Шахбан, а перед куском мыла начинаешь чесать затылок. Какой же ты после этого мужчина?..

Кошачьи глазки Каздохова вспыхнули от злости, он вытащил свой огромный кинжал, оглянулся и, увидев столпившихся у дверей подростков, зло крикнул:

— Брысь отсюда! Брысь, чтоб я вас не видел!

— Стойте, где стоите,— приказал им хозяин.— Когда разрубишь мыло, ребята будут соревноваться в беге...

Мальчишки повеселели и с вожделением посмотрели на связки нанизанных на шпагат баранок, на груды конфет в пестрых бумажках...

— Мальчики не шайтаны,— сказал Шахбану Мурат Кабардов.— Не зазубрят твой кинжал. Бей!

Шахбан взял мыло; рассматривая, повертел в руке.

— Смотри лучше! — крикнул кто-то.— А вдруг это не мыло, а порох? Тогда погибнешь!

И снова засмеялись люди.

Каздохов наконец положил мыло на прилавок, поправил, придавил, отступил, поднял кинжал, примерился и — ударил.

Нет, мыло он не рассек.

Есть такие люди: их в борьбе всегда кладут на обе лопатки, а они спорят, протестуют, требуют дать им возможность попытаться еще раз и еще...

Так и Шахбан Каздохов — клялся и уверял, что ему помешали, а то бы он!..

— Ладно! — уступил Кабардов.— Бей еще раз.

Ох, как старался Шахбан! От напряжения он даже побагровел, занес кинжал над головой, примерился... Ударил! И люди покатились со смеху. Хохотали так, что даже Кулибин вышел из своей конторки, пристроенной к магазину. Кулибин улыбнулся и покачал головой, как взрослый, который увидел наивные развлечения подростков.

Кабардов протянул руку к Шахбану:

— Дай, пожалуйста, твой кинжал!

— Я же не просил твоих сильных рук, чтобы рассечь мыло! — ответил Каздохов.— Не проси и ты.

— Не просить так не просить! — согласился Кабардов.— Ну, Шахбан, смотри, как владеет оружием мужчина.

Кабардов ударил, не примериваясь, и вот уже две половинки мыла полетели в стороны, а кинжал врезался в прилавок. Еще не утихли возгласы восхищения, еще звучали поздравления, еще шутили и посмеивались над Шахбаном Каздоховым, а двое чудаков купили фунт грецких орехов и стали разбивать орехи лбами: обвязанный суровой ниткой орех подвесили на стене и стали с размаху бодать его головами. Орех оставался целым, а лбы покрылись кровоподтеками. А зрители хохотали, подзуживали, подбадривали, советовали: «Бей сильнее! Не жалей лба! Не купленный!»

И только Увжуко Шогемоков попробовал остановить:

— Бросьте! Люди вы или бараны? Неужели вам головы больше ни для чего не надобны?!

И Кулибин горячо поддержал:

— Эх, люди, люди... от безделья выдумали такую глупость. Лучше б песню спели, что ли...

Но попробуйте остановить аюбейца, который вышел в круг, на состязание! Будет биться, пока голову себе не разобьет: мол, отступить не позволяет мужская честь! И тут уговоры для него вроде как жужжание мухи над ухом быка...

А Болату Борокову состязание нравилось, он кривил толстые губы в презрительной усмешке, поддразнивал:

— Э-э, чего лбы бережете? Девичьи они у вас, что ли? Старый орех расколоть и то не можете. Бойцы!

Наконец, не вытерпев, он поднялся, вышел из-за прилавка:

— Оба вы не стоите ни копейки. Ломаного гроша не стоите! Вот я сейчас покажу вам состязание!

И что-то шепнул подросткам.

В один миг они скинули сыромятные чувяки и выбежали из магазина. Бороков выскочил за ними и крикнул вслед:

— Плюю на доску. Если прибежите, пока слюна не замерзла,— получите связку бубликов!

Все остальные высыпали на улицу: посмотреть. Босые ребята бежали по первому снегу; даже не бежали, а летели, как вспугнутая стайка воробьев.

— Ну, зачем же так! — укоризненно сказал Кулибин.— А если они простудятся, заболеют?!

— Не твоя забота! — возразил Болат Бороков.— Твое дело перекидывать косточки на счетах. Иди и перекидывай. И запиши, что я, Болат, подарил им связку бубликов ценой в двадцать копеек!

— Нет, Болат, для подсчетов есть другое время. А вечера я не собираюсь тратить на ваши глупые затеи. У меня есть занятия поинтереснее...

— Что ты хочешь сказать этим, ы-ы? А ну, скажи-ка!

— За Кулибина я отвечу тебе, Болат Бороков! — вмешался раздраженно Увжуко.— Ты просто бессовестный и бесчестный человек, который смеет издеваться над детьми!

Болат поспешил в магазин, зашел за прилавок, из денежного ящика вынул наган, повертел, как бы показывая всем, что оружие у него под рукой, и положил обратно, но ящик не закрыл.

Задыхаясь, прибежали подростки; ноги у них были красные, как у гусей.

— Опоздали! — сердито крикнул Болат.— Плевок-то замерз.

— Взвесь-ка эти бублики! — сказал, не выдержав, Кулибин.

Болат положил связку на весы.

— Сколько? Четыре фунта? Гм, пожалуй, не наберу...— Михаил Петрович шарил в карманах.— Дай, что ли, три фунта.

Но Болат перевешивать не захотел.

— Раз нет денег, зачем играешь в благородного, ы-ы! — Болат поднял связку бубликов и позвал Зрамука: — А ну, подойди. Надену тебе на шею вместо хомута.

Зрамук попятился.

— Вместо хомута? Не хочу! Я их выиграл: прибежал первым! Если дашь как приз, возьму!

Увжуко подошел к племяннику.

— Как посмел ты состязаться из-за бубликов?! Да еще бежал босиком по снегу! Чтобы я тебя больше здесь не видел!

И дал Зрамуку крепкий подзатыльник.

— Ну, если гордые нищие не хотят брать, возьми ты, Коротышка! — сказал Болат, и мальчик с радостью взял.

А Михаил Петрович, продолжая прежний разговор, произнес задумчиво:

— Я бы ответил тебе, Болат, почему я собираюсь, как ты выражаешься, играть роль благородного... Но ведь ты все равно не поймешь! Зачем же зря тратить слова?

Болат знал, что старший его брат Туган ценит Кулибина, и потому не посмел надерзить:

— Я пошутил, только пошутил, Кулибин. Не сердись!

Но Михаил Петрович повернулся к нему спиной, сказал крестьянам:

— А почему бы вам, друзья, вместо этих диких забав не заняться чем-нибудь поинтереснее и полезнее? Поучиться чему-нибудь, что ли...

Сначала его не поняли: чему ж учиться? Снова заучивать наизусть Коран на непонятном арабском языке? А всему прочему они вроде бы уже обучены: пасти скот, пахать землю, стрелять дичь, пить хмельное, целовать девушек...

Но Михаил Петрович, посмеявшись со всеми над такой широкой образованностью, объяснил, что может обучить их грамоте, счету и русскому языку. Крестьяне обрадовались: такое и в самом деле пригодится!

— Будем считать, что договорились,— решил Кулибин.— А обо всем остальном условимся позже... Ладно?

— Мы всегда готовы! — отозвался Мурат Кабардов. И его дружно поддержали.

— Я тоже, я тоже буду учиться! — крикнул Болат.

Михаил Петрович усмехнулся:

— Ты, Болат, благородный дворянчик. Тебе ученье ни к чему. Уж лучше проводи время с теми, кто лбом колет орехи.

Болат обиделся, даже покраснел, но промолчал.

12

По скрипу ворот Исмел понял, что Зрамук вернулся из лесу. Но не вышел, а только встал у окна, прислонился к косяку.

Вечерело. Мела метель, снежинки кружились испуганным пчелиным роем. Исмел смотрел, как Зрамук распряг лошадей, напоил, смахнул с них снег, прежде чем ввести в конюшню...

Лежавшая на высокой деревянной кровати Хакулина закашлялась, и ее лицо, обычно восковое, побагровело.

Исмел налил из кувшина кружку воды, подал жене:

— Испей, моя дорогая, полегчает...

Но Хакулина помотала головой и даже ударила слабой рукой по кружке. Вода расплескалась. Исмел не рассердился. Он снова наполнил кружку, присел на кровать, приподнял Хакулине голову, поднес кружку к ее губам:

— Выпей, милая! Нарочно привез для тебя: вода горная, целебная!

Хакулина отпила немного, и кашель унялся.

Исмел вернулся к окошку.

Зрамук задал лошадям корм, вернулся к саням и, сняв веревку, выгружал дрова. Время от времени он согревал озябшие руки своим дыханием.

— Вышел бы, помог мальчику,— слабым голосом сказала Хакулина.

Хотел было Исмел возразить, что отец не наседка, а сын не цыпленок; что орлы выводят орлят в зимние морозы, оттого они такие закаленные и сильные... Но сказал только:

— Сам справится.

Отец радовался, видя трудолюбие, проворство, умение сына. Давно ли Зрамук был мальчишкой? А теперь уже сильный, статный подросток, может уже быть и чабаном, и пахарем, и дровосеком. Помощник! А радости все-таки не было... Не крестьянином хотелось Исмелу видеть сына, а муллой... Но что ж теперь сделаешь... Раз бросил учиться, не быть ему уважаемым эфенди. Рухнули мечты Исмела. Растоптал их Зрамук! Теперь Шогемоковым всю жизнь остается трудиться, как волам, и, как говорят кабардинцы, собственной кишкой завязывать свои сыромятные чувяки...

Разве что неокрепшие юношеские плечи не выдержат тяжести крестьянского труда... Может быть, тогда Зрамук образумится?

Хакулина попыталась встать, чтоб приготовить ужин, но Исмел не позволил.

Он сам разжег огонь в очаге, повесил на очажную цепь котел, в котором приготовляют калмыцкий чай, нанизал на вертел несколько ребер из вяленого бараньего бока, присел на корточки и стал жарить шашлык, поворачивая его все время над огнем...

Исмел жарил шашлык и горестно думал, как плохо все складывается: жена тяжело больна, сын бросил учиться... Может, определить его в русскую школу? Но вспомнил, как грубо ему отказали, когда просил, чтоб сына приняли в горскую школу или в реальное училище. Видно, неспроста сказано, что мечта — отцовское наследство, а счастье аллах никогда не делил поровну...

Исмел попробовал шашлык: он был готов, румяный, с острым запахом. С мяса в огонь капал жир, и чад пошел по комнате.

— Ох, начадил-то! — заворчала Хакулина.— Глаз у тебя, что ли, нету?!

Исмел извинился, укрыл жену одеялом с головой и растворил окно, чтобы проветрить.

Клубами тумана ворвался холодный воздух в комнату, и Хакулина обиженно сказала под одеялом:

— Ты что, уморить меня хочешь? Напустил мороза...

Вздохнул Исмел: до чего ж сварливый, капризный характер у жены! Вроде тесной и заскорузлой сыромятной обуви, что деньденьской жмет и трет ноги, отравляя жизнь... Но и теперь он сдержался, сказал ласково:

— Не волнуйся, красавица моя! Уже закрыл окно.

И попросил:

— Если б ты собралась с силами, встала и поела с сыном: Зрамуку было бы веселее...

Хакулина любила сына; со стонами, с ворчаньем, но все-таки поднялась.

А когда пришел Зрамук, Исмел сказал:

— Я не хочу есть. Вы ужинайте, а я выйду...

И вышел во двор. Метель утихла, но снег еще шел. Воздух пах сырой свежестью, как разрезанный арбуз. Глубоко, с наслаждением дышал Исмел. Осмотрел привезенные сыном дрова: гм, худого не скажешь, хороши! Не ольха, не верба, а чинара — славно горят и жару дают много. Ишь ты, сын даже сани не оставил под открытым небом, затащил под навес.

Когда Исмел вернулся в дом, Зрамук убирал со стола после ужина. Чувствовалось, что устал он чертовски... Отец усмехнулся — пусть помучается, может, умнее станет. И спросил:

— Ну как, Зрамук, видел приятеля? Говорят, приехал из Нальчика...

По насмешливому тону Зрамук понял, о ком спрашивает отец.

— Видел...— отозвался он хмуро.

Конечно, к Бороковым он ходил вчера не затем, чтобы повидаться с Адальбием... Ведь теперь он не посещал медресе и так редко встречал Жапэт.

Увидав Адальбия, Зрамук протянул руку:

— С приездом!

Адальбий не ответил. Он сидел, развалясь, в плюшевом кресле и на приветствие насмешливо отозвался:

— Э, да к нам, оказывается, пожаловал сам сохта [1]-неудачник!

Оскорбленный Зрамук попятился и остановился у притолоки.

— Ну-с,— продолжал Адальбий,— чем теперь занят Шогемоков? Крутишь хвосты волам или водишь овец, покрикивая «хурейт, хурейт»?

Растерявшийся Зрамук пробормотал поговорку:

— Что положат, то и везем...

— Правильно! Осла потому и называют ослом, что терпелив и везет все, что положат...

Довольный своим остроумием, Адальбий поднялся, подошел к зеркалу, причесался, потом пригладил волосы щеткой, напевая по-русски:

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом...

---

[1] Сохта — ученик медресе.

И, еще раз глянув в зеркало, поправил ремень с широкой медной пряжкой. Юный Бороков явно красовался перед Зрамуком, как бы говоря: «Посмотри-ка на меня, ты, несчастный Шогемоков!»

Адальбий подошел к буфету, налил полный стакан водки и сунул в руки Зрамуку со словами:

— Что молчишь, Шогемоков? Онемел, что ли? Выпей, может, язык развяжется.

— Я не пью,— ответил Зрамук и поставил стакан на стол.

— А по-моему, Шогемоков, ты просто корчишь из себя святого!

Ухмыляясь, Адальбий снова сел в плюшевое кресло и вдруг поднял правую ногу:

— А ну-ка, сними сапог! Очень жмет...

Зрамук дрожал от гнева, но не знал — то ли дать пощечину, то ли просто уйти, чтоб не обидеть Жанэт.

— Видно, правду говорят: что зять, что осел — все равно. Если хочешь стать нашим зятем, сними сапог. Понял?

У Зрамука загорелись глаза, но спросил он серьезно и тихо:

— А ты не обманешь, Адальбий?

— Неужели я буду искать другого жениха для своей единственной сестры, когда есть Зрамук Шогемоков?

— Что ж, придется снять... А где та, которую готов выдать за меня из-за такой пустяковой услуги?

— Почему ты такой недоверчивый? Даю слово!

— При чем здесь доверие? Я хочу знать: где Жанэт?

— Пошла с матерью к родственникам. Вернется. Непременно вернется!

Поняв, что в доме никого нет, Зрамук медленно приблизился к Адальбию. Тот протянул ему ногу:

— Стаскивай скорее! Жмет...

— Придется помочь тебе,— ответил Зрамук, берясь за сапог.— Ты же сам не можешь нагнуться!

И вдруг, резко и высоко подняв ногу Адальбия, с силой отбросил; вместе с креслом Адальбий повалился на пол и больно ударился затылком об пол.

— В другой раз, Адальбий, можешь остаться и без головы!

Зрамук вышел, хлопнув дверью.

Вот почему Зрамук смутился, когда отец спросил, видел ли он Адальбия. Признаться, юноша все это время размышлял, почему так бесцеремонно и оскорбительно относится к нему Адальбий и что делать, чтобы, не обижая Жанэт, заставить его прекратить подобные выходки.

И теперь он все рассказал отцу, не упоминая, конечно, одного женского имени...

— Он потешается над тобой, сын, потому что он учится, а ты бросил. Чувствует свое превосходство.

— Пошли меня в русскую школу,— с обидой сказал Зрамук.— Буду учиться не хуже его.

Обрадовался Исмел, но виду не подал. Не вышло сделать сына муллой, может, удастся сделать писарем! Но в Аюбее не было школы, а в горские училища Нальчика и Владикавказа не принимали детей простых крестьян.

— А ты очень хочешь учиться?

— Не хотел бы — не стал бы просить...

Исмел решил отдать сына, как это повелось издавна в Кабарде, батраком русскому казаку, батраком не за плату, а за учение: чтоб хозяин вечерами учил русскому языку и русской грамоте. Вот хотя бы к давнему приятелю казаку Андрею Ляпину, у которого сам Исмел когда-то кое-чему учился.

— Вот Андрей научил меня расписываться. Пойдет такое дело? — спросил Исмел жену.

Но Хакулина и слышать не хотела, чтобы ее сын стал батраком у гяура!

Она трещала, как кукурузные хлопья на горячей плите:

— Сдается мне, ты поклялся не говорить ничего путного. Это ж позор! Единственного сына отдать в работники! И кому! Казаку! Как у тебя повернулся язык?! Не дождаться тебе этого, клянусь аллахом и небом, сотворенным им!

Как всегда, Исмел промолчал.

Не раз, бывало, его спрашивали аюбейцы, посмеиваясь, как он уживается с такой вздорной и шумной женой. Неужели никогда не ссорится? Говорят ведь — собака умнее бабы, на хозяина не лает!

Острякам Исмел отвечал коротко и тоже поговоркой, которая, впрочем, у него звучала, как собственная мысль, как вывод из всего его жизненного опыта:

— Глупый с женой дерется, умный с женой смеется! Так-то, братцы...

И теперь Исмел помолчал, дал Хакулине отшуметься, выговориться. А потом сказал:

— Михаил Кулибин стал учить взрослых. Попрошу его, может, и тебя возьмет...

Зрамук охотно согласился.

Как будто все устраивалось к лучшему. Но тут Исмела начали донимать сомнения: а сможет ли Кулибин выдать бумагу с подписью и печатью, как выдают в училище, что, мол, Зрамук Шогемоков обучен грамоте и счету? А без такой бумаги кто же возьмет его в писари?

По этой причине старший Шогемоков некоторое время стоял, размышляя. Но другого выбора не было, и потому он сказал:

— Если аллах будет милостив, Михаил Кулибин сжалится и возьмет тебя в ученье...

13

Аюбейцы произносили фамилию Михаила Петровича на кабардинский лад: «Кулбын», что на их языке значило — «сын Кула».

Михаил Петрович неторопливо ходил по комнате, глядя, как дюжие мужчины, сопя и налегая грудью на стол или подоконник, старательно рисуют в тетрадях русские буквы. Оказывается, ужасно трудно держать руками, привыкшими к вилам, косе, герлыге, кнуту, маленький карандаш! Того и гляди, выронишь из рук. А попробуй поводи такой крохотной палочкой по бумаге... И мужчины тяжело вздыхают, кое у кого на тетрадь падает капля пота со лба, другие все чаще и чаще поплевывают на руки: словно сейчас возьмут топор и будут рубить дерево в лесу!

— Слюна не поможет! — улыбается Михаил Петрович.— Держите карандаш свободно, тремя пальцами.

— Тебе легко, Кулбын! — отвечает со вздохом Шахбан Каздохов.— Ты привык к этой палочке...

— Ой, опять карандаш сломался.— Мурат Кабардов достает из-под кинжальных ножен маленький ножичек и начинает в который уже раз чинить карандаш.

Михаил Петрович аккуратен во всем: в работе, в одежде, в обучении. Аюбейцы уже знают, что Кулибин носит недорогую простую одежду, но всегда чистую, отглаженную. Даже в ненастье, когда на улицах непролазная грязь, он умеет не запачкать сапоги. И пишет ровным, прямым почерком. И вот теперь они стараются изо всех сил, мучаются и потеют: надо же хоть чем-нибудь порадовать этого доброго человека! Ведь Михаил Петрович даже отказался брать деньги за обучение... А занимаются они через день, по вечерам.

Сегодня пришел к Михаилу Петровичу и Зрамук Шогемоков.

Кулибин вручил ему старый, потрепанный букварь:

— Пока посмотри картинки. Вот освобожусь от старших, займусь и с тобой.

Зрамук с любопытством рассматривал букварь. Там были нарисованы крошечные коровы, лошади, овцы, совсем такие, каких он ежедневно гонял на пастбище, водил на водопой к реке. «Ну, совсем как живые! — с восхищением думал Зрамук.— Так и ждешь, что заблеют».

В Коране, по которому он учился, не было никаких рисунков; больше того, пророк Магомет запретил мусульманам изображать живые существа: изображения потребуют, чтоб художник дал им не только внешность, но и душу, а разве человек может дать жизнь рисунку?!

Право, букварь был гораздо интереснее!

Зрамук прислушался: Михаил Петрович читал по-русски и тут же переводил прочитанное на кабардинский язык. Юноша даже рот открыл от изумления! Ведь его учили читать и малый, и боль-

шой Коран на арабском языке, но никто никогда не объяснял, что он читает... И Зрамук с товарищами были уверены, что нет на свете человека, кроме пророка и муллы, кто понимает язык святого Корана. Да и вообще грешно перекладывать священное писание на родной язык! А все-таки учить, не понимая, было ужасно скучно... И у Зрамука даже дыхание перехватило от мысли, что здесь, у Кулибина, он научится не только читать, но и понимать прочитанное!

Потом Зрамук стал внимательно разглядывать буквы. Они показались очень странными после арабской вязи; вот одна похожа на дверь в доме; другая — на лесенку; увидев большую круглую букву, юноша не удержался, воскликнул:

— Ну, точь-в-точь свернутый аркан, только маленький!

Все посмотрели на него, и Зрамук объяснил, что аркан плетут из крепкого конского волоса, что аркан очень длинен и его свертывают в круг и тогда получается совсем как эта буква; наверное, этой буквой можно поймать какое-нибудь сильное, быстрое слово...

Все засмеялись, но смеялись не зло, и Зрамук даже не смутился. А Кулибин подошел, прижал юношу к себе и сказал:

— Птица красна перьями, а человек знаниями! Учись, Зрамук.— И подал ему карандаш и тетрадь.

Юный Шогемоков стоял и, как завороженный, смотрел то на букварь, то на тетрадь, то на карандаш. Мысленно он говорил Адальбию Борокову: «Теперь я счастлив! Буду учиться, не поднимая головы, а когда стану писарем, посмотрим, как посмеет Адальбий издеваться надо мной».

Проверив, как взрослые усвоили прошлый урок, и велев к следующему разу выучить пять русских слов, Михаил Петрович обратился к юноше:

— А теперь начнем с тобой учить русский алфавит.

Занятия закончились. Но никто не ушел, и сам по себе возобновился прерванный в прошлый раз разговор о жизни, о труде, о судьбе кабардинских крестьян.

— Клянусь аллахом,— сказал Исмел Шогемоков,— испокон века овца одевала нас с головы до пят; и папаха, и бешмет, и суконные штаны, и черкеска, и башлык, и бурка, и ноговицы — все из ее шерсти. И вся постель — и матрац, и полсть, и одеяло, и настенный ковер... И кормились бараньим мясом. А теперь выходит, что овца вроде бы уже не может ни прокормить, ни одеть нас... Что случилось, Кулбын?

— Да,— горько вздохнул Шахбан Каздохов,— стало наше овцеводство убыточным. Как жить будем?! Сколько уже хозяев разорилось, ушло в батраки...

— А вы разве не заметили, что когда не соглашаетесь на цены, которые предлагает за шерсть Бороков,— он заполняет свой магазин дешевыми и яркими хлопчатобумажными тканями? И ваше домотканое сукно остается непроданным. И лежит у вас

в сундуках, пока не съест его моль... А дешевую мануфактуру раскупают быстро.

— Ну, а бурки-то отчего так подешевели, что хоть совсем их не делай?! — спросил Каздохов.

— Алиханов стал делать бурки на фабрике, вот они ему и обходятся дешево. Разве способен человек руками, без машины, сделать столько же? Ну, а Бороков не может платить вам прежнюю цену, когда есть недорогие бурки Алиханова, иначе останется в убытке...

— О, аллах, ты верно сказал, Кулбын! — вскричал Исмел.— Моя бедная Хакулина пострадала из-за алихановских бурок...

Взяв бумагу и карандаш, Михаил Петрович предложил:

— А ну-ка, друзья, попробуем подсчитать, сколько мяса и шерсти дает овца и сколько все это стоит сейчас на рынке... Ведь цены на шерсть упали. А сколько труда уходит на каждый аршин домотканого сукна?

Подсчитывая, Михаил Петрович спрашивал крестьян и о базарных ценах, и о труде, и о кормах для скота, и о том, как много можно напрясть шерсти за день... А подсчитав все, сказал:

— Ну, теперь, друзья, сами видите, что молотите на гумне пустую солому... Прошли времена, когда сильный и трудолюбивый человек мог обеспечить семью, мог жить безбедно. Нет, теперь жизнью владеют те, у кого есть деньги, а значит, и машины и техника. Никогда кустарь не мог состязаться с фабрикой!

Зрамук сидел в уголке, не смея дохнуть. Больше всего он боялся, что его заметят и прогонят домой: мол, это разговор не для подростков.

А когда наконец усталый и счастливый Зрамук пришел с отцом домой, он прежде всего сунул букварь под подушку: юноша твердо верил, что, чем ближе будет книга к голове, тем скорее он научится читать и писать по-русски.

14

Старшина Бороков приказал прекратить «ночные сборища», но его просто не послушали. Занятия продолжались.

И тогда Туган прислал сотского с приказом всем немедленно явиться в правление. Пришлось подчиниться.

Туган Бороков сидел за столом взъерошенный и злой.

— Ну-ка, скажите,— спросил он грозно,— перестанете вы наконец косить сено по ночам?!

— Ну, Туган, это уж слишком! — возмутился Исмел.— Мы учимся читать да расписываться: что тут плохого?

— А кто разрешил вам выяснять, кому весна красна, а кому осень щедра, ы-ы? Отвечайте!

Крестьяне смущенно молчали.

— Занимаетесь подсчетом чужих доходов, а у самих не остается времени, чтобы заработать для себя. Потому и бедствуете! Поняли?

Было ясно, что Бороков откуда-то знает все, о чем говорили у Кулибина. «Надо бы замять этот разговор»,— подумал Михаил Петрович и сказал:

— Хозяин, стоит ли упрекать их, что на уроке арифметики они подсчитывали, как весенние надежды обернулись осенним горем!

Бороков выпрямился:

— Как сказал? Что сказал?!

— Эти крестьяне пашут, сеют, а урожай отдают другим; растят скот, но и мясо и жир получают иные, а им остаются рожки да ножки. Вот что я сказал, хозяин. А кстати, закон не запрещает учиться никому.

Старшине не хотелось говорить на эту тему.

— Я не о том,— буркнул он.

Теперь он говорил мягче.

— Вы что же, хотите снова причинить горе своим семьям? Почему не держите языки за зубами, несчастные?! По долгу службы я должен бы вас посадить в тюрьму, да жалко ваших жен и детишек. Эх вы, морковные головы! Неужели не понимаете, что такие сборища и разговоры незаконны? Сегодня я вас отпущу из жалости... Но смотрите, чтоб больше этого не было! Я вас прощаю, но если такие разговорчики дойдут до начальства, не смогу вас защищать... Поняли?

После этого случая и Михаил Петрович, и его ученики стали осторожнее и сдержаннее в разговорах.

И все-таки через несколько дней занятия возобновились.

В тот вечер первым отвечал урок Зрамук. Он водил пальцем по раскрытому букварю и, запинаясь, громко читал:

— М-а, ма, м-а, мама... М-а, ма, ш-а, ша, Маша... М-а-к...

— Молодец! Хорошо! — подбадривал юношу Михаил Петрович.

— С-у-м, сум, к-а, сумка...— радостно голосил Зрамук.— С-у, су, д-а-к, судак... С-о-м, сом!

И тут вдруг Зрамук замолк, вытащил из кармана два серебряных полтинника и шелковый платочек и, держа в левой руке раскрытый букварь, подошел, протянул Михаилу Петровичу деньги, попросил:

— Прищемите мне, пожалуйста, язык...

Дело в том, что по-кабардински слово «сом» значит «рубль», и Зрамук решил, что теперь настало время, когда надлежит поднести учителю рубль и совершить обряд «прищемления языка».

Кулибин сначала растерялся:

— Да ты что?! Зачем эти деньги?

Но Зрамук просил, а крестьяне объяснили значение и смысл обряда. Михаил Петрович только развел руками:

— По-русски, случается, говорят, что, мол, на этом «язык сломаешь»... Но чтоб язык на самом деле ломали,— первый раз слышу!

Напрасно умолял ученик. Кулибин решительно отказался, как он выразился, «потакать глупейшему самообману».

— Хотите хорошо знать русский язык? — спросил Михаил Петрович.

— Хотим, хотим! — в один голос ответили крестьяне.

— Тогда учитесь писать по-русски. Грамота — это вроде того аркана, про который говорил Зрамук. Память может изменить, забудете, а тетрадь не забывает! Прочтете и вспомните. Вот и выходит, что ломать надо не язык, а голову: запоминать буквы, учиться писать...

Кто-то сказал, что это, дескать, вековечный обычай. Кулибин возразил:

— Первый наставник, который потребовал себе угощение и денег, был, конечно, человеком небогатым. А остальные превратили это в обычай, в источник обогащения и узаконили... Так вот, друзья...

Договорить он не успел: от резкого толчка распахнулась дверь, в комнату вступил урядник в полной форме.

— Предъявите, господин Кулибин,— громко сказал урядник,— бумаги, кои дают вам право содержать школу и преподавать!

— А вы не спешите, господин Иванов,— спокойно отозвался Михаил Петрович.— Садитесь, пожалуйста!

И пододвинул уряднику табуретку.

— Сейчас, господин Иванов, вы увидите кое-что любопытное из древних местных обычаев... Подойди поближе, Зрамук! Совершим старинный добрый обряд.

И Михаил Петрович, обернув шелковым платком и защемив полтинниками, стал мять, крутить, ломать юноше язык, а Зрамук старался высунуть язык как можно дальше. Кулибин крутил старательнее любого учителя и еще приговаривал: «Будешь знать русский язык, обязательно будешь знать! Такова воля аллаха!»

Закончив священнодействие, он завернул в шелковый платок полтинники и подал уряднику:

— Это вам на память, господин Иванов!

Опешивший урядник взял и теперь сидел с глупейшим выражением.

— Твоя очередь, Мурат! — Михаил Петрович повернулся к Кабардову.

Мурат понял не сразу: он глядел во все глаза на Кулибина и моргал, силясь сообразить.

— Ну, если нет серебра, можешь дать ассигнацию,— чуть улыбнулся Михаил Петрович.

И только тогда Мурат наконец понял, чего от него хотят. Он вытащил из кошелька рубль.

Михаил Петрович положил его в ладонь уряднику, взял у него монеты и платок, повторил операцию «ломания языка». И предупредил остальных, чтоб готовились...

За несколько минут все ученики подверглись этой процедуре. Собранные пять с полтиной Кулибин завернул в платок и положил уряднику в карман.

Иванов не протестовал, но опустил глаза и неопределенно помахал рукой, как бы отклоняя дар.

— Нельзя отказываться, господин урядник! — возразил Кулибин.— Таков древний кабардинский обычай! Если желаете, чтоб они научились говорить по-русски, возьмите деньги.

Иванов не слыхал о таком обычае, но спорить не стал. Он только снова спросил:

— Какие у вас имеются бумаги на право преподавать, господин Кулибин?

— У нас не школа, господин Иванов,— возразил Кулибин.— Просто люди собираются в часы досуга, чтобы выучиться русскому языку.

— Нельзя. Не по закону! И старшина жалуется...

Крестьяне переглянулись, но не сказали ни слова.

— Я обязан составить протокол и доложить приставу,— продолжал урядник.

— В интересах Российской империи, господин Иванов, обучить инородцев русскому языку... Но если не разрешаете,— ничего не поделаешь! Придется прекратить.

— Нельзя. Не по закону,— бубнил урядник.— Могу не составлять протокола, если дадите подписку, что не будете собираться по вечерам под видом обучения русскому языку...

Почесал Кулибин за ухом, подумал и — согласился. И свои первые подписи крестьяне поставили под бумагой, запрещающей им учиться. Дрожащей рукой, с великим трудом поставили они подписи, подавленные тем, что вместо ожидаемой пользы из их занятий получился один только вред.

Расходились по домам удрученные, угрюмые, молча...

Прошло две, а может, и три недели. Михаил Петрович хотел было возобновить занятия в своем «университете», но крестьяне только покачали головами: не стоит связываться, можно ведь нажить неприятности! Аллах упаси...

Горше всех было Зрамуку: так мечтал, так рвался к ученью, а когда уже, казалось, стал оперяться, как птенец осенью, все оборвалось.

Не хотел Зрамук бросать учиться. Но отец сказал:

— Из-за тебя хороший человек может попасть в тюрьму. Нельзя! Придумаем что-нибудь другое...

15

Наступило лето. Оно было в тот год в Кабарде жарким, знойным. И в конце лета, как только начала спадать жара, началась первая мировая война.

Старшина вызвал Исмела Шогемокова в сельское правление.

— Выбирай, Исмел: или сам вступишь в кабардинский полк, или дашь верхового коня с седлом, оружие и полную форму кабардинского кавалериста. Решай!

От воинской повинности, как известно, не увильнешь. Пришлось Шогомокову продать десять овец, чтоб приобрести верхового коня, да еще вынуть из последних сбережений двадцать пять рублей на седло, нагрудник, сбрую, одежду для всадника...

— Мы разоряемся, сын,— сказал Исмел Зрамуку.— Пока не поздно, пока не совсем обнищали,— учись...

Долго они гадали: где и как можно учиться? И выходило, что нет другого пути, как идти в терские казачьи станицы: работать батраком бесплатно, чтоб хозяин учил грамоте и языку...

Но Хакулина и слышать не хотела об этом!

И тогда Зрамук отпросился у отца на несколько дней сходить в станицу.

— Иди, сынок! — сказал Исмел.— Но помни, что если мы не схитрим, мать ни за что не согласится.

Много казачьих дворов обошел за день Зрамук, спрашивая по-русски:

— Наша работай бесплатнэ, ваша учит бесплатнэ.

Казаки понимали: это было издавна принято в Кабарде. Но никто не брал Зрамука: то ли оттого, что незнакомый, невесть откуда пришедший, то ли оттого, что уж больно молод: силенок, наверное, маловато...

Под вечер голодный и усталый Зрамук забрел к старому, добродушному казаку. И тот сказал:

— Нет, паренек, мне не требуется... А вот у соседа двух батраков забрали в армию: может, и возьмет тебя. Только человек он крутой, капризный, не дай бог! Да, впрочем, и осуждать не приходится: контузило его на фронте... Теперь дали отпуск для долечивания на полгода. Сходи, коли хочешь.

Зрамук пошел, но во дворе остановился, вдруг заколебавшись.

— Что ищете, моло́дой человек? — спросил мужской голос из дома.

— Наша работай бесплатнэ, ваша учит бесплатнэ.

— Значит, учиться хочешь?

— Очин!

— Вот как! Зайди-ка в дом. Только мне нужен работник, а не ученик.

— Ден наше аработай, ноч ваша учит книга читай, карандаш писай...

Познакомились. Казачий офицер Евгений Пантелеевич Сиднев искренне забавлялся Зрамуком; похлопал по плечу, сказал:

— Эх ты, орда Кабарда, вшивая борода!

Зрамук обиделся:

— Нэту, совсем нэту борода; совсем нэту вошка!

— Ладно, сговорились...

Но как сказать матери? Она же не согласится, чтобы единственный сын вдруг стал батрачить! И Зрамук попросил Сиднева сказать, что берет его в приказчики. Не сейчас, конечно, а потом, когда выучится.

Сиднев прищурился:

— Может, не в приказчики, а прямо в управляющие?

Зрамук не понял насмешки:

— Как ваша хочит, так делай. Это не мне надо, это мать надо.

Очень нужны были Сидневу батраки, а какая в конце концов разница, как их назвать? Да хоть племянниками!

И казачий офицер согласился.

А Хакулина, когда узнала, что офицер берет ее сына, чтобы выучить «на большого начальника», так загордилась, что и ходить стала неторопливо и плавно, разговаривать степенно и нараспев.

Осенние работы были уже закончены, наступила пора, когда смолкли птичьи голоса в степи и в лесу, отцвели, рассеяли семена, пожухли и зачерствели травы, осыпались, шурша, листья и все словно бы замерло в безмолвии и ожидании ненастья. Вечера были длинные, и у Зрамука оставалось время, чтобы почитать, поупражняться в письме. Он жил среди русских и волей-неволей вынужден был говорить на их языке. Юноша давно мечтал научиться хорошо говорить по-русски и читать книги.

Нравилось Зрамуку и то, что хозяин получал широченные листы бумаги, которые Кулибин называл «газета», но, в отличие от Михаила Петровича, читал их открыто — и на лавочке у ворот, и даже в станичном правлении. И Зрамук решил, что его хозяин человек сильный, которому не смеют ничего запрещать... И проникся к нему уважением.

Евгений Пантелеевич занимался по вечерам кое-как: велит юноше к следующему разу прочесть от сих и до сих, сам скороговоркой прочитает эту страничку и поднимается, зевая:

— Учись, учись, Зрамук! Вижу, быть тебе ученым.

— А нашэ догонит Адальбия, сына старшины Борокова, чтоб нашэ быстро читай? — спрашивал Зрамук, и глаза у него сияли, как звезды.

— Куда там сынку Борокова! — смеялся Сиднев.— Ты, Зрамук, станешь писарем у самого правителя Клишбиева.

И Сиднев уходил спать, а юноша еще долго сидел, склонив-

шись над книгой, напряженно шевеля губами и водя пальцами по строчкам.

Только одно не нравилось Зрамуку: Сиднев никогда не проверял, как приготовлен урок. А ведь Михаил Петрович — всегда...

Зрамук попробовал было в начале занятий прочитывать заданное и Сидневу, но читал он с кабардинским акцентом. Сиднев морщился, хмурился и обрывал:

— Ну, ладно, ладно, хватит! Отлично выучил урок. Быть тебе писарем.

— Как же отлично, Женя?! — однажды робко возразила Нина Михайловна, жена Сиднева, пышноволосая блондинка, сидевшая здесь же с каким-то шитьем.— Он путает мягкий знак с твердым, букву «ы» с буквой «и», неверно делает ударения...

Сиднев встал.

— В таком случае возьми-ка на себя эту благор-р-родную миссию — обучать дикаря!

И вышел из комнаты.

Нина Михайловна взяла книгу, прочла не спеша страницу, подала Зрамуку:

— А теперь читай сам.

В смущении Зрамук — впервые в жизни его учила женщина! — сделал втрое больше ошибок, но Нина Михайловна не сердилась: спокойно, терпеливо, ласково поправляла, заставляла повторять.

Только после месяца непрерывных упражнений в чистописании Нина Михайловна разрешила Зрамуку списывать тексты из книги. Допоздна засиживалась хозяйка с юношей. И Сиднев начал хмуриться.

Как-то поздно вечером Нина Михайловна пришла в спальню с тетрадью Шогемокова и, присев к столику, проверила.

— Нет, ей-богу! — воскликнула она с восхищением.— Наш Зрамук умница и очень способный... А начнет работать — прямо огонь!

Евгений Пантелеевич, читавший в постели, вскочил, ударил кулаком по столу, заорал:

— Перестань чирикать! Слышишь?

— Женя, дорогой, что случилось?! — удивилась и встревожилась Нина Михайловна.

— «Умница, очень способный, огонь»,— передразнил ее Евгений Пантелеевич.— Ты что, готовишь мне замену — молодого, здорового мужа? Самоотвер-р-рженная «учительница»!

Нина Михайловна покраснела, затем начала бледнеть. Не промолвив ни слова, она смотрела расширенными, почти безумными глазами на мужа. А потом схватилась за голову, бросилась ничком на постель и зарыдала.

Прошло несколько дней, и Зрамук спросил, почему Нина Михайловна перестала с ним заниматься.

— Нездоровится мне, Зрамук,— ответила хозяйка.— Да и учительница я неважная...

— Сто раз лучше, двести раз лучше вашэ учит, чем Евгенэ Пантелеевич! — вскричал с жаром юноша.

— Я болею, очень болею,— сказала еще раз Нина Михайловна и ушла из комнаты.

Ударили морозы. Скот перестали выгонять на пастбища, а прожорливого кабана водворили в сажок на откорм. Теперь Зрамуку приходилось трижды в день задавать корм верховой и рабочим лошадям, десяти коровам,— утром, в обед и вечером гнать их всех на водопой. А вот кормить кабана Зрамук наотрез отказался: возмутилось его мусульманское сердце,— ведь с самого детства ему внушали, что свинья — самое грязное животное в мире!

— Чушка кормить? Нет, нашэ этэ не хочит! Аллах не разрешает.

Тщетно Евгений Пантелеевич пытался уговорить юношу. Зрамук упрямо твердил:

— Нет, наша чушка кормить не будет. Всо.

— Да зачем принуждать его? Я сама буду ухаживать за Васькой,— заступилась Нина Михайловна.

— Помолчи лучше! — гаркнул Сиднев.

И Нина Михайловна замолчала.

— Зачем кричать? — возмутился Зрамук.— Ладно, чушка кормить тоже будет нашэ...

Шогемоков работал, не зная отдыха, старательно, усердно; вечерами он садился за книгу или раскрывал тетрадь, но глаза начинали слипаться, и, чтобы не заснуть сидя, Зрамук время от времени, морщась, выдергивал волосок из брови...

Но всякому терпению бывает конец. «Что ж это?! — думал он огорченно.— Я так прилежен на чужой работе, а свое заветное забросил. Выходит, что на пустом гумне стучу цепом...»

Утро выдалось на редкость скверное: и снег и дождь,— небо в беспросветных тучах, и ветер трясет голый тополь за окном.

Спозаранку Зрамук замесил для лошадей отруби с половой, задал скоту сена, напоил животных, почистил конюшню и скотный двор. Потом умылся, переоделся и не злой, но решительный пошел к хозяину и заявил:

— Нашэ чеснэ, очин чеснэ работай, вашэ софсим не учит. Почему?

Глядя на Зрамука недобрыми глазами, Сиднев поднялся, заложил руки за спину и, хмурясь, прошелся по комнате. Нельзя сказать, что Евгений Пантелеевич вовсе не чувствовал своей вины, но его задел решительный тон юноши.

Видя, что хозяин сердится, нахмурился и Зрамук.

Тут в залу вошла и села с вязаньем поодаль Нина Михайловна; она вязала и слушала, и когда разговор становился гневным, спицы в ее руках двигались быстрее, тревожнее...

В эти минуты она походила на полевую перепелочку, что следит за каждым движением охотника и мучительно решает, как поступить: взлетишь — попадешь под выстрел; не двинешься — накроют сетью...

Но когда Евгений Пантелеевич еще раз прошелся по комнате и, разгневанный, остановился перед Зрамуком, готовый наговорить грубостей, Нина Михайловна не выдержала, подошла к мужу, обняла, сказала встревоженно:

— Женя, милый, я очень-очень боюсь...

— Что?! Отчего ты испугалась, Ниночка?

— За тебя, мой дорогой! За тебя, жизнь моя!

— Но что случилось?!

— Ты побледнел, дрожишь... Не надо нервничать, не расстраивайся, милый...

Сиднев нежно привлек к себе жену, поцеловал в щеку.

Зрамук повернулся, чтобы уйти.

— Не обижайся, Зрамук! — сказала Нина Михайловна.— У Евгения Пантелеевича так мало времени и так много дел...— И обернулась к мужу: — Если бы ты разрешил, Женя, я б снова стала заниматься.

Сиднев заглянул в лицо жене, поцеловал ее в глаза.

— С завтрашнего дня Нина Михайловна будет вечерами заниматься с тобой. Ступай! — отрезал он по-военному.

А хозяйка сказала вслед:

— Не отлучайся. Возможно, начнем даже сегодня.— И нежно улыбнулась мужу.

Мокрый снег, шедший с утра, к полудню прекратился. Тучи рассеялись. Вместо них на синем небе возникли округлые облака, белоснежные и ладные. И теперь размягченная влагой земля словно бы отдыхала; установившейся тишине, казалось, радовались и растения, и твари, и люди; все вокруг дышало полной грудью. Потемневшие от сырости ветки вишен, яблонь, акаций роняли крупные капли, будто слезы умиления перед теплом и солнечным светом. А вот с юга, от древних Кавказских гор подул живительный ветер, то собирая в отару пушистые облака, то рассеивая вновь, погнал их на север. Туда же, на север, мчал свирепые, мутные воды и старый Терек, разбухший за последние недели от дождей. И гул Терека был громче не в верховьях, а внизу, что по старинной примете обещало устойчивую ясную погоду.

Зрамук сводил лошадей и коров на водопой, задал им корма и теперь сидел на корточках, привалившись спиной к плетню: созерцал беспредельное небо, любовался чистотой и легкостью кочевавших там облаков. Хорошо было на сердце у юноши: все, казалось, исполняется! Выучит он теперь русскую грамоту, овладеет русским языком — и взлетит вольным соколом, жизнь перед ним откроется такая же просторная, как это небо...

Зрамук сидел так, чтобы его могли увидеть с крыльца и окликнуть. Но Нина Михайловна звать не стала, а подошла к поднявшемуся при ее приближении подростку и положила ему на плечо изящную руку.

— Итак, Зрамук, начнем. Пошли!

Когда Зрамук с потрепанным учебником и тетрадью явился в гостиную, Евгений Пантелеевич поднялся и пожелал «всяческих успехов».

— Милый, побудь с нами,— попросила жена.

— Чем я могу тебе помочь?..

— Одно твое присутствие... Итак, с чего начнем?

— Понятия не имею! — Сиднев пожал плечами.

И тогда подал голос Зрамук:

— Ми знайт: долго нашэ один училсэ, тепер экзамен давай. Русски Михаил Петрович всегда начинал экзамен, потом далши пашол.

Юноша пытливо оглядел хозяев, стараясь догадаться — поняли его или нет. И на всякий случай повторил:

— Кулибин узнал, што ми знаеш, патом впирод пашол.

На этот раз Евгений Пантелеевич и Нина Михайловна кивнули, и юноша, обрадованный, что его понимают, что он может уже говорить по-русски, произнес целую речь:

— Михаил Петрович балшой шеловек. Язык его, как сахрэ. Нет, как мод, сладкэ. А сэрцэ их — целы дуней [1]. Нет, не дуней, а солнцэ, небэ, земля. Он шеловека радост, плач, всо, всо можит палажит свой сэрцэм. Балшой, очин хорошэ шеловек Михаил Петрович.

С живым сочувствием, с умилением смотрела Нина Михайловна на взволнованного, искреннего юношу, который пошел батрачить только ради того, чтобы его научили грамоте. С кривой усмешкой смотрел на подростка Евгений Пантелеевич и неприязненно думал: «Что происходит?! Сын кабардинского крестьянина становится батраком, лишь бы учиться. Какой-то бездомный студентишка открывает в своей квартире школу и бесплатно учит людей. Да что ж это? Или зараза учения распространяется вроде эпидемии, что ли?!»

— Зря мука, Зрамук! — произнес он насмешливо.— Зря мучаешься, Зрамук.

— Женя, ну зачем! И вовсе не остроумно,— строго возразила Нина Михайловна.

— Помогай, помогай прозреть щенку! Выучишь — хорошим волком станет!

Зрамук понял не все, он только почувствовал, что в его огород летят камни, и, вспомнив прибаутку, которую любил повторять Кулибин, сказал, смеясь:

— Недоучиш, афицар будет.

---

[1] Дуней — мир, свет.

Юноша не хотел ни обидеть хозяина, ни посмеяться над ним: просто вспомнилось, и решил щегольнуть знанием, как ему казалось, русской пословицы.

Сиднев вспыхнул, как спичка. Серые глаза налились кровью.

— Хам! — заорал он.— Пошел вон!

Теперь оскорбился Зрамук.

— Я собача? Нет, ми не собача, наша шеловек.

Дело в том, что по-кабардински «ха» — собака, а «м» — падежное окончание. И Зрамук был уверен, что его обозвали собакой.

Нина Михайловна не пожалела ничего, чтоб потушить пожар, чтоб успокоить Евгения Пантелеевича, но тщетно. Нет, Сиднев не потерпит посягательства на свою офицерскую честь и не позволит мальчишке смеяться над собой. Нет!

И он ушел, хлопнув дверью.

Сиднев и прежде не отличался спокойным характером, а после контузии стал таким нетерпимым, мнительным, легко поддающимся раздражению, что Нина Михайловна просто терялась. Вот и теперь она сидела, обхватив голову руками, и мучительно думала. Ей опротивели эти приступы бешенства мужа, она устала и чувствовала, что сама становится нервной, издерганной и не знает, как помочь симпатичному, трудолюбивому юноше, который так тянется к знанию.

Задумался и Зрамук. Казалось, все наконец наладилось, и вдруг все его планы внезапно рухнули. «Недоучиш, афицар будет»,— думал Зрамук.— Ну, ладно, сказал... Но почему он так обозлился?! Что, я обругал его или оскорбил? За что обозвал меня собакой? Черт побери, нет у меня оружия, а то показал бы ему, что я не собака!»

Юноша сидел, как деревянный. Он не чувствовал, что Нина Михайловна положила руку ему на плечо; не слышал, как она утешает его, просит не сердиться на Евгения Пантелеевича, потому что он, дескать, перенес тяжелую контузию... В ответ Зрамук невнятно пробормотал слова: «Ми не собача, нашэ шеловек. Я учит хочет, собача не учит...»

— Будешь учиться, обязательно будешь! — горячо сказала Нина Михайловна.

А Зрамук понимал: его просто утешают. Конечно, хозяйка добрый человек, но что она может сделать, если муж выгоняет его, Зрамука?!

Юноша вздохнул, нехотя собрал потрепанные книги и тетради и с опущенной головой направился было в горницу, но вспомнил, что у него нет никаких вещей, и повернулся к выходу. Напрасно Нина Михайловна пыталась удержать, обещала направить к своим родителям, которые станут учить его без помех и придирок. Юноша будто не слышал. Он зашел только в конюшню, чтоб проститься с конями, за которыми ухаживал и которых успел горячо полюбить.

В конюшне стоял гнедой кабардинской породы, настороженно шевеля ушами. Увидев Зрамука, он тихо, ласково заржал, топнул и поглядел на него живыми, удивительно умными глазами. Юноша долго стоял возле гнедого, нежно похлопывая его по шее, поглаживая его голову.

А потом ушел, не прощаясь и не оглядываясь, даже не посмотрев на задумчиво стоявшую у крыльца Нину Михайловну. Ушел по грязи, по бесконечной станичной улице, возвращаясь в свой Аюбей.

Так вторично рухнула заветная мечта Зрамука. И остался в душе горький осадок.

Еще издали Зрамук услышал душераздирающий многоголосый плач мужчин и женщин: оплакивали чью-то смерть. Ноги подкосились у бедного Зрамука, подумалось ему, что это, наверное, умерла мать. Он бросился бежать, но вскоре юношу остановил односельчанин и по обычаю выразил глубокое соболезнование в горестной потере — на обратном пути из святой Мекки скончался дед Дамжуко... И Зрамук тоже заплакал, он бил себя по лбу, как предписывал старинный обряд.

Под навесом во дворе сидели седобородые и поминали добрым словом благословенного аллахом Дамжуко: ведь умер он не так просто, не в родном ауле, а на обратном пути своего паломничества к мусульманской святыне, где он очистился от всех грехов и стал хаджи, почти святым.

Спутники Дамжуко, привезшие горестную весть о его смерти и о том, что тело старика приняла морская пучина, говорили, что лицо его и после смерти сияло, как лик святого. И Мухамед-эфенди и паломники в один голос утверждали, что Шогемоковых осенила великая милость аллаха и дед Дамжуко ныне блаженствует в раю. А кое-кто даже утверждал, что теперь всему роду Шогемоковых будет даровано аллахом счастье и процветание: ведь у них отныне есть свой заступник перед аллахом!

И хотя, казалось бы, трудно считать удачей смерть вдали от родных и погребение в морской пучине, сыновья Дамжуко поверили в счастливую примету: им так давно и страстно хотелось удачи! Они зарезали баранов, бычка и мясо роздали людям на помин души Дамжуко; пригласили лучших чтецов, чтобы много дней читали Коран по усопшему. Предполагали послать Исмела на место гибели отца, чтоб там оплакать его. Но паломники объяснили, что они «похоронили хаджи Дамжуко на самой середине глубокого моря, не имеющего ни конца, ни края». И, подумав, братья поняли: по такому «адресу» ничего не найдешь...

Все сошлось для Зрамука одно к одному, сплелось в один горький клубок — и смерть деда Дамжуко, и неудача с учением в станице. Зрамук совсем померк, помрачнел, загоревал.

16

Как бы старательно ни прятали, ни скрывали, ни хоронили правду, она, торжествуя, вновь появляется среди людей.

И все вокруг начинают шептаться и судачить, солгавший все чаще чувствует, краснея, на себе косые взгляды соседей, родных, знакомых и даже незнакомых людей, которых и видит-то впервые в жизни. И все они вспоминают давно позабытую ложь, жуют ее, морщась и сплевывая, горько покачивая головами...

По всему Аюбею поползли сплетни и кривотолки, когда Зрамук вернулся из станицы. Все припомнили хвастливые слова Хакулины: «Аллахом клянусь, сам царский офицер приехал и взял моего сына, чтоб выучить на большого начальника...» Страшную зависть посеяла тогда Хакулина в Аюбее. Теперь все жевали эти слова, словно горькую еловую смолу, и морщились, и сплевывали. При этом одни утверждали, что Зрамук просто плохо работал и станичник прогнал его за безделье; другие возражали, что было на самом деле вовсе не так, что станичник сам оказался неграмотным, а позарился на бесплатного батрака; «и вовсе не так! — спорили третьи.— То был и вправду казачий офицер, но не сдержал своего мужского, офицерского слова, обманул человека, и вообще дурак тот, кто верит гяуру».

Исмел и Зрамук притворялись глухими. Но женские пересуды хуже слепней, от которых бесятся даже смирные лошади: пересуды эти настигали Шогемоковых и на улицах, и в мечети, и в поле. А им и без того хватало горя: только что похоронили старого Дамжуко; и даже не самого хаджи, а только воспоминание о нем.

Когда-то веселый, с радостно блестевшими черными глазами, жадно-внимательный к окружающему, умевший для каждого найти теплые, ласковые слова, теперь Зрамук был сумрачным, замкнутым, как бы окоченевшим.

Исмелу оставалось только одно: отдать сына в станицу к тому полуграмотному казаку, у которого он и сам учился кое-как расписываться. Но Хакулина и слышать об этом не хотела.

— Хватит! — отрезала она.— Если с офицером не вышло, то к простому казаку да еще в батраки не отдам сына. Пусть лучше не учится.

Спорить Исмел не стал: теперь он был особенно бережным и осторожным с женой, ведь у Хакулины началась чахотка, и больную старались щадить.

Однажды, когда Хакулина поехала погостить к родителям, Исмел задумчиво сказал сыну, рисуя хворостиной какие-то черточки на земле.

— Тяни, тяни, мой мальчик, пока не вытянешь жилы. А будешь слабым да малодушным — и вовсе не дадут поднять голову. Сумеешь взять за горло того, кто попробует вырвать тебе глаза,

тогда будешь жить. А дашь себя сломить,— смешают с грязью, затопчут и равнодушно пройдут мимо...

Исмел говорил горько; это были не размышления на досуге,— отец подводил итоги прожитому и пытался поделиться жизненным опытом с единственным сыном.

* * *

Шогемоковы, как известно, не входили в сословие дворян, но не были они и зависимыми крестьянами. Нет, род Шогемоковых принадлежал искони к вольным, свободным земледельцам. Никогда не славились они большим достатком, но и бедняками не были. И во всех окрестных селениях знали Шогемоковых как людей трудолюбивых и мужественных, не отступающих перед врагами, но и не заносчивых и чересчур гордых. Еще помнили люди, как род Шогемоковых, когда-то многочисленный, отстаивал свою независимость от князя Аюба, пожелавшего подчинить их себе, и от его телохранителей. Разбитые в бою и преследуемые, Шогемоковы рассеялись по свету; одни, обремененные большими семьями, осели на Кубани, стали жить в кабардинских селениях на адыгейской земле; другие, увлеченные общим потоком эмигрировавших черкесов, попали на чужбину, в Оттоманскую Турцию. В Аюбее остался, да и то случайно, один только Дамжуко, тогда еще молодой: он был в отлучке, когда поспешно бежали его сородичи, и, вернувшись, не знал, на каких дорогах их догонять... С тех далеких времен и установилась за Шогемоковыми слава смелых и самоотверженных борцов за справедливость. И они дорожили этой славой.

Хорошо, когда у тебя доброе имя! Приятно пользоваться общим уважением. Но почему же и доброе имя и уважение забываются за столом, в компании, где есть уорки?

Однажды Пшикан, второй сын Дамжуко, вернулся домой мрачный. Дамжуко спросил:

— Почему печальный? Что случилось?

Пшикан поерзал на скамейке и промолчал.

— Рассказывай!

— Отец, лучше не вынуждай.

— Выкладывай все без остатка перед родным очагом.

Пшикан взглянул на младшего брата, и тот поспешил на помощь: стал было рассказывать. Но Дамжуко строго прервал его, и, повинуясь, Исмел снова встал у порога, где место младших. Дамжуко попросил жену и невестку удалиться, а когда мужчины остались одни, сказал:

— Я слушаю.

— Отец, разве наш род Шогемоковых выпал из ноздрей уорковских лошадей?!

И Дамжуко не стал больше расспрашивать: он знал по своему опыту, что какой-то молодчик грубо согнал Пшикана с места, и

тот остался у порога; а может, и еще хуже: заставили прислуживать какому-нибудь Болату Борокову...

Вот в те времена и состоялся семейный совет Шогемоковых, на котором было решено, что Дамжуко поедет в Мекку и станет хаджи, а все члены семьи будут работать, не щадя себя, чтоб выбиться из нужды и заставить себя уважать не только бедных и простых людей, которые и так уважали их за мужество и справедливость, но и богачей, и даже уорков. Небось перед белой чалмой хаджи склонят голову!

Тогда же отец предупредил сыновей:

— Запомните, кто может превозмочь горе и тяжелый труд, тому в конце концов станут подавать баранью голову! [1]

Отец и старший сын Беслан взяли на себя домашнее хозяйство, Пшикан пошел в батраки, Исмел нанялся чабаном, а маленький Увжуко определился пасти телят.

Говорят, изнемогающий от жажды роет землю ногтями, лишь бы достать воды... Вот тогда и они, Шогемоковы, не видели ни восхода, ни заката: некогда было посмотреть вверх. Зимой ходили в потрепанных нагольных полушубках, в сыромятных чувяках, набитых травой, без носков, в изъеденных молью папахах. Зимой и летом носили перештопанные рубахи и штаны, без нижнего белья. Но не хмурились, а улыбались...

Так шел год за годом, и Шогемоковы обзавелись собственной отарой, пароконной бричкой, а вскоре к двум рабочим лошадям присоединили и гордость каждого кабардинца: верхового коня.

Через месяц Пшикан кончал батрачить, с весны Исмел собирался погнать на альпийские пастбища собственную отару...

Братья уже приоделись: в праздники и на свадьбы Исмел надевал серебристо-белую папаху, светло-серую черкеску, туго затянутую поясом со множеством серебряных украшений, с кинжалом, натягивал сафьяновые чувяки и ноговицы до колен. Черные глаза весело глядели из-под черных бровей, усы задорно закручивались вверх; статная фигура, тонкая талия и широкие плечи,— словом, Исмел был, что называется, первый джигит в ауле, о котором вздыхали многие аюбейские красавицы... К тому же как раз подходил его черед жениться. Впрочем, надо признаться: любили его не только за красоту, но и за добрый нрав, за трудолюбие, за умение держать слово, за справедливость.

Ожил, приоделся, выпрямился и самый старший из сыновей Дамжуко Беслан. Радовался, что его братья не будут больше работать на чужих людей. И каждый день Беслан привозил из лесу и складывал бревна для постройки нового дома.

Как-то вечером он сказал своим дочкам:

— Теперь будьте спокойны: больше не обману. Завтра в последний раз привезу из лесу бревна, а послезавтра посажу вас на бричку, и поедем в гости к деду и бабушке вашей мамы...

---

[1] Вареная баранья голова подается самым уважаемым людям.

Девочки возликовали, запрыгали, защебетали, бросились обнимать отца.

На рассвете Беслан запряг лошадей и отправился в лес.

Доволен и радостен был и глава рода Дамжуко. Теперь он часто говорил:

— Если аллах услышал наши молитвы, надо утроить усилия!

Дамжуко снились счастливые сны: он увидел себя едущим в Мекку, совершающим намаз у святой Каабы; вот он в черном халате и белоснежной чалме несет домой сосуд со святой водой, одна капля которой возвращает зрение слепорожденным! И односельчане кричат: «Посадите почтенного Дамжуко-хаджи на самое почетное место!» Старик проснулся, улыбаясь, и, чтоб не расплескать радости, остался лежать в постели. Лежал и рассказывал жене сон, а та, сияя, сидела у очага на корточках и слушала, забыв, что надо зажечь огонь. Ей казалось в счастливом ее забытьи, что муж рассказывает не сон, а правду... Опомнилась она, лишь когда он умолк, сказала торжественно и благочестиво:

— О всемогущий, дай, чтоб мы все это увидали наяву!

И стала наконец разжигать огонь в очаге.

На дворе еще была предрассветная темень, и все-таки открылась дверь, вошла и робко встала у порога жена Беслана. Встала и всхлипнула и негромко сказала:

— Он не вернулся...

— Что?! Как «не вернулся»? — удивился Дамжуко.

— Не вернулся из лесу...

Торопясь и путаясь, Дамжуко стал одеваться, а мать побежала будить Исмела и Пшикана.

...Братья нашли в лесу мертвого Беслана: его придавило рухнувшее дерево.

Эта смерть была только началом...

Минул срок траура. Сняли женщины черные одежды, а мужчины наконец побрились, подпоясались и снова надели кинжалы.

И тогда старый Дамжуко задумался: как быть с Дишанэ и внучками? Можно ли обрекать женщину на вечное вдовство, а девочек на сиротство? Горькая доля! А если Дишанэ снова выйдет замуж, она возьмет с собой и детей и часть имущества. И вырастут девочки на чужом дворе, среди чужих людей, слыша укоры и попреки, под недобрыми косыми взглядами.

— Что же делать?

Дамжуко собрал белобородых друзей на совет. И все сошлись на одном: пусть Исмел женится на вдове брата, на Дишанэ.

Обычай не разрешал Дамжуко самому заводить разговор об этом с Исмелом. И глава рода поручил от имени почтенных стариков переговорить с Исмелом Мухамеду.

— Передай своему другу,— сказал Дамжуко,— что мы решили твердо, и внуши ему, чтоб повиновался без колебаний. Сам аллах заповедал братьям верность и преданность. И если один погибает, другой должен его заменить.

Были сумерки, время вечернего намаза.

Закончив дневные работы, Исмел присел отдохнуть на старую колоду, на которой обычно рубили хворост, кололи дрова.

Он сидел и улыбался...

Молодость, молодость! Пора безотчетных мечтаний и сладостных предвкушений. Коротки твои думы, но светлы и прекрасны ожидания. Не потому ли и жизнь в эту пору кажется лучезарной? Недаром сказано: «Отцы завещают детям сны и надежды».

Если пожелает сердце и захочет душа,— чего не совершит молодость! Но почему же остывшие старики называют молодость «порой глупостей»?

— Ты что, Исмел? — спросил, подойдя, Мухамед.— Таким образом, значит, гляжу: сидишь и блаженно улыбаешься. А почему бы, значит? Вроде бы твой конь еще никого не обскакал и гончая твоя, как будто, таким образом, еще не поймала лису. Что с тобой?

— Э, друг, что там лиса, что там скачки! — отозвался, смеясь, Исмел.— Знал бы ты, кого поймало сердце!

— Постой, постой... Ты это о чем?! — растерялся Мухамед и опустился рядом на колоду.— Таким образом, значит, о чем?

— Без соседа, говорят, как без брюк, не обойдешься! — продолжал, смеясь, Исмел.— Будем делиться и горем и радостью. Я прошу тебя, Мухамед, пойдем нынче вместе на вечеринку. Сегодня в последний раз поговорю с Жангуашей, и мы попросим тебя быть нашим доверенным. Хорошо, друг? Убеди родителей послать к отцу Жангуаши сватов.

— Вот так-так...— только и смог пролепетать Мухамед.

Ответа Исмел не дождался и обиделся.

— Ты задумался от такой маленькой просьбы?! — воскликнул он.— А если б я попросил тебя помочь похитить Жангуашу? Что тогда было бы с тобой, Мухамед?

— Ай! — отозвался наконец тот.— Таким образом, значит, я б поехал с тобой не только похитить девушку, но даже снять с кого-нибудь голову и привезти домой в переметной суме. А только, значит, как же мне быть с твоим отцом?

— Уговори,— засмеялся Исмел.

— Это самое, значит, его уговори, тебя уговори... Да что же я: святой пророк, что ли?

— Да меня-то зачем уговаривать?! — удивился Исмел.— Я давно сам себя уговорил.

Посмеялись, помолчали.

— Таким образом, значит,— начал Мухамед,— очень хорошая женщина Дишанэ...

— Хорошая,— согласился Исмел, думая о другом.

— Очень славная женщина. И дочки у нее — ну, прямо золотые девочки.

— Славные девочки,— согласился Исмел и встрепенулся.— Да ты, друг, уж не хочешь ли посватать Дишанэ?.. Может, поговорить о тебе с отцом?

— Нет, что ты?! Это самое, значит, я не к тому веду речь.

На минуту он сбился, потерял мысль, помолчал. И начал торжественно:

— Послушай-ка, это самое, Исмел! Для чего брату нужен брат? Чтоб поднять и поддержать в часы падения и слабости, чтоб согреть и накормить его сирот...

— Да о чем ты, Мухамед? — уже с тревогой прервал Исмел.

Но тот уже не мог остановиться. Он произнес длинную речь о процветании, благоденствии и чести всего рода Шогемоковых.

— Видишь ли, Исмел,— проникновенно говорил он,— таким образом, значит, не только непростительно было бы отпустить золотых этих девочек к чужим людям, но еще надо подумать и о чести и кое о чем другом...

Мухамед перечислил все, что возьмет Дишанэ, если уйдет со двора Шогемоковых: постельные принадлежности, таз, кумган, посуду, дойную корову с теленком...

— Теперь ты и сам видишь, Исмел, таким образом...

Напряженно слушал Исмел длинную, торжественную и путаную речь друга. И вдруг понял. И мгновенно вскочил, в бешенстве и гневе закричал:

— О великий, всемогущий аллах! Да разве я проглочу кусок хлеба, если будут голодны невестка и племянницы?! Разве я не отдам жизнь за них, если им будет угрожать опасность?!

— Видишь ли, Исмел, значит, в этом ни седобородые, ни Дамжуко не сомневаются, но...

— Но жениться на Дишанэ? Нет, нет, нет! Никогда.

— Почему же? Значит, сам же ты сказал, что она славная женщина.

И вдруг Исмел нахмурился, замолчал, сжал кулаки.

А Мухамед гудел, как залетевший в бочку шмель:

— Таким образом, Исмел, видишь ли...

Исмел повернулся к нему, сказал решительно и спокойно:

— Пойдем!

— Куда?

— Умыкать Жангуашу. Если сегодня ночью ее украдем, что может сделать отец? Не заставит же меня жениться и на Дишанэ.

— Видишь ли, Исмел, если я поеду с тобой красть невесту, то ты подумал, что скажут обо мне седобородые?

Исмел не выдержал:

— Вижу, Мухамед, что из тебя не получится ни соседа, ни штанов — так, разве половичок под ноги.

Сказал и ушел в дом.

А когда вышел обратно, был в серой добротной черкеске, в сафьяновых ноговицах, в папахе, при револьвере с белой рукоятью и черном кинжале: в лучшем своем одеянии.

И даже не взглянул на Мухамеда, все еще сидевшего на колоде,— ушел со двора.

Не сразу Исмел отправился на вечеринку, где было условлено встретиться с Жангуашей. Чтобы успокоиться, он прошел вниз по Аюбею, затем снова вернулся вверх, кривыми улочками добрался до окраины, но душевного равновесия не было, было смятение. Как отнесется ко всему этому Жангуаша? Решатся ли ее родители отдать ему дочь, вопреки воле Дамжуко? Да и знал он упрямый характер отца...

Было поздно, когда Исмел вошел наконец в тот двор, где танцевала молодежь.

Уже много раз успели джигиты и девушки станцевать плавную «кафу»; уже не однажды плясали и темпераментную, удалую «кабардинку»; теперь все с нетерпением ждали, когда начнется «удж», танец, во время которого юноша и девушка могут поговорить свободно, посекретничать, о чем-то условиться и на что-то решиться...

Прячась за спинами джигитов, что теснились во дворе ближе к воротам, Исмел пытливо вглядывался в лица девушек: они тоже стояли полукругом, но у стены дома. Жангуаша была грустна. «Неужели и до нее дошел слух?!» — подумал встревоженный Исмел.

Юноша ошибся: просто Жангуашу огорчило, что любимый не пришел на свидание, что не состоялся последний решающий разговор. А ведь она привыкла верить каждому его слову!

Сомнение закралось в сердце девушки: любит ли?!

Но вот Жангуаша увидела Исмела — и разом расцвела, вскинула голову, разомкнулись в улыбке до этого сжатые губы, снова сделались легкими ноги, весело засияли глаза.

А тут и гармоника заиграла «удж-пух», танец, что наделяет крыльями душу и делает быстрыми ноги. Хозяйские девушки пригласили в круг красавиц, и юноши по очереди выходили, брали под руки своих милых и, приплясывая, пускались по кругу.

Исмел выбрал Жангуашу.

Удж начинается общим танцем. Вместе со всеми плясал Исмел, но сегодня не было в юноше обычной живости и удали, он не подзадоривал девушек, которых держал под руки, не подпрыгивал с возгласом «ас-с-са!». И Жангуаша почувствовала неладное, насторожилась, встревожилась.

А когда они вдвоем — по правилам танца — отделились и пошли-поплыли по свободному кругу, спросила:

— Что случилось, Исмел?

Нелегко рассказать любимой о том, что отец хочет женить тебя на другой. Но что же делать? Исмел знал, что Дамжуко не уступит, не переменит решения. Пусть будет горько услышать Жангуаше, но если любит по-настоящему,— согласится разделить нелегкую его судьбу, стойко выдержит лишения и невзгоды, связанные с уходом и «похищением».

И юноша рассказал все.

Жангуаша молчала.

Исмел нагнулся, заглянул ей в лицо: оно было расстроенным, печальным. Нет, не готовность броситься за ним следом в огонь и воду, а грустную покорность судьбе увидел юноша. И не поверил своим глазам.

— Я... я ошибаюсь? — спросил Исмел.

Жангуаша молчала.

А вокруг бушевал танец. Захмелевшие, разгоряченные парни лихо плясали в общем ряду. То и дело отрывались пары, уходили, танцуя, на свободу просторного круга, где можно поговорить по секрету и объясниться. И среди этих взволнованных, радостных, трепетных пар Жангуаша с Исмелом выглядели странно печальными.

— Не горюй! — сказал юноша любимой.— У нас с тобой крепкие руки. Проживем! Согласись — и сегодня же умыкну тебя. Обвенчаемся у муллы старого села.

Жангуаша молчала. Только лицо стало испуганным, а дыхание стесненным.

— Не будь такой нерешительной! — настаивал Исмел.— Согласись. Даже батрацким заработком обеспечу тебе хорошую жизнь.

Жангуаша молчала.

— Если мы поженимся, мои родители ничего не смогут сделать. Могут проклясть, но говорят, что еще ни один теленок не умер от того, что его лягнула корова. А пройдет время — и простят.

Жангуаша безмолвствовала. Бледная, в отчаянии и растерянности, она едва волочила ноги по кругу; ей казалось, что аллах покарает ее, непременно покарает уже за одно то, что слушает она такие слова, как «умыкну тебя», «тайно обвенчаемся», «станем мужем и женой», «проклянут, а потом простят».

Но Исмел не рассердился, а тяжело вздохнул и тихо сказал:

— Хоть и не очень я верю в успех, но попрошу друзей уговорить Дамжуко, чтобы послал сватов к твоим родителям... Ты согласна?

И снова промолчала Жангуаша, только кивнула.

— Как?! Он потерял честь и совесть, попрал родственные чувства, пренебрег судьбой родных племянниц! И он, этот выродок, лишенный стыда, смеет еще просить, чтобы я засылал сватов?! — загремел Дамжуко, когда услышал просьбу друзей Исмела.

Обычай не позволял препираться со старшими, и парни промолчали, стали прощаться.

А Дамжуко побагровел от гнева, скрипнул зубами:

— Пусть убирается с моих глаз! Не получит от меня ни двора ни кола. Так и передайте этому бесчестному бродяге!

Давно ушли друзья Исмела, а Дамжуко все не мог успокоиться, рыскал по двору, то набрасываясь на жену, то покрикивая на Увжуко и Пшикана, то пиная ногой колоду, о которую, приходя, счищали грязь с подошв.

Испуганная Таса, жена Дамжуко, не решалась подойти к нему, чтоб успокоить, сказать ласковое тихое слово, и только с тревогой следила за мужем в окно и в щелку приоткрытой двери; но стоило Дамжуко повернуться к дому — и Таса кидалась к резной кровати, делала вид, что оправляет постель.

Наконец обессиленный Дамжуко вошел в дом, сел на низенький стул-трехножку. Долго сидел он, не шевелясь, и печально вздыхал. Робея, Таса проговорила:

— Ради аллаха, отступись от своего слова!

Муж не отозвался, и тогда Таса добавила смелее:

— Уж слишком ты разгневался. Не по-божески это. Аллахом прошу: отступись от своего проклятия! И невестку и внучек аллах не обделит счастьем. Не закрывай дорогу сыну: посватай Жангуашу!

Зло глянул Дамжуко, рявкнул:

— Закрой рот!

— Отец Жангуаши богат, именит... Отступись, посватай сыну любимую девушку.

На этот раз старик не ответил. Долго сидел с опущенной головой. Наконец, будто очнувшись, выпрямился, скавал:

— Твоя правда, Таса. Надо образумиться, взять проклятие назад. Но не за сегодняшний гнев...

Медленно, задумываясь и вспоминая, Дамжуко стал перечислять свои вины и прегрешения перед аллахом... Пропущенные по небрежению и торопливости молитвы; грех жадности и стяжательства, когда, не удержавшись, украл копну плохо положенного сена; не сумел соблюсти поста, нарушил данное слово... Старик перебирал грехи, как четки, слабыми, трясущимися руками. Но самым большим, самым непростительным грехом Дамжуко считал неисполненный обет посетить святые места — Мекку и Медину.

— В наказание,— глухо говорил он, опустив голову,— аллах отобрал у меня Беслана, сделал Исмела бессовестным и беспечным... Когда были у меня чистые помыслы, всемилостивый аллах обратил на меня сияющее око и умножил мое состояние. Но беспредельна человеческая алчность! Я жаждал все большего и большего, а паломничество откладывал с года на год, чем и прогневил всемогущего, Таса...

Теперь он отмахивался от прежних греховных мыслей о том, что белая чалма хаджи принесла бы ему почет и уважение кабардинских дворян. Сейчас Дамжуко был убежден в неприязни аллаха к нему и готов был немедленно отправиться в далекую Аравию...

— Вместо того чтоб делиться накопленным с этим бесчестным сыном, лучше во спасение души пожертвовать добро богу. Пора искупить грехи, очистить совесть перед всевышним!

И вот отвергнутый отцом Исмел остался один. У него не было ничего, кроме одежды. Но больше, чем бездомность, угнетала Исмела людская молва, что он «выгнан из отчего дома», потому что «предпочел возлюбленную родителям».

Шло время. И новое несчастье постигло Исмела: единственный человек, который его жалел и защищал, добрая милая мать Таса умерла.

Говорят, беда не ходит одна, а есть у нее еще две сестры — беды... Застонал, пошатнулся Исмел, когда узнал, что его любовь, его надежду, из-за которой он оставил отцовский дом и семью, его красавицу Жангуашу выдали замуж за Тугана Борокова.

Многих сверстников Исмела сломили бы эти страшные беды. Да и не только сверстников, а и людей более зрелых, уже испытавших невзгоды и превратности жизни.

Но Исмел устоял, не впал в отчаяние, не ушел из Аюбея куда глаза глядят, не опустился. Его знали в селении как хорошего чабана,— и он пошел батрачить чабаном в чужую семью. А чтобы быстрее подзаработать, стать на ноги, взялся еще пасти по ночам табун хозяйских коней. И хозяин согласился: он знал, как старательно работает Исмел Шогемоков!

Теперь юноша уже не ходил на вечеринки и танцы. Днем пас овец, а ночью коней и спал урывками: вечером часа два да перед рассветом еще столько же...

Чужая отара пасется на лугу. Бородатый, длиннорогий козел-предводитель неспешно водит овец по лучшим травам, а серый пес-волкодав зорко оглядывает окрестность и время от времени обегает отару, заботливо пригоняет отбившуюся овцу. Глядит на них Исмел, и горькая улыбка появляется на его губах:

— Собака и та загнала овцу обратно в семью. А вот отец выгнал меня из семьи... А за что? Какое преступление я совершил?!

Любовь к Жангуаше юноша, конечно, не ставил себе в вину!

А ночью Исмел увидел, как старая кобыла ушла из табуна попастись в стороне и как белоногий жеребец тут же пригнал ее назад... И снова она попыталась отделиться. И опять с ржанием настигает ее жеребец и, покусывая мощными зубами спину, гонит обратно в табун. «Ох! — думает Исмел.— Уж лучше б и отец причинил мне боль, чем отлучил от семьи и рода...»

Если даже иногда Исмел забывал о своем положении отверженного, то многое снова напоминало ему об этом. С тоской думал юноша об отце, но не озлобился: он любил старого Дамжуко и уважал его седины. Иногда у Исмела появлялась надежда, что отец еще одумается и они помирятся, но слишком упрям был Дамжуко Шогемоков: даже смерть Тасы не смягчила его сердце.

Вот и с Жангуашей пришлось юноше распроститься навсегда: теперь она принадлежала другому. И волей-неволей задумался Исмел о будущем: как жить дальше? Не оставаться же бесконечно в чужом доме и на чужих хлебах. Надо человеку обзаводиться своим домом и своей семьей.

Юноша понимал, что теперь нечего мечтать о красивой девушке из хорошей семьи: для такого брака была у него испорчена репутация, да и считали его нищим...

И потому, когда кое-как собрался он с силами и построил небольшую мазанку, которую и хатой-то не назовешь, друзья сосватали ему засидевшуюся в девках Хакулину Бгарокову, девицу из дальнего села, смуглую, с широким ртом и тонкими злыми губами. Говорили, что Хакулина была заносчива, зла и остра на язык, отчего будто бы и сторонились ее парни. Сваты отрекомендовали Шогемокова состоятельным и крепким хозяином. А родители невесты, не проверив, сразу же согласились совершить накях [1], запросив очень скромный калым. Сваты потом острили, что залежавшийся горький перец никогда не ценится дорого!

Первый месяц, хотя и огорченная бедностью мужа, Хакулина вела себя тихо и скромно. А потом понемногу начала ворчать, что, мол, нет у них ни настоящего дома, ни подходящей обстановки. Хорошей постели и то нет!

Исмел утешал:

— Я крепко стою на ногах, руки у меня сильные, глаза зоркие. Э, полно! Не нынче, не завтра, но вот увидишь: мы с тобой еще заживем хорошо. Так, что другие позавидуют!

Не из тех была Хакулина, кого можно ублаготворить пустым словом. То она требовала нарядной одежды, то подарков для родственников, то новой обстановки. Печалилась, что муж батрачит. Обижалась, что он редко ночует дома: Исмел продолжал работать за двоих и по ночам сторожил табун.

Однажды она сказала:

— Ну, и воняет же от тебя овечьим пометом! Прямо дышать нечем!

— Что же делать: работа такая,— возразил Исмел.

— Что делать? Открыл бы лавку. Сиди и торгуй! По-человечески будем жить. И перед людьми не стыдно...

«А в самом деле, не попытать ли счастья?» — подумал Исмел.

Через месяц он открыл лавчонку, стал продавать мыло, соль, табак, нитки, всякую мелочишку... Но жители Аюбея по-прежнему предпочитали идти в большой магазин Борокова: то ли по привычке, то ли потому, что Туган время от времени вдруг снижал на полкопейки цену на те мелочи, которыми торговал Исмел, то ли из-за того, что в конуре Шогемокова товар постепенно сырел, плесневел и хозяину приходилось сбывать его за полцены: лишь бы взяли.

[1] Накях — бракосочетание.

Словом, торговля приносила не барыши, а убытки. Исмел закрыл лавочку.

— Наверное, мое дело крестьянствовать! — сказал он.

Хакулина обиделась:

— Клянусь аллахом и сотворенным им небом, не буду жить с тобой. Уйду, а сына оставлю...

Исмел сразу посуровел:

— Как не закрывают путь уходящим на тот свет, не закрывают его и той, что решила оставить мужа. Можешь идти!

Хакулина расплакалась, а затем притихла и, разумеется, никуда не ушла.

Так и жил Исмел: обрабатывал свой надел земли, пас своих и соседних овец и скоро прославился как лучший чабан и овцевод.

Он жил и работал так напряженно, что иной раз казалось — вот-вот надорвется!..

Вереницей пронеслись перед Исмелом воспоминания...

То улыбаясь, то хмурясь, он рассказал кое-что из своей жизни Зрамуку.

Грустный сидел Зрамук: жалел отца.

— Как видишь,— вздохнул наконец Исмел,— ничто не принесло мне счастья. Но я не теряю надежды. Что не удалось мне, удастся тебе, сын. Аллах поможет! Только тяни, дорогой, тяни, сколько сил хватит. Если станешь сильным, отважным, то выживешь. Иначе затопчут. Запомни это навсегда. И еще: кто бы что ни говорил,— помни: ты должен учиться. Учение даст тебе силу.

17

Удовлетворенный тем, что ему удалось прикрыть вечернюю крестьянскую школу, Бороков не оставлял Кулибина в покое:

— Я плачу тебе жалованье не для того, чтобы ты бунтовал население Аюбея, за которое я отвечаю головой. Запомни, за такие дела недолго попасть за решетку!

Не хотелось Кулибину особенно обострять отношения, но он знал, что псу, который бросается на тебя, нельзя показать, что ты его испугался: укусит!

— Если дойдет до голов,— ответил Кулибин,— твоя, Туган, полетит первой!

Старшина в бешенстве вскочил, грозно уставился на Кулибина. Но тот только усмехнулся.

— Сядь и не делай страшную рожу, хозяин! — сказал он.— Пугай маленьких... Лучше послушай, что я тебе скажу. Во-первых, моему другу Нестерову известна твоя роль в Зольском восстании и как ты, чтобы выгородить себя, оговаривал невинных людей. Во-вторых, сам знаешь, что ты обманул Нестерова и не за-

платил ему обещанного. Наконец, он не принял той взятки, что ты посылал со мной. Этим он поставил тебя в уязвимое положение... Третьего и самого страшного ты не знаешь, а знать следует: дядя Нестерова — правая рука правителя Терской области генерала Флейшера. Взвесь все это. И моли аллаха, чтоб я и дальше мог сдерживать Нестерова.

После этого резко начавшийся разговор закончился обычной мирной беседой.

С тех пор Туган Бороков стал относиться к Кулибину вроде бы по-дружески: советовался в торговых делах, посылал в города Северного Кавказа за товарами.

Но теперь крестьяне, обозленные, что Бороков не дал им учиться, рассказывали Кулибину все, что знали о бороковском роде.

Превосходным знатоком прошлого был старый Беймурза Алхасов.

Однажды дед Беймурза испытующе посмотрел на Михаила Петровича и сказал:

— Вот гляжу на тебя, Кулбын,— хороший ты парень. Говоришь по-нашему, как врожденный кабардинец; знаешь грамоту и язык русских. Чего ж ты, сын мой, связался с Туганом, губишь свою жизнь?!

— Почему «гублю»?

— У нас говорят: желая натопить дом, не привози из лесу ольховых дров; желая подружиться с человеком, не дружи с Бороковыми.

— Не понимаю! — сказал Михаил Петрович: ему хотелось вызвать старика на подробный, обстоятельный разговор.

— Чего ж тут не понять! Они — подлые, вероломные люди. Знаешь ли ты хотя бы, как они стали уорками? Нет?! О! Так вот, Бороковы не коренные аюбейцы. Отец Тугана, его звали Долат, был знаменитым абреком, человеком сумасшедшей отваги. Он готов был убить каждого, кто подвернется некстати. Уронив свою честь в родном селении, он бежал. А наш уорк, настоящий Бороков, приютил его, сделал своим телохранителем. Спустя некоторое время Бороков решил переселиться в Турцию, и Долат вызвался его проводить. В дороге на берегу Черного моря он отозвал Борокова в лес для тайного разговора и сказал: «Ты покидаешь Кавказ. Документ, что ты уорк, тебе больше не нужен: в Турции он недействителен. Отдай мне!» Бороков не согласился. «Тогда, мой господин, твой прах и прах твоей супруги останутся в кавказской земле, а бумажка все равно будет моя!» Старый Бороков знал своего телохранителя и больше не стал спорить, уехал в Турцию без бумажки... Какой-то царский офицер за хорошую взятку переделал документ, и Долат стал уорком Бороковым.

— А как же другие дворяне? — спросил Кулибин.

— Не признали. Не допустили, чтоб его внесли в списки тех, кому по царской воле дали наделы за счет общинных земель.

...Раздел общинных земель между князьями, уорками и царскими офицерами вызвал недовольство среди крестьян и даже среди мелких дворянчиков. Началось брожение. А Долат был не из тех, кто мирится с неудачей и скромно стоит у порога. И когда генерал объявил набор кабардинцев в царскую армию для подавления беспорядков, Долат пошел добровольцем. В армии он отличался жестокостью, решительностью, отвагой. Ну а когда волнения в Кабарде были подавлены, сам генерал в числе двухсот других дворян включил Долата в список тех, кто за счет общинных землевладений награждался участками. Теперь Долат достиг цели! Оспаривать его дворянство не мог уже никто. И удовлетворенный Долат вызвал в Аюбей, чтоб закрепиться, всех своих многочисленных родственников.

Старый Беймурза умолк.

— Что сказать о его сыне Тугане? — наконец произнес он, усмехнувшись.— Когда вырубают терн, на том месте снова родится терн. Только терн, не яблоня, не вишня, не виноградная лоза... Туган, он и есть терн! В нем, в Тугане,— добавил старик,— характер тигра и лисья хитрость. И чтобы его понять, надо знать, как Туган женился.

— Расскажи, пожалуйста! — попросил заинтересованный Кулибин.

— Гм,— сказал Беймурза.— Ну, ладно, говорить, так до конца... Исмел очень любил дочь Кербека Тарканова, красавицу Жангуашу. Надо сказать правду, Жангуаша была красавица из красавиц, в том самом роде, что больше всего ценится у нас в Кабарде: брови полумесяцем, белолицая, каштановые косы до пят и голубые, как небо, глаза. Стройная, легкая! Ее сватали многие, но отец всем отказывал: он знал, что дочь всей душой предана Исмелу Шогемокову. И вдруг слух: Дамжуко женит сына на своей невестке-вдове. А Кербек был честолюбив, горд, считался в Аюбее героем, равного которому не было в битвах, набегах и походах. Считая, что поступок Дамжуко оскорбил и его и дочь, Кербек поклялся, что выдаст свою Жангуашу лишь за того, кто совершит неслыханный подвиг.

Узнав об этом, юноши заволновались; одни отправились в набеги, другие пытались соблазнить отца богатым калымом — золотом и табунами коней, третьи показывали удаль в джигитовке. А Исмел? Исмел снова решил, вопреки воле отца, жениться на Жангуаше и уехать с ней в дальние края. И он придумал план, в который посвятил товарищей. Туган, узнав о плане Исмела, прибежал к Шогемокову, сказал, что и он готов помогать. «Только отложи исполнение задуманного на неделю, всего на одну неделю. Нужно получше подготовиться...» Шогемоков согласился.

На третий день после этого разговора Туган явился в дом Кербека Тарканова и с достоинством поздоровался. На приветствие Кербек ответил, но не встал и руки не подал. Смешавшись, гость

объяснил, что он — Туган Бороков. «Что ж,— ответил Кербек,— Бороковых много, а Туганов и того больше...» Оскорбленный Туган возразил: «Я молод, и мне, конечно, можно не оказывать почестей. Но ты, наверное, знаешь, что между двумя морями не было героя известнее моего отца! Когда он останавливался возле дерева, его папаха касалась кроны».— «Ну, парень, если мой отец поднимался во весь рост, то твой родитель свободно проходил у него между ногами».— «Уважаемый Кербек,— ухмыльнулся Туган,— чем спорить об отцах, не лучше ли поговорить о деле?» — «Чего же ты хочешь, юноша?» — «Руки твоей дочери!» Вот теперь Кербек внимательно поглядел на гостя. Туган смотрел нагло. Рассерженный хозяин прищурил глаза и сдвинул брови, как грозовые облака. «А ты знаешь, парень, что самые достойные женихи всего округа домогались руки моей дочери?» — «Знаю!» — «А знаешь ли ты, что они ушли ни с чем, ибо никто из них не совершил небывалого подвига?» — «Знаю и смеюсь над ними... И не уйду, пока не дашь согласия на брак!» Очень удивился Кербек. «А что ты совершил, юноша?» — спросил он. «Пока ничего, но совершу!» — «Ну, тогда и приходи. А теперь ступай и не попадайся мне на глаза!» — «Не спеши прогонять. Ответь: твое мужество никто не одолеет?» — «Пока такого еще не встречал!» Тигром кинулся Туган, приставил к сердцу Кербека булатный кинжал. «Не двигаться и не шуметь! — приказал он.— В доме нет твоих людей. Посмотри в дверь, в окно: тебя окружили мои друзья!» Кербек глянул в окно: на него были направлены дула винтовок. «Могу совершить то, чего никто не совершал: убить тебя! — сказал Туган.— Хочешь?» — «Нет!» — ответил Кербек, удивленно посмеиваясь в усы. «Убедился, что я могу совершить небывалое?» — «Убедился».— «Тогда твоя дочь будет моей!» Ошеломленный хозяин задумался: не выполнить клятву — совершить грех перед аллахом, прослыть вруном, обесчестить свое имя... «Еще не встречал человека, который поставил бы меня в такое дурацкое положение! — сказал Кербек.— Видно, все совершилось по воле аллаха. Не мне с ним спорить!»

Эту похожую на сказку быль, навсегда разлучившую Жангуашу с Исмелом, Михаил Петрович Кулибин слушал, хмурясь, с опущенной головой: он думал о жизни, о ее нежданных путях, о ее несправедливости, о том, как затаптывают в грязь лучшие человеческие чувства и надежды... Он даже взял тетрадь, чтоб записать печальную эту историю, но Беймурза продолжал рассказывать, и Кулибин снова закрыл тетрадь.

— Шогемокова сильно обидело,— продолжал старик,— что Туган подло воспользовался тем планом, который был придуман самим Исмелом. С тех самых пор они стали врагами.

Наверное, Беймурза порассказал бы еще немало любопытного о Бороковых, но пришел человек и позвал Михаила Петровича к Тугану домой.

* * *

С той поры как Туган узнал от Кулибина, кто такой Нестеров и какие у него связи, он потерял сон. Спал ночью часа два-три, а потом просыпался и лежал, ворочаясь на постели, которая сделалась вдруг неудобной и жесткой. В полночь и на рассвете Бороков вставал, курил, ходил по комнате и мучительно думал: как бы примириться с Нестеровым?!

— Так вот, милый,— сказал однажды старшина, пронзительно глядя на Михаила Петровича.— Отвезешь Нестерову мой должок, принесешь извинения за мой проступок в прошлом и пригласишь в гости сюда. Короче, помиришь меня с ним. Если выполнишь,— щедро отблагодарю!

— Постараюсь,— ответил Кулибин,— но господин Нестеров человек гордый и мстительный... Выйдет ли?

От Борокова Михаил Петрович ушел в тот вечер обласканный, с деньгами и для Нестерова и на расходы, «связанные с поездкой». Теперь он хорошо понял, отчего аюбейцы говорили: «Положи палец в рот старшине, всю руку откусит!» «Нет, хозяин,— думал Михаил Петрович,— не жди: не положу я пальцев в твою пасть!»

18

Кулибин вовсе не собирался отвести от Борокова угрозу возмездия, которую сам же и создал в воображении старшины. Он усердно и долго уговаривал Нестерова, но не помириться с Бороковым, а наоборот,— выступить против «аюбеевского вампира». Однако ничего не добился. Нестеров ответил:

— Мой дядя считает, что на процессе я слишком выгораживал участников Зольского восстания и этим вызвал неудовольствие генерала Флейшера. Мне нельзя возвращаться к этому делу. Черт с ним, с этим аюбеевским вампиром: пусть живет до времени...

Возвращая деньги старшине, Михаил Петрович передал эти слова несколько иначе:

— Как ни убеждал, как ни уговаривал, не смог убедить господина Нестерова...

И это было правдой! Бороков смотрел испытующе, но Кулибин и глазом не моргнул.

— Единственное, чего мне удалось добиться, это обещания Нестерова, что он пока не сообщит своему дяде о твоем участии в Зольском восстании. Во всем остальном — полный отказ!

Туган беспокоился; вдобавок тревожило его, что Шогемоковы, Соховы, Алхасовы, Кабардовы и другие уже открыто высказывались против него. И старшина решил: надо припугнуть! Собрав своих родичей, он сказал:

— Хотел поладить с односельчанами и отпустил подпругу. А вы знаете, что бывает со всадником, если ослабела подпруга? Теперь мне придется подтянуть порядок в Аюбее, и вы мне долж-

ны помочь. Как бы болтовня наших односельчан не дошла до начальства...

Позднее, вечером, Туган выбранил младшего брата Болата, что он «слишком много позволяет» зарвавшемуся Увжуко Шогемокову, «бесстыдно бросающему комья грязи в лицо нашего рода».

— А Кулибин еще хуже,— возразил Болат.— Он опаснее...

— Кулибин нам пока нужен. А когда надобность минет,— скажу.

Болат ушел от брата взвинченным и сердитым. Услышав вдали гармошку и хлопанье в ладоши, он постоял в нерешительности, раздумывая, не пойти ли на танцы. Затем прошел в свою комнату, приоделся, нацепил кинжал и револьвер. Медленно, в раздумье, шел Болат на звуки гармоники. Шел и думал: «Не первый раз брат упрекает меня в трусости. Может быть, он и прав... Иначе я давно заставил бы замолчать этого чувячника Увжуко».

Хозяева с почетом пригласили Болата в комнату, где шла выпивка.

— Опоздавшему,— приказал тамада,— выпить в наказание три полных рога!

Не закусывая, Болат опрокинул три вместительных рога хмельной медовухи.

— А теперь пора проверить, на что способны ноги! — крикнул тамада.

— Правильно! Правильно! — закричали вокруг. И, дружно покинув стол, все вышли во двор к танцующим.

Болат подхватил красавицу Куцацу и пошел по кругу, слегка опьяненный, возбужденный, нахальный. Он прижимался к девушке, грубо острил. Куцаца молча отстранялась, но Болат крепко держал ее.

Увжуко Шогемоков ждал своей очереди потанцевать и, когда начался удж, вышел вперед, чтоб принять смущенную Куцацу из рук Болата. Но Болат резко повернул девушку и не уступил ее Шогемокову. Увжуко обиделся; впрочем, шума не поднял, решил: «Может, не успели договорить...» Но и второй раз повторилось то же самое, и Увжуко остался в кругу опозоренным. Это было публичным оскорблением!

На этот раз товарищ Шогемокова перенял Куцацу у Болата. А Увжуко отвел Болата в сторону.

— Почему ты оскорбил меня? Отвечай!

В ответ грянул выстрел.

Когда танцующие подбежали, Увжуко лежал мертвый, а Болат мелькал вдали, удирая.

Гармонистка выронила гармонь, и она со скорбным стоном упала в пыль.

Друзья Увжуко во главе с Муратом Кабардовым погнались за Болатом, но он успел скрыться. Тогда они бросились к дому Бороковых, готовые убить хоть кого-нибудь из этого рода. Но мстителей догнал Исмел Шогемоков.

— Уходите с этого двора! — крикнул он.— Кровью расплатится лишь тот, кто пролил нашу кровь! Уходите.

После похорон Увжуко старшина собрал седобородых, пригласил муллу.

— Сам, своей рукой наказал бы подлеца Болата,— сказал он,— да ищи ветра в поле: сбежал! Трусливо сбежал. Ни нам, ни вам его не найти... Что будем делать?

Все молчали, опустив головы и бороды.

— Мы все мусульмане,— продолжал Туган,— а значит, мы все братья. Нельзя допустить нового кровопролития!

— Таким образом,— сказал мулла,— сам аллах может разгневаться, что люди одной веры, братья-мусульмане, убивают друг друга. Да, Туган, ты прав! Тушить, тушить надо пожар кровной мести в самом начале.

— Вот я и прошу тебя, мулла, и почтенных стариков уговорить Шогемоковых помириться.— Некоторое время Бороков сидел, опустив голову.— Я, конечно, готов заплатить за кровь...

Приглашенных не пришлось долго уговаривать: все делалось по старому обычаю, по вековой традиции.

* * *

Печальные и озабоченные, сидели старики во главе с муллой у Исмела Шогемокова. Уже полчаса они молчали, переглядывались, вздыхали. Исмел не поднимал головы, чтобы ни с кем не встретиться взглядом: он понимал, зачем они пришли.

— Значит, мы пришли к тебе, Исмел,— начал мулла,— как посланцы твоих кровников, чтобы не допустить нового кровопролития. Хотим помирить вас...

— Прошу оставить разговор об этом,— возразил Исмел.— Я уважаю вас всех, но вынужден отказать, ибо связан клятвой над могилой...

Мухамед-эфенди, услышав о клятве, умолк: то ли уважая клятву, то ли втайне желая зла Бороковым. Заговорил Беймурза:

— Оглянись на прошлое и одумайся, Исмел! Вспомни, как гордая непокорность погубила часть твоих предков, а других разбросала по свету.

— Зато наш род никто не обвинил в трусости и бесчестии! — твердо возразил Шогемоков.

— Высший твой долг,— продолжал старик,— сохранить и приумножить свой род. Даже кукурузное зерно, случайно попав в заросли сорняков, продолжает борьбу за жизнь и, чтобы размножиться, приносит себя в жертву: прорастая, гибнет, но оставляет после себя добрую сотню, а то и две литых зерен. А когда твой род разрастется, твои внуки или правнуки отомстят...

— Нет! — решительно ответил Исмел.— Я не кукурузное зерно и не червь, а мужчина с усами. Неотмщенная кровь — позор! Такая жизнь мне не нужна.

Безрезультатно пытались старики уговорить Исмела.

Получив решительный отказ, Туган предупредил своих родичей, чтоб были готовы отразить любое нападение Шогемокова. Потом поехал к становому приставу и доложил, что, «защищаясь от напавшего Увжуко Шогемокова», Болат Бороков убил его и сбежал. Туган помолчал, подумал и добавил, что сам лично примет меры, чтоб поймать Болата, и одновременно попросил пристава примирить его род с Шогемоковыми, предотвратить новое кровопролитие.

— Как видите, господин пристав, я готов на все! Готов и выплатить за кровь...

— Я доволен, что вы сами поставили меня в известность о происшествии,— сказал становой пристав.— И что готовы уладить дело миром.

— Это мое искреннее желание! — воскликнул Туган.

— Верю вам, старшина. К сожалению, я должен уехать, но мой помощник займется...

Когда Шогемокова вызвали к становому, он, рассказав, как все было на самом деле, спросил обиженно:

— Зачем меня таскаете туда-сюда? В чем меня обвиняют?!

Помощник пристава сочувственно посмотрел на Исмела.

— Вы потерпевший, и я ни в чем вас не обвиняю. Но господин пристав поручил предупредить вас о том, какие тяжелые последствия мог бы вызвать ваш ответный выстрел.

На том разговор и кончился.

Едва Кулибин вернулся из города с товарами, как Мурат Кабардов рассказал ему, что случилось, и добавил: «Исмел продал скот, купил винтовки и верховых лошадей!»

Михаил Петрович тут же побежал к Исмелу, стал уговаривать:

— Не дай страсти одолеть рассудок. Бороковы — мощный род. Тебе их не одолеть. Нужен другой путь, другая борьба. Отановись! Не губи больную жену и сына!

— Таких советов не хочу слышать,— отрезал Исмел.

Немало минуло времени, а никто не видел Болата Борокова. Шогемоков ни одной ночи не спал раздетым. Тяжелее всего кровавое столкновение двух родов отразилось на Хакулине. Она больше не вставала и все время плакала. Всякий шорох за дверью пугал ее до дрожи: Хакулине все казалось, что вслед за Увжуко будут убиты ее сын или муж. Обострилась чахотка, к ней добавилась болезнь, которую в народе называют «испуг сердца». Теперь Хакулина совсем не спала.

Время от времени Исмел слышал сказанные ему вслед слова: «Не может отомстить за кровь брата!», «Разве это мужчина?». Исмел ходил хмурый, с опущенной головой. Теперь он забросил хозяйство и днем и ночью упражнялся в стрельбе и рубке шашкой. Учил тому же и сына...

Однажды ночью Хакулину стал душить кашель; ни Исмела, ни Зрамука не было дома. С трудом поднялась Хакулина, чтобы

выпить воды, унять кашель. Но сделала три шага и упала замертво с протянутой к ведру рукой.

Тяжек был новый удар для отца и сына!

Похоронив жену, Исмел сказал Зрамуку:

— И мать твоя — жертва Бороковых, как и Увжуко. Запомни!

В опустевший дом Шогемоковых приходили Кабардов, Сохов, Кулибин, Алхасов, но и с ними не разговаривал Исмел, оставался озлобленным и молчаливым.

И вот по Аюбею распространился слух, что Болат вернулся и скрывается в глухом лесу, где построил шалаш, в котором нередко ночует.

Трое суток Исмел и Зрамук обшаривали лес. Не нашли.

Уже под вечер четвертого дня Исмел услышал ржание на поляне. Выглянул из-за ветвей и увидел Болата, садившегося на коня. Снова скрылся в чаще и молча ждал, пока враг выбрался на тропинку и немного отъехал. Вот тогда крикнул:

— Сын Борокова, эй, Болат, берегись!

Неожиданная встреча с Шогемоковым ошеломила Болата. Но он быстро пришел в себя, сорвал с плеча пятизарядку и дважды выстрелил в Исмела. Огорченный промахом, пришпорил коня, помчался прочь.

Исмел стрелять не стал, а приготовил аркан. Он ни мгновения не сомневался, что догонит врага. А пока скакал в некотором отдалении. Лишь когда Болат истратил последние три патрона, Исмел резко послал вперед своего белолобого. Конь летел с вытянутой шеей, словно бы не касаясь земли, с прижатыми ушами, с громким храпом. Поняв, что не успеет перезарядить винтовку, Болат схватился за шашку, но тут его туго перехватил аркан, прижал руки к телу, сдернул с седла.

Грузно шмякнулся Болат на землю.

Исмел соскочил с коня, встал над поверженным врагом, порывисто дыша, сказал:

— Мужчина не добивает лежащего. Вставай!

Болат не двигался. Исмел пнул его ногой, перевернул на бок, нагнулся, снял аркан.

— Вставай, сын Бороко, будем играть в хатэ-хасэ [1].

Тут подскакал Зрамук, спешился, подбежал.

Болат по-прежнему лежал, не двигаясь, и стонал. Зрамуку даже сделалось жалко врага, он готов был помочь Болату подняться, но побоялся отца. Гнев, сотрясавший Исмела, тоже постепенно остывал.

Пока Исмел стоял в раздумье, Болат вдруг выхватил из кармана револьвер и выстрелил. К счастью, пуля только задела черкеску.

---

[1] Хатэ-хасэ — дуэль без оружия.

Зрамук барсом кинулся на Болата, вырвал револьвер.

Вновь вспыхнувший гневом Исмел крикнул сыну:

— Отпусти эту бабу, а сам отойди!

Болат вскочил, выхватил шашку, Исмел обнажил свою. Сшибка на шашках была недолгой: Болат рухнул мертвым.

— Великий аллах,— прошептал Исмел, поднимая глаза к небу,— я смыл позор с моей чести. Прошу, всевышний, не поставь это мне во грех!

Зрамук стоял бледный, с пересохшим горлом. У него дрожали ноги.

— Неужели ты испугался крови? — удивился отец.— Не будь малодушным! Приведи-ка его коня.

Себе они оставили только оружие Болата, а остальные вещи привязали к его лошади и поехали. В лесу было уже совсем темно, но кони хорошо видели тропинку и весело шли домой. Исмел ехал молча, лишь однажды Зрамук услышал голос отца:

— Эх ты, бедняга, сын лихого времени! Будешь малодушным — всю жизнь станут на тебе пахать...

От обиды, что приходится говорить такие слова сыну, Исмел стегнул белолобого, и они галопом домчались до селения.

Аюбей растворился в ночной тьме. Тишину нарушали редкие вспышки собачьего лая то здесь, то подальше. Чтоб не звенели стремена на коне Болата, их прикрепили к седлу... Исмел свернул ко двору Бороковых, Зрамук следовал за ним. Когда приблизились, отец шепотом велел: «Будь начеку!», снял и приготовил винтовку; Зрамук сделал то же...

Юноша был в замешательстве: ведь он не знал, что задумал отец! Что ж, он будет, как велено, начеку. Винтовка заряжена, глаза зорки... Но — Жанэт! Что станет с ней?!

Сперва Исмел думал оставить лошадь Болата у плетня, но, поразмыслив, решил въехать во двор и привязать ее к коновязи. И шапку Болата повесил на коновязь. А потом громко крикнул:

— Туган! Не дай воронам расклевать тело твоего брата. Найдешь его в лесу у белого обрыва.

Вместо того чтобы ускакать вихрем и держаться на коне заядлым джигитом, Исмел возвращался грустный, повесив голову, опустив поводья, покачиваясь в седле. Исмел понимал, что он с сыном — единственные оставшиеся в живых Шогемоковы, понимал, что оба они вступили на очень опасный путь. Но не раскаивался в том, что совершил.

— А теперь, сын мой,— сказал он наконец,— мы покинем наш Аюбей.

Бегство было задумано давно. Они взяли с собой самое необходимое, сказали Кабардову, что уезжают, и на рассвете оставили село.

Они скакали рядом в развевающихся черных бурках в сторону белоглавых гор: надеялись найти убежище у балкарцев.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МЕЧТЫ И НАДЕЖДЫ — НАСЛЕДСТВО ОТЦОВ

1

Утром привезли тело Болата. В просторной комнате положили на циновку, накрыли буркой.

Туган стоял на коленях у изголовья. Он не слышал громких воплей мужчин, пронзительных женских причитаний. Время от времени приподнимал край бурки и вглядывался в лицо брата. Тяжелые, крупные слезы заливали глаза Тугана Борокова. Печаль его была искренна и глубока. Но гораздо сильнее печали было чувство, неведомое ему до сих пор.

С бессильно поникшей головой, стоя на коленях, он думал и о погибшем брате, и о себе. Нет, его не пугали пуля или кинжал кровника. Прожитые годы внезапно стали тяжелы и пригнули Борокова. «Должно быть, и мой черед недалек. Прошла молодость, не попрощалась. А старость что принесет?»

Крики и стенания стали тише,— мужчины покинули комнату, но Бороков даже не заметил. Он не видел оставшихся женщин, не слышал их рыданий.

Родственники Тугана, столпившиеся во дворе, были возбуждены. Раздавались отрывистые восклицания, руки хватались за рукоятки кинжалов. Несколько минут мужчины переговаривались, потом выбежали на улицу.

— Ни один из Шогемоковых не останется в живых!

— Дом сожжем, прополощем двор их же грязной кровью!

Жанэт увидела темное облако, помчавшееся по дороге. Не сразу дошли до ее сознания грозные крики. «И Адальбий с ними! А если встретит Зрамука?»

— Ой, несчастье, погибнут!

Девушка заметалась. Кинулась в комнату, к матери.

— Наши побежали убивать Шогемоковых. Погибнут, мама!.. И Адальбий погибнет, и...

Туган слышал голос дочери, но слова не доходили до его сознания. Будто горное эхо бессмысленно повторяло: «ва-ва-ва». Воспаленные глаза высохли, но он продолжал стоять на коленях в горестном раздумье.

Душераздирающий крик испуганной Жанэт привел его в чувство. Он повернул голову, посмотрел спокойно и удивленно. Узнав, в чем дело, потребовал позвать кого-нибудь из мужчин.

Ему сказали, что все побежали громить Шогемоковых. Туган вздрогнул, поднялся и выскочил из дома.

С того времени, как Туган Бороков стал полновластным правителем Аюбея, никто не видел, чтобы он торопливо ходил, а тем более бежал по улице. Разве мог он унизить свое достоинство неуместной поспешностью?

Но сейчас он бежал по селу. Бежал пожилой, грузный человек. Бежал, задыхаясь и потея. В сбитой набекрень папахе. В расстегнутой черкеске, полы которой развевались, как полы бурки у всадника.

Не найдя в доме кровников ни единой души, Бороковы еще больше озлобились. Опрокидывали и ломали мебель. Прикладами винтовок смахивали посуду и растаптывали черепки. Вспарывали кинжалами матрацы и подушки. Снежной метелью носился по двору пух.

Адальбий выбежал во двор и закричал:

— Сожгу! Весь дом сожгу! Дымом развею шогемоковский дух!

Он схватил лестницу, приставил к стене, кошкой взобрался к камышовой крыше, поднес горящую спичку...

— Прекратите разбой! — задыхаясь, прохрипел Туган.

Его никто не услышал. Увлеченные погромом мужчины даже не заметили появления старейшего в их роду.

Крыша дома задымилась. Нерешительные язычки пламени начали лизать камышовую кровлю. Чтобы быстрее занялся огонь, Адальбий поднимал и потрошил палкой старый, слежавшийся камыш.

Туган подбежал к лестнице и ударил сына своим посохом по спине.

— Потуши! Сейчас же потуши, негодяй!

Адальбий ничего не мог понять. Дом кровного врага, огонь, неожиданное появление отца, боль от удара... «Да что он, в своем уме?»

Схватив вилы, Туган стал растаскивать горевший край кровли. Растерянный Адальбий взобрался на крышу, затаптывал огонь.

— Лучше не попадайся мне на глаза! — крикнул отец и побежал в комнату, откуда доносился сухой треск. Двое дюжих мужчин разламывали на куски деревянную кровать. Когда кровать была уничтожена, они повалили на пол ветхий шкаф.

Лицо Тугана налилось кровью. Грозно сверкнув глазами, он открыл рот. Внезапная спазма сжала горло, он прохрипел что-то невнятное, как индюк, подавившийся кормом. Задрожал всем телом, взметнул руку с посохом по направлению к двери.

Погромщики притихли. Было ясно, что старейший в роду не одобряет их действий. Но — почему? Почему не довести до конца разгром этого проклятого гнезда?

Через мгновение голос вернулся к Борокову.

— Уходите! Сейчас же уходите!.. Стульям и кроватям не мстят за кровь, бесчестные люди. Убирайтесь!

Побледневшие, опустив руки, погромщики направились к двери. Вдогонку летели обидные слова:

— Трус, которому не одолеть врага, зло свое вымещает на жене. А вы кровь неотмщенную, святую кровь решили выместить на старой кровати? Не подумали о чести рода Бороковых, жалкие трусы и подлецы!

Прогнав всех со двора Шогемокова, Туган, опустив голову, медленно пошел вслед. Ему было стыдно за родичей. «Вместо того чтобы пуститься в погоню за кровником, настичь и уничтожить его, они безлюдным домом занялись. Почему?.. Или гнев ослепил разум... Необузданная и бездумная молодость... Жажда мести... Нет, не то, не то. Не понимаю».

Молодые Бороковы недоумевали: «Что случилось с ним? Боится? Не узнаем Тугана».

Если бы они знали, что походка человека, подобно его лицу, является зеркалом души, отражением характера и состояния духа, то поняли бы, что Туган не изменился.

Он был в легких, хорошо сшитых сапогах. Шел он медленно, ступал мягко. Но поступь его была тяжела, и придавливалась земля под его ногой, и явственный, точно припечатанный железом, оставался след. Всякий, кто попал бы под эту неторопливо опускающуюся пяту, был бы безжалостно раздавлен и навсегда втоптан в сухую землю. Тигр, опытный и хитрый тигр возвращался к себе в берлогу. Немного опущенная голова, могучая шея, тихая задумчивость в глазах... Раздавить и уничтожить Шогемоковых: Исмела и его сына Зрамука! И еще лучше: не собственными, а чужими руками.

Во дворе Бороковых вновь прибывшие родственники и близкие оплакивали гибель Болата. Они били себя ребром ладони по лбу, громко причитали и голосили.

Туган подошел к ним, поднял руку:

— Хватит выть!

Плач утих.

Оправившийся от первого потрясения, старейший в роду Бороковых стал отдавать приказания. Отправить конных гонцов к знатным лицам с сообщением о гибели Болата. Пригласить Мухамеда-эфенди, чтобы обмыл тело убитого...

Потом Туган твердым, неторопливым шагом направился к крыльцу. Заскрипели ступени, и женщины, стоявшие на крыльце, увидев хозяина дома, снова завыли и запричитали. С лицом, мокрым от слез, бросилась к отцу Жанэт и обняла его. Остальные женщины тоже приблизились к нему, обнимая и плача, умоляя отомстить за брата.

Он погладил Жанэт, коснулся голов других родственниц и, освободившись от цепляющихся за него рук, вошел в комнату.

Опять встал на колени, приподнял бурку. Лицо Болата было страшным. Оно искривилось, потеряло человеческий облик. Видимо, от страха, а может, от смертной боли.

Туган тяжело вздохнул и опустил край бурки. Сел на небольшую скамеечку. Задумался.

Месть, только месть... Ему трудно было сосредоточиться. Чтобы не отвлекали посторонние мысли, Туган поднял голову и, увидев на потолке темное пятнышко, решил не сводить с него глаз. Но этот нехитрый способ не помог. Нахлынули воспоминания детства, разорванные и малозначительные. Как они ездили с маленьким Болатом за свежей травой. Как брат часто приходил домой в слезах после драки с мальчишками... Потом мысли переметнулись в Нальчик, к дому правителя Большой и Малой Кабарды и пяти горских обществ полковника Клишбиева. Как было бы хорошо, если бы он прислал соболезнование. Или приехал бы сам...

«При чем тут Клишбиев?»

Туган чуть не сплюнул в сердцах. Встал, прошелся по комнате, подошел к окну. Но Клишбиев цепко сидел в голове. Перед взором Борокова предстали картины недавнего Зольского восстания... Как ему удалось сдержать восставших, подвести коня и помочь Клишбиеву бежать от разъяренных крестьян-скотоводов? И вдруг — новая мысль, точно горный обвал, с грохотом подмяла все остальные.

— Так! Да, только так! — не удержавшись, вслух произнес старшина.

Это была счастливая мысль. Остаться в стороне, будто забыты законы кровной мести. Расправиться с кровником ему помогут законы Российской империи. Поможет, должен помочь Клишбиев, которого старшина спас от гибели на Золке. Надо только убедить и полковника и других чиновников, что Шогемоковы — опасные люди, государственные преступники. Недаром пустились в бега... В абреки... Вот пусть власть найдет их и покарает. Правда, потребуются расходы: одному заткнуть рот дорогим подарком, другого задобрить, вовремя дать взятку. Тут денег жалеть не придется. Зато никто уже не сможет точить кинжал на старшину и его единственного сына. Все будет по закону.

Бороков даже повеселел, но, увидев вошедших людей, снова принял скорбный вид.

Во дворе под навесом Мухамед-эфенди заканчивал заупокойную молитву; ему вторили обступившие его старики. Когда приблизился Туган, все стали обнимать его, просили бога, чтобы не забыл «о несчастном Болате». Мулла, склонив голову, произносил слова скорби и соболезнования. Глубоко вздохнув, обвел глазами собравшихся и заключил с печалью:

— Таким образом, значит, один выстрел Болата принес несчастье обоим родам.

Туган Бороков резко поднял голову и тяжелым, злым взглядом посмотрел на Мухамеда-эфенди. Ничего не сказал, только посмотрел, скрипнув зубами.

Мулла понял, какое обвинение он бросил бороковскому роду своими необдуманными словами. Поругал себя в душе, смиренно опустил веки и торопливо забормотал:

— Клянусь аллахом, этот дикий разбой Шогемоковых... Разве можно его одобрять, таким образом? Нельзя! Я ни в коем случае его не оправдываю.

Мухамед-эфенди немного струхнул. Не дожидаясь особого приглашения, он заспешил в дом, чтобы обмыть покойника.

«Не надо, найдем другого!» — готов был крикнуть ему вслед Туган, но сдержался. С презрением глянул на удаляющегося муллу.

Увидев лицо покойника, искаженное и страшное, Мухамед-эфенди подумал, что Болат как жил гадко, так гадко и умер. Он почувствовал отвращение к мертвецу. Но пересилил себя, осторожно, точно со спящего, снял бурку, старательно принялся за омовение.

Закончив скорбный обряд, мулла вернулся к старикам.

— Бедный Болат! — сокрушенно сказал он.— И после смерти его лицо, как у святого: чистое, сияющее... Несчастный был тих и ласков при жизни, таким образом. Бывало, жалел согнать с места корову, которая прилегла отдохнуть, это самое...

Стараясь из всех сил, Мухамед-эфенди искоса поглядывал на Тугана: слышит ли тот его.

Мулла не покинул двор Бороковых даже ради полуденного намаза. Поминутно вставал, чтобы прочитать молитву вместе с каждым вновь пришедшим человеком. Снова садился на свое место и опять рассказывал старикам о чистых, благородных, истинно мусульманских поступках Болата Борокова. Когда покойника понесли на кладбище, мулла поспешил занять место впереди процессии. А перед похоронами и после них вдохновенно читал суры из Корана на арабском языке. И второй и третий день траура он сидел со стариками под навесом, не отлучаясь ни на минуту.

Старшина видел эти старания и внутренне усмехался. Старая неприязнь, которая в последнее время начала слабеть, вновь разгорелась после неосторожных слов муллы. Одно время Бороков даже думал исподволь приручить, сделать своей верной рукой духовного наставника аюбейских мусульман. «Пусть теперь подойдет с повинною, одарю подарками. А потом и уздечку можно накинуть...»

Мулла с нетерпением ждал момента раздачи личных вещей покойного. Столько сил, столько времени затратил он на все похоронные обряды. Конечно, заслужил ценный памятный дар, лучшую одежду, дорогое оружие Болата. Но виниться перед Туганом не думал.

— И это... мне?! — задрожал от гнева Мухамед-эфенди, развернув узел с бороковскими обносками, который к вечеру ему при-

несли на дом.— Таким образом, значит, Бороковы поиздеваться хотят надо мной...

Он пнул ногой старое тряпье и поспешно вышел из комнаты.

Минуло несколько дней после похорон. Аюбейцы постепенно стали забывать горестные события, но в семье Бороковых царил траур. Туган не подпоясывался, не носил кинжала, перестал бриться. Заросший, с неподвижным взглядом, он казался отрешенным от всего земного. По ночам не спал, прохаживался по комнате, курил. Мысли его были заняты местью. Снова и снова он обдумывал всякую мелочь и взвешивал каждый шаг, который собирался сделать. И когда однажды к утру созрел тщательно разработанный план, старшина направился в сельское правление.

Увидев Тугана, лысый писарь вскочил и подобострастно склонил голову, пряча бледное от запоя лицо, утонувшие в сизых мешках маленькие мышиные глазки.

Туган грозно посмотрел на него и, не сказав ни слова, прошел к себе, в небольшую, просто обставленную комнату. Старый стол, тяжелый дубовый стул, кушетка с кожаной обивкой. На стене висел большой портрет царя, лицо Николая Второго было еле видно под толстым слоем пыли. Под портретом был пристроен похожий на шкафчик телефонный аппарат с двумя блестящими чашечками звонка.

Туган сперва дунул, затем смахнул рукавом пыль со стола. Посидел в раздумье, крепко сдавив кулаками голову. Крикнул:

— Павло!

Писарь появился сразу, будто ждал за дверью. Его очки были воздеты на лоб, блестящая лысина от волнения покрылась капельками пота. Давно не стриженные, немытые волосы над ушами слежались, бороденка беспорядочно разрослась. Писарь застыл у стола в полупоклоне, как бы говоря: «Я здесь. Только прикажите. Все будет исполнено».

— За эту неделю ничего не произошло? Бумаг не было?

— Бог милует, господин старшина. Не было никаких происшествий.

— Ну-ка, прикрой дверь. Накинь крючок.

«Все! — пронеслось в голове у писаря, и ноги его задрожали.— Прогонит. Ведь не раз предупреждал, что, если запью...»

— Тебе, Павло, известно, что Пшикан Шогемоков участвовал в Зольском восстании?

— Как же, господин старшина. Он и есть главный зачинщик. Помните, я с ваших слов написал еще бумагу об этом.

— Садись,— сказал старшина.

Писарь осторожно присел на кушетку. Он еще не понимал, откуда идет гроза, но чувствовал, что на этот раз молния минует его.

— Известно ли тебе, Павло, что после ссылки Пшикана Шогемоковы стали личными врагами моего, бороковского рода?

Осмелевший писарь с готовностью ответил:

— Не только против вас, господин старшина. И против меня Шогемоковы точат кинжалы.

Туган нахмурился и пристально посмотрел на писаря.

— Слушай и запоминай. В моем прошении напишешь. Первое. Шогемоковы, мстя мне за верную, преданную службу царю-батюшке, злодейски убили моего брата и ушли в абреки. И второе. Опишешь покрепче, как братья Шогемоковы подстрекали к восстанию на Золке. Прошение будет адресовано правителю Большой и Малой Кабарды и пяти горских обществ полковнику Клишбиеву.

— Понятно, Туган,— чуть ли не с улыбкой сказал писарь, впервые фамильярно назвав старшину по имени.

— Напиши, что прошу схватить Шогемоковых и судить по всей строгости закона,— добавил Бороков.— Принесешь прошение домой.

— Конечно, Туган. Напишу, с удовольствием напишу.

Глаза писаря заблестели, очки сами задвигались и упали со лба на нос. Павло был рад, как мышонок, вырвавшийся из лап кота.

Едва закрылась за ним дверь, Бороков, с силой выдохнув, откинулся на спинку стула. Дубовый стул заскрипел.

Старшина разгладил усы, поправил папаху. «Поймают и казнят Шогемоковых — хорошо. А если присудят к ссылке — все равно достану. Найду человека, чтобы прикончил. Ничего не пожалею!»

На следующий день Туган встал рано. Умылся, посмотрел в зеркало на седую щетину давно не бритых щек. «Совсем диким стал»,— подумал он и сказал, чтобы приготовили теплую воду и тазик с кумганом. Медленно стал править на ремне бритву. «Конечно, у меня траур, но показаться в таком виде — значит проявить неуважение к его превосходительству... А если я явлюсь к Клишбиеву бритым, подпоясанным, при кинжале и пистолете, он не поймет горечи моей утраты...» Бороков отложил бритву.

«Да, я его спас во время восстания. Но мы с ним не были близко знакомы. Вряд ли во время такого переполоха он мог запомнить меня. Нет, не напрасно говорил мудрец: там, где знают тебя, судят по твоему роду, а где не знают — судят по одежде, по виду». И старшина решительно потянулся за помазком.

Осторожно приоткрыв дверь, просунулся писарь с картузом под мышкой.

Вытираясь полотенцем, Туган небрежно сказал:

— Читай!

Стоя, вытянувшись, как солдат, Павло стал читать прошение.

Он переписывал его три раза и знал почти наизусть. В особо сильных местах взмахивал рукой и стрелял маленькими глазками в сторону старшины: правда, мол, крепко написано.

Туган плохо знал русский язык и не все понял с первого раза. Ему показалось, что недостаточно показана роль братьев Шогемоковых в восстании.

Писарь обиделся. «Сам не понимает, а командует». Но вслух робко произнес:

— Может, разрешите, прочту еще раз? Если не понравится, переделаю, перепишу.

Бороков мотнул головой.

— «...Известные возмутители жителей села Аюбова, а также сопредельных с ним аулов, активные зачинщики противоправительственных беспорядков на Зольских пастбищах, братья Шогемоковы, один из которых, по имени Пшикан, осужден царским судом и сослан на каторжные работы в Сибирь, другой брат, а именно Исмел, мстя за оказанные мной услуги властям и чиновникам государя императора...» — брызгая слюной, перечитывал Павло. Он читал хотя и с пафосом, но медленно, и Бороков теперь понял, что прошение написано в достаточно сильных выражениях. Взял бумагу из рук писаря, осмотрел снизу доверху и спросил, где надо расписаться.

Писарь трясущимся пальцем показал, где поставить подпись. После слов «Податель сего прошения собственноручно подписал» Бороков с трудом вывел шесть букв — «Туг. Бор.». Аккуратно сложив бумагу, он опустил ее в карман бешмета и крикнул, чтобы седлали лошадей.

Из-за траура Туган решил все-таки не подпоясываться, не надевать ни кинжала, ни пистолета. Обычные белые газыри заменил черными. Застегнув на крючки ладную черкеску, вышел во двор.

У коновязи стояли три оседланных скакуна, с подтянутыми подпругами. Он подошел к своему любимцу лоовской породы, потрепал по холке, тронул атласную голову коня и с горечью хлопнул по крупу:

— Ну, Красавец! Пришла пора расстаться...

«Разве это седло для такого коня?..» Он распорядился, чтобы заменили сбрую, и, когда все было готово, обошел Красавца кругом, внимательно осматривая.

«Ой, жалко... Но не стыдно, не стыдно дарить такого коня. И седло, отделанное серебром и слоновой костью, стоит скакуна... Не только правителю Кабарды, правителю всего Урусея не стыдно подарить».

— Поведешь на поводу,— крикнул он сыну. Но не успел Адальбий вскочить на своего коня, как отец поднял руку и сказал вслух, ни к кому не обращаясь: — Нет, с Красавцем на поводу нельзя среди бела дня выезжать из села. А если правитель в отъезде, значит, ходить по Нальчику с конем?

И Бороков, поразмыслив, приказал сыну одному отправиться в Нальчик, узнать: у себя ли Клишбиев?

Жангуаша чувствовала, что затеял муж. Она хотела отговорить его, просить послушаться совета сердца. Но не хватало смелости. Всякий раз, когда приближалась к мужу, руки ее начинали дрожать, отнимался язык. И теперь, видя, что отъезд не состоялся, обрадованная и в то же время встревоженная, она начала разговор:

— Так болела душа, так я беспокоилась... Во имя аллаха, во имя людей прошу — не разжигай пожар мести. Не надо убийства, мой повелитель. А если хочешь — убей меня. Только ты, сын да дочь — вот и все мои радости... Прошу, на коленях прошу!

Туган грозно посмотрел на жену.

— Боюсь за тебя, боюсь за Адальбия. Поэтому и сказать решила...

— Молчать! — рявкнул Туган и мотнул головой, как бык.— Занимайся своим делом. Лучше накорми и напои вот этого.

Он указал на прижавшегося к стене и заискивающе улыбающегося писаря.

2

Старшина не жалел джигит-воды для нужных людей, и Павел Витальевич Шашенков ушел домой в развеселом настроении. Едва бороковская усадьба скрылась за углом улицы, он взмахнул руками, притопнул и запел довольно приятным голосом:

Ох, ясноглазая, день прекрасен,
выпил я изрядно во славу твою!
Ох, несчастье,— выпил да не допил,
оттого и ноги мои — не мои...
Я иду, спотыкаясь, несчастье!
Но еще протанцую с тобой...

Мурат Кабардов издали узнал писаря. Запои Павла Витальевича были не в диковинку для аюбейцев. Но чтобы такое шумное веселье на улице... Нет, этого еще не случалось.

Вдруг писарь исчез. Мурат удивленно посмотрел по сторонам. Потом подбежал к канаве. Так и есть! Павел Витальевич лежал на дне; он удобно устроился на сырой глине и от удовольствия даже закрыл глаза.

— Вставай, Павел! Стыдно. Люди увидят.

— Вот так, брат...— донеслось из канавы.— Не только я, но вся жизнь моя — на дне. И поделом!

— Нет, нет, Павел. Вставай!

— Зачем? Разве не все равно, где валяться в этом пустом мире? Пустом, как пустыня. Как Сахара...

Мурат нагнулся, подхватил писаря под мышки, попытался вытащить. Ноги у писаря были как ватные; он не удержался и снова свалился на откос канавы.

— Говоришь: люди увидят? Говоришь: стыдно? А что люди пони-ма-ют! Все вы — пр-росто чер-рви, земляные черви... Человеком делает лю-бовь! Понял? Лю-бовь... А ты в земле роешься, потому что — червь! И все!

Мурат выпрямился и отвернулся, раздумывая: «Бросить его или все-таки отвести домой?»

— Эх, Мария-Машенька — красное солнышко...— горько говорил меж тем пьяный писарь, лежа в канаве.— Закатилось, ясное, бросила Пашку постылого...

И пропел:

Эх, жизнь моя, жизнь,
сердцем к сердцу прижмись:
на тебе греха не будет,
а меня пусть люди судят,—
меня бог простит!

И так это было сказано, что Мурат забыл о колебаниях, повернулся к писарю. А тот продолжал говорить:

— Эх, брат, как я ее любил! Один поцелуй, и я месяц витаю в облаках... Ты представляешь, что такое настоящий поцелуй? Хотя откуда тебе знать... Что захочет, все исполнял. По городам возил, развлекал, веселил. В Кисловодск захотела,— лечу с ней в Кисловодск. Потребовала Ростов,— все бросаю и еду с ней в Ростов. А какие подарки! Звезды по ночам доставал...

Вцепившись в траву на краю ямы, Шашенков нашел в себе силы подняться. Он вытянулся во весь рост, одернул сбившуюся косоворотку, провел рукой по волосам. Глаза его сверкнули.

«Видно, крепко любил...» Мурат на миг представил себе Павла молодым, длинноногим, в красивой черкеске, на летящем скакуне...

— Сбежала! Промотал я наследство, прихожу, целую ее... «А мне ничего и не надо»,— говорит. Ты понимаешь, каким голосом? А потом сбежала с офицером... Вот с тех пор и солнца для меня нет. Запил. Лежу на дне. В грязи... «Же ву зем, месье... Шерше ля фам, месье...» [1] Не понимаешь? А песню поймешь? Эх, гитары нет...

Носи, мил, колечко.
Носи, не теряй.
Пока кольцо носишь —
Своей называй.
Кольцо потускнело,
А дева моя
С другим улетела
В чужие края.
С тех пор я, несчастный,
Хожу сиротой,
Смотрю на колечко,
Сам плачу порой...

Последние слова Шашенков произнес шепотом. Крупные слезы катились по его щекам, падали на измазанную косоворотку.

---

[1] Я вас люблю, мосье... Ищите женщину, мосье... *(франц.)*

«Как мучается, бедный!» Не боясь испачкаться, Мурат нагнулся и, обняв писаря, вытащил его из канавы, поставил рядом с собой. Шашенков вдруг толпнул ногой и закричал:

— Не трро-гать! Ты кто такой?.. Ты-ы червь. Да...

— Хорошо, Павел. Согласен, что я червь. Согласен. Только пойдем домой. Не дай бог, Бороков увидит. Попадешь тогда в тюрьму...

— В тюрьму, говоришь? Меня?! Если кого и бросят в тюрьму, то тебя, земляного червя. Стоит только мне написать бумажку, и тебя схватят и упрячут. Как твоих соседей Шогемоковых,— кричал писарь, выкидывая жилистые кулаки к лицу Кабардова.

«Откуда и сила взялась? Ведь еле на ногах стоял».

Непонятная угроза насторожила Мурата.

— Как же схватят Шогемоковых, если они в абреках? И за что меня должны схватить?

— Ты их сосед. Все вы заодно. Мы все знаем! — кричал Шашенков.— Вот донесение. В кармане. Туган отвезет его в Нальчик, а там разыщут твоих Шогемоковых и — в кутузку. А то — и веревку на шею. И — прощай!

Мурат больше не раздумывал: взвалил писаря на плечо и понес. Шашенков ругался, дрыгал ногами, но потом присмирел. Видно, поправилось, что его несут, как важную персону, и он весело затянул:

Ни кола, ни двора,
Зипун — весь пожиток...
Эх, живи, не тужи,
Умрешь — не убыток.

Кабардов дернул писаря, но того уже нельзя было остановить.

Уж ты сыт ли, не сыт —
В печаль не вдавайся;
Причешись, распахнись,
Шути-улыбайся!

Только войдя в свой дом и опустив Шашенкова на тахту, Мурат облегченно вздохнул.

— Сын мой, кого ты принес? Что с ним? — испугалась мать.

— Писаря Павла... Перепил... Дай, пожалуйста, мой бешмет и штаны.

— Что ты, что ты, свет моих очей! Не дай бог, чтобы твою одежду надел гяур. Он свинину руками брал... Не дай аллах совершить такой грех.

Когда мать ушла, Мурат перевернул совсем успокоившегося Павла Витальевича и обшарил его карманы. Вынул аккуратно сложенные два листа, развернул их и стал рассматривать. Он не мог прочесть ровные строчки доноса, но чувствовал, что писарь спьяну не шутил. Проклятая бумага могла погубить его соседей. «Что делать? Как спасти Шогемоковых? Ведь проспится этот и убежит...»

И вдруг, осененный удачной мыслью, проворно стал стягивать с писаря испачканные грязью косоворотку и штаны. Потом, набросив на него покрывало, вышел в летнюю кухню.

— Прошу, постирай это. Но без меня не отдавай.

Мать недовольно подцепила грязную одежду палкой и положила в таз.

Во всем Аюбее было только три человека, которые могли бы прочесть выкраденную бумагу. Но, конечно, ни самого писаря, ни Адальбия Борокова Мурат об этом просить не мог. Оставался только один — его квартирант Кулибин.

Кабардов не решался идти к Михаилу Петровичу в контору при лавке, опасаясь встретить там Борокова. «Вот что значит быть безъязыким,— сетовал он на свою судьбу.— Когда раздавали людям счастье, раздавали грамоту, загнали меня в угол и обошли».

Ждать до вечера, когда Кулибин возвратится домой, тоже нельзя.

Подумав, Мурат решил пойти сначала в магазин. Он поторчал там немного, для отвода глаз перебирая все сорта табака. Потом даже купил пачку турецкого и, держа ее в руке, вышел из магазина. Убедившись, что проблизости Тугана нет, шмыгнул в контору.

Кулибин сидел за столом, щелкал счетами и записывал.

— Скорее приходи домой,— взволнованно прошептал Кабардов.

* * *

«Ну, что там написано?» — не терпелось узнать Мурату. Он не сводил глаз со своего квартиранта.

Кулибин внимательно читал прошение. Оба стояли, хотя в кунацкой были свободные табуретки. Сложив листки, Михаил Петрович запустил пятерню в густую шевелюру, тряхнул головой и коротко перевел содержание прошения.

— Какой подлец Бороков! Грязная душа с грязным языком. Сам первый подстрекал! — возмущался Кабардов.

Кулибин прищурил глаза, задумался. Потом спросил:

— Это — копия прошения. А где оно само? Отправлено?

— Не знаю.

— Разбуди Шашенкова. Спросим.

— Разбудить?.. А если он потом донесет на меня? — нерешительно проговорил Кабардов.

— Не донесет. Он теперь в наших руках. Будет молчать как рыба.

Кабардов был не из трусливых. Уважал Михаила Петровича, доверял ему. Но после Зольского восстания напуганные расправой аюбейцы стали гораздо осторожнее. И Мурат продолжал считать писаря самым грозным и страшным представителем власти в Аюбее после князя и Борокова. Ведь по бумажке писаря могут схватить любого. Кулибина и то могут схватить.

Словно читая его мысли, Кулибин сочувственно, с жалостью посмотрел на Мурата. Чуть дрогнули уголки губ:

— Что ж, пойдем к самому страшному человеку.

Шашенков храпел так, словно ему перерезали горло. Покрывало лежало на полу. С тахты свешивались голые костлявые ноги.

Кулибин подошел к нему и стал трясти за плечи:

— Павел Витальевич!.. Павел Витальевич, да проснитесь же наконец... Как вы могли сделать это? Узнает Бороков — в порошок сотрет.

Услышав фамилию старшины, Шашенков в одном нижнем белье вскочил с тахты и испуганно заморгал.

— Кричать на улице, разглашать важную тайну, валяться пьяным... Нет, Бороков этого не простит.

До писаря стал доходить смысл слов, и он пролепетал:

— Неправда... Все это враки.

— Может быть, неправда, что ты стоишь в чужом доме без штанов?.. Может, вранье и это прошение хозяина, которое ты бросил на улице, а я нашел?

Кулибин помахал листками.

От неожиданности Шашенков опустился на тахту, съежился, поджал ноги. Потом отчаянно кинулся к Кулибину.

— Отдай! Верни!

— Нет, не получишь! Я служу хозяину верой и правдой, не как ты. И бумагу передам сам.

— Не губи... Уничтожит он меня! Пожалей, Михаил Петрович. Век буду бога молить...

Шашенков истово перекрестился, припал животом к полу и пополз к Кулибину.

«И его я считал сильным человеком...» — краснея, ругал себя Мурат.

— Коленопреклоненно прошу. Верните, ради бога.

Кулибин отрицательно покачал головой. Тогда писарь внезапно схватил его ногу и с силой дернул к себе. Не ожидавший подвоха, Михаил Петрович упал. Шашенков накинулся на него и, не дотянувшись до злосчастной бумаги, схватил за горло. Впервые в жизни видя подобное вероломство, Мурат опешил.

— Ах ты...— крикнул он, бросился на Шашенкова и отбросил его к стене.

Потирая покрасневшую шею, Кулибин показал писарю глазами на тахту.

— Присаживайтесь, дорогой Павел Витальевич. Теперь нам легче будет договориться... Как видите, я готов был пожертвовать жизнью ради Борокова. Вот как надо служить своему благодетелю.

Шашенков понуро стоял, прислонившись к стене, и молчал. Хлюпал разбитым носом, то и дело вытирая кровь рукавом нижней рубашки.

— Мы тоже люди. Понимаем и горе человеческое, и радость,— продолжал Кулибин, и в голосе его послышались примирительные

нотки.— По правде говоря, вы заслуживаете жалости, Павел Витальевич... Сердце у вас доброе, а человек вы увлекающийся, горячий. Зачем же губить себя? Ну, скажите, почему вы бросили эту важную бумагу на улице? Это — первое. И второе. Судя по помаркам, это черновик прошения, копия. А где же начисто переписанный экземпляр?

Писарь молчал.

— Ладно. Не хотите отвечать — воля ваша. Только тогда я вынужден буду пойти к Борокову и...

— Пожалейте... Ради бога, пожалейте, Михаил Петрович. Не губите мою душу! И так меня в грязь кинули. Зачем же топтать?

— Это я слышал и раньше. А вот ответа на вопрос не слышал.

Писарь опустил голову и тихо произнес:

— Чистовик прошения у Тугана.

— Неправду говоришь!

— Нет, правду. Бороков его повезет в Нальчик, господину Клишбиеву... Я все сказал. Дайте бумагу.

— Нет,— вполголоса, но твердо произнес Кулибин.— Ты не получишь ее до тех пор, пока не скажешь главного. Что писал Бороков о Пшикане Шогемокове, Исуфе Каздохове, Сарабие Сохове и Цуке Бахукове после Зольского восстания?

Мурат вздрогнул. Он не знал, что Бороков и Шашенков доносили на лучших односельчан. «Зачем? Откуда Кулибину это известно? Что за всезнающий человек!» И, охваченный внезапной тревогой, проговорил:

— Запах от одной съеденной черемши и от ста черемшей — один и тот же. Выкладывай все, что знаешь!

Но писарь упорно молчал. Заметная дрожь пробирала его.

— Мы оба даем обещание... Можем даже поклясться ничего не говорить Борокову, если скажешь всю правду,— заверил Кулибин.

— Или скажешь все, или на мелкие части раздроблю твои кости! — крикнул рассерженный Кабардов и бросился к писарю.

— Не надо, Мурат,— устало и тихо проговорил Шашенков и продолжил: — Не по своей воле писал. Заставили...

— На кого сочинял донос?

— Заставили писать на пятнадцать человек.

Он назвал все имена и фамилии, повторяя:

— Писал только то, что приказывали. Ничего от себя не прибавлял.

— А в чем обвиняли людей?

— Ну, в том, что они подстрекали к бунту, не подчинялись властям, разжигали недовольство в народе... Я писал только то, что диктовал старшина.

Кабардов был изумлен. Он смотрел на Кулибина, на Шашенкова и ничего не мог понять. Признание писаря казалось ему самой настоящей ложью, клеветой на лучших аюбейцев. «Неужели это мог диктовать Бороков? Ведь он тоже подстрекал людей к высту-

плению?..» Мурат сморщился, как от боли. В его сознании не укладывалось лицемерие старшины Аюбея.

«И как мог Туган давать тогда клятву в мечети перед односельчанами, положа руку на святой Коран, утверждая свою невиновность? Лгать народу, осквернять Коран?»

Кабардову вспомнилось все. Вспомнились грозные события тех дней...

По тому, как чабан носит на голове шапку, волк узнает, можно ли у него утащить из отары барана. Так говорят кабардинцы.

Подобно волкам, давно приглядывались кабардинские аристократы и коннозаводчики к крестьянам-скотоводам, разобщенным между собой и невооруженным. Решили отхватить для себя лучшую и большую часть Зольских и Нагорных общинных пастбищ. Правительственная администрация Северного Кавказа помогла отрезать лучшие пастбища крупным коннозаводчикам, что вполне соответствовало духу столыпинской реформы, одобренной царем. Но под выгоревшими от солнца широкополыми войлочными шляпами оказались умеющие думать головы, а под старыми неказистыми бурками бились мужественные, бесстрашные сердца. И те, о которых господа думали плохо, считая, что можно у них безнаказанно таскать из отары овечек, встали плотными рядами во дворе аюбейской мечети после молитвы. В один голос заявили:

— Умрем, как мужчины, но своих пастбищ не уступим ни князьям, ни богачам коннозаводчикам.

Неслышной скользящей походкой вошел в круг Туган Бороков.

— Правильно, односельчане, друзья мои! Если будете сидеть и молчать, будто у вас хакурт [1] во рту,— не видать вам своих пастбищ. Говорят, вол заревел, и тогда его пустили на сочную траву. И вы ревите. Ревите во все горло. Ни на вершок не уступайте своего!

— Поклянемся! — закричали отовсюду.

Едва шум смолк, Мухамед-эфенди провел рукой по усам, кашлянул и сказал:

— Таким образом, значит, не торопитесь принимать клятву... Не забудьте, что находитесь у святой мечети. Подумайте о всемогущем аллахе, бедные люди. Не поступайте опрометчиво.

Туган положил руку на плечо муллы.

— Хорошо, Мухамед-эфенди. Скажи людям: можешь ты добиться возвращения пастбищ?

Мухамед-эфенди отрицательно покачал головой, толпа снова загудела. Пшикан Шогемоков и Сарабий Сохов вышли на середину, взялись за концы посоха и подняли его кверху.

Аюбейцы начали один за другим проходить под посохом, громко произнося слова клятвы.

Туган Бороков постоял некоторое время, с одобрением посматривая на односельчан, и направился к калитке.

---

[1] Хакурт — мука из жареной кукурузы.

— Куда ты, Туган? Пройди под посохом, дай клятву,— крикнул Шогемоков.

— С удовольствием, с большим желанием,— остановился Бороков и приложил руку к сердцу.— Но когда поставили старшиной, то взяли с меня присягу, что буду служить царю и правительству верой и правдой... Прошу освободить меня от вашей клятвы. Я даю честное слово, что вместе с вами отправлюсь на Зольские пастбища и буду стоять за вас.

Когда восставшие аюбейцы отправились на Золку, Бороков подбадривал их, призывал:

— Не отступать. Не уступать ни шагу. Разве мы не мужчины, разве не носим усов?

Давно так не шумела Зольская долина. Всенародный сход был подобен горному потоку. Прискакавший из Нальчика полковник Клишбиев приказал крестьянам разойтись по домам и не выдвигать невыполнимых требований.

— Нельзя не слушаться правителя,— вдруг стал уговаривать Бороков.— Сейчас лучше разъехаться, а потом все обсудим.

Размахивая плеткой над головой, полковник кричал:

— Адыги, мусульмане! Одумайтесь! Иначе худо будет. Останетесь не только без пастбищ, но и без скота.

Слова Клишбиева потонули в шуме возбужденной толпы. А он, рассерженный непослушанием, выкрикивал новые угрозы:

— Поверьте мне, чесотка сожжет ваши тела, ослепнут ваши глаза, если не покоритесь... Одумайтесь!

Оскорбленные крестьяне дрогнули, закричали. Одни призывали аллаха заступиться за них, другие схватились за рукоятки кинжалов. Растекшаяся по долине людская масса зашевелилась.

Точно плетью, хлестнул толпу голос разъяренного правителя:

— Рожденные собаками, чего вы хотите?!

Многотысячная толпа тронулась с места. Она шла, клокоча от возмущения, потрясая кинжалами, размахивая над головами длинными герлыгами. Толпа гудела и кричала:

— Окружить его!..

— Кто хватает нас за горло — сорвем с того голову!

— Не отступим, не будем клятвопреступниками!

Нашлись в толпе старики — мастера мирить обнаживших кинжалы. Стали выскакивать из сомкнутых рядов: два, пять, десять... С поднятыми руками встали перед идущими, но толпа продолжала двигаться...

Старики схватились за руки.

— Режьте нас, но кровопролития не допустим,— кричал аюбейский богач Альботов.

— Остановитесь, несчастные! — поддержал своего односельчанина коннозаводчик Каноков.

— Не дадим тронуть правителя,— громче всех выкрикивал высокий старик в чалме.

Но сурово двигался темный вал, прокладывая себе дорогу словами ненависти и гнева:

— Не будем жалеть того, кто сулит нам чесотку и глаза, полные слез.

— Посмотрим, кто рожден собакой: мы или он?..

Старик в чалме вырвал руки из образовавшейся цепи, воздел их к небу и громко стал произносить молитву. Слова ее осуждали ослепленных гневом крестьян, поддавшихся злому духу. Убежденно и властно проповедник призывал каждого смириться, сберечь свою душу; он словно гипнотизировал многоликую толпу.

Передние ряды замедлили шаг и остановились.

Едва старики сомкнули свою цепь, как Бороков вышел из толпы и побежал к стражникам, где коновод держал лошадь Клишбиева.

— Скорее, скорее коня правителю,— задыхаясь, проговорил Туган и протянул руку к уздечке.

Усатый великан-коновод свирепо посмотрел на Борокова и схватился за шашку.

— Да ты что, слепой?! Не видишь, что делается? — крикнул Туган, и оба они торопливо подвели иноходца к полковнику.

— Уезжай скорей, господин! Уезжай, пока старики сдерживают безумных чувячников,— умолял старшина Клишбиева, помогая ему взобраться на коня.

С помощью прибывших позднее вооруженных солдат восстание было подавлено.

То, что видела одна пара глаз, стало достоянием многих, что произносил один рот, повторили десятки и сотни ртов. Хитрая игра Борокова, заботившегося только о своем благополучии, была раскрыта. Односельчане, и прежде весьма недолюбливавшие своего старшину, теперь относились к нему враждебно, с презрением.

Как-то раз Бороков заявил в мечети:

— Я все вижу, добрые мусульмане. По незнанию вы осуждаете меня. Грех берете на свою душу. А кому это нужно? Ни мне, ни вам... Правдивость мусульманина проверяется клятвой над Кораном. Я готов доказать.

Мухамед-эфенди был зол на Борокова, особенно с того дня, когда во дворе мечети тот показал свое влияние и силу. Но сейчас получалось по-другому. Мухамеду-эфенди было приятно подчеркнуть, что его духовная власть распространяется не только на простых крестьян, но и на самого старшину.

— Это лучше для обеих сторон,— рассудительно сказал мулла.— Таким вот образом, значит, во-первых, правоверным не следует брать грех на свою душу, а во-вторых, клятвой над Кораном Туган очистит свою совесть перед людьми.

Мулла достал с полки мухараба[1] толстый запыленный Коран, раскрыл его. Прочитал короткую молитву на арабском языке, пожелав счастливого исхода священному обряду.

Бороков подошел к мулле, повернулся лицом к югу и закатил глаза. Потом поднял к небу толстые, как лепешки, ладони.

— Всевышний и всемогущий аллах, просвети тех, кто по неведению подозревает меня в недостойном поведении на Зольских пастбищах, отведи от меня незаслуженную ненависть и подозрительность моих односельчан.

— Аминь! — произнес Мухамед-эфенди, и все остальные повторили за ним.

Туган опустил руки, положил правую ладонь на Коран.

— Клянусь перед аллахом, держа руку над святым Кораном, что, когда увидел вооруженных стражников, готовых уничтожить бедный народ, как правоверный мусульманин я присоединился к почтенным старикам, чтобы избежать кровопролития... Клянусь перед всемогущим аллахом, что у меня не было другого желания, кроме желания спасти народ от уничтожения!

Бороков остановился и посмотрел на окружающих. Убедившись, что его клятва, больше походившая на защитительную речь, произвела впечатление, он с жаром добавил:

— Если я сказал неправду, пусть аллах, в руках которого мы находимся, поразит меня пулей, а тело мое сожжет в пламени грозы.

Мухамед-эфенди закрыл Коран. Чтобы клятва дошла до бога и принесла счастье правоверным, все произнесли тихую молитву и ладонями провели по лицу.

После торжественного священного обряда аюбейцы перестали враждебно относиться к Борокову. Да и можно ли было не поверить, когда Туган лично выхлопотал еще до суда освобождение для многих арестованных. Благодаря старшине из трехсот аюбейских участников восстания было осуждено только пятеро.

— Если бы не я, половина Аюбея жила бы в собачьих ямах,— не уставал повторять он.

Правда, некоторые не верили ему, продолжали подозревать и ненавидеть. Но с такими Бороков не считался и говаривал:

— Тебе, милейший, чего не хватает, ы-ы? В тюрьму захотелось? Я могу устроить тебе это удовольствие. Маленькая бумажка, которую напишет Павло, и — будешь подыхать в одиночке...

Кабардов приподнял голову и посмотрел на Кулибина. Он задумчиво ходил по комнате. Остановился, сел на тахту, строго посмотрел на Шашенкова.

— Велика вина ваша, Павел Витальевич. Во-первых, не по-

---

[1] Мухараб — место муллы в мечети.

жалели сил, чтобы бедные крестьяне были арестованы и осуждены. А ведь у каждого из них — семья, дети...

— Бороков...— начал писарь.

— Бороков не умеет писать,— оборвал Кулибин.— Вы писали доносы, а теперь сваливаете все на старшину, облыжно обвиняете моего хозяина. И во-вторых. Важный секрет, который доверил вам Бороков, вы разболтали. Не только нам, а всем. Бросили копию прошения на улице, смотрите, мол, аюбейцы, что делает ваш старшина.

— Это все Бороков, а не я... Он подкупает всех взятками, а я должен отвечать за него...

— Врешь! Клевещешь на моего хозяина.

— Нет, не вру. Он приготовил коня, чтобы подкупить нужного человека.

«Наконец-то!» — обрадовался Кулибин и вскочил с тахты. Но, совладав со своими чувствами, стал медленно вышагивать по комнате.

— Ваша вина, Павел Витальевич, настолько велика, что... Но мы знаем,— вы одинокий человек, перенесли много горя. А сердце у каждого — одно. Мы отпускаем вас и ни Тугану, ни кому другому не скажем ничего.

Шашенков протянул руку.

— Нет, бумаги вы не получите. Давеча на животе полз, а потом перехитрил меня, свалил. Теперь я такого промаха не допущу.

— Значит, вы хотите запрячь меня в свой плуг и пахать на мне? — с горечью произнес Шашенков.

— Нет. Если только вы сами не вынудите нас, мы не собираемся причинять вам зло. Итак, будем считать, что договорились?

Шашенков молчал некоторое время, а потом кивнул головой в знак согласия.

— Мама! — крикнул в окошко Мурат.

Мать протянула ему сверток.

— Хоть и брезговала, но что ж делать. Мужчина, гость. Нельзя не уважить. Вот все постирала, выгладила. На, передай.

3

Наступил вечер, теплый и душный. Михаил Петрович зажег лампу в нише, и кунацкая стала уютнее. Один за другим подходили крестьяне, которых по просьбе Кулибина оповестил Мурат. Запыленные, усталые, они приветствовали хозяина и рассаживались на скамейках. Кому скамеек не хватило, садились на корточки, прижавшись спиной к стене.

— Э, так не годится, друзья,— сказал Кулибин.— Старшие пусть сядут на кровать, а младшие — на табуретки.

Крестьяне не решались приблизиться к белоснежному покрывалу. Тогда Михаил Петрович подошел к старикам и, поддерживая их за локти, усадил на кровать.

Собравшихся было семеро. Они сами или их братья пострадали из-за восстания. Они сидели молча, поглядывали друг на друга и на Кулибина. Они думали, что он сообщит им хорошие новости об арестованных и сосланных родственниках и братьях. Но лицо Михаила Петровича, обычно веселое, таило озабоченность. «Значит, новость худая... Но какая?» Крестьяне сидели невозмутимо, только частое сухое покашливание выдавало их волнение.

Кулибин неторопливо стал рассказывать о намерениях Борокова, о его прошении, обо всем, что он с Муратом узнал от писаря.

Крестьяне подняли головы. В больших, усталых глазах их было удивление и недоверие, возмущение и горькая печаль. Ни сердце, ни сознание не хотели мириться с клятвопреступлением Борокова. Следовало что-то сказать — гневное или примирительное. Но все молчали, хотя сидеть спокойно уже не могли. Беспрерывно ерзали, доставали табак, крутили самокрутки. Торопливо прикуривая друг у друга, задымили, с силой затягиваясь густым, терпким дымом.

Кулибин понимал их. Видел сквозь пелену дыма, как невесело покачивают старики головами, какой ненавистью горят их глаза.

Двуличное поведение Борокова в день восстания, его предательство стало далеким, потускневшим воспоминанием. Главное было в другом. Мусульманин, глава села, оказался вероломным человеком, обманувшим и аллаха и людей. Стал доносчиком. Не пощадил лучших односельчан...

Не могли они простить Борокову и измены народным обычаям, измены адату. Исстари сельские дела в Аюбее решал совет старейшин, решал сам, без участия властей. Вместе с муллой старики вершили суд и расправу. За воровство штрафовали или отрубали руку. Не миловали прелюбодеев — с проклятиями сбрасывали с кручи. Если случалось убийство,— старались помирить кровников. Пьяницам полагалась порка, а изобличенных лжесвидетелей сажали на лошадь лицом к хвосту и возили по селу. Особое наказание ожидало нарушителя клятвы. Его папаху простреливали и заставляли ходить в ней, как бы с продырявленной головой.

Таковы были народные обычаи. А сейчас? Семеро аюбейцев, почтенные и уважаемые мужчины, сидели молча, опустив головы, стесняясь смотреть друг другу в глаза.

Закоптила лампа, Кулибин привернул фитиль.

— Пусть его дом постигнут несчастье и позор! — по-юношески звонким голосом вдруг воскликнул Музачир Сохов.

Один из крестьян задумчиво снял с рукава черкески травинку и, посмотрев на дверь, возразил:

— По-моему, ты неправду говоришь, Кулибин. И все вы ошибаетесь, если верите этому. Разве Туган такой? Вы, наверное, забыли, как он вас вызволил из тюрьмы...

Это сказал Шахбан Каздохов, тот маленький, плешивый Шахбан, который больше всех кричал и размахивал большим кинжа-

лом во время восстания. И в тюремной камере, и после внезапного освобождения он поносил Борокова, «подлого человека с грязной душой».

А потом словно подменили маленького аюбейца. Каздохов повсюду стал прославлять старшину. «Э, односельчане! Если бы не Бороков, половину села угнали бы в Сибирь».

Мурат Кабардов вскочил, опрокинул табуретку.

— Маленький человек с большим кинжалом! Разве Туган не науськивал нас лезть в огонь? А потом сбежал, предал крестьян. Лучших людей погубил.

— Правильно! — зашумели старики.— Вероломный человек!

Каздохов съежился, стал еще незаметнее, но проговорил:

— Нет, Бороков не клятвопреступник. Не может мусульманин, поклявшись на Коране, говорить неправду. Не может, поймите это.

Кулибин поднялся с трехногой скамеечки, достал из бокового кармана копию прошения, отобранного у писаря, и начал читать — сначала по-русски, а потом переводя на кабардинский язык.

«...Служа верой и правдой царю и Отечеству, довел до органов дознания и подтвердил письменно о том, что братья Шогемоковы, Каздохов Юсуф, Сохов Сарабий, Бохуков Цук злонамеренно взбунтовали жителей села Аюбей. Я также сообщил господину следователю о других активных участниках бунта...»

— В это тоже не верите, Шахбан? — спросил Кулибин, внезапно прервав чтение.

Каздохов втянул голову в плечи и неуверенно произнес:

— Как сказать... Может, это пьяница писарь сочинил, а не Бороков.

— Клянусь аллахом, тебя не поймешь, Шахбан! Говоришь одно — делаешь другое, делаешь одно — говоришь другое,— сказал Сохов.

— Невозможно узнать, когда Шахбан хочет быть героем, а когда делается трусом,— поддержал Мурат, но старый Сохов одернул его:

— Помалкивай. Сиди на месте и слушай, что говорят старшие.

Кулибин не стал читать прошения целиком, положил в карман. «Конечно, один Каздохов погоды не делает. Задобрил его старшина или застращал?.. Опасно не это. Сегодня — один, завтра — другой, послезавтра — третий... Будет твердить, что заботится об односельчанах, как беспокойная квочка о своих цыплятах... Нет уж, разоблачать, так до конца. Показать, какое у него нутро».

— Друзья мои! — начал Кулибин.— Конечно, вы лучше меня знаете Тугана, долгие годы живете с ним. Но давайте с другого конца подойдем к делу. Возьмем два рода — род Шогемоковых и род Бороковых, сравним их. Нельзя сказать, что Шогемоковы —

лодыри, а Бороковы — труженики. Когда-то и добра у них было поровну. Верно я говорю?

— Верно,— в один голос ответили крестьяне.

— А потом? Бороков стал богатеть и жиреть, словно кабан, которого откармливают. В карманах — полно денег, амбары — хлебом переполнены, магазины — ломятся от товаров.

Шогемоковы трудились день и ночь, попробовали лавчонку открыть — не вышло. Растаяли их сбережения, как весенний снег. Была надежда, что Исмел и Зрамук укрепятся корнями и оживет со временем род. Тоже не вышло. Пришлось скрываться, уйти в абреки. А Бороков ждет их окончательной гибели на каторге или на виселице.

Почему же так все происходит? Подумайте, дорогие...

Зашумели, заговорили крестьяне. Некоторые руками развели: мол, счастье между нами никто поровну не делил. Видно, аллаху было угодно, чтобы победил Туган.

— Нет,— решительно мотнул головой Кулибин.— Что ж, аллах отрезал от ваших пастбищ лучшие участки и передал богатеям?.. Если в стоячую воду бросить камень, круги пойдут во все стороны. В Петербурге бросили камень, до Аюбея дошли круги. Правительственный указ отобрал у вас землю.

— Да, это так. Один — с девятью шубами, а девять — с одной,— согласился Сохов.

Сидевший до сих пор безмолвно Мадин Маремов робко заметил:

— Немного имеем, совсем немного. И то мало-помалу вырывают из наших рук.

Кулибин оживился.

— Скажите, есть кто-нибудь среди вас, кто не брал у Борокова в долг?

— Я брал у него и деньги и хлеб...

— ...И шерсть до стрижки и кукурузу.

— Весенний дом всегда пуст. Когда ничего нет, рука короткой делается. Обратишься к Тугану — выручит.

— Выручит, говорите? А какой процент он берет с рубля или с пуда?.. Ты, Каздохов, говоришь, что Бороков не отказывает. Что верно, то верно. Какой ему смысл отказывать? Я сегодня смотрел документы в конторе, расписки, обязательства. Весной Бороков роздал в долг тысячу пудов одной кукурузы. А осенью, после уборки, получит от вас, должников, тысячу пятьсот. Что вы на это скажете?

И — другое. Музачир Сохов тут недоумевал: «Зачем Борокову нужно было присоединиться к нам, а потом перебежать на сторону властей?..» Да это же ясно, как божий день. Его самолюбие было задето. Как же, ему, Борокову, и вдруг не выделили участка наравне с князьями и коннозаводчиками. И еще. Появятся на Зольских пастбищах табуны коннозаводчиков, станут крупные гуртовщики поставлять царской армии скот, кабардинских лоша-

дей. Опять барыши проплывут мимо бороковского носа. Может, отменят власти раздачу участков. А когда убедился, что дело проиграно,— сразу переметнулся... Вот, односельчане, каков Туган Бороков. Ваш старшина, мой хозяин,— заключил Михаил Петрович.

Нельзя сказать, что сообщение Кулибина было потрясающей новостью для всех аюбейцев. Многие давно уже доходили до этого своим умом, понимали, что к чему. И тяжкими, душными ночами ворочались с боку на бок, не могли уснуть от невеселых дум. Но молчали и виду не показывали, что где-то в глубине их сознания зреют вопросы, на которые рано или поздно надо давать ответ. Вешней водой уплывали дни и годы, а терпеливо ожидаемая хорошая жизнь не наступала. Значит — божье наказание, значит — надо смириться. Даже, когда становилось совсем невмоготу, роптали крестьяне, но не затрагивали бога и царя. Во всех грехах обвиняли правителя округа, князя, старшину...

Горячие слова Кулибина всколыхнули собравшихся. Михаил Петрович, довольный, видел это. Лица крестьян уже не были усталыми и подавленными. В их глазах разгорался гнев, который прорвался однажды на Зольских пастбищах. Не остыли с тех пор сердца, не омертвели души.

Молчание затянулось, но было красноречивее долгих разговоров.

Шахбан Каздохов, теребя старую, просоленную потом войлочную шляпу, спросил Кулибина:

— Пусть будет так. Скажи только: можешь ты добиться освобождения из ссылки наших братьев?

Все повернули головы к Кулибину. Образованный, порядки знает, грамотей. Крестьяне смотрели теперь на него, как на чудотворца.

Михаил Петрович честно признался, что не в его силах вызволить осужденных.

Собравшиеся приуныли.

— Эй вы, мужчины! — вдруг звонко крикнул Сохов.— Что носы повесили? Если всадник растеряется, его конь не может скакать!

— Дело не такое уж безнадежное,— продолжал Кулибин.— Можно обратиться с жалобой к правителю всей Терской области, подать прошение в суд, чтобы осадить Борокова. А дальше, после успешного начала, и о своих сосланных братьях можно заговорить. Думаю, что надо нанять хорошего, сильного адвоката.

«Свяжись только со старшиной»,— опустил голову Каздохов.

— Наш Туган не просто Туган, а настоящий дракон о трех головах. Одну срубишь, другая вырастет. Клянусь аллахом, не одолеешь такого. Все равно что на ледяном поле сражаться. Лучше уж сидеть в бедняцкой берлоге,— махнул рукой Индирбий Джатажеев, и его высохшие пальцы закопошились в густой бороде.

Вскочил Мурат, опять не выдержал.

— Ну и сиди, как лягушка перед змеей! Будь спокоен. Туган умеет заглатывать не хуже змеи.

Седобородый Харун Бевов сверкнул глазами в сторону Кабардова.

— Чтоб тебя болезнь живота поразила. Как ты смеешь голос поднимать, когда здесь старшие? Не тебе решать: что делать, как делать.

Потом обернулся к Кулибину и тихо спросил:

— Защитнику платить надо? Или можно без оплаты?

— Говорят, даже молот без оплаты трудно поднимается,— улыбнулся Кулибин, но его шутка не развеселила собравшихся.

— Нет, вы как хотите, но я не могу идти против человека, который вызволил меня из тюрьмы и вернул к осиротевшей семье,— нерешительно проговорил Шахбан.

Кулибин снова взял прошение Борокова.

— Тот раз перебили меня, не дали дочитать... Что ж, послушай, Шахбан, что пишет твой «спаситель»: «Ежели Шогемоков и его сын не будут схвачены и казнены, Сохов Музачир, Каздохов Шахбан, Кабардов Мурат, Бевов Харун и другие, продолжающие злонамерения против установленных порядков, поймут великодушие начальства как слабость и снова начнут призывать темный народ к бунту. К этому они уже готовятся, господин правитель».

Встал с кровати Музачир Сохов, погрозил рукой Мурату, чтобы впредь помалкивал, не мешал старшим. Шагнул к Каздохову.

— Скажи, о чем думаешь? Что хочешь делать? Как решать будем?

— Ты же знаешь, Музачир, что у меня шестеро малышей. Совсем крошки. И семья Исуфа тоже на моих плечах.

— А мы все бездетные? Бродяги, пришлые? Значит, наших можно бросить, как щенят? — нахмурившись, говорил Сохов, наступая на Шахбана. Казалось, стекла кунацкой звенят от гневных слов старика. Он вышел на середину комнаты, порывисто и неожиданно сжал жилистыми пальцами руку Михаила Петровича.

— Дай аллах нашему младшему брату успехов. Ты — настоящий мужчина, брат наш. Сегодня ты снял бельмо с наших глаз, помолодели они, стали хорошо видеть. Я — с тобой! Бесповоротно. Кто хочет присоединить к нам свои руки?

Поникли головами крестьяне. Мурат оглядел их, рванулся к Сохову и Кулибину, но сдержал себя. «Что же вы, старики?!» Еще ниже опустили головы крестьяне, стараясь не встречаться взглядами.

— Да будет ваше старшинство долгим и счастливым! — уважительно, но с вызовом воскликнул Мурат и прикрыл могучими ладонями руки Сохова и Кулибина.— Я — с вами! Что положите на мои плечи — понесу без ропота.

Медленно поднялся Харун Бевов. Пригладил седую бороду.

— Пусть аллах не простит Борокову. Это его притеснения заставляют нас вторично давать клятву.

Когда присоединился и Мадин Маремов, Сохов решительно сказал:

— Пиши! Сейчас же пиши прошение самому полцарю, наместнику. И деньги найдем для защитника. Со старой шапкой пойду по селу, не пожалеют односельчане монет.

Кулибин достал бумагу, перо. Поставил лампу на стол. Он был доволен, что крестьяне так горячо поддержали его. Но большая радость омрачилась сомнениями. «Что, если он не сумеет оправдать доверие и надежды? Не осилит Борокова? Как смотреть тогда в лицо этим четырем?.. Да, тяжелый груз ты взвалил на себя, Михаил Петрович...»

Шахбан Каздохов встал, нерешительно помял войлочную шляпу и заискивающе проговорил:

— Вы же мусульмане. Поймите меня. Бороков взял с меня клятву, что никогда не скажу худого слова о нем. Как же я нарушу клятву? Вы же мусульмане...

Кулибин на миг оторвался от письма, посмотрел на Шахбана, но ничего не сказал. А тот все стоял, не решаясь ни уйти, ни сесть, и только жалобно посматривал на своих товарищей.

— Иди, иди. Мы ничего от тебя не хотим,— заметил, смягчившись, Сохов.— Только если вздумаешь сказать кому-нибудь хоть слово...

— Не дай аллах, чтобы я упал так низко! — заскулил Каздохов и очень осторожно, точно на острые гвозди, снова опустился на скамейку. Охватил плешивую, вспотевшую от волнения голову шершавыми, задубевшими руками. Тяжело вздохнул и застонал, как от боли.— Запер меня Туган в правление одного и положил две бумажки. «Вот, одна из них — твое освобождение из-под ареста, а другая — снова тюрьма. Можешь выбирать!» Просил, умолял его не губить... «Тогда давай клятву, что не будешь болтать против меня». Что было делать? Я поклялся. Как по-другому? Детишки же. Шестеро их у меня. А теперь и дети Исуфа тоже...

«Вот, оказывается, как повесили замок на Шахбана,— думали крестьяне.— Так и нас по очереди может проглотить трехглавый дракон Бороков. Нет, дорога одна — объединиться и бороться до конца».

Чернобородый Джатажеев шептал про себя:

— О аллах! Не вталкивай меня в огонь. Не натравливай на старшину. Дай силы жить спокойно и мирно.

Кулибин кончил писать. Сохов и Бевов вместо подписи поставили оттиски перстней. У Маремова перстня не было, он макнул большой палец в чернила и осторожно приложил его к бумаге. Мурат Кабардов долго пыхтел и сопел, пока подписался собственноручно.

Только когда крестьяне покинули кунацкую, Кулибин почувствовал, как чертовски устал. Разламывалась голова от дыма, от

напряжения, учащенно билось сердце. Он раскрыл окно и двери, прилег, но тотчас поднялся и снова сел за стол, придвинул к себе чистый лист.

«Посмотрим, Вадим Геннадиевич, какой ты либерал, как у тебя болит душа за народ».

Напомнив о причинах возникновения Зольского восстания и о его последствиях, Кулибин подробно описал, как бедно живут аюбейцы, какой политический, экономический произвол чинит над ними старшина, как шантажирует их. Особо упомянул про клятву, взятую Бороковым с Каздохова.

Письмо, адресованное Нестерову, заканчивалось словами:

«...от всего этого кровь стынет в жилах, а ум мрачнеет. Слезно умоляю: используйте свои родственные и иные связи и заступитесь за крестьян».

Запечатав конверт, Кулибин прошелся по комнате, снял со стены гитару. Длинными пальцами тронул струны, они зазвенели сначала тихо, потом громче. Запел:

Товарищ, товарищ, сокроемся с очей,
Где нет рук коварных, где нет палачей,
С тобой улетим мы, где есть светлый рай,
Где красное знамя, свободный где край...

Слабый рассвет разливался по комнате. Влажный утренний воздух был мутноват, точно весенний горный поток, но дышалось легко и свободно.

4

Правителя Большой и Малой Кабарды и пяти горских обществ в Нальчике не оказалось, он отбыл во Владикавказ. Адальбий сообщил об этом отцу, и Бороков отложил поездку.

Кулибина эта весть обрадовала. Он вручил прошение крестьян и свое письмо Мурату Кабардову и отправил его во Владикавказ.

Нельзя сказать, что Вадим Геннадиевич Нестеров, юрист, секретарь суда, был приятелем Кулибина, его другом. Скорее всего они были просто знакомыми. Несмотря на разницу в положении, Михаил Петрович иной раз ловил себя на том, что любуется Нестеровым. Это был высокий красивый мужчина тридцати семи лет с золотистыми усами, тщательно подстриженной бородкой, с чуть наметившимся брюшком.

Голубые, с доброй искоркой глаза, внимательно смотревшие на собеседника, делали его особенно приятным, а высокий и ясный, хотя и несколько бледный лоб свидетельствовал об уме.

Одевался Вадим Геннадиевич со вкусом, по последней моде. Темно-синий костюм, ослепительная сорочка с тугим воротничком, галстук, небрежно схваченный золотой булавкой. В лакированные туфли можно было смотреться, как в зеркало, а высокий матово-черный цилиндр, казалось, только что выпорхнул из лондонского магазина. Легкая трость была изящно инкрустирована перламутром с серебряной насечкой.

Вадима Геннадиевича справедливо ценили не только за образованность и воспитанность, но и считали человеком широкой души, добряком и правдолюбом. На судебном процессе по делу об участниках Зольского восстания он многое сделал для спасения аюбейцев. Именно ему, а не Борокову обязаны были своим освобождением и Исмел Шогемоков, и Музачир Сохов, и Шахбан Каздохов, и другие крестьяне. После процесса он с неудовольствием говорил Кулибину, которого приглашали в суд как переводчика:

— Думал, что сумею спасти еще многих. Но доносы и показания Борокова сильно испортили все. Ты видел, с какой радостью ухватились за эти бумажки судейские крючки?

Кулибин знал, что если Нестеров захочет, он использует влияние своего высокопоставленного дяди, и Бороковых призовут к порядку, что облегчит положение крестьян, а Шогемоковых не будут преследовать. Поэтому и направил к нему во Владикавказ Мурата Кабардова.

Точно по незнакомым горным ущельям, блуждал Мурат по улицам города в поисках Нестерова. Когда совсем выбился из сил, решил нанять пролетку.

Оказалось — совсем рядом. Извозчик, ухмыльнувшись, ткнул кнутовищем в сторону парадной двери с начищенной до блеска медной пластинкой. Прочесть, что на ней написано, Мурат сразу не мог.

Остановился у дверей и, водя пальцем по пластинке, прошептал: «Нестеров». Значит, все правильно. Он потянул к себе дверную ручку. Дверь была заперта. Мурат постучал сначала тихонько, потом изо всей силы кулаком. Прислушался. Никто не отзывался. «А что, если дома нет? Уехал совсем?» Кабардов не хотел и думать об этом. Повернулся спиной и стал колотить в дверь каблуком сапога.

Дверь внезапно распахнулась, и Мурат чуть не упал. Перед ним стояла толстая пожилая женщина в белом переднике, с косынкой на голове. Она приложила палец к губам и покачала головой.

— Барин отдыхает, а вы грохочете. Нешто так можно?

Дверь снова плотно закрылась, щелкнул замок.

«Гость пришел, а хозяин спит. Разговаривать не хочет. И хозяйка не хочет разговаривать».

Кабардов обиделся. Впервые в жизни он встречался с таким порядком. Он отошел от дверей, прислонился к чинаре и стал ждать. «Проснется — пригласит». Минул час, другой, дверь не открывалась. Мурат снова постучал, но на этот раз легонько.

Та же квадратная женщина в фартуке впустила его, провела в кабинет, приказав ожидать барина.

Еще в детстве, слушая заунывные проповеди муллы, Мурат часто закрывал глаза и представлял себе рай. Теперь кабинет Нестерова казался ему райским уголком. Ковры, много дорогих

ковров на стенах и на полу. Обитые красным плюшем кресла, большой удобный диван, полированный стол с бумагами и много цветов.

В коридоре раздались шаги. Мурат застыл, как надгробный камень. «Сейчас! Сейчас покажется он сам!»

Вошел Нестеров, по-домашнему расчесывая усы и бороду маленьким гребешком.

Кабардов шагнул вперед, покрутил рукой у рукояти кинжала, чуть поклонился и почтительно произнес:

— Здрасту!

Вадим Геннадиевич, не останавливаясь, прошел к глубокому креслу, сел, закинув ногу на ногу. Дунул на лацканы пиджака, положил холеные руки на подлокотники и окинул взглядом Кабардова. Но тут же повернулся к столу, достал из коробки длинную папиросу и закурил. С удовольствием затянулся и ловко выстрелил кольцом дыма в потолок. Теперь уже внимательно посмотрел на гостя, в добрых глазах затеплилась улыбка.

— Что у вас? Чем могу быть вам полезен?

Мурат почувствовал, что забыл даже те немногие русские слова, которыми владел. Он пошарил рукой под черкеской, достал два пакета и, протягивая их Нестерову, коротко сказал:

— Привоз.

Нестеров отрезал ножницами край конверта и стал читать. «Лицо как у святого,— с восхищением рассматривал хозяина Мурат.— Если бы он не был гяуром, он стал бы настоящим святым, помощником пророка... Конечно, он поможет столкнуть Борокова в яму, одернет богачей Каноковых и Альботовых, а Шогемоковых спасет. Весь Аюбей вздохнет свободно».

Читая письмо, Нестеров хмурил лоб, щеки его наливались румянцем. «Ну и подлец!» — время от времени произносил он, узнавая о новых бороковских проделках. Ему, как заправскому охотнику, хотелось догнать и разоблачить этого старшину-держиморду. Увлеченный новым аюбейским делом, Вадим Геннадиевич забыл о ходоке. А тот все стоял, выдерживая кавказский этикет, стоял подтянутый, стройный, как стоит солдат перед генералом по команде «смирно».

«Хорош,— внезапно подумал Нестеров, подняв голову.— Очень живые карие глаза, открытое лицо, нос как у древних греков... Мне б такую широкую грудь и тонкую талию. Тогда черкеску, папаху — и чем не лихой джигит!»

— Извините, что не предложил вам сесть,— развел руками Нестеров.— Шпад, как говорят осетины. А как по-кабардински?

— Тыс,— ответил Мурат.

— Тыс, уважаемый, прошу.

Кабардов отрицательно покачал головой.

Вадим Геннадиевич встал, взял Мурата за плечи и опустил в глубокое мягкое кресло напротив себя. Снова взял папиросу, под потолок полетели кольца дыма.

— Согласен, вполне согласен, что у вашего трехглавого дракона надо отсечь хотя бы две головы.

Кабардов не понял быстро произнесенной русской фразы и подался вперед, вглядываясь в Нестерова. Но тот был увлечен новыми кольцами дыма. Теперь он выдувал их вниз, стараясь нанизать на оттянутый лакированный носок.

«Какой счастливец! Что ни делает, что ни говорит — все красиво, все — удовольствие,— с завистью подумал Мурат.— Загадаю. Если попадет на ботинок пять колец — выиграно наше дело».

Четыре кольца одно за другим плавно опустились на носок, пятое растаяло в воздухе, прежде чем приблизилось к ноге.

Вадим Геннадиевич рассмеялся и отшвырнул окурок.

— Ну, теперь о деле. Расскажите, как у вас в селении? Что поделывает Бороков?

— Русскэ не знай,— вздохнул Кабардов.

Нестеров ударил ладонями по коленям, встал с кресла.

— Плохо, джигит, что не знаете русского языка.

— Сэвсем плохо,— согласился Мурат.

— Ну ладно... Марфа! Накорми, пожалуйста, гостя.

Мурат благодарил, отказывался, упирался, но квадратная женщина потащила его на кухню. Он сел за стол, выпил рюмку водки и закусил хлебом. Борща и котлет есть не стал.

— Дохлэ, сэмсем дохлэ, раз гяур резал.

— Какое дохлое? — обиделась кухарка.— У вашего покупала на базаре, у Сулеймана.

Но Кабардов от мясного отказался наотрез.

— Нешто мужику можно без мяса,— заохала добрая женщина и подала яичницу с помидорами.

Вадим Геннадиевич прохаживался по кабинету.

— Итак, с чего начнем? — вслух спросил он сам себя и задумался. Подошел к окну, поправил вазу с нарциссами. Только сейчас он вспомнил о правителе Кабарды, с которым вчера распивал шампанское в ресторане, обменивался дружескими тостами.

«Милейший человек. Гостеприимен, любезен. Говорят, что знаток и любитель лошадей. Поставил на научную основу кабардинское коневодство...»

Когда Нестеров читал письмо, он настолько был увлечен аюбейскими делами, что и не подумал о Клишбиеве. Теперь мысль о полковнике спутала все карты.

«Объявить во всеуслышание, что Клишбиеву преподносят коня как взятку? Нет, это невозможно».

Когда покрасневший Мурат вернулся из кухни в кабинет, Вадим Геннадиевич продолжал задумчиво барабанить пальцами по стеклу. Обернулся, заметил Мурата и сказал уже без прежней решительности:

— Изучим дело. Надо обдумать, что предпринять.

Мурат почувствовал, что настроение хозяина изменилось, и забеспокоился. Умоляюще посмотрел на Нестерова.

Вадим Геннадиевич подошел к нему и положил руку на плечо.

— Пусть Бороков дарит ему коня, пусть. Но мы отрубим хищные руки вашего старосты. Отрубим. Так и передайте своим односельчанам и господину Кулибину... Есть у меня одна мысль.

Глаза его заискрились, и он снова хлопнул Кабардова по плечу.

Мурат не понял всех слов, но уловил их бодрый тон, обрадовался. Приложил правую руку к сердцу, поклонился.

— Спасивэ, очым спасивэ!.. Совсем ваш хорош шеловек.

«Значит, поступим так,— продолжал размышлять Нестеров.— Начальнику области жалобу аюбейских крестьян не вручать. Изложить ее содержание Клишбиеву. Пусть сам проучит Борокова, тогда и крестьяне вздохнут спокойно, и Шогемоковых власти не станут преследовать».

Вадим Геннадиевич сел за стол и начал писать. Вложил в конверт письмо и деньги, присланные аюбейцами как гонорар. Протянул все Кабардову.

— Можете ехать, джигит. Ваши деньги мне не нужны. Буду помогать не за деньги, а по совести.

Мурат с удивлением смотрел, как Нестеров стал пощипывать рукава своего костюма, фалды. Зоркий взгляд кабардинца увидел еле заметную пушинку.

«Да, святой,— убежденно подумал он.— К такому ни одна пылинка не пристанет».

Мурат достойно попрощался с хозяином и, задевая каблуками мягкий ковер, попятился к двери. У дверей еще раз поклонился и вышел на улицу.

С радостными вестями надо спешить, и Мурат заторопился к вокзалу, чтобы с первым же поездом вернуться в Аюбей.

Гостиница «Европа», где остановился полковник Клишбиев, была в двух кварталах от дома Нестерова, и Вадим Геннадиевич направился туда пешком. Он шел легко, постукивая тростью, и улыбался. Маленький розыгрыш. Вот он входит к полковнику, здоровается, поздравляет. Клишбиев, естественно, удивлен. «Как? Разве вы, любитель и знаток, не хотите получить в подарок первоклассного коня?» — «Какого коня? Я ничего не понимаю». И тут надо подмигнуть по-свойски и сказать: «Как только вы вернетесь в Нальчик, господин полковник, к вам приведут сказочного коня. Отличная сбруя, на правой ляжке тавро «Б». Хотите пари?»

Сначала разыграть правителя Кабарды, а потом выложить ему суть бороковской затеи. По-дружески предупредить его высокоблагородие, чтобы не доверял хитрой лисе Борокову, который ради своей выгоды может предать и односельчан и начальство.

Мурат вернулся в Аюбей радостный. Бросился к Кулибину.

— Такой красивый, такой благородный твой защитник. Обещал снести голову с Борокова и бросить в седьмое подземелье. Ангел, а не человек.

Михаил Петрович хорошо знал манеры Нестерова и незаметно усмехнулся. Распечатал письмо и, увидев возвращенные деньги, сразу понял, что особых надежд нет. Стал читать.

Вадим Геннадиевич писал, что война между Россией и Германией наложила на все свой отпечаток, и поэтому очень трудно продвигать любое политическое дело, хотя он всецело на стороне горцев.

«Так-так... Выходит, трусим, господин Нестеров»,— невесело подумал Кулибин, бегло пробегая вступительные строки. Дальше шло о существе дела. «Зная резко отрицательное отношение его превосходительства начальника области ко всем прямым и косвенным участникам крстьянских беспорядков в 1913 году, я решил, благоразумия ради, не передавать ему прошения опекаемых вами крестьян. Что же касается суда, то дело это совершенно безнадежное. Вашего сельского старшину нельзя обвинить в уголовно наказуемых деяниях, за которые можно было бы привлечь его к судебной ответственности. И все-таки я предприму кое-какие обходные маневры. Господин Клишбиев здесь. Уверен, что он обрубит лапы хищнику и не примет взятки — верхового коня. Гонорар мне не нужен. Сделаю все возможное из уважения к вам и ради крестьян-горцев».

— Хорошо написал? — с нетерпением спросил Мурат.

«Вот, все они такие, либералы,— подумал Кулибин.— Лебезят перед власть имущими. Сначала: «Сделайте, если можно». Потом: «Если этого нельзя, сделайте то, что находите возможным». А после решительного отказа — заискивают, чуть ли не на животе ползают перед сильными мира сего».

— Ну, как тебе сказать, Мурат?.. Нестеров похож на красивый чурек, румяный, мягкий, но лишенный всякого вкуса. Он, как породистый конь, который разучился скакать. Понимаешь?

Мурат не мог согласиться с Кулибиным, с недоверием посмотрел на своего квартиранта.

Михаил Петрович задумался. Снял с гвоздя гитару и долго держал ее в руках, продолжая размышлять. Потом тихо запел:

Сильный жандармами,
Гордый казармами,
Царствуй на страх сынам
Руси бесправной,
Царь православный...
Время настанет.
Солнце проглянет —
Разбудит борцов...

Кулибин пел, еле шевеля губами. Задумчивый взгляд его был где-то далеко-далеко.

Едва первые солнечные лучи коснулись запыленной листвы слободских садов, в Нальчик въехали два всадника. Они спешились в переулке, недалеко от окружного правления, привязали лошадей к забору.

— Здесь подождешь,— сказал Туган сыну.

Идти к правителю было рано, Нальчик только начинал просыпаться, и аюбейский старшина направился в парк, расположенный рядом с резиденцией Клишбиева.

Тихо было в парке и по-утреннему свежо. Желтели посыпанные чистым песком дорожки, а с высоты, где сплетались ветвями могучие кроны, доносился птичий щебет.

Заложив руки за спину, Бороков шагал по аллее. Походка его была неторопливой, мягкий, свежий песок поскрипывал под ногами. Он дошел до конца аллеи, повернулся. Во всю длину уходившей вдаль дорожки четко и явственно отпечатались следы...

Долго ходил, вышагивал старшина, тщательно обдумывая разговор с правителем.

Повернув в сторону реального училища, Бороков еще издали увидел Клишбиева. Высокий, черноусый, в щегольской форме драгунского офицера, тот лихо, как на параде, печатал уверенный шаг. По мерному скрипу сапог можно было проверить секундную стрелку часов, сапогам вторил звон шпор, подпевали колесики на конце шашки... «Драгун бежит — земля дрожит»,— вспомнил Бороков. Он отступил в гущу кустарника, не осмеливаясь остановить правителя.

Выждав немного, Бороков вошел в здание окружного правления, поздоровался. На почтительное «салам алейкум» полковник ответил холодно. Недобрыми глазами посмотрел на старшину, буркнул: «Садись».

«Не в духе, не в духе правитель. Ой, в неурочный час пришел... Может, главный разговор отложить?»

— Слушаю! — буркнул полковник и точно выстрелил злым взглядом.

От неожиданности у Тугана вылетели из головы тщательно подготовленные и обдуманные фразы. Покраснев и заикаясь, торопливо проговорил:

— Те самые Шогемоковы, которые погнали тебя, правителя всей Кабарды, во время Зольского восстания, недавно убили моего младшего брата и... и...

Туган глотнул воздух и смолк.

«Что я наделал? «Погнали...» Да разве можно говорить ему такое слово?»

Клишбиев нахмурился, поерзал в кресле. Потом поднялся и, немного нагнув голову, уставился на старшину, точно хотел боднуть его.

Совсем разволновавшись, Бороков уже не мог исправить своей бестактности, не мог больше вообще произнести хоть слово. Он протянул прошение.

Клишбиев мельком пробежал бумагу и отложил ее в сторону. Нагнулся к столу, охватил его края руками. Покрытый зеленым сукном стол был огромен, и Борокову показалось, что правитель стал еще выше и сильнее, руки удлинились...

«Вот сейчас оторвет крышку стола и ударит».

Но полковник, прищурившись, произнес очень тихо, даже ласково:

— Не ты ли, Туган Бороков, склонял к бунту и Шогемоковых и всех остальных?

«Плохо дело»,— понял Туган и опустил голову.

— Отвечай! — крикнул полковник.

— Это не совсем так, мой господин. Верно, была ошибка, каялся я... Аллах и то прощает. Если бы и ты...— Он помялся, проглотил слюну.— В твоих руках я. Можешь казнить, можешь миловать. Все приму с благодарностью... Только прикажи, куда отвести коня. В дар тебе привел.

Клишбиев чуть улыбнулся. Взмахнул звонком и весело сказал вбежавшему секретарю:

— Вот, осчастливил нас старшина. Привел в подарок коня. Вызови командира стражников. Он понимает толк в лошадях.

Бороков с облегчением вздохнул.

— Не знаю, понравится тебе или нет, господин правитель, только конь — первый сорт. Чистой кабардинской крови. Призы брал на скачках.

— Ну, пойдем посмотрим.

Туган проворно вскочил, кинулся к двери и пропустил вперед правителя. Уже в саду их догнали командир стражников и секретарь.

Три оседланные лошади стояли под тутовым деревом, привязанные к забору. Клишбиев сразу увидел Красавца. Маленькая сухая голова, длинная шея, тонкие, как у балерины, ноги. «Конь — чудо»,— отметил полковник. И в это время Красавец откинул голову, повел атласными ушами, нетерпеливо стал бить копытом. Искрилась и слепила солнцем глаза дорогая сбруя.

— Вот он,— не скрывая радости, показал Бороков.

— Ну что ж,— сказал Клишбиев и резко повернулся к командиру отряда стражников.— Взяток я не беру. Лошадь возьмите в отряд. А Борокова, который хотел подкупить меня, арестовать. И немедленно отвести в тюрьму.

Командир отряда не верил своим ушам. «Шутит, наверное, полковник».

— Исполняйте приказание,— крикнул Клишбиев и направился к правлению.

Бороков, сжимая кулаки, дрожал от обиды и гнева.

Подбежал Адальбий, догнал правителя.

— За что, господин полковник?

Клишбиев остановился, окинул взглядом юношу в форме уче-

ника реального училища и сказал подчеркнуто громко, чтобы слышали прохожие:

— Чтобы и тебя научить. Чтобы не брал взяток, когда закончишь учение и станешь служить. Понял?

Понурив голову, шел Бороков с командиром стражников мимо окружного правления. «О всемогущий аллах, как я благодарен тебе! По случаю траура не дал ты мне оружия. Иначе пролилась бы кровь в саду... Только знай, Клишбиев, с камнем встретишься, который перед собой бросил. А я — не камень». Бороков остановился и еще раз посмотрел мутным взглядом в сторону правления.

«За что? За что?! — мысленно повторял он, вышагивая по каменному полу неожиданной клетки.— Неужели из-за коня? Чепуха, взятки все берут... А если за участие в восстании? Тогда дело худо».

Долго старшина ходил из угла в угол одиночки, устал. Сел на табуретку, прислонил грузное, разгоряченное тело к холодной стене. И не заметил, что говорит вслух:

— Если на ногах стоишь, отбивайся. Лежишь — проси пощады... Если бы мое счастье вызволило меня отсюда... А пока лежу... Лежу, затоптанный Клишбиевым.

Туган не был богомольным человеком. Но с наступлением сумерек постучал в дверь, попросил кумган и таз. Совершил омовение перед вечерним намазом. Потом, аккуратно расстелив черкеску на полу, опустился на колени. Долго молился, сгибался в поклонах аллаху, смиренно прикладывая руки к ушам и животу. А когда кончил шептать священные слова, остался в раздумье сидеть на черкеске. Просто, по-человечески, как обращаются к хорошему другу, стал просить бога: «Великий аллах, не делай меня человеком, не имеющим врагов. Воистину, таким ты меня не сотворил и за это благодарю. Но и дела мои не оберни так, как хочется того врагам моим».

Много думал Бороков в тюрьме и не только о причинах ареста. Вспоминал родной Аюбей, родственников, односельчан. «Может, помягче надо держаться с людьми? Кое в чем и уступить иной раз...» И тут же отвергал подобные мысли: «Дрогнувшую и побежавшую собаку начнет преследовать вся свора. Недаром говорится: если родная мать решила тебя побороть — не давайся!»

И, еще более ожесточившись, Бороков каждое утро подходил к маленькому тюремному оконцу, ожидая решения своей участи.

Верно говорят в народе, что копыто коровы никогда не убивает своего теленка. И недели не провел в тюрьме старшина, как выяснилось, что его отпускают домой.

Утром того дня, когда Борокова должны были освободить из-под ареста, в Нальчик въехал юноша в белой черкеске, на белом коне. Он спешился, привязал коня к пирамидальному тополю недалеко от тюрьмы и направился к воротам.

— Достопочтенный,— обратился юноша к стражнику,— не знаешь ли ты, когда освободят моего отца, старшину села Аюбей?

Разомлевший от зноя караульный с интересом оглядел юношу. «Красивый сын у старшины. И совсем непохож на отца. В мать, наверное. Стройный, ловкий. Джигит».

Караульный выразил сочувствие юноше, стал подробно рассказывать о том, что Бороков в первые дни почти не притрагивался к еде, много молился.

— Да, мой дорогой, если наш правитель осерчал на тебя, считай, что аллах гневается. Грозен и беспощаден. Зато справедлив. Так и на этот раз...

«Вот разошелся, не остановишь»,— с неудовольствием подумал юноша и снова повторил свой вопрос.

— В обед выпустят твоего отца, в обед. Если хочешь — подожди. Вместе поедете.

— Нет, я потом. Ждать не могу. Тороплюсь... Долгих лет жизни тебе и твоей службе, достопочтенный.

Он возвратился к лошади, отвязал ее и повел в поводу к Воронцовской улице. Примерно через полчаса юноша вернулся, но уже без коня. Стал между двумя тополями, зорко поглядывая в сторону тюрьмы.

Часа два он простоял, не двигаясь. Солнце было уже в зените, когда у тюремных ворот показался Бороков. Юноша плотнее прижался к тополю.

Бледный и осунувшийся Туган Бороков щурился от яркого солнца. Губы его шептали благодарственную молитву. Он снял черкеску, стряхнул, размеренным шагом направился в сторону окружного правления. Казалось, он ступает точно в собственный след, который оставил несколько дней назад.

Спрятавшись за широким стволом, юноша пропустил Борокова и пошел за ним в отдалении. Когда старшина поднялся на крыльцо, юноша повернул на Воронцовскую улицу. Там он остановился за углом дома, не отводя глаз от входа в резиденцию начальника округа.

Клишбиев отказался принять Борокова.

— Передайте тому, кто стоит у моих дверей,— сказал он секретарю,— что царский полковник не продает свою честь за лошадь. И добавьте, что мы еще вернемся к разговору о зачинщиках крестьянского бунта.

Этого Бороков опасался больше всего. Едва дослушав секретаря, он торопливо покинул здание. Направляясь в Нальчик, Бороков предполагал после разговора с Клишбиевым заняться торговыми делами. Теперь было не до них.

Подойдя к Адальбию, который ожидал невдалеке с оседланными лошадьми, Туган даже не поздоровался. Спросил мрачно:

— Мать или кто другой знает, что я был арестован?

— Никто ничего не знает.

Юноша в белой черкеске, который отрекомендовался караульному сыном старшины, заранее перешел на другую сторону переулка и внимательно наблюдал за Бороковыми.

У слова нет ног, но иногда оно мчится быстрее скакуна. Весть об аресте Борокова и скором его освобождении долетела до балкарского селения Дальнее. «Жаль, отец не успеет. Какой случай осрамить кровника!» — с сожалением подумал Зрамук и решил действовать сам. Новый друг, избалованный, но по-кавказски щедрый Кайсын Жантуев, снабдил его своим снаряжением, дал белого скакуна. Неузнаваемо преобразившийся, въехал Зрамук в Нальчик и теперь следовал за Бороковыми по пятам.

Туган с сыном тронули коней и направились вниз, к руслу реки Нальчик. Борокову не хотелось ехать по дороге. Версты три цокали копыта по каменистому речному ложу, потом всадники свернули к лесной тропе, ведущей к Аюбею.

Зрамук Шогемоков заметил, что оба кровника, по случаю траура, без оружия. Ему хотелось, чтобы они ехали быстрее, быстрее оказались в глухом лесу. Но те не торопились, и юноша осаживал нетерпеливого, горячего коня.

Молча ехали Бороковы. Молчал отец, молчал сын.

Неожиданно Туган повернул голову к сыну, заговорил, задыхаясь от гнева:

— Ты уже взрослый, Адальбий. Учишься, становишься образованным. Это — хорошо... Рано мне делать завещание, но все-таки я завещаю тебе... Не прощать, ни за что не прощать клишбиевского оскорбления. Не сможешь лично ему отомстить — отомстишь сыну. Сын не попадется — полосни по сердцу внука, чтобы заплакал проклятый род кровавыми слезами.

Впервые говорил так Туган с сыном, и Адальбий чувствовал, как гневная сила отца передается ему. «Нет, не потом, не после смерти отца, а теперь, теперь...» Он приподнялся на стременах и хотел выхватить кинжал. Рука сжала воздух, Адальбий вспомнил, что траур еще не кончился.

— Может, мне вернуться в Нальчик, отец? Разузнать, что затевает против тебя Клишбиев?

«Вот молодец! Сын, достойный отца... Правда, задача не из легких. Справится ли?»

Точно читая мысли в глазах отца, Адальбий продолжал:

— Всего, может, не узнаю, но кое-что смогу. Расспрошу своих друзей, княжеских сыновей, они часто у него бывают...

Адальбий не договорил, что он больше рассчитывает не на княжеских сынков, а на свояченицу Клишбиева, за которой пытался ухаживать.

Молодой Шогемоков увидел, как старшина положил руку на плечо сына. Тот пришпорил коня и поскакал обратно. Зрамук осадил скакуна в кусты и погладил рукоятку пистолета. Нет, главный не этот. Главный был Туган, который медленно углублялся в лес.

Вороной не понимал хозяина, который все время его сдерживал, не давал мчаться к родному дому. Словно кто чужой сидел в седле, тяжелый и неловкий. А Борокову просто не хотелось засветло возвращаться в Аюбей. Теперь, когда сын ускакал, Туган особенно остро почувствовал одиночество. «Кто встанет рядом со мной, кто поможет мне, кроме сына? Никто. Даже на родственников нельзя положиться. Начнет Клишбиев новый допрос о зольских делах, все односельчане покажут против меня. Да, почти все».

Сзади послышался лошадиный топот. «Адальбий?» Бороков оглянулся. На разгоряченном белом коне скакал всадник с закутанной в башлык головой. «Видать, не с добрыми намерениями...» Туган сдавил вороного коленями, натянул поводья. Правая рука стала искать пистолет, но пистолета не было. «Исмел!» — сверкнула мысль.

Белая лошадь с белым всадником приближалась.

Можно было пришпорить коня и ускакать. Не станет же Шогемоков убивать безоружного. Сохранивший силы вороной, казалось, только и ждал этого. «Нет,— скрипнул зубами Туган.— Бороковы не трусы».

На случай, если преследователь навяжет конную схватку, он занял левую сторону дороги и укрепился в седле.

Самое выгодное было остановиться и встретиться с белым всадником лицом к лицу. «А если он преследует не меня? Тогда — позора не оберешься».

Ему почудился свист сабли над головой, за которым следует удар, рассекающий человека пополам. Неимоверным усилием воли Туган заставил себя не оглядываться, не пригибаться.

Храп коня раздался над самым ухом. Зрамук сорвал шапку с Борокова и, размахивая ею над головой, поскакал дальше.

Такого оскорбления Туган не ожидал. «Да что же я ему, мальчишка, что ли?!» Он готов был снести тяжелое ранение шашкой, любую драку, только не это. Все же Бороков нашел в себе силы сдержаться и не погнался за оскорбителем.

А тот, отъехав совсем недалеко, гарцевал на одном месте, то размахивая шапкой, то подкидывая ее, словно приглашая к погоне. Убедившись, что Бороков не преследует его, Зрамук повернул обратно. На всем скаку он подбросил шапку и прострелил ее макушку. Потом поймал, швырнул хозяину.

Сдерживая разгоряченного коня, молодой Шогемоков ехал шагом, подчеркнуто медленно. Давай, мол, старшина, догони меня, расправься. Или ты не мужчина?

И это стерпел Бороков. Не бросился за оскорбителем, не схватил его за горло. «Сотру с лица земли обоих: и отца и сына... Не спрячутся за белым башлыком»,— обдумывал планы мести старшина.

«Кто с умом и выдержкой — тот и на арбе догонит и поймает зайца».

Туган старательно заломил простреленное место шапки и ослабил поводья. Вороной заржал, вынес хозяина из леса навстречу терявшемуся в сумерках Аюбею.

5

Долгое отсутствие Тугана Борокова в селении никому не бросилось в глаза. Он и раньше задерживался в Нальчике по торговым делам. Но люди все же узнали, что старшина был арестован правителем и сидел в тюрьме.

«Неплохо, если бы услышало все селение»,— подумал Кулибин и сказал об этом Кабардову.

Как же сделать? Как пустить новость по селу? Конечно, лучшего глашатая, чем Мухамед-эфенди, не найти. И Михаил Петрович с Муратом попросили Музачира Сохова шепнуть об этом мулле.

Как только Сохов рассказал о случившемся, Мухамед-эфенди просветлел, глаза его заблестели. «Великий аллах, благодарю»,— мысленно произнес он и хотел уже радостно потереть руки, но спохватился. Закатил глаза, нахмурился, покачал головой.

— Ах, какая неприятность случилась с таким уважаемым человеком! Жаль, очень жаль.

И тотчас заработал беспроволочный аюбейский телеграф. Встречаясь с кем-либо, мулла шептал:

— Таким образом, значит, прошу, чтобы это было между нами. Говорят, что Клишбиев держал в тюрьме нашего старшину. Не знаешь, верно ли это?

Едва в Аюбей пришла весть об аресте Борокова, как ее догнала новая. И опять Мухамед-эфенди подлил масла в огонь.

— Простреленная макушка папахи, таким образом, значит, метка клятвопреступника... Только плохо верится мне, чтобы кто-нибудь мог осмелиться так опозорить старшину. А с другой стороны, таким образом, значит, я часто вижу Борокова. Заметил, что не носит он любимую золотистую папаху... Может, ты, дорогой, знаешь, в чем дело?

Бороков старался разведать, кто треплет его имя по Аюбею, но так и не смог выяснить. Правда, многие называли муллу, но добавляли при этом, что Мухамед-эфенди спрашивал лишь подтверждения слуха.

«Хитрая лисица,— с ненавистью сжимал кулаки Туган.— Ну, погоди же у меня».

Бороковский род продолжал жить в трауре. Мужчины не брились, не подпоясывали черкесок. Ходили заросшие, как медведи, с мрачной тоской в глазах. Никто не узнал бы в них лихих джигитов, всегда подтянутых, ловких. Осунулись и постарели женщины. Пролившие столько слез, они ходили в темных платьях, пряча

за черными платками сухие, воспаленные глаза, глубокие борозды преждевременных морщин.

К сороковому дню начали готовить поминки. Кто-то из родственников заикнулся было о Мухамеде-эфенди, чтобы прочел молитву над приносимым в жертву волом. Туган махнул рукой, точно отрезал:

— Не нужен нам этот мулла, который, как седло на жирной лошади, скользит то туда, то сюда, не держится на месте. И не настаивайте, понятно? Позовем помощника муллы.

Поминки справили богатые, чуть ли не весь Аюбей побывал у Бороковых. Много было и приезжих.

Оскорбленный мулла повторял:

— Пусть Бороковы не думают, что мы не понимаем. Мы понимаем, что к чему.

Глухие угрозы Мухамеда-эфенди дошли до Тугана, но он отмахнулся от них, словно от назойливой мухи. Другие думы занимали старшину. Если правитель сгоряча арестовал, а потом выпустил из тюрьмы, то это неплохой знак. Значит, рано или поздно власти займутся его прошением, а может, и поимкой Шогемоковых.

Проходили недели, но из Нальчика не было утешительных вестей. Те же сведения, что удалось узнать Адальбию, лишь повторяли прежние клишбиевские угрозы.

Аюбей с презрением смотрел теперь на Бороковых. Семейство трусов, испуганные зайцы, мужчины без усов — каких только оскорбительных прозвищ не слышалось почти у каждого дома. Людской ропот, несмытая кровь брата и жажда мести раззадоривали и озлобляли бороковских мужчин. Надо было что-то предпринимать, и Туган решил созвать весь свой род на совет.

Старейший сидел на тахте, покрытой большим, свисающим со стены ковром. Мясистые пальцы его покоились на коленях. Туган, задумавшись, смотрел в пол. Не хотел встречаться взглядами с родственниками, пока не обдумает, не решит.

Широкая и длинная тахта могла поместить еще троих или четверых. Но из уважения к старейшине рода никто не сел рядом с ним. Старшие разместились на низких скамейках и тоже опустили головы, думали.

Молодая поросль бороковского рода держалась у дверей: юноши стояли, стройные и гибкие, сжимали рукоятки кинжалов, не сводя глаз со старших, готовые выполнить любое их приказание.

Туган прищурился и хлопнул себя по коленям. Поднял голову, решительным взглядом оглядел родичей.

— Да. Господин правитель и его свора бывают любезны. Но только когда мы им нужны. Поэтому нельзя надеяться, что они отомстят за нашу кровь.

Мужчины медленно переглянулись, потом покорно посмотрели на Тугана. «Мы знаем это. Только вспомни, что говорил сам, ко-

гда мы побежали громить Шогемоковых». Но никто не осмелился произнести этого вслух.

— Клянусь святым именем аллаха, что до тех пор, пока не отомщу за нашу кровь, не успокоюсь.

Это произнес один из старших, двоюродный брат Тугана. Поднялся другой, третий... Каждый был готов принять на себя страшную кару, если не сумеет пролить кровь Шогемоковых. «Пусть мне выколют глаза...», «Пусть переломают ноги...» — слышалось с разных сторон.

Адальбий стоял у дверей, нервно поводя плечами. Юнцу не полагалось слова, таков был обычай. Но в своем роду Адальбий занимал особое положение, как образованный человек. Отец взглянул на сына и кивнул головой.

Адальбий рванулся к середине комнаты и, схватив кинжал за рукоять, замер. Устремил горящие глаза в потолок.

— Клянусь! Небом клянусь и землей клянусь, именем родного дяди клянусь! Не щадя себя, до последнего дыхания буду бороться, пока не сотру с лица земли проклятый шогемоковский род.

Сдвинув брови, старейшина рода смотрел мимо Адальбия, в окно. Он был недоволен. Одни голые клятвы, никто не предложил ничего умного, дельного. В сорок превратились сородичи, не на кого опереться.

— Обидно мне, младшие братья, что вперед не смотрите и думать не хотите. Что — Шогемоковы? Жалкие обреченные люди. Ни рода, ни кола ни двора у них нет. А вы хотите, чтобы их убить, отдать свои жизни. Нет, не выгодно это нам, да и не нужно. Еще раз говорю: сохранить честь, уничтожить кровников, но не терять никого из нашего рода. Понятно, ы-ы?

Туган говорил это и раньше. Но хотя уже много времени прошло со дня убийства Болата, ничья рука не отомстила за его кровь. Поэтому родственники с недоверием отнеслись к словам старейшего, но опять промолчали. Договорились разослать наемников, чтобы обнаружить Шогемоковых и убить.

Туган никогда не посвящал женщин в мужские дела. Не делал исключения ни для жены, ни для дочери. Но Жангуаша случайно узнала о принятом решении. Забеспокоилось чуткое женское сердце, тревожно забилось. Непонятная слабость овладела ею, она присела на край тахты. И тут же поднялась, стала ходить из комнаты в комнату. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, начала переставлять скамейки, потянулась к черкеске и золотистой папахе мужа, почистить, выбить пыль... Тонкий женский палец зацепился за дырку в папахе.

— Ой, горе злосчастное! Что это такое, кто мог сделать это, свет моих очей?

Плача, Жангуаша побежала к Тугану. Он вырвал у нее простреленную папаху, отпер сундук и аккуратно положил туда.

— Закрой рот, жена! И не вмешивайся в мужские дела. Сколько раз тебе говорить?

Лязгнул два раза замок, точно сторожевой пес, признавший хозяина.

Покорным, умоляющим взглядом смотрела Жангуаша на мужа. Крупные, как горошины, слезы катились по щекам.

«Зачем это я так? Что она сделала мне плохого?» — подумал Туган. Он подошел к ней, ласково похлопал по плечу.

— Не горюй, не убивайся. Бороковы крепки и сильны. Врагам не одолеть нашего рода.

— Один тоже надеялся на счастье и погиб. Что же дальше будет?

— Ы-ы! — снова рассердился Туган.— Хватит выть! Вытри глаза.

На кухне Жангуаша прислонилась к дверному косяку и дала волю слезам. Прибежала Жанэт, прижалась к матери, ладошками вытирала ее слезы, успокаивала. Как тополь под порывами сильного ветра, раскачивалась бедная женщина, била себя кулаками. Задыхаясь и глотая слезы, она рассказывала о пробитой папахе, о тайных наемниках, посланных для убийства Шогемоковых, просила аллаха сжалиться над обоими родами и не губить никого.

Только сейчас она увидела возле себя дочь, увидела, как две слезинки покатились по щекам Жанэт.

— Иди, иди, милая, куда-нибудь. Ой, худо будет, если отец узнает о моих разговорах...

Жанэт облизнула солоноватые губы. Еще раз прижалась к матери, погладила ее. Загремел тяжелый кувшин. Жанэт вскинула его на плечо и пошла по воду.

Огромный, прогретый солнцем валун у берега поджидал ее, как старый знакомый. Она опустилась на него и поникла головой. «А Зрамук?..»

— Моя красавица, что за горе склоняет твою головку? Я готова принять на себя твой недуг.

Жанэт узнала Зейнаб, дочь Музачира Сохова. Она была лет на пять старше, отличалась сердечной добротой и мягким характером. К ней льнули и малыши и молодежь, и со старшими она умела ладить.

Зейнаб обняла девушку, села рядом. Шутливо потрясла ее за плечи.

— А ну, улыбнись, покажи золотые глазки, цвет души моей.

Не поднимая головы, уткнувшись лбом в холодный кувшин, Жанэт рассказала подруге о причине своей печали. Увидела, как притихла и померкла Зейнаб.

— Ради аллаха, Зейнаб, что поведала тебе, не разглашай. Иначе отец мне голову снесет. Обещаешь?

Не сразу ответила подруга. Долго сидела молча, задумчиво, черпая воду ладонью. Прозрачные струйки проскальзывали между пальцев и со звоном падали в реку.

— Я могу сохранить тайну. До могилы могу сохранить. Только послушай меня. Ты хочешь, чтобы остались в живых и твой отец, и твой брат, и Шогемоковы? Так ведь?

— Конечно, так,— еле слышно произнесла Жанэт.

— Тогда надо нам предупредить Шогемоковых. Пусть запрячутся так, чтобы их не нашли. Если враждующие не встретятся, то все останутся в живых. Не так ли, моя красавица?

Словно луч солнца коснулся повеселевших глаз. Блеснул и снова скрылся в тучах. Жанэт охватил страх за разглашенную тайну рода. А Зейнаб с тревогой думала, как трудно будет осуществить ее предложение. «А если еще и узнают, что Жанэт проговорилась?..»

Река накатывала волны, они били и хлестали каменистый берег, разбегаясь по шуршащей гальке, плескались возле огромного валуна, на котором сидели притихшие девушки.

— Страшно мне,— вздрогнула Жанэт и поджала ноги.

Зейнаб помогла подруге наполнить кувшин, наполнила свой. Почувствовав привычную тяжесть на плече, девушки ободрились.

Когда Жанэт открыла калитку, со двора выходил громадный детина. Недобрые его глаза прятались на заросшем черной щетиной лице. Детина улыбнулся девушке, как старой знакомой, хотя поселился в Аюбее всего три дня назад. Почти каждый вечер он приходил к Бороковым, и они надолго запирались с Туганом в комнате.

Жанэт увидела, как человек невысокого роста проскользнул в покои отца, узнала Шахбана Каздохова.

Мать приняла от нее кувшин и заплакала.

— Это они... Договариваются с отцом... Насчет Шогемоковых...

Музачир Сохов был удивлен долгим отсутствием Зейнаб. «Столько времени ходит за водой?..»

— Наконец-то,— с неудовольствием буркнул он, увидев дочь.

— Ой! — воскликнула Зейнаб.— Потеряла косынку. Наверное, там, у камня.

Девушка выскочила из комнаты, но побежала не к реке, а к дому Кабардовых, чтобы сообщить Мурату о намерениях старшего Борокова.

6

Когда Кулибин с Кабардовым предложили писарю выписать два удостоверения на имя Махмуда и Азнаура Черкесовых, тот заартачился.

— Надо спросить у Тугана. Да и печать у него.

— Что ж, пойдем к Тугану. Заодно и расскажем ему...

После такого напоминания Павел Витальевич сделался сговорчивым.

Сфабрикованные документы Кулибин и Кабардов переправили в аул Дальний и предупредили Шогемоковых о грозящей им расправе. Посоветовали переехать в более безопасный горный аул и выдавать себя там только за Черкесовых.

Шогемоковы переехали в аул Верхний и поселились у балкарца Таусо Батырбекова. Супруги Батырбековы полюбили юного Зрамука, сделали приемным сыном. А Исмел стал чабанить. Днями и ночами ходил с отарой по горным пастбищам. В аул возвращался редко: за продуктами или сменить белье.

Поначалу непривычно было Зрамуку в горах. Аул Верхний расположился на солнечной стороне глубокого ущелья. Будто кто-то огромным острым ножом разрезал горы и чуть раздвинул их, чтобы дать прилепиться саклям. И сакли лепились, подобно ласточкиным гнездам, по крутому склону ущелья. Крыша нижнего дома служила двором для верхнего.

Вид аула до наступления весны был невзрачен. Холодные каменные утесы давили. Долина, усыпанная валунами, наводила тоску своим однообразием.

Но не забывает весеннее солнце и Верхний аул. Хотя и с опозданием, приходит оно в этот суровый край и каждый год совершает привычные чудеса. Зеленым ковром покрывает унылое ущелье, прикоснется лучами — и оживают маленькие горные березки, шелестит молодая листва. Трава-мурава пробивается на крышах саклей, даже холодные каменные глыбы курчавятся нежным зеленым мхом.

Оживают и горцы. Не заметишь теперь медленной зимней походки вразвалку. Люди работают с увлечением: кто на скотном дворе, кто поправляет каменную ограду, многие трудятся на крохотных полосках — полях.

Рано утром со двора вышли супруги Батырбековы — Таусо и Хафисат. Вместе с ними направились и Шогемоковы, теперь — Черкесовы, Исмел — Махмуд и Зрамук — Азнаур. Ослик с плетеными корзинами для земли бодро двинулся по знакомой дороге.

Махмуд Черкесов и впрямь больше не походил на Исмела, выглядел моложе и бодрее. На поясе висел кинжал, талия была туго перетянута патронташем, за спиной — пятизарядная винтовка.

— Как на войну собрался,— пошутил Таусо.— Хватит тебе с винтовкой ходить. Сколько уже живешь здесь, и никто не обнаружил. Значит, Бороковы больше не ищут... Обдумай совет, который я дал тебе ночью. Для тебя будет лучше.

Махмуду не хотелось огорчать побратима, и он тоже решил отшутиться:

— Боюсь, Таусо, что не признают за мужчину, если буду без оружия. А кроме того, как говорится, у сильного мать не плачет.

— Это верно, брат, но все-таки подумай о нашем разговоре.

— Ладно, подумаю.

Таусо приблизился к Азнауру.

— А тебя прошу не загонять ни себя, ни ослика. Помногу земли не вози и долго не выбирай...

— Э, нет,— перебил Махмуд.— Если уж брать землю, то чистый чернозем. Чтобы жирный был, как сметана.

На развилке дорог Батырбековы разошлись с отцом и сыном. Ишачья тропа пошла круче, становилось трудно дышать. Исмел со Зрамуком шли медленно, заложив руки за спину и нагнувшись вперед. Шли молча, берегли силы. Когда пахнуло холодом от снеговых вершин и тропа раздвоилась, остановились. Ласково и печально посмотрел отец на сына.

— Один ты у меня, Зрамук. Можешь дать слово, что не станешь без моего разрешения связываться с Бороковыми? Не только простреливать им папахи, но даже видеть их?

Много раз предупреждал сына Исмел. Понимал Зрамук, что не всегда лихие налеты кончаются благополучно. Только слова отцу давать не хотел. Увидеть Жанэт, встретиться с ней хотя бы на несколько минут! Ведь благодаря ее смелости и любви они вовремя предупреждены и не обнаружены...

А отец, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Осторожность — это не трусость. Врага можно убить не только пулей и кинжалом. Издевка, оскорбление разит иной раз больше, знай это, сын мой. Я приготовил такое Борокову, что борода его поседеет от гнева. Только все надо делать с умом, не торопиться. Вот увидишь, как и для нас солнце будет светить.

Зрамук хотел о чем-то спросить отца, но тот крепко обнял его и ласково толкнул рукой в плечо.

— Иди!

Круто взяв в гору, Исмел прошел десяток шагов по еле заметной тропинке и обернулся.

— Смотри не набирай землю на участке князя. Мы здесь — чужие, вдвойне должны быть осторожными.

Оставшись один, Исмел медленно пошел к своему кошу. Кош находился в другом ущелье, и надо было перевалить через высокую гору.

Воздух разрежен, и дышится трудно. Из головы не выходит ночной разговор с Таусо. Вроде и прав ставший ему побратимом Батырбеков. Третий год Исмел вдовствует, давно надо жениться, зажить семьей, осесть на земле. А где земля? В Аюбее? И думать нельзя об этом. Здесь, в безземельной Балкарии, меряют землю по-другому, по-особому. «Аяк-узун» — длина ступни ноги, «таш-орун» — место под один камень. Ой, как здесь дорога земля! Пусть Исмел здесь останется, но разве может он купить землю? Каждая квадратная сажень — пятьдесят рублей, это пять лошадей. Разве это ему по карману?.. Женился, скажем, а вдруг кровники настигнут? Жена — вдова, ребенок — сирота. Это же грех... Да, грех, но Шогемоковых только двое осталось. Погибнут — кто отомстит?.. Может, Зрамука оженить? Молод еще... И так не получается, и эдак...

На большой высоте, у солнечных отрогов, увидел он стадо туров. Громадный тур с ветвистыми рогами застыл на возвышенности. Он не пасся, как остальные, а, чутко прислушиваясь, нес сторожевую вахту.

«Красивый, гордый»,— залюбовался Исмел, а руки сами потянулись к винтовке. Щелкнул затвор, Шогемоков прижался к каменистому выступу и... опустил винтовку.

«Вот так же и кровник в меня... Неожиданно... Из засады...»

Тур, почуяв недоброе, отчаянно заверещал. Стадо понеслось вниз, легко преодолевая спуски, бросаясь с круч. Последним прыгнул с высокой скалы вожак.

На гребне горы Исмел перевел дух, остановился. Здесь под ногами лежал ноздреватый снег, едва тронутый солнцем. Зато вдали разливалась зеленой рекой узкая долина. Чернели влажные заплаты нив, отгороженные камнями. У подошвы горы теснились тонкие белоногие березки. Словно робкие девушки, они завидовали забравшимся на вершину соснам и елям, которых и нежит и бьет своенравный гуляка-ветер.

На самой вершине стоял теперь Шогемоков. Тянулась величественная горная цепь, спокойная, светлая. Концами своими она пила воду двух морей: Черного и Каспийского, а высокими вершинами упиралась в небо. Нетающие снега бросали вызов солнцу.

Никогда Исмелу не было так светло и радостно. Казалось, еще немного, и он обретет силы для полета, для небывалых свершений.

— Эге-ге-гей! — вдруг крикнул он.— Села Кабарды и аулы Балкарии! Вы вечно воюете из-за нехватки земли. Смотрите! Я сравниваю горы, превращаю их в пастбища. Берите их, обрабатывайте, сейте!..

И, точно устыдившись, что его глупое бахвальство могут услышать, Исмел смолк, опустил руки, съежился. Тихим шепотом произнес:

— О великий аллах, если бы ты знал, как тесно людям на этой красивой большой земле... Если бы об этом знали правители наши...

Знают, все они знают, Шогемоков. Знают, что у балкарцев мерой земли служит ступня ноги. Знают, что на лучших участках лежат валуны под стать слонам. Знают, что в корзинах на своих плечах приносят горцы землю, и слой ее на камнях не больше вершка. Знают, что привязывают себя люди, чтобы не сорваться, когда косят сено. А с наступлением холодов кончается подножный корм, и балкарцы вынуждены переправлять свой скот через Главный Кавказский хребет в Кутаисскую губернию или отправлять в кабардинские степи, чтобы спасти от бескормицы.

В высоких чиновных кабинетах помнят тебя, Шогемоков, помнят и тебя, Батырбеков. И вот от правителя Терской области к наместнику царя на Кавказе, от наместника — в Петербург идет

бумага: «Родившегося в горах хлебного зерна, исключительно ячменя, в обыкновенные годы достает для горского населения на два месяца. Посевы пшеницы и проса, по краткости в горах теплого времени, невозможны».

А станет жаловаться на свою долю голодающий горец, опять накормят его новой бумагой: «Перевести два кабардинских села Мусы Кожокова и Тохтамышева, расположенные у двух главных входов в горные ущелья, в низовья, чтобы очистить земли для горцев».

Чем не забота?!

И когда кабардинцы отказались покинуть свои исконные земли, балкарцам ответили:

— Мы от всего сердца хотим помочь вам, но видите сами, кабардинцы отказались выполнить наше предложение.

Разделяй и властвуй! Натравливай один народ на другой. И потихоньку отнимай лучшие земли у кабардинцев для раздачи генералам и офицерам.

Не знал Шогемоков чиновных бумаг и проектов, не бывал в высоких кабинетах. Но на самой вершине стоял он сейчас. И лучше кого другого знал и чувствовал, что правители теснят людей беспощаднее, чем каменные громады.

«Пока живу в каменном гробу, не буду увеличивать семью. Буду терпеть один... Так и скажу Таусо».

Решительно мотнув отяжелевшей головой, стал спускаться к своему кошу.

7

Намаявшись за день, Зрамук засыпал, едва опустив голову на подушки. Но сон был тяжелым. Он ворочался, бормотал непонятные слова и вдруг вскакивал:

— Жанэт!

А девушка бежит и кричит: «Гадюка, страшная гадюка ползет!» Он оборачивается, видит, как сжимает гадюка Исмела, как прыгают около горла красные раздвоенные язычки... Жанэт успевает схватить его за шею, тянет...

Зрамук проснулся весь в холодном поту. Сердце стучало, как у пойманной перепелки. Встревоженный страшным сном, не мог больше уснуть, лежал с открытыми глазами до рассвета.

Утром поел, привязал на спину ослику плетеные корзины и двинулся в путь. Он шел долиной, берегом грохочущей реки, но не слышал шума и грохота, все думал о сегодняшнем сне. Не заметил, как маленькие копытца застучали по «чертову мосту», и он оказался на той стороне реки. Только когда петляющая тропа круто взмыла вверх, Зрамук пришел в себя, замедлил шаг.

Горные сосны и березки ласково махали ему ветвями, будто

говорили: «Посмотри на нас, полюбуйся. Видишь, как трудно удержаться нам в гранитных трещинах, как недостает земли. И дождевые потоки хлещут, и бьют каменные обвалы. А мы стоим, держимся, радуемся солнцу...»

Дойдя до середины горы, Зрамук остановился. Повернул голову в сторону родного Аюбея, поднес ладони ко рту:

— Жа-нэт! Жа-нэт! Жа-нэт!..

Дунул ветер, застучал по камням. И через мгновенье будто выдохнуло эхо:

— Зра-мук! Зра-мук! Зра-мук!

Внизу, на дне долины, едва видимые с высоты, копошились на своих полосках люди. Пахали сохой на волах или копали лопатами, очищали землю от камней, от сорной травы. Среди них были Таусо и Хафисат Батырбековы.

С раннего утра, не притронувшись к еде, они выбирали камни из земли и складывали вокруг полоски. Липкий пот заливал лицо, ныла поясница, не слушались утомленные руки, но Таусо и Хафисат с радостью смотрели на растущую ограду.

Только в полдень супруги присели в тень. Хафисат достала деревянные чашки, аккуратно разложила на сумке, ставшей скатертью, ячменные чуреки. Запузырился прохладный айран. Но Таусо медлил.

— Надели нас счастьем, великий бог Тейри,— произнес он и только после этого притронулся к еде, которая была одновременно и завтраком и обедом.

Хафисат ела сухой чурек, запивала айраном и потихоньку отодвигалась от мужа. Непривычно и неловко было сидеть рядом с ним и вместе есть — это нарушало обычай. Наконец Хафисат устроилась боком, чтобы не было видно, как она жует.

Окончив трапезу, супруги снова принялись за работу — надо было расчистить место для сенокоса.

Никогда не прекращается поток камней с гор — никогда не кончится очистка полян от «черен-орунов» и «гебен-орунов». Как пойдет дождь, горные потоки смывают почву, засоряют ее камнями. Снова приходится приносить землю в корзинах, выбирать с полосок голыши и валуны, складывать их в ограды для защиты от ливней.

Но вот и сенокосное место приведено в порядок. Все на сегодня? Нет. Таусо провел рукавом по лицу и, еле передвигая ноги, направился к подножью горы. Там он давно приметил ровный, каменистый участок, который надо было подготовить под посев ячменя.

Хафисат с жалостью посмотрела на мужа.

— Дорогой мой, чью болезнь я готова принять на себя, передохни. Не уйдет тот участок. И ты устал, и я устала.

Грустно улыбнулся Таусо.

— Видишь, какой я мучитель. И себя мучаю и тебя. Присядь, отдохни, бедная моя. Я сам как-нибудь.

Хафисат покачала головой и пошла вместе с мужем. Отряхнула его черкеску, сняла с плеча налипший комок грязи. А сама еле плелась.

— Нет, дорогая. Ты должна отдохнуть. Обязательно!

Он постелил выгоревшую от солнца черкеску и почти насильно усадил жену, а сам начал долбить ломом каменистый грунт. Но Хафисат не могла сидеть сложа руки. Она взяла грабли и стала разгребать кучи чернозема, которые привозил трудолюбивый Зрамук.

И на следующий день Зрамук отправился с покорным осликом за землей.

Где же достанет он эти плодородные, дорогие крохи? Посмотрим из долины вверх, приглядимся внимательно. Двигаются по склону две темные точки. Точка повыше — человек, приземистее — ослик. Часто останавливаются возле деревьев. Зрамук достает лопату, копает, укладывает землю в корзины.

Жарко и душно. Солнце словно кусает мокрую от пота спину. Редкие кучевые облака висят над головой, не двигаясь.

Понуро стоит с тяжелыми корзинами ослик и только вздрагивает, когда Зрамук прихлопывает лопатой рыхлую землю. Мало, мало. И юноша подкапывает все новые и новые березки. Наконец можно разогнуться, дать себе минутный отдых.

Зрамук снимает рукой пот со лба и стряхивает. Соленые капли пота летят по воздуху. Ему кажется, что они звенят, задевая камни по дороге. Или это звенит в ушах?

Снова залило лоб. И откуда столько пота? Он стирает его ладонью, измазав лицо землей. Потом прижимает ко лбу, к щекам войлочную шляпу.

Пора. Зрамук трогает белую отметину на голове ослика и начинает спуск. Зрамук весел, он поет: «Вперед, вперед, мой беломордый ослик».

Он радуется, что помогает подготовить новый участок для посева. И забывает про палящее солнце, про усталость...

Сидя на корточках, разравнивая последние бугорки, Таусо ревнивым взглядом окинул чернеющую на каменном ложе землю. Что же, две недели не прошли даром. Они потрудились на славу. Добрый посев увенчает дело.

Погода в горах меняется быстро. Встрепенулся ветер, сдул духоту из долины. Обгоняя друг друга, понеслись черные тучи. Глядя на небо, Таусо прошептал:

— Бог Тейри, принеси нам желанный дождь! Одари нас радостью, а горе промчи мимо!..

Подъехал Зрамук.

— Большого изобилия тебе!

Таусо взял из корзины горсть земли, размял в ладонях. Они сняли корзины с ослика и рассыпали землю по полоске. Торопливо начали сравнивать бугорки, разбивать комья.

— Давай, давай. Успеть бы отсеяться до дождя. И ограду надо докончить...

Тяжелые первые капли ударили по камням. Кругом потемнело. Таусо вскинул на плечо мешок с ячменем и побежал к полю. Упал на колени и опять обратился с мольбой к всемогущему Тейри.

А на небе шли свои дела. Ангел Джабраил стегнул огненным кнутом по белым лошадям, и с грохотом разорвались, сбившись в комок, тяжелые тучи. Проехала колесница, и снова удар кнутом. Хлынули непрерывные струи ливня, точно водяную лестницу поставил Джабраил между небом и землей и приглашал подняться.

Таусо и Зрамук стояли под долгожданным дождем, промокшие до нитки и радостные. Не хотели бежать, укрываться от счастливого божьего дара. Им казалось, что стоит спрятаться, как дождь сразу перестанет.

Заструились ручейки по расщелинам, стали набухать, бурлить. Дождевой поток прорвал каменную ограду, и вода хлынула на только что засеянную землю. Зрамук побежал закидывать брешь камнями, телом прижимался к ограде. В это время загрохотали валуны, ограда рухнула в другом месте.

Как ошалелые, они носились по краям полоски, стараясь спасти хоть немного земли. А Джабраил раскатывал, громыхая, в колеснице и все хлестал и хлестал белых лошадей...

Куда ни взгляни — потоки и водопады, мутные, желтые, пенящиеся. Они низвергаются с круч, со скрежетом переворачивают и толкают огромные валуны. Что может устоять перед ними?

Ни одной песчинки не осталось на ячменном поле. Словно в насмешку, оно было засеяно камнями. Таусо и Зрамук стояли на оголенном каменном ложе своей нивы угрюмые, понурив головы. Холодный западный ветер бил в спину. С широкополой войлочной шляпы стекали струи: за шею, по спине, к ноговицам. По колени в воде стоял и ослик.

«За что? — спрашивал застывший, как изваяние, Таусо.— Может, согрешил в чем-нибудь? Нет, чужого не присваивал, подлостей не совершал. Молюсь аккуратно, мечеть по пятницам посещать не забываю. Сам не начинаю есть, прежде чем не отдам десятую часть доходов мулле и бедным. И все-таки не везет. Почему так?»

Таусо зябко поежился. Он подумал о том, где достать деньги, чтобы уплатить военный налог. Как раздобыть средства, чтобы купить к зиме пастбища для скота... От дел земных мысли перешли к небесам. «Всемогущий Тейри сделал доброе дело — ниспослал дождь. А вот ангел Джабраил перестарался. Нехорошо».

И вдруг старому Батырбекову показалось, что он возроптал на Джабраила. Допустил кощунство против аллаха. Он выпрямился, снял шляпу, выжал из нее воду. И, не обращаясь ни к кому, произнес громко вслух:

— Это божье решение. Все, что он делает,— к лучшему. Прости раба своего недостойного, аллах всемогущий!

Неожиданно начавшийся дождь так же неожиданно и прошел. Тучи стряхнули последние капли, в отдалении громыхнул гром, и выглянуло яркое солнце.

— Ах ты, блудливое,— сжимая кулаки и прищуриваясь, проговорил Зрамук.— Наделало столько бед и решило посмотреть... Смотри, смотри: дочиста все слизало.

Таусо побледнел и вобрал голову в плечи. За такие слова... Сейчас их обоих бог испепелит молнией.

— Сын мой... Как же это ты? Аллах проклянет тебя. Сейчас же отрекись от своих слов и извинись, мой милый.

Ничего не ответил молодой Шогемоков. Молча погрузили они пустые корзинки на ослика, молча отправились в аул. Зрамук видел, как кровно обиделся на него приемный отец. Догнал, дотронулся до плеча.

— Золотой мой Таусо, не горюй. Завтра снова поеду за землей. Разобьем здесь ниву лучше, чем была.

Но Таусо уже было не до нивы. Надо спасаться от страшной небесной кары.

— Аллах не делает ничего недоброго, запомни это. Он просто хотел проверить нас, послал испытание. Но это ничто по сравнению с тем, что ты сказал. Отрекись. Прошу тебя. Умоляю.

Зрамук остановился. Он никогда не видел старого Батырбекова в таком смятении. Повернулся лицом к югу и, подумав немного, сказал:

— Золотой и великий аллах! По молодости я допустил глупость, произнес непотребные слова. Прости меня, великий аллах.

До юноши донесся шепот. Это молился за него Таусо. Зрамук шагнул вперед и мысленно произнес: «Всемогущий аллах, если хочешь мне сделать добро, дай возможность встретиться с Жанэт. Очень прошу тебя!»

8

— Что грустишь, сын мой? Заболел? Или что приключилось? Скажи, не таясь.

Зрамук покраснел.

— Не скрывай, рассказывай,— настаивал Таусо.

— А, так, пустяки.

Но потом юноша рассказал о тревожном сне. Рассказал все до мельчайших подробностей. Только решил не открывать имени Жанэт. Назвал ее гурией.

Таусо встревожился и помрачнел.

— Да... Бороков замышляет недоброе. А аллах послал к тебе

гурию не зря. Для помощи... Надо предупредить твоего отца, пусть будет осторожен. Я сегодня же отправлюсь к нему.

«Какой добрый, заботливый,— подумал Зрамук и хотел расцеловать приемного отца, но сдержался.— Я же мужчина».

— Я сам завтра пойду к отцу. Предупрежу его и дня три-четыре попасу отару,— слукавил Зрамук, хотя сам думал о тайной поездке в Аюбей.

Таусо согласился и еще раз повторил:

— Не простой это сон, а исходит от самого аллаха. Нельзя пренебрегать божественным предупреждением. Передай отцу, пусть будет осторожен.

Зрамук вышел со двора и направился к реке. Хотелось развеять тяжкие думы и освежиться в прохладной воде. Он уже шагал по берегу, когда кто-то стал догонять его. Осторожно ступая, незнакомец подошел почти вплотную и вдруг ловко подставил ногу.

Молодой Шогемоков споткнулся, но не упал. В ярости схватил камень. Раздался хохот. Кайсын Жантуев прихлопнул в ладоши и сказал:

— Если человека трясет малярия, лучше всего его окатить ведром холодной воды. А если парня одолевают тяжелые думы, надо подставить ногу, чтобы пришел в сознание. Лучшего лекарства не найдешь!

Зрамук не знал, сердиться на приятеля или нет. Проговорил с грустью:

— Э... Разве сытый поймет голодного.

— Друг мой, что я слышу?

— Да то и слышишь, что я сказал.

— В чем дело, Азнаур? Ради дружбы скажи.

Они сели на откос, свесив ноги. В черной черкеске и сафьяновых ноговицах, загорелый, с орлиным носом и очень живыми блестящими глазами, Кайсын походил на хищную птицу. Хищную и красивую. Но это было только внешнее впечатление. И хотя Кайсын Жантуев был баловнем богатого отца, сердце его, как говорят горцы, не заплыло жиром. Чуткое и отзывчивое, оно хранило верность в дружбе. Со Зрамуком он встретился давно, подружился, и приятели не скрывали друг от друга своих секретов.

Молодой Шогемоков все рассказал Кайсыну. Вздохнул.

— Если бы мне удалось узнать, что замышляют Бороковы... Если бы я повидал Жанэт... Но это невозможно.

— Почему невозможно? Когда хочешь: сегодня вечером, завтра утром? Бери мою лошадь, мое оружие!

«А отец что говорил?»

— Хочешь, поеду с тобой, помогу? Бросим Жанэт на холку коня и умыкнем. Твое согласие, и я — готов!

— Нет,— ответил тихо Зрамук.— Поеду один.

— Вдвоем лучше. Я постерегу тебя.

Но Зрамук не соглашался. Взглянув в глаза другу, Кайсын сказал:

— Ладно. Будь по-твоему. Приготовлю коня и оружие. Приходи на рассвете к нашим воротам.

Впервые за сегодняшний день Зрамук улыбнулся.

Взмыленный иноходец недовольно тряс головой. «Как медленно он идет,— сокрушался Зрамук.— Вот бы крылья Джабраилова коня!..»

Только к вечеру второго дня подъехал молодой Шогемоков к Аюбею. Свернул с проселка, пустил иноходца по лесной тропе. Когда до селения стало рукой подать, спешился, привязал коня к дереву, ослабил подпругу. А сам упал на густую траву поляны навзничь, раскинул руки, закрыл глаза.

Почти двое суток провел Зрамук в седле, и теперь все его тело ныло. Только теперь он понял, как устал. Не хотелось ни двигаться, ни поворачиваться. С жадностью вдыхал свежий и влажный, настоянный на лесных травах воздух родного Аюбея.

Минут через десять свершилось чудо. Усталость исчезла, родная земля напоила тело прохладой. Словно в детской сказке почувствовал себя Зрамук и открыл глаза. Сказка продолжалась. Звезды над головой мерцали и подмигивали друг другу, как влюбленные. Неторопливая луна плыла по небосводу. Она была совсем близко, рукой достать. Чистая и ясная. Или это нагнулась над ним Жанэт?

«Когда я встречусь с ней, я скажу, что глаза ее как звезды, а светлый лик как луна... Нет, это не годится, так все влюбленные говорят. Лучше иначе: «Хотя по несчастью наши роды враждуют, ты издалека протянула мне добрые и ласковые руки. Свет твоей души звал меня, и я не мог не приехать».

Но и это обращение ему не понравилось...

Было уже совсем темно, когда Зрамук с пятизарядной винтовкой на плече зашагал к селу.

«Что же это я — с ружьем иду к возлюбленной?»

Он вернулся, завернул винтовку в бурку и прикрыл травой. Миновав мост, пошел узкой кривой улочкой, стараясь держаться в тени плетней. Вот и дом Кабардова. У ворот возле большого пня беседуют люди. Назад! Прислонившись к плетню, Зрамук ждал. Народ не расходился.

«Тогда, может, к старику Музачиру Сохову? Попрошу Зейнаб помочь мне встретиться с Жанэт».

Двор Соховых был пуст. С кухни доносились знакомые голоса. Зрамук заглянул через неплотно прикрытую дверь — семья ужинала. Как захотелось зайти, пошутить по старой привычке: «А почему меня не подождали?» Нет, этого делать нельзя. Ребятишки проговорятся, и тогда Музачиру несдобровать. Но как же незаметно позвать Зейнаб?

Луна выплыла из-за облака и облила двор серебряным светом. Зрамук отпрянул от двери, укрылся в темноте сарая. Стал прислушиваться.

Из кухни вышла Зейнаб, чтобы вылить воду. Обрадованный юноша хотел позвать ее, но вовремя зажал губы рукой. На цыпочках подбежал к девушке.

От неожиданности она уронила казанок, железо звякнуло о камень.

— Зейнаб, неужели и для тебя Зрамук стал пугалом? — послышался шепот.

Растерявшись, девушка стояла в оцепенении, потом потянула его за рукав, приглашая в дом.

— Нет, нет! Не могу. По делу приехал. Отойдем немного.

Как только они оказались в тени сарая, Зрамук попросил:

— Помоги, пожалуйста, встретиться с Жанэт.

— Ты с ума сошел! Нельзя это.

— Позови ее к себе или сама пойди к ней. Вроде в гости. А в полночь дашь ей знать...

Девушка стояла молча и отрицательно качала головой. А сама думала: какой молодец!

— Не знаю, что и ответить. Может, эта встреча принесет горе нам троим?..

— Хочешь, на колени встану? Одна ты можешь помочь нашей встрече. Неужели откажешь? Умоляю!

«Как он любит ее!»

— Ладно, Зрамук, постараюсь. Завтра утром пойду с ней по воду к реке. Там и встретитесь, у края леса. А сейчас идем в дом, переночуешь. Папа и мама примут тебя, как гостя от самого аллаха.

— Нет, Зейнаб. Завтра нельзя. Или сейчас, или ночью. На рассвете я должен ехать...

Луна снова скрылась за облаком. Камни во дворе потемнели. На краю села спросонья тявкнула собачонка, и снова наступила тишина. Вглядываясь в лицо Зрамука, девушка сказала:

— Ох, трудно мне... Но попытаюсь. Только если не удастся — не обижайся.— Немного помолчала и добавила:— Знаешь ореховое дерево на меже бороковского и нашего сада? Там жди нас.

Она подняла казанок и пошла на кухню. Юноша быстро скрылся в темноте сада.

Обняв ствол старого ореха, прикладывая пылающие щеки к прохладной, шершавой коре, Зрамук не думал об опасности! Радость предстоящего свидания захлестывала его. Мир казался открытым и добрым, везде — одни друзья и помощники. «О аллах, как хорошо и мудро ты все устроил. Помоги же моей Жанэт скорее прийти сюда».

Со стороны бороковского сада послышались шаги. Зрамук стал всматриваться в темноту. Быстрее заколотилось сердце, ослабели колени. «А еще джигит называется»,— рассердился он.

Показались двое. Зейнаб шла впереди и вела за руку Жанэт. Юноша подскочил к межевой канаве, протянул руку. Зейнаб толкнула вперед подругу.

— Скорее, скорее,— прошептала она,— руку давай!

Но Жанэт стояла неподвижно, будто неживая.

Зрамук прыгнул через канаву, схватил девушку и перенес. Потом помог перейти и Зейнаб.

Слабый лунный свет, пробивавшийся сквозь листву ореха, освещал Жанэт. От этого света она казалась еще бледнее, еще печальнее. Девушка дрожала, глаза ее были опущены.

«Чего это она так испугалась?» — подумал Зрамук и, чтобы успокоить и подбодрить ее, произнес:

— Жанэт, милая!.. Помнишь, как ты предупредила нас? Спасибо тебе. За все благодарю. И за верность...

Жанэт слушала возлюбленного. Его тихие слова доходили до сердца девушки. «Милый, любимый Зрамук!» А в голове стучало: «Позор! Тайная встреча с чужим парнем. С кровником!.. Обесчестила свой род».

— Руки, свои ласковые, светлые руки ты протянула мне тогда. Сердце положила в ладони... Я весь — перед тобой и хочу слышать твой голос. Дай мне совет, жаркий свет очей моих...

— Что я могу сказать? Какой из меня советчик? — еле слышно промолвила девушка.— Женский ум и девичья сила слишком немного стоят.

— Торопитесь. А то спохватятся...— послышался из темноты взволнованный шепот Зейнаб.

Зрамук посмотрел в лицо Жанэт, и она подняла голову. Взгляды их встретились, как встречаются два весенних светлых ручья. Встречаются, чтобы слиться в один горный поток, гордый и сильный.

— Жанэт, можешь встать рядом со мной? Можешь идти рядом со мной, чтобы нашей любовью преградить дорогу кровной мести?

— Я сделаю все, что в моих силах.

Зрамук схватил кинжал и порезал себе мизинец.

— Теперь ты.

Закрыв глаза и стиснув зубы, Жанэт протянула руку. Капелька крови показалась на крохотном пальце.

Молодой Шогемоков соединил кровоточащие пальцы, плотно сдавил их правой рукой, чтобы слилась кровь.

— Пусть наша клятва будет нерушима. Будем верны, будем достойны друг друга, любовь моя.

Шум телеги послышался со стороны бороковского двора. Возвращаются Туган с Адальбием? Девушки замерли, прижавшись друг к другу. Телега проехала, ее тарахтение слышалось все глуше. Зрамук хотел проводить Жанэт, но девушки, как козы, торопливо перепрыгнули через канаву и скрылись в саду.

«Эх, не договорился, когда еще встретимся!» — с сожалением подумал юноша.

Радостно билось сердце. Хотелось пройти по улице Аюбея с громкой песней, разбудить односельчан. Пусть все узнают о его счастливой любви, пусть долетит его голос до балкарских гор, до отца, до Кайсына, до Таусо.

Постояв немного у орешника, Зрамук осторожно направился к дому Кабардовых. «Может, узнаю у Мурата, что замышляют кровники?» Он шел согнувшись, шел не по улице, а мимо старых, заброшенных усадеб. Часто останавливался, прислушивался.

У ворот Кабардова темнел одинокий пень, но людей уже не было. Зрамук решительно вошел во двор и замер. Очень высокий человек в лохматой папахе заглядывал в освещенное окно кунацкой. Зрамук завернул за угол дома, притаился, стал наблюдать.

Великан отошел от окна и сделал кому-то знак рукой. Непонятно откуда, к нему приблизился маленький худощавый человек. Что-то очень знакомое показалось в его облике, мягкой походке на цыпочках. «Неужели Шахбан?»

Молодой Шогемоков осторожно обошел дом, посмотрел в окно, выходящее в сад. Увидел в комнате несколько человек. Им что-то говорил Кулибин. Мурат стоял у дверей.

«Да, сегодня не пройти к Кабардову»,— с сожалением подумал Зрамук. Осмотрелся. Тех двоих уже не было. Он вышел со двора, и в это время из-за пня выскочила соседская собака. Звонко залаяла, словно обрадовалась нежданной встрече.

— Тебя только не хватало,— со злостью проговорил Зрамук и сделал вид, будто поднял с земли камень. Собака отпрянула, но продолжала преследовать его.

Стараясь слиться с плетнями, Шогемоков шел по улице, направляясь к лесу. Собака отстала. В наступившей тишине ему почудился человеческий голос. Он присел на корточки, затаил дыхание. Внимательно огляделся. Никого.

Зрамук был уже на окраине села, когда снова услышал собачий лай. Злой, надрывный.

Он быстро перепрыгнул через канаву и притаился за оградой из терновника. Через несколько минут по улице прошла знакомая пара. Великан в лохматой папахе и... «Конечно, это Шахбан Каздохов, маленький человек с большим кинжалом,— почти радостно подумал Зрамук, успокаивая себя.— Ведь он из тех, кого преследует Бороков». Терновые колючки вонзились в тело, но юноша не торопился. Еще с полчаса он не обнаруживал себя, зорко вглядываясь в темноту и прислушиваясь.

До леса было совсем близко. Ему послышалось как будто нетерпеливое ржание гнедого. Зрамук перескочил неширокий ров и пошел тропинкой вниз, к мосту.

Застучали плохо пригнанные доски. Внезапный удар по голове оглушил Шогемокова. Он хотел обернуться, крикнуть, но, шатаясь, бессильно опустился на колени. Двое мужчин засунули ему в рот кляп, связали руки и поволокли за собой. «Что же это? Недоразумение...— думал Зрамук, с трудом передвигая ноги.— Навер-

ное, эти двое охраняли дом, чтобы никто не мешал Кулибину беседовать с крестьянами... Ладно, пусть ведут к Кабардовым».

Когда Зрамук увидел, что его втолкнули во двор Бороковых, он стал отчаянно сопротивляться, бить преследователей ногами и головой. Великан скрутил пленника и положил недалеко от крыльца.

— Туган! — произнес он хриплым голосом.— Это мы, Туган!

Появилась на крыльце Жанэт, сказала, что отец и брат еще не приехали.

— Ключ от подвала,— потребовал верзила.— И побыстрее.

Жанэт узнала великана. Почувствовала недоброе. Шагнула в комнату, вынесла ключ и остановилась, дрожа, на крыльце.

— Давай, давай... Что же не взглянешь, красавица, на добрую добычу,— засмеялся великан и пнул ногой лежащего Зрамука.

Узнав возлюбленного, она бросилась к нему, хотела помочь подняться. Великан отстранил ее и вместе с Каздоховым понес пленника в подвал.

— Мама, несчастье,— закричала девушка, вбегая в дом.

Напуганные, растерянные, мать и дочь вышли на крыльцо. Из темноты показался высокий. Он передал ключ хозяйке и сказал:

— Пока Туган не приедет, змееныша не выпускать. И никому ни слова.

Потом, изобразив на лице улыбку, подмигнул Жанэт и пожелал женщинам спокойной ночи.

В комнате Жанэт не могла сдержать слез. Рыдая, обнимала и целовала мать.

— Добрая, милая мама! Растила ты меня, лелеяла. Ты вправе отобрать жизнь, которую дала мне. Но только выпусти Зрамука.

Чуяло материнское сердце беду. Чуяло еще раньше, когда вечером исчезла Жанэт, когда вернулась домой без кровинки в лице. «Значит, Зрамук приезжал к ней!..» — испугалась Жангуаша.

— Несчастная, ты встречалась с ним? Позор моим сединам. Позор всему роду. Неужели моя дочь способна на это?

— Нет, нет! — воскликнула Жанэт и прижалась к материнской щеке, почувствовала теплые ее слезы.

Жангуаша отстранила дочь, запричитала:

— Великий аллах, какой грех я совершила, что мое дитя связалось с кровником? Чем я провинилась перед тобой, всемогущий?

Жанэт притихла. Проглотив соленые слезы, она тихо, но твердо произнесла:

— Мама, я не уронила чести своей и не уроню!

Голос дочери звучал глухо, но твердо, а мокрые глаза смотрели на мать пристально, не мигая.

— Я не хочу, чтобы ты на старости лет осталась вдовой, потеряла сына, а я — сиротой, без отца и брата... Я знаю, ты тоже этого не хочешь.

Жангуаша была поражена ее словами. «Девочка, ведь совсем еще девочка... Откуда у нее такая сила?» Растроганная, привлек-

ла к себе дочь, обняла. Освободившись от материнских объятий, Жанэт сказала:

— Если тебе дорога жизнь отца и Адальбия, давай отпустим этого человека. Он приехал к нам с добрыми намерениями.

Дочь не назвала имя. «Этого человека». Жангуаша сидела с поникшей головой. «Этого человека». Она думала о пленном юноше, вспоминала его отца. Исмел! Таким он был добрым, как мог тронуть сердце... А Туган и Адальбий? Сама себе сказала вслух:

— Если узнают — растерзают. Повесят. На одном суку повесят нас обеих.

— Мама, если наши убьют Зрамука, в отместку Исмел убьет отца и брата. Мы можем не допустить этого.

Мать соглашалась, кивала головой, а сама плакала и не могла решиться.

— Великий аллах, от горя душа моя высохла. Что мне делать, как поступить?

— Мама, моя дорогая, не лишай меня отца! Пожалей сына и дочь свою!

Жанэт бросилась на шею матери, снова стала маленькой слабой девочкой, забилась в рыданиях.

Трясущимися руками Жангуаша достала ключ из кармана. Точно впервые видя, долго смотрела на него и протянула дочери:

— Иди, милая. Если дознаются, пусть убивают меня...

Зрамук, запертый в подвале, стоял у двери и изо всех сил старался перетереть о косяк веревку, которой были связаны его руки. Услышав скрежет замка, он подался назад, чтобы свалить вошедшего ударом ноги и бежать.

— Это я, Зрамук!

У него захолонуло сердце. Жанэт! Скрипнула дверь.

— Беги! Быстрее беги и скрывайся.

Другой голос тоже торопил:

— Скорее! Не хотим мы твоей крови, не хотим взять грех на душу. Беги! Счастливой дороги тебе, юноша.

«Нет, так нельзя»,— пронеслось у него в голове. Как только Жанэт развязала ему руки, он порезал кинжалом веревку и бросил на пол. Взял в углу подвала железный лом и проломил половину двери. Снова запер на замок, протянул ключ Жангуаше.

— Так и скажите: мы ничего не знали. Сам выломал дверь и сбежал.

Молодой Шогемоков низко поклонился женщинам.

— В большом долгу я перед вами. Не забуду.

Не торопясь, покинул он бороковский двор. К лесу пошел задворками. «Так глупо влип! Какой позор: освобожден женщинами. Смыть, смыть это пятно немедленно. Высокого того, в папахе, не найдешь, это точно, а вот Каздохова... Он указал на меня».

Шогемоков отвязал коня, зарядил винтовку и поехал в Аюбей. Приближался рассвет, когда он подъехал к дому Каздохова и постучал концом плетки в окно.

— Кто там? — раздался сонный голос.

— Туган приехал, срочно требует.

Едва накинув черкеску, Шахбан выбежал со двора. Зрамук подъехал поближе.

— Маленькая ошибка, дорогой. Не Бороков, а я, Шогемоков, вызвал тебя.

Растерянный Шахбан схватился за кинжал, но было поздно. Сильный удар грудью лошади свалил его. А когда он вскочил, посыпались удары плеткой. По голове, по лицу. Страшные, обжигающие удары, от которых нельзя было защититься руками. Слетела шапка, и Зрамук стал безжалостно бить по плешивой голове.

— Это за измену! Это за донос! За то, что руки связывал!

Ударив последний раз, Шогемоков осадил коня и пустился во весь опор к лесу.

Шахбан Каздохов не мог стоять. Он прислонился к плетню и стал вытирать кровь со лба. «Бороков — бьет, Шогемоков — бьет. Все бьют... Ну, погодите!»

Маленький человек с большим кинжалом сорвал несколько свежих листьев тополя. Прикладывая их к кровоточащим ранам, поплелся к колодцу.

9

Вернувшись из Армавира с товаром, Туган с Адальбием узнали о случившемся. Это была неслыханная дерзость — появиться в Аюбее одному из Шогемоковых. Будто положить шапку перед носом старшины и сказать с насмешкой: «Попробуй тронь!»

Старый Бороков стоял у выломанной двери в подвал и тяжело дышал, словно сам гнался за кровником. Глаза его были прищурены, ноздри раздувались, как у дракона, который пышет пламенем.

— Позвать и поставить передо мной этого буйвола,— прохрипел он, не сдерживаясь, и шагнул к крыльцу.

Привели великана в лохматой папахе — Пако. Он был изгнан за воровство из родного села, и Бороков обещал принять его в члены аюбейской общины и наделить землей, если тот сумеет поймать Шогемокова.

— Ы-ы, вышедший из собачьей утробы! Сгною в подвале!

Пако угрюмо молчал. На лбу его выступили капельки холодного пота. Угрозы старшины не пугали его. «Снесу любое оскорбление, лишь бы приняли аюбейским жителем, дали земельный надел».

— Мы сначала наблюдали за теми, которые собрались в кунацкой Кабардова,— уныло прогундосил Пако.

— Не о том спрашиваю! Где пленник?

— Мы поймали его, Туган, связали, заперли. Как он мог выломать дверь, не понимаю...

— Сейчас поймешь!.. Ну-ка, скидывай бешмет, рубашку... Эй, подать плетку.

Жанэт через внутреннее окошко в сенцах увидела, как один из родственников снял со стены черную, пропитанную дегтем нагайку. Она была сплетена из нескольких ремней, толстая у рукояти, с тремя хвостами на конце.

— Туган, прости. Во всем буду служить тебе!

— Становись!

— Зачем же так,— пробормотал великан и, все еще не веря, что его будут сечь, опустился на колени.

Просвистела нагайка. Пако вскрикнул. Второй удар был еще сильнее. Когда Жанэт вбежала в комнату, Пако извивался на полу, а Туган осыпал его ударами, вымещая злость. Она бросилась к отцу.

— Пощади его! Он не...

Жанэт не договорила. Отец грубо оттолкнул ее и снова взмахнул нагайкой.

— Нет, Туган, хватит!

Великан вскочил, выпрямился. Понял, что все потеряно и не видать ему ни аюбейского жительства, ни надела. Отдуваясь и грозно мыча, накинулся на Борокова и вырвал нагайку. Родственника, поспешившего на помощь, как щепку, отбросил в дальний угол. Натянул рубашку и бешмет.

— За эту боль расплачусь с тобой, Туган. Если забуду, можешь называть меня незаконнорожденным. А нагайку на память возьму.

Бороков бросился к стене, чтобы схватить винтовку, но ему помешал родственник, удержал от кровопролития.

— Да ты и так незаконнорожденный, гундосый дурак,— распалившись, кричал старшина.— Если жить хочешь, не попадайся мне на глаза. А болтать начнешь — из седьмого адского подземелья достану!

Скрутив в могучем кулаке нагайку, на ходу застегивая бешмет, Пако, не оборачиваясь, ушел с бороковского двора. В тот же день он навсегда покинул Аюбей.

Шахбан Каздохов тоже не был забыт старшиной.

— Опозорить меня хотел? Поймал мальчишку, а не того, на ком лежит кровь брата!

Шахбан юлил и извивался, старался напомнить, что Бороков поручил поймать им любого из Шогемоковых.

— Не ври, подлая душа,— гремел Туган.— Простого дела тебе нельзя доверить. Ну, недолго тебе ждать собачьей ямы.

И раньше, случалось, приходил во гнев аюбейский старшина, но такого еще в доме не видывали. Шутка и смех никогда не были в чести у Бороковых, а теперь смолкли и разговоры. Домашние ходили на цыпочках, старались не попадаться на глаза Тугану. Особенно тяжко было Жанэт и Жангуаше, любой шорох приводил их в смятение.

— Держись, моя милая. Не подавай виду, что трусишь,— шептала мать.— Узнает — обе погибнем. Не за себя боюсь, за тебя.

Но Жанэт еле владела собой.

— Может, я отправлю дочь к своим родителям? — спросила Жангуаша у мужа.— Что-то нездоровится ей.

Туган со злостью махнул рукой, словно говоря: «Езжайте куда хотите, хоть обе. Без вас спокойнее».

Но аллах, видимо, не был расположен именно теперь даровать спокойствие Тугану Борокову. Как раз в эти дни во Владикавказе вышел номер газеты «Кавказ» со статьей, посвященной аюбейским делам. Автор подписался псевдонимом «Знающий» и действительно хорошо знал, о чем писал.

Михаил Петрович получил эту газету вместе с запиской от Сергея Кирова. Опытный революционер советовал молодому агитатору теснее сплачивать бунтарски настроенных крестьян. Это очень важно, писал он Кулибину, чтобы они на собственном опыте убедились в своей организованности, в своей силе. Организованность, единение — это то, что нам сейчас нужнее всего... Будь осторожным. Жандармерия рыщет, выискивает наших.

Кулибин был и раньше предупрежден о строгой конспирации. Но сегодняшний сбор нужно было организовать в совершенной тайне. «Приглашу только самых верных, надежных. Статья поможет им публично разоблачить Борокова, низвергнуть его. Тогда трудовой люд Аюбея поймет, какая сила в организованности и единстве».

Когда люди собрались, Кулибин плотно прикрыл дверь и развернул газету. Читал он негромко, но каждое слово бередило душу крестьян.

«Человек, который провоцировал на восстание крестьян, который говорил односельчанам: «Если не хотите лишиться своих пастбищ, давайте силой заберем их обратно»,— а потом выдал властям десятки ни в чем не повинных людей, оклеветал их, и до сих пор остается на посту старшины и угнетает народ. Такой человек заслуживает всеобщего презрения. Но официальные лица делают вид, что не знают о существовании в селении Аюбей подобного негодяя, облеченного властью старшины. Случайно ли это? Нет.

Как и раньше, этот кровопийца властен над людскими судьбами. Занимается ростовщичеством, всячески опутывает и обманывает односельчан, высасывая из них все соки. Кого можно запугать, как, например, Шахбана Каздохова, о котором уже говорилось, делает своим доносчиком и агентом. А тех, кто сопротивляется ему, как Шогемоковы, объявляет врагами государства. С помощью взяток добивается, чтобы полиция поймала абрека Шогемокова и суд вынес ему смертный приговор.

Таков портрет старшины Аюбея Тугана Борокова».

— Всем, всем надо рассказать,— вскочил горячий Кабардов, едва Михаил Петрович закончил чтение.— Пойду с газетой по улице. Буду показывать людям!..

— Торопишься, Мурат. Остынь,— размеренно проговорил Беймурза Алхасов.

Кулибин задумался.

— А что, если для этого еще раз использовать муллу? Я думаю, что Сохов не откажется обратиться к нему?

Все одобрили. Решили еще, что в святую пятницу, когда народ соберется в мечети, Музачир Сохов снова в разговорах напомнит о статье. Многие его поддержат, и когда обстановка достаточно накалится, можно будет потребовать общего схода, чтобы снять Борокова с поста старшины.

Вечером старый Сохов направился к Мухамеду-эфенди. Он шел степенно и неторопливо, опираясь на посох. Когда подали чай, спросил будто ненароком:

— Разное болтают люди... Вроде бы нашего старшину сделали газетой. Ты ничего не знаешь?

Мулла был поражен новостью. Чтобы не терять достоинства, он важно поправил:

— Ты говоришь, сделали газетой? Так не бывает. Наверное, напечатали о нем в газете?

— Вот я и пришел к тебе разузнать, уточнить. Кто, как не мулла, может знать все новости?

— Конечно, кое-что и мне известно,— соврал мулла.— Но, может быть, ты знаешь какие-нибудь подробности?

Мухамед-эфенди впился взглядом в старика и нетерпеливо заерзал. Погладив бороду, Музачир с видимым безразличием проговорил, глядя в сторону:

— Точно не знаю, но люди толкуют, что в газете напечатали, как он сосет кровь народа, как обманывает односельчан и каким клятвопреступником оказался. В общем, смешали, говорят, нашего Тугана с грязью.

Мулла подпрыгнул от удовольствия, не пытаясь скрыть радости. Он провел рукой по лицу и просветлел, словно перед молитвой.

— Хвала аллаху! Как хорошо! Так ему и надо. И совесть потерял и страх перед богом.

— А я думал, что тебе как мулле все известно,— разочарованно покачал головой старый Сохов.— Жаль, очень жаль.

Мухамед-эфенди был так обрадован новостью, что, проводив гостя, еще раз поблагодарил аллаха. Прочел молитву, в которой горячо просил всевышнего, чтобы весть эта оказалась истинной правдой.

«Надо пойти по селу, разузнать подробнее.— Он направился к двери.— Однако уже ночь стоит, таким образом»,— с сожалением проговорил мулла, оглядывая уснувший Аюбей.

Едва забрезжило утро, Мухамед-эфенди оделся и засеменил по улице, торопясь к самому грамотному человеку в селении, писарю Шашенкову.

— Не знаю, что и случилось, но сегодня ночью Павел Витальевич собрал вещи и уехал,— развел руками хозяин квартиры.

Мулла не стал допытываться. Не стал ничего выяснять у других людей. Останавливая каждого встречного, он, как вкусное блюдо, преподносил новость, добавляя в качестве приправы хитрую уловку:

— К сожалению, сам толком не знаю, верно это или нет. За что купил, за то и продаю.

За какие-нибудь два-три часа весь Аюбей узнал, что «про Тугана Борокова написали в газете, а писарь Шашенков сбежал».

Когда Павел Витальевич Шашенков прочитал статью о старшине, он долго не мог прийти в себя. Сидел, охватив голову руками, вставал, ходил, чуть не плакал. «Что же делать теперь?» Он опять потянулся к газете, но, не дочитав, бросил на пол.

— Он, только он, губитель мой, Кулибин, сочинил статью,— шептал писарь.— А зачем? Зачем живет здесь, будоражит крестьян?

Шашенков задумался. «Политик!.. Ну, конечно. Надо скорее сообщить Борокову».

Обрадованный писарь вдруг снова помрачнел. Кто, как не он, Шашенков, разгласил тайну Тугана? Кто через Кулибина снабжал Шогемоковых фальшивыми документами, на которых стояли подписи старшины и печать сельского правления? А если Бороков узнает о содержании статьи? Пусть неведомым остается ему «Знающий», но старшина располагает фактами, которые уличат писаря.

Шашенков уже видел перед собой разъяренное лицо Тугана и вороненое дуло нагана, направленное ему в живот... Нет, нет! Бежать, и как можно скорее... Иголкой в стоге сена затеряться в огромной России.

Следующий день был пятницей. Помощник муллы с высокого минарета призывал правоверных к полуденному намазу. Аюбейцы спешили к мечети. Шли не только старики, но и молодежь. Всем не терпелось узнать о статье про Борокова. Толкали друг друга, перешептывались, но никто не мог сказать ничего путного.

Закончив намаз, люди долго не расходились, толпились группами во дворе мечети. Громко, чтобы все слышали, Музачир Сохов спросил:

— Эфенди наш, неужели ничего не скажешь по делу, которое всем не дает покоя?

Толпа притихла, все обратились в сторону муллы. Чтобы выиграть время, он подошел к скамейке под большим орехом, сел, раскрыл Коран. Смотрел на арабские слова, но не читал их, а обдумывал, как лучше ответить людям. Не уронить своего авторите-

та и не особенно обострить отношения со старшиной. Не обидеть односельчан и напомнить о могуществе аллаха.

Закатив глаза, мулла нараспев стал произносить непонятные священные слова, изредка заглядывая в Коран. А когда кончил чтение, посмотрел на людей.

— Священное писание, пришедшее с небес, говорит: бог создал человека, наделив его бесконечными желаниями, но ограничил его возможности. Встретившись с горем, он льет слезы, а пребывая в благополучии, становится гордецом, не чует под собою ног. Мусульмане, жизнь на земле, скажу я вам,— лишь одна суета. И хвастовство, и состязание в богатстве, и другие стремления ваши — пустая забава и недолговечная игра. Подобно растениям, которые расцветают после дождя, но скоро вянут, превращаясь в солому, в труху...

Подобные проповеди аюбейцы слышали не раз. Но почему же ни слова о старшине?

Словно угадывая мысли односельчан, Мухамед-эфенди выждал немного и продолжал:

— Таким образом, значит, дело Тугана Борокова — аллахом обусловленное дело. Как только человек появляется на земле, аллах сажает двух ангелов на его плечи. Один записывает все, что он делает хорошего, богоугодного, другой — плохого. Когда грех перетягивает чашу весов, аллах одергивает того, кто возгордился. Нет сомнения, что с Бороковым произошло то же самое...

Мухамеда-эфенди подмывало напомнить односельчанам о недавних зольских делах. Когда он уговаривал, предупреждал: «Не бунтуйте, несчастные, не справиться вам с теми, против кого идете», не послушались, пошли за Туганом, а что случилось? Только глубоко укоренившийся страх перед Бороковым удерживал муллу.

Аюбейцы все еще толком не понимали, каким образом «старшину сделали газетой». Но слова муллы, расценившего это как божье наказание, заставили задуматься правоверных. С одной стороны, вроде можно было и радоваться. А если божий гнев распространится и на них? Все выжидающе молчали.

— Люди Аюбея! — зазвенел голос старого Музачира Сохова. Он вышел на середину, подняв голову, всмотрелся в лица односельчан.— То, что сказал Мухамед-эфенди,— верно. Святая правда от первого до последнего слова. Мы молчим, мы терпим, а Бороков наглеет. Как к собакам относится. Верно я говорю или нет?

Собравшиеся задвигались, закивали головами, но из толпы не раздалось ни слова. Сохов повторил вопрос.

— Верно! — подтвердил старый Алхасов.

— Что правда, то правда! — крикнул Бевов.

Голоса были редкие, несмелые.

— Сам аллах, которому все мы служим, начал одергивать старшину. Но почему мы стоим и молчим, словно рты кто-то забил мукой? Словно кто-то отобрал наше мужество? — гневно спрашивал Мурат Кабардов.

Мухамед-эфенди подошел к Сохову.

— Таким образом, значит, пока перестаньте. Не оскверняйте божьего места мирскими делами и разговорами. Прекратите.

Но разговор, начатый Соховым, было трудно остановить. Словно подожженный стог соломы, он вспыхнул во дворе мечети. Люди вспоминали обиды, нанесенные Бороковым, откровенно радовались, что божье наказание наконец постигло его.

— Хватит, натерпелись!

— Только ишак несет все, что на него положат. Пусть не считают нас за ослов.

— Горевать надо, а не радоваться и не злорадствовать,— попытался пристыдить сход богатей Альботов.

— Скажу откровенно, это не по-мусульмански,— поддержал Альботова Каноков.

Но слова его потонули в шуме толпы.

— Его сделали газетой, и поделом. Из-за Борокова наше село опозорено на весь Кавказ.

— И поделом! Видно, мы лишились мужества и стали трусами!

Это опять выкрикнул Мурат Кабардов. Точно растревоженная пчелиная семья, гудела толпа. Его слова задели честь и достоинство каждого. А Мурат все подливал масла в огонь:

— Аюбейцы! Готовы ли вы очистить свое лицо от коросты позора?

— Готовы! — дружно выкрикнули многие.

— Чего же мы ждем? Правда, как говорят, за семью замками. Мы должны найти ее.

Испуганный Мухамед-эфенди замахал руками, стараясь перекричать толпу:

— Остановитесь! Еще раз говорю, что мечеть и двор мечети — не государственное учреждение. Хотите обсуждать мирские дела — идите во двор правления!

Музачир Сохов снова поддержал муллу.

Толпа двинулась, зашумела.

— Потребуем ответа от старшины!

— Клянусь аллахом, заставим Тугана прочесть душеспасительную молитву.

Бороков сидел в правлении, ничего не зная ни о газете, ни о вновь взбунтовавшихся односельчанах. Его взбесило бегство писаря. «Куда? Почему? Что взбрело в голову этому слюнтяю? Девка небось...»

Он еще не решил, кому донести о бегстве Шашенкова — приставу участка или в окружное правление, когда в кабинет вошли Музачир Сохов и Мадин Маремов. Зашли без обычного «салам алейкум», без поклона.

— Общество требует, чтобы ты вышел.

«С кем они разговаривают? Куда пришли?» Старшина исподлобья метнул взгляд на стариков, но ничего не ответил.

— Выходи. Общество имеет дело к тебе,— повторил Сохов.

Бороков не позволял себе грубо, пренебрежительно разговаривать со стариками. Но, удивленный таким бесцеремонным обращением, бросил с усмешкой:

— Что, вареную голову мне принесли, что ли?

— Нет, Туган,— с достоинством ответил Сохов.— Не принесли тебе вареной головы. Но ты вовлек нас всех в дело, от которого головы разламываются... Выйди, люди хотят поговорить с тобой.

Старшина все еще сидел, с презрением глядя на вошедших. Долго сдерживавшийся Сохов вскипел:

— Муж жены, которая водится с любовником, узнает об этом последним. Похож ты на него, Туган. Мне так думается.

Ухватившись огромными руками за край стола, Бороков встал и шагнул к двери. На крыльце остановился, увидев огромную толпу. Прищурился, закинул руки за спину.

— Что случилось, ы-ы? Почему вы носитесь, как вороны перед снегопадом, ы-ы?

Услышав новое оскорбление, аюбейцы придвинулись к крыльцу. Раздался треск сломанных перил.

— Мы — вороны, а ты — ястреб, да?

— Занял место старшины, чтобы родное село опозорить!

— Под двумя бурками ходишь!

Люди с ним раньше так не разговаривали. Он заставил себя улыбнуться, милостиво помахал рукой.

— Что случилось, аюбейцы? В чем ваше обвинение? Не выслушав последнего слова, подсудимого не казнят.

Из толпы вышел Кабардов. Ловко вскочил на крыльцо и встал рядом с Бороковым. Он достал из-за пазухи аккуратно сложенную газету, развернул. От порыва ветра она зашелестела, забилась, точно пойманная птица...

— Писарь Павло оставил эту газету на память. В ней, Туган, все твои преступления перед народом.

Бороков протянул руку, но Мурат газету не дал. Люди, увидев собственными глазами широкие отпечатанные листы, оживились.

— Пригласите грамотного человека.

— Кулибин может прочесть.

— Зовите Адальбия. Он тоже знает.

— Кулибин лучше прочтет.

Бороков распорядился послать за сыном, но общество запротестовало.

— Ладно,— сказал старшина посыльному.— Иди позови моего служащего.

Пришел Михаил Петрович. Недоумевая, взял протянутую газету.

— По какому поводу позвали меня, хозяин?

— Читай газету.

— Всю целиком?

— Читай то место, где речь идет об Аюбее.

Кулибин бегло перелистал страницы «Кавказа».

— Не нашел я такой статьи, хозяин.

— Ы-ы, сопляк,— надвинулся старшина на Мурата,— что теперь скажешь? — Налитые кровью глаза Борокова были готовы испепелить оскорбителя.

«В чем дело?» — недоумевали собравшиеся аюбейцы. Одни опустили головы, другие, раскрыв рты, смотрели то на старшину, то на Кабардова, третьи искренне жалели Мурата, который, видимо, по молодости влип в неприятную историю.

— Сопляк я или мужчина — не обо мне речь сейчас, Туган,— не растерявшись, спокойно отвечал Кабардов.— Писарь Павло сам показал мне на нее. Вот она.— Кабардов ткнул пальцем в край страницы.— Но вы знаете, что Михаил Петрович — работник Борокова, его служащий. И, как говорится, должен петь песню хозяина, потому что сидит на его арбе.

Кулибин выдернул газету у Мурата и, прикинувшись оскорбленным, стал снова листать ее.

— Да, я просмотрел. Извините. Такая статья есть в газете.

Мухамед-эфенди, который скромно и тихо стоял в сторонке, причмокнул от удовольствия.

— Читай! Таким образом, читай, как там написано.

Михаил Петрович пожал плечами и вопросительно посмотрел на Борокова. Тот мотнул головой.

— Может, все-таки не стоит, хозяин, а? — хитровато улыбаясь, спросил Кулибин.

Подчеркнутое угодничество не понравилось народу. Толпа зашумела, потребовала немедленной огласки газетной статьи.

Кулибин покорно присел на ступеньку крыльца, развернул на коленях газету и начал читать сначала по-русски, а потом переводя на кабардинский язык.

Перед каждым из собравшихся снова возникли памятные дни Зольского восстания, суд скорый и неправедный, осужденные на каторгу по милости старшины неповинные односельчане... И чем дальше читал Кулибин, тем глубже старался Туган вобрать голову в могучие плечи. Опущенные веки его вздрагивали. Он открыл глаза и обвел всех блестящими, как у сыча, глазами. Кулибин еще не закончил чтения, когда старшина вырвал газету и трижды разорвал ее.

— Опять бунтуете, аюбейцы! Если не хотите лить кровавых слез, сидите в своих берлогах и молчите,— крикнул старшина, высоко подняв руку.

Музачир Сохов бросил ему из толпы:

— Сын Борокова! Ты — сильный, ты можешь разорвать газету. Но обид и оскорблений, нанесенных нам, тебе не смыть. Нет у тебя таких сил, Туган...

— Немало слез ты заставил пролить аюбейцев,— начал Кабардов, но кто-то дернул его за черкеску.

— Таким образом, значит, есть постарше тебя. Таким образом, мог бы и помолчать. Отойди в сторонку... Мусульмане, люди аллаха, почему сходите с ума? Остепенитесь и не вызывайте божьего гнева!.. А тебе, Туган, аллах напоминает, что жизнь твоя подходит к концу! Пора опомниться. Ты — мусульманин.

— Откуда ты знаешь, что моя смерть близка? — крикнул старшина.

— Откуда, спрашиваешь? По меткам аллаха. Лысина на голове, седые волосы, зубы, которые поредели, морщины на лице — разве мало тебе божьих меток? Таким образом, значит, теперь надо тебе жить, не вызывая божьего гнева.

И, снова обратившись к обществу, мулла закончил:

— Не грызите друг друга, станьте на стезю мира и спокойствия. Жизнь на земле не вечна, помните о спасении душ ваших.

К словам муллы присоединились те, кто всегда держался бороковской стороны. Они даже поблагодарили Мухамеда-эфенди «за мудрые слова, просветившие ослепленных злобой и ненавистью».

Мухамед-эфенди испытывал необыкновенную радость. Наконец-то он, духовный отец, посланец бога, стоит и над обществом и над старшиной. И все согласны с ним, послушны ему.

Седобородые старики, еще недавно разгневанные и яростные, теперь согласно кивали головами. «И в самом деле, зачем портить себе бесконечную жизнь в потустороннем мире из-за временной жизни на земле? Зачем лишний раз вызывать божий гнев?»

По затихавшим голосам, по задумчивому виду людей Кулибин понял, что крестьяне могут отступить, пойти на примирение с Бороковым.

«Хитрая бестия мулла»,— пробормотал он и смиренно попросил разрешения сказать несколько слов.

— Люди Аюбея! Верно или не верно то, что я прочел в газете по поручению моего хозяина?

— Верно,— загудел сход.— Все чистая правда!

— Вы живете одним селением и сами можете решать свои дела. В них я вам не советчик. Скажу другое. После того как я узнал, какой двуличный, вероломный человек мой хозяин, честь моя и совесть не позволяют мне служить у него.

Обратившись к Борокову, он добавил:

— С сегодняшнего дня я больше не служу у вас.

— Берегитесь дракона о трех головах!

— Верно, верно говорите,— крикнул Кабардов.— Снять его с должности старшины, иначе всем поодиночке оторвет головы.

Молчавший до сих пор старый Альботов, выйдя в круг, поднял обе руки и крикнул:

— Это тебе, голодранцу Кабардову, бесстыжему крикуну, надо оторвать голову. А о Тугане Борокове скажу, что более сильного, более мудрого человека у нас в селении нет. И он останется старшиной. Да, останется!

Шахбан Каздохов, чтобы стать повыше, поднялся на ступеньку крыльца.

— Вспомните, аюбейцы. Поспешили мы однажды, и дорогой ценой пришлось заплатить за это...

Оказавшийся возле Каздохова Мурат прервал:

— Слушайте, слушайте все Шахбана! Того самого Шахбана, брат которого гниет на каторге по вине Борокова. Того Шахбана, который сам был посажен в тюрьму Бороковым.

— Да, верно. Пострадал бедный Шахбан из-за старшины,— вздохнул какой-то старик.

— А теперь — смотрите!

И Мурат стянул с него войлочную шляпу. Лысая голова, покрытая коркой заживающих ран, предстала перед сходом.

— Пострадал Шахбан, только на этот раз по другому поводу.

Каздохов торопливо натянул шляпу, хотел уйти, смешаться с толпой, но Мурат удержал.

— Рассказывай, а то всем обществом изгоним из села,— пригрозил Сохов.

— Туган поклялся именем аллаха, что сошлет и меня на каторгу, если не обнаружу Шогемоковых... Испугался я, пожалел детишек... А тут Пако пришел. Вместе с ним мы и поймали Зрамука...

Впервые за сегодняшний тревожный день в толпе раздался дружный смех.

— Кто кого поймал?!

— Или это Шахбан сам себя бил?

Отпустив Каздохова, Мурат Кабардов спросил у Мухамеда-эфенди:

— Скажи, эфенди, можем ли мы терпеть среди нас клятвопреступников? Как аллах смотрит на такие дела?

Видя перед собой разгневанную толпу, мулла стал действовать решительно. Как представитель пророка на земле он обратился к односельчанам с короткой проповедью.

— Люди, маленькие люди аллаха, не отчаивайтесь. Бог не прощает зла и несправедливостей. Нет ничего, что не осуществилось бы из предначертанного. О, когда я вижу людей, вышедших из воли аллаха и творящих неугодное богу, мне кажется, что приходит конец света. И что солнце пропадает во мраке, а звезды меркнут, и что горы сдвигаются со своих мест, а звери толпятся и ревут, что моря закипают, исчезает небесный покров и разгорается пекло в аду...

Мулла постоял некоторое время в задумчивости, словно советуясь с богом. Потом решительно взмахнул рукой:

— Маленькие люди аллаха! Если не хотите приблизить последнего часа света, прокляните клятвопреступников. Нельзя, чтобы вы взяли на свои души их грех.

«Сам аллах наставляет нас»,— думали аюбейцы. Но настолько была велика и словно витала в воздухе власть старшины, что они

не решались сразу среди бела дня подвергнуть публичному проклятию и Борокова и Каздохова. Некоторые были настроены решительно, другие отговаривали, спорили, ругались.

«Если сейчас не выступить, потом будет поздно»,— подумал Бороков и поднял руку, прося тишины. За эти несколько минут он стал гораздо меньше ростом, глаза уже не смотрели так презрительно и надменно, лицо поблекло.

— Дорогие сограждане! Стыдно мне выступать перед вами, но, как говорится, когда с паршивой головы упала шапка,— краснеть поздно. Стыдно, что опозорил меня этот маленький человек и словами и действиями. Я просил его только узнать местопребывание Шогемоковых, чтобы вступить в переговоры. Клянусь аллахом,— так это было.

Что-то пытался выкрикнуть из толпы Шахбан Каздохов, даже приблизился к крыльцу, но отступил под немигающим взглядом старшины. И голос Борокова снова зазвучал тихо, просительно:

— Да, куда лучше иметь дело с умным врагом, чем с дураком-благожелателем. Я ошибся, доверив важное дело Каздохову... Сограждане! Дорогие мои! Одна покорнейшая просьба у меня. Если хотите похоронить меня, как мусульманина, когда умру,— отложите на время мое дело. Очень прошу вас.

Многие и на этот раз поверили Тугану, даже пожалели его. Но большинство схода стояло на своем. И когда после долгих споров и пререканий взметнулись в воздух загорелые жилистые руки, Бороков понял, что проиграл.

— Раз нет писаря, попросим тебя, Михаил Петрович, записать наше решение,— сказал старик Сохов.

Кулибин взял бумагу и чернила в правлении и тут же на крыльце стал записывать.

«Тугана Борокова, неоднократно уличенного в нарушении клятвы, а также способствовавшего осуждению и ссылке на каторгу невинных людей,— снять с должности сельского старшины Аюбея.

Просить правителя Большой и Малой Кабарды и пяти горских обществ утвердить решение схода.

Направить в слободу Нальчик Музачира Сохова, Мурата Кабардова и Мадина Маремова с тем, чтобы они устно доложили правителю о всех преступлениях Борокова».

Шахбана Каздохова осудили по старинному обычаю. Решили посадить на старую клячу лицом к хвосту и возить по улицам села, чтобы везде узнавали его, как двуличного человека и предателя.

Нашлись недовольные решением суда. И снова — галдеж и перебранка. При общем шуме Кулибин второй раз стал читать приговор, и в это время к правлению рысью подъехал казак с пикой и небольшим аккуратным ящиком под мышкой.

«Мы же говорили...— пронеслось в голове у тех, кто пытался защищать Борокова.— Его голыми руками не возьмешь. Вызвал казаков».

Казак спешился, подошел к крыльцу и молодцевато щелкнул каблуками.

— Господин старшина! Вам посылка от его благородия полковника Крушинского.

Бороков вспомнил этого страстного охотника, много раз посещавшего аюбейские земли. Старшина всегда с почестями принимал его.

«Это аллах прислал мне спасение! Пусть теперь знают, подлецы, что у меня есть кунак-полковник, адъютант самого правителя Кавказа». Бороков просиял:

— Эй, посыльный! Открыть ящик!

Аюбейцы с любопытством вытянули шеи.

Сверху лежал пакет, который посыльный передал старшине. Туган принял его, как драгоценность. Не сдерживая ухмылки, обратился к Кулибину:

— Хотя ты и не служишь уже у меня, удружи, прочти письмо. Я думаю, это не осквернит твоей незапятнанной чести... А ты поскорее вынимай подарок. Пусть все его видят, у меня нет тайн от схода,— сказал он посыльному.

Тот долго копошился с ящичком, от которого шел странный запах: Бороков не выдержал и сам полез в ящик. Пальцы прикоснулись к чему-то скользкому в обрывках мокрой бумаги. От неожиданности Туган выронил присланное и остался стоять растерянный, растопырив испачканные руки.

— Хорошо, Туган, я исполню вашу просьбу. Читаю письмо: «Не тебе, Туган Бороков, завладеть головой Шогемокова. Твоей совести и мужеству твоему наиболее соответствует другой дар — бычий пузырь. Храни его как память обо мне. Исмел Шогемоков».

Бороков все понял... Когда Крушинский охотился на землях Аюбея, Шогемоков был загонщиком. Вот он и оформил посылку от имени полковника.

Смеялись все. Широко улыбался Кулибин. Хохотал Мурат. Музачир Сохов даже прослезился от смеха. Отвернувшись, беззвучно трясся Мухамед-эфенди. И, довольный, хихикал, затерявшись в толпе, маленький Шахбан.

Если бы казак пронзил Борокова пикой, то и это не было бы больнее беспощадного, разящего, насмерть убивающего смеха. Бледный, опустив голову, Бороков шел домой. А раскаты смеха, точно вспененные морские валы, настигали его и вновь и вновь окатывали с головы до ног.

10

«...Старик встал и произнес клятву вечно защищать свободу и равенства народа. Услышал это бог и разгневался:

— Отступись, несчастный! Не твое это дело.

Сурово покачал головой могучий человек, не отступил. Бог повелел приковать его к огромной скале Ошхамахо.

— Проси пощады!

Снова покачал старик головой, посмотрел на бога покрасневшими, как раскаленные угли, глазами.

Затянула стража длинную тяжелую цепь. А старик не сдавался, рвал оковы. И громом гремел на земле звон цепей, искры от ударов сверкали молнией, тяжелое дыхание старика бушевало на земле ураганом, слезы его лились бурными потоками со снеговых вершин.

И все видели его издалека, видели его силу и муку, понимали, как надо бороться «за свободу и равенство на земле».

Кулибин закрыл толстую тетрадь, куда он заносил кабардинские легенды и предания старины, задумался.

Конечно, пора было покидать Аюбей, и как можно скорее, пока сбежавший Шашенков не донесет на него жандармам. Потому и сказал на сходе Михаил Петрович, что отказывается служить Борокову. Но какое решение привезут из Нальчика от Клишбиева аюбейские ходоки? Почему они так задержались? Это тревожило Кулибина. Ведь, если начальник округа не утвердит приговор общего схода, нужно предпринять какие-то другие меры, заставить Клишбиева согласиться с волей аюбейцев.

«Впереди — Пятигорск и Минеральные Воды,— думал Михаил Петрович.— Начнется второй этап работы. Охватить всю Кабарду, связаться с социал-демократами городов...»

Кулибин пригласил сегодня нужных людей. «Хочу послушать старинные кабардинские песни, записать их»,— с улыбкой добавлял он. А на душе было невесело.

Уложив тетради в чемодан, он вышел из кунацкой и присел на пенек возле ворот. Стал вглядываться в даль улицы.

Наступал обычный летний вечер. Возвращался с пастбищ скот, пыль желтой кисеей висела над селением. И сгущающиеся сумерки, и пыль, и камышовые крыши домов — все было желто-серым, однообразным, тоскливым. Раньше Михаил Петрович этого не замечал: недосуг было... А сегодня унылая, безрадостная картина навевала тяжелые думы и предчувствия.

Уже совсем стемнело, когда подошли с посохами старики и более молодые. Степенно присели на широкий пень, начали неторопливый разговор о погоде, о делах своих.

Кулибин пригласил гостей в кунацкую, зажег лампу.

Человеческую душу можно настроить на определенный лад, как это делают с музыкальным инструментом. Но, конечно, не сразу, не вдруг. И седобородые певцы хорошо знают это. Сначала — малозначащие слова, короткие фразы, паузы. Потом постепенно приходят сосредоточенность, глубина. И начинается главная песнь — песнь жизни, старой и вечно новой.

— Уважали в старину правду, уважали верность своему слову,— проговорил белый как лунь старик, охватив отполированный

ладонями посох.— Если человек давал слово, то выполнял его или жертвовал жизнью. Третьего исхода и допустить нельзя было.

Высокий, худой, с лицом, подобным высохшему гранату, Беймурза нахмурился.

— К несчастью людскому,— с горечью произнес он,— и в старину жили правдой не все. Было и коварство, встречалась и подлая хитрость. Вот если взять Бороковых...

— Что это мы все о Тугане да о Тугане,— улыбнулся Кулибин.— Будто и разговора другого нет. Надоел он, хватит вспоминать...

И, спохватившись, прижал руку к груди:

— Извините, почтеннейшие, что перебил вас. Не сдержался, прощения прошу.

— Не торопись, Кулибин,— заметил Беймурза.— Не зная начала, трудно понять конец сказания. Не о Тугане речь пойдет, а о его отце Долате.

Старик уселся поудобнее, положил руки на колени.

— Видно, верна притча о начале всех бед. Это начало — женщина. Клянусь аллахом, что это так. Нет бед, которые были бы не от нее.

Он откашлялся и продолжал:

— Я хочу рассказать историю давнюю: с тех пор много воды утекло в горных потоках. Отец Тугана — Долат был тогда молодым. Отчаянным мужеством, бесстрашием славился на всю округу. Но был завистлив, самолюбив и вспыльчив.

Появилась в селении красавица по имени Зулий. Откуда взялась — спросите вы? Как роза расцветает из незаметного зеленого бутона, так и Зулий из обычной девочки превратилась в красавицу. Черные глаза, как терновые ягоды после дождя, длинные ресницы, тонкие брови вразлет, лебединая шея... Посмотрит с нежностью — любого джигита заворожит. И влюбленных было в нее — не перечесть. Любая свадьба как свадьба, но если пройдет слух, что будет на ней Зулий,— двор становился тесен.

Особенно любил ее Канамат. Высокий, стройный, с приветливым взглядом и пышными золотистыми усами. Первый джигит в округе. Когда гарцевал на коне, одним выстрелом сбивал иголку со знамени или танцевал «кабардинку», Зулий не отрывала от него глаз.

И Долат был хорошим джигитом, тоже влюблен был в красавицу, но сердце Зулий трепетало от имени Канамат. И как ни хитрил Долат, как ни пытался расположить к себе девушку — ничего не вышло. «Умыкну!» — решил он. Но, узнав об этом, Зулий лишь возненавидела юношу.

И поклялся Долат отомстить девушке и счастливому сопернику.

Послал сватов Канамат к родителям Зулий. Не отказали они, но потребовали большой калым. А у Канамата только душа богата, другого богатства не было. Видно, всевышнему не хотелось

соединять их сердца.— Беймурза вздохнул, притронулся рукой к глазам. Свою ли молодость вспомнил или смахнул стариковскую слезу... Снова зазвенел его окрепший голос: — Многие сватали Зулий. Но женился на ней молодой князь Эльмурза. И красивым был и богатырем, однако не чета Канамату. Поговаривали, что у него чахотка. И все же богатство взяло верх.

Старалась Зулий всем сердцем полюбить князя — не смогла. Только и было что почтение. А подозрительный князь ревновал молодую жену даже к собственной тени.

Тут Долат и решил, что настало время для мести. Как-то, провожая князя на охоту, улучил удобный момент и шепнул:

«Знаешь ли, что Канамат по ночам рвет огурчики в твоем огороде?»

«Как так?» — не понял князь.

«Очень просто. Он намеревался распороть своим кинжалом коншибу [1], которая досталась твоему счастью. Не вышло. Тогда он и стал захаживать в спальню, когда тебя нет».

Вздрогнул Эльмурза, точно прикоснулся кто к незаживающей ране.

«Долат, я могу верить тебе, могу и не верить. Только учти: если это окажется ложью, ни тебе, ни роду твоему не жить».

«Эльмурза! — воскликнул Долат.— Моей верности и преданности ты не доверяешь? Да еще и угрожаешь мне! Подумай, князь, с кого первого слетит голова в борьбе!»

Притворившись глубоко оскорбленным, Долат вскочил на коня и ускакал. Вечером того же дня отправился он к своей тетке Фатиме, которая много лет была няней Зулий. Рассказал ей о своем разговоре с князем. Потребовал, чтобы она передала Канамату: «Эльмурза в отъезде. По срочному и важному делу ты нужен Зулий. Приходи ночью и тихо постучи в окно первой комнаты».

«Речь идет о жизни всего нашего рода. Надо доказать, что я говорил правду, поняла?»

Испуганная женщина согласилась исполнить поручение племянника.

Подкараулил Эльмурза ночного гостя. Метким выстрелом уложил наповал на своем дворе. Как бешеный, влетел в спальню жены, вытащил за косы и бросил около теплого трупа. Хотел и ее убить тут же, но сдержался. В знак того, что она уже не жена ему, отрезал черные косы кинжалом, связал ей руки и, плюнув в лицо, бросил в подвал.

Судил Зулий шариатский суд. Не скрывала она, что знала Канамата, что любила его, но только до замужества. Горькие слезы лились из ее глаз. Догадывалась она, что стала жертвой злобного наговора.

И шариатский суд постановил сбросить Зулий с вершины горы.

---

[1] Коншиба — корсет, который, по обычаю, муж разрезает кинжалом в первую брачную ночь.

Тяжело скрипела арба с впряженными в нее двумя черными волами, будто не хотела въезжать на крутую гору. Волы еле двигались, хотя легкой была поклажа — худая девушка в белом саване. Когда вынесли и поставили ее над обрывом — не крикнула, не шевельнулась. И если бы не ветер, раздувавший холстину, можно было подумать, будто вырос на вершине могильный памятник.

Мулла прочел молитву и сделал знак мужчинам, стоявшим поодаль.

И в это время раздался громкий крик. Задыхаясь, раскинув руки, точно птица, подбежала Фатима и кинулась к ногам Зулий. Она голосила и причитала:

Я, я погубила... невинная она!
Ах, дайте отраду,— убейте меня!
О дочь моя! Где ты? Иду я к тебе —
С тобой неразлучно жила и умру,
Тебя погубила — и гибну сама...

Старая Фатима крепко ухватилась за Зулий...

Тут же судьи отменили свой приговор. Зулий и Фатиму отвезли домой. Но молодая жена отказалась жить с кровавым ревнивцем и уехала со своей старой няней к родному отцу.

Опозоренный Эльмурза долго охотился за Долатом, но так и не сумел отомстить. Вскоре зачах и умер. А Долат покинул навсегда эти края и переселился в наш Аюбей. Устроился телохранителем Борокова, женился, получил надел из общинных земель.

Так начиналась родословная Бороковых...

Смолк Беймурза. Нахмурились старики под впечатлением трагической истории. Михаил Петрович вспомнил очень похожее предание, записанное уже в его тетради. Но оно не имело никакого отношения к роду Бороковых. Так ли это? Он поделился со стариками своими сомнениями. Они не согласились.

— Люди похожи друг па друга, это верно,— сказал Беймурза.— И дела человеческие вроде тоже. Иногда кажется, что одну историю переделали в другую. Но это не так. Все они разные.

— Много есть совпадений, это верно,— поддержал другой и запел «Песню крепостных»:

Мы родились в годину страданий.
Пусть вовек не рождают детей князья.
Душу мучают думы ночные —
Умирают от них крепостные.

Замолк на минуту старик, потом тихо обратился к Беймурзе:

— Продолжай. Если можно — «Сармахо».

Закрыл глаза Беймурза, точно задумался, вспоминая, и вновь ожила мелодия только что спетой песни. Но другие были слова:

Мы родились в годину страданий...
Пусть никогда не рожают детей царские жены...

Ненавистный царь пускает в ход семь страшных машин...
Семь страшных машин начинают гудеть...
От их гудения обе половины бороды седеют сразу.
Зависть в наших сердцах вызывает
Тот, кто первый из нас умирает...

Несмотря на неизбывную печаль, песня кончалась радостно:

Но те, которые останутся после нас,
Победят и счастье к ним придет!

Кулибин давно хотел записать эту песню. Но сегодня что-то не ладилось. От волнения он пропускал слова и строки, сломал карандаш и в сердцах чертыхнулся.

— Хватит песен,— печально сказал Беймурза, положив ладонь на плечо Кулибина.— Видно, сердце и мысли твои далеко, и наши — тоже...

— Что ж, договаривай... О наших ходоках думаем и беспокоимся. Прямо так надо и признаться,— согласился Михаил Петрович.

— Верно, сын мой. Но не сочти за упрек,— мы не хотим сказать: сам заварил кашу, сам и расхлебывай.

— Нет, нет. Я так не думаю. И от начатого дела, от борьбы за правду, за справедливость не отступлю. Это мой долг.

Кулибин сообщил, что завтра покинет Аюбей и отправится в Нальчик. Попытается связаться со своими и так взбудоражить общественное мнение, что придется к нему прислушаться не только правителю Нальчикского округа, но и властям повыше.

— Добрый почин да увенчается успехом,— горячо проговорил Беймурза.

— Дай бог, дай бог, чтобы твоя рука достигла того, к чему стремится сердце,— сказал Бевов.

Долго еще сидели крестьяне, говорили о своих делах, о нелегкой борьбе.

— Главное — быть сплоченными, держаться вместе, организованно. Легче тогда и отбиваться и побеждать,— убежденно повторял Михаил Петрович.— Победим в малом — победим и в большом.

Поздним вечером проводил он стариков, разобрал постель, потушил лампу и лег спать. Но ему не пришлось уснуть. Вернувшийся Беймурза Алхасов сказал обеспокоенно и торопливо:

— Уходи! Скорее уходи!

— Что случилось?

— Жандармы нагрянули в правление. Двое. Они распорядились вызвать Борокова. Посланный ими сторож предупредил меня на дороге. Арестовать хотят тебя. Беги, пока не поздно!

Михаил Петрович встал, провел пятерней по волосам. Быстро оделся. «Куда же теперь? Ночь...» Взгляд его упал на приготовленный заранее чемодан. Его нельзя захватить с собой. «Какая жалость... Столько записей».

— Слушай, Беймурза, чемодан этот спрячь.

Он обнял, поцеловал старого Алхасова и шагнул к дверям.

— Нельзя туда. Надо в окно, в сад. Потом огородами к лесу.

Послышался треск веток, и ночная темнота сада поглотила Кулибина.

Беймурза, схватив чемодан, поспешил к хозяйке.

— Нисэ! Проснись! К вам могут прийти казаки, чтобы арестовать Михаила Петровича. Скажешь им, что уехал сегодня в Нальчик. Поняла?

Старуха заохала, запричитала:

— Как же я одна? Казаки ведь...

— Тебе, Нисэ, эти петухи ничего не сделают, не бойся.

Беймурза, выбежав со двора, юркнул в темный переулок, чтобы незамеченным добраться домой.

11

Недолго гостила у бабушки Жанэт, заскучала, начала собираться домой. А когда вернулась, застала мать в слезах.

— Отец людей подбирает искать Шогемоковых,— только и могла проговорить Жангуаша и снова заплакала, запричитала. Понимала бедная женщина, что не в силах она отвратить беду, что нет у нее друзей и помощников. Потому долгие часы горячо молилась, просила аллаха спасти жизнь сына и мужа. И когда кончались молитвы, продолжала перебирать четки и беззвучно шевелить губами:

— Бог великий и могучий, спаси и сохрани их!

Заметив возвращавшегося Тугана, она торопливо убирала коврик, прятала четки и уходила на кухню или в курятник, только бы не встретиться с угрюмым мужем. А когда его не было дома, сидела у очага, вытирала слезы краешком косынки и жаловалась дочери на горькую судьбу, на несправедливость. И Жанэт утешала мать, как могла, и, обняв ее, тоже плакала.

Узнала Жанэт от матери о «подарке», которым пожаловал Исмел Шогемоков своего кровника. Весть эта неприятно поразила девушку, до боли обидела. Потухли глаза, посерело лицо. Словно с двух сторон впились в сердце стрелы: жалость к отцу и любовь к Зрамуку. «Что же я делаю, негодная? Отцу изменяю, помогаю кровникам... А разве это измена? Разве пролитая кровь будет лучше?»

Жаркое сердце Жанэт не знало покоя. Как избавить мать от страданий? Что сделать, чтобы предотвратить гибель отца и брата? А Зрамук? А верность клятве?

Печаль толкнула девушку к Зейнаб, единственной близкой подруге. Легким перышком пронеслась Жанэт по улице. А когда подошла к усадьбе Соховых, остановилась, замерла. «Огонь нена-

висти между нашими родами теперь не погасить. Чем может помочь Зейнаб? Наверное, лучше вернуться домой...»

Она стояла, опустив голову, худенькая, тонкая, и чуть покачивалась, как тростинка. «Нет, нельзя допустить кровопролития. Может, удастся предупредить, как однажды, через Мурата...»

Она решительно шагнула во двор. Жанэт не знала, что старый Сохов вместе с двумя односельчанами был послан сходом в Нальчик, чтобы утвердить смещение старшины. Не знала она, что Клишбиев принял у ходоков решение схода, а их самих бросил в тюрьму, как бунтовщиков. Плач и стенания женщин и детей встретили девушку на пороге. «И здесь горе!»

Узнав о случившемся, Жанэт поплакала с подругой, искренне посочувствовала. Она вспомнила доброго, приветливого старика, который часто говаривал: «Ты, моя красавица, на редкость сердечна, жалостлива, словно не бороковская». И собственные беды перед чужой печалью стали казаться меньше, поправимей.

Прошел день, другой. Минула неделя. Срочно вызванный в Нальчик Бороков вернулся в отменном настроении. Часто подкручивал усы, которые прежде свисали, смотрел с хитроватой ухмылкой. Исчезли с лица его суровость и злость, походка опять стала широкой, неторопливой. Подобие доброты промелькнуло в глазах. Он перестал даже готовить людей для поиска Шогемоковых и расправы с ними.

Жанэт не утерпела, спросила. Отец ухмыльнулся, толкнул ее пальцем в бок:

— Дела наши, дочка, приняли, с божьей помощью, приятный для нас оборот.

Адальбий стал чаще приезжать из Нальчика домой, был весел, шутил. Однажды долго просидел в комнате отца, а когда вышел, Жангуаша спросила:

— Сын мой, что же ты не порадуешь мать? Скажи, какое солнце засияло над нашим домом, откуда добрый свет в отцовских глазах?

Во всем любил Адальбий подражать отцу, хорошо помнил его совет — никогда не посвящать женщин в мужские дела. Но такую радость разве удержишь? Растянув в улыбке бескровные губы, он с важной многозначительностью произнес:

— Лошадь, мама, может всяко себя повести. Может брыкаться, чтобы сбросить всадника. Но настоящий джигит крепко натягивает узду, дает почувствовать плеть, и лошадь делается послушной.

— Будь счастлив, сын мой, ты хорошо говоришь. Но я спрашиваю не о том, как приучают лошадей ходить под седлом.

— Значит, ты не поняла меня, мама. Бороковы приручают и делают себе послушным весь Аюбей. Снова аул будет нам подвластен. Во всем!

Адальбий любил иной раз прихвастнуть, выдать одну копну сена за десять. В действительности дело обстояло иначе.

Когда ходоки Аюбея пришли к правителю Большой и Малой Кабарды, тот принял их участливо. Выслушал, взял решение сельского схода, попросил день-другой подождать, чтобы обдумать. Не показал и виду, что помнит зольских бунтовщиков и зачинщиков восстания — аюбейцев. Но едва закрылась дверь за ходоками, Клишбиев рассвирепел. И прежнее-то восстание костью застряло поперек горла, а тут новое недовольство, новый бунт.

Полковник немедленно позвонил во Владикавказ, доложил генерал-губернатору Терской области.

Генерал Флейшер тоже хорошо помнил это село и не питал добрых чувств к его жителям. Нарочито усталым голосом проговорил в трубку:

— Ходоков арестовать как заложников. Держать до тех пор, пока сельский сход не выдаст зачинщиков бунта. А в отношении старшины... Что он из себя представляет?

— Сильный человек, ваше высокопревосходительство. Все село в кулаке держит.

— Не совсем лестная характеристика... Впрочем, в военное время такие нужны.— После небольшой паузы генерал Флейшер продолжал:— Сами подумайте, полковник: сегодня им не по нраву старшина, а завтра, если им уступить, они могут потребовать нашей с вами отставки.

— Землю у меня носом пропашут,— проговорил Клишбиев после того, как положил телефонную трубку.

На следующий день, когда Сохов, Кабардов и Маремов пришли за ответом, им сказали, что правитель будет разговаривать с ними в другом доме. Крестьян повели в «другой дом» и как заложников бросили в тюрьму.

Конечно, всего этого Адальбий не знал. Но ему удалось пронюхать, что послезавтра в Аюбей пожалует сам правитель Кабарды и наведет порядок... А потом...

— Послезавтра, мама, отец снова станет старшиной. Увидят неуки-аюбейцы, как Бороковы будут гонять их, словно стадо ослов.

«О, услышал аллах мои молитвы»,— с благодарностью подумала Жангуаша. Но не было почему-то на сердце облегчения, настоящей радости. Тоска и беспокойство продолжали таиться в глубоко запавших глазах.

— Вот так, мама. Послезавтра — пир. Готовься! Отец велел привести из отары трех баранов. Еду туда.

Адальбий вышел на крыльцо и весело запел:

Хасбулат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.

Остановился, посмотрел на мать.

— Что грустишь? Танцевать надо, а не грустить! Ну-ка, вспомни молодость!

И опять запел:

Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
И за это за все
Ты отдай мне жену!

Голос у него был свежий, приятный, совсем не похожий на голос Тугана. Мать подняла голову и посмотрела ему вслед. Сын шел вразвалку, как Туган. На короткой шее крепко сидела Туганова голова. Это — он! Жангуаша вздрогнула. Со двора шел молодой Туган, тот самый, который когда-то завладел ею хитростью и обманом. Ни слова доброго не слышала она от мужа за долгие годы, ни ласки не видела. Одна только грубость, окрики...

— Молю тебя, о аллах великий, не делай моего единственного сына похожим на отца душой и сердцем,— прошептала она, провожая Адальбия взглядом и до крови кусая губы, чтобы удержать слезы.

Вбежала Жанэт, словно ветерок пронесся по кухне.

— Что с тобой мама? Опять ты грустная. Адальбий встретил меня на улице веселый, обнял даже. Не бывало с ним такого. Говорит, что торжество у нас.

— Твой отец, моя девочка, оказался сильнее, могущественней всего села. И он остается старшиной.

— Счастье какое! Наша взяла,— по-детски запрыгала Жанэт и стала целовать мать в щеки, в лоб, в шею.

— Дай аллах, дай аллах. Только чтобы не было счастье наше росой, не высохло быстро. Много у нас врагов. Ой, много.

При упоминании о врагах Жанэт помрачнела. И мать и дочь были довольны победой Тугана. Почему же не радоваться? Но каждой из них шептал маленький робкий голосок: «А если счастье росой окажется?» И они сидели молча, будто прислушиваясь к этому голосу, ожидая, что он скажет дальше.

Вернулся Туган, довольный, веселый. Окинул взглядом женщин, провел рукой по усам.

— Все теперь увидят, чей стог выше. Попомнят Тугана Борокова... Я уж постараюсь...

Как всегда, Жангуаша не смела возразить. Молча перебирала бахрому платка. Потом, заранее ожидая грубого окрика, все же тихо и нерешительно промолвила:

— Не надо бы тебе ни поста старшины, ни вражды односельчан. Богат, есть чем заниматься. Сидеть бы дома и жить мирно...

Туган сделал шаг к жене. Но не закричал, не оборвал грубо: «Закрой рот! Не лезь не в свои дела!» Серьезно, как равный с равной, заговорил:

— Мужчина без врага — разве мужчина! Главное — не стать таким, как желают того противники. Мы взяли верх над глупыми чувячниками. Мы победили. И — бесповоротно. Вот что важно.

Когда отец заговорил о своих противниках, у Жанэт невольно вырвалось:

— А Шогемоковы как?

— Не беспокойся, моя красавица. Чужими руками, только чужими руками раздавим их.

Пухлые пальцы Тугана растопырились и сомкнулись в воздухе, словно показывая, как будут задушены враги. Ему было приятно, что и дочь на его стороне, тоже желает скорейшей расправы с кровниками.

— Участь Шогемоковых решена. Сам Клишбиев обещал помочь в этом деле.

Жанэт опустила глаза, съежилась, как лист лопуха в знойный день. Чтобы не выдать себя, быстро вышла во двор.

— Доченька,— обратился к ней краснощекий и крепкий старик Альботов, отворяя калитку.— Мы к твоему отцу. Скажи ему.

С ним было еще несколько сторонников Борокова, защищавших его на недавнем сходе. В знак особого уважения Туган пригласил их не в кунацкую, а в свою комнату. Долго сидели они, обсуждая, кто и как будет выступать послезавтра на сходе, чтобы дать бой «сыромятным чувякам» в присутствии правителя Кабарды.

Народ говорит, что «секретным остается то, что знает один человек, а если знают двое, это уже не секрет». Аул быстро облетела весть о скором прибытии Клишбиева и о приготовлениях приверженцев Борокова. И когда сельский глашатай на каждом перекрестке созывал людей на сход, многие противники старшины решили отсидеться дома.

...Большое пыльное облако приближалось со стороны Нальчика. Вскоре показался фаэтон, сопровождаемый конными стражниками. Выпрыгнул Клишбиев. Взгляд его был грозен. Острые кончики закрученных, как бараньи рога, усов торчали, словно иголки. Звеня и подпрыгивая, катилась на колесиках сабля. Он сразу направился в середину схода,— люди поспешно расступились,— остановился у стола, оперся на него рукой.

Двадцать стражников окружили сход, направили на толпу пулеметы.

— Я приехал к вам, аюбейцы, не для приветствий! И не для игры в кошки-мышки! Понятно вам или нет?

Правитель окинул взглядом крестьян и остановился, словно ожидая дружного согласного ответа. Но аюбейцы молчали. Многие, словно провинившиеся дети, стояли потупив взор, стараясь не встречаться с обжигающим взглядом полковника.

— Молчите?..— проговорил Клишбиев и, все больше распаляясь, продолжал: — В то время, когда русский царь лелеет нас с вами, как своих младших братьев, и ведет героическую войну против германцев, когда лучшие сыны Кабарды отдают свою жизнь за царя и отечество, воюя бок о бок с русским солдатом, чем вы занимаетесь? Что вы делаете, спрашиваю я вас? Кто вам дал

право снимать с должности старшины человека, который усердно поставляет русскому войску и коней и кавалеристов и аккуратно собирает военные налоги? Скажете вы мне или нет?! — выкрикнул он и ударил кулаком по столу.

Один из подготовленных Туганом людей — коннозаводчик Каноков шагнул к столу. Он хотел сказать, что во всем виноват абрек Шогемоков — главный возмутитель селения. Клишбиев увидел его, погрозил:

— Стой на своем месте!.. Мало того что никто из вас не донес и не задержал приказчика Кулибина, который вел подрывную деятельность против царской власти... И бегство писаря — не случайность. Все вы замешаны в этих преступных делах!

— Кулибин был приказчиком самого Борокова,— раздался голос из толпы.

Правитель нахмурился и поискал говорившего глазами. Не нашел и, несколько сбавив тон, сказал:

— Верно, он был служащим Борокова. Только на самом деле он вам хотел служить, вам, которые задрали хвост, как телки-несмышленыши. Его давно разыскивают как государственного преступника. А вы его укрывали!

И, сопровождая каждое слово ударом кулака о стол, произнес:

— До тех пор, пока вы его и абреков Шогемоковых не поймаете и не выдадите нам, ваши ходоки будут сидеть как заложники. Понятно?

Сход загудел, заволновался. Полковник выбросил вперед руку, закричал:

— Если вы себя здесь, в Аюбее, считаете крепостью, то знайте: мы — грозная артиллерия. А что делает артиллерия? Понятно?

Сход, пораженный угрозой, смолк. Люди теснее прижались друг к другу, хотели оказаться как можно дальше от всадников с пулеметами.

— И последний вопрос. Есть ли здесь такие, кто не хочет, чтобы Бороков был старшиной? Поднимите руки.

Ни одна рука не поднялась. Тогда полковник повернулся к Борокову и почти весело проговорил:

— Вот видишь! Бунтовщик и возмутитель Кулибин сбежал, и теперь все довольны тобой. Спокойно управляй селением. А если какой глупый теленок снова поднимет хвост, заставь его носом землю пропахать. Пусть забудет, что есть солнце на небе. Понял?

— Я оправдаю ваше доверие, господин...— начал Бороков, но Клишбиев перебил его:

— Мне не слова твои нужны, а дела.— И опять обратился к сходу:— Если хотите, чтобы мы освободили ваших ходоков, разыщите Кулибина и Шогемоковых и выдайте нам... Я жду вашего решения.

Все молчали. Заговорил Бороков:

— Решение села может быть только одно. Если эти преступники живы, мы их поймаем и со связанными руками доставим вам, господин правитель.

— Таким образом, значит, погоди, Туган,— робко заметил Мухамед-эфенди.— Такая ответственность для села...

Правитель, не пожелав выслушать муллу, еще раз спросил:

— Есть среди вас, кто не согласен с предложением старшины? Поднять руки.

Никто не осмелился возражать.

— За выполнение ответственность несут все. Все до одного.

И он быстрым, решительным шагом направился к фаэтону. Даже не кивнув старикам, вскочил на подножку, сделал знак кучеру.

Долго еще стояло над Аюбеем большое пыльное облако, пока не осела пыль на дома, на сады, не заскрипела на зубах крестьян, медленно расходившихся по своим усадьбам.

12

Весна выдалась ранняя, но молодая трава в предгорьях запаздывала. Только внизу, на опушках леса, тянулись к солнцу ее зеленые ростки.

Каждый день Исмел Шогемоков спускался с отарами на пастьбу, а к вечеру вновь возвращался к старому, заброшенному кошу. Тихо и спокойно текли дни чабанов. Но вскоре стал наведываться волк. И, видно, матерый, опытный. Умел обманывать сторожевых овчарок и проникать в кош незамеченным: в первую же ночь задрал двух овец. Встревожились чабаны, перестали спать по ночам, не выпускали из рук винтовок.

Однажды, когда густой вечерний туман надвинулся на лесную поляну, волк выскочил из-за кустов и оторвал курдюк у ближайшей овцы. Овчарки погнались за хищником. Шогемоков подбежал к жалобно блеющей овечке. Она истекала кровью.

«По тому, как чабан носит на голове шапку, волки узнают, можно ли у него утащить овцу из отары»,— вспомнил Исмел. «Значит, у меня — можно? Нет, не бывать этому. Слышишь, серый, не бывать!»

Он попросил своего товарища-чабана попасти и его отару день-другой. Положил немного еды в мешок, вскинул его на плечи, проверил винтовку. На прощанье сказал:

— Это старый волк. Он знает, что лучше всего промышлять в темноте. Значит, и логово его можно обнаружить только ночью или на рассвете.

— Что, у тебя глаза совиные, что ли? — удивился чабан.

— Давай сравним,— спокойно заметил Шогемоков.— Слух наш гораздо хуже, чем у зверей. Про обоняние и говорить нечего.

И по резвости они превосходят нас. А вот умом, сноровкой мы должны взять.

— Не верится что-то.

— Ну, ходьба — не убыток. А там — поглядим.

Пройдя по еле заметной лесной тропе верст семь, Шогемоков услышал волчий вой. Сначала низкий, басовитый, он переходил на высокие, визгливые тона. Словно жаловался серый или оплакивал кого-то. Потом опять раздался густой вой. И оборвался. И тотчас слева ответили воплями голодные волчата.

«Логово!» Оно было недалеко. Исмел пошел на завывание волчат. Он решил, что волчица обязательно вернется к детенышам. Пройдя с версту, снова услышал вой, но уже позади, а визг волчат раздавался теперь справа.

Исмел остановился, прислушался. Стояла тишина. Волки притихли. О чем говорила мать с детьми? О чем предупреждала их на своем языке? Он и пошел на этот раз вправо, полагая, что именно оттуда слышался более громкий вой. Поминутно останавливался, всматриваясь в темноту леса, напрягая слух. Шуршал опавшими прошлогодними листьями невидимый еж, раздавались редкие выкрики филина, который, будто ночной сторож, спрашивал: «Кто идет?»

Вытянув вперед руку, Исмел спустился в лощину. Ничего. Тишина. Он посмотрел вверх и увидел редкие звезды, луны не было. Стал взбираться на холм, осторожно раздвигая кустарник. С хрюканьем разбежалась потревоженная непрошеным гостем стая кабанов. Утихли кабаны, и снова воцарилось тоскливое ночное безмолвие, от которого даже бывалому охотнику становилось жутковато, сердце теснили тревожные предчувствия.

Исмел приложил к губам ладони, завыл по-волчьи. С двух, с трех сторон радостно ответили стаи. Он повторил вой и внимательно прислушался. «Эхо!»

Огорченный неудачей, он только сейчас почувствовал, как смертельно устал. Наверное, так устает загнанный овчарками волк. Отдых, теперь ему нужен отдых. Он сгреб прошлогодние листья и упал на этот шуршащий, ласковый матрац. Сомкнул глаза, задремал, поминутно вздрагивая от случайных шорохов и просыпаясь. Снова дремал, прижав к себе винтовку. Когда дымный рассвет заструился между ветвей, а солнце вызолотило отроги высоких гор, Шогемоков поднялся.

Теперь можно было различить молодую траву под ногами. Вот примялись травинки. Исмел нагнулся. На влажной земле отпечатались хорошо знакомые следы. Волк проходил недавно — на прижатых к земле былинках была сбита роса. След, петляя по буковому лесу, привел к высокому холму, заросшему терновником. И на холме, и по склонам было множество крупных и мелких волчьих следов. «Значит, близко выводок».

Ветер донес глухое урчание. Стараясь не задевать сучьев, Исмел медленно раздвинул ветки колючего кустарника.

Под корнем вывороченного бурей старого дерева спокойно лакомилась добычей волчья семья. Волк настороженно посмотрел в сторону кустарника, дрогнули палевые уши волчицы. Только детеныши ничего не учуяли. «Пять»,— отметил Исмел.

Как назло, винтовка зацепилась за колючку, и пока Шогемоков снимал ее и прицеливался, волки отпрыгнули и понеслись в сторону чащи. Раздался выстрел вдогонку — мимо. Исмел оперся на колено, выстрелил еще раз. Зверь перевернулся, упал, но потом снова, пошатываясь, побежал к спасительному лесу. Прогремел следующий выстрел, он был последним — волк уткнулся в землю.

«Обидно,— подумал Шогемоков, пнув ногой серого.— Волчицу упустил».

Он вернулся к логову. Возле входа в него лежала окровавленная, истерзанная косуля. Ни одного из пяти волчат не было.

Заметив под корнем вывороченного дерева нору, Исмел ткнул туда ветку, повертел ею. Волчата запищали, но вылезать не собирались.

«Надо подождать. Может, сами выползут, а может, волчица нагрянет. Тогда уж не промахнусь».

Часа четыре Исмел недвижимо сидел в кустах. Старался реже дышать, не шелохнулся. Но ни мать, ни детеныши не показывались. «Что думаю? Забросать нору камнями, присыпать землей — и делу конец».

Он поднял тяжелый валун, подержал его в руках и отбросил в сторону. Не мог старый охотник обрекать волчат на такую мучительную смерть.

Исмел развел огонь, выкурил перепуганных зверушек дымом. Выловил всех пятерых, бросил в мешок, завязал потуже.

С тяжелым грузом за спиной идти было еще труднее. Хорошо, что зверята лежали спокойно, видимо, от испуга.

Близился вечер, когда Шогемоков вышел на лесную поляну к кошу. Перестал хрустеть валежник под ногами, снова наступила прохладная тишина. Вдруг охотник почувствовал, что за ним кто-то идет. Все ближе и ближе. Он остановился и медленно повернул голову. Никого — ни шороха, ни треска. Но сердце стучало все тревожнее, и, пройдя шагов двести, Исмел снова оглянулся.

На тропе стояла волчица. Глаза ее горели. Словно учуяв мать, завизжали в мешке волчата. Шогемоков потянулся к винтовке. Волчица стояла, не двигаясь, и только в последний момент скрылась в кустарнике.

Когда он опять вышел на тропу, волчица выбежала и завыла. Откликнулись волчата, жалобно просили мать освободить их из плена. Они пищали, и вой обезумевшей волчицы становился все грознее и громче. Этот призывный тревожный клич мог собрать всех волков округи. Встреча со стаей не сулила ничего хорошего.

Шогемоков оперся на колено, не торопясь прицелился и выстрелил. Промах. Волчица скрылась в придорожных кустах и, не

выходя на тропу, все так же неотступно шла за охотником до самого коша.

Учуяв ее, волкодавы с громким лаем бросились навстречу. Дыбом поднялась шерсть на волчице, она грозно разинула пасть, страшная в своем горе и гневе. Но собак было много, они смыкали кольцо. Громадными прыжками она скрылась в лесной чаще.

Волкодавы отстали. Волчица вышла на освещенную луной поляну и завыла, точно смертельно раненная. Прислушалась. Ответа не было. Не доносился до нее и запах волчат, такой знакомый и желанный запах. И, вытянув морду к холодной луне, волчица выла, жалуясь и стеная, и этот заунывный вой переворачивал душу.

— Вот чудак. И охота была тащить их сюда,— удивленно проговорил чабан, встретив Исмела.— Придушил бы на месте.

Лицо Исмела, осунувшееся, утомленное, стало растерянным и смущенным. Он попытался улыбнуться.

— Маленькие еще... Сердце не позволило.

Зрамук, который вчера только добрался до коша, взглянул на расползающихся в углу шалаша зверят и отвернулся. Он стоял у входа в тяжелом раздумье.

Чабан сердито хватал за шею пищавших волчат и снова бросал их в мешок. Вскинул его на спину и вышел из шалаша.

— Э! Найду им хорошенькое место.

— Отец,— сказал Зрамук, едва вышел чабан,— дедушку Музачира, Мурата и Мадина арестовали. Они в тюрьме, в Нальчике, как заложники. Стражники приезжали в Аюбей за Кулибиным, но он вовремя скрылся.

Ничего еще не понимая, Исмел тревожно посмотрел на сына.

— Как узнал?

— Харун Бевов приезжал в аул Верхний, чтобы встретиться с тобой. Наказал мне срочно сообщить.

Зрамук рассказал о двух сходах, об исчезновении Шашенкова и о других аюбейских делах.

— Харун просил передать все, как есть, без утайки. Чтобы ты выбрал лучший путь. Только чтобы не сдаваться. Так приказали старейшие села. Пусть грозится правитель Кабарды, а все-таки все село он не может расстрелять... Так и просил передать Харун.

— Как заложников...— медленно проговорил Исмел. От бессонной ночи и хлопотного дня, от невеселых известий стало тяжко на сердце. Гнетущая усталость легла на плечи. Он повел плечами, потянулся, стараясь скрыть от сына свое состояние.— Пойду проверю кошары.

Зрамук проводил его пристальным взглядом.

Снова раздался жалобный волчий вой. Волкодавы встрепенулись, навострили уши. Внезапно вой прекратился. Собаки подошли к Исмелу, преданно посмотрели в глаза хозяину. Стали тереться о его ноги, ласково повизгивая. Он по очереди погладил верных четвероногих, задумался. «Не предадут, не загрызут из-за

угла... А волки? Те же собаки, того же племени. Но какая вражда! У людей тоже... Бороков, как волк, растерзает меня, если попадусь. А ведь собака — зверь. Значит, есть люди хуже зверей, лютее, ненавистнее, люди-волки».

Шогемоков долго шагал от одной кошары к другой, возвращался обратно, будто искал ту единственную тропку, по которой надо пойти, чтобы освободить друзей.

«Хорошо — Кулибин им не дался, молодец. Но как же все-таки помочь тем троим?»

С тяжелой головой, так и не найдя решения, он вернулся в шалаш. На трехногом столике горкой лежала теплая мамалыга, аппетитно пахли бараньи ребра, поджаренные на вертеле. Исмел принялся за еду; но ел машинально, не чувствуя вкуса.

Поручив Зрамуку сторожить отары, старший Шогемоков лег, укрылся буркой и сразу уснул, словно погрузился в приятную теплую воду.

Спал он немного, часа три, не больше. А когда проснулся, долго лежал, заложив руки под голову и напряженно вглядываясь в темноту. «Убью,— еле слышно прошептали губы,— а там будь что будет. Единственная пуля, и расчет сполна».

Эта мысль придала ему бодрости. Но только на миг. Думы, одна другой тревожнее, пронеслись в голове.

«Тогда и те трое пострадают. Дети их останутся сиротами... А Зрамук? Многочисленный бороковский род уничтожит его. Нет, так нельзя».

Спокойный размеренный храп чабана раздражал Исмела. Он встал и вышел из шалаша.

Было за полночь. Выплыла из-за вершины луна, осветила кош и нырнула в облака. Слабо мерцали звезды.

Подуло из ущелья. Шогемоков съежился, но идти за буркой не хотел. Пристально вглядывался в небосвод, словно ожидая оттуда, из вселенной, разрешения всех своих мук.

Вдали вспыхнула и погасла маленькая искорка, прочертила огненный след на темном небе.

«Не моя ли звезда упала? Я ли должен умереть или кто другой? — вспомнил он народное поверье.— А если умирать, так с пользой. Добро принести людям своей кончиной».

И, осененный новой мыслью, он замер: «Принесу себя в жертву: сам аллах подсказывает мне это. Спасти своей смертью жизнь друзей и сына».

Исмел Шогемоков еще не знал точно, как он принесет свою жизнь в жертву ради сына и арестованных заложников, но мысль эта воодушевила его. Он направился к овчарням, к сыну.

— Как дела, стража? — нарочито шутливым тоном произнес он.

Но веселые эти слова царапнули Зрамука, как когти рыси. Он почувствовал неладное.

— Все в порядке, отец,— проговорил он еле слышно.

— Эх ты, герой! Выше голову!

Исмел взял сына за подбородок, положил руку ему на плечо.

— Выкарабкаемся и из этого испытания... Мне завтра в путь, пойду посплю до утра.

«Только так, а не иначе. Не было еще человека, который пренебрег бы предначертаниями бога,— размышлял Исмел, с головою укутываясь в бурку.— Надо отдохнуть, уснуть,—уговаривал он себя.— Предстоят трудные дела». Но исцеляющий сон не шел. В голову лезли обрывки мыслей, старые воспоминания. Он долго ворочался, лежа с закрытыми глазами, обдумывал, с кем должен встретиться в первую очередь, какие документы приготовить. Словно червячок, шевелилась в сознании мыслишка о возможности тихой спокойной жизни: «И зачем тебе ввязываться?» Но он гнал ее, и снова вставали перед ним лица заточенных в тюрьму заложников.

Утром Исмел сказал товарищу-чабану:

— По срочному делу уезжаю на родину. Неделю пробуду. Последи за отарой, сын поможет.

Вчерашней беззаботной веселости старшего Шогемокова как не бывало. Впрочем, Зрамук и не поверил в нее. Теперь, встретившись с отцом взглядом, он увидел в запавших глазах Исмела затаенную боль. Будто хотели они вымолвить: «Не знаю, вернусь ли я. Живи и крепни, мой добрый сын».

Зрамук хотел расспросить отца о его намерениях, но при постороннем промолчал. Только когда Исмел вышел, чтобы выпустить овец из овчарни, сын догнал его и попросил:

— Отец, отправь меня туда, куда сам собираешься. Все выполню, что поручишь.

Исмел опустил голову, чтобы не выдать себя взглядом: «Куда иду, оттуда не возвращается человек». И ни слова не услышал сын и глаз отца не увидел, а только почувствовал, понял: задумано страшное дело.

— Прошу, отец, очень прошу никого не убивать. Не нужна нам бороковская кровь.

— Это почему же, сын мой?

Исмел не верил ушам. Пристально посмотрел на сына. Тот не выдержал испытующего взгляда, отвел глаза. «Неужели боится, трусит?» Исмел повторил вопрос.

Зрамук рассказал все, ничего не скрыл от отца. Рассказал, как тайком ездил в Аюбей, как был схвачен, как освободили его Жангуаша и Жанэт. Только о тайной встрече с Жанэт не сказал ни слова. Ему хотелось крикнуть, что хватит пролитой крови, жизнь отца для него важнее.

— Я в долгу перед этими женщинами. Потому и прошу тебя.

Задумался Исмел. Всегда знал он, что на добро отвечают добром. Так и поступал. Но знал также, что мужчины Бороковы не из тех, кто умеет жалеть. Жангуаша... Конечно, во имя былой любви она, рискуя, выпустила его сына из подвала.

И так же, как Зрамук скрыл от него свои отношения с Жанэт, он подавил воспоминания о Жангуаше, сказал:

— Обещаю, Зрамук. Ни кинжал мой, ни моя пуля не коснутся Бороковых!

— Тогда посылай меня, куда сам едешь! — обрадовался юноша.

— Не надо пока. Я поеду к Варпетяну, золотых дел мастеру. Помнишь, у него мы покупали винтовки? Если он сделает мне бумагу за подписью Борокова, я сумею вызволить из тюрьмы друзей.

Старший Шогемоков посмотрел на лесную опушку, где овцы жадно щипали молодую травку, тронул сына за плечо:

— Иди, иди, милый. Попаси овечек. Будь внимательным и заботливым чабаном.

Простые эти слова он сказал проникновенно и мягко. И крепко обнял сына. Никогда они раньше так не расставались. Потом Исмел поспешно отвернулся, чтобы не показывать влажных глаз, и зашагал в сторону аула Верхний. Надо было проститься с Таусо и Хафисат и взять свой поддельный документ, чтобы с ним отправиться в Нальчик.

Зрамук стоял и смотрел вслед удаляющемуся отцу. Как уверенно он шагает, чувствует еле заметную тропу. Не ступит в яму, обманчиво прикрытую хворостом, не поставит ногу на неверный камень. Идет быстро, а уже немолод... Вот если бы и по своему жизненному пути можно было шагать так же безошибочно и свободно...

Зрамук вздохнул. Темное движущееся пятнышко, в котором уже нельзя было узнать человека, становилось все меньше и меньше. Наконец оно совсем исчезло, будто растворилось в воздухе или провалилось в зеленую лощину.

13

«В чем их обвиняют?» — так называлась новая статья об аюбейских делах в газете «Кавказ».

«Если в углу вашей комнаты паук соткет паутину,— писал автор,— как поступит хозяйка? Возьмет веник и вычистит угол. Будут ли ее действия наказуемы? Нет.

Старшина села Аюбей господин Бороков, мы уже писали о нем,— опасный паук в человеческом обличье. Паутину свою он расставляет не в темных углах комнаты, а по всему селению. Ловко накинутой сетью он ловит не мух, сосет кровь не у насекомых, а у людей, у таких, как мы с вами, читатель.

Аюбейцы долго терпели паука, но наконец истощилось их терпение. На сельском сходе общим голосованием они сняли его с поста старшины. Послали ходоков в Нальчик, чтобы начальник округа утвердил это законное решение. И что же?

Ходоки арестованы как заложники, на жителей села посыпались угрозы...»

Выступление газеты расшевелило общественное мнение Владикавказа. Кто в шутку, а кто всерьез замечал, что неплохо бы таких корреспондентов иметь и в других местах. «Коррупция и взяточничество расцветают на Тереке», «Видимо, у начальства рыльце в пуху»,— раздавались отовсюду голоса. Запахло скандалом.

Перечитывая газету, генерал Флейшер поморщился. Он вспомнил недавний телефонный разговор с Клишбиевым. «Закрутил, наверное, там... Тоньше, тоньше надо, аккуратнее. А то навалятся щелкоперы, до Петербурга разнесут».

Генерал подумал, что неплохо было бы послать в Кабарду для проверки дела умного и ловкого чиновника. «Кого же? О, Нестерова!.. Нового прокурора. Конечно. Говорят, его с Клишбиевым видели не раз в компании. Ну, это ничего. Пусть и решают подружески».

Приехав в Нальчик, Вадим Геннадиевич сразу же направился к полковнику. Вошел в кабинет легко и непринужденно, с приветливой улыбкой. Поздоровался, закурил. Тонкий аромат духов перемешался с дымом дорогих папирос. Нестеров сидел в кресле, рассказывал веселые истории, довольно поглаживал клинышек бородки.

Опыт Клишбиева подсказывал правителю, что внезапный приезд Нестерова связан с газетной статьей. «Интересно, сам приехал или кто послал?»

Полковник испытующе смотрел на кунака. Нестеров тоже наблюдал: не беспокоится ли, не трусит ли правитель?

Если бы не статья в газете «Кавказ» и не полученное вчера письмо абрека Шогемокова, Клишбиев приказал бы подать лошадей, устроить охоту с гостем или веселый пикник. Но сейчас настроение было иное. И хотя полковник улыбался, поддакивал, но некоторая скованность была заметна даже в выражении его лица. «А, собственно, что произошло?.. Генерал Флейшер одобряет мои действия. Бороков сидит на своем месте крепко... Кто написал эту газетную колючку?.. Да еще письмо».

Клишбиев несколько раз приоткрывал ящик стола, чтобы достать письмо Шогемокова, но не решался. «Еще подумает, что я трушу».

Щелкнул изящный замочек портофеля. Нестеров зашелестел газетой.

— Как вы смотрите на это, господин полковник? — Губы юриста тронула лукавая улыбка.

Клишбиев уловил ее и спросил, отложив газету:

— Интересно знать, кто так печется об Аюбее, Вадим Геннадиевич?

Нестеров широко развел руками. Откуда, мол, я могу знать. Но тут же бросил, словно сухую щепку в огонь:

— Как говорили в старину, вокс попули — вокс деи. Глас народа — глас божий!

Ему очень хотелось тонко, мастерски выполнить поручение.

Прикинуться совершенно не знающим обстоятельств дела. Заставить разговориться Клишбиева. Раскрыть бороковские проделки. Одновременно — заслужить похвалу генерала Флейшера и прослыть законником, борцом против произвола. Как будет приятно, если на каком-нибудь приеме генерал заметит высокопоставленным гостям: «Гм, Нестеров?.. Это же прирожденный талант».

Клишбиев давно заметил, что Вадим Геннадиевич заражен либерализмом. Как политик, он ненавидел эту разлагающую болезнь. Поэтому произнес с сильным кабардинским акцентом, который появлялся у него в минуты волнения:

— Если будем считать божьим голосом все, что нацарапают руки грязных пачкунов, Вадим Геннадиевич... тогда... тогда пострадает государство наше, родина пострадает. Нравственность, порядок, уважение исчезнут.

Нестеров опять уклонился от продолжения этого разговора, ловко повернул его к вопросу о русско-германской войне. Стал говорить о бедствиях народа, об опасности взрыва доведенных до отчаяния масс.

— Де-ли-кат-ней-шим образом надо действовать, господин полковник. Время такое. Успокаивать народ, показывать, что все мы стоим за справедливость и законность.

Полковник хмуро слушал гостя. Изредка, не сдерживаясь, ронял короткие фразы: «сабля и пушка — лучшее лекарство», «непокорные головы — с плеч долой». Вадим Геннадиевич отложил папиросу, посерьезнел.

— Поймите, мой друг, в войне решающая сила — оружие, согласен. Но править народом при помощи пушек — роковая ошибка. Не забывайте, что пушки, при некоторых условиях, могут быть повернуты в противоположную сторону. Есть такие примеры в истории и не столь давней. Вспомните тысяча девятьсот пятый год в России. Наконец, Зольское восстание тысяча девятьсот тринадцатого года в Кабарде.

Двери кабинета были плотно закрыты, посторонних не было, но Нестеров оглянулся и понизил голос до шепота:

— Трудные дни для России настают, полковник. На фронте — неважные дела. Солдаты недовольны войной. В городах стачки, да какие!.. Содрогается Россия. Нельзя бросать зажженную спичку вблизи цистерны с бензином.

— Э, бросьте! Какая там спичка... Людей не увещевают, а управляют ими.

— Вы не правы, господин полковник, лучшие умы считают, что надежда и будущее России — в либерализме, в конституции.

— Если России суждено погибнуть,— с явным раздражением проговорил правитель,— то погибнет она в первую очередь от заразы либерализма. Да что говорить попусту. Вот вам пример.— Он полез в ящик стола, достал две бумажки и потряс ими в воз-

духе:— Если бы не проклятый либерализм наш, Туган Бороков не осмелился бы направить против меня оружие.

— Что? Что вы сказали?

— Прочтите. Поймете тогда.

Один листок соскользнул со стола, Клишбиев нагнулся, чтобы поднять его. Побагровевший, он протянул письма Нестерову.

«Господину Начальнику Нальчикского округа полковнику Клишбиеву.

Довожу до вашего сведения, что мною, Шогемоковым Исмелом, от старшины села Аюбей Борокова Тугана, с которым состою в кровной мести, получено предложение совместно с ним уничтожить вас. Если это будет совершено, Бороков обещает мне простить свою кровь. Я не хочу ничьей крови. Не хочу и новых убийств. Я еду в Аюбей, чтобы встретиться с Бороковым и заявить ему об этом.

К своему заявлению прилагаю записку, полученную мною от Борокова».

В этой записке было написано:

«На тебе, Шогемоков, и на твоем сыне — неотмщенная кровь моего брата. И все же нахожу возможным обратиться к тебе с предложением объединиться для борьбы с нашим общим врагом Клишбиевым. Это он объявил розыск тебя и твоего сына, как политически опасных людей. Уверяю, что грозит тебе казнь или каторга. Это он, беспричинно арестовав, опозорил меня. Клянусь аллахом, что если мы совместно уничтожим этого деспота, моя кровь, которая лежит на тебе, будет прощена.

Буду ждать твоего ответа неделю, но не больше».

Под запиской стояла подпись из неизменных шести букв: «Бор. Туг.».

«Кажется, он сам неграмотен... что-то тут не то... Запутанное и неясное...— промелькнуло в голове у Нестерова.— Почему же до сих пор молчал Клишбиев? Что он намерен предпринять?»

Словно прочитав в глазах немой вопрос, полковник проговорил:

— Я послал стражников, чтобы арестовали обоих и доставили в Нальчик.

— Как бы не столкнулись они между собой! Надо предупредить командира отряда, чтобы не допустил...

— Такое распоряжение уже дано,— снисходительно улыбаясь, перебил Клишбиев.

Настойчиво зазвонил телефон.

Держа трубку в руке, полковник быстро проговорил:

— Что?! Ранен?.. Совсем убит? Повтори еще раз...

— Шогемоков убит, лежит в кунацкой Борокова. Командир сообщает, что сам Туган клянется, что он тут ни при чем.

— Пусть задержат Борокова. До нашего приезда ничего не трогать,— подсказал Нестеров.

Сложное дело еще больше запутывалось. Что ж, тем интереснее будет расследование.

Через полчаса подали фаэтон. Нестеров торопил Клишбиева и врача. Слегка согнувшийся, с подрагивающими от нетерпения ноздрями, Вадим Геннадиевич походил в этот момент на породистую гончую, удачно взявшую след.

14

Как только фаэтон прибыл в Аюбей, первым выпрыгнул Вадим Геннадиевич. Он тут же сдул с мундира приставшие пылинки, щелчком сбил еле заметную пушинку на рукаве. Грузный полковник, вылезая, зацепился саблей за подножку и негромко выругался по-кабардински. Врач с кожаным чемоданчиком поспешил за ним.

У кунацкой Борокова стояли стражники. Толпились, тихо переговариваясь, во дворе односельчане. Увидев приехавших, они смолкли, опустили головы. Полковника узнали сразу, надеялись, что он остановится, произнесет молитву вместе с ними, выразит соболезнование. Но Клишбиев, не глядя на опечаленных крестьян, прошел молча, как гяур.

— Тело верните нам, господин...— обратился старик Беймурза.

Полковник даже не обернулся.

— Разрешите хоть омыть тело несчастного,— сказал кто-то из толпы.

Клишбиев будто не слышал.

Такое неуважение к обычаям возмутило крестьян, послышался глухой ропот. Клишбиев остановился у входа в кунацкую, повернулся к толпе. «Вот они... Вечно недовольны, вечно скандалят. Дня не проходит, чтобы не преподнесли какую-нибудь неприятность».

Он, точно буравом, просверлил ряды крестьян злым, ненавидящим взглядом, резко повернулся на каблуках и вошел в кунацкую вместе с Нестеровым и врачом.

Исмел Шогемоков лежал, уткнувшись лицом в глиняный пол. Редкие капли засохшей, припыленной крови вели к двери. Кровавый след был и в сенцах. Внимательно все осмотрев, Нестеров решил, что смертельную рану Шогемоков получил у входа в кунацкую.

— Переверните труп,— приказал он стражникам.

Те неловко подняли его и потащили к тахте.

— Не так, не так,— поморщился Нестеров.— Поверните его навзничь.

Он нагнулся, заглянул убитому в лицо. Отодвинул окоченевшую руку, прижатую к левой стороне груди. Рукав был полон запекшейся крови, много капель покрывало черкеску. А слева, у сердца, черкеска была пробита пулей.

Обыскали карманы. Нашли только кошелек с тремя рублями. С трудом вытащили из ножен кинжал. Он был чист и сверкал,

как зеркало. Еще раз осмотрели кунацкую. Никаких других улик не обнаружили.

— Доложите,— сказал Нестеров командиру.

Тот вытянулся по-военному.

— Как прибыли, одного стражника поставил у телефона в правлении, другого послал на гумно наблюдать. Сам остался под навесом следить за двором. Только никакого подозрительного движения не наблюдалось, господин прокурор. Для проверки я разбудил на рассвете Борокова. Он сказал, что Шогемоков не посмеет появиться на его дворе. «Если хочешь, сказал, зайди в кунацкую и оттуда наблюдай». Я согласился. Он проводил меня в кунацкую, зажег лампу, и тут мы увидели на полу... Так что, господин прокурор, выходит, убили-то до нашего приезда.

Нестеров недовольно крякнул, точно откашлялся, и посмотрел на Клишбиева, как бы обвиняя его в нерасторопности.

— Приведите Борокова,— распорядился Вадим Геннадиевич.

— Удобно ли будет учинять допрос у тела погибшего? — намекнул Клишбиев на тайные замыслы, изложенные в письме Борокова.

— Ничего. Я поговорю с ним здесь лишь о конкретных вещах, связанных с убийством. Об остальном — потом.

Вошел Бороков со стражниками. На его лице не было растерянности или злобы. Скорее всего оно дышало довольством, хотя проскальзывала в нем и озабоченность. Но, увидев Нестерова в новеньком прокурорском мундире, Туган вспомнил, как он в свое время обманул его, не выплатил положенных денег, и оробел. Остановившись на пороге, тихо произнес:

— Счастливого приезда.

— Господин старшина, эта кунацкая ваша? — с невинного и бессмысленного по сути вопроса начал Нестеров.

Клишбиев взял на себя роль переводчика.

— Да, моя.

— Вы знали убитого?

— Знал.

— Вы были врагами?

Когда Бороков утвердительно ответил и на этот вопрос, Нестеров впился в него глазами и быстро спросил:

— Почему вы его убили?

Туган вскинул голову. Обеспокоенно посмотрел на Нестерова, на Клишбиева и стражников.

— Не убивал я. Клянусь аллахом, и не ведаю, кто его убил.

Не получив сразу признания, Нестеров решил пойти окольным путем.

— В газетах пишут, господин Бороков, что вы обзавелись собственной полицией. По вашим указаниям арестовывают людей, бросают в подвал... Так ли это?

На мгновение Туган растерялся. «Все знают...» Но потом убежденно проговорил:

— Вранье это! Сплошное вранье, господин.

— И сына Шогемокова не похищали? И не упрятывали в подвал?

— Так это разве я? — сделал удивленное лицо Бороков.— Вот уж истинно говорят: лучше иметь дело с умным врагом, чем с другом — дураком... Ты, наверное, имеешь в виду полоумного Пако? Он просто хотел выслужиться передо мной, получить надел земли, стать полноправным аюбейцем... Я выгнал его за гнусный поступок, все односельчане могут подтвердить.

«Ловок, как уж. Из рук ускользает»,— недовольно подумал Вадим Геннадиевич, не отрывая пристального взгляда от Тугана. Тот же, не мигая, смотрел в глаза Нестерову.

— И Каздохов состоял в вашей полиции по той же причине? Чтобы надел земли получить?

— Какая у меня полиция, господин? Каздохов заискивал по другой причине. Много размахивал кинжалом во время зольских дел. Вот и боится, как бы его не взяли за шиворот и не отправили к брату в ссылку. Так и бегает вокруг меня.

Бороков понял, что лучше говорить полуправду. Довольный своим ответом, он спокойно ожидал новых вопросов.

— А не вы ли, господин старшина, призвали односельчан к восстанию?

— Нет, совсем не так. Наоборот, я уговаривал крестьян, чтобы не допустить бунта. Конечно, надо было заранее донести господину правителю о недовольстве. Это моя ошибка, признаюсь.

«Твердый орешек. Его, хитреца, так не возьмешь. Обиженного строит из себя».

Нестеров достал из портфеля бумагу и быстро набросал протокол допроса.

— Прошу подписать.

Бороков с неохотой нацарапал внизу исписанной страницы: «Бор. Туг.».

Вадим Геннадиевич вынул письмо старшины Шогемокову и сравнил подписи. Они были одинаковы. Взглядом показал на них Клишбиеву. Тот кивнул головой.

— Вы имеете вопросы к Борокову, господин полковник?

«Ты, рожденный собакой, хотел убить меня?» — мысленно произнес Клишбиев. Даже губами зашевелил. Но коротко буркнул:

— Нет.

«Поговорим в другом месте, голубчик».

Нестеров официально сообщил полковнику, что у него нет сомнения в причастности Борокова к убийству. Расследованием всех обстоятельств убийства на месте займется следствие. А пока целесообразно доставить арестованного во Владикавказ.

Клишбиев согласился.

Они вышли из кунацкой. Чуть ли не весь Аюбей собрался у дома Борокова. Люди заполнили двор, толпились на улице.

Крестьяне хорошо знали Исмела Шогемокова, уважали его и теперь были потрясены коварным убийством.

Чуть нагнувшись, Клишбиев пошел прямо на толпу. Крестьяне расступились. Трое белобородых стариков нерешительно приблизились к правителю.

— Несправедливо поступаете, господин. Не по-мусульмански. Отдайте нам тело покойного. И ходоки наши безвинно томятся в тюрьме.

Это сказал Беймурза. Клишбиев, по-прежнему ни на кого не глядя, шел, вскинув голову. Старик, не отставая от него, повторил просьбу.

Полковник дернул рукой, точно отмахиваясь от надоедливой мухи, и крикнул:

— Вы лучше ответьте мне: когда перестанет ваше паршивое селение мутить и позорить всю Кабарду?!

Оскорбленные крестьяне зашумели. Несколько мужчин вышли из рядов и, схватив рукояти кинжалов в ножнах, преградили путь господам.

«Зачем это он? Разве можно так грубо. Солдафон»,— пронеслось у Нестерова. Он заметил прилипшую к брюкам соломинку и нагнулся, чтобы щелчком сбить ее.

— Мы ждем, правитель, ответа на жалобы общества.

— Сами будем судить Тугана. Давайте его нам.

Клишбиев грозно поводил глазами, но молчал. Он понимал, что теперь необдуманные слова могут взорвать толпу.

«Чего же он молчит? — подумал Нестеров.— Совсем растерялся».

Вадим Геннадиевич поднял руку:

— Граждане! Тело покойного можете хоронить по своим обычаям. А арестованные односельчане будут освобождены незамедлительно.

Старики не поверили Нестерову. Мужчины продолжали стоять стеной, не снимая рук с рукоятей кинжалов.

— Заверяю вас, что арестованные будут освобождены завтра же!

— А Бороков?! — крикнули из толпы.

— Бороков мною задержан. Он будет направлен во Владикавказ по обвинению в убийстве.

Клишбиев обрел дар речи и грозно произнес:

— Законы царя и отечества достойно наказывают виновных. И Бороков не избежит кары. Можете быть уверены.

Стражники вывели из дома Тугана. Он шел с гордо поднятой головой, выпятив грудь, презрительно посматривая на крестьян. Скрипел песок под неторопливым, тигриным шагом. И крестьяне, только что гневно преградившие путь правителю округа, невольно расступились перед старшиной.

— Ой, папа, мой свет, куда же ведут тебя! — голосила Жанэт, забегая вперед отца. Жангуаша в черном платке беззвучно рыда-

ла, плечи ее вздрагивали. Глаза Адальбия сверкали. Он шел в стороне, готовый броситься, как молодой тигр, на ненавистных односельчан.

Туган остановился.

— Прекратите голосить и отправляйтесь домой.

Мать и дочь застыли на месте, но в дом не пошли. Вторичный окрик Тугана стегнул их, как плеткой, и заставил повернуть назад.

Стражники посадили Борокова в бричку, Адальбий поехал вместе с ним.

* * *

Всегда аккуратный и подтянутый, Нестеров сидел в кабинете со взлохмаченной головой и расстегнутым воротом сорочки. В десятый раз смотрел на нарисованную им схему двора и кунацкой Борокова.

Перед глазами вставали следы припыленных капель крови, ведущих от порога кунацкой.

«Если Бороков или кто другой нанес смертельную рану в сенцах, у порога, почему Шогемоков не упал там же? Почему рана была плотно прикрыта рукой? И почему он лежал лицом к полу? Говорят, что он был хорошо вооружен, имел пятизаряд, наган. Почему же тогда он решил прийти к врагу безоружным?.. Если предположить, что сам застрелился... Нет, нелогично».

Нестеров встал, прошелся по кабинету. Снова начал листать «Дело Борокова и Шогемокова». Вот показания Пако, который утверждает, что был нанят специально для убийства. Протокол допроса Шахбана Каздохова. Бороковская записка на имя Шогемокова с предложением об убийстве Клишбиева...

Вадим Геннадиевич задумался.

«Может ли Бороков послать такую записку? Если посмотреть по сути... Кровно обиженный Клишбиевым, он, естественно, хотел отомстить. Но у Шогемоковых тоже свои счеты с властями. Шансов на спасение у Шогемоковых почти не было. А при союзе с Бороковым появилась надежда... Правда, Бороков клянется аллахом и Кораном и отрицает все. Только можно ли его клятвам верить? Сколько раз уличали хитрого Тугана в клятвопреступлениях?»

Нестеров сидел, обхватив голову руками. Следы табачного пепла виднелись на столе, на полу. Перед ним лежали чистые листы бумаги с каллиграфически выведенными словами: «Обвинительное заключение». И, словно из тумана, доносились слова генерала Флейшера:

— А новый молодой прокурор работает превосходно. Прямо художник своего дела.

15

Вестник из Аюбея прискакал в аул Верхний и осадил взмыленного коня у ворот Таусо Батырбекова. Спешился не с левой, как принято, а с правой стороны. Это был знак привезенной горестной вести.

Узнав о гибели побратима, Таусо отправился на лошадях в кош, к Зрамуку. Вместе они поскакали в Аюбей, но, как ни торопились, к похоронам не успели.

Зрамук почернел от горя. Отец был единственным близким ему человеком и упал, как дуб под топором злодея. Стиснув зубы, юноша держался, стараясь не впасть в отчаяние. «Когда один умирает, другой не должен губить себя», «надо сохранить силы, чтобы достойно отомстить за кровь отца»,— слышал он советы и соболезнования. Слушал и молчал. Давал созреть своим думам, вынашивал планы беспощадной мести. И хотя сердце его плакало, лицо оставалось сосредоточенным, грозным в своей решимости.

Таусо и его друзья вместе с аюбейскими стариками сидели под навесом и продолжали горестный разговор об Исмеле. Молились вместе с Мухамедом-эфенди, снова рассаживались и снова, говоря о том, что «смерть ближе собственного порога», согласно кивали седыми головами.

До вечера стоял вместе с ними Зрамук, а когда участники траурных посиделок стали расходиться, он исчез.

Медленно шел юноша по притихшему селению. Вечерние сумерки окутали знакомые дома, аульские сады и рощи. Вот и край села, пригорок, укрытый темнотой... Кладбище.

Он подошел поближе. Порхнул прохладный ветерок. Зрамук задумался. Богачи и бедняки, герои и трусы, умные и глупые — здесь все сравнялись между собой. Стояла душная, неподвижная тишина. «Да, угомонились все, каждый получил по яме и вполне удовлетворен».

Зрамук прошел по краю кладбища мимо темнеющих дубовых или буковых надгробий, холмиков, поросших давней жесткой травой... Она...

Он припал к обветренным комьям земли, точно к груди родного отца, обнял свежий могильный холм и, не сдерживаясь больше, надрывно зарыдал. Слезы лились на сухую землю, пальцы хватали и разминали в пыль твердые комки. Чтобы сдержать рыдания, он до крови кусал губы, стискивал зубы, и беззвучно лились слезы, словно не из глаз, а из самого сердца.

«Один. Без отца, без матери. Без роду, без племени. И солнце будет палить меня одного, и ветер — пригибать к земле. И перед врагами один...»

— Зрамук!

Кто-то прикоснулся к его плечу.

В темноте он едва разглядел две тонкие фигуры. Лиц не видел. Но по всхлипыванию и шепоту узнал.

— Зрамук, мы пришли к тебе,— произнесла Зейнаб.— Мы боимся, чтобы горе не толкнуло тебя на отчаянный и необдуманный поступок.

— Нет, не поймет он, не поймет,— прервала подругу Жанэт.— И другой не понял бы в таком состоянии...

Девушка умолкла, глотая слезы.

— Почему не пойму? Расскажите.

— В ту страшную ночь, когда погиб Исмел, я вышла из комнаты и услыхала выстрел. Около наших ворот. Когда вернулась, разбудила отца. Он поднялся, взял наган и вышел. А потом отругал меня, сказал, что мне все это приснилось... Только на рассвете, когда пришел командир стражников, и отец и все мы узнали...

Зейнаб торопливо добавила:

— Отец ее не велел никому говорить про этот странный выстрел.

Зрамук подумал сначала, что Жанэт пришла на кладбище, чтобы защищать отца. Доказать, что он вовсе не виновен в убийстве. Просить Зрамука посодействовать освобождению из-под ареста невиновного...

Он ждал этих слов, но Жанэт не произнесла их. Значит... Значит, они пришли сюда, просто чтобы утешить, ободрить, пришли как верные, преданные друзья.

Пробивавшаяся сквозь облака луна облила кладбище ровным матовым светом. Бледная, со слезами на глазах, смотрела Жанэт на Зрамука, но лицо ее светилось радостью. Жив!.. Жив ее любимый, самый дорогой в мире Зрамук. И, словно стыдясь, что юноша услышит ее мысли, она отвернулась, вытерла глаза концом платка и тихо сказала подруге:

— Пойдем... Увидят...

Зейнаб только сейчас вспомнила, что, растерявшись при встрече, она не выразила Зрамуку свое соболезнование. Девушка бросилась к нему, запричитала, произнося слова скорби и сочувствия. Жанэт обняла подругу и, рыдая, прошептала:

— Верный и добрый человек выбит из седла великим несчастьем... Да будет ли конец твоим невзгодам, бедный Зрамук?

Юноша стоял в оцепенении. Горе снова нахлынуло на него с прежней силой. Глаза наполнились слезами.

Послышались шаги. Зрамук обернулся, но никого не увидел.

Дрожащая от слез, от темноты, от страха Жанэт торопила подругу. Зрамук проводил их до улицы и вернулся на кладбище.

За надмогильным памятником метнулась еле заметная тень. «Кто это выслеживает здесь меня?» Черный силуэт стал взбираться на кладбищенскую ограду. Зрамук присел на корточки и всмотрелся, чтобы лучше разглядеть его. Но тот сразу спрыгнул и исчез в кустах.

Разгневанный Зрамук бросился было вслед, но вспомнил о трауре. До боли сжав кулаки, пошел к своему старому дому.

Новые думы охватили его. Надо было узнать, узнать во что бы то ни стало, кто виновен в гибели отца. При каких обстоятельствах он погиб? «После траура поеду в Нальчик к золотых дел мастеру Варпетяну. К нему собирался отец. Может, он знает».

Знакомые комнаты встретили его сыростью и запустением. Правда, мебель, сломанная во время погрома, была убрана заботливыми руками соседей, пол подметен. Все же дом казался чужим и мертвым.

В спальной сидели Таусо и Беймурза.

— Сын мой вернулся! Слава аллаху. Мы так волновались.— И, обратившись к Беймурзе, Таусо продолжал: — Поверь, если бы я только знал, что Исмел направляется к логову врага, я бы его одного не отпустил. Клянусь аллахом, которому служим. А он сказал, что едет в Нальчик по делу. Взял свой документ на имя Черкесова, все скопленные деньги взял... Если бы я был с Исмелом в этот роковой час! Я положил бы свою голову, подставил бы свою грудь, спасая его от пули. Не знал я, что так случится. Какими глазами посмотрю на людей? Ой, стыд мучает меня!..

Долго сетовал Таусо, что не уберег побратима. Набухли слезами покрасневшие стариковские веки. Застеснявшись своей слабости, он обратился к Беймурзе:

— Не осуждай меня, друг. Знаю: мстят не слезами... Если скажешь: завтра на коня — я готов. Потребуешь сегодня — сегодня готов. Бороковы не только твои, но и мои кровники.

Голос Таусо зазвенел, как туго натянутая струна.

— Поблагодари его за преданность,— шепнул Беймурза.

— Спасибо, Таусо золотой. Был ты мне отцом, отцом и останешься. Только, считаю я, не надо торопиться с местью. Надо узнать все, выяснить...

Вскочил Таусо, прервал Зрамука:

— Стой, стой!.. Как это не торопиться? Есть две руки, есть две ноги, белый свет видишь собственными глазами? Что еще надо? Почему торопиться не надо?

— Не надо, Таусо,— тихо сказал Зрамук.

Старики не верили своим ушам. Сын непокоренного Исмела Шогемокова рассуждает, как последний трус. Или он не понимает? Или они говорят ему не те слова?

Долго молчали все трое. Наконец Таусо проговорил:

— Не думай, что я назвал Бороковых своими кровниками для красного словца. Пусть всевышний лишит меня лучей солнца, не даст проглотить ни одного куска, если я не буду тебе верным помощником в этой борьбе.

— Не сомневаюсь я...

— Может, думаешь, что хочу одного тебя направить против Борокова?.. Поверь, займу первое, самое опасное место. Если первым не пущу кинжал в ход, пусть аллах превратит меня здесь же в свинью.

— Э, сын Шогемокова,— поддержал балкарца Беймурза,— куй железо, пока горячо. Остынет — ничего не получится.

Уговоры стариков не действовали на Зрамука. Он сидел с поникшей головой, слушал, но не слышал их. В голове звенели недавние голоса девушек. Жанэт!.. Она звала его бороться за прекращение мести так же, как борется сама. Еще с тех пор, как выдала ему секретное решение совета старейших своего рода, направленное против Шогемоковых. Ради любви своей она с матерью выпустила его из подвала... Любовь и верность другу шаг за шагом ведут ее. Верность — за верность! Это единственно правильный ответ.

Беймурза встал. Пригласил Таусо переночевать у себя. Дойдя до дверей, старики обернулись. Их презрительный взгляд был как пощечина трусу.

И на второй, и на третий день Шогемоков не выходил со двора. Стоял возле навеса, где сидели седобородые, с каменным лицом принимал соболезнования от приходивших людей. А ночами ворочался на неуютной постели, часто просыпался, думал. «Если отец погиб не от бороковской пули? Кому тогда мстить?»

К вечеру вторично пришла Зейнаб с двумя чашами, обернутыми в полотенце. Зрамук поблагодарил за еду, а девушка развернула небольшой сверток, который принесла вместе с ужином. В нем лежал запачканный грязью револьвер.

Зрамук нахмурился, осмотрел наган. Шесть патронов и одна пустая гильза. Он очистил рукоятку от грязи. «Отцовский!»

— Где ты его взяла?

— Жанэт нашла под плетнем у палисадника вблизи кунацкой Бороковых. Спрятала от своих, велела передать тебе.

«Вот ты какая, любимая! Этот револьвер — доказательство невиновности Тугана. А ты отдаешь его мне, чтобы я сам решал, как поступить. Что это: детская наивность или вера в меня?»

Словно читая его мысли, Зейнаб сказала:

— После бога и матери ты — первый человек, которому она доверяет. Она так мне говорила: «Отдай ему револьвер. Зрамук сам расскажет кому надо, где он был найден. Скажет только правду». Поверь мне, бедная девушка делает все возможное и невозможное для того, чтобы погасить огонь кровавой мести.

Зейнаб расплакалась. Немного успокоившись, попросила:

— В твоей власти выбирать жизнь или смерть. Выбирай жизнь. Смертью ничего не достигнешь, кроме божьего гнева, а жизнью возродишь свой род, себя и Жанэт счастливыми сделаешь.

— Подожди,— еле слышно проговорил Зрамук.

Он сел около окна и, подперев руками подбородок, стал всматриваться в темнеющую даль. Начали зажигаться огни. На небе и на земле. Далекие, слабые, они пробивали темноту, несли тепло, говорили о вечности жизни.

Никогда еще не размышлял Зрамук о женитьбе, семье, детях...

А тут — словно перенесся со сказочной быстротой через десяток лет. И опять обожгла мысль о Жанэт.

Зрамук тряхнул головой, поднялся, опершись на оконные рамы. «Нет! Если бы Туган узнал, что делает его дочь ради своей любви... Лишил бы свободы, а то и жизни. А я чем отвечаю на ее мужество и преданность? Ничем пока. Даже не решаюсь твердо сказать: «Хватит крови! Довольно!»

Он шагнул в спальню, где Зейнаб занялась уборкой. Хотел рассказать ей о своих сомнениях... Но в последний момент раздумал.

— Не торопи меня с ответом, Зейнаб. Многое мне надо выяснить. Только передай Жанэт, что долг свой неоплаченный перед нею и ее матерью помню.

— Когда все в пламени, нужно тушить огонь, а не лепетать о долге...

— Ты не поняла, Зейнаб.

— Поняла! Это ты не понимаешь! Жанэт ради тебя бросилась в пучину, ее швыряет, как щепку. А ты стоишь на берегу, спокойно смотришь, выжидаешь...

Зрамук ничего не смог возразить. Он хотел сказать, что примет окончательное решение, посоветовавшись с Таусо, а также с Кабардовым и Соховым, когда их выпустят из тюрьмы. Надо съездить в Нальчик. Но рассерженную девушку нельзя было остановить. Она гневно бросила подушку, которую взбивала, и направилась к двери. На секунду остановилась.

— Хорошее дерево сильно корнями, а человек — добрым сердцем!

— Погоди...

— Когда опрокинется арба, ее трудно поставить на место. А сердце, которое перевернется,— еще труднее.

Хлопнула дверь. Уже со двора Зейнаб кинула:

— Ложью не обрадуешь девушку. Лучше скажи ей правду, пусть горькую, но правду!

«Чего можно ожидать от женского ума и девичьей силы»,— вспомнил он недавние робкие слова Жанэт. «А теперь? С какой настойчивостью борются подруги за осуществление своей клятвы». Зрамук, ничуть не обижаясь на резкие слова Зейнаб, с благодарностью посмотрел ей вслед. «Надо скорее ехать в Нальчик, к мастеру Варпетяну. Надо действовать, а не стоять каменным идолом».

Прошел еще день. Беймурза и Таусо снова посетили Шогемокова. Беймурза долго кряхтел и охал, опираясь на палку. Пригласил Зрамука к себе домой на ужин. Но разговора не получилось. Каждый сидел, занятый своими мыслями.

Молчание нарушил вошедший Мухамед-эфенди.

— Таким образом, значит, Зрамук, то, что я услышал, это — позор, унижение собственного рода. Нельзя этого делать.

Не понимая, в чем дело, все посмотрели на муллу.

— Да-да, нельзя. Бороковы, таким образом, замышляют обмануть тебя, а ты, несмышленый юнец, веришь им.

— Скажи толком, что произошло? — спросил Беймурза.

— Очень просто. Таким образом, значит, к Зрамуку подпустили бороковскую девушку, чтобы она убедила его, будто Туган не убивал Исмела, таким образом. А сам приезжий следователь говорил, что Бороков специальным письмом заманил к себе Шогемокова и убил.

— Говорят, было такое письмо. Исмел направил его Клишбиеву,— кивнул Беймурза.

Зрамука бросило в жар. Щеки его вспыхнули. «Неужели Жанэт способна на это?»

Таусо наставительно заметил:

— Посади змею за пазуху...

— Бороковский род! — расстроился Беймурза.— Узнаю. Чтобы выиграть битву, они на все способны.

— Женщина есть ведьма. А ведьма кого хочешь обманет. Таким образом, значит, вот как обстоит дело. Помни, юноша, ни отступить, ни прощать Бороковым ты не должен.

Старики согласились с муллой. А ему особенно хотелось, чтобы Зрамук уничтожил не кого-нибудь из Бороковых, а именно Тугана.

— Это твой долг, если ты верный сын, истинный мусульманин.

Все переворачивалось в душе Зрамука. Как вода точит камень, так капля за каплей падали в его сердце призывы к кровной мести. Гости разошлись далеко за полночь, недовольные, что Зрамук не поклялся перед ними об отмщении за кровь отца.

Золотых дел мастер Ованес Варпетян — с крючковатым носом, смуглый, с проворными натруженными руками, славился своим умением на всю округу. Кинжалы в позолоченных ножнах, украшенные драгоценными камнями женские пояса, кольца и серьги, сделанные им, брали нарасхват. Не чуждо было ему и иное ремесло. Проверенному клиенту он мог достать винтовку. И тем, которые просили написать заявление,— тоже не отказывал. Правда, сам он был неграмотным, но умел находить расторопных помощников. Поговаривали, что Варпетян умеет изготовить нужный документ с любой печатью. Словом, армянин был известен не меньше, чем прославленные адвокаты. И брал за услуги тоже не меньше, чем они. Посмеиваясь, говорил: «Фамилия моя — Варпетян, это значит по-русски Мастеров. А мастер не ищет заказчиков, заказчики его ищут».

Приехав в Нальчик, Зрамук направился к знакомому двухэтажному дому из красного кирпича, где они с отцом покупали винтовки. Спустился в полуподвал, в мастерскую. Варпетян встретил его настороженно, сверля живыми, пронизывающими глазами.

Потом, стукнув ладонью по лбу, проговорил с сильным армянским акцентом:

— А, вспомниль. Син Чежемок, да?

Зрамук кивнул головой.

— Значит, долг пиринос, да? Совсем маладец. Сам себе говориль: почему долг не приносит Чежемок?

Обрадовавшись посетителю, Варпетян говорил не умолкая.

— Я, Чежемока син, твоему отец написал такой жалоб на Бороко, чтобы дать самому Клишбию. И еще письмо составил с подписью самого Тугана Бороко, такой сильный письмо, что даже лев или тигра испугается. Я подпис его руки сделал так, что самый-самый грамотный не отличит, что это другой рука делал.

Довольный Ованес широко улыбнулся и лукаво подмигнул Зрамуку.

— Ну, син Чежемок, как получилось? Дракон Бороко испугался? Арестованных Клишбий отпустил?

«И Беймурза говорил о письме Тугана к Исмелу... Значит, оно фальшивое?» — пронеслось в голове у Зрамука. Начиная понимать, какой дорогой шел отец, он сухо ответил:

— Нет, арестованных не отпустили.

— Ва, что говоришь! Ничего, отпустят. Я свой дело честно, по-варпетянски сделал, как мастер. Теперь гони монета.

Ованес прищелкнул и выразительно потер большим пальцем об указательный.

— За что же платить?

— Ты что, смеешься, что ли? Отец сказаль, что ты принесешь долг... За то, что нашел человека написать прошение отца, раз. Письмо Бороко написали — два. А главное, подпись Бороко делал — три.

Этот ловкий человек с хищным крючковатым носом, самоуверенный и наглый, стал противен Шогемокову. Пристально глядя на ювелира, он сказал напрямик:

— Не твой ли фалшивый бумажка убил мой отец?

Лицо Варпетяна на миг окаменело. Точно сдунули улыбку и хитрые морщинки у глаз. Вместо нее появилась растерянность, но она тоже быстро исчезла, и мастер снова стал приветлив.

— Так, так, син Чежемок. Плох, очень плох, когда человек один. Сидишь, стучишь здесь весь день, а душа просит играть. Не с кем. Только и шутишь, когда кто в мастерскую придет. Не только сердце, рука шутка любит. Много шутка — рука танцует, много работает, легко работает.

Зрамук понял, что напуганный мастер кривит душой. Он стал просить Варпетяна рассказать, как все было. Умолял его. Но мастер оставался непреклонным.

— Шутка шутил, джан. Кавказский шутка. Ничего не было. Все выдумал: и бумажки не писал, и Чежемок не приходил ко мне. Все, дорогой. Ступай домой.

«И этот не хочет мне помочь»,— подумал Зрамук. Рука крепко сжала в кармане отцовский револьвер. Движение не укрылось от взгляда Варпетяна.

— Вижу, джан, что ты горяч. Но свой горяч, свой мужество покажи тому сволоч, который твой отец убила. Пональ? Это, душа лубезна, будет лучше. А на мне так не смотри. Есть паркурор. Он тебя с головой в кутузку бросит. Так что лучше иди отсуда, чтобы твой дух здесь больше не быль.

Шатаясь, Зрамук вышел из мастерской. Сел на скамейку под акацией на бульваре, стал припоминать все, что было связано с отцом. Начиная с их тревожного расставания до «шуток» золотых дел мастера.

Не мог он поверить, что отец покончил с собой. И никак нельзя было доказать, что его убил кто-то. «Был бы Кулибин в Аюбее, он помог бы разобраться. А этот...» Зрамук со злостью передразнил мастера: «Есть прокурора! Есть прокурора...» Говорить толком не умеет, аферист, а еще угрожает... А что, если самому обратиться к прокурору? Попросить прижать Варпетяна, чтобы сказал правду?»

Через два дня Шогемоков был уже во Владикавказе. Окружной прокурор принял его не сразу, передал через толмача, что занят. Только на другой день к вечеру открылись перед Зрамуком высокие дубовые двери.

— Ну, здравствуйте,— произнес красивый мужчина в новом, с иголочки, мундире, широким жестом приглашая посетителя к столу.

Зрамук растерялся. Перед ним стоял Нестеров. Высокий, представительный, сияющий. В этом кабинете все сияло: и огромные окна, и мебель, и полированный паркет. Юноша на миг зажмурился. Толмач легонько подтолкнул его.

— Здравствуй, пожалустэ,— непривычно громко сказал Зрамук и протянул руку.

— Ну-с, молодой человек, можете радоваться. Трехглавый дракон аюбейский будет строго наказан по законам Российской империи.

Удивленный, что его сообщение не произвело впечатления, Нестеров попросил толмача перевести на кабардинский язык еще раз.

Зрамук по-прежнему молчал.

Лукавая улыбка скользнула по лицу прокурора.

— Вы не рады? Наверное, хотите собственноручно застрелить убийцу своего отца. Понимаю, законы кровной мести...

— Нет, не хочим,— прервал Нестерова юноша и посмотрел на него тоскливым взглядом.

— Что же вам угодно, дорогой джигит?

— Правда хочим. Совсем правда.

Торопясь и сбиваясь, Зрамук поведал прощальные слова отца, сообщение Жанэт, историю найденного нагана, рассказал, как

проговорился вначале Варпетян. Толмач еле успевал переводить.

Благодушное настроение покинуло Нестерова. Он встал и внушительно предупредил:

— За дачу ложных показаний вы будете нести уголовную ответственность. Понятно?

— Наша правда сказал. Вот наган.

Вадим Геннадиевич взял револьвер, осмотрел его, проверил количество патронов в барабане. Нахмурил широкий лоб. Потом положил наган в нижний ящик письменного стола и сказал толмачу:

— Разъясните вашему соплеменнику, что его попытки внести путаницу в совершенно ясное дело — весьма подозрительны. Это во-первых... А во-вторых, придется связаться с Нальчиком и допросить там этого Варпетяна...

А Шогемокову заметил дружелюбно:

— Идите, молодой человек. Но подумайте: к лицу ли вам защищать убийцу своего отца?

— Наша правда хочит. Не надо брешит,— твердо повторил Зрамук.

— Идите, идите. Даю время подумать. Дня через три поговорим.

Прощаясь, Зрамук вспомнил про оставленный револьвер и попросил Нестерова вернуть его.

— Э, нет, милый. Это — вещественное доказательство. Он будет приобщен к делу.

Покидая кабинет, Шогемоков так и не понял толком, будет ли прокурор устанавливать истину или нет. Пожилой толмач осуждающе покачал головой:

— Глупый юноша, кто же с прокурором спорит. Он тебе добра желает.

— Я не спорил, я правду хочу. Правду, как мой отец погиб,— повторил Зрамук, расстроенный и усталый.

Разговор с Нальчиком был непродолжительным.

— По его словам получается, господин полковник, что оба мы ошиблись,— игриво произнес в телефонную трубку Нестеров и засмеялся.— Да, видно, умнее всех нас... Говорит, что письма — фальшивые. Я уверен, что Бороковы подкупили его или запугали... Все-таки прошу допросить этого золотых дел мастера, а протокол срочно прислать с нарочным.

Клишбиев не заставил ждать. В прокуратуру прилетел официальный протокол. Варпетян наотрез отрицал знакомство с Шогемоковыми, пять свидетельских показаний подтверждали его неграмотность.

«Ну, слава богу»,— подумал Нестеров, пряча документы и шогемоковский наган в портфель для доклада правителю области. Доклад был коротким и эффектным. Как говорится, под занавес Вадим Геннадиевич щелкнул изящным замочком и положил на стол генералу протокол и наган.

Правитель области удовлетворенно кивнул и пожевал сухими губами. Прошелся по кабинету, обдумывая.

— Прикажете передать в суд?

— Нет, это, пожалуй, не стоит. Поднимется шумиха, налетят корреспонденты... Лучше спокойнее, в административном порядке. Сослать эдак лет на десять и в качестве наказания, а также чтобы пресечь кровную месть между родами. Быть по сему.

Ожидая решения, Нестеров заметил на правом рукаве белую, меловую черточку. Дождавшись, когда генерал, прохаживаясь, повернулся к нему спиной, он ловким энергичным щелчком сбил эту полоску и опять застыл в вежливом ожидании.

— Быть по сему,— повторил генерал и удовлетворенно забарабанил костлявыми пальцами по зеленому сукну.

Решив, что настал удобный момент, Нестеров напомнил об арестованных Клишбиевым заложниках.

— Можно, можно их выпустить. Теперь, когда участь старшины решена, вряд ли эти беспокойные люди станут бунтовать. Да и равновесие соблюдено: одного посадим, других выпустим. Не в этом ли государственная мудрость, Вадим Геннадиевич?

Словно сухой горох высыпался из дырявого мешка, так смеялся генерал. Вытер глаза кружевным платочком. Милостиво взмахнул рукой.

— А вам, дорогой мой, благодарность за явные успехи на новом поприще.

«Наконец-то!» — радостно подумал Нестеров, довольный похвалой генерала и успешным завершением аюбейских дел. Он шел по главному проспекту легко и быстро, элегантный, подтянутый, ощущая небывалый прилив сил. Если бы не прокурорский мундир, он мог бы выкинуть что-нибудь мальчишеское. Потянул за изящную золотую цепочку часы. «Уж не этот ли нальчикский шельмец ее делал?»

— Однако,— произнес он вслух,— время обеденное.

Он зашел в ресторан, сел возле большого окна, задернутого полупрозрачной тюлевой шторой. На ней, как на экране синематографа, мелькали силуэты прохожих.

Черная икра в серебряной вазочке, обложенная розанами из сливочного масла, розоватая с прожилками, точно мраморная, малосольная семга... Стол был уже сервирован, и, запив закуски солнечного цвета вином, Вадим Геннадиевич приступил к обеду.

...Зрамук Шогемоков шел по тому же проспекту удрученный, усталый. Со вчерашнего дня он не ел, не осталось денег, а ночевал

на вокзале. В ноздри ударил дразнящий запах шашлыка. Он остановился, проглотил слюну.

«Наверное, бродяга какой»,— подумал Нестеров, увидев на шторе ссутулившийся силуэт. Полив поджаренного цыпленка острым соусом, он с аппетитом принялся за еду.

Четвертый раз заходил Зрамук в прокуратуру. Благожелательный толмач разводил руками:

— Не вернулись еще господин прокурор.

Шогемоков решил ждать в приемной. Переводчик, подшивая бумаги, время от времени наставлял юношу:

— Как ты не можешь понять? Если скроенную и сшитую черкеску распороть, а потом опять сшить, что получится? То же самое получится, бесполезная работа.

— А зачем снова шить? Надо сначала кроить, по-новому,— горячился юноша. Он никак не мог понять, почему и прокурор и толмач не хотят заняться поисками правды, а требуют от него подтверждения лжи. Его оскорбляло, что они не верят правдивым словам. Бледный, измученный, он стоял, переминаясь с ноги на ногу.

— Подождешь в коридоре,— буркнул толмач, недовольно взглянув на упрямца.

Появившийся в кабинете веселый, раскрасневшийся Нестеров махнул колокольчиком.

— Ну-с, надеюсь, образумили своего соплеменника?

— Никак нет, господин прокурор. Упрям, как осел.

— У меня упрямых не бывает. Зови!

Зрамук не вошел, влетел. Черные ввалившиеся глаза с мольбой смотрели на прокурора.

— Извольте отвечать, храбрый джигит, за сколько сребреников вы продались Бороковым?.. Не слышу ответа. Трусите, стало быть?

Зрамук понял вопрос. Но не мог поверить, что ему скажут такое... Переспросил толмача. И когда до его сознания дошли оскорбительные слова, побелел и дрожащий, со сжатыми кулаками подошел к столу.

— Давай наша наган!

— Какой тебе наган? Прочь, щенок!

— Я — собач, да?.. Нет, я не собач! Отдавай наша наган! Ну!

Обезумевший Шогемоков наступал на прокурора. Тот взмахнул колокольчиком, велел позвать полицейских. Услышав слово «полиция», Зрамук выхватил из ножен кинжал и тут же упал на ковер, схваченный сзади толмачом. Кинжал отлетел к окну.

Нестеров медленно подошел, поднял и, скрывая волнение, стал рассматривать лезвие.

— Хороший булат, ничего не скажешь. Что ж, придется приобщить... А я-то хотел обрадовать вас, что Бороков приговорен к десяти годам ссылки. Жаль, очень жаль вас, горячий молодой

человек. За дачу заведомо ложных показаний, за покушение на представителя власти по головке не гладят.

Прибежавшие полицейские набросились на сопротивлявшегося Зрамука и, вывернув руки, поволокли его по ковровой дорожке.

Ни Кулибину, ни Шогемокову и в голову не могло прийти, что встретятся они в тюремной камере мрачного владикавказского острога. С двухъярусными нарами по бокам, она была похожа на тесную каюту в трюме парохода. Свет еле пробивался через крошечное оконце под потолком.

Кроме них в камере был еще один заключенный, коренной житель города осетин Калоев, чернявый, добродушный человек. Он получал щедрые передачи и всегда делился с товарищами домашним осетинским пирогом, брынзой и вином.

Полдня рассказывал Зрамук Кулибину события последних недель. Но, не удовлетворившись сообщением, Михаил Петрович сам начал задавать вопросы, выяснять подробности. Потом полушутя-полусерьезно сказал:

— Тебя посадили за то, что говорил правду, утверждал, что не Бороков убил отца, а меня за то, что писал правду о Борокове. Писал в газете, как Туган измывается и над Шогемоковыми и над односельчанами.

— Не Туган убил моего отца. Я все больше убеждаюсь в этом.

— И Бороков, и Клишбиев, и вся правящая клика вынудили твоего отца убить себя, Зрамук.

Кулибин видел перед собой в полумраке грустные, почти плачущие глаза юноши и тихо продолжал:

— Слышал, наверное, как лиса, попавшая в капкан, перегрызает лапу и уходит? Твой отец хотел так спасти род Шогемоковых от бороковского капкана. Застрелился сам. На пороге бороковского дома, чтобы сделать явным виновником своей гибели старого кровника.

Михаил Петрович не одобрял логики самопожертвования, но мужественное благородство Исмела потрясло его.

— Отец твой лишил себя жизни ради тебя, ради того, чтобы молодое поколение обрело новую, достойную жизнь.

Зрамук вспомнил, с какой настойчивостью призывали его старики к кровной мести. «Как же быть?» И, словно подслушав вопрос, Кулибин сказал:

— Предположим, что между вашими родами прекратится кровная месть. Что тогда? Перестанут Бороковы высасывать соки из Шогемоковых и других крестьян?

Зрамук молчал.

— Волк есть волк. Его не отучишь таскать овец из стада. Также и Борокова не уговоришь не присваивать результатов чужого труда.

Убедительно говорил Кулибин. Как друг: просто, понятно и мудро. Зрамук был вполне согласен с ним. «Только как же быть с Жанэт? Как отделить ее от Бороковых?»

— Ты не понял, о чем я говорю, или не согласен? Почему молчишь?

— Понял. Но как быть с Жанэт? — Даже в полумраке камеры было заметно, как вспыхнули щеки юноши.— Такого человека, как она, такой чистой и верной души ни у кого нет!

Зрамук долго и вдохновенно говорил о любимой девушке. И, как всегда бывает, когда человек говорит о настоящей любви, о счастье,— слушателям становится чуть грустно. Кулибин вздохнул, по привычке взмахнул головой, чтобы откинуть волосы, но вспомнил, что он коротко острижен, как арестант. С трудом заглушив понятную зависть к молодым любящим сердцам, он с доброй улыбкой продолжал слушать, слегка кивая головой. А когда Зрамук кончил, осторожно спросил:

— Родители — не старое, поношенное платье, которое легко выбросить. Как по-твоему, любовь и преданность отцу и матери не вынудят Жанэт отступить в трудную минуту?

— Нет! — решительно, не задумываясь, ответил юноша.

Михаилу Петровичу понравилась эта уверенность. Его обрадовала любовь молодых, которая воодушевляет их на бесстрашную и упорную борьбу против старых, диких обычаев. Пусть пока это единичный факт, один росток, но ведь он говорит о многом. Рождается новое поколение горцев, которое жадно ищет новых путей, новой жизни.

— Что ж, видно по всему, что Жанэт — верный друг, мужественный товарищ. Я рад за тебя, Зрамук.

Словно солнце блеснуло на миг в камере, так загорелись глаза молодого Шогемокова. Он горячо обнял Кулибина.

Дремавший на верхних нарах Калоев вдруг спросил:

— А твоя девушка красивая?

— О! Во всей Кабарде нет красивее!

— Человек красивой души всегда красив,— убежденно проговорил осетин.

Подсев поближе к оконцу, Кулибин достал из-под матраца тетрадь и огрызок карандаша. Положил на колено, начал писать:

«Призыв газеты «Кавказ» к общественности — избавить аюбейцев от произвола старшины Борокова — не был услышан. И вот — новая трагедия: покончил с собой умный и гордый крестьянин Исмел Шогемоков. Власти решили квалифицировать его гибель как убийство по мотивам кровной мести. Но это — явная ложь, и простые факты подтверждают сказанное... Гордый и свободолюбивый Шогемоков — жертва не кровной мести, а социального угнетения и чудовищного бесправия народа. Все это известно господину прокурору Нестерову, некогда либералу, а теперь беспринципному карьеристу, в корыстных целях скрывшему истину...»

Кулибин писал увлеченно, не отрываясь. Еле слышно щелкну-

ла задвижка тюремного «глазка». Распахнулась дверь, вбежал надзиратель.

— Не дозволено! Запрещено! — закричал он, ища глазами тетрадь.

Кулибин встал перед ним, спрятав руки за спину.

— Господин надзиратель, у вас есть дети?.. Если бы вас вынудили к самоубийству, как отца этого юноши, ваши дети наверняка бы подали заявление властям... Разве я мог отказать и...

Ловко спрыгнув с нар, Калоев стал совать в карман надзирателю полуштоф водки.

— Ну, если заявление для осиротевшего, тогда другое дело,— проговорил надзиратель.

И, задвинув бутылку поглубже, добавил:

— Только незаметно пишите, чтобы я не видел.

— А вы, Пантелеймон Гаврилович, не подглядывайте — и не увидите,— весело, словно приятелю, подмигнул Калоев.

Надзиратель, погрозив ему пальцем, вышел.

Статья-памфлет, удачно переправленная в редакцию «Кавказа», где работал друг Михаила Петровича, не появилась в газете. Не разрешила цензура. Номер вышел с большим белым пятном посередине страницы.

Это известие огорчило Кулибина. Старый надзиратель стал придирчивее, не помогали и мелкие взятки. «Пронюхали, наверное, жандармы. Чего доброго, меня теперь в карцер переведут». Но, проведя по привычке пятерней по коротко остриженным волосам, Михаил Петрович горевать не стал. «Памфлет в надежных руках. Наши люди издадут его листовкой».

Подсев к Зрамуку, сказал:

— Пора кончать твои каникулы. Времени у нас хоть отбавляй. Значит, можно открыть университет и продолжать образование. Как ты на это смотришь?

«Учиться? В тюрьме? В тесной, темной камере? Без книг, без тетрадей?.. Шутит Михаил Петрович».

— Нет, дорогой, я не шучу. Вначале овладеем азбукой. Простой азбукой перестукивания, как по телеграфу. Если вдруг разлучат нас — сумеем переговариваться.

Для Зрамука начались новые дни. Азбука Морзе. Азбука простых экономических отношений. Начальная азбука классовой борьбы...

Тюремный университет работал с утра до вечера. Узкой и темной была аудитория. На серых каменных стенах не висели красочные плакаты. Не было у лектора классной доски, не было дневного света. Но горячие сердца и проникновенное слово правды раздвигали холодный камень тюрьмы и переносили Зрамука в светлый, свободный мир недалекого будущего.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОТЗВУКИ ДАЛЕКОГО ГРОМА

1

— Ступай, ступай! Проваливай. И больше не попадайся.

Грубые слова надзирателя остались позади. Переступив порог владикавказской тюрьмы, Зрамук Шогемоков жадно вдохнул морозный воздух.

Стояла кавказская зима. Порывистый северный ветер крутил неокрепшие снежинки. Он швырял их на дорогу, они таяли в слякоти, а те, которым удавалось спрятаться за углами заборов и надворных построек, сиротливо жались друг к другу.

Пройдя несколько кварталов, Зрамук почувствовал неприятную сырость в ногах. Он остановился, глянул на свои чувяки. Подошва из сыромятной кожи промокла и вытянулась, как индюшиный нос. Зрамук поежился от холода, а ветер будто ждал этого. Налетел, ударил по летнему бешмету и прохудившимся штанам, кинул в лицо пригоршню снежинок.

«Что делать?» Зрамук поднял голову, взглянул на серое, завьюженное небо. Из-за тяжелых, мутных облаков едва проглядывало солнце. «Как в тюрьме»,— невесело подумал он.

Оставалось одно: ходить по дворам колоть дрова, убирать конюшни. Может, удастся заработать на обратный путь. Не пешком же идти в такую погоду.

Сначала не повезло. Хозяева пугались заросшего, плохо одетого человека: уж не беглый ли? Но на третьем дворе попросили убрать снег, дали гривенник, накормили горячим борщом. Со следующего — тоже не прогнали, а за колку дров он получил целых тридцать копеек.

Шогемоков уже был сыт, согрелся, в кармане бренчали деньги. Но их не хватало, чтобы ехать в Кабарду. И он опять ходил по дворам, осторожно стучал в заиндевевшие окна.

Остановился у небольшого, но аккуратного кирпичного домика. На стук вышла хозяйка в накинутой на плечи красивой шали. Пряча глаза от стыда и неловкости, Зрамук пробормотал:

— Дров колим, хочешь двор чистим. Цена сколько душам ваша не жалко.

— Зрамук! Ты?

Перед ним стояла Нина Михайловна Сиднева. Его добрая учительница. Немного усталое, увядающее лицо было красиво, хотя

и не так, как прежде. В больших серых глазах застыла грусть. Но совсем молодо, звонко и приветливо звучал добрый голос.

— Ошибка, очень ошибка,— торопливо проговорил Зрамук. Щеки его вспыхнули, он круто повернул назад.

Нина Михайловна, подобрав шаль, побежала за ним, схватила за руку.

— Что с тобой? Зайди к нам, обогреешься, обсохнешь. Мы же земляки!

Не глядя на Нину Михайловну, Зрамук отрицательно покачал головой.

— Да заходи же. Евгений сейчас со своей сотней порядки наводит. Заходи.

Но Шогемоков упрямо отказывался. Он не мог забыть оскорбления, нанесенного ему Евгением Пантелеевичем Сидневым. Чуткая женщина поняла это. Отпустила руку.

— Подожди минуту.

Она побежала в дом.

Вернулась со старым пальто и поношенными сапогами. Почти насильно,— Зрамук отказывался,— заставила его взять вещи, положила ему в нагрудный карман маленькую хрустящую бумажку. Зрамук так растерялся, что не поблагодарил. Слезы готовы были брызнуть из его глаз.

А в глазах Нины Михайловны он прочел немой вопрос: «Почему такой хороший, работящий парень с пытливой душой и так опустился?» Но она молчала, чтобы не смутить юношу.

— Зайди, пожалуйста, в дом. Переобуешься.

Зрамук, продолжая отрицательно качать головой, стал надевать пальто. С трудом стащив мокрые чувяки, натянул сапоги. Выпрямился.

— Спасибо. Очень большой спасибо.

В больших серых глазах Нины Михайловны вновь появилась грусть. Она медленно протянула руку.

Шогемоков пожал ее, маленькую и теплую, двумя жесткими от холода ладонями, пожал осторожно, с благодарностью и выпустил, точно горлинку, на волю. Потом, резко повернувшись, направился в сторону вокзала.

Ветер продолжал бесноваться, легко пронизывал узорчатую шаль, высеребрил снежинками локоны. Нина Михайловна не чувствовала холода. «Что же с ним приключилось? А какой способный был парень...» И, слегка покачав головой, тихо произнесла:

— Ах, Евгений, Евгений!..

Она стояла и смотрела вслед Зрамуку до тех пор, пока он не скрылся в метели.

Вздрогнув от озноба, она перекинула конец шали за спину и медленно пошла к крыльцу.

Зрамук шагал навстречу бурану. Все думал о Михаиле Петровиче Кулибине. И в вагоне поезда, отправляясь в Кабарду, и по

дороге из Нальчика в аул Верхний не выходил из головы Кулибин. Для молодого Шогемокова он стал старшим братом, заменил отца. И вот — осужден, сослан. «Как же теперь я?.. Без предводителя разве идут на штурм? Видно, долго еще не будет сиять для нас солнце, раз те, которые зажигают огонь свободы, упрятаны в тюрьмы».

Предгорная дорога, по которой шел Шогемоков, была стиснута с двух сторон лесом. Деревья качались и стонали от ветра. Поземка крутила снежные воронки, била в лицо, старалась свалить упрямого путника. Зрамук торопился: хотел к ночи добраться до аула.

«Не надо было Михаилу Петровичу ввязываться в наше шогемоковское дело. Ничего не получилось. И сам пострадал. Осудили на восемь лет».

И от сознания какой-то вины за собой и за погибшим отцом, и от усталости голова Зрамука клонилась все ниже и ниже.

Шогемоков не знал, что главную беду на Михаила Петровича накликал сельский писарь Шашенков, сбежавший из Аюбея.

Павел Витальевич не простил памятного допроса у Кабардова, решил отомстить. Доносы его дошли до Петербурга. Охранное отделение департамента полиции переворошило свои архивы. Оказалось, что под фамилией Кулибин скрывается Николай Герасимович Красночуб. Он родился в одном из черкесских аулов на Кубани в семье местного писаря. Позже стал студентом Петербургского политехнического института, вступил в члены социал-демократической партии, вел революционную пропаганду. Преследуемый жандармерией, сбежал, следы его затерялись.

Некоторое время он пробыл в Тифлисе, приобрел паспорт на имя Михаила Петровича Кулибина. Потом — Владикавказ, репортерская работа в газете: происшествия, судебные отчеты. Знакомство с либерально настроенным секретарем суда Нестеровым.

В газетных заметках Кулибина молодой юрист выглядел образцом бескорыстного служения правде. Легкий фимиам кружил голову Вадиму Геннадиевичу. Нестеров оказывал влияние на суд своим авторитетом высокообразованного, культурного человека, широкими связями. Его дядя был правой рукой генерал-губернатора Флейшера.

Блестящему юристу было невдомек, что Михаил Петрович действовал по поручению местной социал-демократической группы, действовал тонко и обдуманно.

Жить бы да поживать Михаилу Петровичу, тихо пописывать статейки, не тревожить начальство. Только характер у него был не такой, а перо не писало, а резало. Владикавказские правители не раз предупреждали издателя газеты. Часто номер выходил с белыми «окнами» взамен снятых цензурой статей. Потом Кулибина вовсе выгнали из редакции. Поговаривали даже об аресте беспокойного репортера. Социал-демократическая группа решила на-

править его в Кабарду. Не только чтобы Кулибин мог скрыться, но и для сплочения сил революционно настроенных крестьян, участников Зольского восстания. К тому же Кулибин знал кабардинский язык.

После бегства из Аюбея Кулибин уже под третьей фамилией работал техником на грозненских нефтяных промыслах и здесь вел революционную работу. Выслеженный полицией, был арестован и перевезен во владикавказскую тюрьму.

— Ну-с, господин Красночуб, воздаю должное вашему умению маскироваться как в политике, так и в дружбе,— захлопнув дверь камеры, едко бросил Нестеров.

Кулибин понял, что дело не только в листовке, посвященной Борокову и Шогемокову. Недобрый ветер подул из самого Петрограда.

«Обложен крепко. Надо выпутаться».

Он посмотрел на прокурора и насмешливо отозвался:

— Чья бы корова мычала, а ваша молчала!

Вадим Геннадиевич осекся и сник: вспомнил, как рассказывал Кулибину о своем участии в революции 1905 года, когда состоял в конституционно-демократической партии, о знакомстве с террористами.

— Моя — молчит, Михаил Петрович. И дальше будет молчать. А ваша?

— Вот с этого и начали бы!

— Для того и пришел, чтобы договориться.

— Что ж, договориться можно. Надо вам только позаботиться о двух лицах. Весьма небольшая услуга: первое — выпустить невинного Шогемокова, второе — то же самое в отношении Красночуба. Учтите, он может потянуть за собой кое-кого.

Согласие на освобождение Шогемокова прокурор дал сразу. Но в отношении самого Михаила Петровича дело было сложнее: на охранное отделение полиции, которое ведало политическими делами, власть прокурора не распространялась. Надо было как-то использовать влияние всесильного дядюшки. Нестеров заколебался.

— Предупреждаю, Вадим Геннадиевич,— мягко проговорил Кулибин,— если я предстану перед судом, то карьера ваша кончена. Всплывут не только события тысяча девятьсот пятого года, но и служебные злоупотребления в деле Борокова и Шогемокова. Вы ведь дали совершенно ложное направление следствию ради общественной карьеры!

— Слово русского дворянина! Я переправлю дело Красночуба в тифлисскую судебную палату. Там мы с дядей примем меры, чтобы господин Красночуб оказался на свободе.

Все неожиданно осложнилось сопротивлением начальника жандармерии. Михаилу Петровичу пришлось в резкой форме повторить свою угрозу, а Нестерову для скорейшего решения дойти вместе с дядей до генерал-губернатора Флейшера.

Высокие связи и немалые взятки сделали свое дело. Кулибин-Красночуб был выпущен на свободу в Тифлисе.

Зрамук не знал всего этого. Мысль о потере Михаила Петровича по-прежнему угнетала его. «Под корень режут правду, выпрямиться ей не дают. Куда податься?»

С тяжелыми, будто свинец, думами Зрамук начал спускаться в ущелье. «Конечно, Таусо встретит, как родного. Только как жить дальше? Лишь бы существовать? Или носиться подобно тополиному пуху, который ветер бросает, куда захочет? Нет, так я не могу, не буду».

И словно луч солнца прорезал хмурые тучи, проник к одинокому сердцу юноши. Теплее стало в груди от одной мысли о дорогой Жанэт. Зрамук встрепенулся. Подняв голову, окинул взором свою тропу.

Горы, высокие, гордые, слепящие белизной, стояли перед ним. Они были совсем рядом, казалось, можно дотянуться до них рукой.

«Как мечты наши...— прошептал Зрамук.— Светлы, величественны. Попробуй достать, попробуй только дотронуться до них! Уж мы, Шогемоковы, знаем, как сладки надежды и какой горечью отзываются они».

А что, если... От внезапно мелькнувшей мысли снова захолонуло сердце. После того, что случилось с Туганом Бороковым, разве сможет Жанэт любить и уважать своего друга? Но ведь он невиновен. Он расскажет любимой всю правду, все свои злоключения. Она поймет, она умна и добра. Сердце ей подскажет.

Он чуть не задыхался от быстрой ходьбы. Но все время подгонял себя:

«Скорее, скорее! Обратно в Аюбей. Жить в родном селении, рядом с Жанэт, только так. Одна она сможет вернуть мне жизнь, дать отраду и счастье».

На серебристые зубцы далеких вершин опускалось солнце. Медленное, словно опечаленное чем-то. Застывшие над горной грядой облака были похожи на золотистые перья огромной птицы. Они постепенно темнели, вечер приближался неторопливо, тихо.

Не в первый раз Зрамук наблюдал закат в горах, но теперь эта спокойная величественная картина особенно поразила его. И опять светлый образ Жанэт встал перед глазами.

Юноша перевел взгляд на долину. По дороге, перерезавшей ее, неслись во весь опор пять всадников. Первый — на вороном, второй — на белом. Остальные трое, отставшие от них, нещадно хлестали своих лошадей, но расстояние не сокращалось. Наоборот, первые два всадника отдалялись все больше и больше.

Прислонившись к каменному выступу на горе, Зрамук с интересом стал наблюдать за погоней.

Скакавший на вороном приподнялся в седле, посмотрел назад. И тут же круто повернул коня. Второй сделал то же самое. Пришпорили лошадей. Всадник на вороном выхватил клинок и направил коня к первому из преследователей. Тот тоже обнажил шашку; засверкала полированная сталь, раздались сухие металлические удары, и послышалось храпение разгоряченных коней. Всадники не уступали друг другу, отражали удары, дрались остервенело.

У скакавшего на белом оружия не было, и он встретился с ближайшим из противников в конной драке. Оскаленные кони налетали друг на друга, сталкивались, но всадники сидели крепко, и ни один из них не падал. Потом схватились врукопашную, пытаясь скинуть друг друга на землю. Всадник на белом немного осадил коня назад и, сильно огрев его плетью, снова налетел на противника. Тот упал вместе с лошадью.

Победитель тут же поскакал к третьему всаднику, который уже приближался к месту схватки.

Отчаянно продолжали рубиться и первые двое. Зрамук видел, как всадник на вороном увернулся и нанес ответный удар. Противник дрогнул, медленно склонился на холку гнедого и свалился на землю.

Победитель не спешился, не посмотрел на сраженного врага.

С места в карьер помчался он к третьему всаднику. Тот, увидев перед собой сразу двух разъяренных врагов, поскакал во всю прыть к аулу.

Всадники на белом и вороном с версту гнали его, как зайца. Потом, свернув с дороги, крупной рысью въехали в сосновый лес на противоположном склоне ущелья.

Зрамук был потрясен жестокой схваткой. «Везде убийство, кровь. Почему? Почему нельзя мирно обрабатывать свой надел, есть свой хлеб?.. Эх!»

Он сокрушенно махнул рукой. Долго не мог успокоиться. «Что за люди? Что сделало их врагами на земле?.. А тот, на вороном, настоящий джигит. Ловок, бесстрашен. Да и на белом тоже не робкого десятка».

И хотя победители невольно расположили к себе молодого Шогемокова, у него не возникло желания схватиться с Бороковым, как они.

Поздней ночью добрался Зрамук до аула Верхнего. Без стука, как у себя дома, открыл дверь в саклю Батырбекова.

— Добрый вечер, дорогой Таусо, здравствуй, дорогая Хафисат.

Вскочив с постели, Хафисат засветила лучину, Таусо заключил в свои медвежьи объятия любимого Зрамука.

— Сын наш, наконец! Слава аллаху!.. А мы так горевали...

Сосновая лучина в глиняном горшке светила слабо, но и при этом свете видны были счастливые слезы на щеках Хафисат. Она стала разводить очаг, чтобы приготовить ужин своему приемному сыну.

— Наше горе было двойным,— говорил Таусо, и губы его дрожали.— И Исмела мы не уберегли, и ты бесследно исчез... Людям не могли показаться. Сидели дома и лили слезы.

— Не один раз, четыре раза ездил старик в Аюбей, чтобы разыскать тебя. Спрашивал. Никто ничего о тебе не знал,— вытерев слезы, добавила Хафисат.

«А как там Жанэт?» — едва не вырвалось у Зрамука при упоминании об Аюбее. Ему стало совестно, что он держал своих друзей в таком беспокойстве больше полугода. И чтобы сгладить их боль и обиду, стал рассказывать о всех своих злоключениях в Нальчике и Владикавказе.

2

После утреннего чая Таусо сказал:

— Сын мой, радость моя. Великий благодетель аллах вернул тебя нам. Пойдем, посмотришь на оружие покойного Исмела.

Во второй комнате сакли, низкой, с маленьким оконцем, между двух высоких деревянных кроватей стоял обитый жестью сундук. Зазвенел замок. Таусо вытащил два свертка из домотканого сукна. Точно малых ребят, он бережно перенес их на кровать, стал разворачивать.

Пятизарядка и карабин сияли, как новые. Видно, Таусо часто смазывал их и чистил. Зрамук поблагодарил Таусо, взял винтовку, щелкнул затвором.

— А теперь, сын мой, пойдем в конюшню. Погладишь коней родного отца — сердцу легче будет.

Едва вошли в конюшню, Звездолобая, покосившись на Зрамука, тихо заржала. У юноши дрогнуло сердце: «Помнит!.. Если бы жив был отец...» Он обхватил шею Звездолобой, уткнулся лицом в жесткую гриву. «Только бы сдержаться, не показать слез». Медленно подняв голову, погладил спину лошади, потрепал холку. Она настороженно посматривала на хозяина, кожа ее тихо вздрагивала.

Зрамук подошел к маштаку. Не стал гладить, а лишь слегка ударил по заросшей длинной шерстью ноге, у сгиба колена. Нога коня подкосилась, и он, как бы извиняясь, мотнул головой и фыркнул. «Э-э...» — покачал головой Зрамук и толкнул его в переднюю лопатку. Конь не выдержал и подвинулся на шаг в сторону.

«Застоялся... Ну, а ты?» Он снова подошел к Звездолобой. От удара по колену она только чуть подняла ногу. Толчок в лопатку не сдвинул ее с места. Лошадь была такой же крепкой и сильной, как прежде.

Таусо, не отрываясь, следил за Зрамуком. «Молодец, джигит». Его так и подмывало громко крикнуть: «Вижу: хорошо проверяешь оружие, лошадей. Значит, скоро мстить будем!»

Довольного и торжествующего Батырбекова тянуло на улицу — всему аулу сообщить, что Зрамук вернулся живым и здоровым. Задолго до полуденного намаза Таусо вышел со двора.

Высоко подняв голову, закинув руки за спину, он, как важный таубий, вышагивал по кривым уличкам. Останавливал встречных и говорил им, сияющий и довольный:

— Ты слышал? Как подобрел ко мне аллах! Вернул Зрамука целехоньким.

И в мечети он каждому сообщил радостную весть. И все поздравляли его.

Один только мрачный усач Берд, бывший конокрад, омрачил радость старика:

— А ты сам что сделал? Приемыша не разыскал, из тюрьмы его не вызволил. Отца его, твоего побратима, не спас. Надо своими руками смывать позор с лица. Вот так, как вчера Кайсын Жантуев с Таубековым.

Таусо знал, что Таубеков не давал проходу красавице Фатиме из рода Жантуевых. Поговаривали, что даже пытался изнасиловать девушку. А когда Таусо узнал, что старший Таубеков тяжело ранен, а младший лежит с переломом ноги, то понял, что схватка, о которой вчера рассказал ему Зрамук, была схваткой Жантуевых с Таубековыми. Понял и сразу умолк, не говорил больше ни о своей радости, ни о смытом позорном пятне.

«Надо отомстить за побратима». Эта мысль не давала ему покоя. Он угрюмо разулся, вошел в мечеть. Молился долго и самозабвенно, просил у всевышнего сил для отмщения Бороковым. И искренне верил в удачу. Ведь после того, как друг Зрамука Кайсын Жантуев так решительно постоял за честь рода, молодому Шогемокову будет стыдно вкладывать меч в ножны.

Полуденный намаз закончился. Задумчивый, сосредоточенный, Таусо побрел к дому. Сел у очага, молча потер озябшие руки. Потом обернулся:

— Молод ты еще, Зрамук, ох, молод. Не понимаешь обычаев, честь для тебя — пустое слово...

Шогемоков пододвинул низкую скамейку к очагу, вежливо сел поближе к Таусо. А тот умолк, точно собирался с мыслями. Медленно поднял глаза.

— Сын мой, ответь мне. Если бы кто-нибудь попытался силой взять твою сестру, как бы ты поступил с ним?

— У меня нет сестры, Таусо.

— Ну, предположи, что есть. Что бы ты сделал с тем, кто покушался бы на ее честь?

— Раз у меня нет сестры, этого просто не может случиться!

Таусо кашлянул, нахмурился и продолжал:

— О, сколько несчастий порождаются болтовней, чревоугодием, похотливостью. Правильно сказано: «Кто привык съедать два обеда, тот не знает, как обойтись одним». Карауздени всегда карауздени. Перед сильными — животом в грязь ложатся, а сла-

бых — сами с грязью смешивают. И похваляются еще: «Смотрите, мол, какие мы сильные».

Таусо взял кочергу, подгреб угли в очаге.

— Это я все ко вчерашней драке, которую ты видел... У Таубекова — жена, взрослые дети. А ему приглянулась Фатима из рода Жантуевых. Где она, там и он. Она от него, как серна от волка. С ума сходил. Друзья стали поддразнивать... Как-то на вечеринке вскочил Таубеков хмельной, кулаком по столу ударил. «На спор! — закричал.— С каждым могу поспорить. И сегодня же...»

Батырбеков встал и занялся самокруткой. Прикурил от головешки, сильно затянулся. Выдохнул густой едкий дым.

— Если на лице жесть вместо кожи, если не бояться стыда, не бояться божьего гнева... Таубеков в эту же ночь опозорил девушку. Теперь сам понимай. Если ноги носят, глаза видят, а руки могут взять оружие, кто может простить оскорбление? Твой друг Кайсын с братом Сафаром отправились к Таубекову. Самого не было дома, дочь отперла дверь... Нет, Кайсын не обесчестил ее, но поигрался, как кошка с мышкой. А когда вернулся Таубеков, Жантуевы бросились к коням и ускакали. Таубековы собрали погоню. Что было дальше, ты сам видел...

Таусо долгим взглядом посмотрел на Зрамука. «Ну, говори же. Чего молчишь? — словно упрашивали глаза старика.— Неужели так ничего и не понял?»

— Видишь, как твой друг Кайсын вступился за честь сестры. А ты?.. На что ты способен?! Неужели ты себя не считаешь оскорбленным?

Все понимал Зрамук. Ему стало жаль Таусо, так горячо принимавшего к сердцу его обиду. «Ну что, что ему скажешь? Нет, лучше молчать».

А Таусо начинал сердиться. Сдвинулись мохнатые брови, голос зазвенел, в лицо Зрамуку полетели обидные слова:

— Вместо того чтобы взять в руки отцовскую винтовку и свалить Борокова, ты пошел бродяжничать. В тюрьму угодил. Там, в вонючей камере, растерял остатки мужества... И это наша молодежь!.. Где у нее сила, отвага? Где, я спрашиваю?.. Какой ты черкес, какой ты сын? Правду говорят люди, что хорошему отцу нет удачи на хорошего сына.

Старик выдохся. Он яростно втягивал в себя едкий табачный дым, делал мелкие, частые затяжки, выпуская дым из ноздрей.

Горько было молодому Шогемокову. Он вобрал голову в плечи. Щеки пылали больше от обиды, чем от жара очага. Наконец заговорил:

— Мой добрый, дорогой Таусо. За отца ты у меня, всегда буду тебе благодарен... Когда я пришел вчера, то твердо решил сказать правду, да не решился сразу. Возвращаюсь я в старый дом. Сохраню фамилию рода, отцовскую усадьбу, буду обрабатывать свой надел.

«Обиделся,— подумал Батырбеков.— Не хотел этого... Бог видит, не хотел».

— Молод еще,— буркнул он.— Не сможешь жить.

— Какое там молод! Совсем старый: усы растут, борода...— пошутил Зрамук.

Таусо недовольно перебил его:

— Не усы делают мужчину, а мужество. Не умеешь мстить, значит...

— Прости, что перебиваю тебя. Как ты смотришь на мое желание? Разрешишь уехать?

— Да, по правде сказать, я тоже думал об этом. Но своим домом заживешь тогда, когда кровь отца будет отмщена. Вот тебе мой сказ.

— Не беспокойся, не тревожь свое сердце... Отомстим, дорогой Таусо. Не только я и ты, не ударом из-за угла, а общей борьбой. Всенародной борьбой со злодеями,— говорит Зрамук, повторяя то, что не раз слышал в тюрьме от Кулибина и Калоева.

«Наконец-то!» — обрадовался старый Батырбеков. Не все слова он понял, но уловил истинный смысл сказанного. Ясно, отчетливо прозвучало слово «отомстим», и Таусо вскочил, как ребенок.

— О аллах великий! Помоги этому парню в его справедливых намерениях... Я всегда с тобой, не подведу. Дай только знать.

— Мы это сделаем,— подтвердил Шогемоков.— Народ поднимается, как океанская волна...

Зрамук вспомнил Кулибина, аюбейцев. Глаза его заблестели. Он подошел и крепко сжал жилистую руку Таусо.

Когда были решены все вопросы, связанные с переездом, Таусо пригласил Зрамука на баз.

— У черкесов исстари есть обычай одаривать того, кто собирается зажить своим домом. Вот...— Он показал на телку и двух овец:— Это тебе на развод...

Шогемоков прижал руку к груди.

— Спасибо. Только не могу взять. Я молод, здоров. Сам успею нажить.

— Неотмщенная кровь лежит на мне проклятьем! — вскипел старик.— Весь аул насмехается! И ты тоже на второй позор хочешь меня выставить?

Зрамук отказывался от дара только потому, что знал о небольших достатках самого Таусо. Но обижать его никак не хотел. Принял дар, горячо поблагодарил и в свою очередь хотел оставить Таусо на память коня-маштака.

— Нет, ты сегодня не в своем уме! Слыхала, Хафисат? Он хочет, чтобы люди сказали про меня: «Ограбил и отпустил!» О, бездумная молодость!

Хафисат мягко пристыдила Зрамука.

— Пересесть с брички на одноконную арбу — это не так позор

для тебя, как для меня,— строго заключил Батырбеков и пошел запрягать ослика.

Овцы со связанными ногами уже лежали в повозке. Привязанная к задку телеги телка удивленно таращила на них глаза. Оседланные кони терпеливо ждали всадников.

Вышла Хафисат с большим чанаком пузырящегося айрана.

— Счастливого пути вам! Дай аллах, чтобы ты оставил здесь счастливый след своей пятки, а счастливыми носками ног вступил в отчий дом.

Таусо отпил добрую половину, передал Зрамуку.

— Тронулись! — весело крикнул хозяин. Ослик, терпеливо ожидавший этого крика, покатил повозку.

3

У одних род — словно лес: деревьев не счесть, и больших и малых. Другим век вековать в одиночку, прилепившись корнями к неуютной скале.

Таким казался и Мурат Кабардов. Один-одинешенек. Происхождения низкого. К тому же бедняк. И вдруг — зять Сохова.

— Не можем понять тебя, благоразумный Музачир. Как ты решился отдать за него красавицу Зейнаб? Или большой калым получил? — недоумевали многие.

Сохов отвечал достойно:

— Высокое происхождение не дает само по себе ни ума, ни языка. Настоящий человек тот, кто может стать мудрецом и выразить народные думы...

— Значит, по-твоему, Мурат Кабардов и есть мудрец?

На этот вопрос старик пожимал плечами: понимай, мол, как знаешь.

Мурата он знал с детства. Но по-настоящему понял и полюбил там, за решетками нальчикской тюрьмы.

Не раз бросали Мурата в одиночный карцер, лишали пищи, били до потери сознания. Но так и не выведали, где скрываются Шогемоковы, какие разговоры вел среди крестьян Кулибин.

Тюремщики обещали ему коня с седлом, хорошее жалованье в отряде стражников, но не польстился на деньги Кабардов. А когда обвинили Сохова, что по его вине взбунтовался сельский сход, Мурат крикнул:

— Это не он. Это — я, моя вина...

И розги, предназначенные старику, принял на себя.

Музачир Сохов осторожно спрашивал:

— Ты, Мурат, не осуждай меня за любопытство. Ты настоящий джигит без изъянов. И годами уже за тридцать. Почему один до сих пор? Почему старушку мать держишь в одиночестве? Не с кем ей словом перекинуться. Не стесняйся, скажи.

Не сразу ответил Кабардов. Видно было, что вопрос не из простых.

— Насчет «без изъянов» ошибаешься, Музачир. Весь я в изъянах, весь в дырках. А кто без калыма дочь отдаст?

— Ну, кто не отдаст, а кто, может быть, и отдаст.

Больше в тюрьме не говорили об этом. А когда оба вышли, Сохов отмел все преграды обычаев и традиций — выдал двадцатитрехлетнюю Зейнаб за Кабардова и калыма не взял ни копейки.

Душа в душу зажили молодые, дружно работали, не могли наглядеться друг на друга. Но обоих их угнетало исчезновение Зрамука. Мурат пробовал искать его, всюду спрашивал — молодой Шогемоков словно в воду канул. Тогда Кабардов поехал во Владикавказ, к Нестерову. Один раз тот хорошо отнесся к нему,— авось поможет и сейчас в розысках?

— Да-с, Шогемоков был арестован,— сказал Нестеров.— Он заслуживал весьма строгого наказания. Но я распорядился выпустить его. Просто пожалел горячего молодого человека... Отпустил два дня назад, на свой страх и риск.

Кабардов не знал, как и благодарить «самого доброго начальника». Поспешил в Аюбей с хорошей вестью.

Музачир Сохов собрал стариков. Долго не говорили. Все согласились на складчину, чтобы помочь Зрамуку зажить своим хозяйством.

— Добрый обычай,— кивнул Сохову Беймурза.— Если у меня в очаге потухнет огонь, сосед даст жару из своего очага. И оба будем с огнем и со светом.

Женщины обмазали стены и пол глиной, старательно побелили старый дом Шогемоковых. Мужчины занялись ремонтом окон и дверей, прохудившейся крыши...

Таусо и Зрамук подъехали к Аюбею поздно. Темнота накрыла аул темной буркой,— лишь кое-где мерцали слабые огоньки. «А в моем доме — и такого света нет»,— подумал Зрамук. Горько ему было ввести Таусо в запустелый, холодный дом.

— В жизни, сын мой, всяко бывает,— мягко ответил Таусо.— Главное — не богатый прием. Наше родство скреплено адатом, священный долг на наших плечах. Не волнуйся.

«Может, пригласить его в дом Кабардова?» — Зрамук остановился у ворот соседа, но Таусо настоял на том, чтобы ехать к отчему дому.

Вот до боли родные ворота, свой дом. Свет в окне. «Почему? Может, Бороковы присвоили дом и продали?»

Они въехали во двор. Зрамук спешился. Подошел к двери, постучал. Никто не отозвался. Он постучал сильнее, требовательнее. Тишина. Тогда он подошел к окну, заглянул в комнату. Лампа с подкрученным фитилем слабо освещала стены. Никого не было.

Привязав лошадей и ослика, Зрамук пригласил Таусо в дом. Повернул фитиль. Комната от света расширилась, потеплела. Она была чисто убрана, пахла свежей побелкой. Зрамук радостно и растерянно смотрел по сторонам. Все, все как было, как при отце. Стол — между окнами, а сзади сундук, накрытый полстью! Правда, кровати другие, но на прежних местах. Поверх матрацев — подушки со свежими наволочками. А в правом углу, напротив стола,— кушетка с прибитыми к ножкам блестящими кусками жести.

Зрамук вышел в сенцы. У двери стояли кумган, медный таз для умывания и низкая скамеечка. С потолка свисала прикрепленная железным кольцом к перекладине буйволиная кожа, шириной в ладонь. С ее помощью обрабатывал Исмел сыромятину. И если бы в сенцах висели его седло, бурка и башлык, можно было подумать, что старший Шогемоков ненадолго отлучился из дома.

— Вернулся! Вернулся!

Мурат и Зейнаб вбежали в дом, стали обнимать Зрамука. Радостно носились вокруг него, позабыв, что надо поздороваться с гостем. А Таусо сидел в красном углу и был счастлив не менее молодежи.

— Откуда вы знали, что вернусь сегодня? Спасибо вам за тепло и заботу, большое спасибо!

— Э, Зрамук, да ты не знаешь всего,— проговорил Мурат и с улыбкой посмотрел на жену.— Сказать?.. Зейнаб была уверена, что свет и тепло домашнего очага непременно потянут тебя обратно в дом. С того времени, как мы поженились, каждый вечер она зажигала лампу. А с наступлением холодов по пятницам протапливала.

«Милая Зейнаб... Мурат дорогой... Они поженились... Какие хорошие люди!»

— Что же ты, красавица, носишься, как квочка, потерявшая цыплят,— пошутил Мурат.— Сходила бы домой, приготовила поесть. Они с дороги, проголодались...

— Может быть, Зрамуку будет приятнее угощать в родном доме?

Зейнаб присела к печке, чтобы развести огонь.

— Так-то так. Но когда дом пуст, он не дом, а шалаш,— возразил молодой муж.

Зейнаб ничего не ответила, вышла в сенцы. Через минуту вернулась. В руках у нее была сапеточка с пшеном, полная кастрюля картофеля и вяленая баранья ляжка сверху.

— Сердце не позволило мне оставлять дом Зрамука без продуктов.

— Ну и догадливая ты у меня,— ласково посмотрел на жену Мурат.

Зрамук радовался счастью и душевному согласию близких людей. Он смотрел то на нее, то на него. Потом кинулся к обоим

и, крепко обняв, хотя и с опозданием, но сердечно поздравил молодоженов.

Гудело разгоревшееся пламя. От картофеля со сковороды шел густой пар, шипело и вздрагивало мясо на вертеле, острый аппетитный запах щекотал ноздри.

«Как хорошо можно жить на свете... Отчий дом, рядом — добрые, близкие люди. Жанэт...»

Зрамук хотел сейчас же расспросить Зейнаб о возлюбленной, но в присутствии Таусо не решился.

Ужин был готов. Мурат пригласил гостя к столу.

— Вкусна еда после длинной дороги. Особенно вкусна еда, которая подается в компании.

Из уважения к гостю Зрамук остался стоять у дверей.

После трапезы Зрамук полил Таусо и Мурату из кумгана. Они умылись.

— А теперь ты, сын, покушай.

Соблюдая обычай, Зрамук и Зейнаб не стали есть на виду у старшего, а вышли в сенцы. Здесь был накрыт маленький трехногий столик.

Не прикасаясь к еде, Зрамук быстро спросил:

— А как Жанэт?

— Бедная девушка оплакивает не одно, а три горя.

Зрамук не понял, с недоумением посмотрел на Зейнаб.

— Да-да, три... Высылка отца, твое загадочное исчезновение и... и...

Она замолкла.

— А третье?..

— Будто сам не знаешь... Если на преданность и верность не отвечают тем же, разве этого не достаточно, чтобы горевать?

— Ну, нет, здесь моя совесть чиста.

Зрамук рассказал, как был арестован, сидел в тюрьме. Почувствовав свою неправоту, даже жестокость по отношению к юноше, Зейнаб покраснела.

— Что с тобой?

— Мне стыдно, что тогда подумала о тебе плохо. Помнишь, при последней встрече? Как хорошо, что я ошиблась.

— А что подумала тогда Жанэт?

— Говорят, что большая любовь ослепляет человека. Неверно это. Жанэт могла тогда обидеться на тебя, как и я. Тогда я все рассказала ей, передала все твои слова. А она не поверила. Сказала: «Зрамук не такой. Сердце его не изо льда...»

— Слушай, Зейнаб. Я очень хочу видеть Жанэт. Помоги! Ты же понимаешь...

Зейнаб знала, что Бороковы держат Жанэт затворницей, не выпускают из дому.

— Трудно, мой дорогой. Сейчас еще труднее стало. Но попытаемся. Может, удастся.

Мурат кликнул жену, она пошла в комнату.

Зрамук ел нехотя. С усилием жевал и глотал, не замечая вкуса и запаха пищи. Мысли его были у бороковского дома. Там, в этом ненавистном ему гнезде, тосковала его любимая горлинка.

Загудел, ожил дом Шогемоковых. Непрерывно приходили односельчане, поздравляли с освобождением из тюрьмы, со счастливым возвращением. Тепло и радостно было Зрамуку видеть заботливые лица друзей, их добрые улыбки. И лишь ночью он тяжко ворочался с боку на бок, метался, шептал в полусне. «Опять эта бесконечная борьба. А что делать? Может, заставить себя не думать о ней? Нет, невозможно. Сердце не позволяет... О, Жанэт!»

— Что кручинишься, Зрамук? Или постель не мягка? — спрашивал Таусо, наклонившись над кроватью.

— Только сейчас проснулся. Сон увидел и проснулся,— соврал Зрамук. И снова притворился спящим, громко захрапел.

«Да, неотмщенная кровь не дает ему покоя,— озабоченно думал старый Таусо и тоже ворочался, не мог заснуть.— Потому и не спит! Потому и занемог. Надо поговорить с Беймурзой и Музачиром, пора за дело приниматься».

Утром во двор пришли старики с коровой и телочкой.

Беймурза обратился к Зрамуку:

— Брат наш, сын наш младший. Ты уже зажил своим домом. Вот тебе подарок от односельчан на развод. Все желают тебе: живи добрым, хорошим хозяином.

Шогемокова забота односельчан одновременно и тронула и обидела. Ведь подобные подношения обычно делают сиротам, погорельцам, немощным старикам. Неужели его считают таким? Зрамук стал отказываться от дара.

Беймурза нахмурился, повысил голос:

— Молод еще!

— Многого не понимаешь,— сказал Музачир, ободряя юношу.— Сейчас самое время тебе начинать. Пройдут годы — на десятки голов станешь считать свое стадо.

На второй день после своего возвращения Зрамук почувствовал, что его знобит. Поламывало в суставах и раньше, а теперь и голова разболелась.

«Где же это меня прохватило? — Подошел к кровати.— Нет, нельзя ложиться. Много дел по хозяйству».

Он постоял и, не в силах куда-либо идти, присел на кровать. Лоб покрылся испариной.

«Этого еще не хватало»,— грустно подумал он и медленно положил голову на подушку.

Он услышал, как скрипнула дверь, вошла Зейнаб.

Зрамук вскочил с постели.

— Ну?

Всегда веселая, улыбчивая соседка на этот раз смотрела печально. Не сразу ответила, начала издалека:

— Бороковы уже знают, что ты, добиваясь освобождения Тугана, сам угодил в тюрьму. Жангуаша тронута твоим благородством, говорит, что должна относиться к тебе, как к родному сыну.

— А Жанэт?

Опять не ответила Зейнаб, стала рассказывать, как Адальбий за эти слова стал поносить свою мать.

— Я бы лучше провалилась в седьмое подземелье, чем слушать такие оскорбления... Бедная Жангуаша плакала, причитала: «И это мой сын говорит! Пусть мой прах отнесут на кладбище».

«Да, злоязычен»,— подумал Зрамук и опять спросил о Жанэт...

— Жанэт... Вначале мы с ней были вдвоем. Она будто на крыльях парила, светилась вся радостью. А когда ворвался Адальбий, сжалась, замолкла. Потом плакала вместе с матерью.

— А о встрече договорились?

— Начали говорить, но Адальбий вернулся, и все рухнуло. Мне он сказал, чтобы больше не появлялась у них.

Зрамук с трудом встал, подошел к окну. Потрогал пальцем стекло, задумался. Кажется, всего только тонкая прозрачная стенка отделяет его от возлюбленной. А на самом деле — стена.

— Снова надо лезть в драку... О, как это все надоело...

Он сказал это тихо, будто самому себе. Подошла Зейнаб.

— Теперь нас четверо, Зрамук. Понимаешь? Не отчаивайся.

Да, четверо единомышленников, готовых объединить свои усилия. Мурат, Зейнаб, Жанэт и он сам.

Он повернулся, хотел поблагодарить верную соседку.

— Что ты такой бледный? И вспотел... Ты болен. Ну-ка, ложись...

Зейнаб приготовила ему постель и ушла.

Зрамук не лег. Грустно думал о Жанэт, о своем одиночестве, о телке с коровой, которых ему подарили близкие люди. Все перемешалось, болела голова, во рту пересохло. «Пожалели... Как сироту, как бедняка... Сколько мой род боролся, воевал и погибал... Хватит крови... А Адальбий? Если он не захочет примирения?»

Не раздеваясь, он лег на кровать. Натянул одеяло на голову, закрыл глаза. Но сон не шел. В левый бок будто кто-то колол острой иголкой. Зрамук перевернулся навзничь, но и это не помогло. Испуганно колотилось сердце, не хватало воздуха. Он стал дышать ртом, задыхался, потел. Очень хотелось пить.

«Один, совсем один... Даже кружку воды подать некому. Вот встану сейчас и упаду, не дойду».

Он полежал еще немного и заставил себя подняться. Перебирая руками по стене, дошел до кумгана, отпил несколько глотков. Вода была теплой, невкусной.

На следующее утро стало немного лучше. Пришел попрощаться Таусо, не велел ему вставать. Но Зрамук все же вышел проводить его. А когда вернулся, ноги подкосились, и он рухнул на кровать.

4

Больше недели проболел Шогемоков. Встал — закружилась голова, руки повисли, точно не свои. «Ослаб. Совсем ослаб...»

А дел было много. Привести в порядок изгородь, наладить ворота. Он взял топор, лопату, вышел во двор. Старый почерневший от дождей плетень совсем покосился, местами лежал на земле. Лучше всего было бы поехать в лес за лозой и кольями, сплести новый. Но сил было мало. Зрамук постоял в раздумье. Потом нажал ногой на лопату. Ковырнул верхний мягкий слой земли, она уперлась в мерзлоту и дальше не шла. Пришлось принести лом. С ним было особенно трудно. По спине, по лицу, по горбинке носа текли струйки пота, холодного, липкого. Зрамук задыхался. Отчаянно колотилось сердце. И когда становилось невмоготу, он отдыхал, совсем немного, только чтобы отдышаться.

Выкопав больше десятка ямок, Зрамук поставил в них подпорки. Притянул плетень, крепко подвязал.

Ворота были целы, но нужно было выровнять дубовые столбы, на которых они висели. «Может, завтра?.. Ведь надо снимать с петель тяжелые створки»,— подумал Зрамук. Но ему очень хотелось, чтобы люди увидели, как поднимается шогемоковская усадьба, увидели, что хозяин вернулся.

Он подсунул лом под створку ворот, заскрипели ржавые петли, он снял ворота, приставил к плетню. Выкопал расшатавшиеся столбы, концы их оказались подгнившими. Надо было отпилить гнилые, но пилы не было. Пришлось снова орудовать топором. Опять закололо сердце, зашумело в ушах. «Только бы не упасть»,— подумал он и прислонился к плетню. Отдышался. Снова стал обтесывать столбы, обмазал концы дегтем, установил, начал утаптывать землю... Теперь только навесить и — все.

— Хорошей и долгой жизни тебе, Зрамук. Аллах да увенчает твои хлопоты счастливой удачей.

Старый Беймурза был обрадован хозяйской хваткой юноши. Остановился, помог закрепить ворота. Немного отошел в сторону и придирчиво осмотрел. Потом толкнул дубовый столб ладонью, навалился на него, чтобы раскачать. Столбы стояли крепко.

— Вижу, что и хочешь жить и умеешь. Удачи тебе, дорогой! — приветливо попрощался Беймурза.

Зрамук накрутил тряпку на конец палки и опустил в остаток дегтя. Провел на воротах три черные линии сверху вниз, соединил внизу. Буква «Ш» получилась достаточно крупной, чтобы ее могли заметить с улицы все проходящие. Остальные он вывел поменьше, некоторые получились не очень ровными, но все равно он остался доволен. «Шогемоков Зрамук»,— явственно чернела надпись. Он еще раз прочел вслух фамилию, имя. Пусть знают все, пусть читают: «Шогемоковский род не перевелся. Живет и будет жить».

Еле добравшись до кровати, Зрамук сразу заснул. Спал весь

вечер и всю ночь, как убитый. Утром почувствовал себя бодрым, будто все болячки и недуги закопал во вчерашние ямки.

Надпись привлекла внимание соседей. Многие не могли понять, зачем он так разрисовал ворота. А когда узнали от грамотных, что на воротах начертана родовая фамилия, невольно позавидовали молодому Шогемокову.

— Нарочно написал, наперекор Бороковым,— говорили одни.

Другие считали, что Шогемоков хотел подчеркнуть свою грамотность.

— Бахвалится мальчишка. Вот-де я какой, не то что вы, неучи.

Но даже недруги поняли, что Шогемоков достоин уважения не только потому, что знает русскую грамоту.

— Самый благородный, самый первый у нас парень,— в один голос заявили аюбейцы, когда Зрамук занялся сооружением памятника отцу.

Он долго искал подходящее место, объездил все земли селения. «Надо, чтобы красиво было, чтоб люди могли видеть».

И он нашел такое место — у лесистого холма, как раз на пересечении дорог. Здесь пробивался из-под земли чистый родник, и Зрамук расширил, укрепил его исток. Вырыл поодаль несколько ям, чтобы с наступлением теплых дней посадить саженцы яблони и вишни, а повыше — дубы и чинары.

И пока мастер-каменотес высекал на туфе контуры черкески, винтовки, кумгана и шашки, пока заструилась на камне затейливая арабская вязь, обращенная к путникам, Зрамук каждый день приходил на заветное место. То сажал деревья, то заботливо сооружал коновязь для проезжающих, то выкладывал светлым камнем ложе родника.

Надпись на памятнике призывала добрым словом и прочувствованной молитвой почтить Исмела Шогемокова, человека трудной и трагической судьбы.

Останавливались путники и утоляли жажду, и совершали намаз за упокой души, отдыхали...

«Родник Шогемокова» — стали называть это место аюбейцы и проезжие.

— Молод, но умен и деятелен. Честь соблюдает. Дай ему жизни, аллах всемогущий! — говорили о Зрамуке старики.

Давно должна была наступить весна. Земля оттаяла, снег сошел. Но потом, как говорили аюбейцы, рассердилась колдунья Патражуз — снова послала мороз и снег. Испугалась весна, отступила. Скрылось солнце, и посыпалась ледяная крупа. Холод, слякоть, злой порывистый ветер...

Медленно просыхали пашни. Нетерпеливые крестьяне то и дело ездили на поля, растирали комья земли в ладонях, качали головами: «рано».

Каждую весну перераспределялась пахотная общинная земля.

И в этом году аюбейцы отправились на поля во главе со старшим — Беймурзой. Молодой хозяин Зрамук Шогемоков впервые участвовал в этом деле.

Не проходило года, чтобы при перераспределении пашни не было недоразумений, ссор и обид. Но па этот раз все обошлось гладко. Первые два дня делили землю в районе междуречья. Третий и четвертый день ушли на распределение участков под кукурузу у предгорного леса. На пятый день состоялась жеребьевка.

— Дорогие односельчане! — обратился Беймурза.— Каждый год мы бросаем в шапку свои палочки. Случается, одна — толще, другая — тоньше, третья — длиннее. Сколько ругани, сколько ссор из-за этого... Теперь у нас есть грамотный человек. Давайте будем бросать в шапку не палочки, а бумажки с написанными фамилиями.

Не всем понравилось предложение старика. Многие считали, что любая бумажка — вещь обманчивая, с ней возможны всякие махинации.

— Из тысячи, из десяти тысяч палочек я всегда узнаю свою. Только палочками проводить жеребьевку,— горячился Шахбан Каздохов.

— Помним, помним,— оборвал его Мадин,— как в прошлом году ты бросил в шапку толстую и длинную палочку. Ее, конечно, вытащили одной из первых, и ты выбрал самый лучший участок.

Слова Мадина оказались убедительными, решено было доверить свое счастье бумажкам.

— Ну-ка, Шахбан, нагнись и не двигайся,— сказал Зрамук и положил записную книжку на спину Каздохова.

— Если мою фамилию первой напишешь, как придорожный столб буду стоять.

Зрамук написал на листке бумаги его фамилию и отдал. Каздохов долго рассматривал непонятные буквы, умолял бога осчастливить его, как и в прошлом году.

Мурат Кабардов, усмехнувшись, фыркнул:

— Шахбан! Говорят, что спина, рассеченная плеткой, теряет всякую чувствительность. Верно?

Каздохов понял намек. Выпрямился. Схватил кинжал за рукоятку, шагнул к Кабардову.

А тот как ни в чем не бывало спокойно продолжал:

— Если ты считаешь, что Шогемоков тогда незаслуженно огрел тебя по спине, отомсти ему. А я при чем?

Эти слова окончательно вывели из равновесия маленького человека: глаза его покраснели, он стал ругаться, брызгая слюной:

— Собака ты и от двух собак родился!

Шахбан думал, что Кабардов, по крайней мере, ответит на оскорбительные слова. Но тот спокойно стоял, внимательно следя за руками Шахбана.

— Отвечай же, собакой рожденный, ответь сейчас же! — в ярости воскликнул Каздохов и выхватил кинжал из ножен.

Кабардов попятился, а потом побежал. Размахивая большим кинжалом, за ним ринулся Каздохов. Пробежав саженей тридцать, Мурат споткнулся и упал.

— Убьет! — охнула толпа, и несколько человек помчались к ним, чтобы не допустить кровопролития.

В это время Мурат ловко ударил ногой по колену Каздохова и свалил его, кинжал отлетел в сторону.

Мурат расхохотался.

— Ты думал, я от тебя побежал? Я же нарочно.

Он схватил в охапку маленького Каздохова, поднял большой кинжал и направился к людям. Шахбан отчаянно дергался, кричал, плевался. Мурат Кабардов принес его и поставил в круг. Возвращая кинжал, заметил:

— Помни, Каздохов, зря обнаженный кинжал может отсечь твою же голову.

Посрамленный Шахбан пробормотал сквозь зубы:

— Мы еще встретимся.

Люди стояли безмолвно. Некоторые одобряли выходку Мурата. Другие жалели маленького, щуплого Шахбана. Обеспокоенный Беймурза крикнул:

— Женился уже, а ведешь себя, Мурат, как мальчишка! Пора прекратить глупые шутки.

И, обратившись к односельчанам, сказал:

— Ничего не поделаешь, такие стычки всегда бывают. Не нами начаты, не нами кончатся. Как говорится в песне:

Пахари выезжают,
Пахари по полю ходят,
Деля землю — ругаются,
Первую борозду прокладывая — мирятся.

Умело успокоив односельчан, разрядив обстановку, Беймурза взял шапку с бумажками и протянул Каздохову:

— Вот. Перемешаешь и будешь вытаскивать по одной. И чтобы без скандала.

— Погодите, друзья мои,— сказал Мадин.— Имею предложение. Зрамук потрудился для нас. А главное, он новый хозяин, должен окрепнуть. Давайте разрешим ему выбрать участок без жеребьевки.

Каздохов выскочил на середину круга, чуть шапку не выронил, замахал руками.

Мурат остановил его.

— Эх, Шахбан, Шахбан. Ни добра, ни благородства не понимаешь. Хоть бы раз в жизни сделал шаг в ногу со всеми. Может, от этого пришло бы к тебе счастье.

Многие поддержали Мадина, но сам Шогемоков отказался от предоставленного права. Его уговаривали, просили. Зрамук настоял на своем.

— Эх! — воскликнул Шахбан Каздохов и, зажмурив глаза, опустил в шапку худую жилистую руку.

5

— Кургут! Кургут! — скрипели колеса плугов.

— Нуа! Нуа! — кричали погонщики. Взлетали над бороздой грачи и вороны, оглашая окрестности громкими гортанными криками.

Аюбейцы пахали.

Пахал и Зрамук Шогемоков. Как новому хозяину, ему не хватало то лемеха, то семян, то еще чего-нибудь. Он отставал от более опытных односельчан и поэтому старался изо всех сил, работал до позднего вечера.

Утром, едва рассвело, он вскочил и стал будить Султана, погонщика. Подросток крепко спал, что-то бормоча, не раскрывая глаз. Еле растолкав, Зрамук поставил его на ноги, сунул ему в руки одежду, а сам пошел запрягать лошадей.

Султан явился, зевая и потягиваясь. Зрамук помог ему взобраться на лошадь, нажал на рукояти плуга.

— Ну, пошли!

Лошади дернули и тут же остановились — слишком глубоко врезались лемеха. Зрамук понял, что надо немного вытянуть плуг.

— Ну, молодцы! Тяните, не позорьтесь.

Невыспавшийся и сердитый Султан огрел кнутом передних лошадей. Растерявшись, они потянули влево, за ними пошли и коренники. Плуг вздрогнул и выскочил из борозды.

— Эй, Султан! Что с тобой?

Зрамук выправил плуг, но погонщик не мог совладать с лошадьми. Плуг опять выскочил из борозды, стал ковырять землю, делая огрехи. Зрамуку пришлось забежать вперед и, схватив поводья, установить лошадей как следует.

Не был сделан еще полный круг загона, как стала капризничать непривычная к хомуту Звездолобая. Время от времени она оборачивалась и дергала головой, как бы жалуясь: «Что вы делаете? Я — не рабочая, а верховая лошадь». Горько было Зрамуку заставлять свою любимицу надрываться, но что поделаешь. Нажимая на плуг, он шептал:

— Я не князь, не дворянин. Не обязательно мне иметь верхового коня. Не осудят же!

Но это было слабым утешением. Зрамук знал: работая в упряжке, Звездолобая теряет свои качества верховой лошади.

Словно рассердившись, что ее не понимают, Звездолобая нехотя шагала, перестала тянуть. На ходу щипала молодую травку, мешала остальным лошадям.

Нахмурившись, Зрамук остановил упряжку. Запряг Звездолобую вторым коренником, погонщика пересадил на другую лошадь. Свистнул кнут и опустился на круп Звездолобой.

— Вперед!

Теперь и лошади, и пахарь, и погонщик шли ровным, хорошим шагом. Пласт за пластом отваливался жирный чернозем, совсем как у опытного пахаря. Зрамуку стало легко и радостно.

«А это что такое? — Рядом виднелись проплешины с сухими кукурузными бодыльями.— Да, вчера в сумерки пахал... Так может пахать только тот, кто не собирается питаться своим урожаем».

Зрамук решительно повернул упряжку с плугом на огрехи и стал перепахивать заново. «Теперь никто не скажет, что Шогемоков издевается над землей».

Он шел, крепко и уверенно держась за чапиги. Чтобы не зазубрить лемех о валуны, вовремя поднимал его. Расторопно счищал с предплужника кукурузные бодылья и стебли прошлогодних сорняков.

Быстро работал Зрамук, а весна шагала еще быстрее. На лугах распустились белые венчики таволги. Старики считали, что после ее цветения сеять поздно. А надо было вспахать не только свой надел, но и надел вдовы, матери погонщика Султана.

— Нуа! Вперед, молодцы!

Зрамук окинул взглядом загон. Пять дней, не меньше, надо. А это — много, недопустимо много.

— Поторапливай, Султан, лошадок! — крикнул он и огрел кнутом коренников.

Увлеченный работой, Шогемоков не сделал сегодня утреннего перерыва. Хотел пахать и без обеда, но пожалел вспотевших, усталых лошадей. Быстро искупав их в реке, они с Султаном принялись за черствый чурек и кислое молоко.

Когда наступили сумерки, и лошади и пахари едва волочили ноги.

Освобожденная от хомута Звездолобая легла на мягкую пашню. Тонкие ноздри ее подрагивали, она сдержанно фыркала и переваливалась с боку на бок, словно отдавала вспаханной земле свою усталость. Вместе с другими лошадьми Султан погнал ее на речку. Зрамук долгим печальным взглядом проводил любимицу.

Он настолько устал, что уже не хотел есть. Но надо было накормить погонщика. И Шогемоков заставил себя развести огонь, повесить казанок над костром. Запрыгало, заиграло пламя, запах мамалыги с мясом защекотал ноздри.

Вернулся Султан. Боком сел у костра, опершись на правую руку.

Зрамук с жалостью посмотрел на своего помощника. Погладил по плечу.

— Так-то, Султан. Ты — вдовий сын, а я — круглый сирота. Чтобы жить, как люди, мы должны работать до кровавых мозолей. Сам видишь, нельзя иначе.

Султан осторожно пересел на другой бок.

— Да я — ничего. И не очень-то устал. Только вот натер...

Поев, он уже не смог сказать ни слова. Чуть не падал головой в костер, глаза слипались.

— Спать, спать! — приказал Зрамук.

Султан не дошел до шалаша, растянулся под бричкой, на свежескошенной траве. Шогемоков прикрыл его и сам лег рядом лицом к небу.

Наступила тихая ночь. Выплыла луна и стала перепахивать черную целину. Жемчужным блеском сверкали звезды. Стало светлее и прохладнее. Но усталость так сковала тело, что Шогемокову не хотелось идти в шалаш за буркой.

Зрамук смотрел на звезды и думал о Звездолобой: «Соберу хороший урожай, продам излишки и куплю рабочую лошадь. А Звездочка, моя красавица, останется верховой. Пусть я не князь, а верховая у меня будет не хуже, чем у них. Неужели на маштака натяну седло?.. Нет, это позор».

Зрамук размышлял о том, как у него будет ладиться хозяйство, придет достаток в дом... «А хозяйка? Будет?» И снова мысли перекинулись к бороковской усадьбе, к Жанэт...

Мурат Кабардов пробовал уговорить Адальбия, даже угрожал ему. Но бороковский отпрыск был тверд и по-прежнему держал сестру затворницей. Поговаривали, что он затевает чуть ли не убийство Зрамука.

«Нет, я не верю в это,— думал Зрамук.— На такое способны только настоящие мужчины. А когда судьба наделяла людей мужеством и благородством, Адальбий сидел где-то в углу, и его она обошла. Хотя нет. Он может это сделать чужими руками. Наняли же они тогда Пако и Шахбана...»

Зрамук встал, сходил за буркой и лег. «Завтра надо закончить этот загон, а послезавтра начать пахать возле опушки леса. А потом...»

Сон властно оборвал его думы.

Загон матери Султана у лесной опушки вспахан. Но на ниве Шогемокова пролегло лишь несколько борозд последнего загона.

Изо всех сил нажимая на плуг, Зрамук услышал сзади крики, оглянулся. Один за одним, пять плугов, начав с края его загона, резали землю.

— Кугурт! Кугурт! — весело пели плуги.

— Нуа! Нуа! — кричали погонщики.

Зрамук остановил свою упряжку, медленно подошел к друзьям.

— На помощь, на выручку к тебе пришли,— еще издали крикнул Мурат Кабардов.— Чтобы кукуруза у тебя была, как сосна, а от тяжести проса земля прогибалась, Шогемоков.

Зрамук ответил в тон:

— Да благословит ваши добрые намерения аллах, и нивы ваши пусть тучнеют, чтобы земля стонала от тяжести, чтобы по вашим пашням брело отяжелевшее от невиданного урожая изобилие, чтобы по ним дождь каждый раз прокладывал дорогу и чтобы вы были сами веселы и счастливы.

— Ого, как весенняя птичка защебетал Шогемоков, и не остановишь...

— Он хочет опьянить нас одним славословием, а не хмельной медовухой.

Зрамук понял шутливый намек. По обычаю, он должен подойти к пахарям с бочонком медового хмельного напитка. Досыта угостить каждого, чтобы ноги пахарей танцевали за плугом, а сердца пели, славили щедрую весну.

«Одинок... Некому было приготовить медовуху для товарищей, пришедших на помощь»,— с неловкостью подумал Зрамук. Все смолкли.

Чтобы вывести друга из затруднительного положения, Мурат воскликнул:

— Вперед, волы и кони, плугари и погонщики!

Он ударил хворостиной волов и пошел за плугом с песней пахарей:

У настоящих работяг
Пальцы словно позолочены.
Эй, пошел, пошел,
Эй, подгоняй, подгоняй,
Добрый погонщик волов!

— Кургут! Кургут!.. Нуа! Нуа!.. Цоб цобей! Цоб цобей! — дружно неслось над полем.

Видя близкий конец пахоты, Зрамук радостно крикнул:

— Давай, Султан! Давай!

— Эй, гнедые! — закричал погонщик и стал раскручивать кнут. Удар достался Звездолобой.

Зрамук съежился, будто ударили его самого. Он взглянул на свою любимицу. А она, уже привыкшая к хомуту, тянула вместе с остальными изо всех сил. Белой пеной покрылась ее спина. Засохшие кровавые подтеки на лопатках свисали, как медные жетоны. Покрытая пылью, гнедая стала пепельно-серой. Красивая голова Звездолобой была опущена книзу. «Не хлещите меня кнутом. Видите, я и так стараюсь»,— словно говорила она.

— Хватит, хватит стегать! Надо жалеть лошадей,— крикнул Зрамук и, подбежав к погонщику, вырвал кнут.

Султан удивился.

— Да, надо жалеть лошадей,— уже спокойнее, но твердо проговорил Зрамук.

Шесть плугов, точно шесть лодок, двигались по пахотному морю, вздымая рваные волны отваленной земли. Наступал конец весенней пахоты. Не сегодня, так завтра будет опрокинут пласт последней борозды, потом крестьяне отсеются, и придет долгожданный весенний праздник.

Желая приблизить его, неумолчно пели плуги:

— Кургут! Кургут! Кургут!..

6

Ни с одним из календарей мира не сходится аюбейский календарь. Особенный у него счет, свое летосчисление. Если речь зайдет о давнем событии, то скажут, что оно произошло «за три года до того, как началась большая болезнь» или — «после того, как закончилось первое переселение в Турцию и прошел только год». О событиях не столь далеких вспоминают примерно так: «Это было тогда, когда Хатира-Хаджи совершал паломничество в Мекку», или «когда устроили скачки в память покойного Пшимахо». Счет времени недавних дел ведут от начала Зольского восстания или русско-германской войны.

Бродят по просторам Российской империи важные известия, печалят или радуют людей. Переходят из уст в уста, несутся по тонким телеграфным проводам из губернии в губернию, из Питера к окраинам России. И лишь на обратном пути забредают в горный Аюбей.

Проблуждав больше месяца по городам и весям, совсем неожиданный слух завернул к аюбейцам.

— Как же так? Скинуть самого царя...

Краснощекий Альботов, который был особенно доволен русским царем с того времени, как получил хороший кусок горных пастбищ, предостерегающе грозил пальцем:

— Вы что?! С ума спятили?

— Нарочно молва пущена, односельчане. Проверку делают: как любим мы русского государя. Развяжем языки по глупости, а нас — за шиворот и в Сибирь,— хмуро пояснил всегда осторожный Джатажеев.

Хозяин многотысячной отары Каноков говорил солидно и наставительно:

— У отары овец есть козел-поводырь, косяком лошадей командует жеребец, пчелиной семьей правит матка, а людьми — царь. Разве можно людям без царя! Такое начнется — коннозаводчик станет пешим, барантовод лишится овец. Все горло друг другу перегрызут.

— Вранье все это. Мы своего старшину не могли скинуть, а тут — царя.

— Революце, говорят, скинула. Революце все может!

Это почти кричал Мурат Кабардов. Размахивая рукой, он убежденно добавлял:

— Вот теперь нам вернут пастбища на Золке... Правда, Зрамук?

— Вернут. И не только пастбища.

Вскоре после этих страстных перепалок аюбейцам вернули... Борокова.

Освеженный омовением перед полуденным намазом, одетый во все чистое, Туган Долатович приближался к мечети.

«Да он ли это? Может, наваждение?» — протирали глаза крестьяне.

Бороков шел степенный, важный, только бледность тронула щеки да черкеска сидела на плечах не так плотно, как прежде.

Не доходя до скамеек стариков во дворе мечети, Туган остановился.

— Ас-саламун алейкум, аюбейцы!

Точно ветром сдунутые, вскочили старики. Где там прежние обиды и распри... Сердечно поздоровались. Вглядывались исподволь. «Прежний Туган? Будто так, а все-таки не такой».

— Знал я твердо, что скоро вернусь. С чистой совестью. Вот и вернулся. Хвала аллаху.

Он провел рукой по бороде. Неторопливо сел на почетное место, которое ему поспешно уступили. Пристально посмотрел на всех. Начал спокойно и негромко:

— Вот так, аюбейцы. Аллах карает творящих произвол. Царя — скинули, Клишбиева, верного его холуя,— скинули, а меня на волю отпустили...

— Это как же, таким образом, значит, произошло? — заинтересовался Мухамед-эфенди.

— Таким образом, значит,— с еле уловимой усмешкой ответил Бороков.— Войной люди пошли и свергли царя и его приспешников. А всех обиженных и несправедливо наказанных — освободили...

— Постой... А наших как же? — вдруг спросил Музачир Сохов.

Вопрос был неожиданным. Бороков растерянно замолчал. Промелькнула мысль о расплате за старые дела. Особенно если вернется Пшикан Шогемоков...

Туган нахмурился и, тщательно взвешивая каждое слово, произнес:

— Должны, конечно, и их освободить, если только...— Он заикнулся, чуть было не сказал: «если остались в живых». Быстро овладев собой, закончил: — ...если только и в Сибири произошла революция.

Не такого ответа ждали родственники сосланных, все односельчане. Переглядывались аюбейцы, опускали глаза, молчали. Одно было ясным — царя, действительно, свергли. Иначе бы не вернулся Туган. И только заговорили все разом, торопливо, отрывисто — наступило время полуденной молитвы... Сняв обувь у дверей, все вошли в мечеть. Как ни странно, больше других был обрадован возвращением Борокова Зрамук. «Значит, скоро и дядя Пшикан вернется из Сибири... Тогда нас будет двое. Две винтовки, два кинжала... Только почему же двое? А Мурат Кабардов, Музачир Сохов, дед Беймурза? Нас и сейчас много, но нет Пшикана. Испытанного, крепкого, сильного».

И снова заныло сердце: «А если его нет в живых?.. Ведь ни одного письма не было. Это неспроста... Нет, быть этого не может. Революция вызволит его из неволи».

Зрамук встряхнул головой, чтобы избавиться от мрачных предположений. Энергично ударил ладонями о колени, встал. Скрутил самокрутку и, прикурив от лампы, жадно и глубоко затянулся. Стало легче, спокойнее. «Пойду к Кабардову, поговорю»,— решил он.

Внешне все в Аюбее выглядело по-старому. Текли дни, похожие друг на друга. Кто имел девять шуб, а у кого не было ни одной. Но все больше забредало в селение разных слухов. И не только слухов.

Раз заехали мятежно настроенные всадники из дальних аулов. Объявили, что согласно новому закону крестьяне некоторых селений отхватили от княжеских земель по целой десятине и распахали.

Заволновались аюбейцы.

— Где такой закон? Кто его дал?

Ответ был коротким:

— С самого Битирбуха [1] идет этот закон. А составили его большевики.

Из поколения в поколение аюбейцы знали, что «Битирбух» всегда отнимал у них землю, раздавал своим офицерам и местным богатеям. А большевики? Ведь даже Бороков говорил, что это самые мудрые, образованные люди, которым поручили управлять страной. Очень хотелось верить, и вдруг — новая весть. Большевики и их глава Ленин — просто бездомные бунтовщики и немецкие агенты. А кто самовольно тронет чужую землю — тому будет худо.

Вот и решай, как знаешь.

И опять пришло подтверждение: «Да, земля теперь должна делиться поровну между всеми».

Малоземельные аюбейцы, хоть и побаивались божьего гнева и людского осуждения, все же отхватили толику земли у крупных землевладельцев.

Князь Агаджоков и его друзья протестовали, грозили... А Бороков помалкивал, даже когда от его участка отрезали пять десятин и раздали крестьянам. И будто был обрадован, что зачинщиками этого дела являлись Кабардов и Шогемоков.

Крестьяне удивлялись. В другое время Туган горло бы перегрыз самовольным захватчикам. А тут, смотрите-ка, стал приветливым, мягким, набожным. «Ой, не к добру...» — вздыхали аюбейцы. Вздыхал и Бороков. «Вернется из ссылки Шогемоков со своими друзьями, какую плату возьмет с меня? Хорошо, если часть земли потребует и скота. А то...»

---

[1] Искаж. Петербург.

Немало волнений, страхов и надежд пережил Аюбей, внимая разным слухам. А привычные дела и крестьянские заботы шли своим чередом.

Торопила погода, надо было поскорее отсеяться. Крестьяне работали, не жалея ни себя, ни животных. Мокли рубахи от пота, дрожали натруженные руки, слипались веки от бессонных ночей.

Пришел наконец желанный день. Последняя горсть проса брошена в борозду, последний танец исполнила терновая борона, прикрыв семена теплой землей. Остановлены волы и лошади, освобождены от хомутов, от ярма. И, очутившись на лугу, все еще не верят своему счастью,— жадно и торопливо щиплют траву, с беспокойством поглядывая на чернеющую ниву.

А пахари? А погонщики?.. Тесным, дружным станом собрались они на берегу реки. Кипели, плевались жирной накипью огромные медные котлы с тушами баранов, фыркала и вздрагивала мамалыга, ее помешивали деревянными лопатками. А у очагов с золотым дубовым жаром сидели на корточках лучшие кулинары Аюбея. Лица их сосредоточены, багровы от пламени, рукава закатаны выше локтей. На больших железных вертелах — по целому бараньему боку. Точно живые, они медленно поворачиваются над огнем.

— Лейте! Лейте равномерно,— призывают кулинары.

Их молодые помощники старательно обливают бараньи бока соленой водой. Шипит распаренное мясо, вспыхивают, искрятся угли, пьянящий аромат — на всю округу.

Но не только знатным угощением отмечается праздник.

Чуть поодаль от полевых костров готовят к торжественному въезду в селение арбу. Празднично украшенная, она известит всех об окончании сева. Здесь — люди постарше, главный — Музачир Сохов. Он проверяет, хорошо ли закреплено положенное на арбу колесо. Потом вставляет в его отверстие стойку, тоже надежно закрепляет. На деревянном шесте появляются резные безделушки, платки, пачки табаку, зеркальца. Все это привязано, качается, крутится... Флаг, который конники внесут в селение и водрузят у ворот самой именитой девушки, тоже разукрашен.

Кабардов подмигнул Шогемокову, отвел его в сторону:

— Пожилые заняты серьезными делами, а молодые должны показать свою удаль... Не понял?.. Я насчет джигитовки у ворот Тугана, когда всем станом отправимся.

— Не решаюсь,— замялся Шогемоков.— Если я приму участие, Бороковы воспримут это как вызов... Ну, а потом...

— Зрамук? Не узнаю. Может быть, это не твой язык говорит робкие слова?

Зрамук покраснел. Что ответить? «Не хочу скандала». В какое положение он поставит тогда Мурата, который, не побоявшись ссоры, твердо разговаривал с Адальбием? Что ж, тогда, значит, гарцевать на Звездолобой, стрелять по мишени у ворот самого Борокова...

— Пойми же наконец,— с сердцем проговорил Мурат,— сидя в углу, никто еще счастья не добыл.

«Это верно,— подумал Шогемоков.— Но верно и другое. Сколько раз мы, шогемоковский род, покидали свой угол, силились войти в середину. А что получалось?»

Понимал Кабардов причины нерешительности юноши. Хотел помочь. И как козырную карту бросил:

— Флаг пахарей будет водружен у ворот Борокова. Музачир так решил. И не напрасно. Подумай об этом.

«Так ли это?» — вопрошал взглядом Зрамук.

Кабардов ответил просто:

— Чем сидеть и ждать, лучше хлебнуть, даже если можно обжечься.

— Не обжечься боюсь. За Жанэт боюсь.

— А знаешь, что сказал об этом Музачир?.. Послушай. Он напомнил, как приручают дикую лошадь. Сперва ловят арканом, натягивают недоуздок, потом — уздечку. Без седла вскакивают на дикарку и гоняют до изнеможения. Дальше — седлают, затягивают подпруги. Бьется, скачет она куда попало, садится... А выбьется из сил — становится смирнее, послушнее. Идет туда, куда нужно хозяину... Вот так Музачир и Тугана хочет приручить. Начать с недоуздка. С небольшой порции славы, кружащей голову.

Не понимал Зрамук, как можно Тугана, не отступившего перед оружием, приручить недоуздком.

— Другим стал Туган, пойми. Как власть потерял,— помягчел, набожен стал. Теперь самое время проверить его. Вот для этого и флаг будет у его ворот. Как он отнесется к этой чести — всем будет видно. И Музачиру станет яснее и тебе. Смекаешь?

Как в тумане, терялся смысл слов Кабардова. «Может, он и не так говорит. Но седобородому Музачиру не занимать мудрости. Видно, правильный ход задумал». Зрамук согласился принять участие в состязаниях.

Когда Кабардов и Шогемоков вернулись к пахарям, праздничная трапеза уже началась. В тени ветвистых диких яблонь и груш разместились крестьяне. На плетенках лежали добрые куски вареного мяса, попахивали ароматным дымком шашлыки, радовала взгляд мамалыга.

Необычная торжественная тишина стояла вокруг. Только еле шепталась молодая листва деревьев, каждый листок поверял другому сокровенные тайны весны. Трава еще хранила капли ночного дождя, они вспыхивали, изумрудами блестя на солнце. Таволга разносила вокруг свой тонкий аромат, опьянял густой запах чабреца, ландыша. Небо опрокинуло голубую, до боли в глазах голубую чашу, словно хотело защитить всех этих славно потрудившихся людей и от непогоды и от других бед. А речка, чернеющая внизу, вела неторопливый разговор с камнями и все же прислушивалась, ждала, что будут говорить люди.

А они не спешили. Они вдыхали и щекочущий ноздри запах обильной еды, и буйный весенний разлив цветов, и тишину. Они были сильны, спокойны, лица светились радостью, счастливыми надеждами.

Зрамук вместе с другими юношами не сводил глаз с белобородого. Еле заметный знак — и чаша с медовухой уже преподнесена Музачиру Сохову. Зрамук отступил в сторону и замер, как солдат на посту.

Бог, наш хранитель,
Горя гонитель,
Слава, властитель, тебе
И хвала!
Бог вездесущий,
Силу дающий,
Бог всемогущий!
Чтобы нивы тучнели,
Ростки зеленели,
Касаясь стремян,
Чтобы жатвы дождались,
Чтоб не осыпались,
Чтоб все было снято,
Чтоб все было сжато
И вышло б зерна
Со снопа по мешку!

— Да будет так! — отозвалось в горах многоголосое эхо. Чаша пошла по кругу.

— Не так, не так! — закричал наряженный козлом ажагафа [1].— Вы забыли произнести главный хох!

— Да ну?! — изобразили притворный ужас развеселившиеся пахари.— Что же делать теперь? Может, ты исправишь эту оплошность, наша светлость?

Шут и затейник, непременный участник всех празднеств, важно погладил козлиную бороду, недовольно повертел рогами, которые чуть не съехали с его головы. Заложил правую руку под вывернутую шубу и начал:

— Кому не по сердцу пришлись пожелания старейшего, я сделаю так:

Чтобы всегда из его одеяла
Шерсть вылезала,
Вата торчала,
Чтоб лошадь хромала
И доломала
Арбу, где колеса
Посажены косо,
А сами колеса
Без спиц и ступиц,
Чтоб все свояки его
Переругались
И чтобы сынки его
В кровь передрались...

---

[1] Ажагафа — шут и затейник.

— Аминь! — грянули пахари и затянули старинную песню. Долго плыла она под голубым небом, под живой зеленью деревьев.

— Пора! Пора всем станом вступить в Аюбей,— сказал Музачир, и тотчас вскочил, свистнул ажагафа, энергично махнул посохом в сторону селения.

Двинулась арба с украшенным безделушками шестом, за ней — арба со стариками. Медленно шла конница, впереди которой на ослике ехал сам ажагафа. Он размахивал деревянной шашкой и выкрикивал: «Вперед! Вперед!» Ни дать ни взять — генерал подымает эскадрон в атаку.

Отъехав на обочину, он устроил колонне смотр. Заметил разболтавшегося молодца не на своем месте. Подскакал, огрел по спине деревянной шашкой. Больше нарушений не было.

Распевая песни, крестьяне въезжали в Аюбей. Дети повисли на плетнях и деревьях, взрослые застыли у ворот. Все зрители прижимались к оградам, чтобы не помешать конникам.

Началась джигитовка. Всадники наезжали друг на друга, проверяя коней. На полном скаку поднимали брошенную шапку, метко стреляли в цель.

Зрамук сегодня был в ударе, и Звездолобая чувствовала это,— повиновалась малейшему движению рук, прикосновению ног хозяина. Потеряв в поле упитанность и лоск, она все же сохранила стройность и красоту настоящей верховой лошади, верной подруги джигита.

Зрамук пустил Звездолобую во весь опор. На скаку разбил из пятизаряда яйцо, свесился с седла и подхватил платок, лежавший на дороге.

— Молодец! Настоящий джигит! Ловок! — послышались крики зрителей, но Шогемоков не слышал их. Задыхающийся, довольный, он искал глазами Жанэт.

Ее не было. «Не вышла, значит. Ладно! Сам прискачу к тебе, красавица, прогарцую у ворот».

Передняя арба остановилась у дома Бороковых. Мурат старательно прикрепил к воротам флаг на длинном шесте. А ажагафа с воплями вбежал во двор, свалился у крыльца и стал биться в судорогах.

— Погибает! — закричали вокруг.— Наш дорогой и несравненный ажагафа погибает. Как спасти его?!

Туган Бороков вышел на шум. Посмотрел на флаг, приложил руку к сердцу, поблагодарил односельчан. Ажагафа все корчился и извивался.

— Не тревожьтесь за его здоровье, дорогие мои,— улыбнулся Туган.— Я припас лекарство, которое хорошо лечит. Идите в овчарню и словите валуха. Тогда — сразу оживет.

Поднявшись на стременах, Зрамук оглядывал двор, ища Жанэт. Увидел. Она выходила из дому. По-прежнему красивая и сдержанная. Но как похудела и побледнела!

Их взгляды встретились. Жанэт застыла на месте. У Зрамука потемнело в глазах, точно папаху кто надвинул. Застучало сердце.

Жанэт беспокойно посмотрела в сторону отца. «Не увидел бы».

Снова начались состязания.

— Очередь за Зрамуком Шогемоковым! — громче обычного объявил распорядитель джигитовки Кабардов. Ему хотелось, чтобы девушка обязательно услышала и не уходила.

И от этого простого объявления, как от грома небесного, вздрогнули три человека, три сердца. Зрамук волновался, что может промазать при стрельбе. Тугану не понравилось, что кровник будет стрелять в мишень у его ворот. А сердечко Жанэт заныло от опасения, как отец отнесется к тому, што Шогемоков будет гарцевать с оружием у самой усадьбы.

Она стояла совсем бледная, наблюдала за отцом. Ну, как крикнет: «Прочь, щенок! Не тебе гарцевать у моих ворот!»

Зрамук пустил коня галопом. Туган молчал. «Значит, не поднимет скандала». Волна теплой благодарности к отцу залила щеки девушки. С горящими глазами она смотрела на скачущего возлюбленного.

— Промазал! Промазал!..— крикнул кто-то.

В облаке пыли мелькнуло перед ней дорогое лицо. «Милый!» — прошептали губы девушки. Зрамук исчез. Раздосадованный неудачей, он осадил коня и круто повернул обратно. «Может быть, еще вернется, не уходи»,— шептало сердце девушки. Ноги словно налились свинцом, она не могла шагнуть. Она молила аллаха оказать самую небольшую милость, дать ей еще раз увидеть Зрамука. Но, видно, были у всемогущего другие, более неотложные дела.

Много раз умирал ажагафа у разных ворот, и всегда находилось лекарство, которое воскрешало его. Валухи, бочонки медовухи, бараньи бока... Щедрые дары аюбейцев украшали праздничный стол.

Вечер. Гудит переполненный двор Музачира Сохова; почти весь Аюбей — пахари и сеяльщики, пастухи и табунщики — собрались здесь на крестьянский праздник.

За приставленными друг к другу столами под навесом сидят старики. Старики ли? Лихо сдвинуты к темени папахи и войлочные шляпы, румяны разгоряченные лица... Только бороды выдают аксакалов. Они еле видны в желтоватом свете фонарей, висящих у концов навеса. Тихий, спокойный полумрак. А на душе — светло, ярко, солнечно, а на сердце — радость. С плеч свалился тяжкий ежегодный груз. Впереди — урожай.

Ходит по кругу киноварью расписанная чаша с медовухой. Шипит, пузырится добрый напиток. Никого не обходит чаша. Но у губ особенно не задерживается — каждый отпивает, чтобы и душу насытить, и честь соблюсти.

Один за другим летят к небу заздравные хохи. И похожи они друг на друга и непохожи, щедры и благодатны, как сама земля.

Наступает черед песне. Встал усатый и дородный Мадин. И голос у него под стать: сильный, густой.

Моя сабля, ой дуней, словно зуб шакала,
Алой крови, ой дуней, текло по ней немало...

Допев первый куплет, крикнул:

— Принимай, Беймурза!

Алхасов подхватил напев высоким фальцетом. Пел самозабвенно, гордо подняв голову. И остальные, не дожидаясь очереди, стали подпевать:

К свободе зовет вас могила героя,
К свободе вас кличет вожак Дамалей.

Старинная героическая песня... Сколько горечи в ней и гнева, сколько боли за разграбленные и сожженные аулы предков.

Поет Зрамук, и сама история проходит перед ним. Не чернилами летописца написанная, а народной кровью, народными слезами. «Вот так же истребили и наш род, род Шогемоковых. Не случайное, не отдельное событие... Продолжается история, продолжает литься человеческая кровь».

Задумался Зрамук, не заметил, как Беймурза головой качает, глазами на чашу показывает:

— Гаснет, гаснет, Зрамук, огонек компании.

Шогемоков быстро наполняет ее тягучей бледно-розовой влагой. Снова чаша идет по кругу. Кто-то пытается произнести свой хох, но его уже не слушают. Разбередили сердца песни былых стародавних времен, песни печали:

Мы родились в годину страданий,
Пусть вовек не родятся дворяне!
Душу мучают думы ночные —
Умирают от них крепостные.

И не узнать аксакалов. Совсем недавно сидели бодрые, помолодевшие. А сейчас слетело праздничное настроение, смолкли шутки. Тамада еще острит, подмигивает, балагурит, но старики сидят молча, опустили головы, и не от хмеля, а от тяжких дум.

— Клянусь аллахом, его святым именем,— не выдерживает Сохов.— Все тянут с нас. Подати, налоги, повинности — куда ни повернись.

— А попробуй что-нибудь сказать, объяснить...— гудит голос Мадина.— Одно услышишь: «Чувячное войско, заткнись!»

— Теперь полегчает: царя-то скинули. Хи-хи-хи!

— Одного скинули, как бы десяток новых на плечи не взобрался.

Звонкий юношеский голос, нарушив обычай, перебил стариков:

— Не будет этого! Поверьте, не будет!

Беймурза ласково опустил руку на плечо Зрамука.

— А ну, рассказывай, сын мой, что будет. Ты язык знаешь, письмо знаешь. Чему они тебя учат?

— Меня тюрьма владикавказская научила. Кулибин научил. Он сказал, что близок день, когда объединятся рабочий и крестьянин. Это будет обоюдоострый кинжал, который вонзится по рукоять в сердца наших угнетателей.

— Хорошо говоришь! Молодец. Только вспомни своего отца. Он попробовал поразить не царя, не князя, а старшину. Обыкновенного сельского старшину. А кто оказалася пораженным? Шогемоковы.

Голос старика в глубине навеса смолк. Но его тотчас подхватил другой:

— Попробуй тронуть их: заставят пропахать землю носом.

— Это верно,— вздохнул Зрамук.— И все же я...

— Благодари аллаха, юноша, что хоть ты остался в живых из рода Шогемоковых,— сочувственно заметил тот же старик.

— Пусть договорит,— заступился Беймурза.

Трудно было спорить со стариками. Зрамук немного постоял, собираясь с мыслями. Потом сказал:

— Кулибин говорил мне, что самодержавие падет. И оно пало. Он говорил, что грянет гром революции и власть перейдет в руки рабочих и крестьян.

— В наши руки? — переспросил Мадин.

— Да.

Мадин Маремов медленно повернул растопыренные ладони. Стал внимательно их рассматривать.

— Мозоли вижу, юноша, а вот власти в своих руках пока не вижу.

Кто-то засмеялся. Зрамук покраснел. Он сам толком не знал, как будут развиваться события в стране. Знал только, что Михаил Петрович прав. Сбылось его предвидение насчет царя. Сбудется и все остальное. С горячей верой он снова начал говорить. Внимательно слушали аксакалы и тоже проникались верой Зрамука: должно произойти что-то важное и радостное.

— Аллах всемогущий, приблизь этот светлый день,— взмолился Музачир Сохов.

— Наступит, скоро наступит. Кулибин не скажет того, чего не знает,— подтвердил Шогемоков.

С отеческой теплотой смотрел старый Музачир на юношу. «Молодец! Все выдержал. И гибель рода, и изгнание, и тюремные подвалы. И не только выдержал, но стал крепче, понятливее. Выйдет из тебя настоящий человек».

Много за сегодняшний день довелось вкусить старому сердцу. И бесшабашное веселье заслуженного праздника, и горькие воспоминания, и светлую надежду.

Ободренный, просветлевший Сохов обратился ко всем:

— Верю я, что наступит наш день. Когда в горах падает камень, он увлекает за собой другие, вызывает целую лавину. Царя скинули — хорошо! Теперь лавина пойдет, держись!..

Музачир продолжает еще говорить, как вдруг под навес ворвался шум со двора. Хлопали ладоши, стрекотали трещотки и надрывались гармоники. Лихая «кабардинка» бросала в круг все новых танцоров.

— Молодежь...— проговорил кто-то.

Старики смолкли, повернулись в сторону двора.

— Пока молод, значит — счастлив,— с завистью произнес Мадин.

— Верно. Как птицы, беззаботны. Ни тяжелые думы их не гнетут, ни горести не печалят.

«Нет, седобородые,— хотел возразить Зрамук, но промолчал.— Наши сердца, наши души те же думы гложут и горести, что и вас. Только сил у нас больше, вот и на веселье хватает».

От прищуренного взгляда Музачира не укрылось смятение на лице юноши. «Да, рано ты оказался вовлеченным в смертельную борьбу, сын мой. Не вкусил сладости молодости... Что ж, буду помогать тебе, как смогу».

— А что, старейшие, как вы смотрите, чтобы заставить Бороковых помириться с родом Шогемоковых?

— Правильно!

— Давно пора.

— Мы все этого хотим! — раздались отовсюду голоса.

— Как смотришь сам, сын мой?

И хотя давно ждал этого вопроса Зрамук, ответил не сразу. Сердце выпрыгивало из груди, заалели щеки. Он опустил голову, заставил себя ответить скромно, сдержанно:

— Считаю, что не вправе поступить иначе, чем решите вы, уважаемые.

— А если Туган не согласится? — спросил Беймурза.

Музачир взмахнул жилистыми кулаками:

— Если этот сучковатый род не посчитается с нами, всем селом поклянемся, что ни один покойник из Бороковых не будет похоронен на нашем кладбище.

Старики единодушно согласились с таким решением.

Под навес вошел Мурат, веселый, сияющий. Зашептал Зрамуку:

— Конь примирился с недоуздком. Со временем накинем и уздечку со стальными удилами.

— Отпустили? — не поверил юноша.

— Да. Зейнаб пошла и привела ее с собой. Ты иди на танцы, а я побуду вместо тебя виночерпием.

«Она — здесь, рядом. Несколько шагов — и я увижу ее». Кровь прихлынула к лицу Зрамука, зарябило в глазах. «Нет, так не годится. Надо успокоиться, обдумать разговор».

Он свернул вправо, к сеновалу. Остановился, прижавшись к плетню. Самые смелые мысли проносились в голове, обгоняя друг друга, летели ласковые и нежные слова. «Все, все ей скажу... С чего только начать? Пусть само сердце подскажет. Иду, любимая!»

Полная луна словно застыла над танцующими, облив их лица мягким струящимся серебром. В неторопливом удже проплывали молодые пары, едва касаясь друг друга. Но и этой мимолетной близости было достаточно, чтобы воспламенить юные сердца, зажечь счастливые взоры.

Жанэт была в длинном парчовом платье с позолоченным нагрудником и поясом. Тонкая и изящная, с большими глазами и точеным носом, с еле заметной ямочкой на щеке, она медленно передвигалась по кругу, время от времени поднимая голову. Большие беспокойные глаза искали кого-то в группе молодых людей за пределами круга. Но через мгновение взор ее снова становился туманным, непроницаемым.

«Меня ищет!» — обрадовался Зрамук и шагнул вперед, готовый взять Жанэт из рук юноши, который водил ее в удже. Все ближе и ближе пара. Совсем рядом... Шогемоков вышел на середину, подхватил Жанэт и быстро пошел вкруговую. Девушка растерялась, ноги перестали ее слушаться. Зрамук чувствовал, как она дрожала, оробевшая, пунцовая.

— Не меньше тебя волнуюсь,— зашептал он.— Держись. Не подавай виду.

И чтобы скрыть от людей волнение Жанэт, он быстро покружил ее на месте, лихо крикнул «асса-а», топнул и повел дальше.

С нежной благодарностью посмотрела на него девушка. «Он... Самый лучший на всем свете».

Радость встречи захлестнула их. Слов не было... И только сплетенные пальцы чувствовали, понимали тот особый разговор, который идет от сердца к сердцу.

Когда взгляды их встречались, то радость гасла. Тоска и подобие страха появлялись в глазах, словно вот-вот явится неведомая сила и разлучит их. Но тут же брали верх воля и решимость быть верными данной клятве.

Медленно проплывали танцующие. Сейчас снова все разобьются на отдельные пары... Они ждали этой минуты с нетерпением,— им столько надо было сказать друг другу.

— Отбери ее у Шогемокова и приведи ко мне!

Услышав голос брата, Жанэт вздрогнула.

— Не волнуйся,— шепнул Зрамук. Он бережно прижал ее к себе и плавно отделился от ряда.

Посланец Адальбия преградил им дорогу. Небрежно кивнул Зрамуку и протянул руки, чтобы принять девушку. Но Шогемоков круто повернул обратно и продолжал танец.

— Зачем?.. Адальбий поднимет скандал.

Зрамук знал это и поэтому не ответил возлюбленной. Знал, что молодой Бороков может обнажить кинжал. Легко, словно тур, Шогемоков высоко прыгнул.

— Асса-а!

Опустившись на землю, мягко притянул Жанэт за плечи, закружил. Она чуть пригнулась и услышала жаркий шепот: «Встретимся?»

— Молю аллаха о таком счастье.

Когда и где, они уже не могли уточнить. Зрамук был счастлив, что Жанэт так же, как и он, хочет встречи.

— Нашла с кем танцевать,— процедил сквозь зубы Адальбий.— А ну, идем!

Он дернул сестру за руку.

Зрамук стоял под тутовым деревом. Он видел, как, опустив голову, Жанэт пошла за братом. «Какая покорная и униженная... А как была решительна, когда освободила меня из подвала. Отца не побоялась. А брата боится».

Шогемоков сжал кулаки. Он знал, что если пойдет за Адальбием, стычки не миновать. И долгожданное примирение не состоится. Но не мог стерпеть, оставить без защиты Жанэт. Шагнул к воротам.

Кто-то схватил его за ворот.

— Назад! Сейчас же назад!

— Не могу, Мурат! Я должен защитить ее.

— Так не защищают. Погубишь и Жанэт и себя.

Тяжело дыша, Зрамук с горечью проговорил:

— Помнишь разговор о дикой лошади?

— Как же... Видно, я ошибся. Не пришло еще время не только оседлать, но и взнуздать стальными удилами бороковских мужчин. Потерпи немного. Остынь.

И он увлек своего друга во двор, к танцующим.

7

Адальбий втолкнул сестру в комнату. Она споткнулась, ладонями ударилась о стену.

Грубые, оскорбительные слова готовы были сорваться с тонких, дрожащих губ Адальбия. Но он сдержался, не хотел, чтобы услышали родители, которые разрешили Жанэт пойти на танцы. Зло сплюнул, провел кончиком языка по сухим губам. Ушел, хлопнув дверью.

Жанэт зарыдала. Чтобы не услышали, она бросилась к кровати и сжала зубами край подушки. Застонала от обиды, от незаслуженного оскорбления. И тут же испугалась собственного крика: «Услышат!» Она уткнулась лицом в подушку и дала волю душившим ее слезам. В голове была тяжесть, больно стучало в висках. Она прилегла. Хотела глубоко вздохнуть, но что-то сдавило грудь. Жанэт лежала навзничь, с распущенными волоса-

ми, дышала тяжело и часто, будто только что спаслась от погони.

Хотела забыться, заснуть. Закрыла глаза. И словно кто-то вошел в комнату. Говорит ласковые слова, склоняется над ней... Зрамук, любимый! Жанэт крепче зажмурилась, чтобы видение не исчезало. А голос мягкий, добрый и печальный: «Когда же Бороковы перестанут враждовать со мной? Как мог унизить твой брат и тебя и меня?»

Девушка застонала. «И это родной брат... Нет, Адальбий, сердце мое будет принадлежать любимому. Надо только сообщить ему, успокоить его. Передать, что я по-прежнему люблю. Но как?»

Жанэт долго перебирала все возможные способы. Ее не выпустят со двора. А Зейнаб не придет после разговора с Адальбием. «Если бы я знала грамоту, как мой любимый!»

Ей пришло в голову передать свои чувства не буквами, не словами, а каким-то символом. «Склею медом два цветочных лепестка и корень шедженепля [1]. Получит — поймет».

Эта мысль успокоила ее, Жанэт немного вздремнула.

Утром встала рано, измученная, обессиленная, с покрасневшими веками. Она хотела выйти, но увидела мать на веранде и вернулась, чтобы не огорчать ее.

Без нужды стала переставлять вещи в комнате. Поправила занавески, перемыла чистую посуду и долго вытирала, чуть не выронив чашку. Потом взяла моток ниток, веретено... И опять стала думать о Зрамуке, о том, как вручить ему свое заветное «письмо».

Сначала выскользнуло веретено, потом мягко упала на пол шерсть. «Что со мной?.. Все валится из рук».

Она вышла на веранду. Верхушки сосен на склоне горы качались, словно морская зыбь. Доносился шум горной речки. Словно вторя ей, лилась мягкая негромкая музыка. Старик сосед играл на самодельной скрипке со струнами из конского волоса. Скрипка пела, как весенний дрозд, немудреная ее мелодия славила красоту жизни, силу любви.

Жанэт почувствовала необыкновенную легкость, глаза ее широко открылись, она выглянула в окно. Точно птица, готовая вспорхнуть и улететь.

Музыка смолкла. Девушка медленно пошла на огород. У плетня увидела невысокий венчик шедженепля. Она выкопала его, отсекла длинный красноватый корень. Два алых лепестка упали в руку, едва она до них дотронулась. В подвале склеила лепестки и корень медом, завернула в платочек.

— Ну, куда забрел, глупенький,— ласково похлопала она чужого теленка, оказавшегося во дворе.— Иди, иди!..

Жанэт закрыла калитку. По дороге шла знакомая девочка.

— Лялюца, милая! Подойди сюда, радость моя. Отнеси этот платочек с лекарством Зейнаб Кабардовой.

---

[1] Шедженепль — лекарственная трава.

Девочка стояла с раскрытым ртом. Жанэт повторила:

— Лекарство для больного. Отнеси поскорее.

— Тетя Зейнаб болеет?

— Ну нет, не она сама... Вернее, сама болеет, да... в общем, ты ей передай от меня, она сама поймет, кого лечить этим лекарством...

Девочка удивленно моргала. Жанэт почувствовала, что краснеет, и легонько хлопнула Лялюцу по плечу. Маленькие босые пятки замелькали по пыльной дороге.

Узник может бежать из тюрьмы или крепости. Может выломать решетку, уговорить или подкупить стражу. Из плена любви — не вырваться. Мало того, он становится с каждым днем крепче.

Зрамук ходил по комнате из угла в угол. Останавливался, хмуро сдвигал брови. Бесчисленные препятствия на его пути к Жанэт все более озлобляли его. «Пойду к Мурату! От того, что сам с собою споришь и терзаешься, дело не сдвинется».

Зейнаб с Муратом сидели за столом. Зрамук хотел извиниться, что помешал трапезе, но молодые супруги не дали ему договорить.

— Вот смотри, какое лекарство прислала тебе Жанэт...

Долго гадали и спорили. Зейнаб, выслушав всех, сказала:

— Письмо надо понимать так. Мы молоды, как цветок, и если соединим нашу жизнь, то она будет сладкой, как мед, и крепкой, как шедженепль.— Потом помолчала и добавила:— Видно, что-нибудь произошло. Иначе Жанэт не прибегла бы к такому письму.

Зрамук разделял тревогу Зейнаб. Нахмуренный, он сидел молча, вглядываясь в лепестки. Поднялся и, тяжело вздохнув, сказал Мурату:

— Если что-нибудь может получиться с примирением, давайте ускорим его. Если нет — умыкну Жанэт.

У Мурата вертелась на языке шутка насчет цветочков, которыми стали обмениваться влюбленные, как русские барышни, но он понял, что Зрамуку сейчас не до шуток. Мурат взял товарища за плечи:

— Не горячись, джигит! Музачир не подведет. Раз обещал, значит, сделает. Я узнаю у него.

Через день группа почтенных стариков направилась к дому Борокова. Увидев пожаловавших гостей, Туган вышел навстречу. Не подходя друг к другу, и гости и хозяин остановились. Плотный и кряжистый Музачир, как самый старший, повертел рукой у рукоятки кинжала.

— Салам аллейкум, Туган!

— Аллейкум салам, добро пожаловать!

Гости подошли поближе, и каждый обменялся рукопожатием с Бороковым. Потом все снова отступили друг от друга и застыли,

держась правой рукой за рукояти кинжалов, а левой — за кончики ножен. Таков обычай. И только после долгой паузы старший сказал, что они пришли навестить хозяина.

— Что ж, идемте.

Музачир пошел впереди. За ним — Мухамед-эфенди и другие.

В доме уселись по старшинству. Долго молчали, тишину нарушал лишь редкий кашель. Дело предстояло щекотливое: все знали крутой нрав Борокова и начинать не торопились. Лучше остальных мог провести переговоры мулла, но Мухамед-эфенди наотрез отказался ввязываться в любые дела, в которых замешан Бороков. Значит, Музачир? Все обеспокоенно посматривали на него: «Что не начинаешь?» Но Музачир молчал.

На стене висел большой персидский ковер с красивым узором. Хорош ковер, ничего не скажешь. Но оружие, которое висело на нем, еще лучше. Оно и притягивало взоры гостей. Новое охотничье ружье и старинная кремневка с прикладом, отделанным слоновой костью, шашка с позолоченным эфесом, дедовский пистолет и длинный кинжал в черных ножнах. На ковре было не только оружие. Как не залюбоваться большим зеркалом, по краям которого свисали два вышитых полотенца, а сверху, над вытканной золотом бархатной полоской — золотая женская шапочка.

«Любуйтесь, завидуйте, я не тороплю вас. Видите, какой я дворянин»,— словно говорил Туган, исподтишка рассматривая гостей.

У распахнутых дверей раздался писк. Пара ласточек испуганно пронеслась над крыльцом. Бороков невольно проводил их взглядом.

— Туган, ты — старший и глава рода,— начал Музачир.

Спокойно, не торопясь повел разговор издалека о том, как Бороков был старшиной Аюбея, как был сослан, какие муки претерпел из-за вражды к Шогемоковым... Постепенно подошел к сути дела.

Туган слушал длинную речь, вежливо кивал головой, а сам не сводил глаз с ласточек. «Пищат, носятся... Что они затеяли?»

Гнездо ласточек занял задира воробей. Он то и дело высовывался, разевал клюв и не подпускал хозяев. С жалобным писком носились пичуги, но ничего не могли поделать.

А Музачир все говорил и говорил. Наконец он остановился, внимательно посмотрел на Тугана и заключил:

— Все селение, весь народ желает и требует примирения Бороковых и Шогемоковых.

«Примирения... Вот зачем пришли». Туган Бороков не торопился с ответом. Подняв веки, еще раз посмотрел на дверь, на возню пташек. Ласточек стало гораздо больше, целая стая прилетела на выручку. Самые смелые пытались залететь в гнездо, но взъерошенный воробей сердито клевал их.

Густые брови хозяина снова опустились вниз.

«Молчит... Значит, не хочет»,— пронеслось в голове у Кабардова, и он сурово добавил:

— Слова Музачира — не только наши слова, все старики села то же самое говорят.

Ласточки смолкли. Теперь уже они не порхали суетливо, с писком вокруг гнезда. Они приносили в клювах комочки сырой глины и залепливали отверстие гнезда. Напыженный воробей вертелся во все стороны, мешал им, но ласточек было много, они работали дружно, проворно.

«Нет, не допущу до того, чтобы задохнуться в своем гнезде. Воробей — есть воробей... По его мясу и бульон»,— подумал Бороков.

Он сосредоточенно оглядел гостей, сделав вид, что предложение стариков застало его врасплох. Длинные мохнатые брови, с торчащими, как паучьи ножки, отдельными волосинками, снова подпрыгнули, взгляд упал на ласточкино гнездо.

Оно было заделано наглухо. Недавний завоеватель оказался пленником. Воробей уже не пыжился, не торжествовал. Он отчаянно пищал, умоляя о спасении, и самый писк его слабел с каждой минутой.

Бороков начал издалека:

— Я знаю, есть такие, кто считает меня двуличным. Аллах свидетель,— выше всего я всегда ставил честь и благополучие родного села. Да, аллах тому свидетель. А другого свидетеля мне не надо.

Старики смущенно переглянулись. Видимо, до Тугана доходят все разговоры крестьян. Кашлянули, опустили глаза. Только Музачир и Мурат прямо смотрели на Борокова.

— Кроме добра для своих односельчан, ничего я не носил в своем сердце... Впрочем, сейчас разговор о другом.

Опять смолк Туган. Опустил веки, задумался. «Революция свершилась. В песне поется, сам слыхал: «кто был ничем, тот станет всем». Зрамук Шогемоков не только грамоту усвоил, умен, сообразителен. Если и не задушит меня в моем гнезде с помощью народа, то почву из-под ног выбьет, вызовет ненависть ко мне у всех... Лучше иметь одного друга, чем сто врагов».

Тяжело поднялись набрякшие веки.

— Старикам скажу: большое спасибо. Воля села — воля Бороковых. Только хочу посоветоваться со всем родом, один не решаюсь дать окончательный ответ.

Старики поднялись, как от порыва весеннего ветра. «Согласился!» — можно было прочесть в радостных глазах. Скорее домой — поведать счастливую новость. Но Бороков широким жестом загородил дверь. Предстоял обильный ужин с медовухой.

Обряд примирения был назначен на пятницу. И уже с утра повалили жители Аюбея к мечети, одни из добрых побуждений, другие — из праздного любопытства.

Среди простых глинобитных домов мечеть в центре села выглядела величественным храмом. Высокий минарет разрезал жестяным полумесяцем голубое небо. Многочисленные узкие окна

выходили на южную сторону, а со стороны восхода и заката солнца были двери. Обширный двор скрывал каменный забор, к его калиткам вели хорошо утоптанные дорожки.

Любопытных зрителей не пускали во двор мечети. Они теснились у ограды, изнывая под палящим солнцем.

— Идут! Идут! — раздались крики. Кто идет, откуда идут, ничего нельзя было разобрать. Часть людей пустилась на восток, другие побежали в противоположную сторону.

К восточным воротам приближался род Бороковых, около тридцати мужчин. С раскрытой священной книгой, читая молитву, впереди шагал Мухамед-эфенди. Мужчины были без оружия.

С другой стороны к мечети шел Зрамук Шогемоков в сопровождении Мурата Кабардова. Их вел помощник муллы.

— Бедный.

— Несчастный одиночка...— раздавались возгласы.

Несколько человек выбежали из толпы и встали рядом с Шогемоковым. Они бросили кинжалы и глаза повязали башлыками, чтобы в порыве гнева не взяться за оружие.

— Расступитесь! Дайте дорогу! — закричал мулла, выбежав из строя.

Каждая враждующая сторона входила через свою калитку.

Выстроились в ряд Бороковы. Шогемоков с товарищами тоже образовали шеренгу. Остановились на мгновение обе стороны и медленно пошли друг к другу.

Шли с опущенными головами, с закинутыми назад руками. Ногти до боли впивались в ладонь, еле слышно шуршали о камень чувяки. Палящее солнце, неестественная тишина, необычность обряда создавали особую напряженность.

Мулла сделал знак. Люди остановились. Со священной книгой в руках в сопровождении помощника Мухамед-эфенди вышел на середину. И хотя все давно умолкли, словно набрав в рот муки, сказал:

— Таким образом, значит, теперь молчите.

Обратившись в сторону Борокова, мулла торжественно произнес:

— Стоя перед книгой, посланной нам самим аллахом, клянемся, что Шогемокову прощается наша кровь. С сегодняшнего дня прекращаем враждовать с ним.

— Клянемся! — повторили Бороковы.

— Клянусь! — сказал Шогемоков, повторив слова клятвы.

Старшие обоих родов — Туган и Зрамук — вместе произнесли:

— Бог великий и всемогущий, ты наш свидетель, что перед лицом жителей села мы прощаем друг другу кровь и объявляем о своем примирении.

По знаку Мухамеда-эфенди примирившиеся стороны пошли навстречу друг другу. Сблизились, неуклюже, по-мужски, стали обниматься, молили аллаха дать счастье живым, уготовить рай погибшим в схватках кровной мести.

Обнялись и Зрамук с Адальбием, но нехотя, холодно. И быстро отошли.

Не было уже занесенных за спину кулаков, до крови стиснутых губ. Люди радостно смотрели в лица друг другу, бранили обычай кровной мести, проклинали оружие, повинное в смерти родичей. И во дворе мечети, и за ее пределами гудел один призыв: «Жить в дружбе. Как пальцы одной руки».

Вечером в честь примирения Бороков устроил званый ужин. Пригласил стариков, пригласил и Шогемокова.

Все сидели за столом и ждали доброго, приветственного слова хозяина.

— А где же Шогемоков? Почему не вижу его? — спросил он.

Жанэт, то и дело появлявшаяся с блюдами, потупив сияющие глаза, шепнула отцу:

— Он там, в другой комнате... С молодежью...

— Правильно, молод он. Но не младший. Зрамук старший в роду. Правильно говорю? — обратился Туган к старикам. Те охотно поддержали хозяина.— Пригласите его к нашему столу.

Как почетного гостя, Шогемокова привели, поддерживая под руки. Он сел на краешек стула.

— Аюбейцы! — привычно обратился к гостям Бороков.— Теперь мы стали свободными. И не только мы — весь народ. Нет царя, который душил нас. Нет и не будет. Никогда не будет...

Зрамук удивленно поднял голову. Кто это говорит? Бороков или Кулибин? Старики тоже не могли уразуметь, куда гнет Туган. Ведь этому царю он служил верой и правдой, весь Аюбей заставлял служить.

— Поэтому первое слово мое обращено не к событию, по поводу которого мы собрались, а к событию более важному. Тому, кто сдирал нашу кожу, пил кровь, пришел конец. В седьмое подземелье провалился царь-изверг. Управление страной взяли в свои руки умные, мудрые люди. Дай аллах им успехов, а нам хорошей жизни.

— Дай бог! — поддержали старики.

Чаша с хмельным напитком поплыла по кругу.

То ли от хмеля, то ли от радости примирения, Бороков стал словоохотливым, говорил не переставая. Прошелся и по адресу Клишбиева, назвав его «человеком кровожадным, стращавшим людей мечом».

— Теперь вместо него поставили комиссаром образованного, мудрого Чежокова. У него язык сладок, как мед. Он будет светить нам, как солнце. И сделает Кабарду настоящей Кабардой.

Музачир Сохов, немного захмелев, заметил:

— У тебя, Туган, тоже язык, как мед. Только не кажется ли тебе, что ты крутишься, как седло на жирной лошади?

Бороков крякнул, почувствовав, что перестарался. Но сказал, оправдываясь:

— Нет, Музачир. Говорю только, что накипело, что на сердце лежит.

Ни царя, ни Клишбиева, ни комиссара Чежокова он больше не касался. Стал шутить, угощать гостей. Первым затянул старинную героическую песню «Тлибэ уоред».

К ночи, когда гости начали прощаться, Бороков подошел к Зрамуку.

— Ты молод. Самое время быть джигитом. А какой джигит без коня... Слушай меня. Звездолобую не запрягай, испортишь. Завтра тебе приведут рабочую лошадь. Пусть это будет моим подарком.

Старики были тронуты щедростью хозяина. Не ожидал такого и Зрамук. «Все налаживается,— думал он.— Все пойдет по настоящему пути, который приведет к счастью». Но больше всех был доволен и рад сам Туган Бороков. Проводив гостей, он еще долго стоял на крыльце, вдыхая полной грудью прохладный воздух, вглядываясь в ночную тьму.

8

Два раза после примирения с Бороковым удалось Зрамуку видеть Жанэт. Но встречи были мимолетными, при посторонних...

— Зейнаб, миленькая...— упрашивал Зрамук, и его взгляд был красноречивее слов.

Но опытная Зейнаб боялась людских пересудов и не решалась устроить им свидание в своем доме. И только когда Музачир со всем семейством выехал в поле, Зейнаб пригласила Жанэт и Зрамука в дом своих родителей.

— Так, среди бела дня...— заколебалась было Жанэт.

— Вот именно, свет дня лучше скроет вашу встречу, чем темнота ночи.

Влюбленные сидели друг против друга счастливые, смущенные. Зейнаб невольно залюбовалась ими. «Что же я им мешаю»,— встрепенулась она. Взяла сапетку с просом, улыбнулась.

— Пока я буду у соседей рушить это просо, вы тоже порушьте и просейте через сито свои дела. Рушьте чисто, чтобы никакой кожуры не осталось.

Она тихо притворила за собой дверь.

Зрамук с нежностью посмотрел на девушку. Жанэт опустила глаза.

«Вот долгожданная наша встреча. Как я рад, любимая...» Зрамуку казалось, что он говорит громко, вслух. Так же громко, как бьется его сердце. «Что же я молчу?»

Он встал, подошел к Жанэт. Дотронулся правой рукой до ее шеи, а ладонью левой слегка поднял за подбородок голову девушки. Посмотрел в темные напуганные и счастливые глаза. В них были любовь, доверчивость, страх. Слезы готовы были вот-вот политься, чтобы потушить счастливый огонь.

«Никогда!» — прошептал Зрамук и нежно привлек к себе девушку. Опьяненный близостью, он забыл все слова, которые хотел произнести, дела, которые надо было обсудить. Чувствовал только, что становится сильным и счастливым, что никто-никто не сможет теперь помешать их счастью — ни Туган, ни Адальбий, ни целый мир.

Скрипнула ставня. Зрамук скорее почувствовал, чем услышал. «Кто это?» Он встал и сел на прежнее место.

— Подожди минутку.

Осторожно открыв дверь, Зрамук вышел, огляделся. Двор был пуст. Прикрыв ставни и дверь, Шогемоков вернулся.

Жанэт бросилась к нему, обняла. Плакала беззвучно, крупные слезы падали на черкеску юноши.

— Жанэт, любимая моя... Я понимаю тебя. Не бойся своих чувств. Я — твой навсегда. Без тебя нет мне жизни, без тебя только смерть.

Зрамук сказал это с такой решительностью, что Жанэт вздрогнула и зарыдала еще сильнее.

— Что с тобой, милая?

Она не отвечала.

— Может, не хочешь связать свою судьбу со мною?

— Хочу, очень хочу! — точно выдохнула девушка.— Без тебя нет и мне жизни. Одного боюсь смертельно: род воспротивится нашему счастью.

Еще несколько дней назад эти слова напомнили бы о незаживающей ране, принесли бы лишнюю боль. Но теперь Зрамук был настроен по-другому. Да, старая злоба еще не совсем потухла, да, Боровы — дворяне. Ну и что же?! Сам Туган сказал: «Наши двери для тебя открыты», коня подарил. А Адальбий...

— Ты не знаешь Адальбия,— печально молвила Жанэт.

— Знаю. И его знаю, и твоего отца тоже,— как можно ласковей возражал Зрамук.— Все меняется. И человек, и власть, и характер. А Аюбей? Не буду хвастаться. Но ведь почти все расположены ко мне. Помогут вырвать согласие на женитьбу.

Был еще один вопрос, волновавший Шогемокова. Он не затрагивал его раньше, но сегодня наконец решился.

— На моем дворе уже три лошади, пять голов скота. Я здоров, работать умею. Через год-полтора сколочу состояние, чтобы уплатить калым.

«Верю тебе, любимый»,— говорил взгляд Жанэт. И, ободренный ее согласием, Зрамук воскликнул:

— До тех пор пока ноги будут носить меня и будет биться сердце, никто не отнимет тебя!

Зацепившись сапеткой за дверь, вошла Зейнаб.

— Не знаю, как вы сумели прорушить свое дело, а я успела просо и прорушить и промыть.

— Мы тоже не бездельничали,— ответил Зрамук.

— Тогда проваливай! — с притворной грубостью заявила Зейнаб.— А Жанэт я потом отведу.

— Орел без добычи не возвращается в гнездо,— улыбнулся Шогемоков.

— Если орел пренебрегает опасностью, то чаще всего ломает крылья. Понятно?

— Твои приказания, Зейнаб, для меня превыше всего. Слушаюсь и повинуюсь...

Выйдя во двор Соховых, Зрамук увидел Шахбана Каздохова, притулившегося к плетню. Шахбан заспешил в другую сторону, цепляя концом большого кинжала колени. Потом пошел медленнее.

«Не он ли подсматривал? — обеспокоенно подумал Шогемоков.— Нет, конечно, не он... Тогда бы он побежал. Да и зачем теперь ему быть шпиком?»

Зрамуку очень хотелось, чтобы ничем не была омрачена радость свидания.

9

Ветер Февральской революции прошумел над Северным Кавказом, обломив кое-где сухие ветки, обрушив несколько сгнивших на корню деревьев. Но ветер этот не принес с собой солнечной весны, красочного расцвета жизни и людских надежд.

Почти все осталось по-прежнему. Кровопролитная война продолжалась. Земля и заводы были в руках прежних владельцев. В государственном аппарате (исключая высшие посты) никаких перемен не случилось.

Временное правительство, сместив с поста генерал-губернатора Терской области Флейшера, вручило бразды правления этим экономически важным, но политически неблагонадежным краем, готовым в любой момент воспламениться революционным пожаром, своему комиссару Михаилу Александровичу Караулову. Это был пышноусый «казачий летописец» с университетским образованием, автор книг по истории терцев, представительный есаул, похожий на генерала, депутат Государственной думы. Сразу же после свержения царя он стал членом думского Временного комитета, созданного для «наведения порядка в Петрограде».

Получив пост комиссара на Тереке, Караулов начал ловко заигрывать с терскими, сунженскими и гребенскими казаками. Это обеспечило новый взлет просвещенному казаку — Караулов был избран войсковым казачьим кругом атаманом войска терского. И чтобы новый атаман не тяготился погонами обыкновенного есаула, тот же казачий круг возбудил ходатайство перед Временным правительством, «ввиду революционных заслуг войскового атамана Караулова, о производстве его в чин полковника, а буде возможно, то и в чин генерала».

Укрепив свое положение в родном казачьем кругу, а также со-

средоточив в своих руках гражданскую и военную власть на всем Тереке, Караулов постарался, во-первых, после небольшой перетасовки, сохранить у руля управления старое чиновничество, не допустить туда горцев, во-вторых, подобрать из кавказцев людей, которые могут повести за собой горские массы по пути, намеченному им, комиссаром Временного правительства. Караулов, прошедший неплохую политическую школу не только в Белом зале Государственой думы, но и в полуциркульном, где обычно проходили интимные встречи и тайные сговоры, стал «приручать» аристократические и буржуазные круги Кабардино-Балкарии, Осетии, Чечни, Ингушетии, Кумыкии. В результате в национальных краях Северного Кавказа появились комиссары Временного правительства, подобранные по образу и подобию Караулова. Вместо свергнутого полковника Клишбиева правителем в Кабардино-Балкарии стал его свояк юрист Хамид Чежоков, именуемый комиссаром. В Чечне — видный адвокат Ахметхан Мутушев и шейх Дени Арсанов, в Ингушетии — чиновник царского министерства земледелия Васангирей Джабагиев.

Горские народы, в силу своего колониального положения остававшиеся до сих пор инертными и разъединенными, так и не успели подумать об организации местной власти и аппарата управления.

И Караулов, и сразу примкнувший к нему Нестеров, и те, кто встал у кормила нового корабля, рассчитывали, что, поставив для видимости в национальных округах комиссаров из горцев, а также сделав незначительные уступки в самоуправлении, можно ограничить национально-освободительное движение народов Северного Кавказа.

В аулах Ингушетии и Чечни, в селениях Кабарды и Осетии, во всех уголках Дагестана и горной Балкарии падение самодержавия разбудило великие надежды. Многие, очень многие поверили, что осуществятся давние мечтания, что они получат свободу, а главное — землю. Балкарский скотовод Таусо говорил:

— Велик аллах! Наконец свершилась справедливость. Больше не оскорбит меня всесильный князь, не задержит мой скот. Ведь земля будет общей...

Наученные горьким опытом, аюбейцы рассуждали иначе.

— Может,— говорили они,— мы это не слышим, а нам только чудится, что слышим. Еще и не так подшучивает шайтан. А может, нам во сне снится сладкая жизнь, которая будто бы приближается...

Мухамед-эфенди читал самые устрашающие молитвы, и аюбейцы дружно кричали: «Лаиллаха иллах, аллах акбар!» — чтобы избавиться от наваждения и отпугнуть шайтанов.

Убедившись таким путем, что ни шайтан, ни сон тут ни при чем, а они в своем уме и здравой памяти, аюбейцы все-таки тоже стали ждать мира, земли, равенства и свободы.

Того же ожидали чеченец и осетин, ингуш и кумык. Каждый

мечтал о том времени, когда он сможет по любой дороге проехать вооруженным, как положено горцу, пройти по тротуару в городе, не услышав оскорбительного окрика полицейского: «Эй, ты, дикарь, сверни с дороги! Тебе говорят, сукин сын!»

Но и этого не было. Горец не получил ни мира, ни земли, ни равенства, ни свободы.

Лопнуло его долготерпение. Горский крестьянин стал захватывать под посевы и пастбища земли тех, кто самозванно, от его имени произносил красивые, патетические слова о свободе и равенстве, на деле проявляя циничное безразличие к народным нуждам и чаяниям.

Горские торгово-промышленные и помещичьи воротилы забеспокоились: беспардонный бедняк действительно мог захватить власть. С другой стороны, они увидели, что их обошла хорошо организованная казачья верхушка, успевшая создать собственное правительство.

Поговорка «крик зовущего спать не дает» оказалась справедливой: горская буржуазия звонила во все колокола, требуя защиты своих экономических и политических интересов.

«Крик зовущего спать не дает...» Этот крик заставил зашевелиться горских князей и буржуев...

В предварительном совещании приняли участие чеченский нефтепромышленник Тапа Чермоев, кабардинский коннозаводчик Пшемахо Коцев, кумыкский помещик Рашид-хан Капланов, чиновник Васангирей Джабагиев, балкарский князь Басият Шаханов, шейх Дени Арсанов и другие высокопоставленные особы.

— История не простит нам, если мы не используем создавшуюся благоприятную обстановку,— заявил низкорослый, но живой и энергичный Пшемахо Коцев.— После падения деспота-самодержца военно-полицейский обруч, коим мы были связаны и который лишал нас свободы действий, сорван. Бочка рассыпалась. Терской области как таковой уже нет. Наша неотложная задача,— во-первых, не дать казачьей власти вновь собрать эту бочку и оковать стальным обручем; во-вторых, сплотить единоверных горцев Северного Кавказа в одно мощное объединение, которое сумеет противостоять как нашему закоренелому врагу — казачеству, так и нашей собственной черни. В ее среде начали появляться мятежные элементы...

— Я вижу тот черный день,— заметил кумыкский хан Капланов, перебив Коцева,— когда голытьба, обманутая большевистским лозунгом о конфискации помещичьих земель, будет действовать как страшная сила, разрушающая и единство мусульман Кавказа.

Коцев не разделял столь категоричного утверждения напуганного революцией помещика, считая, что веками угнетенная, темная, инертная горская масса, приученная исламом к терпению и святому почитанию догм шариата, не способна к решительным действиям.

— Чтобы противостоять обеим опасностям,— продолжал Коцев,— и спасти наши народы от разнузданной солдатни, которая, как несметные стаи голодной саранчи, возвращается с турецкого фронта, нам необходимо создать свою партию, партию объединенных горцев, и возглавляемое ею правительство.

Важный, сановный Тапа Чермоев поддержал и добавил:

— Пока наше черное золото, превратившись в желтый металл, будет отягощать карманы захвативших кавказские земли гяуров, злейших врагов наших, горским народам не быть свободными.

Опытные политики Шаханов и Коцев, бывалый Джабагиев и другие понимали, что Чермоев хочет использовать ситуацию, чтобы расправиться со своими конкурентами — нефтепромышленниками иной веры. Но не решились поддержать его. Однако не осмелились и возразить, боясь, что Чермоев не даст тех двадцати тысяч рублей, которые обещал на проведение съезда «объединенных горцев».

Были и такие, которых больше всего тревожил, как они говорили, «грандиозный, всеохватывающий пожар, идущий с севера и угрожающий основе основ мусульманской религии». Эту группировку в основном составляли шейхи и муллы. Один из них, Джамалдин Бейбулатов, высокий и худой старик с белой бородкой клинышком, с непомерно длинным носом и маленькими воспаленными глазами, одетый в черный халат и белую чалму, не по годам бодрый, узнав, что с западного фронта на Терек возвращаются казачьи части, а с турецкого — крупные воинские соединения, затрясся от страха и гнева. И когда попросил слова, бледное его лицо пылало жаром. Во все горло он возвещал:

— На нас идет черная смерть, именуемая революцией. С севера и юга движутся дивизии гяуров. Русские хотят зажать нас между морями и раздавить. Хотят, как щепотку соли, брошенную в суп, растворить и проглотить нас. Черное нашествие можно остановить только мечом и всеобщим газаватом. Братья мусульмане! Создадим могучее воинство и поставим под зеленое знамя ислама. Аллах на нашей стороне. Он поможет.

Выступающих было много, но все обходили главный вопрос, волновавший горца, вопрос о земле, о реках, «которые должны стать всеобщими». И когда Мухамед-эфенди об этом сказал, все переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Не подослан ли он большевиками?»

Подозрения были напрасны. Мухамед-эфенди не имел отношения к большевикам! Не был даже законным делегатом совещания, его прислал эфендишхо [1]. Мудар сказал организаторам, что он не может приехать по болезни. Любопытный Мухамед-эфенди остался, заняв укромное место. Как представитель социальных низов, нуждавшийся в земле, аюбейский мулла сказал:

---

[1] Эфендишхо — великий эфенди.

— Значит, мы, мусульмане, живущие под благословенным знаменем ислама, во всей нашей жизни руководствуемся шариатом, основанным на святом Коране. А потому надо дать землю людям за счет...

Балкарский князь Басият Шаханов, в прошлом присяжный поверенный, а ныне — «культурнейший, социалистически настроенный горский интеллигент» не кадетствующего, а эсерствующего толка, не дал закончить Мухамеду-эфенди:

— По какому праву?.. И кто вас уполномочил делать здесь подобные заявления?

— Не думаете ли, господин эфенди, что теперь мы должны ввести закон, в силу которого состоятельные люди обязаны дать черни в качестве подаяния уже не кусок хлеба для дневного пропитания, а участки земли?

Дрожащим голосом мулла снова залепетал о шариате, основанном на Коране, согласно которому земли и реки...

— Вот вам, господа,— патетически воскликнул Шаханов,— образчик целого сословия современного горского духовенства, вскормленного и обученного на крестьянские подаяния. Если хотите знать правду,— подобные ему воспитанники кабардинского медресе больше были заняты сбором подаяний, чем изучением мусульманской теологии... Но, получив кое-какие познания, сан служителя культа, они уже претендуют на право возглавить движение народных масс. Не смущаясь своим невежеством в политике, истории, экономике, пытаются подвести какие-то теоретические базы под захватнические действия черни. Это опасно, ибо прикрывается именем аллаха, Кораном и шариатом.

Втоптанный в грязь Мухамед-эфенди вспомнил выражение, которое часто слышал от Беймурзы:

— Князья и дворяне, которые всегда имели под рукой готовенький хлеб, оружие, готового коня,— плохие борцы и герои. А мы, дети...

На этот раз аюбейского муллу перебил кумыкский хан:

— Мы не намерены выслушивать бред каких-то самозванцев. Если говорить по существу, любой захват чужой собственности противоречит законам аллаха.

Второго удара Мухамед-эфенди не вынес, стушевался и сел, решив, что бессмысленно продолжать борьбу.

Руководствуясь не столько желанием добить самозванного ходатая за интересы бедноты, сколько стремясь предостеречь других, чтобы не говорили об изъятии земель у частных землевладельцев, балкарский скотовод внес три предложения: «I. Попросить господина Мухамеда-эфенди оставить зал заседания, как никем не делегированного. II. Довести до сведения эфендишхо Мудара, что его нарочный превысил полномочия, чем опозорил его. III. Выразить глубокое сожаление по поводу происшедшего, засвидетельствовав искреннее уважение собравшихся к высокочтимому эфенди Мудару».

Оскорбленному Мухамеду-эфенди, покидавшему зал с опущенной головой, Шаханов бросил вдогонку:

— Мы тоже изучали Коран. Знаем и шариат!

Высокий и худой шейх Бейбулатов, представитель бессословной Чечни (там не было ни князей, ни дворян), был потрясен оскорблением, которое нанесли его коллеге по сану. Увидев в этом подкоп под авторитет духовенства, он сказал, стукнув посохом об пол:

— Вот вы какие, пишущие слева направо [1]. Вы не только надменные гордецы, вы не просто алчны и жадны, но и готовы искаженно толковать Коран, лишь бы сохранить свои участки!

Обращаясь к людям европейской образованности, он говорил зло, резко; но стоило ему, воздев руки, устремить взор вверх, к всевышнему, как тон его становился мягким, просящим, он молил бога образумить мусульман, готовых стать на стезю гяуров.

— Так слушайте, несчастные,— продолжал шейх-фанатик,— что сказано на сей счет в Коране: «Между вами нет ни богатых, ни бедных, ни князей, ни нищих, а есть только мусульмане». А вы поглумились и прогнали Мухамеда-эфенди только за то, что он придерживается установлений Корана. Бойтесь бога, несчастные!

Выпад чеченского шейха оскорбил кумыкского хана и балкарского князя. Рашид-хан Капланов даже вспомнил цитату из священной книги, гласящую: «Господь всевышний предопределил, чтобы одни были нищими, а другие богатыми». Он хотел начать с нее, а потом обвинить шейха в искажении предписаний Корана в угоду большевикам. Но председательствующий Коцев понимал, что, если разгоревшиеся страсти не потушить, произойдет раскол.

— В это историческое время,— сказал Коцев,— каждое слово, каждое действие должны быть направлены только на то, чтобы, объединившись, вести нещадную борьбу с большевизмом, борьбу за обретение свободы и независимости. Ради национальных интересов, ради сохранения наших народов я призываю вас стать выше личных обид. Да образумит нас печальная история великих сынов Кавказа Шамиля и Хаджи Мурата!

Хотя Коцев непосредственно не обращался к Шаханову и Капланову, они поняли, что председательствующий просит их показать пример и поступиться самолюбием ради главного. И тот и другой заявили, что кавказский этикет не позволяет им отвечать на грубость грубостью.

Уступчивость и учтивость двух влиятельных лиц сделали свое дело: напряженность ослабла. Но по-прежнему был воинствен шейх Бейбулатов. Надо было утихомирить и его.

— Сам всевышний предопределил наше объединение, сделав нас мусульманами,— сказал Коцев и внимательно посмотрел в сторону, где сидели муллы.

---

[1] Имеется в виду горская интеллигенция, получившая образование на русском языке.

Джемалдин Бейбулатов, которому понравились эти слова, поднял голову. Сердитое лицо его смягчилось.

— Мусульманский мир Кавказа один. Его не раздирают противоречия классовой борьбы, на которую большевики делают основную ставку. Во всеуслышанье мы провозглашаем: «Мусульмане Кавказа! Под спасительное знамя ислама! Вся власть на Тереке — Союзу объединенных горцев Кавказа!» — воскликнул Коцев.

— К этому кличу не присоединится лишь тот, чья душа замутнена безверием,— поддержал шейх.

— География нашего священного Союза,— сказал Рашид-хан Капланов,— должна охватить и наших соседей — дагестанцев и единоверцев Азербайджана. Мусульмане этих краев живут одними помыслами с нами.

Капланова поддержал Тапа Чермоев и добавил, что об этом неоднократно говорил с бакинским миллионером Тагиевым.

— Могу сообщить, господа, что для предотвращения смертельной опасности, грозящей мусульманам Кавказа, бакинский магнат изъявил готовность пожертвовать на проведение нашего съезда пятьдесят тысяч рублей. При этом поставил только одно условие: съезд должен быть антисоциалистическим и антирусским. Можем ли мы, господа, заверить его, что условие будет исполнено?

«Одно условие» приняли без дискуссии. Не было особых разногласий и по вопросу о земле. Те, что были, касались частностей: как, к примеру, сказать его величеству — народу, почему проект решения съезда, кроме признания «принципа, что земля должна принадлежать трудящемуся населению», не предлагает никакого решения о княжеско-помещичьих владениях и совершенно не касается казачьих земельных наделов.

— Клянусь Кораном,— быстро проговорил знаток аграрных вопросов Васангирей Джабагиев,— горские народы не согласятся, чтобы казаки, составляющие лишь пятую часть населения Терской области, продолжали владеть большей половиной удобных для обработки земель. Вдумайтесь в эти цифры: на каждую мужскую «казачью душу» приходится 12,3 десятины земли, такая же душа получает в горной Чечне 0,3 десятины, а в горной Ингушетии и горной Осетии — по 0,2 десятины. За счет экспроприации земель у местного населения были намного увеличены казачьи наделы, вплотную притиснувшие горца к голым скалам. Костлявая рука голода схватила горца за горло. Если это будет продолжаться и дальше, ненасытному казаку не надо прилагать особых усилий, чтобы задушить горца окончательно. Я спрашиваю: где равенство, где справедливость? Теперь, когда произошла революция, согласится ли горец мириться со своим положением?

Ответ был коротким: «Нет!»

— Но что делать, что делать, чтоб ингуш и осетин, кабардинец и чеченец, балкарец и кумык получили землю? — театрально вопрошал бывший деятель царского министерства земледелия.

— Объявить газават казачеству! — произнес шейх.— Я даю благословение на то, чтобы уничтожить гяуров. Знайте, нет большего дьявола, чем гяур. И тот, кто уничтожит семерых, пойдет прямой дорогой в рай!

Над «что делать?» немало думали бывалые, многоопытные юристы Ахметхан Мутушев, Пшемахо Коцев, Басият Шаханов. Ломали голову над этим помещик Рашид-хан Капланов, нефтепромышленник Тапа Чермоев и многие другие. Но ни один не решился ответить на этот проклятый вопрос. Они не допускали и мысли о том, чтобы поделиться с бедняками частью своих земель. Что же касается казачьих наделов, за счет которых можно было бы ублаготворить малоземельных горцев, а заодно удовлетворить их чувство мести, то едва ли казаки уступят их без сопротивления: казак не из щедрых и не из пугливых. Он так же воинствен, как горец. Попытаться силой завладеть землей более чем рискованно, казаки отлично подготовлены, у них есть генералы и офицеры всех рангов, артиллерия и пулеметы. У горцев — шашки, кремневые ружья, дикая удаль и несколько человек с военным образованием. Век-то двадцатый, с высокой военной техникой! О ней горская крестьянская масса не имела никакого представления. Вот почему люди, «пишущие слева направо», зная соотношение сил, не решились поддержать шейха, хотя чувствовали, что вызовут недовольство духовенства.

Шейх грозно и с подозрением посмотрел на людей русской образованности. Он, фанатично верящий, что на стороне мусульман всемогущий аллах и это предопределяет победу, бросил клич:

— Газават не на жизнь, а на смерть!

— На сунженские станицы с газаватом! — крикнул мулла из Ингушетии, словно все уже сидели на конях и ждали только зова.

К удивлению образованной элиты, председательствующий Коцев не протестовал. Он ответил:

— Великий шейх Чечни, нет на Северном Кавказе мусульманина, кто вслед за тобой не скажет: «Газават не на жизнь, а на смерть!» Придет время, и все мы понесемся на быстроногих конях с обнаженными мечами против гяуров. Но для этого надо набраться сил. А сила придет, когда завершим объединение мусульман Кавказа. Поэтому не стоит торопиться. Сейчас надо подготовить и провести съезд, чтобы объединить всех мусульман от Каспия до Черного моря...

Польщенный столь высокой оценкой своей персоны, обрадованный перспективой объединения всех мусульман, проживающих между двумя морями, Джемалдин Бейбулатов, опустив голову, сидел в глубокой задумчивости. Изредка произнося молитвенные слова, он продолжал размышлять над доводами председательствующего. Потом сказал:

— Пророк Мухамед не одобрял поспешных, неподготовленных войн. Да, подождем с объявлением газавата.

Слова шейха вызвали переполох воинственно настроенного духовенства. Но никто не решился возражать. После короткого обсуждения и небольшой перебранки другие муллы согласились поддержать решение влиятельного шейха.

Меньшевистский социал-демократ Коцев облегченно вздохнул: он знал цену этого согласия.

— Слушай, чтоб силу иметь, земля нужна. Очень земля нужна,— сказал представитель мусульманской части осетинского народа, сидевший до сих пор безмолвно.

— Совершенно верно,— ответил Коцев.— На этот счет мы думали. Думали много. Нами подготовлен проект постановления съезда. Он предусматривает: во-первых, чтобы все земли и леса, занимаемые горцами Северного Кавказа, были признаны неотъемлемой собственностью горских народов; во-вторых, отнятые казной участки возвратить племенам, у которых они были изъяты; в-третьих, все свободные казенные земли и земли крестьянского поземельного банка передать в фонд горских народов для раздачи горцам. Что же касается аграрного вопроса в целом, мы за то, чтобы предоставить право Учредительному собранию решить его окончательно.

— Нет,— возразил осетин,— то, что вы говорите, не даст землю; это одни слова... А людям земля нужна...

С разных сторон на осетина закричали, и он замолчал. Не давая времени на размышление, Коцев сказал:

— В соответствии с правилами шариата, разработанный проект постановления съезда по земельному вопросу, с которым вы ознакомлены, ставлю на голосование. Кто за него?

Этот проект устраивал почти всех присутствующих. А насчет надежд на будущее... В проекте их было сколько угодно. Недаром же говорится: «надежды — наследство отцов».

— Ну, и дипломат наш председатель! — почти с завистью сказал Басият Шаханов Капланову во время перерыва.

— Да, знает, по какой тропе идти, чтобы проникнуть в сердца духовных наставников,— согласился тот.

«Только ли духовных?!» — подумал балкарский князь, вспомнив, что именно хан кумыкский и миллионер Чермоев поддержали Коцева на узком совещании, когда он сказал: «Бог знает, как будут развиваться события. Не исключается, что придется обратиться за помощью к казачеству против все больше наглеющей нашей черни. Поэтому мы не можем идти на обострение отношений с казаками». Шаханов понял, что имелось в виду: спасти владения крупных землевладельцев и их капиталы с помощью казачества. А за это они должны были удерживать соплеменников от захвата казачьих земель. Так сказать, рука руку моет. Одним словом — политика! Но вслух просвещенный балкарец этого не высказал: расчетливость не согласуется с этикетом и «высокой моралью» аристократов.

После перерыва председательское место занял Чермоев, предоставивший слово Рашид-хану Капланову.

— Считаю необходимым,— сказал он,— внести в повестку дня съезда вопрос об организации сил для борьбы с реакцией и анархией, в частности — о создании горской конницы на добровольных началах для несения полицейской службы.

Предложение не вызвало возражений: не бывает же власти, не имеющей охраны.

— А почему на добровольных началах?

— Пока у нас нет средств на содержание платной полиции или милиции, как хотят назвать ее некоторые не в меру щепетильные господа,— ответил Капланов.— Во-вторых, это формирование должно состоять из тех сословий, которые составляют цвет горских племен,— из узденей первой, второй степеней, князей и состоятельных людей. Будем принимать только тех, кто придет со своим конем и будет полностью экипирован. Это, так сказать, предохранительная мера против большевистски настроенных элементов.

Разъяснение кумыкского хана вызвало решительный протест шейха Джемалдина:

— Остах фируллах, что я слышу! Устанавливать ограничения для поступающих в мусульманское воинство! Ни аллах, ни его пророк Мухамед не допускают подобного для тех, кто хочет бороться за ислам. И мы...

— Извините, святой шейх, что перебиваю,— сказал Коцев, поднимаясь. Чтобы больше расположить к себе Бейбулатова, он перешел на чеченский язык.— Клянясь Кораном, хан Капланов имел в виду не войска для газавата, а милицию, которая должна следить лишь за порядком.

Для старца, живущего при родовом общинном строе, не привыкшего к сословным разграничениям, была неприемлема никакая дискриминация, особенно когда вопрос касался борьбы за религию. Поэтому ни Коцев, ни Капланов, ни Чермоев, выступившие с пространными разъяснениями, не могли утихомирить шейха. И только когда, вторично выступая, Коцев сказал, что добровольный набор в милицию устанавливается не для сословно-имущественного разграничения, а чтоб не обременять бедноту, Бейбулатов стал более сговорчивым.

— Если крестьянин придет со своим конем, его примут в милицию?

— Да, если не безбожник,— ответил Чермоев.

Об отступниках от религии расхождений не было, и святой шейх согласился дать свое благословение будущим милиционерам, объявить их борцами за шариат.

— Чтобы в ряды милиции привлечь молодежь, будем выдавать каждому винтовку и шашку,— предложил Чермоев, добавив, что на закупку оружия выделит значительную сумму из своих личных средств.

Поблагодарив за щедрость, другие тоже пообещали внести «возможную для каждого сумму» и предложили произвести сбор пожертвований среди граждан.

Настроение участников совещания было приподнятое. Под конец договорились, что будущая горская конница должна символизировать победу объединенных горцев, а милиционеров — представить как самим аллахом отобранных борцов за ислам, восседающих на кровных лошадях с серебряными подковами. В заключение Басият Шаханов прочитал обращение Временного ЦК объединенных горцев к народам Кавказа:

«Горцы! Наша свобода нуждается в закреплении, наше будущее — в устройстве на разумных демократических началах. Первого мая 1917 года во Владикавказе созывается 1-й съезд представителей горских племен Кавказа. Присылайте на съезд по одному делегату от каждых 5000 душ населения обоего пола. Помните: время не ждет и выборы в Учредительное собрание должны застать нас уже объединенными».

Совещание закончилось. Именующие себя Временным ЦК объединенных горцев шли мелкими группами по Александровскому проспекту. Не торопясь шагали вместе нефтепромышленник Чермоев, меньшевик Коцев и шейх Бейбулатов. Продолжая конфиденциальный разговор, Чермоев сказал:

— И подготавливаемый нами съезд, и ЦК объединенных горцев, который будет избран там, и добровольческая милиция — все это хорошо. Они сослужат свою службу. Но я считаю, что единственная реальная сила, которая защитит нас от разрушительного влияния русской революции и от собственной нашей голытьбы,— это Турция. Да, только единоверная Турция с ее сильной, испытанной армией.

— Милый и мудрый Чермоев, я сам такого же мнения,— сказал Коцев, в знак особого расположения обнимая Чермоева правой рукой.

Шейх Джемалдин Бейбулатов остановился. Удивленно, испытующе посмотрев на спутников, сказал:

— Хвала аллаху! Образумил пишущих слева направо! Вот теперь я с вами. По-настоящему с вами! — И высокий худой старик по очереди коснулся левой стороной груди каждого из спутников в знак верности.

10

Состоявшийся во Владикавказе съезд горцев Кавказа не прошел бесследно. Призыв к горским мусульманским народам объединиться во имя сохранения самого их физического существования, добиться национальной свободы, самостийности, защитить религию от гяуров,— все это воспринималось населением одобрительно. А когда к этим лозунгам в качестве приправы каждодневно

стали добавлять сообщения о том, что «разнузданная солдатня бежит с Кавказского фронта, сметая на своем пути все, убивая, грабя, насилуя...», что «казаки, узурпировав всю власть, снова хотят господствовать...», разноплеменный Северный Кавказ, преодолевая недоверие и подозрительность, начал объединяться.

Тапа Чермоев, ставший председателем ЦК объединенных горцев, говорил своим единомышленникам:

— Скажу, не хвалясь, что мы с вами неплохо знаем души кавказских народов и тропы, по которым надо проникать в их сердца. Очевидно, наши сердца бьются в унисон с сердцами наших народов.

— Да, мы достигли хорошей консолидации национальных сил,— ответил товарищ председателя ЦК Коцев.

В то время у них были основания для оптимизма.

Делегаты съезда, вернувшись в села, сообщили, что создана собственная горская государственность с распорядительным и исполнительным органами, которые возглавляют свои же люди.

Аюбеец Беймурза Алхасов радостно говорил:

— Наконец-то! Слава аллаху. Сами будем править собой. Без толмача будем говорить с нашими начальниками.

— Воистину это так,— поддержал Мадин.— Как ощетинилось наше горское правительство против грозящей нам опасности! Нет, они не дадут на потеху русским солдатам наших женщин, а имущество наше на разграбление.

— Все это, может, и так,— сказал Музачир Сохов.— А вот о землях и реках, которые должны быть общими, молчат. Даже отнятые у нас пастбища не возвращают.

— Не сразу же все! Придет время, и это решат,— успокаивал Беймурза.

Колесо времени крутилось безостановочно. Проходили дни. Проходили недели. Шума на митингах по поводу национального возрождения было много, а реальных дел в пользу карахалка — ни на копейку. Крестьяне говорили:

— Кричи сколько хочешь «сахар», от этого во рту сладко не станет.

— Таким образом, значит,— ворчал Мухамед-эфенди,— скажу откровенно: когда я потребовал от членов ЦК вынести постановление, чтоб одинаково наделить землей всех, как того требует шариат, они решили бросить меня в тюрьму, а потом расстрелять. Нет, не горское правительство это, а псы, готовые перегрызть горло народу.

Возможно, подобные разговоры не пустили бы глубоких корней в сердцах аюбейцев, если бы от имени Временного правительства и во исполнение его постановлений ЦК объединенных горцев, именуемый Горским правительством, не требовал от крестьян то выплаты военных налогов, то отправки всадников с полной экипировкой за счет села для пополнения кабардинского полка дикой дивизии.

Скрепя сердце аюбейцы по разверстке не раз поставляли армии кабардинских лошадей. Дважды дали пополнение в дикую дивизию. А когда снова пришло предписание срочно внести военные налоги, отправить новых всадников в дикую дивизию и «добровольно» набрать людей в национальную конницу для полицейской службы, аюбейцы сказали: «Нет, хватит!»

Альботов, назначенный старшиной, когда Борокова отправили в ссылку, и оставшийся на этом посту после Февральской революции, сообщил о саботаже аюбейцев в Нальчик.

И тогда приехали в Аюбей комиссар Временного правительства в Кабарде и Балкарии Хамид Чежоков, старый приятель Борокова, и Абубекир Анзоров, командир добровольной национальной конницы.

На сходе, который был собран в тот же день, Чежоков объявил:

— Ну, вот что: отныне старшиной вашего села будет Туган Бороков. Это единственный человек, который может управлять таким своевольным селом.

Музачир Сохов попытался возразить:

— Господин комиссар! У нас есть грамотный и умный человек — Шогемоков. Просим его назначить старшиной.

Чежоков отклонил просьбу. Музачир Сохов настаивал:

— Тогда просим поручить нашу судьбу Мухамеду-эфенди: человек известный, умеет говорить, наставник молодежи.

Но комиссар Чежоков оказался упрямцем.

— Нет и нет! — ответил он.— Бороков, и никто иной.

— Они выбирают помощников по своему образу и подобию,— с горечью заметил Беймурза.

Больше всех обиделся мулла:

— Разве так выбирают старшину? И при царе, таким образом, значит, мы были под пятой Борокова. И теперь...

Кто-то из бороковских насмешливо крикнул:

— Одним «таким образом, значит» не управишься с обществом!

Мулла даже затрясся от ярости. И угрожающе сказал:

— Погодите! Вот скоро, таким образом, узнаете, каков Туган Бороков. Скоро! Вы еще не знаете, что это за род.

Люди так и не поняли: то ли мулла намекал на скверный характер старшины, то ли знал его новое преступление. Только Шахбан Каздохов понял намек, и вздохнул, и встрепенулся, и с тревожным укором взглянул на Мухамеда-эфенди. Но тот больше не произнес ни слова, ушел.

Шахбан стоял бледный, с трясущимися ногами, проклиная себя, что сообщил мулле о любовной связи между Жанэт и Зрамуком. «Он это, конечно, использует в борьбе с Бороковым. А я снова окажусь между молотом и наковальней. Ах, язык мой — враг мой». Чтобы скрыть волнение, он низко-низко нахлобучил на лоб широкополую войлочную шляпу...

Абубекир Анзоров, одетый во все белое — белая черкеска, белая папаха (он приехал и на белой лошади, будто возвращался

с победой),— вошел в круг схода. Сделав знак рукой, сказал вооруженным всадникам, сопровождавшим Чежокова и его, чтобы не теснили сход. Когда всадники осадили лошадей, Анзоров начал свою речь:

— Счастья и процветания вам, аюбейцы! Во имя чего создаем мы свою конницу?.. Чтобы сохранить народ и его религию, отгородиться от пожара, идущего с севера, от потоков крови, проливаемой русской революцией...

Абубекир Анзоров говорил громко, но неторопливо. Он призывал не верить лозунгам большевиков:

— Может ли быть, чтобы люди одной нации и одной веры, передравшись и почти перебив друг друга, спешили принести нам свободу и богатую жизнь, которой нет у них самих? Так быть не может! Они хотят, чтобы и мы передрались, тогда им будет легче захватить остаток наших земель, обременять нас службой в гяурской армии, угнетать новыми поборами, заставить отречься от своей религии и принять христианство. Первая задача солдатни, что саранчой движется с Кавказского фронта,— подорвать нашу силу, уничтожить лучших людей, разграбить достояние наше, обесчестить женщин. Потому и необходимо создать вооруженные отряды и собрать налоги на содержание национальной конницы...

Потом взял слово Шогемоков. Он сказал:

— Аюбейцы, мои односельчане! Не верю, что возвращающиеся с фронта солдаты, такие же крестьяне, как мы, хотят нас уничтожить. Вранье!

Сход одобрительно загудел. Но нашлись и такие, кто возражал Шогемокову. И тогда Мурат Кабардов обратился к командиру национальной конницы:

— Господин Анзоров, я хотел бы кое-что добавить...

Анзоров решил, что этот крестьянин хочет поддержать его, и дал ему слово.

— Русские свергли белого царя, который причинил много бед кавказским народам. Но я не верю, что это сделано для того, чтобы уничтожить нас. Им легче было бы губить нас под царским знаменем. Но они не нас, а царя...

— Убрать! — приказал Анзоров.

Три вооруженных всадника схватили Кабардова и поволокли его за дом сельского правления, где вскоре раздался выстрел.

Обеспокоенные крестьяне подняли головы, зашевелились. Из-за дома слышались возня и голос Мурата:

— Не запугаете!

Аюбейцы грозно смотрели то на Анзорова, то на Борокова, как бы спрашивая: «Что ж это вы делаете, а?!»

Туган не выдержал:

— Господин Анзоров, комиссар Чежоков,— прошу уважить аллаха, уважить сельское общество и остановить расстрел... Мы обратим на путь истинный этого дурака. Что касается формирования отряда всадников для национальной конницы и отправки семи

всадников в дивизию,— то Аюбей выполнит свой долг перед родиной. Согласны, односельчане?

— Согласны! — загудел сход, желая спасти Кабардова.

Анзоров осуждающе посмотрел на Борокова,— тот виновато опустил голову. Тогда Анзоров поднял руку, успокаивая сход, подождал тишины и произнес:

— Он не заслуживает помилования. Его надо убить, как убивают кабана. Всех, кто не желает бороться за нашу религию, честь и землю, будем уничтожать беспощадно. Их расстреляем первыми, а гяуров во вторую очередь...

— Если у нас заведутся подобные паршивцы, о которых говорит господин,— мы сами их покараем. А Кабардова просим освободить,— сказал старый Беймурза Алхасов, вплотную подходя к Анзорову. Потом обвел взглядом сход и крикнул: — Это просьба всего аюбейского общества. Правильно я говорю, сограждане?

— Правильно! Просим! — раздались голоса.

Анзоров не торопился: он ждал решения схода о всадниках и уплате продовольственного и денежного налогов на содержание национальной конницы.

Чтобы выручить односельчанина, сход принял все требования командующего. И тогда Анзоров сказал:

— Не могу не уважить вашу просьбу, первую просьбу, с которой вы ко мне обратились. Этот Кабардов хотя и подлец, продавшийся гяурам, но будет помилован. Однако знайте, аюбейцы: когда решается судьба нации, мы не можем быть сердобольными. Нельзя прощать ничего!

По приказу Анзорова Кабардова приволокли и поставили перед ним. Командующий хотел сказать, чтоб Мурат благодарил за спасение сход и старшину. Но Кабардов смотрел с такой ненавистью, что Абубекир Анзоров резко отвернулся, загремев шашкой и маузером, крикнул сходу:

— Полюбуйтесь на эту бандитскую рожу! — и угрожающе добавил: — На этот раз тебя спасли. В другой раз, если попадешься, застрелю собственноручно!

Анзоров быстро и нервно зашагал к сельскому правлению. Встав на ступеньку крыльца, обернулся и приказал:

— Отпустить!

Дюжие конники, заломившие руки Кабардову, с силой отбросили его от себя и пошли к своим лошадям.

Когда грозные гости и старшина удалились в правление, крестьяне торопливо разошлись.

Чежоков, Анзоров и Бороков долго сидели в кабинете старшины. Комиссар говорил о «суровой доле», выпавшей кабардинской аристократии, которая самой судьбой призвана спасти родной край от гибели... Туган, выждав удобный момент, промолвил:

— А я по доброте душевной не подумал об этом и замолвил словечко, извините, пожалуйста!

— Еще не пришло время, когда будем снимать головы,— ответил Анзоров.— А придет,— ничью просьбу не услышим. Вот так!

И Бороков порадовался, что, оказывается, не промахнулся: «Еще не наступило время...»

11

До рассвета выезжал Зрамук в поле, а возвращался с темнотой, а то и ночевал там, у своей нивы. Старики, удивляясь, говорили сынам:

— Гляньте, сколько успевает сделать один Шогемоков! Вот у кого учитесь...

Можно подумать, что Зрамук поступал по старой кабардинской пословице: «Надо работать так, будто ты собственными жилами зашнуровал свои гуаншарики». Он не позволял усталости одолеть себя.

Первым в селе Зрамук проборонoвал кукурузу. До прополки оставалось еще недели две. Но юноша не стал отдыхать, а нанялся к Борокову привезти соли с разработок в Ставропольской губернии. Привез соль и в тот же день отбил косу, наладил тяпку, положил в бричку наковальню, молоток, корытце, деревянную лопаточку и остальной припас, а к вечеру запряг коней.

— Будь всегда счастливым, Зрамук! — воскликнул Мурат.— Но кто же ночью выезжает полоть кукурузу?

Шогемоков ответил: в ночном лошади лучше поедят и отдохнут, а по утренней прохладе легче полоть, чем в зной.

А на самом деле ему не хотелось, чтобы, как было весной, соседи снова пришли на помощь. Чтоб говорили про него: «Бедняга один и не может управиться». Чтоб Туган не мог попрекнуть: «Как отдать дочь тому, кто не в силах даже обработать свой надел?»

Сегодня было не очень жарко. Разрозненные, но пышные облака волочили за собой по земле прохладные тени. Работа спорилась. Высоко подымал Зрамук тяжелую тяпку, сильно бил под самый корень жесткий живучий свинорой, который душил молодую кукурузу.

К вечеру онемели руки и ноги, заныла поясница. Во рту пересохло: язык шевелился с трудом. И все-таки он полол до темноты. Уже не хватало сил развести костер и готовить ужин: съел лепешку с сыром, запил ключевой водой, лег у брички.

Зрамук лежал на душистой траве. Отдыхало тело. А на душе было сладко... Он смотрел на звездное небо и думал, улыбаясь: «Звезды перемигиваются, как мы с Жанэт, когда встречаемся при посторонних».

А вокруг стрекотали цикады, пели лягушки, и Шогемокову казалось, будто они поют про любовь... И вдруг вспомнилось, как зло

взглянул на него и на Жанэт Адальбий, недавно встретившись с ними у родника.

Последнее время они виделись среди бела дня, как будто случайно, у родника. У крутого спуска к воде лежал большой валун. Зрамук утром прятался за ним, а Жанэт, когда возвращалась с водой, останавливалась здесь отдохнуть. Они перебрасывались немногими словами, и каждый шел своей дорогой. Если кто-нибудь появлялся, они разговаривали взглядами — и понимали друг друга... К сожалению, Адальбий, приехавший из Нальчика на каникулы, уже дважды видел их здесь.

Лежа под звездным небом, Зрамук соображал, где найти безопасное место для встреч с любимой. Но так и не придумал, уснул...

Теперь уже не спалось. Он все думал о злом взгляде Адальбия, о скандале, который может устроить молодой Бороков...

Поднялся Зрамук, как обычно, спозаранку и принялся косить по обильной росе. С тех пор так и повелось у него: косить, пока не сойдет роса. Потом он полол кукурузу.

За весну Шогемоков похудел, почернел и теперь казался высоким. А обильная черная щетина, проросшая на щеках и подбородке, старила его. Но работал он все так же, до изнеможения. Чтобы скорее накопить денег для калыма, договорился с двумя односельчанами скосить за плату их наделы.

Часов в десять утра Зрамук сделал перерыв,— позавтракал и вновь взялся за косу: отбил на маленькой наковальне, взял из корытца мокрого песку деревянной лопаточкой, навострил косу и продолжал косить.

День был солнечным, но не жарким: с гор тянул прохладный ветерок. Косарь шел, медленно передвигая ноги и оставляя слева ровный прокос. Косил Зрамук увлеченно, не замечая, что по лицу течет пот. Ему казалось, что каждый прокос приближает его хоть на шаг к желанной цели...

Внезапно Шогемоков услыхал знакомый, неприятный голос, но не остановился и даже не оглянулся. Голос быстро приближался, теперь можно было отчетливо различить брань. Шогемоков перестал махать косой и поднял голову: свернув с дороги, прямо по лугу скакал к нему разгневанный Адальбий. «Ну, ясно: пьян! — решил Зрамук.— Ради Жанэт постараюсь не ссориться...»

— Сын собаки и мул Шогемоков! — орал Адальбий.— По какому праву ты косишь наш надел?

Зрамук ответил, что косит за плату участок вдовы Бохуковой. Но Адальбий ничего не хотел понимать.

— Если по ошибке прихватил часть вашего участка,— сказал Зрамук, желая миром кончить дело,— сено лежит на месте. Можете взять...

— Это наш участок, ты, собакой рожденный!

— Боже мой, да ты оглох, что ли? Я же сказал: если участок ваш, то и сено будет вашим...

Адальбий стал теснить Зрамука лошадью: хотел свалить и затоптать. Зрамук вцепился в повод, удержал коня.

— Кривоногий чувячник! — орал бороковский отпрыск.

И хлестнул по спине плетью.

Зрамук схватил Адальбия за пояс, пытаясь сорвать с коня, но не смог: крепко держался в седле Бороков. И снова изо всей силы стегнул плетью. Боль удвоила силы Зрамука: обеими руками рванул он Адальбия за пояс, сорвал с коня, поставил перед собой, приказал:

— Замолчи!

Обезумевший от ярости Адальбий продолжал орать и браниться во все горло. Не сдержавшись, Зрамук ударил его по лицу, но тот не упал, а вцепился в Шогемокова, пытаясь свалить.

— Перестань! — жестко сказал Зрамук.

Но Бороков взъярился еще сильнее: раз просит перестать,— значит, боится?! И ударил Зрамука кулаком.

Схватившись, парни сплелись руками: то один рванет, то другой, а не могут друг друга одолеть, повалить наземь. Уже тяжело стал дышать Адальбий, когда Зрамук наконец изловчился, подставил ногу, свалил противника и, швырнув его на траву, крикнул:

— Берегись, Бороков!

Адальбий упал тяжело; попытался подняться, но Зрамук подбежал, придавил коленом. То ли бороковский отпрыск сильно ударился, то ли голова закружилась спьяну, но теперь он перестал даже сопротивляться, только стонал. Зрамук встал, отряхнулся.

— Мул невоспитан, как видишь, и многого не понимает, не обижайся! — И ушел косить сено.

А когда оглянулся и увидел, что Адальбий тяжело подымается с земли, крикнул:

— Что произошло, пусть останется между нами! Если разболтаешь,— сам себя опозоришь...

Так этот случай и остался бы тайной, если б на одной вечеринке между ними снова не произошла стычка.

Хозяин дома попросил гостей занять места. Шогемоков спокойно обошел Адальбия и сел в глубине комнаты на почетном месте.

Адальбий принял это как кровную обиду: унизили его дворянское достоинство. И на этот раз — при людях! Отказался сесть на второе место, сказал:

— Не удивляюсь, что мул не знает своего места.

— Эх, Адальбий! — ответил, усмехаясь, Зрамук.— А я-то был уверен, что ты уже в прошлый раз понял: мул не разбирается в тонкостях. Оказывается, я ошибся...

Разобиженный Адальбий покинул вечеринку.

Впрочем, и об этом случае он никому не рассказал. Но присутствовавшие поняли, что между юношами уже была какая-то стычка. И пополз по Аюбею длинный, сбивчивый слух, разукрашенный досужими вымыслами. А когда разговоры дошли до ушей

Шахбана Каздохова, тот при первой же встрече сказал Адальбию:

— Клянусь, дорогой, я искренне огорчен: нельзя позволять грубияну Шогемокову чернить твое славное имя!

Бороковы уже не доверяли Каздохову, и Адальбий хотел пройти молча, но, когда тот добавил: «Как он смог объяснить тебе, что понимает мул, а чего не понимает?», Бороков остановился, ошарашенный неприятной догадкой: неужели Шахбан узнал о стычке на покосе?! От нервного напряжения его даже затрясло. А Каздохов наступал:

— Как ты разрешаешь такому подлецу волочиться за твоей сестрой?!

Адальбий не удивился, он и сам знал об этом, но все-таки предупредил:

— Не потерплю, чтобы клеветали на мою сестру!

— Клянусь аллахом, я говорю правду!

— Чем докажешь?

Каздохов заколебался, но, когда молодой Бороков сердито поглядел на него, «маленький человек с большим кинжалом» решился:

— Если я не видел собственными глазами, как Жанэт и Зрамук обнимались в доме Музачира Сохова,— пусть покарает меня аллах, пусть не дойду до своих детей!

Расспрашивать Адальбий не стал. Он побледнел, потом покраснел и быстро пошел прочь.

«Железо куют, пока горячо! — сказал, усмехаясь, Каздохов.— Холодное, оно слишком упрямо...» И пошел к Тугану, чтоб рассказать, как Шогемоков нахально занял почетное место на вечеринке, хотя по праву оно принадлежало дворянину — сыну Борокова, и о том, что Зрамук пытается потешиться над дочерью старшины.

«Такой удар приготовлю я тебе, Шогемоков, что расплачусь с лихвой»,— мысленно торжествовал Шахбан, уверенно шагая к бороковской усадьбе.

12

А Зрамук чувствовал себя прочно стоящим на ногах: самостоятельный хозяин, владеет тремя лошадьми и отличными посевами кукурузы и проса, любимец аюбейских стариков, которые на всех углах говорят: «Хоть и молод, но видно, что умный и работящий». Доволен он был и верностью своей Жанэт... Будущее казалось ему светлым.

Где-то в Ледовитом океане или у Белого моря возникают циклоны и, бывает, повернут на юг мощным потоком холодного воздуха, а через несколько дней врываются на Кавказ. Столкнутся здесь с воздухом теплым и влажным, заклубятся свинцовыми тучами. А вскоре ударятся о неприступную стену снеговых вершин

Главного хребта. И начнется баталия! Буря ошалело мечется по ущельям, равнинам и склонам; небо гремит, льет потоки дождя, сыплет град на поля, а горы покрываются новым ослепительно-белым снегом.

Так было и в июле 1917 года. Ни с того ни с сего похолодало тогда в равнинной Кабарде и горной Балкарии. Снеговой шубой оделись не только вершины Главного хребта, но и боковые — до самых Черных гор. После ливней с градом кукуруза стояла с обломанными, пробитыми, будто дробью, листьями; трава на лугах полегла. Листва деревьев поредела, и они казались нищими в лохмотьях и тряпье.

Аюбейцы стали угрюмыми и безмолвными. Их постигло не только стихийное бедствие: северный циклон, на этот раз политический, принес из Петрограда дурные вести о расстреле демонстрации. Везде — и на Кавказе тоже — начиналось наступление реакции...

Коснулось это морозное дыхание даже затерянного в глуши предгорий Аюбея.

«Захват чужой собственности противоречит законам аллаха... Приказываю немедленно вернуть захваченные земли законным владельцам. За неисполнение данного приказа буду арестовывать и привлекать к судебной ответственности всех виновников...» Приказ был подписан комиссаром Басиятом Шахановым, про которого тогда говорили, что он, дескать, человек, «социалистически настроенный, сочувствующий эсерам».

Туган не сразу обнародовал приказ. Он выжидал, осматривался, пытаясь взвесить и определить — кто победит, а кто проиграет? Но жизнь так осложнилась, что старшина все же ровно ничего не понял и, уступая нажиму землевладельцев, собрал сход.

На сходе Туган подал Шогемокову бумагу и попросил прочесть и перевести на кабардинский язык.

Зрамук смутился: он не ожидал такого подвоха. «Я уговаривал захватить землю... И я же теперь должен им сказать, чтоб вернули? Хочет, наверное, опозорить меня!»

Все же он вышел не спеша на середину, к столу, снова прочел приказ, сообщил собравшимся его содержание.

— Вот так! — сказал старшина.— Аллах видит и вы слышали собственными ушами, что я тут ни при чем. И выходит, Шогемоков, что собственность каждого остается его собственностью.

От неловкости Зрамук горел, но сдерживался.

У тех, кто запахал чужую землю, пропадали и труд и семена да еще ложилось на них пятно позора.

«Опять его счастье одолело! — говорили друг другу крестьяне.— Снова он прав, а мы виноваты!»

А Мурат нагнулся к тестю, сказал негромко:

— Зрамук не знает, как уйти от стола,— растерялся.

Но тесть покачал головой:

— Нет, не растерялся! Обдумывает что-то...

И Зрамук наконец решился.

— Тебе жаль того клочка земли, что мы отрезали; ты возьмешь его назад: власть на твоей стороне. Только не забудь, Туган, жизнь вроде колеса — вертится! Кто знает, может, в другой раз не лоскут земли отрежут, а голову...

— Кто ел соленое, тому надо испить водицы. Кто чужое взял, должен вернуть захваченное хозяину. Таков закон! И таков приказ! — ответил Бороков.

— Не забывай моих слов, Бороков! — повторил Зрамук.

Казалось, они сейчас схватятся. Но оба сдерживались: старшина считал, что должен был за непочтительность ударить Зрамука посохом по голове, но это могло настроить общество против старшины, подорвать к нему уважение. А Зрамук сдержался ради Жанэт, хоть его так и подмывало сказать, что придет время — и земля снова будет принадлежать беднякам.

Крестьяне расходились, переругиваясь, браня Тугана, а заодно и Шогемокова с Кабардовым, втравивших их в эту историю с землей. А многие брали и повыше.

Молча, не вступая в разговоры, одиноко шли своими путями Туган Бороков и Зрамук Шогемоков.

Последние события настолько озадачили Зрамука, что от его восторженного настроения не осталось и следа. Власти упрекали в подстрекательстве, а крестьяне роптали, что он толкнул их в беду.

Как снять с себя вину перед односельчанами и отстоять их интересы? Зрамук вспомнил о своем дяде Пшикане, о Михаиле Петровиче Кулибине, которые могли бы помочь. Раз освободили Борокова, почему те не на свободе? Может, Кулибин на воле? Если это так, он поможет добиться справедливости по делу односельчан и примет меры для освобождения крестьянских вожаков Аюбея.

Решение Шогемокова поехать в областной центр с прошением от аюбейских крестьян одобрили Алхасов, Сохов, Кабардов и другие.

И вот он во Владикавказе.

Но где же искать Михаила Петровича?

Зрамук вспомнил, что статьи Кулибина раньше печатались в «Кавказе». Быть может, там знают...

Сотрудник редакции «Кавказа», к которому обратился Шогемоков, снял очки с усталых, покрасневших глаз и, осторожно протирая стекла лоскутиком замши, вежливо ответил:

— С того времени как его арестовали, мы не знаемся с этим господином.

Зрамук вздохнул и опустил голову. «Видно, Кулибина не выпустили из тюрьмы...» — подумал он.

Журналист спросил с участием:

— А зачем вам нужен господин Кулибин?

— Михаил Петрович святой человек. Добрый, как пророк! —

горячо ответил Зрамук.— Зачем такой человек держать в тюрьме? Революция свободу дала...

— Вы что же, приехали вызволить его из неволи?

Юноша чистосердечно рассказал, из-за чего приехал. Даже попросил напечатать в газете прошение, под которым неграмотные аюбейцы вместо подписей поставили отпечатки своих пальцев и фамильных перстней.

Внимательно прочитав крестьянскую жалобу, журналист сказал с усмешкой:

— Вот мне нравятся ваш позолоченный кинжал и пояс с бляшками. Очень нравятся. Но разве я могу их присвоить? Что скажете?

Зрамук не ответил, а молча взял прошение назад.

Журналист продолжал:

— А вы хотите присвоить частную собственность, пользуясь анархией в стране. Пока Учредительное собрание не решит земельного вопроса...

Шогемоков не стал слушать, ушел. «Нет, не вернусь в Аюбей,— думал он,— пока не добьюсь настоящего ответа на жалобу. Пойду к комиссару Караулову. Расскажу все. А может, Коцев поможет: все-таки кабардинец!..» И пошел к атаманскому дворцу.

— Куда, куда лезешь, гололобый! — загородил ему дорогу дежуривший у двери казак.

— Караулов нам надэ. Коцев...

— Пропуск!

Пропуска не было. Зрамук тщетно просил пропустить его.

— Ступай, ступай, пока цел. Ходят тут разные...

— Мы не разный. Мне Коцев надэ. Мне Караулов надэ...— возбужденно говорил юноша.

Дюжий казак схватил его за плечи и вытолкнул прочь, закрыв парадные двери.

Зрамук слетел по ступенькам до тротуара, но не упал, удержался. Озлобленный, упрямый, он повернулся, чтоб снова попытаться пробиться во дворец. Но какой-то старик, видевший все происшедшее, потянул его за собой:

— Не связывайся, молодой человек, с ними! Не советую.— И добавил, понизив голос: — Власть теперь называют народной, но обращение — хлеще жандармского. Будьте же благоразумны.

Шогемокова тронуло участие старика. И, надеясь на чудо, он даже спросил, не знает ли старик Кулибина.

— Нет, молодой человек, не знаю я вашего Кулибина...

— Так он нужен, так нужен. И не только мне, всему Аюбею. Прошение привез...

Удрученный неудачами, юноша опустил голову.

А когда поднял голову, увидел людей, стройными рядами выходивших из разных улиц и переулков.

Поблагодарив доброго старика, юноша пошел к демонстрантам. Он не узнавал тихого, благочинного Владикавказа, города чи-

новников, военных и мелких лавочников. «Откуда здесь столько народу?» — удивился Зрамук. А были тут и горцы из ингушских и осетинских аулов, и «иногородние» из станиц и селений, жители Грозного и других близлежащих городов.

Колыхались транспаранты. На них крупными буквами горели слова: «Вся власть Советам!», «Мир — хижинам, война — дворцам», «Свобода, равенство, братство», «Долой войну!», «Землю — крестьянам!».

Послышалось дробное цоканье подков. Из переулка выехали казаки и перегородили дорогу.

«Это же Сиднев!» — чуть не крикнул Зрамук, узнав есаула, гарцевавшего на вороном коне.

— Ра-зой-дись! — прокричал есаул злым, пронзительным голосом и покрутил над головой нагайкой.

Демонстранты продолжали идти, продолжали петь, даже не сбавили шагу.

«Вот это молодцы! Не пугаются». У Зрамука радостно забилось сердце. Ему хотелось быть вместе с этими смелыми людьми, помогать им.

Казаки въехали в гущу демонстрантов, стали теснить их. Засвистели нагайки.

Рабочие увертывались от ударов, пытались стащить казаков с лошадей. Зрамуку хотелось пробиться к Сидневу, но разгоряченная лошадь ударила его копытом по ноге. Морщась от боли и прихрамывая, Шогемоков прислонился к стене и отстал.

Степенные, богато одетые люди на тротуарах неодобрительно смотрели на демонстрантов, на плакаты, качали головами, отворачивались. Иные плевались презрительно и зло.

Казакам не удалось разогнать демонстрантов. Свернув с Московской на Александровский проспект, колонны подошли к дворцу, где теперь была резиденция комиссара Временного правительства и председателя Гражданского исполнительного комитета Терека. Остановились у высокого здания из красного кирпича с большими окнами и просторным балконом.

Словно приветствуя толпу, кто-то вышел на балкон с новым, плещущимся на ветру знаменем и укрепил на правом углу. Затем ушел и вернулся с трехцветным флагом низложенного царя. Этот флаг он перевернул древком вверх, а полотнищем книзу и так укрепил на левом углу.

— Маскарад! — крикнул кто-то.

— И без него знаем, что царя свергли.

— Играют в р-революционеров.

На балкон вышли ставленники Временного правительства на Кавказе. Гордые, величавые, они были опьянены властью, которая, как они полагали, укрепилась после июльских событий в Петрограде, когда было подавлено выступление питерского пролетариата, а по всей стране прошла волна арестов и расстрелов. Компанию на балконе возглавлял комиссар Караулов, человек с

тяжелым подбородком, пышными усами, черными бровями, из-под которых сверкали сердитые глаза. На его серой черкеске выделялись дорогие газыри. Справа от Караулова стоял холеный, торжественный Нестеров, один из ближайших помощников комиссара. Слева — низкорослый, с большими запорожскими усами Пшимахо Коцев — юрист и коннозаводчик, ставший теперь председателем Союза объединенных горцев, а также председатель и вице-председатель Терского гражданского исполкома — чеченский нефтепромышленник Чермоев и дагестанский помещик и скотовод Капланов.

Переговариваясь, посмеиваясь, они посматривали вниз на возбужденную, плохо одетую толпу демонстрантов. Чувствовали себя хозяевами, победителями, представителями той власти, что повергла в прах династию, больше трехсот лет правившую Россией, и посмела расстрелять в Петрограде такую же крикливую толпу.

Вот почему комиссар Караулов, начав свою речь, напомнил не только об участи Николая Второго и бывшего правителя Терека («А он был не просто губернатором, даже не генерал-губернатором, а военным генерал-губернатором и атаманом Терского казачьего войска!»), но и о «темных обманутых массах, которые с антиправительственными требованиями вышли на улицы в июльские дни».

— Р-революция,— кричал он,— скрутила в бар-ран-ний рог всех, кто сопротивлялся. А вы кто? Я вас спр-рашиваю: кто вы? — Он то вскидывал руку вперед, то поднимал над головой и сжимал кулак.— В такое тяжелое время, когда солдаты умирают на фронте, защищая отечество, требовать высоких заработков, спекулировать на недостатке рабочих рук — пр-редательство! В Грозном и в ряде других округов по распоряжению господина министра внутренних дел Никитина мы уже ввели военное положение. Если не прекратятся беспорядки, введем военное положение по всему Тереку. Пусть каждый знает, что законная власть сможет сломать хребет всем, кто выступит против Временного правительства.

Тут из рядов демонстрантов его перебил Михаил Петрович Кулибин:

— Господин комиссар, из постановления Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов, врученного еще вчера, вам известно категорическое требование отменить решения об изъятии оружия у гражданского населения, о новых правилах устройства митингов и введении смертной казни, приговоры к которой, как написали вы, могут быть приведены в исполнение по усмотрению господина начальника Владикавказского гарнизона и господ станичных атаманов. Вместо того чтобы ответить на наши требования, вы пугаете нас. Напрасная трата времени! Требуем ответа по существу!..

От ярости Караулов даже побледнел и потерял дар речи. Увидев это и стремясь дать атаману возможность овладеть собой, Нестеров вступил в пререкания с Кулибиным, назвав его подлинную фамилию — Красночуб.

— Истинные демократы и революционеры сейчас живут одной заботой — спасти революцию, спасти отечество от грозящей ему анархии. А вы, господин Красночуб, хотите усугубить хаос, чтобы извлечь выгоды для себя...

Зрамук Шогемоков, увидев Кулибина, так разволновался, что у него зарябило в глазах. Обвинение Нестерова возмутило его до глубины души. Не стерпев столь чудовищной клеветы, Зрамук крикнул:

— Не верьте Нестерову! Он любит не революцию, а большую должность. Нестеров такой воробей, который летит к тому хозяину, у кого поспело просо. Мы знаем это!

В криках «Правильно!», «Долой предателей революции!» потонули слова Зрамука.

Обрадованный, что его любимец жив, Кулибин, толкнув стоящего рядом Ноя Буачидзе, воскликнул:

— Молодец!

Караулов возобновил речь. Но уже не было самоуверенности в его тоне. Охрипшим голосом он кричал:

— Вы явились сюда с массой одурманенных и обманутых людей, чтобы потребовать отмены наших постановлений, помешать нам навести революционный порядок на Тереке. Не будет этого! Все беды происходят оттого, что в результате безвластия, вернее многовластия, многочисленные комитеты и союзы, самозванно присвоив себе права на безответственную деятельность, сеют анархию и угрожают завоеваниям революции. Нам нужна сильная и единая власть. И мы ее установим!

— Центральный комитет объединенных горцев и его правительство,— сказал Коцев вслед за Карауловым,— тоже за монолитную и сильную власть. Еще одно непременное условие: в дела мусульманских народов никто не должен вмешиваться, кроме горского правительства. Что же касается разоружения, Михаил Александрович,— Коцев посмотрел на Караулова и, улыбнувшись со значением, продолжил,— вы знаете, что горец и оружие — это одно нераздельное целое. Безоружный горец чувствует себя униженным, уязвленным в своем достоинстве. И тот, кто попытается разъединить это целое, потерпит поражение. А в поддержке Временного правительства, верности союзническим обязательствам, продолжении войны до победного конца, борьбе с анархией и мерах против захвата чужих земель союз объединенных горцев разделяет ваши мысли...

Шогемоков жадно слушал, и все больше в его душу проникало разочарование: господа говорили не о том...

— Товарищи! — крикнул Калоев.— Граждане! Ради красного словца эти господа продадут родного отца. Говорят о спасении революции, но все делают, чтобы уничтожить ее!

«И Калоев здесь!» — чуть не вскрикнул Шогемоков.

Из рядов вышел худощавый человек в темно-синем костюме, с галстуком, чернобородый. Он повернулся к толпе, подняв руку.

Просил тишины, успокаивал. Это был Ной Буачидзе, старый большевик-подпольщик, вернувшийся из Женевы в Петроград, а оттуда прибывший на многонациональный Северный Кавказ с напутственным словом Ленина и мандатом Центрального Комитета партии.

Толпа затихла. И тогда Ной Буачидзе повернулся к стоявшим на балконе.

— В клевете на пролетариат, господин комиссар, вы только повторяете ваших единомышленников, сваливая разруху, продовольственный кризис и прочие беды на рабочих. Разрешите в ответ процитировать вам письмо тех, кто проливает кровь на фронте: «На ваши лицемерные крики «солдаты — в окопы, рабочие — к станкам!» мы говорим: «А вы, господа капиталисты,— к сундукам!» Народ дает кровь и пот, вы давайте деньги на ликвидацию затеянной вами мировой войны. Конечно, ни вы, ни ваше правительство этого не сделаете. И мы требуем: передайте власть Советам, землю — крестьянам, немедленно прекратите войну, установите рабочий контроль над производством!

— Вы расскажите народу, как немцы перевезли вас через границу в запломбированном вагоне и сколько золота дали за измену отечеству,— крикнул кто-то с балкона.

Толпа загудела, возмущенная провокационной репликой. Буачидзе вновь поднял руку, требуя тишины.

— Вагоны, в которых русская эмиграция возвращалась из-за границы, были чисты и уютны. На них не было никаких пломб. Их заменяли швейцарские, французские, английские, шведские и прочие шпики. А насчет золота... Да, ради золота, ради высшего богатства на земле,— сказал Ной,— мы, большевики, шли на все и будем идти, не считаясь ни с чем. Ради него перенесли мы тюрьмы и кандалы и взвалили на свои худые плечи тяжелую ношу. Часто казалось, что вот-вот свалимся и нас раздавит наш тяжелый крест. Но, товарищи, мы снова набирались сил и с верой шли вперед. Этим золотом, которому мы служили и будем служить, является его величество народ, трудовой люд, пролетариат.

Раздались аплодисменты. Кто-то крикнул: «Вся власть — Советам!»

Буачидзе продолжал:

— Вы, господин комиссар, требуете сдачи оружия от граждан. Они это сделают, когда власть перейдет к Советам, когда земля будет отдана крестьянам, а над производством будет установлен рабочий контроль. Мы знаем, что вы будете искать удобный момент и удобный предлог для разоружения рабочих, горцев и революционно настроенных воинских частей. Но знайте, это вам не удастся. Большинство народа — за нами, как большинство Владикавказского Совета депутатов теперь наше...

Теперь ораторы выходили из рядов демонстрантов и говорили, обращаясь к толпе, а не к господам на балконе.

Шогемоков слушал и удивлялся. Его захватывали смелые, правдивые слова. «А почему бы и мне не сказать?! — подумал он вдруг.— Почему не рассказать, что не могу никому передать жалобу аюбейцев? Надо же искупить вину перед односельчанами...»

Зрамук стал пробираться вперед. Ему хотелось дойти до Кулибина и с его разрешения говорить. Но люди стояли плотно, и он еле протискался к Буачидзе. Сначала оробел. Преодолев смущение, попросил слова.

Начал Зрамук тихо и невнятно. Ной подбодрил: «Громче, громче, молодой человек!» И голос Шогемокова стал крепнуть.

— Нашэ не допустили комиссару Караулову, не допустили председателю горцев Коцеву, чтоб жалоба отдать. Казак схватил, бросал. За что? Нашэ приехал суда ни так сибе, ни араку пить, а привоз прошение всех аюбейцев, которы живут своим потом. Земля у них отобрали обратно, который захватили весной у господ. Сегодня нас назвал здесь «освобожденный народ». Какой такой освобожденный, если казак бросает человека туда-сюда, как ненужный мешок? Комиссар назвал нас освобожденным народом. Если это так, почему до сих пор не на свободе мой дядя Пшикан, мои односельчане Сохов, Каздохов и другие, сосланные в Сибирь? По обычаю, кто дает имя, должен сшить рубашка тому, кого нарекли новым именем. А разве новая власть сшила нам рубашка? Нет! Новая власть снимает с нашэ плечей последнэ одежка, пропитанный потью и сольем, хочет новэ налогов, всадников для войны...

Люди аплодировали, закричали: «Правильно!», а осмелевший Шогемоков продолжал:

— Господин Караулов обещал перебить нам хребет. А его старэ власть, царскэ власть перебила. Из всего рода Шогемоко остался целом только один мой спина. Нашэ не даст перебить ее. Поэтому я не сдам свой винтовка, не сдам свой наган. Они мне память от отца.

Заурбек Калоев крикнул:

— Молодец, Зрамук!

Удивленный и обрадованный Кулибин подбежал, обнял Зрамука, прижал к груди.

— Ты орел! Настоящий молодой орел. Хорошо говорил. Умно говорил,— сказал он, продолжая обнимать своего любимца. Ему хотелось тут же рассказать демонстрантам о судьбе и трагедии шогемоковского рода, но он сдержался: «Не стоит тревожить незажившие раны в присутствии посторонних».

Вторично взял слово Караулов. Он не стал отвечать ораторам, а пригрозил всем, кто «будет подстрекать народ против правительства, против продолжения войны, кто будет толкать массы на захват частных заводов, фабрик, земель».

Не желая слушать, озлобленная толпа загудела:

— Передать власть Советам!

— Долой Временное правительство!

Оскорбленный атаман круто повернулся, ушел, за ним ушли и остальные. Балкон опустел.

Заурбек Калоев запел:

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Демонстранты подхватили пролетарский гимн. Кто не знал слов, смотрел в текст, напечатанный в листовке.

Ной Буачидзе вновь вышел вперед. Сложив руки рупором, крикнул изо всех сил: «Прошу внимания!»,— а когда наступила тишина, сказал:

— Во всеуслышанье мы заявляем, что июльская победа контрреволюции уже исчерпала себя. Владикавказский Совет депутатов, в котором большевики располагают большинством голосов, постановил, во-первых, не подчиниться требованию о сдаче оружия, во-вторых, самым решительным образом опротестовать решение Терского войскового круга о введении смертной казни. Поддерживаете ли вы это решение нашего Совдепа? Если да, поднимите руки.

Поднялся лес рук. Потом раздались аплодисменты.

Расходились демонстранты колоннами, организованно. Кто-то запел, остальные подхватили:

Куем мы счастие народу,
Мы вольный труд ему куем,
И за желанную свободу
Мы все страдаем, все умрем, умрем, умрем!

Буачидзе, Кулибин и еще четыре человека пошли к дворцу комиссара. Показывая на них, Зрамук спросил Калоева:

— Скоро вернется Михаил Петрович?

— Не знаю,— ответил тот,— мы идем тягаться с очень упрямыми людьми. Новые правители не захотят уступить нам ни власти, ни земли, но мы тоже не уступим. Вот и будем тягаться, как борцы в цирке. Да и как помириться, если у нас с ними разные интересы. Нет, Зрамук, наши споры уже не решить мирно.

— А как?

— Силой. Оружием. Всенародным восстанием!

С завистью отметил Шогемоков решительность и убежденность Калоева. «А я-то,— подумал он смущенно,— хотел искать мира в Аюбее, примириться с Бороковыми...»

Калоев заспешил к дворцу, чтобы догнать товарищей.

Зрамук остался один и долго бродил неподалеку от дворца, дожидаясь Кулибина. Вечерело. Опустив голову, он медленно брел по тротуару, когда подошел давешний старик с тростью и напомнил:

— Все же послушайтесь моего совета, молодой человек, не пы-

тайтесь силой проникнуть в это здание. Ступайте подальше от греха!

Был Зрамук усталый и голодный, но взглянул на доброго человека потеплевшими глазами и собирался уже объяснить, почему не уходит, когда увидел вышедших из дворца Кулибина с товарищами. Оборвав разговор на полуслове, Зрамук бросился к ним. Но одумался, остановился у края тротуара и, когда те поравнялись с ним, пропустил оживленно разговаривавших между собой Буачидзе и Кулибина.

— Жаль, очень жаль,— говорил Кулибин,— что Киров, превосходно подготовивший эту демонстрацию, не имел возможности увидеть, как организованно она прошла. Я бы даже сказал — победно.

Ной Григорьевич Буачидзе горячо подхватил:

— Сергей Миронович молодец. Какой революционный размах и сколько практического опыта у него! Какая хватка и широта воззрений! А логика, когда он говорит! По-хорошему завидую ему, Михаил Петрович. Правильно, совершенно правильно командировали его в Петроград.

Зрамук, присоединившись к Калоеву, шел за ними, немного отстав. А когда проходили мимо словоохотливого старика, тот снял шляпу, поклонился и спросил:

— Ну как, нашли своего Кулибина?

— Нашел, нашел! — радостно ответил Шогемоков.

Старик недоуменно и даже с подозрением посматривал на одетого по-горски Калоева. Покачал головой, отошел, снова обернулся и посмотрел, снова покачал головой, проговорил:

— Настоящая кутерьма! Кавказец берет русскую фамилию и становится Кулибиным. Русские забывают бога и свергают царя. Казачий атаман объявляет себя революционером. Поди разберись...

Разбираться в происходящем Шогемокову было значительно легче, чем словоохотливому старику. Жизнь так жестоко обошлась с ним, водоворот классовой борьбы так его перетер, что Зрамук без особого труда понял, чьей стороны надо держаться в революции. И если замешкался во Владикавказе на день-другой, то не для выяснения вопроса, с кем идти, а чтобы узнать, как привести в Аюбей революцию.

Кулибин сказал на это:

— Революция, Зрамук, не девушка, которую умыкают удалые джигиты и преподносят жениху, как дар дружбы... За революцию надо кровь проливать, жертвовать жизнью, чтоб она навсегда вошла в дома рабочих и крестьян.

Шогемоков понимал — Кулибин прав! И радовался, что не похвастался: мол, снова я хозяин, у меня три лошади, четыре головы скота.

Вечер и ночь Зрамук провел у Кулибина. На другой день был на заседании Владикавказского Совета рабочих и солдатских де-

путатов. Долго с ним беседовал и Ной Буачидзе. И всюду Зрамук слышал одну директиву, которая исходила, как говорили, от Ленина, от большевистской партии: «Сейчас налицо революционный подъем, в лагере революции — крупный перевес сил, и поэтому надо готовить рабочих и крестьян к вооруженному восстанию, чтобы взять государственную власть».

— Только тогда,— сказал Ной Буачидзе,— окончательно будет удовлетворена жалоба твоих односельчан. Только социалистическая революция, освободив народ, даст ему новую, счастливую сорочку.

— И еще запомни, Зрамук,— добавил Михаил Петрович,— что мы боремся не за отдельные клочки земли, не за то, чтоб богачи не отбирали у крестьян копенки сена, а за то, чтоб вся земля, все реки, заводы, фабрики принадлежали трудовому народу.

— Вот на это и нацель своих односельчан! — сказал на прощание Ной Буачидзе.

— В отношении розыска твоего дяди Пшикана и других односельчан, сосланных в Сибирь, мы примем срочные меры. Мы обязательно найдем их,— твердо пообещал Кулибин.

13

Шахбан Каздохов, как и собирался, сообщил Тугану о связи Жанэт со Зрамуком и о том, как простой крестьянин Шогемоков на вечеринке занял почетное место, предназначенное Адальбию. При этом Шахбан, конечно, уверял старшину, будто Зрамук высказал по адресу Бороковых немало оскорбительного и дерзкого. И Адальбий тогда же сказал отцу, что «с целью опозорить наш род и отомстить» Зрамук вскружил голову Жанэт и «в своих отношениях они зашли далеко».

Почерневший от злости и гнева Туган приказал:

— Запереть эту непотребную бесстыдницу в амбар. Не выпускать, света белого не показывать!

...Кабардовы боялись, что Зрамук сгоряча натворит всяких бед, и не сообщили ему всего, что произошло в его отсутствие, только предупредили, что Туган знает о его отношениях с Жанэт и надо быть осторожным.

Еще не был окончен разговор с Муратом о том, как же быть теперь Зрамуку и как подать весточку Жанэт, когда в дверь постучали рукоятью плети. Вошел посыльный сельского правления и вручил им обоим по клочку бумаги с печатью, что означало вызов в правление по особо важному делу.

— Когда? — спросил Шогемоков.

— Завтра утром,— ответил посыльный.

— Зачем? — спросил Кабардов.

Посыльный пожал плечами, ответив, что сие известно лишь аллаху и старшине. Зрамук и Мурат переглянулись.

В тот же вечер аюбейцы сидели группами у своих ворот и каждый держал в руках по листку с печатью, легкому, как пух, но придавившему сердца тяжелее, чем камень.

Мухамед-эфенди уже знал, зачем вызывают аюбейцев в сельское правление, и наставительно говорил:

— Таким образом, значит, если эту уйму хлеба, мяса и денег внести на содержание национальной конницы да еще снарядить за свой счет всадников и в конницу и в дикую дивизию,— что останется у вас на пропитание своих детей, стариков и женщин? Об этом подумайте!

— Думали и думаем, но ведь надо было спасти Мурата,— отозвался старик Беймурза.

— Дело Мурата — сторона: он теперь свободен,— возразил мулла.— Загвоздка в Борокове, который хочет отличиться перед новыми правителями, и в Анзорове — тому и во сне снится поскорее собрать конницу. А я знаю, что съезд горцев во Владикавказе постановил вербовать в конницу только добровольцев.

— Нам ли думать о конных отрядах, когда от слабости держимся за кол чужого плетня, своего-то нет! — горько усмехнулся другой.

— Соли, обыкновенной соли не достанешь!

— Поплачь хорошенько да собери слезы: хватит посолить дневное пропитание,— съязвил кто-то.

Шутка была неуместной. Без обычной в этих местах горьковатой соли бедствовали все без исключения. Жизнь становилась невыносимой. Дело не в том, что калмыцкий чай, мясной бульон и мясо делались безвкусными без соли. Это еще можно было пережить. Но без соли пропадали результаты тяжелого крестьянского труда: мясо нельзя было ни провялить, ни высушить без соли, оно гнило, покрывалось червями. Даже сыра нельзя сделать без соли. Как же прокормить семью, если летом и осенью, когда доятся коровы, не наготовить из молока сыра, а бараньи туши, просолив, не прокоптить в очажной трубе или в дыму тлеющей крапивы? Даже кожи нельзя высушить без соли. Из чего же делать обувь и подошвы для чувяк? Нет, без соли и жизнь не в жизнь. Да и вообще — какая теперь жизнь?! Рубашку не сошьешь: нет мануфактуры. Захочешь порадовать ребенка — нет даже простого пряника. Нет уже ни заварного, ни плиточного чая. Аюбейцы заваривают вместо чая шиповник, его стебли или травку, сорванную в поймах рек и высушенную в тени.

Так они сидели и судачили у ворот, и Мухамед, настроив одних против Борокова, спешил к следующим воротам, где тоже сидели люди и разговаривали о бумагах, которые звали их завтра утром в правление...

Плотно позавтракав, Туган Бороков оделся, взял посох и не спеша зашагал к сельскому правлению. Шел и обдумывал: как разговаривать с народом? «Только мягко. Уговаривать. Скажу:

давайте считать, что нас постигла тяжелая напасть. Не пропадать же нам. А раз так суждено,— давайте уплатим налоги, снарядим всадников... Какой смысл спорить с судьбой?»

Зрамук и Мурат пришли, когда аюбейцы уже собрались. Люди стояли понуро и безмолвно, озабоченно комкая в руках свернутые повестки. Иные завертывали в старую бумагу или кукурузный лист крупно нарезанный самосад, закуривали, жадно затягивались, тяжело кашляли. Слезы утирали рукавами.

— Всегда слышим «давай!», никогда — «получи!»,— начал Музачир Сохов.

— Обеднел народ, обессилел, еле держится на ногах,— поддержал Алхасов.

— Хотят и то взять, чего нету. Разве это жизнь?!

— Им что: хоть помри весь народ, не опечалятся!

— Что верно, то верно,— громко сказал Шогемоков, вытаскивая из-за пазухи газету, привезенную из Владикавказа.— На сотни лет с избытком хватило бы народной крови, что пролилась на фронтах. И все-таки Временное правительство хочет продолжать войну «до победного конца»! Требуют пополнить дикую дивизию, создать национальную конницу, уплатить налоги...— Размахивая газетой, Шогемоков говорил громко: — Народ всей России требует прекратить войну, отобрать помещичьи земли и передать тем, кто их обрабатывает. А наши аюбейские властители, князь Агаджоков, крупные землевладельцы Каноковы, Бороковы, Альботовы, возомнив себя всесильными, хватают нас за горло из-за того, что мы захватили кое-какие клочки земли и по ошибке выкосили копну сена с их лугов. Пусть знают: теперь мы будем бороться не за стог сена, не за лоскуток земельки, а за то, чтоб отобрать всю землю и реки и отдать их народу!

Туган Бороков пришел в середине речи Шогемокова и теперь внимательно слушал.

— Уступая свои места,— продолжал Зрамук,— мы говорили этим господам: «Садитесь, и да перейдут на нас ваши болезни!» Если по ошибке проехали краем господской земли,— гнули спины, просили прощения, унижаясь. Хватит. Натерпелись!

Выступив вперед, Бороков спросил:

— Не потому ли ты, Шогемоков, нагло занимаешь место, которое по обычаю принадлежит нам, ы-ы?

— Какое место я занял?

— Место уорка, молодой наглец! — не сдержался Бороков.— Кто тебе разрешил захватывать чужую землю, с косой пройтись по моему лугу? А ну-ка, скажи!

Шогемоков поднес к самому лицу старшины газету:

— Революция, Туган! Революция!

Старшина зло схватил газету. Багровый от ярости, он поднял посох, крикнул в исступлении:

— Прочь, грязный чувячник! Клянусь аллахом, размозжу твою дурную башку...

Зрамук не отступил. Он не ответил на брань, но вырвал посох из рук старшины и швырнул через забор.

Растерянно смотрел старшина на односельчан, словно спрашивая: да что же это? Почему не схватите наглеца? Но аюбейцы не сказали Шогемокову ни слова порицания. Наоборот, зло и осуждающе глядели на Борокова.

— Если ты старше годами, веди себя, как подобает старшему! А говорить о моей голове погоди: настало время тебе ответить сполна за жизнь погубленных односельчан! — сказал Зрамук и отошел.

Туган внутренне осуждал себя, что не сдержался, накалил обстановку перед таким важным собранием. И главное — отстранился, отделился от сельского схода. Надо исправить промах. И он воскликнул тоном пожилого, ворчливого человека, обеспокоенного падением морали:

— Ох уж эта нынешняя молодежь! Не считаются ни с возрастом, ни с честью.

И опять Борокова не поддержали.

«Что же это? — растерялся старшина.— Уж ни мне, ни роду моему, ни возрасту, ни положению нет почтения?» И подумал: не посмел бы Шогемоков так поступать, если б не чувствовал поддержки. Вспомнил, как односельчане требовали поставить старшиной Мухамеда-эфенди или Шогемокова.

Отрезвленный этими мыслями, немного испуганный, Туган произнес:

— Ради аллаха и во спасение доброго имени села, уплатите налоги и давайте снарядим всадников!

Музачир Сохов возразил:

— Ни копейки, ни гроша ломаного не буду платить.

— Зачем нам кормить и содержать войско князей и дворян? — сказал Кабардов.— Люди не в силах прокормить свои семьи...

Старшина продолжал увещевать:

— Не для царского войска этот налог, а для кабардинской национальной конницы.

— И белая собака и черная — все равно собака!

— Пусть платят богатые!

— Живя в государстве, надо исполнять государственные повинности,— начал снова старшина. Аюбейцы зашумели, но он прокричал: — Подумайте о последствиях! Если Чежоков и Анзоров узнают...

— Не пугай!

Больше говорить ему не дали.

— От твоих страхов каменными стали!

Возмущенный старшина стоял с раскрытым ртом, глаза его пылали, усы воинственно топорщились, брови то грозно сходились, то недоуменно ползли на лоб. Но он все-таки сдержался. Молча покинул сход.

Зло отбросил какие-то папки в кабинете, опустился в кресло, облокотился на стол, сжал ладонями голову. «О аллах! Если б вернулось старое время, я бы проверил, вправду ли стали они каменными и не чувствуют ни боли, ни горя...»

Кто-то открыл дверь, тихо вошел и поставил посох в угол. И так же тихо ушел.

Бороков уже каялся, что согласился вновь занять пост старшины. «Люди готовы загрызть друг друга. Попробуй угадай, кто победит, а кого свалят и затопчут. В такое время быть старшиной...»

Туган почувствовал: болит сердце, будто сжимают его когтистой лапой. Чтобы отвлечься, стал просматривать газету, которую вырвал у Шогемокова, повертел ее и так и этак — и бросил.

«Когда налетит буря,— думал старшина,— она не только ломает сухие сучья и живые ветки, она валит деревья, рвет их с корнями. И тогда лучше уйти подальше от падающего дерева... Что же делать? Ни силой, ни страхом теперь толку не добиться. Остается попробовать еще раз усовестить, уговорить...» И, словно собираясь произнести речь, прокашлялся: сухо было в горле. Потом пригладил усы, бороду и покачал головой, вспомнив, как вел себя после ссылки... «Напрасно я тогда осуждал свергнутого царя и его порядки. Ведь я гордился своим дворянством, служил царю верой и правдой... А сегодня вдруг устроил скандал из-за того, что Шогемоков на какой-то вечеринке занял почетное место, предназначенное уорку. Народ не любит таких метаний, очень не любит. Эх, позабыл я мудрое правило: «Прежде подумай, потом говори, сперва оглянись, а после садись...»

Когда старшина вышел, двор сельского правления был уже пуст.

В тяжелом раздумье Туган Бороков шагал по сельской улице, опираясь на посох. Теперь он мысленно ругал не себя, а сына: «Мир охвачен пожаром. Все горит. А он не скажет родному отцу ни слова о том, что делается вокруг, о чем пишут в газетах, чтоб мне легче стало разбираться в делах. Только одно и беспокоит Адальбия, что Жанэт увлеклась Шогемоковым, которого он ненавидит. Нет, пора признаться, Адальбий, хоть и учился, стоил мне столько денег, просто бездельник и ничкемный человек. А вот Шогемоков... Тот с головой. Сам научился грамоте. Мужественный, решительный. До всего доходит своей головой. Недаром же почти весь Аюбей идет за ним... Хорошо бы приблизить его к себе, сделать своим человеком...»

Тут он снова подумал об Адальбии и снова пришел в ярость. У себя во дворе увидел, что колода, о которую очищали у крыльца подошвы от грязи, кем-то передвинута, и, громко ворча на беспорядок в доме, пнул ее сапогом, но тут же, помянув шайтана, схватился за ушибленную ногу. Туган стонал и охал, когда к нему подошел огромный волкодав и начал ласкаться, оставляя на чер-

кеске хозяина клочья шерсти. Рассерженный Бороков ударил пса посохом, тот взвизгнул и убежал.

На шум вышла Жангуаша, но, заметив грозный вид мужа, торопливо закрыла дверь и скрылась на кухне.

Туган распахнул дверь в комнату ударом посоха и оставил ее открытой. Стянул ноговицы, снял черкеску, кинжал, пистолет и прилег на кровать. Лежал и, не мигая, глядел в потолок. Думал: «Обломали и вышвырнули к шайтану царскую корону. Так обошлись с царем! А что тут говорить о простом сельском старшине. Людей уже не заставишь слушаться... Почему бы мне не сослаться на старость и не посадить старшиной Шогемокова? Посмотрю, как дальше пойдут дела... Почему бы не сделать Зрамука и своим зятем? При таком родстве Пшикан Шогемоков, если вернется из ссылки, не станет мстить. Ради племянника забудет прошлое...» От этих мыслей он встревожился и воодушевился, встал, прошелся, прихрамывая, по комнате. «Кажется, это подходящее дело...» Снова прилег и вдруг резко сел: вспомнил, как Зрамук вырвал посох и бросил через забор. Вспомнил поговорку, что «испуганный жук испускает зловоние», и схватился за голову: «Как я мог додуматься до такого унижения?! Породниться с Шогемоковым, с этим юнцом без роду и племени? Нет и нет! Зрамук чужой. Враг. А мстительный Пшикан не простит былого... Приласкать врага — то же, что пригреть змею. С врагом надо бороться, не щадя жизни, ради победы того дела, которому служу по крови, по сословию своему, по сердцу».

Решение успокоило. Туган прошел в угол, где стояли таз и кумган. Сел на скамеечку, вымыл руки до локтей, лицо, ноги, мокрыми пальцами провел вокруг шеи и ушей. Закончив омовение, встал на молитвенный коврик и совершил вечерний намаз. А потом долго сидел на коврике, молил аллаха: «Прости минутную слабость и сомнения. Не лишай меня врагов и не допусти, чтоб враги торжествовали надо мной».

Спать лег поздно и не мог уснуть, беспокойно ворочался, спорил сам с собой. «Кто Зрамук? Одинокий человечек. Крестьянин. А мою дочь сватают благородные люди — Абуков, Кундетов! Породниться надо с теми, у кого власть! Стать уорком и не породниться с князьями — все равно что подняться по ступенькам, но не войти в мечеть. Я не из таких. Раз вдел ногу в стремя, должен сесть в седло!»

Теперь он обдумывал, как восстановить свою былую власть в Аюбее. Для этого надо поехать в Нальчик, встретиться с окружным комиссаром Чежоковым и командующим Анзоровым. Доложить о саботаже аюбейцев. Пусть кое-кого пристрелят. «Кроме того, как свой своим, скажу: пожар наш, нам и тушить его, на чужих надеяться нечего. Хоть я и не молод, но глаза еще видят хорошо, а руки крепки: готов вступить в национальную конницу. Если прикажете управлять Аюбеем,— исполню, только дайте на время десятка два всадников, чтоб навести порядок. И, наконец, даю

вам своего сына. Он молод, грамотен. Пошлите его, куда найдете нужным. А я сочту за честь, что такие мужи, как вы, будут наставниками моего Адальбия...»

В соседней комнате в это время ворочался Адальбий: он задыхался от ненависти к Зрамуку, который посмел оскорбить и унизить его отца.

Не спала и Жангуаша: тяжело переживала горе любимой дочери.

Рано утром, когда она зашла в спальню мужа с кумганом и тазом, чтоб дать умыться, Туган строго предупредил:

— Если выпустишь эту непотребную, расплатишься жизнью. Слышала?

Жангуаша тяжело вздохнула и грустно опустила глаза.

14

Услышав от мужа грубое слово о дочери и угрозу, Жангуаша ушла, роняя слезы. Она плелась в кухню мелкими шажками, а там села у очага и прислонилась к очажной стене. Как внезапный мороз после дождя леденит и гнет книзу ветви, так горе и обида склонили голову Жангуаши. Она сидела и плакала, вытирая глаза концом косынки. Сидела и горевала, думая о горькой женской судьбе...

Отец по праву отца может баловать дочь, но может и выгнать из дома без копейки, без ломтя хлеба. Может за хороший калым отдать в жены какому-нибудь старику, и в его власти навсегда запретить ей даже смотреть на молодца-джигита, которого она любит. Только потому, что ее брат мужчина, он вправе унижать и оскорблять сестру. И ничего не стоит ему сказать, что он ведет ее на вечеринку, а по дороге отдать любому губошлепу, которого она в жизни не видела, и тот умыкнет, увезет девушку неведомо куда, спрятав под бурку. Обычай запрещает ей переходить дорогу, если навстречу идет мужчина, кто бы он ни был. Когда мужчина ест, женщина должна почтительно стоять рядом, она не смеет сесть за один стол с мужем. Даже самая мысль пройтись, развлечься или, упаси бог, перекинуться словечком с возлюбленным кажется девушке ужасной, греховной... Обо всем этом думала Жангуаша, и сердце ее разрывалось от сознания своего бессилия.

Пришла ей в голову мысль: а не попросить ли заступиться за невинную дочь старейшин села?! Но подумала и поняла — не захотят заниматься «бабьими кляузами», а муж и сын озлобятся еще пуще. Туган бессердечный человек и может пойти на все... И нахлынули волной воспоминания о том, какие тяжелые, беспросветные годы прожила она с ним...

Долго сидела Жангуаша у очага, размышляя, как защитить бедную Жанэт от позорной клеветы. И наконец решила: надо сказать

мужу, что если хозяин назовет свою собаку бешеной,— соседи тут же ее убьют; «тем более поверят люди, если ты скажешь плохое о дочери. Не губи ее, она невинна. И не позорь наш дом... Освободи ее из заточения, мой повелитель!..»

Но увидала мужа, грозного, свирепого, и поняла, что сегодня нельзя говорить об этом.

После завтрака Туган оделся в лучшее, парадное свое платье, туго затянул ремень с кинжалом и наганом: собрался в Нальчик к Чежокову и Анзорову, а заодно решил встретиться и со сватами, которым доверяли и Абуковы и Кундетовы. «Согласен отдать ее за Абукова, готов выдать и за Кундетова,— думал Туган, направляясь к коню.— Лишь бы ушла со двора, не опозорив моей седой головы».

Уже в седле он вспомнил, что ключ от амбара, где заперта Жанэт, лежит у него в кармане. Вытащив ключ, отдал его Адальбию, который держал коня под уздцы.

— Чтоб белого света она не видела! — крикнул сердито и, пришпорив коня, выехал со двора.

К слухам о Жанэт и Зрамуке, что расползлись по Аюбею, сначала отнеслись добродушно: только самые заядлые сплетники спрашивали друг друга: «А как думаешь, нет между ними того-этого?..» Но прошло время, и перестали спрашивать, стали утверждать — было! «Конечно, было! Да разве б ты на месте Зрамука...» И даже клялись именем аллаха: мол, Зрамук и Жанэт так влюблены, что никто не может противостоять силе их любви! Ну, а когда сплетня окрепла и утвердилась, аюбейцы поверили, что в амбар отец заточил Жанэт за недозволенную, внебрачную связь. В чем же еще сомневаться?..

А сеяли эти слухи и сплетни Мухамед-эфенди, который давно невзлюбил Тугана Борокова, и Шахбан Каздохов, страстно ненавидящий Зрамука.

Как известно, подобные сплетни последними узнают те, о ком говорится. Если бы Туган знал, что судачат о его дочери, он не уехал бы, не оградив честь рода. Но Туган не знал...

Еще не улеглась пыль, поднятая копытами его коня, а Мухамед-эфенди посоветовал единомышленникам сегодня же заговорить в мечети о Жанэт. И вот закончился вечерний намаз, но люди не разошлись, а столпились во дворе мечети. Каждый думал о страшном слухе, о вине Жанэт, о жестокой каре, что постигнет за такой грех все селение. Кто-то из правоверных первым заговорил об этом во всеуслышание. Другой ужаснулся. Третий сказал:

— Нет сомнения, что дочь Борокова и сын Шогемокова согрешили, иначе отец не заточил бы Жанэт. Какой позор для чести Аюбея! Как нам смотреть в глаза друг другу?! — И обратился к мулле: — Что нам делать теперь, эфенди?

— Неужели это правда?! — испуганно и удивленно воскликнул Мухамед-эфенди.

— Клянусь именем аллаха, эфенди, это правда! Но поступай, как знаешь,— можно ведь и замять дело, скрыть грех, спрятать в седьмой круг ада...

— О, несчастье! Если б возможно было спрятать грех и не позорить Аюбея! Но разве можно обмануть аллаха, всевидящего и всезнающего?! — И мулла горестно опустил голову.

Он долго стоял в глубоком раздумье, словно бы советовался с самим пророком Мухамедом, чье имя носил. Наконец вскинул голову и бросил слова обличения в лицо тем, кто знал о грехе, но молчал:

— О маленькие люди, дети аллаха! Таким образом, значит, чтобы избегнуть божьей кары, этим же вечером надо произвести выстрел проклятия изо всех винтовок, ружей, револьверов Аюбея. Выстрел проклятия! Иначе земля сотрясется, луна исчезнет. Подует ужасный ветер и снесет нас с кабардинской земли. Голодная смерть задушит наших детей и жен. О мусульмане, правоверные! Просите прощения у аллаха! Пусть ни одно ружье не останется безмолвным в этот вечер... Ну, а что делать, как поступить с теми, кто бросил вызов нашей религии, мы решим завтра, когда очистим нашу совесть перед аллахом.

Молча слушали аюбейцы муллу.

В тот вечер не было покоя и сна на улицах Аюбея: всюду сновали вооруженные люди, всюду кричали: «Выстрел проклятия! Произвести выстрел проклятия!» И сельский глашатай, сидя на голой спине своей клячи, слонялся из улицы в улицу, возглашая: «Люди Аюбея! Совершите выстрел проклятия! Ружье, из которого не выстрелят, разорвется само и убьет хозяина!»

Наступила ночь. Светил девственный, чистый месяц. Не было ни землетрясения, ни урагана. Веял легкий, свежий и благоуханный ветерок с гор, а люди метались по улицам и дворам, вооруженные русскими пятизарядками, короткими берданками, наганами — и все с красивыми кабардинскими пороховницами. Как говорится, нет ничего хуже, чем ждать и догонять, а все они ждали первого выстрела, который должен был сделать кто-то из старейшин, и все прислушивались в нетерпении.

Между тем стали наползать тучи. И с каждой минутой тускнел ясный лик месяца. Испуганные женщины, считая это божьим знамением, запричитали:

— О аллах, пощади и помилуй!

И только когда месяц скрылся в тучах, со стороны мечети грянул первый выстрел. Разом, как из пулемета, затрещала по селу стрельба. Стреляли даже из старых адыгских дробовиков.

Вздрогнула, встрепенулась Жанэт в темнице: что там случилось? И словно в ответ услышала призыв сельского глашатая:

— Люди Аюбея! Совершите выстрел проклятия, чтоб аллах не покарал вас за грех Жанэт Бороковой и Зрамука Шогемокова...

Теперь Жанэт казалось, что каждый выстрел направлен в ее любимого. Она заметалась из угла в угол, ломала пальцы, задыхалась.

А потрясенная горем дочери и позором рода мать безумствовала на кухне. Любовь к дочери могла победить в Жангуаше и привычку повиноваться обычаям, и страх перед мужем: она знала, что муж и сын способны растерзать Жанэт. И потому в отчаянии Жангуаша выскочила из кухни, побежала к амбару и попыталась камнем сбить замок, но замок оказался прочным. Тогда она крикнула дочери, что позовет соседа, и убежала со двора.

И тут рысью въехал во двор Адальбий, привязал коня и подбежал к амбару, отпер дверь и встал перед сестрой. Его лицо было перекошено, глаза налились кровью. Он даже не спросил, что она может сказать в свое оправдание, даже не взглянул в лицо сестры, которая так заботливо ухаживала за ним, а, размахнувшись, сплеча ударил плетью. Кровь проступила сквозь платье, но, несмотря на режущую остроту первого удара, Жанэт не застонала, не стала просить пощады, а только присела от боли. Она молчала не от испуга, и понимала, и жалела опозоренного брата. Адальбий бил остервенело, зло, бешено.

Вбежала мать и кинулась к сыну, требуя прекратить истязание, но Адальбий оттолкнул ее и продолжал сечь плетью сестру. Не выдержав жестоких ударов, девушка рухнула на пол, и тогда мать прикрыла ее своим телом.

— Ее надо зарезать, да так, чтоб подольше мучилась! — крикнул Адальбий и кинулся в дом. А вскоре появился снова во дворе, обвешанный оружием.

Слышал Адальбий, хорошо слышал, что мать и сестра плачут навзрыд, но не подошел к амбару, а сел на коня и выехал на улицу. Была глухая ночь, но он спешил в Нальчик, чтобы обо всем сообщить отцу.

Обняв друг друга, рыдали мать и дочь. Жангуаша оплакивала несчастную дочь, Жанэт — опозоренную мать и себя, жертву клеветы, и любимого, которого теперь ничто не спасет от озлобленного рода Бороковых.

Наконец слезы иссякли, больше не было сил плакать, от рыданий они охрипли и обессилели.

Первой опомнилась мать, сказала:

— Скорее, пока отец и брат не вернулись, спрячься...

Жанэт даже не встала: она уже не надеялась спастись. Но мать настаивала, приказала уйти к тетке и там скрываться, пока не минет опасность.

Жанэт поднялась.

— Пойдешь садами, чтоб ни один глаз не видел!

Шатаясь, падая и вставая, брела девушка темным садом. Полные слез глаза плохо видели, но она шла, гонимая страхом, не успев даже слова сказать Зрамуку.

15

Разве есть на земле существо выносливее человека? Кто еще может столько пережить, как человек, тот самый человек, у которого всего лишь пара рук, пара ног, одна голова и одно беспокойное сердце?

Настоящего мужчину не свалит буря, не поглотит бушующее море, не испепелит пожар. Пусть он разорится и обнищает, его работящие руки возвратят потерянное. Мало ли выпадает на долю человека трудных, невыносимых испытаний? Редко ли жизнь выбивает его из седла и швыряет на землю? Но ведь поднимается упорный человек, отирает кровь со лба и вновь берется за работу. Так распрямляется стальной клинок, если его попытаться согнуть: как ни тяжела жизнь, как ни труден путь, настоящий человек никогда не теряет надежды и никогда не отказывается от своей цели.

Поздно вечером, вернувшись с поля, Зрамук Шогемоков узнал о «выстрелах проклятия», которые совершили жители Аюбея. Горным обвалом обрушилась эта весть на Зрамука: в одну ночь поседела голова. Любовь к Жанэт стала неотделимой частью его существа, его жизни. Счастье, надежды, все земные радости он связывал с Жанэт. Она — единственный близкий ему в мире человек, который может разделить с ним и горе и радость. Зрамук верил, что наперекор всему они поженятся, Жанэт родит сыновей — и тогда снова воскреснет, оживет и окрепнет род Шогемоковых. Весь мир и сейчас и в будущем был для него в Жанэт. А она в смертельной опасности! Отец и брат могут привязать Жанэт к двум лошадям и погнать их в разные стороны, чтоб разорвать несчастную. А его, как соблазнителя и развратника, будут водить по селу, бить камнями и проклинать...

Наступила ночь. Зрамук не смыкал глаз, поджидая друзей, которых послал разузнать, где скрывается затравленная Жанэт. Ни Зейнаб, ни Мурат не возвращались.

Ох, как трудно ждать!

Зрамук вскочил и заметался по темной комнате, как зверь в клетке. Потом снова сел к столу, поник, погрузился в тяжелые думы.

На этот раз он не услышал, как вошел Мурат. И только когда Мурат зажег лампу, встрепенулся:

— Ну что? Где она?

Мурат не ответил: как скажешь, что так ничего и не удалось узнать? И он сделал вид, что поглощен склеиванием самокрутки.

— Где она? — повторил Зрамук.

И снова Мурат не ответил, а сказал:

— Пойдем-ка к нам, подзакусим и подождем Зейнаб: может, она что-нибудь слышала...

Зрамук отрицательно покачал головой.

— Нельзя так! Пойдем,— настаивал Мурат.

В ответ ни звука.

— Ну, будь же мужчиной!

Снова молчание.

— Да умножится твой род, Зрамук! Не отчаивайся, возьми себя в руки!..

Зрамук поднял голову:

— Говоришь: «да умножится твой род»? Шогемоковы уже погибли как род. Вовсе исчезаем с земли кабардинской...

Он как раз думал о том, что несчастья преследуют Шогемоковых, как собаки зайцев.

— Эх, Мурат! Видно, это еще не счастье иметь пару волов, верхового коня да несколько коров и овец. Правда, и это неплохо, если ты свободен. Но жизнь наша...— и махнул рукой, не договорив. Помолчал и снова начал: — Чем сидеть и ждать хорошей жизни, как хорошей погоды, и баюкать себя надеждами, надо бороться.

— Вы, Шогемоковы, не раз пытались бороться. Да обожглись...

— Так всегда бывает, когда просто срезают ветку, заслоняющую свет. Нет! Корчевать надо сгнившее дерево, с корнем. Дотла!

— Не по силам нам это...

— Надо, чтоб было по силам! Иначе незачем жить!

В комнату вбежала запыхавшаяся Зейнаб. Она спешила, ей некогда было долго разговаривать, только сообщила, что Жанэт скрывается у тетки.

— Пока не вернулись отец с братом, умыкните ее, увезите из Аюбея. Спасите Жанэт!

Зрамук вскочил, стал торопливо одеваться и вооружаться, а Мурата попросил оседлать белолобую и запрячь лошадей в бричку.

— Что хочешь делать?

— Повезу во Владикавказ. Там спрячу.

Мурат послушно побежал на конюшню.

Кабардов и Шогемоков поехали к вдовствующей сестре Тугана Борокова, у которой скрывалась Жанэт.

Мурат взял на себя переговоры с теткой, а Зрамук поспешил к любимой. Жанэт бросилась к нему со слезами отчаяния. Успокаивая, он сказал:

— Прости, Жанэт. Своей любовью я причинил тебе столько горя...

— Твоя любовь, Зрамук,— возразила девушка,— открыла мне глаза. Я поняла и отца и брата, а главное — себя!

Она говорила решительно, убежденно, и было это так необычно для мягкого характера Жанэт, что Зрамук взглянул удивленно. И вдруг понял, увидел в девичьих глазах, что в тяжелом испытании не сломилась, но окрепла и закалилась душа Жанэт, что больше нет в ней былой скованности и прежнего страха.

Вошла тетка с Муратом, и Зрамук почтительно обратился к ней:

— Да воздаст вам аллах добром за участие в судьбе девушки! Ей опасно оставаться здесь. Я бы хотел найти надежное укрытие для Жанэт...

Жанэт молчала, когда Зрамук снял бурку и накинул на нее; молчала, когда схватил на руки и понес из дому: не вскрикнула, не шевельнулась. Молчала и тетка. А когда, дребезжа, бричка выехала со двора и помчалась по Аюбею, Жанэт отчаянно заголосила, а тетка завопила:

— Ой, люди! Украли мою племянницу. Люди, на помощь! Отбейте ее у злодея. Спасите!

Была глубокая ночь. Никто не услышал воплей старухи, а кто и слышал, не захотел расстаться с постелью.

На второй день вернулся Туган и, когда узнал, что Жанэт похитили, только дернул усом, то ли злясь, то ли усмехаясь. Втайне он был доволен: похищение оказалось лучшим выходом в сложной и позорной для Бороковых истории с «выстрелами проклятия». Но все-таки он отрядил в погоню пять хорошо вооруженных всадников с Адальбием во главе и строго приказал:

— Сыщите ее даже в седьмом кругу ада и верните домой. Шогемокова доставить мне живым. А если погибнет в перестрелке,— привезите его голову!

И погоня помчалась.

16

Мурат проводил молодых до безопасного места и вернулся в Аюбей, чтоб не быть обвиненным в соучастии.

Зрамук понимал, что за ними пошлют погоню. Поэтому он торопился совершить обряд бракосочетания, полагая, что это укрепит их положение и остановит преследование за незаконную связь. Да и окружающие тогда заступятся и защитят их.

И Зрамук оказался с невестой в ауле Верхнем у Батырбековых.

В тот же вечер в доме Таусо начали приготовление к бракосочетанию. Впрочем, держали это в тайне, скрывали даже, что Зрамук и Жанэт приехали в аул.

В сакле сидели трое мужчин. Мулла поднялся, встали и Таусо с Кайсыном Жантуевым. И хотя мулла все знал, он спросил, как полагалось по обряду:

— Доверенные здесь?

— Здесь! — ответил Таусо и добавил, что он уполномочен невестой, а Кайсын Жантуев — женихом.

— Доверенный Батырбеков, скажи при всех: согласна ли Жанэт, дочь Тугана Борокова, быть женой Зрамука, сына Исмела Шогемокова?

— Божьим Кораном клянусь, что совершеннолетняя Жанэт, дочь Тугана Борокова, согласна стать женой Зрамука Шогемокова.

Теперь эфенди обратился к Жантуеву. Когда и тот ответил, мулла сказал:

— Хорошо. Таусо и Кайсын, подайте руки друг другу! — Он взял сплетенные в пожатии руки доверенных, крепко прижал друг к другу их большие пальцы.— Вы, доверенные и свидетели, слушайте: согласно закону аллаха, правилам пророка Мухамеда и народному адату при двух свидетелях ты, Таусо, выдаешь замуж Жанэт, дочь Тугана Борокова, по ее просьбе, за Зрамука, сына Исмела Шогемокова. Так ли это?

А когда Таусо подтвердил, мулла обратился к Жантуеву:

— Ты, Кайсын, берешь в жены Зрамуку, сыну Исмела Шогемокова, Жанэт, дочь Тугана Борокова. Так ли это?

— Так! — отозвался Жантуев.

— Да благословит аллах их совместную жизнь на счастье молодым и их достойным родителям. Аминь!

— Аминь! — повторили Таусо и Кайсын и провели ладонями по своим лицам.

Обряд был закончен.

Кайсын Жантуев пошел сказать молодым, что бракосочетание состоялось. Уже не боясь ни божьего гнева, ни родителей, ни людской молвы, забыв даже о погоне, они страстно целовались, закрепляя тем взаимную преданность в жизни, которая отныне стала общей для них.

Но знали они, что их счастье непрочно, что над ним висит меч мстительного рода Бороковых. Нельзя было долго предаваться блаженству, и они решили в ту же ночь продолжать путь во Владикавказ, замести след.

Таусо и добрая его Хафисат протестовали, удерживали, уговаривали справить свадьбу в Верхнем, но Зрамук остался непоколебимым.

До самого Владикавказа их сопровождал отчаянный друг Зрамука, вооруженный до зубов Кайсын Жантуев. И остался с ними, пока молодые не сняли комнатку на окраине города и не справили скромную свадьбу с участием Заурбека Калоева и Михаила Петровича Кулибина, к этому времени вернувшегося во Владикавказ.

— Когда буду нужен,— сказал Кайсын, собираясь обратно в Балкарию,— позови. Немедленно откликнусь.

— Как нельзя соврать своей совести, нельзя врать и другу! — сказал Зрамук.— Буду откровенным. Не обижайся, Кайсын.

Тот удивленно поднял брови, улыбнулся:

— Слушаю.

— Время сейчас трудное. Бедные и богатые хватают друг друга за горло. Поэтому боюсь, что ты не услышишь моего зова и не пойдешь со мной.

— Кто знает? Может, я пойду по твоему пути первым...

Не было у Кайсына привычки раздумывать, но в этот раз он задумался.

— Я горец, Зрамук.

— Ну и что же?

— На сословной лестнице Жантуевы стоят внизу. Ты знаешь. И знаешь, что чванливые князья и дворяне стараются унижать нас. А честь для горца прежде всего. Понял?

— Это всерьез? — радостно воскликнул Зрамук.

— За равноправие, о котором так хорошо говорил твой Кулибин, за разрушение сословной лестницы я пойду на все! А уж воевать и мстить я умею.

И Зрамук вспомнил сцену на дороге в Верхний, когда Кайсын мстил за поруганную честь сестры. Вспомнил, извинился, обнял друга.

На берегу Терека они поклялись быть верными дружбе, обнялись и крепко пожали друг другу руки. А потом Кайсын Жантуев одним прыжком, как барс, вскочил в седло, стегнул коня и помчался к родным горам Балкарии.

Зрамук долго стоял недвижно, глядел всаднику вслед и благодарил судьбу, которая посылает ему таких хороших, надежных друзей.

В просторном кабинете атамана войска терского возбужденно спорили Михаил Александрович Караулов и его заместитель — есаул Ефим Львович Медяник.

Широковещательное заявление Караулова, что он будет бороться за сильную власть, не имело успеха, несмотря на деятельную поддержку казачьего воинства. Неудача атамана объяснялась общим революционным положением в стране. Трудовые массы — рабочие, горцы, иногородние крестьяне — выступали под большевистскими лозунгами: за прекращение войны, за передачу земли тем, кто на ней работает, за равноправие народов, за уничтожение сословных привилегий и за переход власти к Советам рабочих, крестьянских, солдатских депутатов. Центральный комитет объединенных горцев, официально именуемый Горским правительством, играя на идеях национальной самостийности и защиты ислама, в первый период добился определенного успеха. Однако, отказавшись поддержать требования масс о земле и мире, стал быстро терять влияние и авторитет.

В этой обстановке смыкались классовые интересы казачьих верхов, горской аристократии и буржуазии в их борьбе против надвигающейся социалистической революции. Идеологом объедине-

ния был атаман Караулов. Противников этого альянса возглавлял Медяник.

Теперь, когда положение на Тереке обострилось, Караулов вызвал своего заместителя и обвинил его в недостаточном усердии по обузданию горцев.

— Хватит заигрывать с ними!

Покрасневший Медяник пробасил:

— Я ли заигрываю?! Еще в ту пору, когда вы сказали гололобым: «Горцы, если мы наладим дружную совместную работу и добрососедские отношения, царство на Северном Кавказе будет принадлежать нам»,— я высказывал несогласие с подобным заявлением. Ваши слова они восприняли как проявление слабости. В результате горцы отказались разоружиться и разбойничают, а их правители требуют, чтобы мы не вмешивались в дела туземцев.

Атаман медленно встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. Не без колкости спросил:

— А кто же, милый Ефим Львович, торжественно сообщил этим голо-ло-бым д-дикарям, что казаки решили отказаться от единоличного управления областью и желают жить с горцами в согласии?

— Зачем, Михаил Александрович, приписывать это мне, когда вы сами написали текст, а мне предложили только прочитать его на совещании? Вы отлично знаете, что я держусь твердой линии: не уступать горцам ни на йоту! Слово «казак» должно страшить туземцев, как и раньше. Только тогда мы сохраним свою власть, свои казачьи привилегии, свое богатство.

— Вам, господин есаул, как председателю войскового круга и заместителю войскового атамана, следовало бы не забывать, что необходимо считаться с национальным составом населения Терской области. Казаков у нас проживает только двести пятьдесят тысяч, а горцев — семьсот тысяч. А если к этому добавить четыреста тысяч безземельных и малоземельных кацапов и хохлов, жаждущих поживиться за счет казачьих богатств...

— Почему они должны зариться на наши земли? Владеем мы ими искони, частью по праву завоевателей, а частью по праву свободной колонизации.

— Но сейчас не об этом речь. Вы должны понять, что при таком соотношении сил победу одержит более искусный и тонкий, более гибкий политик.

— Политика не делает меча, а меч делает политику,— возразил радетель за казачьи привилегии.

— Я пригласил вас не для дискуссии, а для того чтобы узнать, как выполняется мое указание подготовить санкции против ингушей. Извольте доложить.

— Дело поручено командиру казачьей сотни Сидневу. Он организует налет на базар.

— Кто налетчики?

— Ингуши.

— Неплохо! На словах отрицаете значение политики, а на деле не гнушаетесь ею. Когда это произойдет?

— В базарный день.

— В тот же день мы вторично опубликуем постановление о принудительной сдаче оружия всеми частными лицами по всему Тереку. Это укрепит порядок.

— Наиболее разбойный народ — ингуши. Спровоцировав налет на базар, надо тотчас же применить самые жесткие санкции против них,— предложил Медяник.

Атаман не сразу ответил. Поразмыслив, он сказал:

— Придет время, мы твердо скажем: «Хватит, горцы, играть в национальную самостийность». Вот тогда и применим санкции, да и не только против ингушей. А пока нужно быть осторожными, очень осторожными.

Медяник промолчал.

Накануне базарного дня, когда во Владикавказ съезжаются крестьяне ближних ингушских и осетинских аулов, терских станиц и селений далекой Кабарды, Зрамук отпросился у хозяина типографии, где работал учеником наборщика. Утром поднялся, что называется, ни свет ни заря, запряг лошадей в бричку и сказал молодой жене:

— Светлого тебе утра и теплого денька, солнышко мое!

— Ты куда? — спросила Жанэт.

— Подзаработать, ласточка...

Уже не раз он выезжал — подзаработать извозом. Случалось, возвратясь из типографии и не отдыхая, Зрамук тут же запрягал коней и уезжал на всю ночь. А утром, отдав жене заработанные деньги, снова отправлялся в типографию. Но как ни старался, все не мог собрать денег на свадебный подарок. А так хотелось порадовать любимую!

И Зрамук решился: продал лошадей, продал бричку и пошел по базарным рядам.

— Налетайте, хватайте! Кабан кормленый, сало лежалое! — кричала женщина.

— Торопитесь! Каждое яблоко фунт. Целый фунт! Клянусь Кораном, наш барашкэ больше быка. Сушенэ, валенэ бок. Жира много, кость нету,— усердно рекламировал свой товар ингуш-крестьянин.

— Сир не баранскэ, сир чистэ коровскэ. Нашэ дорого купил, а тебе дармэ отдам.

Увидев, как бойко люди торгуют, Зрамук пожалел, что продал лошадей и бричку, не поторговавшись как следует. «Можно было дороже продать»,— подумал он.

Чтобы вторично не ошибиться, молодой муж трижды обошел все ряды толкучки. И каждый раз приценивался к женским наря-

дам. Торговался отчаянно. И все-таки отдал большие деньги и за шелковый отрез на платье, и за большой шелковый платок тонкой ручной работы, и за массивный золоченый женский пояс с дорогими камнями, за золотые серьги и перстень. И не жалел, что платил дорого. «Для дорогой — только дорогой подарок!» — успокаивал он себя. Единственное, что огорчало,— в купленном женском наряде не хватало для полного комплекта позолоченного женского нагрудника.

Завернув покупки и взяв сверток под мышку, Шогемоков в хорошем настроении шел по базару. Вдруг он услышал крики:

— Абреки! Бандиты!

Раздались ружейные выстрелы. Оторопевший Зрамук отбежал к базарному ларю, огляделся. Несколько всадников скакали по базару, завернув в башлыки головы и потрясая винтовками.

Выбежавшие из своих лавок средних лет мужчина в поддевке и с бородой, толстый перс и какая-то истеричная дама наперебой орали, показывая на удаляющихся всадников:

— Ограбили! Ингуши ограбили!

— Ловить, ловить надо абреков!

— Разорили! Все забрали. Погубили, окаянные!..

Напуганная базарная публика, как обезумевшее баранье стадо, бежала куда попало, опрокидывая, разбивая, втаптывая в грязь горшки с топленым маслом, кринки молока, вяленое мясо, брынзу, яблоки, зелень...

Сохранившие самообладание лавочники закрывали ставни и двери своих заведений, а крестьяне торопливо бросали в фургоны свой многосортный хабур-чубур.

Ватага разбойников, проскакав с выстрелами по базару, скрылась.

Прошло не более семи минут, как на базаре появились казаки во главе с Сидневым. С обнаженными шашками они мчались по торговым рядам. Чубатый казак, подскочив к ингушу, который давеча выкрикивал, что «его барашка больше быка», ударил шашкой. Не успев крикнуть, ингуш повалился наземь.

— Бейте гололобых разбойников! — заорал казак и поскакал дальше.

Отряд Сиднева бесчинствовал озверело. Замертво пали на базарной площади несколько мирных ингушей.

Сиднев, гарцуя на красивом гнедом коне, подъехал к толпе, которую казаки согнали в одном из торговых рядов, крикнул:

— Православные! Вы были очевидцами дикого разбоя ингушей. Мы отомстили! Требуйте их высылки. Объявим, православные, войну горцам!

Ошарашенная кровопролитием толпа безмолвствовала. Был там и Зрамук Шогемоков, подавленный увиденным.

— Православные,— продолжал ораторствовать командир казачьей сотни,— самые отъявленные эсдеки, христопродавцы-боль-

шевики организовали банды из горцев и дали приказ сжечь и стереть с лица земли казачьи станицы. Они хотят осквернить нашу святую церковь. Разве мы позволим это, православные?

— Нет, никогда! — раздались голоса.

Зрамук поспешил покинуть импровизированный митинг.

— Триста лет существует Терское казачество. Оно кровью отвоевало каждую пядь земли. А теперь эти гололобые дикари хотят вырезать всех русских и отобрать земли...— донеслись до Шогемокова последние слова Сиднева.

Не застав Кулибина дома, Зрамук отправился в город, чтобы обязательно найти его...

Стоял один из погожих дней октября 1917 года, когда большевики из Владикавказской социал-демократической организации пришли на внеочередное собрание. Было их не очень много: несколько десятков человек; одни в рабочих блузах, железнодорожники — в замасленных спецовках, многие в потрепанных солдатских шинелях, но все в отличном настроении, улыбающиеся, веселые.

— Качать, качать победителя! — выкрикивал Ной Буачидзе, посмеиваясь в усы.

И крепкие руки дружно подбрасывали к потолку коренастого, большеголового человека: Сергей Миронович Киров был избран делегатом Второго Всероссийского съезда Советов от Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов. Возбужденный и радостный, Киров озорно кричал:

— Братцы, чрезмерное качание вредит устойчивости и равновесию. Хватит!

— Качать! — отзывался, смеясь, Калоев.— Качать, чтобы привык сохранять устойчивость и равновесие. Тренировать!

В эту минуту появился Кулибин, держа над головой какую-то бумагу, и радостно сообщил, что Сергея Мироновича избрал на Второй съезд делегатом еще и Нальчикский Совет. Вручив Кирову мандат, Михаил Петрович по-братски обнял партийного вожака. Вновь раздались аплодисменты, начались поздравления. Радовались не только потому, что их товарищу оказана высокая честь, но и тому, что совдепы Владикавказа и Нальчика стали большевистскими.

И когда председательствующий Ной Буачидзе предоставил Кирову слово для доклада, Сергей Миронович прежде всего сказал о переходе в городах большинства трудового населения на сторону большевиков. Это была очень важная победа. Киров говорил грудным низким голосом, спокойно, неторопливо, просто:

— Еще раз подчеркиваю, товарищи, чрезвычайную важность для нас, для наших условий ленинского тезиса об особом значении национального и аграрного вопросов, от правильного решения которых зависит успех политики большевистской партии в много-

национальном крестьянском крае, каковым является Северный Кавказ.

Чтобы лучше понять это, я сошлюсь на официальные документы. В петиции, адресованной первой Государственной думе, ингуши писали: «Две трети наших земель, насильственно отторгнутых, перешли в руки казаков, и мы, ингуши, доведены до того состояния, что должны арендовать землю у тех же казаков. В среднем ингушское племя платит ежегодно казакам триста с лишком тысяч рублей арендной платы. Но, к нашему несчастью, казаки не довольствуются этим. Они, по-видимому, решили окончательно истребить наше племя». Вот другой документ. Во второй Государственной думе депутат Маслов говорил: «Кавказ называют погибельным, то есть обреченным русским правительством на погибель. Клочок земли под одной коровой стоит столько же, сколько стоит сама корова».

Вот статистические данные: горские народности и иногородние, составляющие восемьдесят процентов населения Терека, владеют только меньшей частью земли, удобной для обработки, остальное принадлежит верхушке казачества, составляющего лишь пятую часть населения. Подумайте и о пропасти, которую создал царизм между горцами и казаками, и о национальном и политическом угнетении, которому подвергались горские народности, и о том, как преодолеть десятилетиями накопившуюся ненависть и вражду между национальностями, чтобы классово близкие русский и чеченец, казак и ингуш, осетин и кабардинец, подав друг другу руки, пошли вместе бороться за установление революционной демократической власти. Тогда будет понятно, какая трудная и одновременно великая историческая миссия легла на наши плечи.

Как бы отчитываясь перед своими товарищами в работе, проделанной со времени возвращения из Петрограда, С. М. Киров с особым удовольствием говорил:

— Недалек тот день, когда меньшевистские лидеры останутся одни, без масс. Фактически и теперь они генералы без армии! — Эти слова вызвали горячие аплодисменты.— Но, товарищи, наши первые успехи в городе могут стать настоящими успехами только при том условии, если мы расширим свое влияние в сельских местностях, населенных горцами, полностью вырвем их из-под влияния буржуазной националистической клики, именующей себя то ЦК объединенных горцев, то Горским правительством. Путь к этому — установление связей с осетинской партией керменистов, с начавшим формироваться в партию кабардинской бедноты «Карахалком» и другими демократическими организациями. Путем терпеливой разъяснительной и организаторской работы можно и нужно сделать эти крестьянские партии большевистскими.

Буачидзе и Кулибин заинтересованно следили за ходом мыслей Кирова. Оба выразили радость, что наконец подбирается ключ к сердцу горца, благодарили Сергея Мироновича за то, что тот

указал, каким путем скорее революционизировать их и ликвидировать наиболее серьезный недостаток в работе терских большевиков.

— Да, такая связь с горскими революционными элементами позарез нужна,— сказал Кулибин,— чтобы разоблачить и пресечь агитацию контрреволюционных сил. Послушайте, что они пишут в своей прокламации: «Шайтаны, именуемые большевиками, зовут казаков осквернять нашу религию, ломать наши мечети, отнимать у нас жен и детей». Эти же силы распространяют листовки с угрозой, что те, кто не примет ислама, будут уничтожены...

Шло живейшее обсуждение, когда запыхавшийся Зрамук Шогемоков вбежал и крикнул:

— На базаре казаки убивают...

Сергей Миронович Киров сразу понял, что произошло. Встав и подняв руку, он сказал:

— Это копия июльской резни. Организатор провокации тот же — казачья контрреволюция...

Шестого июля пьяные казаки и солдаты, окружив владикавказский базар, убили безоружных мирных ингушей. Узнав об этом, близкое к городу ингушское селение Базоркино начало снаряжать в горы всадников с бело-зелеными повязками на рукавах. Всадники должны были оповещать народ о мести. Прискакавший в Базоркино Киров собрал стариков. Говорил с ними долго. Старики уважили «храброго русского, не побоявшегося явиться к ним в тяжкое время с братским словом соболезнования и поддержки». Так было предотвращено нападение ингушей на город, переполненный казаками и русскими солдатами.

— Срочно разъехаться всем,— продолжал Киров.— Предотвратить страшную резню и таким образом лишить контрреволюционное правительство Караулова повода разоружить народ.

Тут же составили списки, указали, кто и куда едет.

— Ни под каким видом не сдавать оружия. Вооружаться и вооружаться! Готовиться к решительным классовым схваткам! — напутствовал Ной Буачидзе.

Михаил Петрович Кулибин подошел к ожидавшему его Шогемокову, сказал:

— Уезжаю в Грозный. Приеду — встретимся.

Комната опустела. Ушел и Шогемоков. Он шагал по городу, крепко держа под мышкой свои покупки. На заборах, на стенах висел новый приказ комиссара Временного правительства и терского войскового атамана Караулова с требованием ко всем гражданам — немедленно сдать оружие...

События дня огорчили Зрамука. Он шел с поникшей головой. Казалось неудобным в такой горестный день радоваться, делать подарки. Но он подумал, что у Жанэт он теперь единственный, кто может порадовать ее. И, тряхнув головой, взял себя в руки, чтобы жена не заметила на его лице никакой тревоги.

Вернулся домой Зрамук, когда уже вечерело. Осторожно открыл дверь комнаты и с порога поклонился Жанэт. Вручая подарки, извинился:

— Не хватило денег на позолоченный нагрудник.

Растроганная Жанэт обняла мужа, ее глаза наполнились слезами. Она чувствовала себя счастливой не из-за подарков, она понимала, на что решился Зрамук ради этого подарка, какой рискованный, жертвенный поступок он совершил, чтобы ее порадовать. Ведь человек без лошадей и без брички — уже не настоящий хозяин, теперь ему станет еще труднее зарабатывать на жизнь. Обо всем этом Жанэт и сказала мужу.

— Ты не права,— возразил Зрамук,— мы будем счастливы, пока станем радовать друг друга, не оглядываясь и не считая. Не горюй, что продал лошадей! Настанет и наше время! Оно придет совсем скоро. Вот увидишь!

Жанэт не спорила. Она смотрела на него глазами, полными слез. А потом спрятала лицо на его груди.

Чудом избежав ужасной и позорной казни, спасенная любимым, она была невыразимо счастлива, дышала и не могла надышаться новой для нее жизнью вдвоем.

Но опьянение проходит, а жизнь остается сложной и трудной с ее извечными противоречиями, несправедливостью, жестокостью и даже грязью.

Опасения Жанэт сбылись: после продажи лошадей они потеряли важный приработок. А жалованья ученика наборщика хватало лишь на десять — двенадцать дней. Остальное время молодые голодали.

Возвратившийся из Грозного Кулибин застал их побледневшими, мрачными от голода. Михаил Петрович покачал головой.

— Еще раз советую вам, друзья,— сказал он,— пусть Жанэт, умеющая прекрасно шить, пойдет работать в мастерскую. Я поговорю с хозяином, он возьмет...

Зрамук запротестовал. Он считал, что это оскорбит достоинство Жанэт и унизит ее честь. А кроме того, опасался, что встретит ее случайно на улице какой-нибудь аюбеец, узнают Бороковы и могут похитить, увезти к отцу...

— Глупо так рассуждать! — возразил Михаил Петрович.— Ты не князь и не дворянин. Жанэт перестала быть дворянкой, выйдя за тебя замуж. Теперь вам не зазорно работать по найму, продавать свой труд ради пропитания... Вот о втором твоем доводе, о безопасности Жанэт, стоит подумать. Мастерская на одной улице с типографией. Ходить на работу и возвращаться можете вместе и, конечно, соблюдая осторожность. Как думаешь, Жанэт?

Но разве могла в ту пору Жанэт думать иначе, чем ее любимый Зрамук?

— Жизнь сильно подорожала,— продолжал Михаил Петро-

вич,— жалованья ученика не хватает. Вернуться в Аюбей нельзя. Продав лошадей, вы лишили себя дополнительного заработка. Выходит, надо работать и Жанэт.

— Я хотела продать вещи, которые подарил Зрамук, но...

— Ни за что! — прервал Зрамук.

Поняв, что иного выбора нет, Жанэт сказала:

— Я согласна.

Осуждающе, удивленно взглянул на нее молодой муж.

— Днем продавать ее силенки за гривенники, а вечером ласкать... Нет, не могу! Это позор.

— А что другое можешь предложить?

— Продам верхового коня и седло. На эти деньги Жанэт поживет здесь, а я вернусь в Аюбей, докажу нашу невиновность. И тогда оба станем жить в селе.

— Если уезжать, то вместе. Одна не останусь. Лучше вместе погибнуть,— решительно возразила Жанэт.

— Слышал? — спросил Кулибин.

В голосе Жанэт прозвучало такое отчаяние, что и Зрамук понял: нельзя ее оставить одну. И уступил...

Жанэт начала работать, и теперь они уже не голодали. Однако полное неведенье о судьбе Жангуаши беспокоило обоих; особенно страдала Жанэт. «Милая, добрая мама, что с тобой? Жива ли ты? Как перенесла позор, что постиг род Бороковых из-за меня?» — думала Жанэт.

Зрамук огорчался, видя, что глаза Жанэт всегда воспалены; он догадывался: жена его тайком плачет, тоскует по матери. И другое беспокоило его: всем ходом событий аюбейцы были уже подготовлены к тому, чтобы объединиться и выступить с революционными требованиями, а он, Шогемоков, вынужден скрываться, как абрек. «Правильно ли я поступил? — спрашивал себя Зрамук.— Может, не надо было бежать?» Но тут пред ним возникала страшная картина: исступленные Бороковы привязывают беззащитную Жанэт к диким коням... А его водят по улицам с веревкой на шее, осыпают проклятиями, бьют камнями, палками,— чем попало... «Нет, я поступил правильно, спас ее от позорной смерти и не дал над собою глумиться!» И все-таки почему не пошел он с обнаженной шашкой против клеветников, не принудил их снять позорное обвинение?

О своих сомнениях Зрамук рассказал Михаилу Петровичу. И снова заявил, что решил вернуться в Аюбей.

— Зрамук, умоляю, не губи себя и меня! — вскричала Жанэт.

Кулибин заговорил не сразу, думал... Нет, еще не настало время, когда можно победить религиозный фанатизм и доказать аюбейцам истину: Жанэт и Зрамук просто жертвы соперничающих групп. Ну, а для революционной работы в Аюбее Шогемоков еще не очень пригоден. Учить его надо! Ну и, наконец, нельзя считать только частным делом борьбу этих молодых людей за их любовь и жизнь...

«Мужественно, героически отстаивая свою любовь, свободу своей личности, они наносят смертельные удары обычаям кровной мести. Их любовь надо сохранить, укрепить, дать расцвести, чтоб стала примером для всей горской молодежи»,— думал Кулибин и наконец сказал:

— Жанэт говорит правильно.

Зрамук запротестовал. Не спеша, спокойно Кулибин возразил:

— И тебе, Зрамук, и тебе, Жанэт, пора понять, что вы уже шагнули из юности в пору зрелости. Пора понять, что вступили на рискованный, требующий отваги путь. Молодость порой бывает бездумно решительна. Зрелость дает человеку мудрость. Вот я и призываю вас захватить с собой и то и другое,— и решительность молодости, и мудрость зрелости. И обязательно еще — человеческое благородство и светлые надежды. И если даже покажется тяжело тащить столько нош сразу,— он засмеялся,— все равно не бросайте! Брошенное и утерянное трудно потом найти. Все понятно, друзья?!

— Понятно, Михаил Петрович! — ответили молодые.

— Ваша борьба за свое человеческое достоинство, за свободу личности, за право любить — это тоже революция. Путь, который вы избрали, должен стать примером искренней любви и верности. Проложенная вами тропа должна всегда оставаться чистой: оберегайте ее от сорняков! Вот, Зрамук, подумай обо всем этом. А когда настанет время, ты будешь в Аюбее. Но не сейчас.

Молодые супруги посмотрели друг на друга.

— Хорошо, послушаюсь! — сказал Зрамук.— Не поеду. Подожду. Но прошу, Михаил Петрович, откройте вновь свой университет. Я хочу учиться. В наборе делаю столько ошибок, что даже стыдно...

— Хочешь учиться? — переспросил Кулибин.— Очень хорошо. Ты же сейчас и учишься практически у жизни — на рабочих собраниях, на митингах, в забастовках, в общении с рабочими... Это, брат, такой университет, такая школа, с какой не сравнится никакой институт.

Тут распахнулась дверь, и прямо с порога Калоев крикнул, что редакцию большевистской газеты «Красное знамя» громят молодчики из казачьей сотни во главе с офицером Сидневым. И мужчины побежали в центр города, к редакции газеты.

Выбежала за ними на веранду и Жанэт; стояла, испуганно всматривалась во тьму.

17

Шогемоков, оказавшись с молодой женой во Владикавказе, первое время чувствовал себя оторванным от жизни. Все тут было чужим, даже комната, которую они занимали. Всеми своими помыслами он был в Аюбее и жаждал свести счеты с обеими груп-

пами своих противников — как с Бороковым, так и компанией Мухамеда-эфенди. Но, попав в коллектив рабочих типографии и постоянно общаясь с Кулибиным, Зрамук стал постепенно ощущать, что он и здесь нужен, что он рабочий, которому революция дарует свободу и равенство.

Он еще не умел набирать быстро и делал больше ошибок, чем другие. Но большевики ему, а не другим давали тайно набирать свои листовки и прокламации.

Зрамук Шогемоков, которого весь ход событий привел в лагерь революции, сейчас стоял у наборной кассы и тайком набирал листовку. Текст ее был спрятан под кассой, и Зрамук выдвигал листок по мере надобности. На кассе лежал другой текст — для отвода глаз.

Увлеченно и торопливо Зрамук набирал:

«Теперь, когда по требованию местной контрреволюции на Терек вернули с фронтов казачьи полки, рассчитывая на эту военную силу, карауловы заявляют: «Долой Совет рабочих и солдатских депутатов. Горские народы не имеют никаких прав на самоопределение, и тот строй, что даем мы в виде назначенных нами правителей из их же среды, достаточно льготный и демократический».

Оправдалось пророчество господина Караулова насчет царства на Северном Кавказе, царства казачьей и горской контрреволюции. И чтобы закрепить это господство навсегда, издано распоряжение о сдаче рабочими и крестьянами своего оружия, то есть о разоружении народа, чтобы потом тем же оружием расстреливать революцию, трудовой народ.

Гонимый и угнетенный народ! Крестьяне и пролетарии! Не разоружайтесь, а вооружайтесь. Безоружный рабочий бессилен. Горец и оружие — одно нераздельное целое. В оружии он видит средство защиты революции, своей чести, жизни и достоинства.

Вольные дети седых гор и буйного Терека! Союз между горской помещичье-буржуазной верхушкой и казачьими предводителями выгоден горским князьям, крупным скотоводам и нефтепромышленникам, которые хотят с помощью казачества спасти свои богатства, добытые нашим потом и кровью. В благодарность за это они согласны оставить казакам все их земли, а капиталистам — заводы и фабрики. Грядет новое движение, и настает смертный час старого мира. Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи!

Рабочий люд и все истинные сторонники демократии и свободы! Выходите завтра на демонстрацию, чтобы заявить свой протест предателям интересов революции!

Вся власть Советам!

Мир — народам! Землю — крестьянам!

Да здравствует свобода!»

Закончив набор и связав верстку шпагатом, Шогемоков передал ее старшему рабочему и тут же снова стал набирать другой

текст, что еще утром дал ему начальник цеха. Была вторая половина дня, а он выполнил лишь часть задания.

Начальник шел по цеху, направляясь к Шогемокову.

И Зрамук решился: сделав вид, что связывает шпагатом, уронил и рассыпал набор.

— Ой! — воскликнул он огорченно.— Рассыпал!..

Человек пожилой и добрый, начальник цеха уважал Шогемокова за прилежание и успехи в наборном деле. Поэтому он промолчал, только взял вторую половину текста и передал другому, а первую оставил Зрамуку набирать вновь.

В ту ночь большевистские листовки были расклеены по заборам и стенам, разложены на базарных прилавках, розданы в железнодорожных мастерских, на заводе «Алагир» и жителям города.

Зрамук знал, что горячо и уместно сказанное слово может поднять людей на большие подвиги. Но впервые видел, чтоб печатное слово так всколыхнуло, ожесточило и объединило многотысячную массу. Полноводной рекой лились демонстранты по улицам Владикавказа, скандируя лозунги:

— Всю власть Советам!

— Проклятие тем, кто проливает народную кровь!

— Землю — крестьянам! Рабочий контроль — на производство!

Тревожно и гневно гудели заводы и паровозы.

Колонны демонстрантов стекались к вокзальной площади. Рабочие вагонных мастерских, паровозного депо, службы движения пели:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут!

Они пели, словно клялись бороться и не отступать.

Из северной части города шли рабочие цинкового завода «Алагир» и тоже пели:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Зрамук в возбуждении часто выбегал из колонны типографских рабочих и восторженно оглядывал бесконечные шеренги демонстрантов, красные флаги, вновь и вновь читал надписи на плакатах и транспарантах. Ему казалось, что теперь, когда он не один, когда он стал частью этого народного половодья,— все ему по плечу! И уже наступает счастливая и свободная жизнь для трудового народа.

— Раз-два, раз-два! — командовал руководитель типографских рабочих.— Шогемоков! Стань на свое место в колонне.

Заняв свое место в ряду, Зрамук сказал товарищу:

— Народ стал дружным. Одним махом опрокинет господ!

— Если б так легко...— отозвался кто-то.

— Долго мы были наковальней, довольно! Пора стать молотом,— возразил Зрамук.

Он с детства рос в обстановке тяжелой и безуспешной борьбы и ни разу не ощутил сладости победы. Теперь он восторженно верил, что победа не за горами.

Колонна типографии поравнялась со швейной мастерской. У дверей стояли женщины, наблюдая за демонстрацией. Стояла здесь и Жанэт. Зрамук крикнул:

— Жанэт, иди к нам!

Ему хотелось, чтобы любимая шла рядом с ним в шеренге демонстрантов. И он подбежал, попытался увлечь за собой. Смущенная, покрасневшая Жанэт говорила:

— Что ты, что ты, дорогой! Не принуждай меня шагать с чужими мужчинами. Это стыдно!

— Милая, какой стыд? Впереди — свобода, счастье.

Жанэт была непреклонна, и обиженный Зрамук пустился догонять своих. Жанэт крикнула вслед:

— Пусть победит ваше счастье, Зрамук!

Шогемоков остановился, любовно посмотрел на жену, сказал уверенно:

— Победим, Жанэт! — и побежал.

Тысячи демонстрантов сомкнутыми рядами стояли на вокзальной площади, посреди которой наспех соорудили что-то вроде трибуны. Открывая митинг, Кулибин сказал:

— Объединенная контрреволюция Терека отчаянно старается приостановить наступление трудового народа. Она хочет перебить хребет революции. Но напрасно думает, что мы это позволим!

— Не позволим! — грянула площадь.

— Да, не позволим,— повторил Кулибин.— Это ей не удастся, потому что пролетариатом России руководит закаленная в борьбе партия большевиков с Лениным во главе. Россия неминуемо придет к революции, которая принесет всем народам подлинную свободу.

Кулибин говорил о готовящемся в Петрограде Втором Всероссийском съезде Советов, который должен принять важнейшие решения для судеб страны и народа, о Сергее Мироновиче Кирове, командированном на съезд в качестве делегата от Владикавказа и Нальчика.

Едва Кулибин умолк, как на трибуну поднялись Буачидзе, Калоев с двумя товарищами. Ной что-то сказал Кулибину, и тот предоставил слово Калоеву.

— Товарищи! — начал Калоев.— Мы пригласили на митинг комиссара Временного правительства Караулова, а также руководителей Горского правительства, чтобы выслушали требования народа. Они ответили отказом. Не приняли они и нашего письма

с требованием передать власть Советам. И лишь после нашего категорического протеста вынуждены были принять письмо.

Демонстранты гневно зашумели.

Торопливо, нервно на трибуну взобрался Вадим Геннадиевич Нестеров, только что явившийся на митинг.

— Господа! Товарищи! — крикнул он, дрожащими от волнения руками снимая пенсне.— Ваше требование о передаче власти большевистским совдепам... Допустим, что это произошло. Кто же тогда будет управлять нами? Неужели вы доверите ведать дипломатией кузнецам, заботу о народном просвещении — конюхам, охрану здоровья — безграмотным мужикам, а ведение государственных и военных дел — поварам, нянькам или железнодорожным машинистам? Губить Россию, похоронить отчизну...

Демонстранты зашумели, и речь Нестерова прервалась. То снимая, то надевая пенсне, он стоял и не решался ни продолжать говорить, ни покинуть трибуну. Наконец шум утих.

— Товарищи! — снова прокричал Нестеров.— Ваше письмо, которое вручили господину Караулову, он передал мне. Давайте вместе поищем путей к миру и взаимопониманию...

На площади появились всадники из казачьей сотни на разгоряченных конях, быстро рассредоточились и стали полукольцом охватывать митингующих.

Сиднев в серой черкеске и высокой папахе соскочил с коня, прошел к трибуне, поднялся, спросил Нестерова:

— Что за сборище? Чего им надо?

Нестеров протянул письмо рабочих коллективов, которое передал ему комиссар Караулов.

Сиднев не стал читать, а демонстративно, чтобы все видели, сложил письмо пополам, потом вчетверо, разорвал на кусочки и подбросил кверху... Снежными хлопьями падали на людей обрывки письма.

— Товарищи! — крикнул Кулибин.— Вы видите, как господа карауловы относятся к требованиям народа. Можно ли верить им?

Площадь загудела:

— Обманщики!

— Они предают революцию!

Михаил Петрович поднял руку, требуя тишины.

— Не это ли основа, на которой мы должны прийти к миру и взаимопониманию, господин Нестеров? — строго спросил Ной Буачидзе.

— Я не отвечаю за действия военных властей! — крикнул Нестеров.— Но я всей душой за то, чтобы найти путь к примирению... На приемлемой для обеих сторон основе... я...

Теперь его прервал командир казачьей сотни:

— Даю десять минут, чтоб разойтись!

И быстро спрыгнул с трибуны, хотел уйти. Кулибин крикнул ему, чтоб остановился. Сиднев даже не оглянулся. Демонстранты преградили ему путь.

— Прочь с дороги! — заорал есаул.

Те не отступили. Зрамук подошел ближе. Рабочие окружили Сиднева. Казаки насторожились, стали сжимать кольцо вокруг демонстрантов. Прибежал Кулибин и встал перед Сидневым.

Уверенный в поддержке своих конников, есаул размахнулся, стеганул плетью Кулибина, заорал казакам:

— Разогнать сволочей!

Проворнее рыси подскочил к есаулу Шогемоков, ударил сапогом ниже пояса. Сиднев взвыл и, скорчившись, рухнул на мостовую.

Услышав крик одного из всадников, что есаула подбили, казаки смешались, остановились. Четверо спешились, подняли командира, унесли в здание вокзала. Сиднев скрежетал зубами. Он не видел ни чистого голубого неба, ни мягкого южного октябрьского солнца.

Воспользовавшись замешательством казаков, Кулибин крикнул:

— Товарищи, друзья! Вперед — к дворцу комиссара Временного правительства.

И тысячи людей двинулись, как весенний паводок. Шли ожесточенные, неся в сердцах ненависть к буржуазии, помещикам, Временному правительству. Шли сомкнутыми рядами, чувствуя рядом плечо товарища. Шли, чтоб потребовать:

— Отдайте власть народу!

Опомнившись от замешательства, казаки начали наступать на ряды демонстрантов. Они теснили их лошадьми, нещадно хлестали нагайками. Но люди все шли, шли, чтобы уничтожить неравенство, угнетение, темноту и установить справедливый строй, который большевики назвали социалистическим.

Во главе демонстрантов шагали Буачидзе, Кулибин и Калоев.

Навстречу колонне шел высокий, широкоплечий мужчина с громадными усами, которые закручивались, как бараний рог, у мочек ушей. Он шел не торопясь, внимательно присматриваясь к демонстрантам, выискивая кого-то. Дойдя до ряда, в котором шагал Зрамук, он крикнул:

— Мой мальчик, здравствуй!

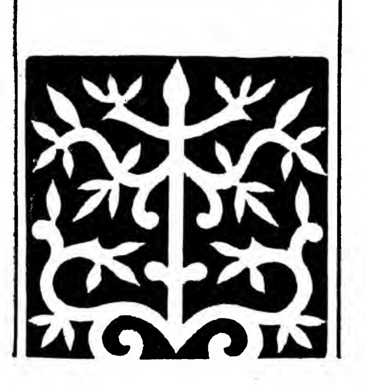
Молодой Шогемоков, закричав во весь голос: «Дядя Пшикан!» — бросился к ссыльному, обнял его, и впервые из глаз юноши потекли крупные слезы.

— В ряд, Зрамук, в ряд! — сказал дядя, успокаивающе похлопывая его по плечу.

Вместе с молодым Шогемоковым в одном ряду шагал и его дядя Пшикан, сибирский каторжанин, освобожденный революцией. Они шагали, уверенные, что очистительная гроза революции принесет возрождение их старому крестьянскому роду.

1967

ПОВЕСТИ * НОВЕЛЛЫ



АСЛАН

1

Мишаж — старый матерый медведь,— это прозвище как нельзя лучше подходило к Аслану. Был он огромный, широкоплечий, с лицом, густо заросшим косматой черной бородой. Сильная походка вразвалку, изношенная, побуревшая от солнца черкеска, войлочная шляпа, излохматившаяся по краям, стоптанные чувяки из грубой сыромятины дополняли его сходство с косматым обитателем лесов.

Угрюмо смотрели из-под нависших бровей темные, с затаенными думами глаза Аслана. Угрюмо шла одинокая жизнь этого батрака-силача. Недаром носил он и второе прозвище — «Надоевший аллаху человек».

Аслан без долгих разговоров горячо хватался за любую работу, где требовалась медвежья сила; богатые наперебой стремились заполучить в работники простодушного Мишажа. Однако он никогда не оставался в барыше: то хитрый хозяин обсчитает, то случится какая-нибудь беда, которая на нет сведет весь заработок. Однажды ему удалось за недорогую цену купить телку — ладную телочку с золотистой, словно прилизанной шерстью, с белым, как снежок, пятнышком на аккуратном лбу. Посветлел тогда лицом хмурый Мишаж. Пройдут два-три года, думал он, и оживет его запустелый двор, весело задымится очаг в бедной хижине... Если не сидеть сложа руки, к тому времени можно будет приобрести клочок земли, а на землю, на хозяйство придет и женщина — конечно, не молодая, не богатая, под стать ему, но они сумеют наполнить свою хижину теплом и счастьем.

— Расти, расти, шалунья,— говорил он, бывало, телочке, угощая ее свежей травой.

Он произносил эти слова громко, подбадривая самого себя и давая знать соседям, что рядом с ними живет теперь хозяин, которого надо уважать, с которым надо считаться. Соседи же только ухмылялись.

— Посмотрите-ка на Мишажа,— говорили прохожие,— скоро в князья выйдет Надоевший аллаху!

Как видно, недобрые языки были у этих людей — попала Асланова телочка в волчьи зубы. Сначала он как одурманенный бро-

дил по лесу с горящими диким огнем глазами. Прохожие сворачивали перед ним с тропинки, а ребятишки испуганно шептали вслед косматому человеку: «Мишаж, Мишаж!» Потом он закрылся в своей мазанке. Чем он питался, что делал там — никто не знал. Иногда ребята подкрадывались к темным, глухим окошкам одинокой хижины, боязливо припадали к ветхим ставням, но вскоре, подобно воробьям, рассыпались во все стороны: изнутри доносились надрывные стоны, горькие проклятия.

На свет вышел Аслан еще более мрачный, чем прежде, могучие плечи его ссутулились, глаза ввалились еще глубже, и трудно было добиться от него хотя бы одного слова.

— Мишаж, настоящий Мишаж! — качали головами богатые односельчане, а кто-нибудь из стариков глубокомысленно добавлял:

— Не надо быть муллою, чтобы знать, кого не любит аллах. Горе надоевшим аллаху!

Прошла неделя-другая, и Аслан, словно освободившись от тяжелого сна, опять принялся за всякую работу: убирал и молотил хлеб, корчевал густой лес, копал глубокие ямы — погреба, строил мельничные запруды. Земля, камень и дерево уступали его медвежьей силе, но по-прежнему неподатливой оставалась бедность. Как и раньше, был холоден его очаг, был пуст его двор, и колючий бурьян в непогожие ночи уныло царапался в низкое окошко.

— А почему бы тебе, Аслан, не наняться в пастухи? Все дела ты испробовал, попробуй теперь пастушье дело,— посоветовали ему однажды весною благочестивые старики.

«Пастушье дело — божье дело, исстари занимается им человек, не лукавя перед всевышним»,— подумал Аслан и согласился со старейшими. «Эх, чудак, чудак,— укорял он сам себя,— столько лет гнул свою спину под непомерными тяжестями, не раз и не два коченел в ледяной воде, штопая чужие плотины, чуть ли не разбивал голову о каменные уступы — и никак не мог догадаться, что есть на свете работа и легче и доходнее». Конечно, он пойдет пасти сельское стадо. Здесь-то уж он не прогадает!

Не спеша, хмуря в раздумье брови, как и подобает солидному работнику, Аслан договорился с обществом о плате: осенью он должен получить целый воз кукурузы. Опять он приобретет телочку, опять к нему вернутся все его надежды. Нет, аллах еще не отвернул от грешного Мишажа свой светлый лик!.. Пригибая по одному натруженные, словно чугунные пальцы, Аслан подсчитал предполагаемые барыши: один год — воз кукурузы, второй год — воз кукурузы. К одной телке прибавится другая. А если он походит за стадом и третье лето — у него окажется целое богатство, и тогда запряжет он собственного коня в собственную повозку, и на порог его хижины выйдет она — тихая, покорная, работящая,— и душистый дым кизяка будет мирно куриться над их крышей.

С большой охотой взял Аслан в руки пастуший посох.

2

Поднимая теплую оранжевую пыль, по улице бредут сытые коровы. Пропахшие травами и молоком, они важно несут на рогах свиток своих лет. Вместе с ними шагает и Аслан, тоже важный и умиротворенный. Вечерняя пыль, как осязаемый покой наступающей ночи, дремотно садится на его мягкую шляпу, на широкие коричневые руки, и суровые глаза Мишажа светятся кротостью догорающей июньской зари.

Поскрипывают ворота в плетневых заборах. Выходят женщины, ребятишки. То одна, то другая корова сворачивает на знакомый голос хозяйки, в стаде их остается совсем немного, но Аслан с прежней степенностью продолжает свой путь. Перед ним в тихих сумерках, запорошенных сонливой пылью, переваливается с боку на бок статная пегая коровка, черная, в белых косяках и полукружьях — настоящая сорока. Сорокой хозяйка и зовет ее. «Ловко ты придумала, Нисааф!» — Аслан покачивает головой, улыбается.

— Иди, иди домой, Сорока. Неси молоко хозяйке!

Хижина вдовы Нисааф стоит на краю селения. Одинокий тополь, похожий на метлу, да несколько абрикосовых деревьев за ивовым плетнем скрашивают бедность старенькой черепичной крыши. Аслан ласково оглядывает высокую метелку, ушедшую верхушкой к первым робким звездам. Пегая коровка начинает прибавлять шагу, вытягивает морду и мычит.

— Экая ты, Сорока! — громко говорит пастух.

Нисааф выходит из ворот. Покрытая темной пушистой шалью, она тиха, как эти сумерки, окутавшие землю, дома, деревья.

— Моя Сорока... Иди домой, Сорока! — зовет Нисааф.

— Эй, длиннорогая, что же ты не слушаешь хозяйку! — все более оживляясь, покрикивает Аслан и шлепками тяжелой руки провожает корову во двор.

— Она очень послушная,— говорит Нисааф,— но если вздумает побегать, трудно тогда за ней угнаться.

Аслан соглашается: что правда, то правда, быстрые ноги у Сороки, пастуху иной раз достается от ее прыти, и все-таки это замечательная корова.

— Воллаги [1], Нисааф! — от души восклицает он.— Во всем стаде нет такой коровки, как ваша! Только ей нужен хороший присмотр... Но я уж постараюсь... Воллаги, постараюсь! — Он смущенно ковыряет посохом землю.

Женщина смотрит на него внимательно и благодарно, и в сумерках видно, какие у нее большие, добрые, но невеселые глаза.

— Будь, Нисааф, спокойна, уж я постараюсь! — повторяет он, закидывая посох на плечо.

---

[1] Ей-богу!

— Ты, наверно, проголодался,— говорит Нисааф,— день теперь очень длинный, и можно проголодаться...

Аслан в смущении переминается с ноги на ногу. Он, собственно, не голоден, в его сумке весь день лежал большой чурек, и к тому же задерживаться некогда — есть одно неотложное дело. А впрочем, можно и зайти, почему не зайти на минутку в хороший дом.

И в сумерках видно, как кротко улыбнулась Нисааф. Правда, говорит она, ужин ее не богат — кукурузный чурек и кувшин парного молока,— и все же она просит уважаемого Аслана к своему скромному столу.

Аслан помогает женщине прикрыть ворота: с ними что-то неладное — волочатся по земле. Что ж тут удивляться, если нет в хозяйстве мужской руки.

— Это я завтра посмотрю, дело привычное,— говорит Аслан.

Они не спеша идут по двору, маленькому и уютному. Абрикосовая ветка зацепила Аслана за плечо. Он остановился, провел рукою по листьям и плодам:

— А хороша нынче завязь, Нисааф.

Женщина тоже потрогала ветку.

— Да, абрикосы в этом году будут хорошие.

Чувствуя, как отрадный покой наполняет его грудь, Аслан заговорил о разных домашних делах, и ему показалось, что уже не первый раз шагает он по этому тихому дворику рядом с тихой, маленькой женщиной.

— Благодарение аллаху! — говорит он, вздыхая.

От порога навстречу им отделились две шустрые фигурки, раздались звонкие детские голоса.

Еще радостнее стало на душе у пастуха. Усердно и неумело принялся он гладить своей широкой ладонью кудрявые головки мальчика и девочки, бормоча непривычные для него нежные слова. Испугавшись огромного косматого человека, ребята прижались к матери и дружно повизгивали всякий раз, когда рука великана добиралась до их кудрей.

— Не бойся, Асланбек, этот дядя совсем не страшный,— говорит Нисааф.— И ты, Марьян, не бойся. Не надо так пугаться. Дядя Аслан пасет нашу Сороку, и у нас теперь будет много-много молока.

Голос Нисааф и полумрак комнаты, куда они вошли, полумрак, пахнущий очагом, детьми, устоявшимся семейным теплом, окончательно растрогали Аслана. Вытащив кремень и трут, он по-хозяйски начал высекать огонь. Летят во тьме веселые искорки, звонко вскрикивают ребята, рядом слышится дыхание милой женщины,— и опять показалось бесприютному Мишажу, что он нашел свое счастье, которое так долго искал. Когда в дрожащей руке его заплясал светлый язычок пламени, он увидел улыбку на лице Нисааф, любопытство и доверчивое внимание в глазах детей и улыбнулся сам, ласково и кротко.

Нисааф взяла звонкое белое ведро, пошла доить корову. Аслан занялся детьми. Как перышко, подхватил он кудрявого Асланбека и посадил к себе на колени. Сначала мальчик боязливо косился на черную бороду пастуха, потом, успокоенный его доброй улыбкой, устроился поудобнее на могучих коленях и кивками головы подозвал сестренку — тоненькую и большеглазую, как мать. Аслан вытащил из кармана горсть земляники — первые, чуть закрасневшиеся ягоды с листьями и корешками в сухих комочках земли, и, наклонившись к детям, обдавая их теплым дыханием, полушепотом заговорил:

— Это вам подарок от лесного князя — медведя. Он большой и сильный, больше меня, но добрый... Очень добрый... Ешьте, ешьте, не бойтесь.

Асланбек и Марьян несмело отрывают розовые ягоды, пахнущие жарким летом и махорочной пыльцой, лукаво-настороженно поглядывая на огромного косматого дядю, который хотя и добр, но, наверно, сродни страшному князю лесов и гор.

За дверью в мягкой тьме звенят струи молока — сладкая музыка летнего вечера в крестьянском дворе. И Аслану кажется, что это поют пальцы Нисааф, поет ее доброта и нежность.

— А когда созреют яблочки,— говорит он, прислушиваясь к звенящим звукам,— то лесной князь наберет самых крупных и сладких. Наберет яблок, придет сюда и скажет: «Ешьте, ребята!»

Дети доверчиво прижались к пастуху.

Вошла Нисааф с белым ведром, полным молока.

— Вот и наш ужин,— сказала она, одобрительно улыбнувшись и детям и Аслану.

Пастух снова увидел ее всю: и тонкие плечи, прикрытые темным пушистым платком, и нежный румянец на худых, чуть загорелых щеках, и большие ясные глаза, окруженные еще неглубокими морщинами, и надломленные дуги бровей, красивые попрежнему, как в молодости. Аслан смотрел и вспоминал, какая она была прежде, юной девушкой, вспоминал и свою молодость — горячую, сильную, но такую же бесприютную, как и теперешняя его жизнь. С горечью и лаской смотрел он на руки Нисааф, разливавшие молоко, и ему казалось, что белые теплые струи текут в его душу, успокаивая, обнадеживая, волнуя. «О, Нисааф, Нисааф, пусть будут благословенны твои дни!» Бережно, боясь уронить хотя бы одну каплю молока, он берет из рук женщины медную кружку, подносит ее к губам и, словно спохватившись, говорит:

— Сладка еда, если она от доброй души!

Погасив улыбку, Нисааф печально-внимательно смотрит на огромного косматого человека, в задумчивости склонившегося над кружкой, ближе придвигает к нему чурек, просит есть досыта.

Аслан начал пить молоко, и снова они заговорили о знакомом, житейском: какие нынче травы на пастбище, как растет просо, хорошие ли прошли дожди. Дети уснули, и в комнате стало совсем тихо.

— А тебе, Аслан, следовало бы уже постирать рубашку, смотри, как запылилась,— говорит Нисааф.

— Да, рубашка порядком почернела,— отвечает Аслан,— но это в другой раз... В другой раз!

Милая, добрая Нисааф! Подняться бы сейчас, положить руку на ее худенькое плечо, посмотреть ей прямо в глаза и сказать обо всем, что происходит теперь в его одичалом, бесприютном сердце. «Пусть тепло этого очага струится для нас обоих, Нисааф! Пусть аллах обернет свой светлый лик к нашей судьбе!» — сказать бы ей сейчас, но Аслан только потупился над столом и ничего не сказал. Вот она увидела на нем темную, пропитанную пылью рубашку. Она, конечно, заметила и заплаты на его старой, побуревшей черкеске. Она знает, что у него ничего нет, кроме кленового пастушьего посоха. О жалкий, жалкий Мишаж! Что ты можешь сказать этой женщине! Аслан еще ниже склонил над столом свою лохматую голову. Нет, он может раскрыть всю душу перед Нисааф только осенью, когда получит свой заработок, когда оживет его запустевшее хозяйство. Нужно только хорошенько поработать, хорошенько поработать!

Прощаясь с Нисааф на пороге, Аслан усердно благодарит ее за угощенье, обещая беречь Сороку как собственный глаз.

— Уж я постараюсь! Будь спокойна, Нисааф. Я постараюсь! — повторял он, шагая по дворику, окутанному свежей душистой мглой июньской ночи.

3

День выдался на редкость погожий. Нежно шевелится сочная, сияющая цветами трава, задушевным голосом отсчитывает кому-то счастливые годы кукушка, а жаворонков столько и так высоко поднялись они, что кажется — не птицы поют, а серебряно звенит необъятный голубой свод.

Аслан слушает веселые голоса и, щурясь от солнца, смотрит на коров, разбредшихся среди курганчиков по высокой траве. Весело на душе у пастуха. То вспоминается вчерашний вечер, проведенный в хижине Нисааф, вспоминаются все слова, сказанные этой доброй женщиной, ее тихий дворик с абрикосами, кудрявые головки детей; то видится недалекое будущее, когда он, бедный Мишаж, нагрузит полную арбу мешками с зерном, а потом в новой черкеске подъедет на коне к плетневому забору и громко скажет: «Выходи, Нисааф, встречай гостя!» Думы Аслана становятся песней. Он поет о храбром, счастливом джигите, который был удачлив в набегах, побеждал своих врагов и пригонял много коней.

Коровы усердно захватывают своими шершавыми языками сладкую, сочную траву, и мерный, сытый шум стоит вокруг Аслана, словно пастбище подпевает его думам и песням... Но кто этот

дурной всадник? Как бешено скакал он по дороге, а теперь свернул к стаду, распугивая нагайкой коров.

— Эй ты, проклятый аллахом! — кричит Аслан, поднимаясь во весь рост.— Не трогай мое стадо, гяур!

Но всадник продолжает махать нагайкой. Коровы разбегаются от его ударов во все стороны. Вот он подскакивает к пегой корове, которая пасется над самым обрывом.

— Стой, стой! — закричал Аслан и побежал туда.

Пегая корова шарахнулась в пропасть. Аслан увидел хрипящую вздернутую морду коня с пеной на удилах, увидел свирепую ухмылку княжеского объездчика Ибрагима, услышал его злобный окрик:

— Это земля князя, собака!

Бросившись к обрыву, Аслан больше ничего не слышал и не видел. Он не видел ничего, кроме страшного следа, оставленного Сорокой: среди сломанных кустов ежевики еще курилась серая пыль, еще сползал песок и скатывались, погромыхивая, камешки. Аслан тоже покатился вниз вместе с ними. Колючие ветки и острые камни кровенили ему лицо, но он не чувствовал боли. Одна только жестокая боль кричала в его сердце: «Нисааф! Нисааф!» Аслан упал на сумеречное дно пропасти, у шумного потока, грызущего источенные плиты. Разбитый, ошеломленный, лежал он на камнях, не решаясь открыть глаза. В памяти одна за другой вставали картины вчерашнего вечера в тихой хижине Нисааф... Вот пенится в медной кружке теплое молоко и поблескивают глаза ребят... Вот милый голос говорит детям: «У нас теперь будет много-много молока. Дядя Аслан хорошо пасет нашу Сороку...» Абрикосовая ветка и звезды над высоким тополем, разговор о его нестираной рубашке, ласковый взгляд, устремленный на него, проклятого аллахом...

— Проклятый, проклятый! — шепчет Аслан и, содрогаясь всей душой, открывает глаза.

Сорока лежит почти рядом с ним. Она лежит, подвернув под себя голову, неподвижная, испачканная глиной, шумное дыхание не поднимает ее бока в веселых косяках и полукружьях, не слышно больше привычного сытого сопения. Аслан подполз к ней на окровавленных коленях, в последней надежде провел ладонью по испачканной шерсти и тоскливо опустился на холодную каменную плиту, к тугим, ослизлым корням, которые, подобно змеям, расползлись по темному дну пропасти. Он припал разгоряченным лицом к холодному камню, готовый и сам окаменеть, смертью заглушить нестерпимую муку, не видеть больше ни солнца, ни людей.

Он лежал, проклиная свою неудачливую жизнь, проклиная княжеского разбойника Ибрагима, шепча смутные обрывки молитв, которых никогда твердо не знал. Да, молился он плохо, редко посещал мечеть, грешил и не каялся в грехах. «Аллах больше не мог терпеть мои грехи. Вот и послал злобного пса Ибрагима...

Вот и не будет никогда мне счастья... Проклятый я, проклятый!» С ненавистью перебирал Аслан дни своей жизни и не находил ни одного дня, достойного доброго мусульманина. Вспомнилась ему грозная, бросающая в трепет проповедь эфенди Мухамеда: «Если не делать намаза, если не давать саджит и битир, если не быть правоверным, то как можно надеяться на всеблагого!» А он, бестолковый, грубый Мишаж, на каждом шагу нарушал закон... Вот лежит на дне пропасти пегая корова — скрючилась, подтекла кровью, и сам он лежит рядом с нею, тоже окровавленный и ничтожный, как дохлый пес, брошенный на дно оврага... Это святая воля аллаха, это последний знак, который дает ему живущий на небе...

Болью горело избитое тело Аслана, в нестерпимых муках горела его душа. Превозмогая страдания, подполз он к ручью, умылся ледяной водой. Но боль не утихала и успокоение не приходило. Не стыдясь своих стонов, долго ползал по шершавым камням и узловатым корням пропасти.

На пастбище он поднялся, когда солнце уже закатилось и далекие зубцы снежных гор купались в благодатном предвечернем свете. Насытившись, коровы мирно пережевывали свою жвачку. Покой, полусон, ласковая тишина окутывали землю, уставшую от буйного летнего ликования. Длинные тихие тени умиротворенно протянулись от курганчиков и кустов. Длиннее всех была тень Аслана, скорбно стоявшего на возвышении перед своим стадом. Еще и еще раз пересчитывал он коров, каждую узнавал по масти, вспоминал дворы, хозяев и хозяек, но одной так и недосчитался. Пегой коровы не было. Опять и опять вставали перед ним печальные глаза Нисааф. Они спрашивали, смотрели в его душу. Как же посмотрит он в эти глаза, что он скажет им теперь? Потупя голову, повел Аслан свое стадо к селению. Шел прихрамывая, опираясь на суковатую палку, наспех выломанную в кустарнике. Голова его была не покрыта, шляпа осталась на дне пропасти, полы черкески висели клочьями. Прохожие с удивлением и боязнью косились на страшную фигуру пастуха, а мальчишки, как и раньше, боязливо шептали вслед: «Мишаж, Мишаж!»

Одна за другой разбрелись в сумерках по своим дворам коровы. По-прежнему скрипели ворота, слышались голоса хозяек, по-прежнему пыль сельской улицы оседала на лицо и руки Аслана, но все было не так, как прежде. Улица кончилась, перед глазами пастуха уже не осталось ни одной коровы, а надо было еще идти к последнему домику под высоким тополем. И он шел понурив голову, не смея глядеть перед собой.

Как всегда, Нисааф стояла у ворот, укутанная шалью и мягким сумраком вечера. Она печально смотрела на одинокую фигуру пастуха. Не слышно было ее голоса, она ни о чем не спрашивала, но Аслан рассмотрел в больших глазах ее и великое горе, и ужас этого вечера, и тягостный укор ему — дикому, хромающему, всклокоченному. Он молча облокотился о ворота, готовый

принять любую боль, любой упрек, но его ни о чем не спрашивали.

— Нисааф...— тихо сказал он и остановился.— Аллах покарал меня, Нисааф. Четыре соска коровы были радостью твоих детей, Нисааф. Мои грехи отняли у них эту радость. Прости меня, Нисааф.

Ничего не сказав, она тихо пошла по темному дворику. Аслан глядел на ее вздрагивающие плечи и тоже молча двигался по горестной тропинке, под ветками абрикосов.

— Прости меня, Нисааф,— бормотал он одни и те же слова, зная, что нельзя его простить, нельзя ему сказать сейчас дружеского слова.

Проскрипела дверь хижины и закрылась. Аслан в изнеможении опустился на толстый чурбан, лежавший у порога. Окна были темны, ни звука не доносилось оттуда, только немного погодя послышался плач детей. Пастух поднялся, припал лицом к темному стеклу.

— Не плачьте,— говорил он, чувствуя, как горят его глаза и слезы подступают к горлу.— Не плачьте. Мне дадут телочку, я приведу ее к вам. Я отдам вам всю свою кукурузу. Я не забуду вас.

Пошатываясь, отошел он от окна и побрел к воротам, которые вели его на улицу, в печальный сумрак ночи, к тоске и одиночеству.

4

На другой день Аслан пригнал стадо к закату солнца и вместе с другими правоверными пошел в мечеть. Угрюмый, молчаливый, он сделал во дворе омовение, точно соблюдая весь порядок, предначертанный Кораном: омыл до локтей руки, омыл уши, лицо, омыл ноги — мозолистые, запыленные ноги человека, никогда не знавшего хорошей обуви. Старики наблюдали, как тщательно выполняет закон этот редкий гость мечети, и только удивленно качали головами.

В мечеть Аслан вошел освеженный, но по-прежнему мрачный, охваченный сомнениями и тревогой, сел позади всех, в сторонке, как самый недостойный.

На мухарабе стоял эфенди Мухамед — сухонький человек в черном одеянии, в красной феске, обмотанной белым полотном,— представитель пророка, наделенный правом говорить от имени всевидящего и вездесущего.

— Если не делать намаза, если не раздавать саджит и битир, если не быть правоверным мусульманином, то как можно надеяться на милость аллаха! — услышал Аслан знакомые слова, и сердце его сжалось от их грозного смысла.

Горящие гневом острые глаза эфенди бегали по лицам право-

верных, как будто искали грешников, искали недостойных слушать слово пророка. Аслан боялся встретиться взглядом с этими колючими глазами. Он не давал саджит и битир. Правда, хозяйство его совсем ничтожное — за двором стоят только два десятка кукурузных стеблей,— но это не оправдание; он ни разу не читал Корана, даже ни разу не держал в руках святую книгу, эдакий темный, грубый Мишаж, не сумел овладеть великой тайной грамоты! Нет, не простит ему грехов всевышний!

— На свете много скверных людей,— впиваются в тишину острые слова Мухамеда,— они всегда готовы обмануть правоверных, завести их на дорогу грехов. Да будут навеки прокляты аллахом грешники!

Аслан слушал, втянув голову в плечи, еще более сжавшись и присмирев, словно пятился от ударов, которые накликал на него пронзительный голос.

— Кто не щадит жизни наших врагов, кто в изобилии прольет их черную кровь, тому аллах простит много грехов, перед тем будут открыты двери светлого рая! — выкрикивал эфенди.

«Кто не щадит жизни наших врагов...» — повторил про себя Аслан, силясь понять смысл темной для него речи. Враги правоверных — гяуры, вот о чем говорит мулла. Значит, надо быть беспощадным к гяурам. Как же он ни разу не подумал об этом!.. Ну что ж, пусть он не умеет раскрывать святую книгу, но зато у него есть меткий глаз и железная рука джигита, а в груди бьется львиное сердце. Он сумеет искупить свои грехи перед аллахом кровью гяуров!

Он поднял голову, расправил плечи и безбоязненно взглянул в сверкающие глаза эфенди: он готов пролить нечестивую кровь, он верен аллаху...

По дороге из мечети Аслан думал об оружии. Пастушеский посох — это, конечно, не оружие. Одно дело — пугать коров, а другое — поражать врага. Есть у него старый дедовский кинжал в потертых, потускневших ножнах, но, чтобы драться кинжалом, надо сойтись лицом к лицу, а это не всегда возможно. Лучше всего послать пулю в сердце врага, лучше всего зарядить ружье, но у него нет ружья. Какой же он дрянной, беззаботный человек! Думает о телке, о кукурузе, о заплатах на своей черкеске и ни разу не подумал об оружии, об оружии джигита...

Вечером он постучался к соседу, завзятому охотнику Эльдару, у которого, конечно, найдется лишняя берданка.

— Если ты чтишь аллаха,— сказал он Эльдару,— то не откажи в моей просьбе: продай мне одно из своих ружей!

Он просил так настойчиво, в глазах его было столько отчаяния и решимости, что Эльдар вскоре вынес ему ружье — старую, видавшую виды берданку.

— Вижу, Аслан, что твое стадо донимают волки.

— Да, проклятые волки,— сказал Аслан.

— Будешь бить без промаха на триста шагов.

— Я не забуду твоей доброты, Эльдар! — горячо благодарил пастух, бережно, как святыню, принимая ружье.

Вскинув ружье на плечо, Аслан зашагал в темноту. Шел он проулками между вишневых и абрикосовых садов, перелезал через плетни, спускался в овраги. Злые овчарки, звеня цепями, бросались на него, ночные сторожа, различив во мраке широкоплечую фигуру, перекликались друг с другом. Аслан шел как лунатик, не различая дороги, не отвечая на окрики.

Первый утренний свет, маслянисто-влажный, растекшийся по листьям деревьев, по кустарникам и травам, застал его далеко от селения, на кудрявом берегу Терека. Здесь было чудесное местечко, любимое всеми рыбаками округи. На этом месте в Терек впадает шустрая своенравная речонка Псыпца. Словно изумившись буйному бегу желтопенного Терека, она смиренно стихает, прячется в вербы и тростники. Раздолье рыбам в спокойных, обильных кормом заводях ее! Тут всегда можно встретить какого-нибудь гяура-рыболова. С ружьем в руках, шепча обрывки молитв, пробирается Аслан по росистым кустарникам. Отодвинет одну ветку — другая преградит ему путь, брызнет в глаза холодными каплями. Шиповник то и дело впивается своими когтями в его рукава, в полы черкески, словно хочет остановить, вернуть назад. Аслан хмурится, упрямо раздвигает кустарник. Видно, злые духи не хотят, чтобы он выполнил свой замысел. Но он не струсит, он сделает свое дело!

Между ветвями кустарников блеснула вода — розовая, облитая светом зари. Неподалеку поднялась стая птиц. Аслан присел на корточки, настороженно всматриваясь в противоположный берег. Так и есть, гяур уже пришел сюда. Закидывая сеть, у воды копошился невысокий человек. Аслан припал к сырой, пахнущей илом земле, пополз вперед. Псыпца — узкая речонка; недаром говорят в здешних селениях, что два приятеля могут подать через нее друг другу руки. Аслан разглядел на рыбаке смятый рыжий картуз, старый залатанный пиджак; штаны были засучены до колен.

— Во имя аллаха, всемилостивого и всеблагого,— шепчет пастух, прицелившись в голову невысокого человека, увлекшегося своей сетью.

Вот рыбак выпрямился, сдвинул картуз назад, провел рукою по лбу — наверно, вспотел — и взглянул перед собой. Он смотрел испуганно и удивленно. Смотрел на него и Аслан, медленно опуская ружье.

— Аслан... ты что?

Это спрашивал печник Михаил из соседнего железнодорожного поселка, где всегда собирался многолюдный базар и где не раз приходилось бывать Аслану.

— Ты... что ж это, друг, а?

Аслан опустил ружье дулом в грязь и пристыженно поник го-

ловою. Перед ним белели голые, выпачканные тиной ноги печника, чуть шевелилась розовая, теплая вода, курящаяся нежным утренним паром. Неподалеку опять поднялись утки. Прошумел в ветвях ветерок.

— Я... ничего, Михаил... я уйду...— пробормотал он и, не поднимая головы, повернул назад.

— Постой, постой, давай закурим! — донесся вслед повеселевший голос печника, но Аслан не обернулся.

«Проклятый, проклятый аллахом, что же я хотел сделать! На какого человека навел ружье!» — мучительно думал Аслан, вспоминая шумные базары в поселке, вспоминая маленькую, уютную хатку, приютившуюся на окраине.

Золотые подсолнухи стоят под окнами на улице, стоят и во дворе, где в летнее время почти всегда дымится чистенькая, побеленная плита... Вот он звякает кольцом в калитке, ему открывает быстроногая белоголовая девочка. Показывается еще такая же головка, третья, четвертая... Он ухмыляется, покачивает головой: как много этих девочек! А вот и Михаил. «Заходи, заходи, Аслан!» Его встречают как дорогого гостя, сажают к столу, расспрашивают о делах, сочувствуют бедам и неудачам... Хороший дом, хороший человек!.. Вспомнилось Аслану и первое знакомство с печником... В холодный весенний день починил он мельнику плотину и зашел на кухню, чтобы обсушиться и отогреться. Там хлопотал у плиты веселый русский человек с табачным огоньком в зубах. Его холщовый фартук и засученные по локоть рукава были в глине. Весело гудел огонь в только что сложенной плите. «Садись, земляк, обогревайся!» — по-дружески сказал печник. И Аслан присел на корточки, выставив окоченевшие руки... «Проклятый я, проклятый!» — повторил он про себя, ускоряя шаг, но куда шел и зачем — не знал. Болтавшаяся за спиной берданка давила лопатки, а на сердце было горько, так горько, что хотелось лечь на землю и биться головой о дорогу.

Пронзительный гудок поезда вывел его из оцепенения. Он пришел на станцию. Среди запыленных деревьев стоял зеленый дом с белыми чашечками под крышей, с густою паутиной проводов. У коновязи пофыркивали, били копытами кони. На поезде Аслану не приходилось ездить, а заходить сюда случалось.

Ну что ж, зайдет он и теперь. Посмотрит на народ, послушает гудки паровозов, может, заглянет и к буфетчику. Много тяжких грехов на его душе, пусть будет и еще один.

5

В станционном буфете шумела большая компания. Перед глазами Аслана мелькали новые черкески, серебряные пояса, кинжалы в дорогих ножнах, возбужденные, красные лица. Потупя свои угрюмые глаза, он решительно подошел к стойке.

— Что тебе, Аслан? — спросил круглолицый человек, хлопотавший с винами и закусками.

Пастух протянул ему берданку:

— Давай водки.

— Значит, и ты решил погулять? — лукаво спросил буфетчик.

— Давай, давай,— повторил пастух, показывая на большой графин.

— Ну что ж, погуляй и ты,— ворковал круглолицый.— Принесешь деньги — ружье опять у тебя будет... Пей на здоровье, но смотри не напивайся: видишь, здесь князь гуляет. Уж ты, Аслан, держи себя как следует!

В другой раз при слове «князь» он покорно ушел бы из этого непривычного для него зала, а теперь молчаливо присел за столик.

Теперь он все время делал не то, что надо... Хорошему человеку надо говорить добрые слова, а он пугает его ружьем... Пастух должен вести свое стадо на пастбище, а он, как бродяга, шатается по чужим селениям... Вот зачем он пришел на станцию, зачем сидит здесь, как богач, перед графином водки?.. Все запуталось в его жизни, все пошло прахом,— остается только налить рюмку огненного напитка. И Аслан наливает. В мрачной злобе он пьет рюмку за рюмкой, огонь разливается по жилам, сильнее стучит сердце, но успокоение не приходит. Да он и не ждет успокоения. Злоба на себя и на других переполняет его душу. В разгоряченной памяти встает то пропасть с окровавленным трупом коровы, то лицо Нисаф — растерянное, отвернувшееся от него, то берег речонки Псыпцы, сверкающе зеленый в свете зари... И опять все кружится, все повторяется. Аслан снова наливает рюмку, снова пьет... И зачем он брал ружье, зачем пошел на эту проклятую речку? Глупый, глупый Мишаж!

Он опять поднялся и снова потребовал водки. Подходя к буфету, зацепил кого-то локтем.

— Эй ты, дикий Мишаж! — раздался сердитый окрик.

И чего кричит человек? Разве он причинил ему боль тем, что чуть-чуть коснулся рукава?

Аслан присел за столик и еще налил себе водки, продолжая молчаливый и яростный спор с самим собою. Да, не надо было бы брать тогда ружье, не надо было пугать хорошего человека.

— Эй ты, грязный осел! — снова раздался сердитый окрик.— Или в твоих ушах стадо ночевало? Вон отсюда!

Вся компания дружно засмеялась.

— Это, князь, не осел, а медведь!

— Это — Мишаж!

— Ха-ха-ха, Мишаж!

— Мишаж, Мишаж! Коровий пастух!

— Иди, Мишаж, к своим коровам!

Аслан поднялся, глаза его пылали обидой и гневом. Не мигая глядел он перед собою на красные, хохочущие лица, на важного, грозного князя. Князь Кушук сидел, надменно развалясь в кресле.

Весь он блестел и лоснился: блестел золотистый курпей его шапки блестели полные багровые щеки, блестел щегольской серебряный пояс с изящным узорчатым кинжалом. Возле князя стоял с бутылкой в руке Ибрагим. Нагло смотрел он на Аслана, скаля свои разбойничьи зубы. И Аслан не мигая глядел на него своими темными, жуткими теперь глазами. Красное виноградное вино колыхалось в стаканах, растекалось вишневыми пятнами по белой скатерти. «Проклятые, они пьют напиток гяуров!» — заметил Аслан и с накипающим бешенством смотрел то на князя, то на Ибрагима.

— Пошел вон, собака! — крикнул князь, приподнявшись на локтях.

Аслан с силою оперся руками о свой столик и тоже весь подался вперед.

— Кушук,— сказал он почти шепотом, страшным, грозным шепотом, который был слышен всему залу.— Ты, Кушук, пши. Так вот туда — пши! [1] — и показал своим чугунным пальцем на порог.

— Не давайте собаке лаять! — крикнул Кушук, хватаясь за кинжал. И все его приятели, все слуги схватились за кинжалы, повскакали с мест.

Рука Аслана тоже легла на желтую кость рукоятки старого кинжала. Он стоял, не дрогнув, страшный, захмелевший, всклокоченный.

— Если вздумаешь ползти в мою сторону, Кушук,— грозно шептал он,— то берегись: скоро в твое горло заглянет солнце! — Молчаливый, угрюмый, он теперь легко вспоминал гордые, как заклятье, слова старинных воинов, слова, унаследованные от самих нартов, и смело бросал их в лица врагов.

Оторопевший буфетчик испуганно метался за стойкой, скороговоркою повторяя:

— Господа, не надо скандала! Не надо скандала, господа!

Первым бросился на Аслана Ибрагим. Зазвенели кинжалы, и княжеский подручный упал на пол, обливаясь кровью.

— Стражник! Стражник! Зовите стражника! — визгливо закричал буфетчик.

— Бейте этого разбойника! Бейте его! — командовал Кушук из-за спин своих собутыльников.

Аслан стоял с непокрытой головой. На широком костистом лбу его вздулись, переплелись могучие жилы. Яростью горели под густыми бровями темные глаза, беспощадные глаза Мишажа. Никакой силе не мог он сейчас уступить, ничего не мог испугаться.

— Бейте! Бейте! — повторял Кушук, беснуясь.

Теперь к Аслану бросились несколько человек. С грохотом опрокинулся стол, засверкали кинжалы, брызнули осколки стекла.

---

[1] Игра слов: в первом случае «пши» — князь, во втором — глагольная форма «пши» — ползи.

С медвежьей силищей раскидывал Аслан наседавших на него врагов. Князь бросил в него бутылкой, голова и лицо пастуха окрасились кровью. Смахивая рукавом кровь со лба, с глаз, он начал наносить удары во все стороны. Охнув, Кушук схватился за руку выше локтя. Рукав серой черкески его взмок и потемнел. Началась суматоха.

— Князя убили!

— Князя!

Аслан выскочил на улицу. Попавшийся навстречу желтоусый стражник испуганно отскочил в сторону, хватаясь за кобуру пистолета, и начал стрелять только тогда, когда разъяренный великан скрылся в зарослях садов и огородов, одетых сумерками.

— Он не пух, чтобы повиснуть в воздухе, не иголка, чтобы затеряться в мусоре, и не лиса, чтобы уйти в нору. Этот медведь от нас далеко не ускачет,— утешал стонущего князя один из словоохотливых его приятелей.

6

Задворками тихого поселка бредет пошатываясь большой взлохмаченный человек. Остановится, прислушается к голосам летнего вечера и снова продолжает свой путь. Иногда он в изнеможении опускается на росистый бурьян. Сядет, сожмет голову обеими руками и что-то бормочет, как в полусне.

Кончились дворики с плетнями и садами. На отшибе, лицом к полю, стоит ссутулившись невысокая мазанка. Полевая ночь с голосами перепелов, с запахами и шорохами трав прильнула к желтому огоньку одинокой хаты. В светлой полоске мелькают белесые бабочки, иногда, струнно гудя, пролетит жук, ткнется в стекло и упадет во мрак. Спрятавшись в зарослях кукурузы, большой взлохмаченный человек пристально смотрит на оконце. Вот он сорвал широкий лопух и провел им по лбу, как платком. Поднялся шатаясь, вошел в светлую полоску, подошел ближе, почти прильнул к старенькому, с рубцами замазки, стеклу.

В хижине ужинали. За столом сидела большая семья. Белоголовые девочки одна за другой тянулись ложками к огромной глиняной чашке с молоком. Отец и мать о чем-то озабоченно разговаривали между собою. Самая младшая девочка посмотрела на окно и, заплакав, уронила ложку, бросилась к матери:

— Мама, кто это?

Человек с окровавленным бородатым лицом отшатнулся в тень. На улицу вышел хозяин.

— Кто тут? — послышался его негромкий голос.

— Михаил... это я... говори тихо,— откликнулся чей-то знакомый голос.

— Аслан! Что с тобой! — прошептал испуганно хозяин. В глазах его было недоумение, как тогда — при свете зари, на реке.

— Ты... не обижайся, Михаил! — сказал прерывающимся голосом великан и в изнеможении опустился на землю, поник головою, как сонный.

Поддерживая его за плечи, хозяин позвал жену. Охая и удивляясь, женщина принесла кувшин с холодной водой и чистое полотенце.

— Ведь это Аслан,— сокрушенно говорила она.— Какие же ироды так изувечили человека?

— Помолчи, Марья,— перебил ее муж.— Разговоры сейчас ни к чему, ты вот лучше помогай мне.— И он начал смывать кровь с головы и лица Аслана.

Хватаясь рукой за стену, Аслан со стоном поднялся, вяло посмотрел перед собой.

— Михаил... Меня будут искать... уйдем отсюда.— И он сделал несколько шагов в темноту.— Проклятые княжеские псы... Проклятые княжеские псы! — повторял он словно сквозь сон.

— Постели-ка нам, Марья, в сарайчике,— сказал печник жене.— Принеси туда и ужин. Этак будет надежнее...

Они прошли в тесный сарайчик, заваленный первым молодым сеном. Запах сырой земли, подсушенных трав, заплесневелой прошлогодней соломы разбередил дремучую душу Аслана. Опять дохнуло на него счастьем, к которому он изо всех сил стремился и которое снова надолго потерял. Опустившись на сено, он еле подавил стон: ныла тяжелая израненная голова, и горячая боль надрывала, грызла сердце. Все обиды и горести сплелись теперь в один мучительный клубок, и трудно стало дышать, трудно думать. Под застрехою, за воротами, протянулась тесемка синего ночного неба с крупной ласковой звездой. Издалека светится, мигает эта звезда... Сколько уже раз поднимал к ней отяжелевшую голову Аслан... Сколько раз думал о ней, молился... Вот и сейчас лежит он, избитый, гонимый, на чужой охапке сена, а над ним мигает ласковая зеленоватая звезда... К чему все это, зачем? Зачем его бесконечные муки?

Михаил молча расстилал в потемках сено. За плетнем шуршала под ночным ветерком кукуруза. Сонно лаяли где-то в станице собаки.

Чуть скрипнули двери — вошла жена печника.

— Огонь-то вам зажечь? — прошептала она.

— Зажги на минутку, потом погасим,— ответил Михаил.

Язычок коптилки осветил травяной уют сарайчика и большую фигуру Аслана с обвязанной полотенцем, окровавленной головой.

— От ужина осталось только молоко да хлеб,— сказала женщина, сердобольно разглядывая большого, страшного с виду горца.

— Как говорится, что бог послал, обижаться не будем,— улыбнулся печник.— Ты, Марья, оставь нам ужин, а сама ступай к детям.

— Я вот еще принесу что-нибудь постлать вам,— ответила женщина.

Она ушла и вернулась с мягкой попоной и двумя подушками.

Аслан молча пил молоко, не смея поднять глаза на эту простую и добрую русскую женщину. Если бы она знала, какое несчастье мог он принести ее семье! Она, наверное, прокляла бы его и с бранью прогнала с этой охапки сена.

— Погаси, Михаил, свет,— сказал Аслан, когда они остались одни.— Мы и в темноте услышим друг друга.

Как хорошо сейчас! Вот они лежат на одной попоне, под одной соломенной крышей, дышат одними запахами — сладкими запахами сена,— чужие люди, а как братья.

— Ты... не злой, Михаил? — тихо спросил Аслан.

— Когда как... Случается, что готов горло перегрызть...

— А на меня... На меня не злой?

— Не обижайся, Аслан, за правду,— сказал печник, приподнимаясь на локте так, что хрустнуло сено,— ты на чужой крови хотел проскочить в рай. Бах! — человек протянул ноги, а тебе — пожалуйста, сладкое житье на том свете. Эх, Аслан, Аслан, темен ты еще! А что мы с тобой не поделили? Землю? Вот она, вся под нами. Коней? Но коня ты только во сне оседлываешь... Я, брат, вволю нашатался по белу свету. Знаю, кто чего стоит и с кем надо учинять драку. Знаю, на кого следует наводить ружье, а на кого нет.

Печник умолк, во тьме не видно было его взгляда, но Аслан чувствовал, с каким горячим укором смотрят сейчас глаза друга.

За плетнем дремотно шуршала подсыхающими листьями кукуруза, словно шевелилась настороженная ночная тишина.

Горько было на душе у Аслана.

— Ты меня прости, Михаил,— сказал он глухим голосом,— ничего я не знал тогда.

— Ладно, с кем греха не бывает,— отшутился печник.

Они закурили. Во тьме сарайчика, мигая, засветились два огонька — две золотые точки.

— А с кем же все-таки ты так крепко сразился? — спросил печник.

— Я дрался с князем,— с гордостью ответил Аслан.

Медленно подбирая слова, горячась и запинаясь, он рассказал обо всем, что случилось с ним вчера и сегодня.

— Что же, драка с князем — дело веселое.— Цигарка печника засветилась ярче.— Только за это нашего брата по головке не гладят... У нас тоже был такой случай. Подрался один молодой чудак с барином, ну и погнали его в Сибирь... Слыхал ты что-нибудь про такую красивую страну?

— Мала-мала слыхал.

— Эх, земляк, земляк! В серьезную драку полез, а о Сибири мало слыхал... Давай, пока не спится, расскажу...

То потухая, то снова разгораясь, долго светились в темном сарайчике два огонька, и слышался шепот мужских голосов, русские слова звучали вперемежку с кабардинскими.

— У наших крестьян тоже земли в обрез... Перебежала корова, а тут объездчик....

— Ваши князья сильно злые?

— Все они одинаковые — и наши и ваши. Только по одежде разные. В княжеской породе добреньких не ищи. Никто по своей охоте с тобой не поделится ни землей, ни рублем.

И опять дружно загораются цигарки, и опять слышится шепот, сливающийся с шелестом кукурузы.

Под утро печник осторожно вышел из сарайчика, чуть скрипнув дверью. Он поглядел по сторонам и сел на чурбан у плетня, чутко прислушиваясь к предрассветной тишине.

По дворам голосисто перекликались петухи.

7

Аслана разбудил солнечный свет. Тонкие золотые лучи пронзили стену сарая и радостно шевелились в прохладном полумраке, играя тысячами мельчайших пылинок. Недоуменно и тревожно смотрел он на это веселое кружение. Надо бы уже выгонять стадо, идти за коровами по росистой траве, а он сидит тут на сене... Чей же это сарай? И почему у него болит голова? И откуда это испачканное кровью полотенце? Кровь, кровь,— и сразу вспомнилось все: окровавленная корова на дне пропасти, постыдное утро на берегу Терека, беспощадная схватка с княжеской оравой... Мысли закружились, как бесчисленные, неугомонные пылинки в луче солнца. Со стоном поднялся он на ноги, шагнул к воротам. Подле него неожиданно появилась белоголовая девочка. Тряхнула льняными кудрями, синие глаза не по-детски серьезны.

— Дяденька, не выходите!

Улыбнувшись, Аслан провел своей тяжелой ладонью по мягким ее кудряшкам:

— А если я выйду?

Девочка насупилась, покосилась в сторону, прошептала:

— Уйдешь, — стражник заберет. Ты не уходи. Позавтракать я сюда принесу. Я скоро! — И скрылась. Через минуту вернулась с чашкой теплой мамалыги и ломтем хлеба.— Ты ешь, ешь, мы много наварили, и все наелись. А на обед еще сварим,— щебетала она, прислонившись к столбу и скрестив руки на груди, как взрослая.

— Как же тебя зовут, дочка?

— Наташкой зовут... Папа хотел, чтобы меня Соней назвали, а мама сказала: «Нет, давай лучше Наташкой». У нас есть бабушка Наташа. Это еще мамина мама. Старая-старая такая. Я ее не видала.

— А где же она живет, бабушка Наташа? — спросил Аслан, с интересом называя русские имена и с любовью прислушиваясь к бойкой речи белоголовой девочки.

— Бабушка живет далеко-далеко... В нашей деревне.

— Хорошая ваша деревня, Наташа?

— Такая хорошая, такая хорошая! Староползевка зовут ее... Я там ни разу не была.— И девочка вздохнула по-взрослому, повторяя чей-то вздох.— Мы все ездим и ездим. А до нашей деревни никак не доедем. Только зацепимся — опять поехали... А ты никому не скажешь, если я тебе что-то пошепчу? — Синие глаза ее хмуро сощурились.

— Нет, нет. Станут убивать — не скажу!

Девочка наклонилась к самому уху Аслана и таинственно прошептала:

— Мы каторжные. Когда мама плачет, то всегда говорит: «Мы — каторжные...»

Скрипнула дверь, вошел Михаил. Улыбнулся.

— У вас с Наташей полная дружба. Ну что ж, иди, дочка, ты молодец.

Раскрасневшаяся от смущения девочка нырнула в дверной проем. Печник, о чем-то сосредоточенно думая, сел на сено рядом с Асланом.

— Шуму ты наделал порядочно, земляк,— сказал он немного погодя,— на станции, на базаре — везде идет разговор... Тебя ищут... Самого князя видели на коне: рука перевязана, злой — будто взбесился. А тот, его опричник-то, кажется, подох... Разговоры идут разные: кто тебя ругает, кто — князя... У кого жизнь невеселая — все на твоей стороне...

И опять они беседовали, как минувшей ночью. Далеко-далеко раздвинулись стены крохотного сарайчика. Аслан видел безбрежные русские равнины, видел могучую и страшную тайгу Сибири; соломенные деревни и железные города с их бедностью и богатством вставали в его воображении.

— У простого человека — один гяур,— неспешно и негромко говорил печник.— Гяур — это тот, кто захватил все блага жизни, кто ездит на нашей шее. Ты, Аслан, ходи по земле, да присматривайся, да вникай...

Послышался конский топот. Скакали по станице — все ближе, ближе. В дверь просунулась льняная головка:

— Стражники едут! Мимо промчались, ироды... Ух и злые!

Аслан и Михаил сидели нахмуренные, суровые, один — большой, чернобородый, с перевязанной головой; другой — жилистый, худощавый, с проседью в волосах.

Летний день незаметно прошел для Аслана. Погасли золотые солнечные полоски в сарайчике, сильнее запахло травами, тершимися о плетень.

— Я пойду, Михаил,— сказал Аслан, когда совсем стемнело. Он посмотрел на зеленоватую звезду, опять засветившуюся перед его глазами.— Я пойду.

Печник ответил не сразу:

— А как твоя голова? Как себя чувствуешь?

— В горах отдохну, Михаил. Голова моя теперь думает лучше.— В голосе Аслана послышалась улыбка.

Они помолчали. Мягкий, тихий сумрак наполнил сарай.

— Идти, конечно, тебе надо,— сказал печник.— Только теперь ходи по земле более умело... В горах-то есть знакомые?

— Найдутся. Горы, Михаил, велики.

Аслан вышел глухой полночью. Печник вывел его на узкую тропинку в высокой кукурузе, подал мешочек с хлебом.

Они остановились, посмотрели друг на друга, еле различимые в теплой полевой тьме. Один протянул руку, другой крепко пожал ее.

— Доброго пути, Аслан!

— Спасибо, Михаил!

Большой, широкоплечий человек отделился, пошел, чуть шелестя кукурузой, и вскоре слился с ночным необъятным полем, уходящим к горам.

1939

ЗОЛОТОЕ УТРО

1

Когда Аслануко открыл глаза, на стене уже пылала косая солнечная дорожка. Проспали! Вот так пионеры! Он сбросил с себя нагревшееся одеяло и на цыпочках подскочил к распахнутому окну. Двор был полон дремотной, прохладной тишины. Поблескивала роса. Пахло хвоей, влажными цветами. Горы — тяжелые золотые слитки — стояли совсем близко, можно разглядеть каждую складочку. А днем они отодвинутся вдаль, станут легкими, пушисто-серебряными — не отличишь от облаков... Спохватившись, Аслануко заглянул в коридор — стрелка круглых часов показывала половину пятого. Времени было еще достаточно. Вынул из-под подушки аккуратно сложенный листок бумаги, опять подошел к окну и развернул письмо. Как и вчера, крупные, ясные строки, написанные синими чернилами, ласкающе вставали перед глазами:

«Дорогой Аслануко! Ты, надеюсь, еще не забыл своего дядю Михаила? Я тоже очень хорошо помню тебя, помню и люблю, хотя не уверен, что сразу узнаю теперь моего славного мальчугана: он, наверное, за эти годы вырос большой, стал настоящим джигитом? Так вот, на днях я приехал в Кабарду отдыхать и поселился в Затишье. Хотелось бы самому навестить тебя, да сейчас немного нездоров. Приходи ко мне, дорогой сынок! Захвати и своих товарищей. Найти меня нетрудно: наша дача заметная, над крышей поднимается высокий красный шпиль. Спрашивай Михаила Ивановича Подолина. Жду тебя, сынок, с нетерпением!

Твой дядя *Михаил.*

4/VI 1926 г.»

Со двора тянуло утренней свежестью, но Аслануко было жарко. «Жду тебя, сынок, с нетерпением!» — прочитал он несколько раз подряд, взглядывая то на горы, то на письмо, которое чуть подрагивало в руке. Горы светились горячим солнечным золотом, и свет этот, казалось, лился на бумагу, зажигал крупные ровные буквы и вместе с ними проникал в сердце, наполняя собою все тело. Вершины, солнце, запах трав, «дорогой сынок» — какое чудесное утро!

А ребята еще спали, никто даже не шевельнулся.

Аслануко подкрался к раскрасневшемуся кудрявому Казбеку и шепнул ему:

— Подъем!

Тот мотнул головой, что-то пробормотал спросонья и, с трудом разлепив свои длинные черные ресницы, смущенно улыбнулся:

— Опоздали? Нет?

— Тише, тише! — Аслануко приложил палец к губам.— Подымайся быстрее, не шуми!

Казбек тоже увидел горы в золоте и сразу повеселел. Вдвоем они принялись будить остальных товарищей: стащили байковое одеяло с толстяка Батоко, пощекотали пятки худенькому веснушчатому тихоне Барасби, рассмешили чубатого весельчака Ваню, уроженца терской станицы. Потом всей гурьбой, еле удерживая смех, обступили любителя поспать Камбота, который совсем еще недавно пас в горах овечьи отары и теперь отсыпался за двоих.

— Камбот, Камбот! — зашептал Аслануко, потряхивая загорелого чабана то за одно плечо, то за другое.

— Надо воды холодной! — предложил Ваня, готовый озорно пошутить при всяком подходящем случае.

— Правильно!

— Воды! Воды! — засмеялись ребята.

Но Аслануко не согласился:

— Некогда нам баловаться. Опоздаем!

Разбудили Камбота потихоньку. Сначала он насупился, хмуро тер глаза кулаком, но когда вспомнил, зачем его подняли в такую рань, тоже заулыбался.

— Покажи бумагу: где там про нас написано? — краснея, спросил он Аслануко, и тот снова вытащил и развернул бережно сложенный листок.

— Вот видишь: «Захвати и своих товарищей». Понятно?

Кто про себя, кто вслух — ребята прочитали заветную строчку, а потом и все письмо, хотя знали его почти наизусть.

— «...и своих товарищей»! — еще раз повторил Ваня.— Ясное дело, про нас сказано!

Возражать никто не стал: все они хорошие товарищи, дружное пионерское звено, и Аслануко — надежный звеньевой. Как и вчера вечером, разговор опять пошел о Михаиле Ивановиче: давно ли он уехал из Кабарды и кем служит в Москве, военная на нем одежда или простая, старый он человек или не совсем и кто в Ленинском учебном городке помнит его. Оказалось, что среди ребят только один Аслануко помнит Михаила Ивановича, и то будто сквозь сон. Звеньевого засыпали вопросами, но рассказывать было некогда: того и гляди, появится дежурный по общежитию, тогда рухнет весь план.

— Кровати заправить! Галстуки повязать! — вполголоса командовал Аслануко и сам раньше всех красиво застелил свою постель, аккуратно повязал новенький галстук.

— Тише, тише! — повторял он, если кто-нибудь, не удержавшись, прыскал в кулак.

Ребята немедленно умолкали. А птицы, проснувшиеся на густых зеленых каштанах под окнами, не обращали никакого внимания на эти уговоры,— они дружно заливались звонкими песнями, свистели, шумели листвой.

— Казбек, где твои корзины? — спросил Аслануко.

Казбек вытащил из-под кровати две нарядные корзиночки, сплетенные из очищенных ивовых прутьев, раскрашенных синей и красной краской. В глазах его сияла гордость мастера, пухлые, румяные губы подрагивали от улыбки.

— Правильные вещи! — похвалил звеньевой.— Ну, пошли!

— Постойте! — сказал Барасби, не двигаясь с места.

— Чего же нам ждать?

— А если дежурный не пустит?

— Пустит! — возразил Ваня, не привыкший сомневаться в успехе веселых и озорных затей.

— Пустит!

— Пройдем! — разом заговорили ребята.

— Подождите,— Аслануко поднял руку,— нас, правда, не выпустят так рано... Дежурный, пионервожатый, дворник...

— А если горна подождать? — опять спросил рассудительный Барасби.

На него дружно зашикали:

— Тоже придумал — «го-орна»!

— Так мы до обеда просидим!

— Или забыл, сколько дел нынче?

— Пошли, пошли!

День, правда, выдался исключительный, полный забот и хлопот: окончился учебный год и по этому случаю сегодня состоится общий пионерский сбор. Ровно в двенадцать запоют горны, загрохочут барабаны, польются песни — и тогда уйти уже будет нельзя. Значит, у дяди Михаила надо обязательно побывать до двенадцати. Но прежде, чем идти к нему, необходимо еще заглянуть на свой опытный участок. Ведь сегодня нужно отобрать для выставки Ленинского учебного городка лучшую клубнику и огурцы, выращенные звеном. Нет, если идти, то только сейчас!

Аслануко призвал неосторожных крикунов к порядку и высказал звену все, что думает: нельзя опоздать на общий сбор пионеров учебного городка и нельзя отложить свидание с дядей Михаилом — сердце не вытерпит! Остается одно: пробраться сейчас незамеченными. Лукаво ухмыльнувшись, Аслануко перевесился через подоконник и посмотрел вниз.

— Давайте простыни!

— Вот это дело! — обрадовался Ваня и первый сдернул простыню со своей заправленной кровати.

Его примеру последовали другие, только Барасби пытался было доказать, что полотно уже старое и может не выдержать, но его

никто не слушал. Силач Батоко, пыхтя и краснея, начал связывать простыни.

— Не так это надо,—вмешался Казбек,— надо морским узлом!

— А ты откуда знаешь? — удивленно спросил Аслануко.

— Знаю. В морской книжке читал!

— Тогда вяжи сам.

Деловито хмуря свои черные брови и поджимая пухлые губы, Казбек принялся за работу. Узлы у него получались почти такие же, как у Батоко, но всем казалось, что это и есть самые настоящие морские узлы. Шутка сказать — морские! Ребята с восторгом и завистью смотрели на кудрявого искусника.

Когда замечательный канат был готов, один его конец привязали за спинку кровати, а другой выбросили в окно — в бушующий зеленый океан. Нет, это не будничная комната общежития, а палуба огромного корабля! И не черные скворцы кричат под окнами, а белые чайки носятся над волнами!

На правах звеньевого Асланукo спустился первым. Почесывая обожженные ладони, он переминался с ноги на ногу в прохладной сырой траве и весело кивал друзьям:

— Скорее! Не трусьте!

Вторым ловко соскользнул вниз Камбот,— два этажа — пустяки по сравнению с отвесными скалами! За Камботом — Казбек с двумя пестрыми корзиночками, прицепленными к поясу. Потом — Ваня, Батоко, Барасби.

— А кто же простыни уберет? Так и будут висеть? — спросил Барасби, очутившись в траве.

— Пускай висят! — махнул рукой Ваня.— Мы скоро вернемся.

— Нет, лучше все-таки убрать,— сказал Аслануко и, подцепив шестом, забросил простыни на подоконник. Откуда-то поднялись испуганные голуби и так звучно захлопали крыльями, будто зааплодировали.

— Ну, шагом марш! — скомандовал Аслануко.

Босые ноги дружно захрупали по рассыпчатому песку, зашелестели мокрой травой.

— Хорошо! — сказал Казбек, поигрывая своими цветными корзиночками.

— Когда рано поднимаешься — всегда хорошо,— пояснил рассудительный Барасби.

И в самом деле было хорошо. Ароматные кусты шиповника с кошачьими коготками, широкие, разлапистые каштаны с погасшими свечами цветов, редкостные ели сизого, голубиного цвета и высокие липы, увешанные нежными восковыми кисточками, еще дышали таинственным ночным покоем, под их ветвями еще хоронились клочья дремотного синего мрака. Но заработали золотые солнечные пилки и сверла: то там, то здесь пробивался в листве горячий, неугомонный свет, вот-вот — и на площадках, на дорожках сада растекутся огненно-медовые, жаркие круги, засверкает, засмеется каждая песчинка под ногами.

— Постойте! — вдруг озабоченно сказал Батоко и хлопнул себя ладонью по лбу.— А кто же покормит Петуха и Волчонка? Совсем из головы вылетело.

Ребята в недоумении остановились: правда, кто же их накормит?

Петухом они звали молодого фазана, которого однажды выпросили у охотников. А Волчонок и был волчонком,— его принесли из леса те же охотники. И хищного звереныша, и красивую птицу пионеры воспитывали в своем маленьком зоопарке.

— Возвращаться уже поздно,— сказал Аслануко,— пускай потерпят до нашего прихода.

— Стоп, у меня есть предложение! — воскликнул Казбек.— Давайте отнесем Петуха Михаилу Ивановичу!

— А что он с ним будет делать?

— Как что? Сжарит да съест. У фазанов мясо — во!

Камбот, знаток лесной дичи, тоже подтвердил, что жареный фазан — одно объедение, но рубить голову Петуху, которого они взяли беспомощным, с поврежденными крыльями и выходили на зависть другим школам, лишать жизни Петьку, которым по праву гордился весь отряд,— это было выше их сил.

Ребята стояли смущенные.

— Ладно,— сказал Казбек,— мы отнесем Петуха живого, а Михаил Иванович, может, и не станет его резать.

— Что он будет с живым делать? — возразил Аслануко.— Тогда и клетку нести надо. А кормить? А ухаживать?

Потолковали, подумали и решили: не тревожить фазана.

Пышный сад кончился, перед глазами развернулась, уходя под уклон, главная улица Нальчика — Кабардинская, притихшая и полусонная в эту раннюю пору.

— Смотрите, великан! — крикнул Ваня.

Посреди улицы стоял огромный старик с белой бородой и в белом фартуке. В руках он держал длинную метлу.

— И совсем не великан, а дворник Данила Кузьмич,— пояснил Барасби.

— Нет, великан! — настаивал Ваня.

— Великан, великан! — засмеялся Казбек, приплясывая, весь озаренный весельем.

Будничный, обыкновенный в дневной сутолоке города, теперь, в тишине утра, бородатый дворник показался непобедимым богатырем, могучим повелителем бесконечной пустынной улицы со всеми ее примолкшими домами, нарядными вывесками и витринами. Спит Нальчик, тихо, просторно на мостовой — ни подвод, ни прохожих. Но вот взмахнет белый старик своей широкой, гибкой метлою — и все оживет, загрохочет, как в сказке. Он все может, он — чудесный волшебник-великан. Вон лежит под горою ломоть молочно-сизого облака. Это силач в белом фартуке отбросил его туда... Глаза у ребят разгорелись, каждый наделяет дворника самыми невероятными доблестями, и рассудительный Барасби никого

не пытается поправить — у него тоже блестят глаза и румянятся щеки.

— Знаете что? — зашептал Асслануко.— Давайте поприветствуем дедушку: «Здравствуй, Данила Кузьмич!» Ну, разом! — И, подражая дирижеру, лихо махнул рукой.

— Здравствуй, Да-нила Кузьмич! — прокричали звонко, слитно, в одно дыхание.

Дворник смеялся и тряс белой непокрытой головой:

— Ай да пионерия! Молодцы! Разутешили! Как генералу отрапортовали! И куда же летите, соколы, спозаранку?

У Вани чуть-чуть не сорвался с языка ответ, даже во рту защекотало, но Асслануко опередил его:

— Тайна, Данила Кузьмич! Военная тайна!

И старик опять добродушно смеялся и тряс кудлатой седой головой:

— Ай да пионерия!

Тревожно-сладко и немного жутко звучат эти слова — «военная тайна», сердце так и сжимается, и ноги бегут легко, пружинисто. Пусть никто не знает, куда они мчатся сейчас по влажной утренней мостовой. У них есть свой план, своя увлекательная тайна.

— Скорее, скорее! — торопит Асслануко, и не напрасно: очень трудно проскочить бегом Кабардинскую улицу, имея за плечами десять — двенадцать лет. На каждом шагу какая-нибудь приманка, остановишься — и прилипнешь. Вон за широким стеклом поблескивают красноармейские звездочки и разноцветные нагрудные значки. Вон за таким же стеклом висят новые черкески, башлыки и серебряные пояса для джигитов. А вон выставлены ружья — одноствольные и двуствольные, с красивой резьбой.

— Из такого ружья можно большого кабана тарарахнуть,— мечтательно сказал Казбек, прижимаясь лбом к холодному стеклу.

— И медведя можно,— добавил Камбот.— Если два ствола, всякого зверя можно тарарахнуть.

А казак Ваня прилип к соседней витрине: то засмеется, то сделает страшную гримасу — кого-то пугает.

Перед ним стояли, вытаращив неправдоподобно синие глаза, пухлые куклы, поднялись на задних лапах косматые, головастые мишки и тут же развалился полусонный дымчатый кот — смотрит хитрыми щелками, не шевелится.

— Может, он тоже ненастоящий? — спросил Батоко.

— Настоящий! Только хитер дюже, знает, что мы его не достанем, вот и притворяется.

— Нам кот совсем и не нужен,— строго заметил подошедший Асслануко,— бросьте, ребята, глазеть по сторонам, а то и к ужину не вернемся. Ну-ка, прибавь шагу!

— Давайте уговоримся,— предложил Барасби,— никуда не смотреть, а все бежать и бежать. Без передышки!

— Давайте!

Они взялись за руки и припустились по мостовой.

2

Аслануко шагал молча, пытаясь представить себе дорогое лицо Михаила Ивановича, и всякий раз, как только начинал думать об этом человеке, в памяти вставала родная хижина, отец и мать, суровые и страшные картины недавних лет, потрясшие слабое ребячье сердце.

...Вот его, маленького, укрытого косматой шубой, будят среди ночи. Шепот матери ласков и тревожен: «Аслануко, Аслануко! Ну, проснись же, Аслануко!»

Он ощущает теплое дыхание на своих ресницах, нежную и шершавую руку на своем лбу, но просыпаться никак не хочет. А шепот все настойчивее, беспокойней:

— Ну, проснись же, Аслануко! Попрощайся с отцом!

Он открывает глаза, слепленные сладкой дремой, и видит прежде всего тусклый желтый свет, льющийся из закопченного фонаря. Фонарь держит, склонившись над изголовьем, черноусый человек, закутанный башлыком.

— Что же ты, не узнаешь своего отца, Аслануко? — говорит он, наклоняясь еще ниже, обдавая его знакомым — отцовским — запахом, запахом прокуренных усов, поношенной суконной черкески, прохладного, намокшего башлыка. Чуть приподнявшись, Аслануко прижимается горячей щекой к холодной рукоятке отцовского кинжала, ощупывает тугой пояс. Отец несколько раз крепко целует его в губы, щекоча усами, потом что-то вполголоса наказывает матери, и они уходят с фонарем из комнаты. Одному в потемках холодно и страшно. На улице завывает ветер, изредка то и дело доносятся глухие выстрелы, слышен цокот копыт — скачут какие-то бешеные всадники. Мать вернулась тихонько, без огня, опустилась к нему на постель, со вздохом обняла его и беззвучно, таясь, заплакала.

С тех пор у них началась тяжелая, беспокойная жизнь. Из дома они перебрались в погреб, оттуда — в заросли старой, неубранной кукурузы, которая все время о чем-то шушукала, словно грозила бедой. Из кукурузы они ушли еще дальше — в темный лесной овраг, где было много искривленных голых корней и каменных плит, под которыми журчала бессонная вода, журчала днем и ночью, забавляя мальчика своей монотонной песенкой, как добрая нянька.

Когда он спрашивал: «А где же отец,— почему он не идет сюда со своим фонарем?» — мать принималась тихо рассказывать о большой войне бедных с богатыми, о волчьей жестокости князей, которые пролили много человеческой крови и теперь хотят умертвить его отца за то, что он храбрый и справедливый воин — сражается против богачей, добывает счастье для трудящихся. Мать называла отца партизаном, большевиком, коммунистом, и он — маленький Аслануко — усердно повторял за нею эти новые, звучные слова: большевик, коммунист.

Вскоре в лесном овраге появились еще женщины, тоже заплаканные и перепуганные. Женщины пришли с малыми ребятами, и Аслануко стало веселее. У соседки по шалашу был сынишка, кудрявый, пухлый Казбек, который не боялся ни темноты, ни шума деревьев и все шалил, выдумывая разные игры. Они брались с ним за руки и плясали босыми ножонками в ледяной говорливой воде. Переворачивали камни-кругляши, хватаясь за ветви, карабкались по скату оврага. Падали и смеялись.

Наигравшись, они приползали к дотлевающему костру, где хлопотали их матери. Горький дымок стлался по каменистому дну оврага. Робко светились кучки углей, помаргивали и угасали. Тощи были кукурузные чуреки, испеченные из последней горстки муки, и глаза матерей туманились неизбывным горем.

Однажды его мать покинула угрюмый овраг. Она сказала, что поищет какого-нибудь пропитания и кстати узнает об отце, о партизанских делах.

Асланукo беспечно играл с Казбеком, забавляясь гремучими камешками, когда мать возвратилась назад. Это была она и не она. Две соседки, что-то горестно причитая, вели ее под руки. Темные волосы матери поседели и выбились из-под платка, худые щеки совсем ввалились и почернели, взгляд невидяще блуждал. Она прижала Асланукo к своей груди, затряслась, заголосила:

— Погубили твоего отца, сынок! Замучили, проклятые!

И сразу в овраге стало еще мрачнее, даже игривая вода как-то грустно присмирела. Он тоже плакал вместе с матерью, и соседки называли его сиротой...

А потом наступил день, когда они выбрались из темного оврага на поляну. Ярко светило солнце, народ был празднично весел. Его подхватил на руки рослый пожилой партизан с доброй улыбкой. На его лбу была окровавленная повязка.

— Похож, похож! — сказал партизан, внимательно разглядывая его.— Молодец, настоящий Иброков! Ну что же, будем жить, сынок!

С шумным говором все двинулсь в деревню. Добрый партизан, которого женщины почтительно называли Михаилом Ивановичем, взял Асланукo к себе на коня. Ехать было очень интересно. Поскрипывало кожаное седло, конь потряхивал большой черной гривой и цокал подковами, мальчишки с завистью глядели снизу, на домах развевались красные флаги, кинжал у Михаила Ивановича был такой же, как у отца. Везде — толпы оживленных людей.

— Белые гады уничтожены! Палач Серебряков-Даутоков больше не появится на вашей земле! Да здравствует советская власть! Да здравствует Ленин! — сильным голосом выкрикивал Михаил Иванович, и народ отвечал ему радостными возгласами. Седобородые старики степенно кланялись человеку с окровавленной повязкой на голове.

Дома было сумрачно, пусто, тихо, в разбитое окно дул ветер. Мать подошла к холодному очагу и бессильно опустила руки.

— Ну-ка, сынок, давай разжигать огонь! — сказал Михаил Иванович.

Они разыскали топор и нарубили хвороста. Огонь запрыгал, весело потрескивая, словно соскучился по хозяевам и теперь радовался их приходу. И чайник тоже весело забулькал. И над столом, над коптилкой закрутилась толстая мохнатая бабочка,— нельзя было смотреть на нее без смеха. Но мать по-прежнему оставалась грустной. Она неспешно развязала большой узел, вынула отцовскую бурку, молча подержала ее — темную и широкую — в руках и повесила на крючок.

Чай пили с сахаром, который достал Михаил Иванович из своей походной сумки.

Потом к ним начали сходиться соседи, пришли другие партизаны, и Аслануко уснул под дружеский говор на коленях у матери...

И еще одна картина всплыла в памяти. С матерью и Михаилом Ивановичем он стоит перед красными гробами, возле огромной четырехугольной ямы. Вокруг плотной стеной столпился народ.

Красные знамена, большие венки, букеты цветов. По бокам ямы — оранжевый песок и желтая глина с круглыми камешками.

— Смотри, смотри, Аслануко, вот лежит твой отец,— шепчет мать сквозь слезы и показывает на крайний гроб.— Подвинься поближе к нему, попрощайся.

Он подвигается, смотрит, но ничего, кроме красного покрывала, не видит. Взгляд его привлекают мальчишки, забравшиеся высоко на деревья. Вот бы ему самому туда вскарабкаться!

Закрывшись платком, подрагивая плечами, почти неслышно плачет мать. Плачут и другие женщины. Вдруг раздался в тишине громкий мужской голос — говорил высокий мужчина, одетый по-военному. Потом оглушающе заиграл оркестр. Аслануко очень понравились громадные сверкающие трубы — они горели, как солнце, на них нельзя было смотреть.

Когда оборвались протяжные, грустные звуки, начал говорить Михаил Иванович.

— Товарищи! — крикнул он тоже громко и сильно.— Сегодня мы склоняем наши боевые знамена над прахом верных сынов народа, беззаветных бойцов за коммунизм, павших от подлой руки врага! Сегодня мы отдаем последний долг нашим боевым друзьям — партизанам Кабарды, пролившим свою кровь за советскую власть, за счастливую долю рабочих и крестьян!

Аслануко смотрел на красные знамена — они в самом деле были наклонены, и теплый ветерок чуть колыхал их полотнища, и солнце ярко сияло на золотой бахроме, на золотых кистях. «Но что же такое «прах», что такое «долг»?» — думал он и никак не мог догадаться. А Михаил Иванович продолжал:

— Белые изверги зашивали им рты, вырезали у них на теле кровавые звезды, истязали нагайками, пытали огнем! Но ничто не

могло сломить духа героев. Они разрывали окровавленные швы, и снова из их уст раздавался гордый клич: «Да здравствуют Советы!» Они, наши славные товарищи, умерли как пролетарские герои.

Крик матери перебил речь Михаила Ивановича. Мать опустилась на красный гроб и громко-громко зарыдала. Он тоже бросился к гробу, к отцу, забился, закричал, хотел сдернуть покрывало, но сильные руки подхватили его и добрый голос горячо задышал ему в губы, в глаза, в мокрую щеку:

— Мальчик ты мой дорогой! Ну полно, полно... Успокойся!

Потом они ходили с Михаилом Ивановичем по молодой, зеленой травке. Партизан держал его на руках и говорил что-то ласковое-ласковое...

О чем бы ни подумал сейчас Асलануко, сразу же вспоминался Михаил Иванович. Вот к ним во двор привели корову и свалили чувалы с кукурузой, пшеницей и просом,— опять Михаил Иванович. Вот его усаживают в бричку, запряженную парой отличных коней, и везут в Нальчик, в Ленинский учебный городок, где он будет жить и учиться на всем готовом, не беспокоясь ни о хлебе, ни об одежде, ни о книгах,— это тоже хлопоты Михаила Ивановича...

«Ты, надеюсь, еще не забыл своего дядю Михаила?» — встала перед глазами строчка письма, которое он сжимал сейчас в кармане горячей рукой, и ему захотелось крикнуть громко-громко: «Нет, я не забыл тебя, дорогой дядя Михаил, и никогда-никогда не забуду!»

3

С Кабардинской улицы ребята повернули на Почтовую — тихую зеленую улицу, пахнущую утренним чадом и цветами жасмина. Во дворах среди пышных кустов уже курились дымки летних очагов, и было видно, как смуглые руки хозяек тянутся к черепичным крышам, где вялились на солнце куски баранины. Здесь ни одна вывеска, ни одна витрина не смущала ребячьих глаз: синие дымки, шипенье жаровен да кудрявые ветки в цветах — ничего интересного.

— Ать-два! Ать-два! — чуть слышно, под нос себе командовал неугомонный Ваня.

Повторяя команду, сосед его Батоко изо всех сил старался идти в ногу, пыхтел, тяжело притопывал, но то и дело сбивался с шага.

Легкий Барасби подпрыгивал, как воробышек.

Кончилась и Почтовая улица, впереди показался базар. На просторном, утоптанном поле сгрудились арбы и повозки. Распряженные быки лениво дремали над охапками свежей травы. Большеглазые, смуглые мальчишки в косматых папахах играли с собаками у дотлевающих костров. То здесь, то там пробирались горделивые

всадники с белыми башлыками, откинутыми на черные бурки. Круторогие, курчавые бараны тяжело шарахались из-под ног коней, и силачи чабаны — горные люди — ловко хватали их на бегу, тащили на прежнее место. Громко ржали кони, блеяли овцы, гоготали гуси, пытаясь взмахнуть связанными крыльями. Вместе с разноголосым шумом поднималось над базаром желтоватое облако пыли, колеблясь прозрачной завесой и чуть затеняя сверкающие вдали снежные горы.

— Я вижу наших! Из Старого Черека! — обрадованно крикнул Батоко.

— Я тоже вижу своих. Вот они погнали баранов! — показал Камбот, заливаясь густым румянцем.

Ребята то и дело перекликались с земляками, которых узнавали в нарядной толпе.

Раздавались песни, играли гармоники — шумело, бурлило многоцветное поле.

Базар остался позади. Показались высокие тополя — огромные распушенные метлы — наверно, до облаков достают, подметают небо. Аллея вела в сады. Над их пышной зеленью поднимались крыши и расписные балкончики дач. Как здесь нарядно, покойно, уютно! Недаром эти сады, аллеи, балкончики, крыши названы одним словом — Затишье.

— Правда или нет, говорят, что тут никогда не бывает ветра? — спросил Батоко.

— Конечно, не бывает. Если Затишьем зовут, значит, не бывает,— уверенно ответил Барасби.

Затишье, Затишье! Ребята восторженно глядели на стройные ряды деревьев, на синее небо с плавающими в нем ястребами. Глядел и Аслануко, отыскивая высокий заметный шпиль. Сердце его стучало сильно и часто: здесь живет Михаил Иванович! Вот он скоро увидит его, пожмет ему руку, услышит добрый голос...

— Ать-два! Ать-два! — командует Ваня.

А Аслануко хочет петь, петь о своей радости, о своем счастье. Затишье! Затишье!

Как и было условлено вчера вечером, прежде чем идти на дачу под высоким шпилем, они свернули в соседние огороды, в молодой лес подсолнухов, кукурузы, алых маков. Аслануко шагал первым, нетерпеливо раздвигая стебли, то и дело разрывая босыми ногами тонкие нити повилики, и вдруг побежал, звонко крикнув ребятам:

— Вот она! Смотрите какая!

Почти у каждого вырвался возглас радостного удивления: перед ними красовалась их плантация, пять великолепных грядок с клубникою, помидорами, огурцами, морковью, горохом, пять грядок, словно вычерченных по линейке и разрисованных искусным художником. Маленькие темно-зеленые кустики были усеяны красными и розовыми ягодками. Обрызганные росой, они, казалось, смеялись в глаза спешившим друзьям. Будет что показать на выставке!

— Я никогда не думал, что так много уродится! — сказал Казбек.

— Хорошо поработали — вот и уродилось,— пояснил Барасби.

Что правда, то правда, поработали на славу: не меньше десяти раз бегали в Долинск к знаменитому деду-садоводу за кустиками клубники, смастерили тележку, чтобы собирать удобрения по соседним дворам, удобряли грядки, потом перекапывали, рыхлили, поливали каждый комочек земли, каждое растение подержали в своих руках.

— Ну что ж,— сказал Аслануко дрогнувшим от волнения голосом,— давайте снимать наш первый урожай. Берите только самые спелые ягоды, а розовые не трогайте.

— Сначала надо попробовать, какие они на вкус,— сказал, плутовски ухмыляясь, Ваня.

— Конечно, попробуем,— согласился Аслануко, и ребята, перебрасываясь шутками, опустились на корточки. Тяжелые ягоды, свисая на тонких стебельках, нежно алели, чуть запыленные, на расплющенных дождиком комьях земли. Каждая смотрела в глаза, будто говорила: «Возьми меня, съешь!»

Все наслаждались сочной клубникой, первыми плодами своего труда.

— Давайте съедим по пять штук, и больше не надо,— предложил Барасби.

С ним согласились и начали наполнять корзиночки. Работа шла весело. Теплый аромат ягод, земли и медоносных трав, гудение пчел, жуков и больших мух, блещущий и переливающийся свет солнца — все слилось в одну радость, в одну песню, в одно горячее биение сердца.

Аслануко положил последнюю пригоршню. Корзиночки их были наполнены до краев. Они сияли, как две красные горки — глаз не оторвешь.

— А куда же огурцы положим? — спросил Барасби.

— Можно в листья от подсолнухов! Смотри, какие они широкие! — предложил находчивый Ваня.

Однако дело обошлось без великолепных подсолнечных листьев. Добродушно ухмыляясь, пастушонок Камбот вытащил из-за пазухи белый холщовый мешочек:

— Вот куда!

Звеньевой похвалил запасливого пионера и дал команду — собирать огурцы.

— Не ломайте плетей, не трогайте завязи. Собирайте только самые крупные! — предупредил он.

Огурцы были еще совсем молоденькие — густо-зеленые, хрупкие, в аппетитных пупырышках, в росяных каплях, и самые большие из них оказались не длиннее худенькой ладони Барасби. Редко кому удавалось на зависть приятелям вскрикнуть: «Глядите, какой я нашел!»

И все же холщовый мешочек вскоре был наполнен доверху. Его незавязанным поставили рядом с корзиночками, алеющими роскошной клубникой.

Ребята, не сговариваясь, встали вокруг. Все молчали, будто завороженные чудесной картиной. Молчал и Аслануко. Он поглядывал то на корзиночки и мешочек, то на тонкий шпиль, возвышающийся над деревьями дачных садов. Наконец звеньевой сказал:

— Ответьте, пионеры, кому положено раньше всех отведать плоды нашего урожая? Кто должен снять пробу?

— Старший! — поднял руку Барасби.

— У нас всегда дедушка пробовал! — воскликнул Камбот.

— Старший, старший! — раздались дружные голоса.

И тогда Аслануко с гордостью назвал имя Михаила Ивановича. Пусть он, самый старший и самый любимый, первым отведает эту замечательную клубнику, эти скороспелые огурчики!

Батоко взял одну корзиночку, Казбек — другую, Камбот подхватил мешочек с огурцами, и дружная ватага двинулась в ту сторону, где вонзался в голубое небо острый шпиль.

Дача виднелась совсем неподалеку, кажется — рукой подать, но добрались они туда не так-то скоро.

Притихшей гурьбой остановились у легкой деревянной калитки.

Во дворе подметал дорожку бородатый дворник, похожий на Данилу Кузьмича, только борода у него была не серебряная, а рыжая.

Дворник опустил метлу:

— Вы чего тут крадетесь, черноголовые? Вот я вас!

— Мы пришли проведать Михаила Ивановича,— ответил Аслануко, смело выступая вперед.

Старик сразу повеселел:

— К Михаилу Ивановичу? Ну-ну! Молодцы! А откуда у вас такая клубника? Или в чужом саду набедокурили?

— Нет, нет, это наша!

— И огурцы тоже наши! — в один голос заговорили ребята.

— Мы сами вырастили, у нас своя плантация! — с гордостью и обидой пояснил Аслануко и вытащил из кармана записку.— Вот письмо от Михаила Ивановича, он звал нас к себе.

— Ну, раз так, постойте тут, я скажу Михаилу Ивановичу.

Дворник пошел по хрустящей песчаной дорожке к дому. Вот он остановился у двери с красными и синими стеклами, вот взялся за блестящую скобу, скрылся и снова вышел:

— Идите, Михаил Иванович зовет!

Сердце у Аслануко забилось сильнее, он поглядел на своих друзей — они тоже были смущены.

— Ничего, пойдемте! — бодро сказал Казбек.

— Главное — не робеть! — подмигнув, добавил Ваня, и все пошли во двор.

4

Дворник повел их песчаной дорожкой между молодых елок. Разноцветные стекла закрытой круглой веранды, освещенные утренним солнцем, горели чудесными огнями радуги. Рядом шла вторая веранда — открытая, просторная, с живыми зелеными стенами, с высокой лестницей, тоже обвитой гибкими, курчавыми растениями. На верхней ступеньке стоял пожилой человек в белом полотняном костюме, с непокрытой седеющей головой и улыбался дружески-лукаво, покручивая усы.

Вот он увидел Аслануко, встретился с ним глазами, схватил его в охапку, поднял и поцеловал.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой! Молодец, большой вырос! Значит, получил мое письмо?

— Получил, получил! — шептал Аслануко, чувствуя, как блаженные волны подхватывают его и несут куда-то ввысь.

Михаил Иванович каждому из ребят крепко пожимал руку, у каждого спрашивал, как его зовут, и приглашал одного за другим к себе на площадку лестницы.

Мальчики стояли тесной кучкой, украдкой поглядывая по сторонам, с удивлением замечая, как все просто и красиво здесь: большой стол, накрытый белой скатертью, плетеные удобные стулья, еще один стол — поменьше — с книгами и письменным прибором.

— Прошу к столу,— приветливо сказал Михаил Иванович, приглашая широким и плавным жестом руки.

Ребята переминались с ноги на ногу. Особенно неловко чувствовали себя Батоко и Казбек — с клубникою, а Камбот — с мешком огурцов.

— А это что за продукция? — спросил Михаил Иванович, прищурившись на ягоды.

— Это с нашей плантации! — встрепенулся Аслануко.— Мы сами вырастили...

— У нас там и морковка, и горох, и помидоры! — добавил смельчак Ваня.

— Они еще не поспели! — вставил свое словечко Барасби.

Преодолевая робость, чуть потупившись, Аслануко пояснил:

— У нас выставка будет. Вот мы и набрали... Наш первый урожай...

— Выставка? — удивленно переспросил Михаил Иванович.— Ну, знаете ли, вы совсем молодцы! — Он предложил поставить «продукцию» на маленький стол.

Переглянувшись с Аслануко, ребята поставили туда корзинки и мешочек.

Вошла женщина в белом халате и белой косынке, похожая на добрую повариху.

— Марфа Савельевна,— обратился к ней хозяин,— вы сможете подать завтрак на семь персон? Уж постарайтесь: у нас гости!

— Конечно, смогу, Михаил Иванович,— ответила она, с улыбкой оглядывая ребят.

«Персоны»,— повторил про себя Аслануко и тоже поглядел на Казбека, на Барасби, на Ваню. «Вот так персоны!» — и чуть не засмеялся.

А Марфа Савельевна уже расставляла дымящиеся блюда и ласково приговаривала:

— Вы кушайте без стеснения, у нас так полагается.

Ловко орудуя вилкой, Аслануко то и дело взглядывал на Михаила Ивановича и думал все увереннее, все веселее: «А я его хорошо помню!» Вот Михаил Иванович не спеша провел тыльной строной руки по черным, седеющим усам — знакомый жест! Вот опять улыбнулся своими внимательными глазами,— и в памяти сразу мелькнула такая же улыбка: искристая, добрая, острая. Все больше и больше волнуясь от нахлынувшей радости, он еще ближе придвинулся к Михаилу Ивановичу и как бы невзначай коснулся голым локтем его прохладной полотняной тужурки.

За столом произошел небольшой конфуз: Камбот уронил на скатерть кусочек жаркого и теперь сидел, опустив голову, залившись румянцем. Другие ребята тоже смутились и примолкли.

— Не смущайся, Камбот,— ласково сказал хозяин,— эта беда поправима,— он убрал злополучный кусок,— кушай без стеснения, мы тут все свои люди!

— Камбот недавно приехал в Нальчик,— торопливо заговорил Аслануко,— он еще не привык с вилки есть. Он чабаном был! — И умолк, почувствовав, как загорелись его щеки, как сильно заколотилось сердце.

— Привыкнет, научится. Эта наука немудреная! — сказал Михаил Иванович негромко и, оглядев ребят, подбадривающе улыбнулся Камботу.— Теперь дети рабочих и крестьян, дети всех трудящихся имеют хорошие школы. Будут обучаться многому, большим наукам.— Он повернулся к Аслануко.— Думаю, молодые кабардинцы не отстанут от других? Что скажет звеньевой?

— Не отстанем. Мы тоже будем хорошо учиться! — ответил Аслануко, не отрывая глаз от склонившегося к нему доброго, родного лица.

С волнением смотрел он на это лицо, готовый и улыбнуться и от души заплакать. Сразу вспомнилась та ночь, когда его, совсем маленького, разбудили в холодных, тревожных потемках, когда он увидел тусклый свет фонаря и мужественное лицо отца, вспомнились и суровый лесной овраг, и солнечная поляна в цветах, и крепкие объятия партизана, и речи над большой могилой. Он еще теснее придвинулся к Михаилу Ивановичу, не сводя с него жадного взгляда, не пропуская ни одного слова...

— Молодцы, молодцы! — говорил хозяин и хвалил их за то, что они стали пионерами и хотят учиться.

Ребята осмелели, на шутки отвечали звонким смехом. Горка румяных, горячих пирожков, принесенная щедрой Марфой Са-

вельевной, быстро таяла. Михаил Иванович никого не упускал из виду — подкладывал пирожки то тому, то другому.

Зашел разговор о родителях.

— Как зовут твоего отца? — спросил хозяин у Камбота.

— У меня отца нету. Только дедушка. А зовут его Амирхан,— ответил пионер потупясь и, немного подумав, добавил:— Он пасет баранту на Золке.

— Его отца убили серебряковцы; белые, значит,— горячо выдохнул Аслануко,— как и моего папу.

Михаил Иванович обнял Аслануко за плечи и крепко прижал к себе.

— А где твой отец, Ваня? — спросил он у синеглазого казачонка.

Тот поднялся за столом, вытянул руки по швам.

— Мой отец, казак Петро Грачев, похоронен во Владикавказе. В братской могиле! Их шкуровцы порубали, когда они валялись в тифу... Когда по лазаретам лежали! Больше тыщи порубили, бандюги.— Ваня умолк, тяжело и часто дыша; глаза его сверкали.

Михаил Иванович задумчиво смотрел на бравого мальчугана.

— Садись, садись, Ваня! Чти память своего отца-героя!

Барасби рассказал, что его отец тоже воевал с белыми, остался живой и теперь пашет землю.

Поднялся силач Батоко:

— Мой отец — председатель. Как пришел с войны, так его туда и поставили!

— Куда, куда? — переспросил Михаил Иванович, улыбка спряталась в седеющих усах.

— В сельсовет поставили!

— Ну, теперь понятно. Молодец!

— Ты знаешь что,— шепнул Аслануко на ухо своему соседу Ване,— мой отец был очень похож на Михаила Ивановича. Так похож! Так похож!

— Не только твой, мой тоже! — шепотом ответил казачонок, глаза его не переставали блестеть.— Все партизаны были похожи на него!

В это время заговорил Казбек:

— Сам товарищ Буденный выдал моему отцу золотую шашку. Он сейчас красный командир и живет за городом... И лошадь у него лучше всех... И когда он приезжает домой, то я езжу на ней верхом.

Слушая раскрасневшегося пионера, Михаил Иванович опять улыбнулся доброй улыбкой. Потом он о чем-то задумался, лицо его стало серьезным, и он тихо произнес:

— Ваши отцы — достойные люди. Советский народ никогда не забудет своих героев! А вы, ребята,— он опять внимательно-долго поглядел в глаза Аслануко,— сохраните славу отцов. Большевики постараются, чтобы вы жили хорошо. За это мы и боролись. О вас думал и заботился товарищ Ленин. Вы знаете, кто

был Ленин? — Он обернулся к письменному столу, где стоял прислоненный к стопке книг небольшой портрет Владимира Ильича. И ребята повернули туда свои головы.

— Мы любим Ленина,— сказал Аслануко, приподнимаясь.— Мы выучили стихи о нем!

— Вот хорошо! Я хочу послушать эти стихи. Ты можешь прочитать их наизусть?

Асланyко растерянно поглядел на ребят, на портрет Ленина и снова встретился глазами с Михаилом Ивановичем. «Ну что же ты? Я жду, не трусь»,— говорили эти глаза, теплые, отцовские. И звеньевой начал:

Врагам на страх бушевала
Морю подобная сила
И, вал вздымая за валом,
Полчища вражьи топила —
Морю подобная сила,
Правды ленинской сила!

Аслануко остановился, передохнул. На веранде было очень тихо, только струнно гудел синий жук, заблудившийся в кудрявых шпалерах дикого винограда, да чуть скрипнула дверью Марфа Савельевна, вышедшая на голос молодого чтеца.

— Читай все, до конца! — толкнул под локоть Казбек.— Читай!

Горячая краска опять прихлынула к щекам Асланyко, он перевел дух и продолжал:

С учителем в дни грозовые
Друзья его боевые
Людей на борьбу скликали,
Горячих коней седлали,
Отвагой своей богаты,
Мужественны, как нарты,
За правое бились дело,
Шашкой владели умело...

Мужи Кабарды восстали,
Своих скакунов взнуздали...
С русским могучим братом
Встал украинец рядом,
Мечи отточив, грузины
Идут на войну с князьями;
Армяне и осетины
Встают под красное знамя...

На западе
и на востоке
От северных рек
до юга
Берут бедняки винтовки,
В борьбе помогая друг другу.

Голос звеньевого окреп, поднялся, зазвучал горделиво, он взмахнул рукой в такт стихам:

Мы знали голод и горе...
Но кружкой не вычерпать моря!
Кто ленинцев одолеет?
Сплотившихся — кто поборет?..
Силы великой — море,
Правды великой — море
Вовеки не обмелеет!

Вдохнув полной грудью душистый воздух веранды, Аслануко взглянул на Михаила Ивановича. Тот одобрительно кивнул головой, положил ему на плечо свою спокойную тяжелую руку.

— Хорошие стихи. Молодец!

— Они еще лучше, если их пропеть, как поет дедушка Бекмурза! — сказал Аслануко.

— А кто он, ваш замечательный дедушка? Учитель или просто чей-нибудь дедушка?

— Нет, он просто дедушка. Живет в селении Нартан, а в Нальчик только приходит.

— И много у него таких хороших песен?

— Целая сумка!

— Не сумка, а сундучок. Он за плечами носит сундучок такой,— поправил звеньевого Казбек.

— Когда он бывает в городе, то всегда заходит к нам! — смущаясь, добавил Барасби.— И всегда бывает веселый-веселый!

— Вот видите, какой чудесный у вас дедушка! — сказал Михаил Иванович, улыбаясь.— Передайте ему привет от меня. Скажите, что его песни правильные, нужные родной советской власти!

В дверях показалась Марфа Савельевна:

— Михаил Иванович, к вам товарищ из Совета. Тот, что вчера звонил.

Хозяин, улыбаясь, оглядел застольное общество, словно спрашивая: «Ну как, примем в свою компанию этого товарища из Совета или без него обойдемся?» — и ответил с той же лукавой усмешкой:

— Пригласите его, Марфа Савельевна. Надеюсь, что он не будет нам помехой.

Когда женщина скрылась в дверях, Михаил Иванович таинственным полушепотом сказал ребятам:

— Сейчас придет товарищ Герандоко. Вы не смущайтесь. Это хороший человек. Мы с ним партизанили в горах... Это храбрый боец!..

И взоры пионеров обратились к двери.

Товарищ Герандоко оказался высоким, плечистым мужчиной с growиною в черных волосах, с ветвистым шрамом на правой скуле, с черными, завитыми в кольца усами, с черными, горячими глазами, брызжущими весельем. На груди у него, над кармашком военной гимнастерки, поблескивал орден, тонкая талия была перехвачена наборным кавказским поясом.

— Салам, добрые люди! — весело сказал он, оглядывая удивленные лица ребят, и пошел навстречу поднявшемуся из-за стола Михаилу Ивановичу.

Они, оба большие, седеющие, положили друг другу на плечи руки, крепко расцеловались и не то смеялись, не то плакали, похлопывая один другого по спине.

Улучив минуту, Асслануко переставил одну корзиночку с клубникой на большой стол, за которым они сидели. А Ваня присоединил к ней огурцы из мешочка.

Называя гостя «стариною», Михаил Иванович подвел его к столу и начал знакомить с ребятами.

Партизан каждому тряс руку и, улыбаясь, заглядывал в глаза, будто опознавал старых знакомых. Да он и в самом деле кое-кого узнал.

— А ты не сын Инала? — спросил товарищ Герандоко у Камбота и, когда тот смущенно кивнул головой, дружески обнял его:— Эх, какой хороший отец у тебя был! Герой-большевик!

Почти всех отцов знал этот веселый усач. И к столу присел он весело, непринужденно, обхватив одной рукой спинку стула и плечи Асслануко.

Звеньевой оказался между Михаилом Ивановичем и боевым партизаном. Он был горд этим и радовался неожиданному счастью.

— А как же попала к нам на стол выставочная клубника? — спросил вдруг Михаил Иванович.

Тогда Асслануко поднялся и, чуть потупившись, сказал:

— Это — вам, старшим... Отведайте первого урожая с наших грядок...

— Молодцы! Знаете кабардинский обычай! — громко похвалил товарищ Герандоко и взял красную ягодку.

Михаил Иванович тоже взял ягодку, полюбовался ею, похвалил юных агрономов, но заметил, что всю корзиночку не стоит оставлять,— для пробы достаточно пригоршни ягод.

— Нет, нет, пусть останется! — возразил Асслануко.

— У нас много!

— Мы сколько угодно наберем! — разом заговорили ребята.

Казбек добавил, что корзиночка должна обязательно остаться.

Михаил Иванович взглянул на смущенного пионера, потом на корзиночку.

— Добротно сделано! Видно, что у мастера умелые руки.

Щеки Казбека сделались краснее галстука.

— Это он сам сплел, Михаил Иванович! Он у нас такой ловкий! — сказал Асслануко с гордостью.

— Молодец! — похвалил хозяин.— От таких подарков не отказываются. Эту корзиночку я возьму с собой в Москву.— И провел ладонью по гладкому, плотному узору из ивовых прутьев.

Выяснилось, что у каждого из юных гостей был свой талант: Асслануко хорошо поет и рисует, Ваня ловко ездит на коне, Барасби знает наизусть множество стихов и сам умеет складывать слова

в рифму. Камбот, еще будучи пастушонком, научился распознавать всякие травы, и теперь у него имеется изрядная коллекция засушенных цветов.

Попробовав клубники и огурцов, товарищ Герандоко завел с Михаилом Ивановичем речь о своих делах. Он назвал кого-то «непроходимым бюрократом», и Аслануко понял, что этот таинственный «непроходимый бюрократ», засевший за каким-то очень большим столом, не хочет отпустить товарищу Герандоко лес и железо для постройки школы.

— А у меня таких джигитов,— черноусый гость показал на пионеров,— без малого семьсот человек. Надо их за парты посадить?

— Надо,— сказал Михаил Иванович.— Я сегодня же свяжусь с окружкомом. Постараемся это дело уладить.

О чем они разговаривали дальше, Аслануко не услышал. Его внимание отвлек Камбот. Маленький чабан украдкой вел борьбу с двумя назойливыми осами: злые оранжевые насекомые упорно кружились над корзиночкой с багряно-алой клубникой. Тонкий, как шпилька, знойный звук их жужжанья, казалось, вонзался в красивые ягоды. Ваня-казачок тоже замахал рукою на злобных ос.

— Не балуйтесь,— строго шепнул приятелям Аслануко и подумал, что пора уходить.

Он смущенно приподнялся.

— Мы пойдем, Михаил Иванович. Спасибо вам... от всех пионеров спасибо! — В голосе, в румянце щек, в больших черных глазах Аслануко были смущение и радость, застенчивая, молчаливая радость; если бы можно было, он никогда бы не ушел отсюда! Вот так бы и сидел, слушая неторопливую, добрую, отцовскую речь, разглядывая виноградные листья, пропитанные горячим солнечным золотом.

— Видишь,— улыбнулся Михаил Иванович товарищу Герандоко,— от наших разговоров о бюрократах молодые друзья совсем заскучали. Не умеем мы их развлекать.

— Нам хорошо, хорошо! — взволновался Аслануко.

— Эх, ребята,— тряхнул головою партизан,— гармоники со мной нету, да и спешить надо, а то бы мы повеселились!.. Вот подождите, приду я к вам в учебный городок. Уже я вас расшевелю! — И товарищ Герандоко распушил кудрявые волосы Казбека, подмигнул Ване, притянул к себе Камбота. Повозившись с ребятами, он оправил свои черные усы, из-под которых блеснули белые зубы, и поднялся.

5

Осторожно отодвигая стулья, ребята тоже поднялись — сдержанно веселые, притихшие. Аслануко еще раз прощально оглядел веранду. Золотые солнечные буравчики просверливали кудрявую,

вьющуюся стену и теперь играли на полу, покрытом мягким ковром, на прозрачной чайной посуде, на книгах и бумагах соседнего стола. Сердце у Аслануко билось сильно и празднично. Подойдя к лестнице, он посторонился, чтобы уступить дорогу Михаилу Ивановичу, но тот, положив ему руку на плечо, пропустил его вперед, пропустил и остальных ребят, а сам остановился на верхней ступеньке с товарищем Герандоко. Михаил Иванович вынул коробку с папиросами, и они закурили.

Аслануко посмотрел снизу на огонек, вспыхнувший между двумя полусогнутыми ладонями Михаила Ивановича, увидел голубую струйку дыма, оторвавшуюся от черных усов товарища Герандоко, и ему стало еще веселее.

Сдерживая дыхание, он пошел первым. Крашеные, слегка истертые по краям деревянные ступеньки, облитые утренним солнцем, были приятны босым ногам. Одна, две, три, четыре, пять, шесть... Неширокая площадка (на минуту остановиться, полюбоваться садом) — и опять ступеньки, чуть прохладнее верхних, удобные для шага. А по бокам, на узорчатых перилах, вьются похожие на большую повилику голубоглазые цветы, смотрят сонно-важно, по-детски. Под рукою они — мягкие, с росистым холодком. Нижних ступенек только десять. Почему же так мало? Хотелось, чтобы ступенек было бесчисленное множество, чтобы шагать и шагать вот так, не спеша, чувствуя рядом спокойные отцовские шаги...

Все остановились внизу, на посыпанной желтым песком площадке. Только сейчас заметил Аслануко привязанного к изгороди нетерпеливого гнедого коня под высоким седлом. Рыжебородый дворник оглаживал его по храпу — успокаивал, а конь звенел уздечкою и взбивал копытом пыль.

— Ну, я поехал,— сказал товарищ Герандоко, крепко пожимая руку Михаилу Ивановичу.

И опять они долго похлопывали друг друга по плечам, опять говорили о железе, досках и сосновых кругляках.

— А с вами еще повеселюсь! — крикнул товарищ Герандоко ребятам, быстрым шагом направляясь к своему скакуну.

Вот он отвязал коня, вот вскинул ногу в стремя — и гнедой заплясал, взвился на дыбы. Волнистое облако пыли вытянулось по дороге.

Ребята восторженно глядели вслед. Когда Аслануко посмотрел на Михаила Ивановича, то и в его глазах увидел радостные огоньки.

Они шли знакомой аллеей из молодых елок, которая начиналась от самой веранды, прямо от нижней ступеньки. Елочки были стройные, свежие, но совсем невысокие, немного выше взрослого человека; на темно-зеленых разлапистых ветках торчали новенькие, нежные рожки, как у ягнят или телят; если дотронуться — они мягкие, медово-липкие. Рядом с аллеей, по правую руку, столпились в кучу елочки другой масти — седые, с голубизной, будто

окутал их когда-то утренний туман, да так и остался, задремал в распростертых лапах. Тут же приютились, светло белея тонкими стволами, четыре березы, редкие гости в здешних садах и парках. А дальше — яблони, яблони, яблони. Яблони в бесчисленных бусах плодов, пронизанные хрустальными птичьими голосами. Золотые и синие жуки тянули из солнечного блеска тончайшие, звонкие струны. Пчелы то и дело перелетали с цветка на цветок. Сияющий воздух дрожал, звенел, переливался. Праздничное утро полыхало в саду!

Асладуко наклонился к Казбеку и в восторге прошептал:

— Хорошо! Красиво!

— В Долинске еще лучше,— ответил Казбек.

— Нет, нет, нет!

Разве могло быть сейчас на земле что-нибудь лучше этого сада, этой молодой смолистой аллейки, которые так гостеприимно приняли их!

— Лучше нашего Затишья ничего нет! — радостно-упрямо повторил Аслануко, ускоряя шаг.

Михаил Иванович проводил гостей до калитки, а потом сказал, что пройдется с ними до плантации, где выросла такая замечательная клубника.

— Посмотрим, посмотрим, какие вы агрономы! Посмотрим! — повторял он весело.

Голубая струйка дыма завивалась над головами ребят, тянулась к зеленым веткам.

«Посмотрим, посмотрим»,— невольно повторил про себя и Аслануко. От этих слов сделалось и радостно и тревожно. Михаил Иванович будет осматривать их грядки! И, может быть, расскажет об этом в Москве.

Когда кончился сад и они вышли на дорогу, он сразу увидел и светлые громады безоблачных гор в синих шелковых складках (вымытые шатры великанов!), и зеленый лесок подсолнухов в поле.

— Вот тут, за подсолнухами! — протянул он загорелую руку.

— Ну-ну, посмотрим вашу плантацию,— слышался за спиною спокойный, с отцовской усмешкой голос.

Немного погодя Михаил Иванович остановил ребят.

— А где же ваша выставочная клубника? Где мешочек с огурцами?

— Забыли,— сказал Аслануко без всякого замешательства и огорчения.— Пускай останется, мы еще наберем.

— Нет, надо взять,— настоял Михаил Иванович.

Вернуться поручили Казбеку и Ване. Ребята мигом сбегали на дачу. Правда, ягод в корзиночке и огурцов в мешочке оказалось меньше, чем было.

— Мы отложили на стол,— шепнул звеньевому Ваня, и Аслануко одобрительно кивнул головой.

Прохладные ползучие травы щекотно цеплялись за босые ноги, цветочная пыль щедро обсыпала мокрые от росы колени, широкие листья подсолнуха то и дело проводили своими шершавыми ладонями по лицу. Аслануко осторожно отводил листья в сторону, с улыбкою оглядывался и, волнуясь, повторял:

— Еще немножко. Вот тут, около красных маков!

Темно-зеленые кудрявые грядки с крупными розовыми ягодами лежали ровно, красиво; пылающие венчики маков обрамляли их живым узором, живой солнечной рамкой, полной нежного сияния, пчелиного гуда и трепыханья мотыльков.

Ребята молча стояли на пустой мягкой бороздке-меже, смущенно-выжидательно поглядывая на Михаила Ивановича и лукаво друг на друга.

Щурясь от дыма папиросы и яркого, горячего света, Михаил Иванович смотрел на раскинувшиеся вдали поля, пестрые как ковер. Прозрачные голубые волны погожего тумана дрожали и таяли в солнечном блеске над многочисленными квадратиками кукурузных, подсолнечных, картофельных посевов, над полусогнутыми фигурами женщин, работавших мотыгами, каждая на своем квадратике. Михаил Иванович смотрел задумчиво-внимательно на цветистое, плодородное поле и на этих полусогнутых одиноких тружениц, мерно двигавших своими старинными земледельческими орудиями. Взгляд его, казалось Аслануко, охватывал все пространство нарядной равнины — до самых гор, до самых облаков над горами. О чем он думает сейчас? Радует или огорчает его это огромное лоскутное поле? И что он скажет об их пионерской плантации? Может, ему совсем не понравились эти взъерошенные грядки с клубникой? Эх, аккуратнее надо бы собирать первые ягоды! Незаметно для самого себя Аслануко переступил с ноги на ногу и еще ближе придвинулся к Михаилу Ивановичу, гордый и немного обеспокоенный. И Михаил Иванович, оторвавшись от своих дум, опять взглянул на него с прежней горячей улыбкой:

— Это и есть ваша плантация?

— Наша,— негромко, почти шепотом, ответил Аслануко, потупившись.

— Наша! Наша! — повторили Ваня, Камбот и другие ребята, тоже придвигаясь ближе.

Чуть наклонившись, Михаил Иванович внимательно рассматривал дощечку, прикрепленную к невысокому колышку. На ней было выведено синими чернилами: «Первое звено».

— «Первое звено»,— прочитал он вслух и весело-испытующе оглядел лица ребят.

— Это мы сообща,— сказал Аслануко, приободрившись,— это мы всем звеном.

— Сообща...— произнес Михаил Иванович, не то спрашивая, не то вслушиваясь в коротенькое, скупое слово, и, полуобняв Аслануко, ласково притянул его к себе.— Сообща — это отлично

сказано. Это — по-коммунистически. Сообща вы горы сдвинете с места! — Он показал рукою по направлению к горам.

Аслануко и его друзья, смущенно улыбаясь, глядели на высокие, сияющие вершины, полукругом обступившие лесистые холмы, селения, поля и город Нальчик. Вон они какие громадные, разве их сдвинешь!

— Только нарты могли раскалывать такие горы. Нам дедушка говорил,— сказал Аслануко, потупясь.

— Вы будете сильнее нартов,— ответил Михаил Иванович без улыбки,— вам предстоят дела, которые и не снились любым богатырям земли... Не пять грядок, а все это поле, всю нашу землю надо возделать как большой сад. Надо построить огромные заводы и фабрики с множеством умных, могучих машин. Надо построить большие школы, школы-дворцы для миллионов детей...

Вдали, за зеленым полем кукурузы и подсолнухов, раздался протяжный крик паровоза. Аслануко повернул туда голову и увидел стелющийся над полем белесый дым, который, бойко клубясь, все продвигался и продвигался вперед — к домикам пригорода. Поезд идет, машина! Ему еще ни разу не приходилось ездить на поезде. А какие бывают фабрики, заводы — он знал только по картинкам. Как же громко гудит паровоз! Вот силища-то!

— Михаил Иванович,— робко начал Аслануко,— а это правда, будто есть такие железные кони, которые сами пашут землю?

Михаил Иванович посмотрел на мальчика своими зоркими и добрыми глазами.

— Есть такие машины, Аслануко, и называют их тракторами. Ходят они без лошадей, но не сами: их водит, ими управляет человек. Умелый, знающий человек! Нашей Советской стране в скором времени потребуется очень много трактористов, механиков, техников, инженеров. Учитесь, выбирайте, кем стать.

В разговор вступили другие ребята. Расспрашивая Михаила Ивановича о школах, которые выпускают машинистов, агрономов, инженеров, летчиков, они смотрели на широкое цветистое поле с одинокими фигурами женщин, на маленькие домики городской окраины, где не поднималась выше акаций ни одна постройка, и силились представить себе огромные корпуса заводов с грохочущими машинами, новые улицы с высокими красивыми домами и это поле, глубоко перепаханное тракторами. Неужели все это будет в Нальчике, в Кабардино-Балкарии?

— Будет, будет, друзья мои! — говорил Михаил Иванович.

Большие глаза Асслануко светились радостью, он так отчетливо видел в золотом сиянье разгоревшегося утра чудесную картину недалекого будущего!

— А в Затишье, в этой зеленой благодати,— продолжал Михаил Иванович,— следовало бы построить большое учебное заведение, ну, скажем, институт. Это, конечно, со временем будет сделано. Лучшего места для института и не придумать! Сады, аллеи — красота! Только учитесь получше, ребята! Все это теперь ваше!

И опять вспомнил Аслануко: все-таки нужно попрощаться с Михаилом Ивановичем! Хорошо слушать его мудрую отцовскую речь, хорошо стоять здесь, возле ароматных грядок, под горячим солнцем, но все-таки надо уходить: и так они отняли много времени у Михаила Ивановича. Аслануко сорвал несколько красных маков — самых крупных и ярких — и протянул их Михаилу Ивановичу. Потом они прощались за руку. Михаил Иванович держал его маленькую суховатую загорелую руку в своей крупной, плотной, сильной руке и говорил, как со взрослым,— ласково и серьезно:

— Ну, мы еще увидимся, дорогой! Я обязательно побываю в вашем учебном городке! На днях буду у вас! А за клубнику, за грядки спасибо! Сообща — это очень важно. Молодцы!

И все ребята друг за другом подали руку Михаилу Ивановичу.

— Прощайте!

— До свиданья!

— Прощайте!

Они пошли, то и дело оглядываясь. Пыль на дороге уже сильно нагрелась, было горячо и босым ногам, и лицу, и обнаженным выше локтя рукам. Оглянувшись, Аслануко увидел, что Михаил Иванович еще идет к даче, идет медленно, погруженный в свои думы. Вот виднеется и дача, залитая ярким солнечным светом, вон переливается разными цветами стеклянная веранда... И опять стало радостно Аслануко.

— Я скоро поеду в Москву учиться,— сказал он ребятам.

— Я тоже! — ответил Казбек.

Каждый из них был готов и учиться и сделать что-нибудь большое, необыкновенное.

Прежде чем подняться на веранду, Михаил Иванович остановился возле ограды и, облокотившись на нее, посмотрел вслед своим гостям. Ребята ушли уже далеко и теперь были похожи один на другого, только чуть выделялась высокая фигура Аслануко. «Весь в отца — вожак, живой, смышленый»,— подумал Михаил Иванович, любуясь мальчиком, и вынул из кармана записную книжку. Написав два слова: «Москва, рабфак», он тут же проставил: «Аслануко», а также имена всех друзей звеньевого.

Золотой день разгорался.

1949

НОВЫЙ ПОТОК

1

Прошумел буйный теплый дождь, с нестрашной грозой, с веселыми ручьями, и опять засверкало солнце. Небо, горы, деревья и травы, большие камни и мелкие песчинки — все было залито горячим, влажным, смеющимся весенним светом, всюду лучились и танцевали живые, золотые искорки.

Ливень застал Аслануко на вершине горы, носившей старинное название — «Приют шайтана». Сменный инженер промок до нитки; несколько раз поскользнувшись, выпачкался в глине, даже немного ушиб колено — и все же был в отличнейшем настроении: опасались оползня, а на поверку и признаков этой угрозы не оказалось. Грунт держался прочно. «Шайтан» не подвел.

Радостно возбужденный, охваченный теплым паром земли, Аслануко быстро спускался вниз. Под ногами бежал игривый, желтопенный поток, и Аслануко прыгал через него, будто состязаясь с ним в резвости. Жаркие лучи солнца били прямо в глаза. Чтобы разглядеть, что делалось внизу, нужно было смотреть из-под ладони. Инженер останавливался, сдвигал на затылок свою золотистую, в бусинках дождя каракулевую шапку, прикладывая руку козырьком к розовому вспотевшему лбу, и смотрел, смотрел в долину. Там, на обширной площади, по соседству с белогривой горной рекой, кипела большая работа. Прозрачным, безлистым лесом поднялись стройные металлические конструкции, взад-вперед сновали неугомонные автомашины, загорались, ослепительно вспыхивая, голубые огни, и всюду копошились люди: на лесах, на площадках, на поднимающихся стенах.

Стороннему наблюдателю трудно было бы что-либо понять в этом скоплении узорчатых железных вышек, красных кирпичей, белых бревен, геометрически правильных канав, в этом непрестанном и, казалось, суматошном движении машин, подвод, человеческих фигур. Но Аслануко все здесь было понятно.

В кажущемся хаосе он видел стройность и целесообразность, он узнавал участки работ, мысленно связывал их воедино, понимал, куда и зачем мчатся машины, что делают рабочие. Вон мотовоз тащит цепочку вагонеток, нагруженных гравием. Вон на взгорье вспыхивают яркие синие звезды, взглянешь — и зажму-

ришься,— это работают электросварщики. Вон плотники сооружают опалубки для бетона — солнце играет на топорах...

...Разнообразные звуки доносились до слуха Аслануко: грубоватое тарахтенье бетономешалок, пронзительно свирепый визг механических пил, неожиданные гудки мотовозов — неумолчный шум, создаваемый движением различных инструментов и механизмов, человеческими голосами.

Сменный инженер видел и слышал всю размашистую строительную площадку с ее беспокойной, напористой жизнью; видел крыши, садики и проулки родного селения, которое, казалось, с робким любопытством приглядывается из-за реки к новому, шумному соседу; видел, как издалека, от синих гор, протянулась прямая лента деривационного канала: еще немного — и по нему пойдет вода. Она упадет своей живой, неубывающей тяжестью на турбины, и тогда родится сила, которая засияет голубым светом в домах и на улицах, запоет в моторах заводов и фабрик...

Аслануко щурился от ярких солнечных лучей, скорым шагом спускаясь с горы. Внимание его привлек экскаватор. Эта огромная умная машина пользовалась особым уважением сменного инженера. Именно ее стальными челюстями и удалось прогрызть в неподатливом грунте длинную ленту канала, выбрать тысячи кубометров глины, песчаника, гравия.

Но почему же сейчас экскаватор не работает? Такое горячее время, а он стоит, задравши хобот, не шелохнется! Черт знает что такое! Вглядываясь, ускоряя шаг, Аслануко почти крикнул:

— Цару! Опять Цару! Ну и задал же ты нам хлопот, вздорный старикашка!

Сменный инженер ясно различал теперь всю картину: мощная машина уперлась в ветхий плетень, заросший бурьяном, и перед ней топтались, горячо жестикулируя, двое: один — небольшой и старый, другой — высокий и молодой.

«И чего же ты опять расходился, Цару? Кажется, совсем договорились, все уладили — и вот тебе, пожалуйста!» — Аслануко и злился и удивлялся, чуть не бегом спускаясь с горы. На полпути остановился, словно вспомнив что-то неотложное, и повернул к строительной площадке.

2

Громоздкая машина стояла с высоко поднятым ковшом, будто рассерженный слон-великан с поднятым хоботом. Она сдержанно клокотала, попыхивая синим дымом, подрагивая своим железным туловищем, готовая подмять под себя и нехитрые узоры ветхого покачнувшегося плетня, и заросли зелено-сизого ощетинившегося бурьяна, возле которого топтался маленький старик.

Цару Котов стоял перед машиной, широко расставив ноги, обутые в сыромятные чувяки, крепко сжимая длинный чинаровый

посох. Тощая бородка его тряслась, слезящиеся, с припухшими веками глаза метали искры гнева. Казалось, он отмахивается посохом от разъяренного буйвола.

— Не пущу! Не пущу! — хрипло выкрикивал старик.

— Ну и чудеса,— сказал машинист,— ведь ты же сам согласился, что эта хибара никак не лучше того дома, который дают взамен.

— Нет! Назад! Поезжай назад! Не нужно мне другого дома! — И Цару замахнулся посохом на высокий чугунный ковш.

— Постой же, сколько раз мы с тобой толковали...

— Назад поворачивай! — Подпрыгнув, старик ударил по ковшу своей длинной палкой, но тот даже не покачнулся.

— Постыдись, отец, ведь над нами смеются! — сказал машинист укоряюще.

Мимо прогрохотала белесая от известки трехтонка, полная парней и девчат. Многие из них в самом деле весело смеялись, показывая белые зубы. И кто-то шутливо прокричал:

— Эх, Биляль, Биляль! Не пускают тебя в родительский двор!

Машинист экскаватора Биляль, смуглый черноволосый парень в синем комбинезоне, смущенно махнул рукой, натянуто улыбнулся, покраснел, в досаде сжал губы: «Ну и канитель! Хоть смейся, хоть плачь!»

— Это же нелепо, отец,— снова заговорил он, отмахиваясь от пыли, поднятой грузовиком.— Я уже пять километров прошел. Неужели не пройду этот жалкий клочок земли?

Биляль с гордостью оглянулся назад. Гигантским следом его машины пролег прямой, как натянутая струна, глубокий канал. Ярко-оранжевый песок, желтая и красная глина, черный слой земли, большие и малые камни, дикие корни кустарников и чертополохов — все это вывернула, разворотила железная, непреклонная сила, которую доверили его рукам, его уму. Вдали работали люди, спешно бетонировали стены и русло канала. Скоро здесь побежит буйная горная вода, новый, невиданный поток. И он, Биляль, житель этой долины, вчерашний пастух, ведет за собою новую реку — электричество, свет, радость! «Что же ты упираешься, несговорчивый старик? Как не поймешь самой простой, такой понятной вещи?»

— Перестань, отец. Ведь тебе же объяснили... Инженер Аслануко, сам начальник строительства.

— Назад! Не пущу! Я все позабыл! Ничего не говорите мне! Назад! — суматошно выкрикивал Цару, маленький и смешной со своим большим посохом.

Морщась от раздражения и досады, сын смотрел то на отца, то на усадьбу, перед которой воинственно петушился рассерженный старик. Что же он видел перед собой? Жалкий плетень, а за ним такую же жалкую, кривобокую хижину с истлевшей камышовой крышей. Рослые сорняки бесцеремонно укоренились на самом

гребешке ее и теперь, колыхаясь под ветром, словно смеялись в глаза Билялю: «Попробуй, возьми нас!» Вот оно, почтенное наследство предков! Вот он, святой отцовский очаг! Дремучая труха — и только!

— Бесстыдник! — кричал Цару, и посох ходуном ходил в его руках — вот-вот опустится на голову машиниста.— Так-то почитаешь ты память деда? Что ты хочешь сделать? Все перевернуть вверх дном, все сровнять с землею? Ты хочешь водою прополоскать наш старинный двор? «Новый дом»! Не хочу никакого нового дома!

Билялъ слушал, и кровь стучала у него в висках, приливала к скулам. Память деда! Ничего обиднее и постыднее, чем эта «память», не знал он. По рассказам отца, матери, соседей, по далеким, смутным впечатлениям детства он хорошо представлял себе унизительную жизнь своего предка. На этом дворе умели только кланяться господину князю и его отпрыскам, выслушивать грозные княжеские окрики, а нередко и свист нагайки. Люди, соорудившие эту лачугу, почитали за честь стоять у княжеского стремени, покорно склонив голову, отяжеленную бедностью и темнотой. Рабский очаг, рабское наследие! Биляль смотрел на вросшую в землю хибару с одичалыми травами на крыше и испытывал только одно чувство — чувство негодования и раздражения, словно эти кривые облупившиеся стены, этот слежавшийся вокруг трубы гнилой камыш впитали в себя все вековое унижение, всю черную тоску его предков и теперь чадили отравляющими запахами сгнивших времен, чадили и мешали ему дышать.

— Да,— решительно крикнул Биляль,— мне нисколько не жаль этого хлама! Да, я готов все перевернуть вверх дном! И пусть горная вода начисто прополощет этот паршивый дворишко! — Он задохнулся, провел тыльной стороной руки по вспотевшему лбу, несколько горячих капель скатилось с его лица на синий пропыленный комбинезон.

Посох замер в руке старика. Озлобленный, удивленный, обессилевший, вперил Цару слезящиеся глаза свои в пылающие глаза сына. Он видел перед собою высокого, сильного, гневного молодого человека — джигита, своего сына, наследника, родную кровь; видел за его плечами огромную, могучую стальную машину с грозно поднятым ковшом; видел уходящий вдаль прямой и глубокий канал — неуклонную желто-оранжевую стрелу, прочертившую лицо долины,— видел все это новое, молодое, непоколебимое и не знал, что сказать еще, кроме слов «назад», «не пущу».

Машинист тоже смотрел в глаза отцу, смотрел молча, ожидающе, и жалость шевельнулась в его душе.

— Отец,— заговорил он мягче, тише, машинально приминая сапогом широкий пропыленный лопух,— подумай, отец, как нехорошо ты поступаешь! Канал — это не арба: его нельзя повернуть, куда захочется тебе или мне. Он должен пройти прямо и только через наш двор. Так лежит путь новой воды. А мы будем жить

в другом доме, отец! Повсюду загорится электричество, станет светло и привольно. Отойди, не упрямься, отец!

— Это наследство предков! Это наш очаг! — по-прежнему повторял Цару, но в голосе его уже не слышалось прежнего озлобления и надсадного упрямства.

— Когда я гляжу на этот карагач,— настойчиво, но мягко продолжал Билялъ, показав на кривое дерево, росшее во дворе,— мне все кажется, что он тоже искривился от приниженной жизни, что он тоже впитал в себя рабские соки. Ведь этот клочок земли пропитан позором рабства... Дай, отец, дорогу машине! Дай дорогу горной воде!

В это время робко открылась дверь хижины, и на пороге показалась маленькая старая женщина, укутанная темным платком,— будто выплыла тень из сумеречного угла.

Сердце Биляля дрогнуло: мать! С какими думами, с какой обидой в душе вышла она во двор, тихая, молчаливая? Неужели и она хочет преградить ему дорогу, хочет остановить его кротким светом своих глаз, слабым жестом своей морщинистой руки, своей безмолвной укоризной? В груди Биляля, в горячих толчках сердца, вскипели ласковые сыновние слова: «Матушка! Милая старушка моя! Ты-то, наверно, поймешь все как следует. Тяжко прошла твоя жизнь под этой черною крышей!» И машинист негромко сказал:

— Мама, подойди к нам поближе, рассуди нас.

И тогда Цару опять загорелся гневом. Сердито махнул он рукою: «Иди, иди!» И старушка, тихая, как трава усадьбы, безответно скрылась в низеньких сенях.

Нет, Цару не позволит, чтобы в его дела вмешивалась женщина. Он — хозяин, мужчина, а не тряпка. Он не позволит мальчишке распоряжаться на родовой усадьбе. Он не допустит, чтобы седобородый сосед, его ровесник, смеялся над ним. Вот скрипнет сейчас дверь в соседнем доме, и за ограду неспешно выйдет ехидный старик. Ничего не скажет он Цару, а только молча поглядит на него своими прищуренными глазами: «Ну, что же ты не даешь им прополоскать твой двор?» Нет, Цару не позволит смеяться над собою!

— Назад! Поезжай назад! Не пущу! — И посох Цару снова взметнулся кверху.

3

Аслануко подошел незаметно. Золотистый курпей его папахи искрился, и в черных глазах инженера дрожали, переливались солнечные брызги. Под мышкой он держал черную клеенчатую папку, отсыревшую от дождя.

— Охфох апши [1], почтенный Цару! Как дела, Билялъ? — ска-

[1] Успеха в ваших делах!

зал он учтиво и весело, будто не понимая, что здесь происходит.

Косясь на клеенку «начальнической» папки, Цару ответил рукопожатием.

Инженер завел речь о погоде — теплые дожди хорошо подгонят кукурузу и просо,— о разных крестьянских делах, в которых он знал толк, обратил внимание на крышу хибары — она вот-вот провалится, а потом вежливо, но внушительно сказал:

— Задерживаешь ты нас, дорогой Цару. Нехорошо получается. А сколько уже раз мы говорили! — Он показал на экскаватор.

— Что нехорошо? — вскинулся Цару, бледнея.— Кто вас задерживает? Поворачивайте! Поворачивайте! — И посох ожил, заходил в руках старика.

— Постой, постой, не маши палкою! Ах, какой ты горячий, почтенный Цару! — Аслануко повернулся лицом к строительной площадке.— Посмотри, какую махину мы поднимаем! А ты вот стал на дороге и задерживаешь нас!

— Ступай и ты отсюда! — крикнул Цару, взмахнув посохом.

Инженер попятился, усмехнулся:

— Конечно, ты можешь меня и отколотить, не спорю, старейший. Но зачем же все-таки драться-то. Вон народ собирается — целый скандал!

На дороге остановились выпачканные краской рабочие, подмигивают, отпускают шуточки. Примчались игравшие на камнях ребятишки.

Кто-то из рабочих вспомнил о милиции.

— Хоть и старик, а буянить-то и ему не положено. Милиционера надо позвать!

— Проходите, проходите, товарищи! — уговаривал Аслануко любопытствующих и лукаво поглядел на Цару.— Почтенный Цару пригласил меня в гости, а вы невесть что подумали. Мы сейчас будем сидеть с ним за одним столом и провозглашать тосты. Эх вы, недогадливые!

Когда посторонние в недоумении разошлись, инженер укоряюще сказал:

— Эх, Цару, Цару! Так-то гостей встречаешь — бранью да посохом? Если бы я знал, что ты такой вероломный человек, то, конечно, не подошел бы к этому плетню! — Он носком сапога сковырнул бугорок глины.

Старик с удивлением и испугом посмотрел в глаза инженеру, словно спрашивал: «Так ли я понял тебя? Может, я ослышался?» И, побагровев, хрипло прокричал:

— Да испепелит меня аллах на этом месте! Да поразит меня сам бог! Повтори, что ты сказал?

— Я не знаю, какие у тебя отношения с богом и как он на все это смотрит, а меня ты уже поразил своей неучтивостью. Разучился ты принимать гостей, Цару. До свидания! — Аслануко пошел прочь от ветхого плетня.

Цару замер, окаменел, потом, словно очнувшись, бросился вдогонку за инженером, схватил его за рукав:

— Назад! Назад! Не позорь мои седины! Не позорь мой двор! — И обернулся к сыну:— Эй, Биляль! Скорее пригоняй барана! Того, что с белым пятном на курдюке! Да скажи матери: пускай печку растопит! Поворачивайся, Биляль, быстрей!

— Не надо, Биляль, никуда не ходи! — махнул рукой Асלануко и, согнав с лица угрюмость, улыбаясь, заговорил со стариком:— Ягненка мы всегда успеем съесть, дорогой Цару! Подожди, мы его отведаем, но только в более веселый час, а теперь потолкуем о деле.

Потолкуем. Легко сказать! Инженер взглянул на крохотную усадьбу, обнесенную ветхой плетеной изгородью, на кривые ветви карагача, по-ястребиному распростертые над ней, и невольно подумал: «Как, должно быть, прочно срослась узловатая душа старика с этим клочком земли. Черт возьми, тут каждый виток плетня — суковатая летопись горьких дней — так и цеплялся один за другой, вперемежку со слезами да пóтом. Попробуй отдери — может кровь брызнуть».

— Твоя усадьба, Цару, очень почтенная,— продолжал Аслануко,— мы это хорошо понимаем. Камни предков, жилой дух — все кровно родное. Копоть и та дедами пахнет, мир их костям! Одно плохо: в лощине стоит твоя немудрящая хижина, и ничего-то отсюда не видно тебе. Твоя хата, можно сказать, с бельмом на глазу — глухая, подслеповатая. Пойдем-ка да посмотрим, что делается по соседству...

Аслануко взял старика под руку и повел по каменистой дороге в ту сторону, где шумела стройка. Почти каждую минуту их обгоняли тяжелые грузовики, часто встречались люди, про которых сразу можно было сказать, что они дружат с железом и машинами, что огонь и металл подвластны их руке. Люди эти почтительно здоровались с Цару и с инженером.

— Строители! — коротко пояснял Аслануко.

С дороги они свернули на возвышенность. Оттуда открылся замечательный вид. Белопенная река, играющая среди валунов, была как живая; на одном берегу ее — зеленые сады родного селения; на другом — могучее кипение стройки, вздыбленные железные и деревянные леса, неугомонный бег машин и солнечый свет над долиною — трепещущий, горячий.

— Смотри, смотри, отец! — сказал инженер, забираясь на самую большую каменную глыбу, обрызганную цветистыми пятнами мхов и лишайников. Чтó этот холм, чтó этот вековечный потрескавшийся камень — он хотел бы сейчас подняться вместе со стариком на высочайшую гору Кавказа, на самый Эльбрус, откуда видны два моря и несколько городов в синем мареве бесконечных степей.

— Смотри, смотри, дорогой Цару! — повторял Аслануко, крепко сжимая левой рукой сухую руку старика, а правой пока-

зывая в долину, на строительную площадку.— Тут скоро загорятся такие огни, забурлит такая сила, что вся наша жизнь преобразится, как в чудесном сказании!

Аслануко сдвинул папаху на затылок, словно она мешала ему смотреть и говорить, и начал с жаром рассказывать о строительстве гидроэлектростанции, о великой чести, которая выпала на долю родного селения: ведь отсюда, от порога их жилища, потечет невиданная дедами сила — электричество, она польется во все концы республики, охватит всю округу на сотни километров, засияет на курортах Кавказских минеральных вод и в далеких тучных степях.

Эта сила будет не только светить, но и работать. Она приведет в движение машины на заводах и фабриках, на колхозных полях и токах. Она заменит большие табуны коней. Размечтавшись, разгорячась, инженер помянул добрым словом и удалых искусных предков (мир праху их!) — они дали родине прославленного кабардинского коня, они оставили свой след на вековечных камнях Кавказа.

— Молодцы были, лихие наездники, что и говорить,— продолжал Аслануко,— но у нас дела гораздо серьезнее: мы объезжаем не только горячих скакунов — мы оседлываем непокорные горные реки. Наша узда покрепче будет!

Инженер весь просиял улыбкой, повернулся к Цару:

— Эх, отец, отец, а ты о своем плетне хлопочешь!

Цару стоял на камне сосредоточенный, молчаливый. Он видел и свою крохотную усадьбу, и широкую площадку строительства, и прямую стрелу канала, упершуюся оранжевым острием в его плетень. Видел он и большую машину — экскаватор, и своего сына, нетерпеливо похаживающего возле железного слона. Старый человек смотрел, сравнивал, вспоминал, но ничего не говорил молодому инженеру, с которым стоял плечом к плечу.

Тогда Аслануко снова заговорил, и в голосе его опять зазвучала горячая, покоряющая убежденность:

— Если бы, уважаемый Цару, мы с тобой могли подняться на такую высокую гору, откуда можно было бы видеть всю страну!..

Инженер говорил о богатырских делах советской родины, о том, как преобразилась по воле большевиков вся необъятная наша земля. Он говорил о новых городах, возникших в непроходимых лесных дебрях и пустынях, о гигантах заводах, где огненными потоками бежит расплавленная сталь, о могучих машинах, бороздящих необозримые равнины. Аслануко показывал на восток и на запад, на север и на юг — во все стороны простиралась земля Советов, светлая и творящая, отовсюду веяло ее животворным дыханием.

— Советское электричество,— говорил Аслануко,— осветит не только города, селения, улицы, жилища. Станет светлее и в душе людей. Вот подожди, дорогой отец, построим мы гидростанцию, и, может быть, твой сын станет у щита управления. Нажмет на кнопку — и заработают станки на заводах, побегут электропоезда, на

поля выедут электрические пахари. Чудесная жизнь у нас будет!

Цару молчал, и Аслануко на минутку умолк, вглядываясь в сухие, жилистые руки старика.

— Цару,— начал он негромко,— вот смотрю я на твои руки и думаю: сколько тяжелой работы видели они. Одна канава вокруг усадьбы чего стоила! Всё они, руки. Каждая жилка надрывалась! И всего-то только канава вокруг маленького клочка земли. А погляди, что твой Биляль сделал! — Аслануко показал на прямую линию канала, теряющуюся вдали.— Погляди, какую канаву прорыл он! И руки его не натружены, как у тебя! Машиной работал он! Да он сотни километров пройдет со своим железным другом! Великая сила теперь в наших руках! — И снова умолк Асланукo, словно вспоминая что-то.— Я думаю о твоей хозяйке, Цару,— сказал он.— Ты еще держишься, ты еще прям станом. А твоя жена совсем согнулась. Ее сгорбили бесчисленные кувшины воды, которые она носила из реки. Наши женщины не будут горбиться под этой тяжестью. Электричество подаст воду в самый дом. Отвернул кран — и пожалуйста, вот она, светлая струя!

Инженер мог бы без конца говорить о благах, которые несет человеку новая жизнь, но его перебил Цару.

— Эй, Биляль! — крикнул старик не громко, но так, что слышно было внизу.— Скажи матери, чтобы приготовилась встретить гостя! Да пошевеливайся там, Биляль!

Машинист поднял голову, прислушиваясь, и сделал несколько шагов на голос отца.

— Ягненка гони, Биляль! — повторил Цару громко.

— Не надо! — крикнул инженер.— Не надо никакого ягненка. Забирайся к нам сюда!

Когда раскрасневшийся Биляль поднялся на каменную глыбу, Аслануко, лукаво улыбаясь, поблескивая искорками глаз то на старика, то на его сына, степенно начал:

— Твой уважаемый папаша, товарищ машинист, приглашает меня в гости. Он все время хлопочет насчет какого-то замечательного барашка с белым пятном. Не спорю, этот ягненок достоин того, чтобы мы его съели за веселым столом. Но ты погляди,— он показал вниз, на старенькую, приплюснутую хижину,— по-моему, туда опасно и заходить: рухнет — костей не соберешь. Толкнет корова рогом в стену — только пыль взовьется!

— Я тоже так думаю,— понимающе ухмыльнулся Биляль,— в наш дом заходить рискованно.

Цару с недоумением глядел на обоих молодых людей и не знал, что ответить им. Дом его в самом деле непривлекателен.

— Вот в каких домах надо теперь жить! — сказал инженер, расстегивая свою клеенчатую папку.

Он вынул сложенный в несколько раз плотный лист голубой бумаги и разостлал его на теплом шершавом камне.

На листе красовался чинный ряд белых домиков с большими

окнами, с узорчатой изгородью палисадников, с проводами над крышами. Налетевший ветерок загнул было уголок листа, но Цару и Биляль одновременно положили на него свои руки, удерживая его.

— В таком домике и гостя не совестно принять. Правда, почтенный Цару? — спросил инженер.

Цару молчал, всматриваясь в голубой лист со сказочным узором, ощупывая его своими огрубелыми пальцами.

— Ну как, хороши наши дома? — продолжал Аслануко, наклоняясь рядом со стариком, касаясь его плеча своим плечом.— А теперь давай посмотрим, какие они не на бумаге, а на самом деле!

Инженер взял Цару под руку и повел его еще выше, с камня на камень. Биляль шел рядом с ними — сильный, стройный и ловкий.

Последние шаги — и за поворотом показались зеленые сады и опрятные, красивые домики, такие же, как эти — на голубом шуршащем листе бумаги. Только они были настоящие, с белыми, будто бы светящимися стенами, с красными черепичными крышами, и настоящие, живые птицы весело носились над ними в синем горячем небе.

Старик внимательно и с изумлением смотрел то на бумагу, которую инженер все еще держал в руках, то на чудесный поселок, рождающийся неподалеку, в свежей зелени садов, в живых солнечных струях. Цару уже не раз слышал, что строится этот поселок, ему уже не раз предлагали осмотреть все своими глазами, но он только раздраженно отругивался. А теперь новые дома наяву стояли перед ним и словно стыдили его за озлобленное упрямство: «Что же ты упираешься? Мы не сон, не выдумка речистого инженера, а самые подлинные дома!»

И больше всего Цару был поражен тем, что рисунок с бумаги будто бы перешел на землю, расширился, разросся, превратился во что-то осязаемое, и дома воображаемые стали домами настоящими. Вот они какие, эти инженеры, машинисты, расторопные парни в синих комбинезонах!

— Ну, какой тебе нравится, отец? Выбирай! — сказал Аслануко.

Цару недоумевающе посмотрел на него.

— Я говорю,— повторил инженер,— выбирай себе домик, какой больше нравится!

— Тут моего дома нет,— медленно ответил Цару.

— Нет, есть, дорогой отец! — воскликнул инженер и вытащил из папки маленький листок бумаги.— Вот смотри сюда, это выписка из приказа начальника строительства. Вы — Цару и Биляль — получаете новый дом вместо своей почтенной, но дырявой хибары!

Улыбка заиграла на смуглом лице Биляля.

— Значит, пускаешь нас во двор, отец?

Цару сурово насупился, что-то мучительно обдумывая.

— Ну что же ты, отец?

Старик молчал. Молчал он, не зная, как выпутаться из создавшегося положения: «Если скажу, что уступаю, подумают, что позарился на новый дом; а откажу — опозорю себя и сына,— не оберешься людских пересудов. Скажут, не мог пожертвовать покосившейся хибаркой ради блага народа и сохранения чести родного селения»,— размышлял Цару.

«Что же делать? Как быть?» — мучительно продолжал думать он, опустив голову. Потом медленно приподнял ее, нерешительно выпрямился. Посмотрел грустными глазами на инженера и тихо произнес:

— Вы меня не обижайте, вы еще молодые,— сказал он с укором.— Красивый дом — это хорошо. За это спасибо большому начальнику. А старика не надо обижать. Цару и так отойдет от старого плетня!

И Аслануко и Биляль не скрывали своей растерянности: в чем же дело? Почему так обиделся Цару?

— Я никогда не был корыстным и завистливым, жадным на чужое добро,— продолжал Цару задумчиво,— не за богатый дар отойду я с дороги, а по совести и чести своей души. Не надо вам обижать старика!

Инженер размашисто обнял его.

— Прости, дорогой отец! Ты не совсем понял нас! Мы нисколько не затронули твоей чести. По решению начальника в новый дом переселяется ударник строительства Биляль Котов, а его родителям тоже полагается подходящее жилье вместо прежнего. Таков советский закон, дорогой отец.

Цару молчал, раздумывая, потом улыбнулся, махнул рукою.

— Если так, то заводи, Биляль, свою машину!

4

Цару стоял у порога, с достоинством придерживая левой рукой узорчатый истертый кинжал. Он был важен, прям и по-прежнему казался сурово-сердитым: темные запавшие глаза его колюче поблескивали из-под седых косматых бровей.

Во двор начали собираться гости. Первым вошел председатель колхоза — веселый седоусый толстяк Бата, которого русские добродушно прозвали Батей.

— Салам, почтенный Цару! — еще издали крикнул он и, схватив руку старика, произнес коротенький хох: — Пусть долголетнее счастье совьет себе гнездо под крышею этого дома! Пусть этот белый фундамент пустит глубокие корни! Вековечные! Из рода в род!

Цару ответно пожимал горячую мясистую руку Бати и, кивая головой, повторял:

— Добро пожаловать, председатель!

Потом его сухая, узловатая рука очутилась в молодой руке учителя Бетала. Высокий, чернобровый, с румянцем, как у девушки, учитель, приветливо глядя в глаза Цару, сказал певучим голосом:

— Нашим старцам за совет и за труд — любовь и забота! В домах светлых им проживать! По садам по зеленым прохаживаться! Пусть вечер их жизни будет тих и покоен!

Недаром статный красавец тонко знал не только большую книжную науку, но и обычаи народа. Бетал сдержанно улыбнулся. Чуть улыбнулся и хмурый Цару. А тут опять подавай руку, опять выслушивай хохи! Пришли, опираясь на палки, степенные старики соседи в поблекших черкесках, сохранившихся еще от юности. Пришли механики со строительства — друзья Биляля, крепкие парни, щеголявшие ладными городскими костюмами и цветастыми галстуками. Пришли председатель и секретарь сельского Совета, которые еще совсем недавно порицали упрямого Цару. Просторный, в пятнах извести двор скоро наполнился негромкими, но веселыми голосами.

Гости внимательно осматривали новый дом. Старики, прохаживаясь от угла к углу, постукивали согнутыми пальцами по ровной белизне штукатурки и одобрительно кивали головами. Учитель заметил, что окна смотрят прямо на солнце, что они, широкие и светлые, были бы под стать любой школе. Низкорослый, грузный Батя поднял руку, пытаясь дотянуться до крыши. Куда там! Только побагровел от натуги. Батя засмеялся сам, засмеялись и другие. Сельсоветчики предлагали будущей осенью посадить под окнами деревья, лучше всего, конечно, яблони: зацветут — не надышишься! Каждый любовался новым домом, хвалил его, давал советы хозяину.

Никогда еще старый Цару не принимал столько гостей, не выслушивал столько приветствий. Прежде маленький, незаметный, ощетиненный, он казался теперь и ростом выше, и лицом свежее, и осанкою дороднее. Расправив сухие старческие плечи, обтянутые сукном синей черкески, горделиво подняв голову, покрытую добротной кабардинской папахой, он пристально смотрел на крышу своего нового дома — на высокую черепичную крышу, жарко подрумяненную лучами заходящего солнца. Над нею с пронзительным свистом проносились черные стрижи. Над нею курился, возносясь к золотым вечерним облакам, голубоватый столб дыма. Это курился, дышал теплом и довольством его новый очаг, новый приют его старости. Нет, он не ошибся, он знал, что делает.

— Эй, Биляль, поди-ка сюда!

Сын остановился — раскрасневшийся, потный от хлопот по устройству пира.

— Печка хорошо топится? Не дымит? — спросил Цару, насупив брови.

Смуглый машинист выдержал строгий взгляд отца и чуть улыбнулся: зачем спрашивает старик, ведь сам видит, как вольно поднимается дым. Эта безвредная хитрость развеселила парня.

— Дымит, дымит, отец! Вон сколько дыму! — ответил он, показав на крышу.

— И хитрый же ты, Биляль! — сказал Цару, с притворной укоризною покачав головой.

— Ты, отец, хитрее!

Оба — и старый и молодой — дружно засмеялись.

Во двор пришли еще двое мужчин: сменный инженер Аслануко и начальник строительства Михаил Иванович. Это были те, кого нетерпеливо ожидали и хозяева и гости.

Цару — прямой, торжественно-спокойный — выступил из толпы навстречу им.

Старый горец в праздничной черкеске и пожилой, с белоснежными висками, начальник строительства одновременно протянули друг другу руки, встретились взглядами.

— А ты тоже побелел! — сказал Цару, всматриваясь в посеребренную голову гостя.— Это ничего! Седина у джигита что дорогая оправа у кинжала. Мало спишь, все думаешь, начальник!

— Приходится, должность такая,— ответил Михаил Иванович, нарочито хмуря лоб и сдерживая улыбку.— Рад, очень рад приветствовать родителя одного из наших самых боевых ударников и от души поздравить вас с новосельем! — Михаил Иванович быстро взглянул на крышу, на веселых черных стрижей.— Хотя надо заметить, что этот расторопный молодой товарищ,— начальник строительства нашел глазами Биляля,— отнесся довольно-таки непочтительно к отцовскому очагу: взял да и провел реку во двор! Ах, Биляль, Биляль!

Все поняли шутку, одобрительно заулыбались, закивали головами, а повеселевший Цару схватил Михаила Ивановича под руку и повел в дом. Старики, Асланyко, Биляль, сельсоветчики, механики — все двинулись следом за ними.

В большой комнате, пахнущей свежей штукатуркой, непросохшей краской, недавно вымытыми полами и горячим хлебом, сразу сделалось тесно. Цару толкнул еще не окрашенную дверь — открылась вторая комната, поменьше. Молодежь, словно сговорившись, чинно пошла туда. Старики начали рассаживаться за столы в просторной комнате.

Струился, таял тот кроткий предвечерний час, когда солнце уже зашло за горы, но еще не погасло. Алый свет тихо догорал на стеклах раскрытых окон, а под окнами мерцающими столбиками толклись дремотно смирные мошки. Можно зажигать лампу, но можно еще и подождать. Отсветы зари падают на стеклянную посуду, на серебряные узорчатые пояса и ножны кинжалов, и глубоко запавшие глаза старых людей ответно светятся задумчивыми улыбками.

Цару подвел Михаила Ивановича к новому, еще не обтертому локтями креслу, что стояло в голове сдвинутых столов, и почтительно сказал:

— Садись, тамадой будешь!

Начальник строительства только руками развел:

— Вот те на! Позвольте, друзья мои...

— Садись, садись! Главным будь! — дружно заговорили старики.

— Садитесь, Михаил Иванович! — сказал, смущенно краснея, Биляль.

— Ну что ж.— Начальник весело, озорно блеснул глазами.— У нас не принято отказываться ни от работы, ни от чести. Только учтите: я тамада строгий!

И опять все одобрили его речь.

На правах тамады Михаил Иванович посадил рядом с собою по правую руку седовласого Цару, хозяина, старейшего в роде, а по левую — пышущего здоровьем, с веселыми слезинками в глазах, шумного Батю: «Он половину колхоза привел на стройку». Цару поймал за пояс почтительно стоявшего Асlануко и притянул к себе:

— Садись рядом, пострел!

Инженер шутливо уперся:

— Сначала скажи, уважаемый Цару, где твой длинный посох?

О горячем споре на старой усадьбе знало большинство гостей. Лукавые искры пробежали во взорах. Уж этот Аслануко!

— Мой посох там остался. Уплыл теперь! — ответил Цару, махнув рукою на окно, и по-стариковски дробно рассмеялся.— Садись, садись, не бойся!

— Кто прошлое помянет, тому глаз вон! — подмигнул Аслануко Михаил Иванович.

Батя тоже отпустил какое-то остроумное словцо на родном языке по поводу увесистого посоха. Стало еще веселее.

Молодой инженер втиснулся между дедами.

Сияющий, румяный Биляль, встряхивая налезавшей на брови мокрой прядью волос, то скрывался, то появлялся в дверях, откуда вместе с кухонным чадом доносилось шипение и клокотание жира. Расторопный машинист и тут радовал отца своею плавной, какою-то танцующей ловкостью: тарелки с дымящейся бараниной словно вырастали перед гостями. Живой, благодатный пар поднимался к потолку, еще не обжитому, не успевшему впитать тепло человеческого дыхания, насыщал запахом еды сумеречный воздух комнаты.

Перед тем как внести кувшины с медовухой, Биляль зажег лампы. Глазуревый глянец кувшинов, покрывшись пленкою влаги, теперь поблескивал смутно, приглушенно. Кудрявая пена, взбухая из глиняных горл, напоминала буйное цветение дикой бузины, а сползая по древнему орнаменту, выжженному искусным гончаром, была похожа на порванное нарядное кружево — бродили, вскипали

хмельные соки просяных полей и майских лугов, соки старой кавказской земли. Отпугнув затрепыхавшуюся над кувшином мохнатую ночную бабочку, Билялъ наполнил большую деревянную чашу и поставил ее перед Михаилом Ивановичем. Чаша тоже была украшена скупым, сурово выразительным рисунком горного племени: крутые завитки, повторяя упругие изгибы бараньих рогов, соединялись в красивую цепочку-поясок, которая терялась в наползающей пене.

Михаил Иванович поднял чашу и сам поднялся — добродушно-строгий и торжественный. Кремовая пена, истаивая пузырьками, стекала у него по пальцам; руки начальника — смуглые, костистые, с рисунком трудовых жил — были под стать тяжелой расписной чаше, обожженной глине кувшинов, веселому медвяному соку.

Цару, Асłануко, Билялъ, Батя, все гости тоже встали, молчаливо-торжественные, сосредоточенные.

— За здоровье старого труженика! За счастье его семьи! — сказал Михаил Иванович, отпил из чаши и передал ее в руки Цару.

— И за твое долголетие, главный! — ответил старик и тоже отпил из чаши.

От него она пошла дальше по кругу — из рук в руки, от уст к устам, напутствуемая добрым словом, согретая теплыми ладонями. Каждый бережно, почтительно принимал ее от соседа, светлея лицом, произносил свое слово, немного отпивал и передавал другому соседу. Тянулась, опоясывала застолье невидимая нить. Круг замкнулся на Бате — к нему чаша пришла уже пустая. Под одобрительные возгласы Билялъ немедленно наполнил ее до краев. Пена хлынула на толстые, красные пальцы председателя, он ненадолго погрузил свои белые усы в пушистую влагу и, подняв голову, багровый, веселый, со смеющимися слезинками в глазах, подал чашу Михаилу Ивановичу.

— Ты начинал, тебе и кончать, тамада! Выпей за быструю воду, которую ты запрягаешь в стальные оглобли.

Всем очень понравилось слово остроумца Бати. Улыбнулся и Михаил Иванович, принимая чашу. Только было в его улыбке что-то загадочное, словно собирался он сказать нечто неожиданное.

— Нет, друзья мои,— произнес он,— закончить наш добрый круг должен человек, который еще и не прикоснулся к этой почетной чаше. А такой человек тут есть. Мы о нем, к сожалению, и не вспомнили!

За столом произошло движение. Сосед посмотрел на соседа. Сдвинулись брови у стариков. Зашептались друг с другом молодые. Кто же этот человек? Кого обнесли чашею? В наступившей тишине ясно послышалось шипенье горячего жира на кухне.

— Мы не вспомнили о той,— продолжал Михаил Иванович,— чьим искусным трудом приготовлен этот чудесный напиток, чьей

грудью вскормлен вот такой молодец.— Начальник метнул взгляд на Биляля.

— Мама,— прошептал Биляль, смутившись,— она не пойдет.

— Пойдет, надо только хорошенько пригласить. Как думает уважаемый хозяин? — Михаил Иванович остановил свой взгляд на Цару.

Старик махнул рукою.

— Зови, Биляль!

Через минуту машинист возвратился.

— Мама не идет.

Михаил Иванович вылез из-за стола, молодцевато расправил плечи.

— У тамады власть большая: пойдет! — и шагнул в дверь, в облачко духовитого пара.

Прошла минута, другая — на пороге показалась старая женщина в черном глухом платье, покрытая черным платком. Кивая головой, чуть слышно шепча: «Приятной компании», она пыталась уступить дорогу начальнику строительства, а тот, сдержанно веселый, вежливо сторонился.

— Ну-ка, дорогая мама, занимай подобающее тебе место! — И, взяв ее под локоть, подвел к столу, на почетный край, где остановилась праздничная чаша.

Она не села.

Робкая, смущенная, она продолжала стоять под взглядами множества глаз — и радостно-молодых, сыновних, и задумчиво-суровых, старых, умудренных долгими годами труда и лишений. Свет лампы мягко падал на ее лицо, руки, на глаза, полные тихого, догорающего материнского света, и все видели ее морщины — сухие русла протекших слез, видели тонкие сплетения старческих жил — ветви давно отцветшего дерева. «Эх, мама, мама!» — с какой-то скорбной нежностью подумал Биляль. Михаил Иванович почтительно подал ей чашу. И круглая чаша в ее руках была тиха и покойна, только чуть-чуть поблескивала красная глазурь нарядных узоров,— не расплещется, не упадет ни одна капля. «Вот так она держала чашу жизни... жизни своей семьи, своего рода,— смутно мелькнуло в душе Михаила Ивановича.— Скудный, закопченный уголок... Тлеет бедный огонь под камышовой крышей... Тьма, тьма — сердце тоскует от жалости... И все же не погас очаг, не высохла чаша...»

— Выпей, мать, за всех сынов! За этих, близких,— он протянул руку над столом,— и за тех, дальних! — показал на распахнутое окно.— Много их у тебя!

С доброй улыбкой поднесла она чашу к своим губам и тут же передала ее Михаилу Ивановичу.

— Выпей, ласковый!

Взяв чашу, он взволнованно поглядел в глаза старой женщине, поклонился ей и воскликнул:

— За наших славных, добрых матерей! Они сохранили нашу жизнь в самую черную, холодную ночь!

Опять понравилось всем слово начальника. Веселье прошло по лицам. Чаша возвратилась на свое место — круг сомкнулся по-настоящему. Биляль подкрутил лампу. Стало еще светлее.

— А вода шумит,— хитро сказал раскрасневшийся, подгулявший Батя, прильнув к раскрытому окну.

В тишине ясно слышался певучий шум горной реки.

Цару тоже прислушался.

— Шумит, шумит вода!

Острые искрящиеся огоньки поблескивали в глазах Асlануко. Инженера так и подмывало вставить свое словцо насчет горной воды, которая отлично пошла по новому руслу, хотя и основательно потревожила кое-кого из стариков, но удержался. Как видно, седобородые сами хорошо понимают, что произошло. Пусть же раздольно текут ликующие часы вечернего пира! Пусть играют улыбки!

На столах заколыхалось в бокалах вино предгорных виноградников, полились серебристые мелодии гармоники. Стало совсем весело.

Вскоре Биляль поставил перед тамадой последнее блюдо кабардинского праздничного стола, почетное блюдо, освещенное обычаями далеких времен,— вареную баранью голову. Горячий душистый парок обвеял лицо Михаила Ивановича. Начальник озадаченно покачал головой. Ох, эта замысловатая штука! Тут надо поработать не только ножом. С согласия всех гостей он подвинул поднос к Цару.

— Расправляйся с нею, старейший!

Важный, сосредоточенный, поднялся Цару, закатал легкие рукава черкески, вытащил из ножен висевший возле кинжала маленький ножичек и ловко отделил хорошо оскобленное, чуть подгоревшее на огне баранье ушко. Подняв его на кончике лезвия, внимательно оглядел молодых. Кто же за столом самый молодой? Кому отдать ушко, как требует древний обряд? Бетал, Аслануко, Биляль... Взгляд его остановился на сыне.

— Бери, пострел, да слушай прилежнее старших! В три уха слушай — набирайся мудрости!

— Слушай, слушай, Биляль! — сказал Аслануко, улыбаясь, украдкою шепнул машинисту на ухо: — Слушайся, но не во всем!

Водитель экскаватора вспомнил канительную сценку у старого плетня, улыбнулся. Усмехаясь, начал жевать хрустящее ушко.

А Цару тем временем уже отделил язык, сочный, сладкий, пропитавшийся наварным соком язык, и смотрел, кому бы отдать его. Встретился взглядом с Аслануко.

— Ты сладко говорил со мною, инженер. Твой разговор поднял меня на гору и привел в этот дом. Говори так всегда! — И протянул ему сладкий кусок.

Под общее одобрение Аслануко взял его, отведал.

— Правда, сладкий язык! Но вот в чем дело-то: нам частенько приходится высказывать и горькие истины.

— Добавь перцу! — сказал багроволицый Батя.

— Перцу, перцу! — раздались голоса.

Между тем Цару старательно разделывал ножом голову. На руках его надулись жилы, лоб покрылся бисеринками пота. Он с хрустом отделил четвертинку головы и положил ее на тарелку Михаила Ивановича, глазом кверху.

— Народ наш так говорит,— начал Цару,— если сердце не смотрит, и глаз не увидит... Коммунисты научили наши сердца видеть большую жизнь. Прозрев сердцем, мы увидели ясный день, и нам стало отрадно. Возьми этот кусок, уважаемый начальник! Ты за этим столом самый старый коммунист... Пусть зоркими будут твои глаза!

Послышались одобрительные возгласы. Михаил Иванович поднялся и крепко обнял старика.

— Спасибо, от всей души спасибо, отец!

Молодежь вышла танцевать на улицу. Нежные мелодии доносились через раскрытые окна вместе с потоками свежего ночного воздуха. Из пушистой тьмы выпархивали пушистые, трепещущие бабочки и кружились у ламп, пьяные от света и тепла.

Последними встали радушный хозяин и его почетные гости. Цару, Аслануко и Михаил Иванович вышли во двор.

Было тихо. Июльская луна стояла над темными зубцами Шайтан-горы, одна половина каменной громады казалась одетой в черный бархат, а другая светилась, словно расшитая потускневшими золотыми галунами. Песчаная площадка двора с белыми известковыми пятнами, пологая черепичная крыша, разделенная наискосок тенью от трубы, белая каменная изгородь, искусно выложенная руками мастера, прозрачный, ласкающий ночным холодком воздух — все, все было заткано, прошито тончайшими лунными нитями, все было напитано жемчужным светом полуночи.

Михаил Иванович шел с обнаженной головой, виски его поблескивали, как серебряные.

— Хорошо! — сказал он, вдыхая полной грудью прохладный воздух.

— Я часто думаю,— ответил Аслануко,— с чем можно сравнить наш воздух... вот такой ночью, когда светло и прохладно. Знаете, что мне вспоминается? Арбуз! Да, арбуз, спелый, сочный, ароматный, с холодком. Пьешь и не напьешься!

Цару шел молча. Прямой, строгий, он не вступал в разговор, оставаясь наедине со своими думами.

За воротами Михаил Иванович остановился, протянул руку.

— Спокойной ночи, дорогой хозяин! Счастливых тебе снов в новом доме!

Цару покачал головою.

— Нет, пойдемте дальше. Хочу посмотреть воду...— И первым зашагал по тропинке, которая вела к деривационному каналу.

При лунном свете вода, заключенная в бетонный желоб, казалась зеленой шелковой лентой, унизанной серебряными блестками, казалась живой, неустанно бегущей бесконечной лентой.

Все трое остановились на цементном выступе стенки.

Аслануко присел на корточки, опустил руку в воду.

— Ледяная, сильная! Так и тянет.

Цару глядел в ту сторону, где возле прямой стрелы канала высилось окутанное лунной дымкой темное дерево. Карагач — дерево его усадьбы... Это все, что осталось от гнезда предков... Вода поблескивала, шевелилась и бежала, бежала вперед, покорная, сильная, работящая. Старик отвернулся, поглядел в другую сторону, куда неудержимо мчалась зеленая, сверкающая серебром лента. Там сияли огни, множество огней, словно кто-то большой, могучий взял с неба пригоршню звезд, и они рассыпались по черному бархату горы, повисли на высоких причудливых зданиях, столбах и утесах.

Туда же смотрел и Михаил Иванович. Аслануко поднялся, отряхнул с рук искристые капли.

— Красиво!

Медленно переступая, Цару молча пошел рядом с водой. Начальник строительства и инженер двинулись следом за ним.

— Начальник,— произнес Цару,— в наших сказаниях говорится, что старец Эльбрус сторожит звезды. Ему, древнему старику, только это и остается делать... Я — тоже старый, я не положил там ни одного камня.— Он показал на огни гидростанции.— Поставь меня сторожем этих звезд, найди мне такую работу.

Михаил Иванович протянул ему руку.

— Вот и отлично! Земные звезды... Зорко сторожи их, дорогой Цару! Приходи завтра, зачислим тебя к нам...

Огни большой стройки лучились, мигали, и были они ярче огней, рассыпавшихся по небу.

1949

КОСУЛЯ

— Теперь бы крепкого бульона да поджарить сердце косули,— вот и сбылось бы ваше пожелание, юноши: встал бы на ноги старый Анзор...

Он лежал на широкой тахте, желтый, небритый, тощий. На темном ковре над ним висели охотничье ружье, кинжал, старый ягдташ, а еще выше — изящная голова косули со стеклянными карими глазами, укрепленная на круглой доске.

— Трава не пища орлу...— согласился краснощекий красавец и первый модник в ауле Хаутий Татишев.

— Приходите... завтра к вечеру,— сказал старик и устало смежил веки: правда, он тут же снова их открыл и приветливо кивнул юношам, но уже не заметил, как нахмурилась и потемнела белолицая, белокурая (и такие бывают на Кавказе!) Аслижан, его дочь, с каким укором взглянула на отца блестящими карими глазами.

Аслижан провела юношей в кунацкую. Время было послевоенное, трудное, но обычай оставался обычаем: нельзя отпустить гостей без угощения!

В кунацкой с Хаутия Татишева мгновенно слетела почтительная сдержанность, которую обычай предписывает молодым в присутствии старших. Он ухмыльнулся.

— Что ж, дорогой Абисал,— сказал Хаутий второму юноше, Таучеву,— вот нам и случай отличиться! Ты как: собираешься?

Абисал Таучев не ответил, но покраснел до ушей. Что-то дрогнуло в белом лице Аслижан, карие глаза сверкнули гневом; впрочем, девушка тут же опустила голову.

— Ох, извини, пожалуйста! — спохватился Хаутий.— Ну, как есть начисто забыл, что ты без ноги. А с протезом, брат, по горам да чащам не полазишь, нет! Но ты не волнуйся: я за двоих постараюсь, и за тебя, и за себя. Можешь быть спокоен: я-то не подкачаю!

Абисал помолчал и негромко отозвался:

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойся...

Аслижан не проронила ни слова. Она слышала все: и вызов, и сожаление, и извинение, и обещание Хаутия; но ей казалось, что Хаутий желает и не решается сказать Абисалу грубее и проще:

ты, мол, конечно, человек с заслугами, с орденами, не спорю, а только, брат, прошлыми заслугами не проживешь, и ордена не помогут на охоте. Жизнь, брат, больше считается с ловкостью да силой... К сожалению, так рассуждает не один Хаутий Татишев. Вот и отец неспроста заговорил про косулю; конечно, питание теперь скудное, да не настолько же... Просто хочет отец напомнить, показать воочию, кто из соперников способен обеспечить благополучие семьи, достаток... Понятно, отец желает ей добра; отец хороший, умный, веселый, когда не болеет; она любит отца. И все-таки выйдет замуж по своему выбору... Хаутий, кто же спорит, наряден, красив, ловок... Но Абисал — скромен, даже застенчив, а вместе с тем герой. И такой решительный: безногий, а научился работать на комбайне и работает не как-нибудь — лучше всех!

Абисала очень утешала мысль, что он понимает Аслижан без слов. Вот и сейчас ему показалось, будто, провожая гостей, Аслижан глазами сказала, что, мол, каприз больного, конечно, пустяк, все равно Аслижан в любви не признает ни желания, ни власти отца... Но ты все-таки постарайся... Может быть, тогда отец смягчится.

Так показалось Таучеву.

Гнедой конь на ходу кивает головой, словно подтверждая думы всадника. Полы черной бурки развеваются на ветру; издали может показаться, что это большая черная птица взмахивает крыльями, то ли собираясь взлететь, то ли устраиваясь поудобней. Абисал чуть-чуть покачивается в седле, измученный бессонной охотничьей ночью, скитанием по лесам и горным ущельям; сильно болит натертая протезом нога (вернее, то, что от нее осталось). И все-таки Абисал счастлив: прикрытая буркой, на холке коня лежит серо-пепельная косуля. Безвольно, покорно покачивается, свисая, ее изящная голова с крохотными рожками...

Словно в полусне Абисал мечтает.

Друзья обрадуются его охотничьей удаче... Но это не так важно. А вот обрадуется ли, улыбнется ли Аслижан? Ну конечно, улыбнется... Неужели старый Анзор не хочет выдать за него дочь только потому, что он — инвалид, безногий? Ох, как обидно, как оскорбительно! Все равно, как если б людей ценили по весу: кто тяжелее, тот и лучше. Чушь! Вот бы встретить сейчас в ауле Аслижан, когда пойдет по воду с кувшином на плече... Встретить, остановить коня, положить к ногам любимой серо-пепельную косулю и по древнему народному обычаю сказать: «Женщине — лучшее из добычи». Сколько все-таки у народа красивых обычаев! Ну, а если не удастся повстречать Аслижан? Что ж, придется поехать сразу к Анзору Куготову, там во дворе освежевать косулю, тушу положить перед Аслижан, а шкурку натянуть на колья, чтоб просушилась. Пусть серо-пепельная мягкая шкура будет старику молитвен-

ным ковриком. И пусть, отдыхая после молитвы, старик сидит на этой шкурке, перебирает бесконечные четки и думает о том, что не всякий инвалид беспомощен... А вот насчет калыма... Недолго побыли гитлеровцы на Кавказе, а поди ж ты, воскресили такой постыдный обычай! «Даже если старый Анзор согласится выдать за меня Аслижан, он может потребовать выкупное. Покупать любимую? Ох, какая низость! Но я скажу: «Самое дорогое у человека — сердце! А я его отдаю Аслижан. Навсегда! Потребуется помощь тебе — помогу. Но только не калым...»

Он готов на все для Аслижан. Но только не на куплю-продажу. Любовью не торгуют. Уж это дудки!

Но у него прямо разрывается сердце, когда Аслижан поет ту грустную песню про бесконечное горе...

Абисал неторопливо едет по междуречью и негромко поет:

Солнце сядет и взойдет,
дождь начнется и пройдет...
Есть начало у всего,
у всего есть завершенье...
Лишь для сердца моего
бесконечное мученье!

«Твое горе — это и мое горе,— думает Абисал.— И я клянусь: будет ему конец. Не выдадут по-хорошему—умчу на гнедом. А загсы есть в каждом ауле... Лишь бы твердо знать, что Аслижан полюбила. Что в ее глазах светится не доброта, не жалость, а любовь. Настоящая, самоотверженная, золотая любовь! Лишь бы знать!»

Мальчишеский голос отчаянно прокричал:

— Но-о, но-о!.. Стой, проклятые!..

Абисал поднял голову, прислушался.

За частым кустарником неподалеку от большака снова послышалось «Но-о! Но-о!» и тут же отчаянное «тпру».

«Видно, застрял кто-то»,— решил Абисал и направил коня через кусты в сторону так называемой ложной дороги, где, спрямляя путь, ездили лишь в самую сухую, жаркую пору; сейчас там было вязко.

Телега, запряженная парой измученных кляч, накренилась и увязла чуть не по ступицу. Поодаль понуро стояла пожилая женщина и нервно перебирала бахрому черной шали. У лошадей маялся мальчонка: орал, сек их кнутом, и та, на которую падал удар, рвалась вперед, а вторая стояла, тяжело поводя боками... Телега скрипела, трещала, кренилась из стороны в сторону и увязала все больше.

Абисал соскочил с коня, положил на траву ружье и косулю, сказал:

— Не огорчайтесь, матушка! Сейчас все сделаем. Скоро поедете дальше... А ты, мальчик, не горячись. И не надо бить лошадей. Сейчас мы с тобой что-нибудь сообразим...

Тяжело припадая на протез (болела нога!), Абисал подошел к лошадям, погладил морды, спины, похлопал, успокаивая, ла-

донью по крупам. Нарвал и дал им из рук немного свежей сочной травы.

— А теперь, паренек, давай делать настил. Да-да! Ты когда-нибудь сооружал подобное?

Абисал резал кинжалом тальник, словно траву. А мальчик носил охапки прутьев и подкладывал под колеса. Еще раз Абисал огладил лошадей, поговорил с ними, а потом взобрался на телегу, крикнул: «Эй, вороные!» — и со свистом взмахнул кнутом, но не ударил. Лошади дружно рванули, скользя по грязи и отчаянно перебирая ногами. И вытянули! Телега выехала на большак.

— Благослови тебя аллах, добрый юноша! Да продлит аллах твою радостную жизнь и жизнь твоих добрых родителей! — начала благодарственное причитание женщина.

Абисал оглянулся. Мальчик, присев на корточки, завороженно гладил ладонью нежную серо-пепельную косулю; в глазах его светились восхищение и зависть.

«Женщине — лучшее из добычи,— подумал Абисал,— не возлюбленной, не красивой, молодой или знатной, нет, всякой женщине — бедной, старой, все равно какой... Первой, которую встретил! А эта женщина, видимо, вдова: а то не мальчонка правил бы лошадьми. Одна из тех, кого обездолила война».

И вдруг глаза юноши расширились: вот случай проверить чувства Аслижан! Он приедет с пустыми руками. Пусть Хаутий привезет добычу, а не он, не Абисал. Пусть у этого наглого красавчика будут все преимущества! Пусть для Анзора этот франт и здоровяга весит тяжелее и будет желаннее. Пусть! Вот если Аслижан все равно предпочтет Абисала, тогда она любит по-настоящему. А так что же: нынче косуля, завтра сайгак, медведь, послезавтра калым... В конце концов он не хочет состязаться с Хаутием — кто дороже оплатит любимую. Он не торгаш.

И юноша решительно положил серо-пепельную косулю на телегу.

Женщина тихо охнула, заволновалась, запротестовала, покраснела, даже потянула косулю за ножку, чтобы снять с телеги.

— Нет, нет,— торопливо говорила женщина.

— Вы обижаете меня! — сказал Абисал, мрачнея.

— Нет-нет! — торопливо говорила женщина.— Я не могу принять, добрый юноша. Это уж слишком!

А мальчик уже сидел в телеге и держал вожжи, беспокойно поглядывая то на мать, то на щедрого дядю, и с первого взгляда было видно, что паренек больше всего боится, как бы мать не настояла на своем.

— Доброго пути! — решительно сказал Абисал, повернул гнедого и поскакал обратно к лесу, хотя теперь там нечего было делать. Полы черной бурки поднялись и затрепетали, как полуприподнятые орлиные крылья.

Медленно ехала телега к аулу; седоки смотрели назад, вслед всаднику, и губы матери все еще беззвучно шевелились, а в глазах мальчика светилось почтительное восхищение: вот это настоящий джигит!

Страх, обыкновенный бледный и потный страх внезапно овладел Таучевым, когда он в сумерки подъезжал к дому старого Анзора Куготова: а вдруг все это неправда, самообман, мальчишечья самоуверенность и он неправильно понял разговор взглядов?! Может быть, в глазах Аслижан светилась не любовь, а только жалость?.. Только бы не жалость! Жалости он не перенесет.... Может быть, и проверять нечего, нечего испытывать... А он еще смеет явиться с пустыми руками, глупец!

Когда Таучев, измученный и мрачный, въехал во двор, радостный, оживленный Хаутий Татишев возился под навесом, свежевал двух косуль.

— Водички, Аслижан, водички, чтобы руки помыть! — громко говорил Хаутий.— Грязными руками нельзя трогать туши.

И Аслижан послушно лила воду из кумгана на белые пухлые руки Татишева.

«Говорит, как с женой...» — неприязненно подумал Таучев.

Услыхав цокот копыт, Аслижан огянулась, просияла, тревожно и жадно оглядела тяжело спешившегося Абисала и сразу померкла, отвернулась.

Оглянулся и Хаутий Татишев.

— Ну как, Абисал? — громко закричал он.— С пýстом? Я ж говорил: не беспокойся, справлюсь за двоих! Видишь: выполнил задание уважаемого Анзора.

— Проездил впустую...— сумрачно ответил Таучев, привязал коня и пошел к дому. Сегодня он хромал сильнее обычного.

Аслижан печально глядела вслед, и на ее глаза навернулись слезы.

— Лей, лей, не скупись! — весело кричал Татишев: чувствовал себя победителем.

Аслижан опустила голову и наклонила кумган: светлая холодная струя пролилась на пухлые окровавленные руки красавца.

Когда Абисал, стуча протезом, поднимался на крыльцо, внезапно открылась дверь, и на пороге появилась женщина, которой он помог выбраться на большак.

— Ах! — воскликнула она.— Это ты, добрый юноша! — И бросилась обнимать ошеломленного Абисала, восторженно крича: — Анзор, брат! Аслижан! Да это же тот самый юноша, что помог нам на дороге и подарил нам свою охотничью добычу!

«Какая неудача,— расстроенно думал Абисал.— Надо же было, чтобы она оказалась здесь! Теперь все провалилось. Старики будут останавливать и хвалить, объявят ревнителем дедовских

обычаев, примером для молодежи... А Татишев ни за что не поверит, что я не узнал сестру старого Анзора...»

Искоса он поглядел в сторону навеса: Хаутий стоял, и во взгляде его светились ирония и злость. Зато Аслижан сияла, словно ее осветило вдруг проглянувшее солнце. И взгляд девушки сказал Абисалу что-то такое, от чего юноша вздрогнул, и улыбнулся, и шепнул самому себе: «И дурак же ты, братец!»

На шум из темных сеней шагнул старый Анзор: был он в незастегнутом бешмете, в калошах на босу ногу, желтый и слабый, с полотенцем на голове.

— Погоди, погоди, сестра! — сказал старик, отстраняя женщину, и взглянул ласково в лицо Абисалу, улыбнулся, неуклюже обнял и молвил, как медаль повесил: «Афэрым!»

А это значит по-кабардински «Молодец!».

1966

ОХОТНИЧИЙ ТРОФЕЙ

Напсей Клыш пришел с работы озабоченный, даже угрюмый. А ведь была суббота, занятия кончились раньше обычного, и впереди маячило воскресенье, день заслуженного отдыха, забав и развлечений. Чем же был так озабочен наш Клыш?

Дело в том, что в воскресенье он собирался поехать с товарищем на охоту, а охота для Напсея была не отдыхом, не забавой и не невинным развлечением... Впрочем, не будем забегать вперед!

Итак, Напсей Клыш вернулся домой. Маржан, его жена, встретила супруга, как обычно, приветливой улыбкой и обедом. Однако Напсей есть не стал. С раздражением, словно он только что промазал по многопудовому кабану и тот, издевательски тряся хвостиком-закорючкой, неторопливой рысцой уходит от незадачливого стрелка в чащу, Клыш пробурчал:

— Некогда. Есть дела поважнее твоего обеда!

Он прошел прямо в спальню и твердой рукой снял с ковра, украшавшего стену над кроватью, свое ружье и патронташ.

Началась великая церемония подготовки оружия к охоте.

Сначала Напсей мягкой фланелевой тряпкой отер пыль со стволов и приклада своей двустволки, к которой он не прикасался более полугода. Потом изящным движением пальцев отодвинул затвор, и ружье переломилось на две части. Вслед за тем важно и значительно поднес стволы к глазам и заглянул в них. В этот миг он был похож на адмирала, наблюдающего в бинокль за морской баталией. Однако в данном случае наш адмирал увидел не баталию, а густую сеть паутины. Он рассердился и хотел позвать Маржан, чтобы побранить ее как следует за столь неряшливое и бесхозяйственное отношение к его другу-двустволке, но вспомнил, как жена после его возвращения с последней охоты торжественно поклялась «никогда больше не прикасаться к этому проклятому ружью». И прикусил язык. Пришлось самому заняться чисткой стволов.

Напсей набрал в грудь столько воздуха, сколько смогли вместить его легкие, надул щеки до того, что они готовы были вот-вот лопнуть, и стал по очереди продувать стволы. От напряжения глаза у него покраснели и почти вылезли из орбит, но паутина в ство-

лах даже не шевельнулась. Тут нужен был шомпол, а он был потерян давным-давно.

Гремя дверями («Пусть Маржан слышит и понимает, что я недоволен ею»), наш охотник пошел во двор поискать подходящую хворостинку. Как назло, двор был подметен так чисто, что хоть шаром покати! Ничего не оставалось, как срезать перочинным ножом с абрикосового дерева тонкую ветку, намотать на нее тряпку и этим самодельным шомполом прочистить ружье.

Приведя наконец свою двустволку в состояние боевой готовности, Напсей присел к столу и принялся набивать патроны.

Когда первый десяток готовых патронов выставил в две шеренги на подоконнике, словно солдат на параде, Напсей смягчился и подобрел. Быть завтра охоте, быть! А когда наш охотник набил второй десяток патронов, он совсем повеселел. Теперь можно было и перекусить. Маржан разогрела обед да кстати уж поставила на стол и ужин. Напсей быстро справился с этой двуствольной задачей и сейчас же отправился спать: ведь отъезд предстоял на рассвете.

Укрывшись одеялом и сладко зевнув, он сказал жене почти нежно:

— Самого красивого фазана, самую жирную косулю я положу к твоим ногам завтра, Маржан.

— Шкуру неубитого медведя не дарят женщинам! — ответила Маржан с улыбкой, от которой Напсею стало не по себе. Он снова нахмурился. Ох уж эти женские языки! Но чем и как он мог погасить иронию этой улыбки?!

Вот у кровати на полу лежит великолепная медвежья шкура — славный охотничий трофей. Но его Напсею подарил приятель. На стене висят оленьи рога — тоже неплохое доказательство охотничьей доблести и удачи. Но они достались Клышу в наследство от покойного отца. Есть в доме и фазаньи чучела на стенах. В конце концов фазан — это тоже хороший трофей. Но... когда друзья-приятели Клыша хотят выпить, а в карманах у них пусто, они приходят к нему, садятся и молча, но выразительно смотрят на фазаньи чучела. И Напсей сейчас же вскакивает, собирает в сенях пустые бутылки и покорно бежит в магазин.

...На рассвете заспанный Напсей и его дружок Бажэ Атабий сели в старенькую полуторатонку и покатили в междуречье, в предгорные леса.

Время было осеннее. По утрам уже морозило. Солнце светило еще ярко, но не грело. Иней осыпался с ветвей деревьев и, попадая за воротник, холодил спину. Но друзья не замечали холода. Их подогревал охотничий азарт.

Наконец охота началась. То и дело утреннюю тишину сотрясали выстрелы.

Однако в середине дня выяснилось, что вся добыча охотников — один фазаненок на двоих. А между тем фазанов в междуречье было много. Но все они остались жить.

Отдохнув на опушке леса, приятели закусили, выпили водки из фляжек и углубились в лес. Теперь каждый из них мечтал о косуле. А косуль в лесу было много. Но все они тоже остались жить.

Напсей Клыш, спотыкаясь о корни, мрачно брел по лесу и ворчал:

— Нельзя же возвращаться с пустыми руками! Нас засмеют!

И тогда Бажэ Атабий — он был мастер по части всяких комбинаций — сказал:

— Жди меня здесь, на этой поляне. Я — мигом.

— Что ты хочешь делать?

— Узнаешь! Никуда не уходи отсюда, жди!..

Что же придумал хитроумный Бажэ? А вот что. Приятели охотились недалеко от его родного селения. В этом селении жил знаменитый охотник — старик Шеруоко. Он знал Атабия еще мальчиком. К нему-то во двор и прикатил на полуторке Бажэ.

Когда Шеруоко узнал, что его земляк охотится в здешних лесах с гостем и просит старика «осчастливить их своим участием в охоте», он тут же стал собираться. Какой кабардинец откажет земляку в просьбе, когда она связана со священным лицом — гостем!

И вот уже трое охотников бродят по лесу. И две собаки старика Шеруоко шныряют среди деревьев, вынюхивают косульи следы. Удача улыбнулась им все же только к вечеру. Вернее будет сказать, что улыбнулась она, собственно говоря, одному старику Шеруоко, собаки которого выгнали из чащи красавицу косулю и погнали ее прямо на своего хозяина. Прогремел выстрел, и косуля упала. Шеруоко подбежал к ней, вытащил из-под ножен кинжала острый нож и ловко прирезал издыхавшее животное. Он дал стечь крови, потом легко вскинул тушу на плечи и понес к друзьям.

Напсей Клыш и Бажэ Атабий сидели на пнях в полном изнеможении. Они слышали выстрел, но были уверены, что это пустой выстрел. И вдруг появился старик Шеруоко с косулей на плечах. Друзья радостно вскочили ему навстречу. Радость их удвоилась, когда старый охотник сложил к их ногам тушу и сказал:

— И гостю добычу оставляют! На здоровье! [1]

Бажэ Атабий и Напсей Клыш были искренне тронуты благородством старого охотника, оказавшего им такую большую честь. Приличия ради они стали отказываться от подарка, но стоило только Шеруоко повторить поговорку, как они сразу же согласились принять в дар убитую косулю. Правда, они предложили старику забрать себе ее голову и шкуру — ведь по охотничьему обычаю голова и шкура зверя принадлежат тому, кто его убил. Но старик Шеруоко отказался и от головы и от шкуры в пользу гостей. Он был человеком широкой и щедрой натуры.

---

[1] По обычаям кабардинцев, если возвращающийся с охоты мужчина встретит на пути женщину, он оставляет ей свою добычу или ее часть и говорит при этом: «Женщине — лучшее из добычи». В данном случае старик Шеруоко перефразировал эту старую поговорку.

Вы, наверное, догадываетесь, о чем говорили между собой довольные, веселые, возбужденные удачной охотой Напсей Клыш и Бажэ Атабий, когда мчались во весь опор на своей полуторке домой в город из междуречья? Ну конечно, о голове и шкуре убитой стариком Шеруоко косули. Каждый из них хотел взять голову и шкуру себе, чтобы потом хвастать перед знакомыми и приятелями своей охотничьей доблестью. Но если сообразительный и хитрый Бажэ все же как-то скрывал свои намерения и тайное желание, то простодушный Напсей Клыш рубил сплеча, напрямик:

— Ты должен уступить мне и шкуру и голову!

— А почему я тебе должен уступить шкуру и голову?

— Потому, что мы охотились на землях твоего родного селения и я был как бы твоим гостем. Так выходит!

— Допустим, что ты был как бы гостем. Но ведь голову и шкуру дают не гостю и не как бы гостю, а тому, кто убил владельца или владелицу данной головы и данной шкуры!

— Но ведь можно сказать, что владелицу убил именно я!

— Можно, конечно! Но вспомни своих фазанов! Однажды ты почти разорил себя по такой же причине. Теперь ты мечтаешь о косуле. Смотри, останешься без штанов!

— Если соблюдать секрет...

— Секретом, дружочек, называется то, что знает только один человек. А то, что знают двое,— это уже не секрет! — сказал Бажэ Атабий и подмигнул приятелю. Но тот не мог оторвать свой взгляд от красавицы косули, лежавшей в кузове машины, и не обратил внимания на слова приятеля, прозвучавшие довольно зловеще.

Напсей Клыш был так настойчив, что Атабий вскоре сдался и прекратил спор. Голова и шкура косули достались Напсею.

В понедельник, когда Бажэ пришел в свое учреждение и сел за стол, он начал свой рабочий день с того, что придвинул к себе телефонный аппарат, положил перед собой записную книжку с телефонами своих знакомых, друзей и приятелей, которые одновременно были знакомыми, друзьями и приятелями Напсея Клыша, и стал звонить всем по очереди.

— Магомед, ты? Успехов в работе тебе!.. Бажэ говорит, кто же еще!.. Как я себя чувствую? За меня тебе сейчас ответит мой стул. Ты слышишь, как он трещит и пищит под тяжестью моего тела? То-то!.. А ты как себя чувствуешь?.. Как настоящий мужчина? Какой ты там мужчина!.. Вот Напсей Клыш — это настоящий мужчина!.. Что он сделал? Он убил косулю! Да, да, красавицу косулю. Просто Венера Милосская, только с целыми конечностями! По этому случаю он сегодня собирает друзей! Поручил мне всех обзвонить, ему самому некогда, он бегает по магазинам, делает закупки... Ты должен быть у него с супругой сегодня в семь часов! Обязательно приходи, иначе ты его смертельно обидишь.

Шутишь — человек убил косулю!.. Да, да, брат, не каждый день такое бывает!.. До вечера!

Бажэ Атабий положил трубку и стал набирать новый номер. В течение дня он позвонил еще и Мухадину, и Мухарби, и Ивану, и Боташу, и Шауалу, и Латифу, и Федору, и Раисе, и Зрамуку, и Мадине, и многим-многим другим. И каждый со слов Бажэ знал, что Напсей обидится насмерть, если приятель с супругой не пожалует сегодня к нему на торжественный ужин в честь красавицы косули, убитой вчера в лесах междуречья метким выстрелом Напсея Клыша. А в это время сам меткий стрелок, ничего не подозревая, стоял у себя дома на стеклянной веранде и любовался вывешенной для просушки роскошной косульей шкурой.

К вечеру в доме Напсея Клыша стали собираться гости, которых пригласил к нему Бажэ. Каждый, здороваясь с хозяином, говорил, что убить косулю — это, брат, не шутка, и восторгался дивным трофеем меткого стрелка. Клыш смущенно улыбался и опускал глаза. Впрочем, после третьего поздравления он сам поверил в то, что это он, а не кто-либо другой убил косулю!

Маржан не растерялась, когда увидела неожиданных гостей. Тут же мясо косули — доля Напсея — было опущено в котел. Другой, меньший котел повесили над огнем, чтобы готовить пасту. Маржан была не из тех хозяек, которых можно застать врасплох.

А гости все прибывали и прибывали! Когда число их перевалило за десять, Напсей и Маржан переглянулись и вышли из комнаты.

— Мяса не хватит! — сказала Маржан мужу шепотом.— Что делать?

— Я побегу к Бажэ, попрошу у него его долю косули!

— Беги, мое сокровище, только скорее!

Бажэ Атабий выслушал запыхавшегося приятеля, говорившего бессвязно и неясно, все понял и, внутренне торжествуя, сказал очень сухо:

— Мало тебе головы и шкуры, так теперь ты еще хочешь отобрать у меня и мясо?! Не дам!..

Когда Напсей Клыш с пустыми руками прибежал домой, гостей в его доме собралось уже больше двадцати. Пришлось хозяину снова подмигнуть хозяйке, и они вышли из комнаты.

— Бажэ не дал мяса! — сказал Напсей жене шепотом.

— Иди в курятник, режь кур! — попросила его Маржан.

В одно мгновение вся птичья ферма Напсея Клыша — пять хохлаток — прекратила свое земное существование. Однако пока Маржан ощипывала своих любимиц, число гостей перевалило за тридцать. И тогда Маржан, послав мужа за дополнительной порцией горячительных и прохладительных напитков в магазин, сама бросилась к соседям и одолжила у них половину вяленой бараньей туши.

Гости ничего не заметили, и ужин в честь красавицы косули сошел отлично. Вот что значит иметь рядом с собой настоящую княгиню дома! [1]

...Утром следующего дня на базаре можно было видеть заспанного человека со шкурой косули на плече, смущенно предлагавшего базарным завсегдатаям купить у него трофей за недорогую цену. Это был наш меткий стрелок. Продав шкуру, он пришел домой, отдал Маржан выручку и сказал, глядя в сторону:

— Зарплата — через неделю. Как-нибудь обойдись!..

А вечером, когда Напсей сидел у себя на веранде с головной болью от вчерашнего перепоя, расстроенный и злой, он увидел, что во двор к нему зашли два приятеля. Это были первые посланцы из второго эшелона гостей — те, кто почему-то не успел вчера поздравить его с косулей и решил сделать это сегодня.

Напсей вскочил, вбежал в спальню, в одну секунду сбросил с себя чувяки и нырнул под одеяло.

— Что с тобой? — спросила испуганная Маржан.

— Еще идут! — пролепетал Напсей.— Я не могу больше! Скажи, что меня нет, а если заговорят о косуле, скажи... скажи, что я ее не убивал!..

Маржан усмехнулась и сказала с той рассудительностью, которая всегда была присуща этой женщине:

— Нет, мое сокровище, так же, как нельзя обещать возлюбленной шкуру неубитого медведя, так нельзя скрывать от друзей убитую косулю! Вставай, выкрутимся как-нибудь.

Напсей Клыш в ответ лишь простонал и натянул одеяло на голову, чтобы не слышать, что будут говорить о нем его друзья.

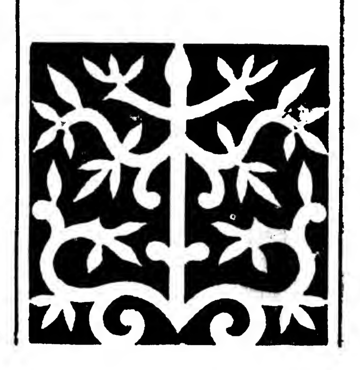
1958

---

[1] Хозяйка по-кабардински — унэгуашэ, что буквально означает: княгиня дома.

ЧУДЕСНЫЙ САМОРОДОК

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ)



1

Девятнадцатый век дал кабардинскому народу ряд выдающихся деятелей — Шору Ногмова, Кази Атажукина и других. Среди них почетное место занимает Бекмурза Пачев — основоположник кабардинской поэзии. После его смерти писателями и научными работниками было собрано, приведено в порядок, переписано с самодельного пачевского алфавита на современное кабардинское письмо более четырнадцати тысяч стихотворных строк, множество изречений, песен, принадлежавших перу славного народного певца. Но еще больше его рукописей оставалось нерасшифрованными, то есть не переписанными на современное письмо. Огромное количество произведений поэта, в том числе и расшифрованных, было уничтожено в период немецкой оккупации города Нальчика вместе со зданием взорванного фашистами научно-исследовательского института. По этой причине из богатого литературного наследства народного певца сохранилась только незначительная часть. Уцелевшие произведения вошли в сборники и однотомники, выпущенные после войны издательствами Нальчика и Москвы. К счастью, и сохранившееся литературное наследство Пачева дает представление о творческом лице этого чудесного самородка.

Бекмурза Пачев родился в 1854 году в селении Нартан, Урванского района, в бедной крестьянской семье.

Между 1854 годом — датой его рождения — и 1936 годом — датой его кончины — пролегла эпоха, равной которой по богатству и значительности событий не было в истории человечества. На заре его жизни произошла отмена крепостного права. Он был современником трех революций. И, наконец, уже в преклонных годах, ему посчастливилось быть участником грандиозного социалистического строительства, превратившего бывшую полуколониальную окраину царской империи в Кабардино-Балкарскую автономную социалистическую республику, процветающую в дружной семье советских народов.

Биография Бекмурзы — наглядная иллюстрация жизни его народа за последний век.

На дореволюционный период жизни поэта приходятся жестокие междоусобицы кабардинских феодалов, неравная и тяжелая борьба трудового народа с турецкими захватчиками, царизмом и своими князьями. Он был очевидцем Зольского восстания кабардинских крестьян в 1913 году.

Наряду с произведениями, полными протеста против угнетения и будившими революционную энергию трудового народа, у Бекмурзы немало было песен-плачей. Его дореволюционное творчество получило в народе такую характеристику: «По мастерству, меткости и силе со словом Пачева никто не может спорить, но мелодия его песен очень тяжела. Она исторгает слезы души» [1].

Для фольклора этого периода также характерно обилие причитаний. Иначе и не могло быть, потому что

У подножия гор гранитных
века не видали мы света, радости не знали.
Туманом, по ущелью ползущим,—
такой была вся наша темная жизнь.
Голодными волками, по оврагам рыщущими,—
такими были начальники старые.

(Подстрочный перевод)

У кабардинского народа песни и сказы играли огромную общественную роль. Навеки опозорен был тот, чье имя осуждалось в песне. Зато из поколения в поколение передавала благодарная память народа имена героев, прославленных в песне. Песнотворец с таким огромным и разносторонним дарованием и с такой преданностью народу, каким был Пачев, не мог не стать любимцем народа, придавленного веками рабства и двойного гнета. Пачев стал любимым поэтом народа, он оказал огромное влияние на рост самосознания трудящихся масс.

«Гробница человека,— говорит кабардинская поговорка,— разрушится, а песня до разрушения мира не исчезнет». Значение творчества Пачева для кабардинского народа оказалось исключительным.

Бекмурза был уже глубоким стариком, когда мы, начинающие писатели, попросили его рассказать о том, как он начал создавать свои стихи, поэмы и песни.

— Мою поэзию родила любовь и... ненависть. Да, ненависть к тем, кто встал на пути буйного потока пламенных чувств горячего юноши к своей возлюбленной...

И мы услышали из уст чудесного самородка историю любви кабардинского Ромео и кабардинской Джульетты, узнали об их клятве быть верными друг другу до конца жизни...

На основании этой беседы и других источников я попытаюсь восстановить то событие, а вместе с ним и те последствия этого заурядного происшествия, ставшего, однако, знаменитым по своим результатам.

---

[1] Из воспоминаний сказителя и певца Амирхана Хавпачева.

Любовь Бекмурзы Пачева к светлоликой Бабух не была любовью, загоревшейся неожиданно, как пожар. Она не была и страстью безусого юнца, опьяненного неуемной молодостью. Подобно тому, как цветет вишня, а за цветением появляются завязь и плод, который, питаясь соками родной земли и поглощая лучи летнего солнца, наливается соками, любовь Бекмурзы к Бабух была взращена всей их жизнью и чувствами благородных молодых сердец. В период детства и отрочества, в юные годы и в молодости между ними росла и крепла дружба, а потом по закону естества она шагнула вперед и стала любовью, сильной и неудержимой, как горный поток. Попробуй его задержать или остановить.

Бекмурза очень верил в то, что:

Кто в битве мужества не знает,
Тот доброй славы не достанет.

Думая так, он полагался не на толстую суму — она всегда была у него тощей — и не на свое происхождение — он был выходцем из сословно зависимых крестьян, а на самого себя, на свои трудовые руки, на свое горячее и верное сердце, на собственную голову, благодаря которой друзья величали его емким словом «тлигубзига» — человеком ясного сердца и мужественного языка.

Да, он имел право так думать потому, что духом и телом был крепок, как мощный дуб, был строен и красив, как пирамидальный тополь, нежен, как луговой цветок, и щедр душой, как горный родник.

И когда Бекмурза решил жениться, через друга-посредника он обратился к седобородым за содействием.

Старики не могли не принять участия в сердечных делах такого джигита. И они отправились в дом отца его возлюбленной.

Молча и важно сидели полномочные послы — сваты джигита. Молчал, насупившись, и хозяин. Из-под длинных бровей он изредка поглядывал недобрыми, обжигающими глазами на неприглашенных гостей. Чтобы скрыть неловкость от холодного приема, сваты время от времени покашливали, важно проводили руками по усам или разглаживали седые бороды.

Перекинувшись взглядом с остальными, старейший из послов жениха, чтобы разрядить натянутость, начал с прибаутки:

— Кто в доме сына не имеет, тот и сноху искать не станет.

Вопреки горской поговорке — веревка хороша, когда длинна, а речь, когда коротка,— он начал длинную-предлинную речь. Седобородый, желая смягчить и утихомирить гордость хозяина, сыпал изумруды похвал и высокого почтения к роду Ниджовых, к самому Мелу — отцу девушки, ко всему, что имело отношение к дому, где он сидел со своими друзьями, прося согласиться выдать дочь за Бекмурзу Пачева.

Мел Ниджов по-прежнему сидел молча. Но по его лицу, пылавшему гневом, по усам, торчавшим воинственно, и по глазам, беспокойно бегавшим с одного предмета на другой, сваты поняли,

что трудно будет договориться с этим спесивым третьестепенным дворянчиком. Да и сам он не заставил послов ждать ответа.

— Я удивлен, я поражен, уважаемые старики, что вы, зная, кто мы, Ниджовы, и кто такие Пачевы, осмелились прийти ко мне с таким предложением!

— Уважаемый Мел, всеобще признано, что Бекмурза Пачев достойный и благородный. Он человек ясного сердца и мужественного языка,— попытался возразить старик.

— Мы, Ниджовы, не собираемся разжижать свою голубую кровь кровью черни.

Так на пути чистой, как вода родника, стремительной, как буйный поток горной реки, любви встало сословное и имущественное неравенство.

Бекмурза был не из тех, кто никнет перед неудачей, падает ниц перед сильными и дает грозным волнам жизни нести себя, куда им захочется.

Что мог и что должен был сделать кабардинский Ромео в тогдашних условиях?

В подобных случаях обычно прибегали к умыканию девушки. Или девушка бежала с возлюбленным. Последнее не одобрялось общественным мнением. Оно позорило девушку, родители проклинали такую дочь навсегда!

У Бекмурзы оставался еще один путь, чтобы защитить честь возлюбленной и свою,— вызвать на дуэль оскорбителя. Но и дуэль могла не состояться: Ниджов не согласился бы стреляться с человеком из черни. А это еще больше унизило бы Бекмурзу. Оставалось одно — в неустанной борьбе с оскорбителями защищать свою честь и свою любовь.

Принужденный обстоятельствами, по договоренности со своей возлюбленной, Бекмурза все-таки похитил ее. Но...

... Мать ее, терзая грудь,
В слезах молила дочь вернуть
И сжалиться над кабардинским
Несчастным сердцем материнским.

Тут я и мой сообщник — друг
Как будто отрезвели вдруг:
Питались ведь и мы, как люди,
Священной материнской грудью!
Я отпустил Бабух...

Спесивый отец девушки, почувствовав, что хотя Бекмурза сжалился над сердцем материнским, но не отказался от любви к Бабух, состряпал дело и обвинил в конокрадстве невинного Пачева и вслед за этим затеял судебную канитель.

По словам самого Пачева, с тех пор

С неправдой вел я кровный спор,
Учился мудрости житейской
На лжи и жадности судейской.

Судебной радости вкусив,
Стал не по возрасту я сив.
Поверьте мне: тому, кто беден,
Язык закона смертно вреден!

Шли дни и ночи, а оскорбление, клевета, сплетни вокруг его имени все сильнее и сильнее жгли сердце молодого джигита. Разгневанная душа требовала мести, а разум — иного пути борьбы, такого, который оказался бы сильнее штыка и сабли, против которого был бы бессилен и царский правитель, и продажный суд, и спесивый дворянин.

Что могло быть таким всесильным оружием у крестьянина-бедняка? Только слово, слово, которое по-кабардински буквально означает «кладезь души». Слово ранит сильнее меча. Но слово, которому не приданы крылья, недолговечно. Оно может быстро забыться. Значит, нужна гневная песня, которая может облететь все уголки родного края, проникнуть в людские сердца, ожесточить их. А ожесточенные и возмущенные сердца не только заклеймят позором упоенных властью и богатством кровососов, но и могут прижать к стене. Но одна мелодия, без текста, что пистолет без патронов. Значит, нужны и стихи, которые, впрягшись в колесницу песни, могли бы высоко поднять это слово на крыльях борьбы за человеческое счастье и достоинство.

Так думал Бекмурза Пачев. Так он и поступил.

Вырыв землянку в саду отца, он поселился в ней. Но не для того, чтобы не слышать злобствующего хихиканья недоброжелателей и издевательств врагов, а для того, чтобы продолжить начатую работу над поэмой, в которой хотел развенчать и пригвоздить к позорному столбу ненавистных кровососов.

В прохладной землянке, освещенной коптилкой, в землянке, пахнущей черноземом и ароматом обрубленных корней фруктовых деревьев и свежего сена, было тихо и спокойно. Ее обитателю никто не мешал. Влюбленный и оскорбленный джигит думал ночами. Он искал верные слова для выражения мук, терзавших его душу, искал сильные слова, чтобы рассказать о людях, омрачивших и растоптавших его мечты, о всесильных подлецах, вставших поперек его жизни.

Чувства выливались в гневные слова. А слова, став рядом друг с другом, превращались в грозные строки и строфы, готовые вступить в бой, как сомкнутый ряд отважных воинов.

Поэма, над которой вдохновенно он работал долго и которую назвал «Как Бекмурза собирался жениться», была готова. И музыка к ней, то душевно мягкая, то грустная, то сильная, насыщенная гневом, тоже была готова. И Бекмурза запел в землянке для самого себя перед тем, как отдать свое творение людям.

Он пел не о бедности своей, не о личной нужде, а о праве человека на любовь, на счастье, на жизнь. Он не жаловался и не сетовал на свою судьбу, а судил беспощадным судом разгневанного сердца тех, кто душит людей труда.

Слова его песни легко ложились на музыку, рожденную вместе с поэмой. И он пел тихо, наслаждаясь благородными чувствами, взятыми из глубоких тайников собственной души, и глыбами ненависти и презренья, высеченными из собственного сердца.

Песня все ширилась. Она то взлетала вверх, как сизокрылый голубь, то возмущенно громыхала, как гром. И ее творец, захваченный в плен собственной же песней, пел грозно, вкладывая в ее исполнение весь огонь молодой и горячей души.

В тот самый момент, когда Бекмурза решил запеть сильнее в знак торжества своей творческой удачи, песня оборвалась: автор забыл следующую строфу поэмы.

Потупив глаза, певец посмотрел вниз. Его взор обратился к потолку. Но драгоценная строфа исчезла из памяти. Он изо всех сил старался припомнить ее. Копошился в своей памяти, напрягаясь до предела. Но результаты были неутешительными.

«Вот и расстроились боевые ряды моих воинов. Если я сам не смог запомнить свою поэму, кто же сможет удержать ее в своей памяти? Что же делать, чтобы она не рассыпалась и не растерялась?» — думал поэт.

Пачев знал, что другие народы имеют, кроме разговорного языка, язык письма.

«А почему бы мне не последовать их примеру? Чтобы из неука сделать хорошую верховую лошадь, нужно ее заарканить, потом обуздать и оседлать. И тогда скачи куда хочешь, гарцуй как хочешь. Она станет послушным и верным другом. А ведь слово также надо умело оседлать, как и необузданную лошадь».

Придя к такому заключению, Бекмурза взялся за изобретение алфавита, чтобы передать свои сердечные муки и огонь души своей надежной хранительнице человеческих мыслей — бумаге.

О, какое это, должно быть, трудное дело! Мне, не сталкивавшемуся с подобной сверхзадачей, захотелось почувствовать и понять сопряженные с этим делом трудности. К Бекмурзе Пачеву не пойдешь за разъяснениями — его уже нет в живых. А если обратиться к другим, которые оставили кой-какие связанные с этими муками материалы?

Смутно припоминаю об одном трагическом случае, происшедшем в прошлом веке с моим соплеменником, высокообразованным Наутоком Шератлуком, работавшим над созданием алфавита для адыгов.

Роюсь в старых книгах и журналах, нахожу разыскиваемую статью. Ее автор Н. Д. Помандруйко предупреждает, что приводимые им слова подлинные и принадлежат самому Наутоку Шератлуку,— в своей статье он приводит их в том виде, в каком записал из его уст.

«Свою седую голову,— рассказал ему Науток,— я ломал около года для того, чтобы создать азбуку для родного языка... Оставал-

ся один звук, для которого еще не был изобретен знак. Звук этот был очень трудным и очень неподатливым. Это затрудняло и осложняло подбор буквы. Никак не давалась эта последняя буква. Измученный и обессиленный, я обратился с молитвой к аллаху — к тому, кто умеет зажигать солнце, к тому, кто щедро раздает людям мудрость. Я просил: прибавь силы уставшему уму моему, помоги сбросить с моей трудной дороги последний камень. Просьба моя была так сильна и желанна, что в сердце моем она горела неугасимым огнем, обжигая душу.

В один ненастный осенний вечер тоска меня гнала, тоска ума,— это не то, что сердечная кручина, это жгучей и злей. Я уединился в своем доме. Крепко запер за собою дверь и стал молиться. Буря врывалась в трубу очага и возмущала разложенный в нем огонь. Я молился и плакал, вся душа выходила из меня в молитве. Молился я до последнего остатка телесных сил и там же, на ветхом килиме молитвенном, заснул. И вот посетило меня видение грозное. Дух ли света, дух ли тьмы стал прямо передо мною и, вонзив в меня две молнии страшных очей, вещал громовым голосом:

— Наутек, дерзкий сын праха! Кто призвал тебя, кто подал тебе мысль на скование цепями вольного языка вольного народа адыгов? Где твой смысл, о человек, возмечтавший уловить и удержать в тенетах рокот горного потока, свист стрелы, топот бранного скакуна? Ведай, Хаджи, что на твой труд нет благословения там, где твоя молитва и твой плач услышаны в нынешний вечер. Знай, что мрак морщин не падает на ясное чело народа, доколе не заключил он свои поколения в высокоминаретных городах, мысли и чувства, песни и сказания свои — в многолистных книгах. Есть на земле одна книга, это «книга книг». И довольно! Повелеваю тебе — встань и предай пламени несчастные твои начертания и пеплом их посыпь осужденную свою голову, чтобы не быть преданным неугасающему пламени ада...

Я почувствовал толчок и вскочил, объятый ужасом. Холод и темнота могилы наполняли мой дом. Дверь была открыта, качалась на петлях и уныло скрипела... И мне чудились шаги, поспешно от нее удаляющиеся. Буря выла на крыше. На очаге ни искры. Дрожа всем телом, я развел огонь, устроил костер и возложил на него мои дорогие свитки. Я приготовил к закланию моего Исхака, но не имел ни веры, ни твердости Ибрагима. Что за тревога, что за борьба бушевала в моей душе? То хотел я бежать вон, то порывался к очагу, чтобы спасти мое умственное сокровище. Еще было время. Между тем я оставался на одном месте, как придавленный невидимою рукою. Я уподоблялся безумцу, который своими руками поджег собственный дом и не имел сил ни остановить пожара, ни оторвать глаз от потрясающего зрелища. Вот огонь уже коснулся, уже вкусил моей жертвы. В мое сердце вонзился раскаленный гвоздь; я упал на колени и вне себя вскрикнул: пусть будет уготован мне ад, только пощади, злая и добрая стихия,

отпусти трудно рожденное детище моей мысли... Но буря, врываясь с грохотом в широкую трубу очага, волновала пламя и ускоряла горение моего полночного жертвоприношения. Я долго оставался в одном и том же положении, рыдал и ломал себе руки...»

Было ли что-нибудь подобное с Бекмурзой Пачевым?

Да, было!

Первый удар нанесли Пачеву, разработавшему алфавит для кабардинского языка, служители религиозного культа. Чтобы его обезоружить, унизить и лишить доверия, они дали Бекмурзе оскорбительное, унижающее его достоинство прозвище «Хаманакат» — дурачок. Потирая руки и хихикая, говорили: «Да, да, конечно же, он, дурачок этот, научит вас. Очень многому научит!»

История повторялась. Но на сей раз она повторялась не в Шапсугии, не на берегу Черного моря и не с Наутоком Шератлуком, а с Бекмурзой Пачевым, в Кабарде, неподалеку от Эльбруса.

Кабардинские мракобесы сделали все, что было в их силах, чтобы и Пачев, подобно своему соплеменнику-шапсугу, уничтожил свою азбуку и свою поэзию. Но он оказался стойким. Оскорбленный молодой поэт не испугался и не отступил. Остервенело он работал, создавая кабардинский алфавит и новые поэтические произведения, чтобы потом, используя всю мощь этого оружия, бороться с теми, кто преграждает ему дорогу.

Чтобы отбиться от преследований со стороны духовенства и примкнувшего к мракобесам отца любимой девушки, молодой Бекмурза попытался найти защиту у официальных властей. Вместе со своим отцом в поисках справедливости он пошел к старшине и к приставу. Выстояли они и у ворот княжеского дома. Но, как утверждает народное изречение: «Слово бедняка, даже трижды повторенное, до господских ушей не доходит». Власти приняли сторону мракобесов, хотя, как говорит поэт о себе, его вообще ни в чем нельзя было обвинить: он не курил, спиртного не употреблял, воровством никого не обижал и жадностью не отличался.

«Не стало мне от них житья,— писал Пачев.— В ауле слежка, как за вором, отправлюсь в Нальчик — под надзором». Он мог бы «абреком в горы убежать», но понял, что «разбоем счастья не стяжать», думал «бродягой по миру скитаться. Да жалко с родиной расстаться».

Чем больше препятствий чинили поэту, тем больше ожесточался он, тем углубленнее, сосредоточеннее работал. Землянка, которую теперь он не покидал, была для него и своеобразной творческой лабораторией: здесь чеканились, отделывались (кабардинское слово «усэ» — стих — означает: отшлифованное мастерски) и стихи и алфавит поэта.

Прошли дни и ночи, недели и месяцы неустанных исканий,

поражений и находок. В результате мозолистые руки простого крестьянина впервые нанесли на бумагу страстные, обличительные строки буквами того самого алфавита, который родился вместе с его поэзией. И впервые с бумажного листа он прочел строки своей поэмы.

Что ему чувства бедняка,
Что любовь его, тоска,
Мечты, которым нет свершенья,
И боль обид и возмущенье,
И горькая нужда его,
И вечная мечта его
О доле более счастливой,
О светлой жизни, справедливой.

Так в восьмидесятых годах прошлого века появился поэт Бекмурза Пачев, соединивший оба начала кабардинской литературы — письменную речь и устное слово. А вместе с ним появился и алфавит кабардинского языка.

Бекмурза Пачев совершил в своей землянке чудо и великий гражданский подвиг.

В этой землянке он написал горячие, призывные слова, ставшие набатными:

Мы довольно терпели,
Исходили слезами,
Заряжайте же ружья,
Расправляйтесь с князьями!

Пачев укрылся в землянке оскорбленный, униженный, преследуемый, а вышел оттуда человеком уже способным противостоять бурям и натискам жизни, подобно нарту Ашамезу, который укреплял в людских сердцах добрые чувства и веру в то, что созданное человеческим трудом будет вечно жить; подобно нарту Батаразу, который, разбив цепи своим копьем, освободил мудрого благодетеля человечества Насрена и возвратил людям огонь — источник света и тепла. Произведения Пачева, открывшие новую страницу в развитии кабардинской культуры, стали факелом, осветившим пути-дороги, по которым должен был устремиться труженик.

Пачев не хотел мириться с тем, что его народ не имеет письменности. И, создав свой алфавит, он обучил ему десятки односельчан.

Хажумар Келеметов, человек удивительной памяти, близкий друг и помощник Пачева, вспоминает:

«До Бекмурзы отдельные кабардинцы делали попытки дать своему народу алфавит. Но эти попытки были очень несовершенны...

Алфавит Пачева — тоже несовершенный и громоздкий — все же охватывал многие особенности нашего языка. Изучив его, мы могли читать произведения нашего мудрого поэта».

Пачев был человеком смелого дерзания и отзывчивого сердца. Истинный сын народа, он хорошо понимал нужды и чаяния простого труженика, борьба за народное счастье составила смысл его жизни.

Я позволю себе привести некоторые эпизоды из жизни Пачева, рассказанные его односельчанами, и часть собственных воспоминаний, рисующих духовный облик мудрого певца. Это тем более нужно, что все собранные материалы о жизни и деятельности Пачева были уничтожены в период хозяйничанья гитлеровцев на территории нашей республики.

Односельчанин Пачева — Карашай Тхакуахов — жил бедно. Богатеи насмешливо говорили, что даже курица Карашая несется в чужом дворе: в своем негде.

Князь Мисостов владел сотнями десятин земли и тысячами голов скота.

— Я не прочь помочь тебе, Карашай,— сказал однажды старый князь.— Скоси и убери мне две десятины сена. За это получишь ягненка и два рубля деньгами.

Обрадованный возможностью такого заработка, Карашай Тхакуахов трудился не покладая рук. Он косил и утром, и вечером, и лунными ночами, а днем переворачивал валки сена, ставил копны.

Работа была выполнена аккуратно и в срок. Но князь не дал Карашаю ягненка. Он уплатил ему два рубля, сказав, что рубль за десятину — красная цена. Началась тяжба между князем и бедняком. Всесилен был Мисостов. Продажный суд стал на его сторону.

Однажды вечером бедняк поведал о своем горе Бекмурзе Пачеву. Утро следующего дня застало обоих в пути. Они шли к князю в селение Урвань, которое называлось тогда Мисостовом.

Князь сидел на тахте после сытного завтрака, ковыряя гусиным пером в зубах. Ему доложили о приходе Карашая и Бекмурзы. Надменно усмехнувшись, Мисостов велел впустить их.

Вошел Бекмурза, за его спиной прятался оробевший Карашай.

— Говорят, князь, что собака всегда выхватывает кусок из рук того, кому меньше всего досталось,— сказал Бекмурза, и слово «собака» прозвучало так резко и отчетливо, что князь невольно вобрал голову в плечи и оглянулся.

— О! — воскликнул он с удивлением и гневом.— Ты забыл, с кем говоришь!

— Я в здравом уме, князь,— ответил Бекмурза.— И я, Бекмурза Пачев, говорю: ты сейчас же отдашь этому бедняку украденное тобой.

— Я велю выгнать тебя в шею! — Князь побагровел, вскочил с тахты и топнул ногой.

— А я,— выкрикнул Бекмурза, смерив князя яростным взглядом,— а я, пока твои холопы будут гнать меня, сложу песню.

На стремительных соколиных крыльях она облетит Кабарду, и не будет такого уголка, где бы о тебе не сказали словами моей песни: «Мерзавец князь Мисостов, чья совесть подобна собачьей...»

Князь опустился на тахту, надушенным платком отер бисеринки пота на обрюзгшем лице.

— Хе! — сказал он, льстиво засматривая в глаза Бекмурзе.— Мы оба погорячились... Приятно видеть мужчину с твердым характером. Таких нас, наверно, двое на всю Кабарду.— И развел руками: — Из-за чего спор? Хе! Из-за паршивого ягненка, чтобы его сожрали волки. Эй!

Вбежал слуга.

— Выдай этому бедняку ягненка... Гм...— взгляд в сторону Пачева,— хорошего ягненка.

На обратном пути впереди шел крупным шагом Бекмурза, он расстегнул бешмет навстречу свежему ветру, помахивая в такт неслышному ритму папахой, зажатой в руке, посветлевшими глазами смотрел на синие в мареве тумана горы и шевелил губами. Он слагал песню.

Позади счастливый Карашай тянул на веревке упрямившегося ягненка.

Осенью, в самый разгар сельскохозяйственных работ, умер сосед Бекмурзы, оставив больную жену и шестерых малышей.

Бекмурза ежедневно навещал осиротевшую семью, старался утешить больную женщину, развлекал детей.

Приближалась зима, а горемычная семья не была к ней подготовлена: сено и дрова не привезены, кукуруза не убрана.

Вечером, когда крестьяне вернулись с поля, Бекмурза обошел все дворы своего квартала. Он говорил:

— Не в обычае нашего народа оставлять в нужде сирот, надо помочь.

На следующий день, оставив свои дела, пятьдесят человек вышли работать на семью Батырбека. Одни привезли сено, другие — дрова, третьи убрали кукурузу. Больше и лучше всех работал сам Бекмурза.

— Добрым, душевным словом поддержать убитых горем людей — честь, а дельной помощью поддержать нуждающихся — обязанность каждого, кто называет себя человеком,— говорил Бекмурза крестьянам.

В старину были князья и дворяне. Они имели много земли и держали в кабале безземельных крестьян.

Бедняк Касей Гукежев с сыном нанялись к Исуфу Шарданову. Тот обещал им за работу пятнадцать копен сена.

Гукежевы трудились на полях Шарданова с июня по сентябрь. Они накосили много стогов сена, перепололи десятки десятин кукурузы. Из причитавшегося им сена они продали два воза. Шарданов рассвирепел:

— Собачий сын, как ты посмел пустить чужую подводу на мою землю. И охапки сена тебе не дам.

Опечаленный старик пришел к Бекмурзе. Выслушав Касея, Бекмурза взял кинжал, подпоясался и отправился с Касеем к Шарданову.

— Этот старик работал у тебя? — спросил он у Шарданова.

— А какое тебе дело, работал он или нет? — спесиво ответил тот.

Оскорбленный вызывающим поведением Исуфа, Бекмурза схватился за рукоять своего кинжала и сказал с сердцем:

— Я не хожу туда, где моих дел нет. Или сполна расплатись с Гукежевым, или же... Запомни,— сказал он,— без нужды кинжал не вынимается и без славы не вкладывается обратно в ножны.

Эти слова были сказаны настолько убедительно, что у Шарданова сразу пропала вся спесь. Тут же, в присутствии Пачева, Шарданов выделил Гукежеву его долю сена.

По дороге домой старик поблагодарил Бекмурзу за помощь, но при этом сказал, что напрасно Пачев угрожал кинжалом. Тот ответил:

— Оружие сделано для того, чтобы служить правде и чести.

И еще одно воспоминание, уже относящееся к нашему времени.

Стоял знойный август. Пачев и его сосед-старик возвращались на арбе с поля. Одно из колес арбы сломалось. Бекмурза занялся починкой. Мимо на арбе, груженной сортовой пшеницей, ехали два молодых колхозника. Они не остановились, объехали арбу и вскоре скрылись из глаз. Через некоторое время Бекмурза и его спутник нагнали их. Парни стояли у реки Баксан, озабоченно рассматривая обломки ярма.

Бекмурза, переехав реку, остановил арбу, снял ярмо и отнес его парням. Те, смущенно поблагодарив, поехали дальше.

— Как же так? — возмущался спутник Бекмурзы.— Они даже не спросили, нуждаемся ли мы в их помощи, проехали мимо, а ты отдал им ярмо. Как же мы теперь поедем?

Бекмурза молча прилаживал два кола вместо ярма.

А потом, когда арба тронулась, ответил:

— Мы на своей земле, а они из Баксанского района,— значит они гости. Это первое. Наша арба пустая, а у них нагружена. Если мы поздно приедем — ничего не произойдет, а если они задержатся — колхоз посеет поздно. Это второе. И последнее: мы, старики, хранители чести и совести народа. Если мы дурно поступим, молодежь может повторить это. Мы обязаны охранять честь народа.

Когда припоминаешь биографию, образ жизни поэта, вспоминаешь его характер — живой, деятельный, беспокойный,— начинаешь понимать, почему его поэтическая мысль охватывала такое огромное количество тем и вопросов. Он писал не только о путях развития своего народа или о стародавней дружбе между русским и кабардинским народами, не только о классовой борьбе и колхозном строительстве, но и о таких, казалось, мелких и будничных вещах, как, к примеру, о курице, подспорье в крестьянской семье, или о собаке, преданном и благородном друге человека, который верно служит своему хозяину-бедняку.

Любой сюжет, самый незначительный, к которому прикасалось перо Бекмурзы Пачева, приобретал глубокий смысл.

Пачев был большим жизнелюбом и человеколюбом. Поэтому не было вопроса, который бы не интересовал его. Таким он остался и в старости. Поистине он был вездесущ. Поэт выступал на съездах колхозников, принимал участие в работе совещаний женщин, читал свои взволнованные стихи перед делегатами комсомольских конференций и пионерских слетов. Его привлекали не только многочисленные аудитории, но и небольшие сельские сходы, группы пастухов, возвращавшихся осенью с альпийских пастбищ, каждый человек в отдельности.

Его тянуло к людям не простое любопытство, не желание провести время, а неуемная жажда знаний, желание постичь все новое, что совершалось в жизни, понять те глубокие перемены, которые происходили в душе трудового крестьянина, ставшего на колхозный путь. Ему хотелось непосредственно помогать в строительстве новой жизни, самому участвовать в осуществлении тех идеалов, которым он посвятил свою беспокойную жизнь.

Когда совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, Бекмурзе было уже шестьдесят три года, но он был еще бодр, в расцвете творческих сил. Революцию он встретил восторженно и стал страстным агитатором за советскую власть, прославляя в своих стихах и песнях новую, свободную жизнь. Народный певец часто выезжал из родного Нартана в другие села и районы, в молодую столицу республики Нальчик.

Какое-то неукротимое желание все видеть тянуло Пачева во вновь рождающийся промышленный городок, и в Затишье, где строилось здание института, и на базар в Нальчик, где собирались крестьяне из разных уголков Кабардино-Балкарии. Бекмурзу интересовало все. Он взбирался по крутым ступеням на самый верх строящегося элеватора, долго бродил там, по-хозяйски ощупывал железобетонные стены, механизмы, желая убедиться в их прочности и добротности.

Он любил подолгу беседовать с колхозниками, приезжавшими в Нальчик на базар. Одним говорил: «Молодцы, хорошо работаете», других укорял за нерадивость.

Бекмурза мог часами толковать о кабардинских народных тра-

дициях, о качестве, которые должны быть присущи молодым и старикам.

— Невелик наш народ,— говорил Бекмурза обычно,— но и он внес в общее дело свою долю. Нарт Сосруко сказал: «Только сила человека на земле достойна славы!» Человек и его дело — вот главное в жизни, вот чему все должно быть подчинено.

Во всех своих беседах он особо подчеркивал трудолюбие народа, его упорство в доведении начатого до конца. В качестве примера приводил создание породы кабардинской лошади, которую народ вырастил в течение веков. Он говорил о других славных деяниях народа и наставлял молодежь:

— Берегите и совершенствуйте наследство своих отцов. Множьте его. Жизнь не терпит тех, кто останавливается. Идите вперед, дерзайте! Обратите внимание,— продолжал он,— как народ осуждал бахвальство, себялюбие, своекорыстие. Был в среде нартов джигит по имени Псэбыда. Жена Адиюх увещевала его отказаться от хвастовства, от этого позорного порока, но — тщетно. Жизнь Псэбыды закончилась бесславно: лишившись поддержки светлорукой Адиюх, он утонул в пучине горной реки. Его похоронили, воздвигли могильный курган. Но этот курган оставался черным, ни одна травинка не росла на нем. И тогда Адиюх спросила нарта Сосруко:

«Земля кругом расцвела, радуясь жизни, и только на кургане нет ни одной травинки, хотя весь мир сияет в цветах. Почему так случилось?»

Сосруко ответил:

«Тот, кто лежит под этим курганом, любил, видно, только себя, не любил жизни, цветущей вокруг него, потому-то ни одна травинка и не взошла на его кургане».

И стоит этот голый курган в степи как пугало для тех, кто не любит жизни и людей, а любит только себя.

Все больше и больше увлекаясь, Бекмурза заговорил о женщинах:

— Поистине они светлорукие. Черкеска наша, легкая, удобная, и прочная обувь из сафьяна, бешмет, папаха — все это делается руками наших женщин. Созданную нашим народом форму одежды уважают все народы Кавказа: она красива, удобна в работе и в бою.

Во время пребывания Бекмурзы в Нальчике его чаще всего можно было застать в жаркий полдень в садике Свободы. В тени высокого дерева, на скамейке, что стоит у памятника народному мудрецу Жабаги Казанокову, он предавался размышлениям, положив обе руки на свой посох и опершись на них подбородком. В часы такого уединения ум поэта работал особенно напряженно. Бекмурза раздумывал над всем, что видел, слышал, и свои наблюдения облекал в художественные образы, которые потом мы находили в его стихах и изречениях.

С большой любовью относился поэт к школьникам и студен-

там. Когда приезжал в Нальчик, он всегда навещал Ленинский учебный городок, сыгравший большую роль в подготовке национальной интеллигенции, внимательно осматривал этот замечательный учебный комбинат, беседовал со школьниками, студентами, курсантами, знакомился с их жизнью.

А к концу дня обычно приходил в редакцию газеты. Мы, сотрудники, тепло встречали любимого народного поэта.

Он садился в кресло, внимательно осматривал нас своими удивительно живыми, чуть-чуть прищуренными, немного лукавыми глазами и с легким юмором спрашивал:

— Что хорошего пишете, мои бумагомараки? — и, не дожидаясь ответа, продолжал: — А вы знаете, какое великое дело вы совершаете? Умное, правдивое слово дороже золота, сильнее пули... Если земля нуждается в даре туч — дожде, чтобы питать своим соком жизнь, то человек нуждается в умном слове, чтобы познать и жизнь и себя. Дорожите своим делом.

Бекмурза живо интересовался не только тем, что совершалось в Кабардино-Балкарии, но жизнью всего Советского Союза и жизнью за рубежом. По нашим переводам он знакомился с телеграммами из-за границы. Узнав о провокационных действиях японцев на Дальнем Востоке, он вспомнил русско-японскую войну и тут же прочел свое замечательное стихотворение о ней, написанное в 1904 году.

А о фашистской Германии Бекмурза сказал словами одного из своих изречений:

Если коршун-стервятник бьет птицу на лету,
Скоро крылья свои он сломает,
Если вор обокрал девятнадцать домов,
То в двадцатом — наверно поймают.

(Перевод А. Шпирта)

Поистине пророческие слова!

— Ну, хватит,— говорил чудесный старик и вставал с кресла,— а теперь пойдем в наш сад.

Мы на главной аллее Кабардинского парка. Бекмурза молчит. Он шагает медленно, с достоинством, чуть-чуть придерживая левой рукой конец кинжала. Сопровождающие верны кабардинскому обычаю хранить молчание в присутствии старика: если надо, он сам начнет беседу.

Тянет предвечерней прохладой с Кавказских гор. Цветники, пестреющие вдоль обеих сторон аллеи, благоухают.

Идет навстречу веселая группа ребят. Волосы их влажны: они только что выкупались в реке. Звонкий смех, задорные песни. Задумчивость и сосредоточенность Бекмурзы нарушены. Старик останавливается, смотрит вслед детям. Вдохновенно и прекрасно его загорелое, мужественное лицо в глубоких морщинах. Чуть подавшись в ту сторону, куда ушли ребятишки, он весь напрягся и замер, словно притянутый покоряющей силой счастливого дет-

ства. Лицо его озаряет теплая, удивительно человечная и мудрая улыбка. Обернувшись к нам, он говорит:

— Не думал, что доживу до таких счастливых дней. Неправ я был, когда писал:

Эх, время! Ты быстрой
Несешься арбою
То степью широкой,
То узкой тропою,
По рвам и ухабам,
Дорогой унылой,—
И так довезешь ты
Меня до могилы.
И там я останусь,
Землею заброшен,
Не видев ни ласки,
Ни жизни хорошей...

(Перевод А. Шпирта)

Какое-то особо радостное чувство охватывает нас. И мы думаем: «Родная Кабарда, как велико счастье этого человека! Не твою ли каторжную судьбу оплакивал он десятки лет, не твоих ли сынов звало его раскаленное слово: «Заряжайте же ружья, расправляйтесь с князьями», «воюйте во имя счастья народа»? И вот то, о чем он мечтал, о чем пел, во что верил, сбылось, явившись ему сейчас в образе этих счастливых малышей.

Недруги Пачева всячески мешали поэту в его работе. Они оскорбляли его, отталкивали от общественной жизни, а творчество его пытались дискредитировать.

В 1930—1932 годах в селениях налаживалась новая, колхозная жизнь. Неутомимый Бекмурза объезжал колхозы, приглядывался ко всему новому, что внес в жизнь народа социалистический строй. На одном из съездов колхозников Кабардино-Балкарии он выступил с горячей речью, в которой резко критиковал отдельных руководителей за их грубость, княжеские замашки, пренебрежительное отношение к колхозникам. Он требовал строгого соблюдения Устава артели и чуткого отношения к каждому колхознику. Это не понравилось некоторым «вельможам», и на том же съезде они объявили Пачева врагом колхозного строительства. Но Бекмурза не сдался. Он выпрямил свои старческие плечи, взялся за рукоять кинжала и сказал:

— Не запугаете. Правда сильнее вас. Торжествовать будет она, а не тот, кто ее не любит.

Несмотря на происки своих врагов, он продолжал создавать новые и новые произведения.

Бекмурза хорошо знал цену слова, цену поэзии, знал, с каким вниманием народ прислушивается к голосу поэта. Поэтому он искал встреч и общения со своими слушателями и читателями.

Шел памятный 1933 год — год, когда был ликвидирован кулацкий саботаж. Хотя весна в начале марта проявляла себя робко и нерешительно, колхозное крестьянство встречало ее во всеору-

жии, с подъемом. Весна была трудной: не хватало семян, продовольствия для колхозников, корма для скота; весна была капризной: холод сменялся туманом, туман — морозом и гололедицей.

В такой обстановке в Нальчике были собраны на съезд самые лучшие, самые верные и самые опытные колхозники. Случилось так, что на этот съезд не был приглашен Пачев, но он не оскорбился, не обиделся, а, вскинув на свои старческие плечи легкий фанерный ящичек, служивший ему и портфелем и походным письменным столом, прибыл в Нальчик. Как всегда, он был аккуратно одет и обут: круглая черная кабардинская шапка из хорошей смушки ладно сидела на голове, на ногах — сафьяновые ноговицы и остроносые кавказские калоши, на плечах — старомодное широкое длиннополое европейское пальто с потертым плисовым воротником. Его живые и беспокойные глаза смотрели из-под густых бровей весело и молодо, а седая борода и неизменный спутник — посох придавали ему солидность и благообразие.

Поэт выступил с горячей, взволнованной речью, которая была воспроизведена писателем Максимовым в журнале «На подъеме».

«Привет вам, живущие на равнине и живущие в горах, под скалами,— начал свое выступление Бекмурза.— Привет тебе, партия Ленина! Перед нами трудные задачи, но какое же новое дело обходилось без трудностей? Не будем бояться трудностей. Я за то, чтобы бороться за колхозный строй...

Аплодисменты поднялись стихийно, как морской шквал. И кто аплодировал? Столетние старики, знавшие еще рабство, хлопали, не жалея своих шершавых, сморщенных рук, натруженных более чем полустолетним трудом. Не самые ли это ценные аплодисменты?

— Много вас тут собралось в этом высоком, светлом зале,— продолжал поэт.— Многие из вас — старше меня и хорошо помнят, как жилось при князьях в тяжелой неволе... Скажите, когда это было, чтобы князья собирали нас, горцев-мужиков, на съезд и советовались с нами. Никогда этого не было и не могло быть. Этот съезд стал возможен только при советской власти...

— Эй, товарищи колхозные старики! Дальнейшее наше благополучие и успехи зависят от того, сумеем ли мы по-боевому обеспечить хороший урожай первого года второй пятилетки. Что нужно для этого? Для этого надо, чтобы слово не расходилось с делом. Поднимем же руки за то, что будем до смерти бороться за проведение тех мероприятий, о которых здесь говорилось.

И, став на возвышение, Бекмурза орлиным взглядом окинул зал: лес старых узловатых рук был ему ответом.

— Подняв руку, вы дали клятву партии, что поможете ей поднять, укрепить колхозы,— торжественно продолжал Пачев,— и я убежден, что вы сдержите свою клятву.

Стихийные, неописуемые аплодисменты покрыли его слова.

А он стоял впереди и, высоко подняв голову, торжественно простер свои старческие руки над собравшимися.

И было в этой сцене что-то легендарное, из старых героических времен Кавказа...

Успех выступления Пачева среди стариков колхозников был грандиозен. Было совершенно ясно, что своим выступлением поэт оказал определенную помощь делу партии, делу укрепления колхозов».

Бекмурза был одним из лучших знатоков неписаной, но сохранившейся в народной памяти истории кабардинского народа. Он хорошо знал изумительный нартский эпос, чеканные строки народных песен и исторические рассказы. Да и сам Пачев, его поэзия были олицетворением дум и чаяний народа. В его творчестве, как в зеркале, отразилась жизнь Кабарды почти за целое столетие. До конца своих дней народный поэт учился у жизни, был ее активным участником. В этом секрет и его творческой активности, которая никогда не покидала замечательного народного поэта.

2

Шора Ногмов и Кази Атажукин были пионерами письменной кабардинской литературы. Пачев, как уже говорилось, соединил в себе оба начала кабардинской литературы — письменную речь и устное слово. В совершенстве знавший фольклор и историю народа по преданиям, он, создав свою собственную азбуку, развивал и совершенствовал народное творчество, воздвиг мост, соединивший письменную литературу и фольклор. Это имело громадное значение для всей кабардинской литературы.

Пачев был пионером и кабардинской драматургии.

В кабардинском фольклоре есть драматическая поэма «Мать и сын», построенная на разговоре матери и сына о борьбе свободных крестьян против князей, и любовная песня «Парень и девушка», куплеты которой поочередно поют юноша и девушка. Отталкиваясь от формы этих произведений, Пачев создает свою оригинальную драматическую поэму «За кого ты выйдешь замуж?». Это произведение, тоже построенное на диалоге, было шагом вперед в развитии театрального творчества кабардинцев. В нем действуют уже не два персонажа, а десятки, причем каждый из них наделен определенным характером.

Композиция «За кого ты выйдешь замуж?» такова: ведущий по очереди задает девушкам один и тот же вопрос — согласна ли она выйти замуж за такого-то человека. Каждая из девушек дает отрицательный ответ и поясняет причину своего отказа. Это небольшое драматическое произведение было направлено против многих пороков: трусости, зазнайства, лжи, лени, воровства и т. д. Поэт объединил здесь существовавшие ранее раздельно фор-

мы любовного диалога и драматический поэзии, подняв народную драматургию на новую ступень, более высокую.

Кабардинский фольклор богат историческими и героическими песнями, эпосом, прозой нравоучительного и приключенческого характера, но он беден стихами и поэмами о простом человеке, о его правах и нуждах. В поэзии Пачева жизнь простого труженика с его обыденными радостями и горестями впервые заняла главенствующее положение. И в этом большая заслуга поэта. До Пачева классовая борьба, классовые противоречия отражались в произведениях народного творчества чаще всего в завуалированной форме. Пачев уже открыто говорит о классовой борьбе, подвергает уничтожающей критике глумление князей над народом, призывает угнетенных к борьбе с угнетателями. Таковы его дореволюционные стихи «Заряжайте ружья!», «Мулла», «Песня о Каширгове», «Старуха», «Золка» и многие другие.

Уже в ранней своей поэме «Как Бекмурза собирался жениться» Пачев показал себя поэтом, тяготеющим к глубоким социальным обобщениям, к образной характеристике героев. Свою задачу он видел не в простом воспроизведении фактов и событий, а в создании образа-обобщения, в том, чтобы осмыслить события, проникнуть глубоко в душевный мир героя.

Иначе и не могло быть. Посвятив свое творчество кровным интересам народа, борьбе за его счастливую жизнь, Пачев не мог не избрать путь правдивого отображения современной ему действительности, острой социальной критики — иными словами, реализм должен был стать и стал его творческим методом.

Чтобы воздать должное смелости поэта, полезно напомнить, что дореволюционные произведения Бекмурзы создавались в тот период, когда за мало-мальски неодобрительное слово, сказанное по адресу власть имущих, человек подвергался гонениям и преследованиям.

Некоторые товарищи склонны умалить бесспорные заслуги Пачева перед кабардинской культурой. Они сопоставляют его произведения с творчеством поэтов и писателей последующих поколений, силясь доказать превосходство книг последних. Такой путь исследования в принципе неверен. Всякое сравнение, сделанное без учета времени, исторических условий, может привести только к грубым ошибкам.

Творчество Пачева неопровержимо свидетельствует о его смелом новаторстве как в постановке социальных вопросов, так и в решении чисто литературных проблем. Достаточно вдуматься, какую роль в жизни народа и в развитии литературы сыграли уже приведенные нами примеры его отношения к вопросам классовой борьбы, какое значение имели его произведения в развитии народной драматургии и поэзии (реалистическое изображение жизни, разнообразие жанров — политические, лирические, сатирические стихи), а также его работа по расширению форм и усовершенствованию техники стиха (многообразие стихотворных размеров, бо-

гатство ритма и рифм) и, наконец, по созданию алфавита, чтобы согласиться с теми, кто называет Пачева основоположником кабардинской поэзии.

Однако из сказанного не следует делать заключение, что в творчестве Пачева были решены все вопросы, связанные с созданием письменной литературы. Да это и не под силу одному человеку, тем более человеку, который, несмотря на большой талант, прокладывал дорогу поэзии эмпирически, интуитивно.

Зная лишь устное творчество своего народа, Бекмурза не мог использовать богатейший литературный опыт передовых народов, в частности опыт великой русской литературы. Вот почему при всей широте и многогранности творческого диапазона Пачева этот диапазон все же был в какой-то мере ограниченным.

Для правильного решения вопроса о значении того или иного писателя нужно не противопоставлять одно поколение другому, одних писателей другим, а устанавливать литературную преемственность и художественные особенности творчества данного писателя.

К счастью, дело, начатое Пачевым, не заглохло. Оно нашло свое дальнейшее развитие в творчестве его достойных преемников. Пачев вручил эстафету многим талантливым поэтам, обогатившим своими произведениями родную поэзию, ту поэзию, которой так верно и мужественно служил всю жизнь он сам.

Основной мотив дореволюционных произведений Пачева — протест против существующего строя, уничтожающая критика князей и царизма. Широта взглядов на жизнь, думы, проникнутые сердечной болью о родном обездоленном народе,— все это рождает у поэта гневные произведения, призывающие к уничтожению зла и несправедливости. Одно из них озаглавлено «Заряжайте ружья!».

Доброй волею правитель
Не расстанется с властью.
Только сабли и ружья
Путь проложат нам к счастью.
Пусть грозят властелины
Нам, стремящимся к воле,—
Без борьбы не исчезнуть
Нашей тягостной доле.
. . . .
Так вставайте же, братья,
Собирайтеся вместе
Для свободы и счастья,
Для победы и мести!
. . . .
Мы довольно терпели,
Исходили слезами.
Заряжайте же ружья,
Расправляйтесь с князьями!

(Перевод А. Шпирта)

Призывая народ к борьбе за справедливую и счастливую

жизнь, Бекмурза во многих произведениях обращался к именам любимых народных героев — нартам Сосруко, Бадыноко, «мужу из мужей» Андемиркану. На образах этих легендарных героев он воспитывал в народе патриотизм и волю к борьбе. В стихотворении «О нашем крае» поэт говорит о Кабарде, которая «пролегает меж морями, словно мост меж севером и югом», которая была столбовой дорогой для завоевателей и торговцев, о том, что этот чудесный край угнетается князьями. Поэт верит, что явятся новые нарты, подобные Сосруко и Бадыноко, новые Андемирканы, которые освободят Кабарду.

Велика была его вера в победу народного справедливого дела. Поэт воспевает мужество и доблесть крестьянского вожака Озова Мурата, в груди которого «кипела злоба на всех богатых князей безлобых». «Он бился смело,— пишет Пачев,— не жаждал славы — крестьян хотел он от зла избавить».

Борьба Бекмурзы Пачева против феодалов и царских чиновников была героической и самоотверженной. Он умел зло издеваться над ними.

Вот один из характерных эпизодов.

Приезд начальника Терской области в слободу Нальчик был обставлен весьма пышно. Князья и дворяне Большой и Малой Кабарды встретили «его сиятельство» за десятки верст от своих земель, у станицы Прохладной. Желая ошеломить высокопоставленного гостя богатством и роскошью, кабардинская знать блистала дорогим убранством. Шашки, кинжалы, пояса, газыри, рукоятки пистолетов, даже наконечники ноговичных ремешков — все сияло золотом или серебром. Серебряной была и конская сбруя — нагрудники, пластинки на подпругах, оправа седел.

Путь от станицы Прохладной до Нальчика довольно продолжителен и не очень живописен. Чтобы сиятельный гость не скучал, хозяева всю дорогу развлекали его джигитовками, конными состязаниями, охотой на диких кабанов. Для привалов выбирали опушки угрюмых лесов или крутые берега бурливых горных речек. Здесь пылали костры, жарились целые бараньи туши, вволю лилось вино. Гость был очень доволен, охотно пил и ел, хвалил все княжеские затеи и сам шутливо называл себя кабардинским князем. А впереди его ждал новый сюрприз.

Неподалеку от Нальчика, в красивой усадьбе, где был намечен очередной привал, начальника Терской области должен был встретить приветственным хохом народный певец. Коронный номер всего парадного шествия, всех дорожных торжеств и развлечений!

И случилось так, что в роли певца на этом празднестве знати оказался... Бекмурза Пачев.

Да, он согласился произнести поэтическое слово перед лицом правителя области. Он решил выразить думы народа.

Сосредоточенный, полный чувства собственного достоинства, в скромной, но опрятной черкеске, стоял он на почетном месте,

зорко наблюдая, как приближаются расфранченные всадники и богатые тачанки. Столпившиеся крестьяне пытливо глядели на своего Бекмурзу: что-то он скажет? Какую песню споет князьям и начальникам?

Все громче цокот многочисленных конских копыт и стук колес. В облаке пыли заблестели золото и серебро. Вот уже видны самодовольные, раскрасневшиеся лица. Сытость, богатство, непомерная чванливость...

— Ну, Бекмурза, покажи, на что ты способен! — сказал устроитель встречи.

Всадники спешились. Утихли звон и шум. И прямо в глаза — сверкание дорогого убранства.

— Начинай, начинай, Бекмурза!

А он медлит, словно желая разобраться во всей этой ошеломляющей пестроте. Наконец спокойно произносит (не таким голосом начинают хохи!):

— Чрезмерная яркость слепит, господин наместник... Народная сила уходит на позолоту княжеского убранства. А истощенные люди уходят в сырую землю...

— Что он сказал? — спрашивает начальник Терской области и, глядя на лица князей, померкшие и смущенные, понимает, что произошло неприятное недоразумение.

— Ты хох начинай! Хох! — шепчут со всех сторон Бекмурзе.

И Бекмурза выпрямляется, приосанивается, в глазах его сверкнул огонь. Он посмотрел в глаза важному гостю и начал:

Зачем наш век печальный
Ты омрачаешь вдвое?
Народ многострадальный
Не хочет ветра воя!
Зачем ты, небо хмуря,
Народ бросаешь в бездну...

(«Ветер». Перевод В. Звягинцевой)

Но тут кто-то перебил его, кто-то потянул за рукав:

— Довольно! Ты пьян, бессовестный!

Хох не удался. Князья поспешили оставить этот привал.

Потом началась травля народного поэта. Князья и их приспешники обвинили его в том, что он оскорбил высокопоставленного гостя, обесчестил Кабарду. Начальство же, усмотрев в стихах поэта политическую неблагонадежность, тщательно следило за каждым его шагом и действием. А когда поэт приходил по каким-нибудь делам, ему отказывали в приеме. Но Бекмурза не струсил, не отступился, не изменил ни себе, ни народу.

— Нет, вы мне не запретите говорить правду о народном горе,— твердил бесстрашный поэт в ответ на оскорбления и угрозы.

И действительно, он не только не сдавался, но еще упорнее и настойчивее боролся — и как поэт, и как гражданин — против феодалов и царских чиновников.

Народная молва сохранила много эпизодов из жизни беспокойного поэта. Интересно отметить, что народ связывает с именем Пачева известную среди народов Северного Кавказа притчу о столкновении простого крестьянина с правителем Терской области.

Поэт, рассказывают в народе, предпринял однажды поездку во Владикавказ к начальнику Терской области. В качестве «подарка» он прихватил кошелку неспелой дикой мушмулы.

Зная, что господа не особенно жалуют крестьян, Бекмурза назвал себя представителем всей Кабарды и стал добиваться приема. Он проявил исключительную настойчивость и был принят вельможей.

Начальник области, увидев Бекмурзу, оскорбился, что у него на приеме «простолюдин». И свое возмущение он высказал помощнику.

— Неужели в Кабарде нет более достойного представителя, чем этот пастух? — сказал он и брезгливо посмотрел в сторону поэта.

Последний ответил спокойно:

— Почему — нет? Есть. Но наиболее достойные направлены к достойным, а меня послали к вам.

Это была довольно горькая пилюля, которую пришлось проглотить «его сиятельству».

А Бекмурза, сделав вид, что ничего особенного не произошло, заговорил о горестях и нуждах народа. Он говорил о безземелье и малоземелье крестьян, о том, что князья захватывают общинные земли, о полном бесправии тружеников, о произволе князей и чиновников.

— Князь коня утащит, а судят невинных. Сам же вор и судит,— рассказывал с горечью поэт.

Бекмурза вскоре понял, что все, о чем он говорит, не доходит до сердца правителя области, что у «большого начальника» нет никакого желания умерить деспотизм кабардинских феодалов. Тогда он пустил в ход свое лукавство и предложил начальнику области попробовать «чудесной мушмулы», которая «благотворно влияет на здоровье и долголетие человека».

От этой «пробы» глаза начальника полезли на лоб, лицо искривилось. С отвращением он произнес:

— Горечь, одна горечь в ней!

— Вот именно, одна горечь. Вся наша жизнь состоит из горечи. Вы говорите, что она язык вяжет? Верно. Но по сравнению с тем, как князья нам связали языки, это ничто.

Начальник области прервал Пачева, приказал немедленно выпроводить его из кабинета и больше не пускать к нему смутьянов и бунтовщиков.

Смелый поступок поэта облетел всю Кабарду, его авторитет, любовь к нему народа еще больше возросли.

Вскоре в одном из кабардинских селений произошла кровавая трагедия. Князь убил ни в чем не повинного полуслепого старика.

Пачев немедленно отправился туда, выяснил все подробности и создал героическую «Песнь о Каширгове». В ней рассказывается о слепом старике, шедшем по полю к сыну с хлебом и кувшином молока. Дорога была перепахана князем, слепой споткнулся, молоко разлилось. И старик с гневом сказал:

Тропу из-под ног ты крадешь у людей:
Земли тебе мало, злодей?
. . . .
Взревел, обозлясь, обиженный князь,
Ружье схватила рука.
— По этой тропе не идти уж тебе! —
И выстрелил он в старика.
И тихо поник головою старик,
И кровью покрылась земля...

(Перевод А. Шпирта)

Мужественный сын старика, Алихан, убил князя, и Пачев в своей песне прославляет молодого героя как храбреца, вступившегося не только за своего отца, но и за весь обездоленный, угнетенный народ.

Борьба на этом не закончилась. Князья долго охотились за Алиханом, плели сети, чтобы поймать его, но бдительный и мужественный Алихан долго не попадался им безоружным. В конце концов княжеская свора все же выследила его. Трусливые прислужники князя окружили безоружного Алихана и учинили над ним дикую расправу.

И снова Пачев направился в злосчастное селение. Он прожил там довольно долго, работая над текстом и музыкой нового произведения: «Песнь об Алихане Каширгове» (1912). Это уже была не песня, а драматическая поэма, герои которой — Алихан, отец Алихана, сказитель, мать и жена Алихана.

В этом произведении, направленном против кабардинских феодалов, содержится глубокое обобщение:

Джигиты и старцы! Глядите, дивитесь!
Крестьянин вступил в поединок, как витязь.
Он князя ударил, страдая от ран,
И срок его дней сократил Алихан!
Для старца пример он, пример для джигита,
Он — знамя отваги, он — правды защита.
Столетия робость внушала нам знать,
На князя боялись мы руку поднять,—
Он разом покончил с величием княжьим.
О подвиге этом потомкам расскажем.
Покорности рабской извечный закон
Поборником истины был сокрушен.

(Перевод С. Липкина)

В следующем году Пачев создает стихотворение о Зольском восстании кабардинских крестьян. Он прославляет народ, который

геройски поднялся против кабардинской знати, против «черных злодеев»:

...Воспламенились в борьбе сердца.
Рабы обнажили мечи.
Мечей не хватило — тогда топоры,
Вилы пустили в ход.
Все пригодилось... Против князей
Бедный восстал народ.

(«Золка». Перевод А. Адалис)

Несмотря на невзгоды, трудности и поражения, Пачев оставался оптимистом — он не сомневался в том, что народное дело в конце концов победит.

«Слагаю я песни, в которых восхваляю мужество и добродетель тех, кто их имеет; клеймлю насмешкой трусов и порочных людей и утешаю в горе несчастных. Никто ни за какие богатства в мире не заставит меня восхвалять порочного человека и насмешкой клеймить добродетельного». Таков был девиз и непреклонный закон народных поэтов Кабарды, о которых в одной из своих статей Максим Горький отозвался высоко, призывая профессиональных писателей понять подобно им великую силу святого дара поэзии.

Тот, кто нарушал этот девиз, лишался высокого и почетного звания народного поэта.

Особое место Пачеву принадлежит не только в развитии кабардинской литературы, но и в делах, касавшихся народных судеб.

Турция, заинтересованная в пополнении своей армии черкесами, как хорошими воинами, в девяностые годы развернула широкую агитацию среди адыгских племен за их переселение в страну единоверцев.

По делам тех, кто переехал в Оттоманскую империю в девятнадцатом веке, Пачев знал, что ожидает новых переселенцев в Турцию. И он бросил клич:

— Предотвратить, во что бы то ни стало предотвратить новую трагедию массового переселения и массовой гибели адыгов.

Те, кто агитировал за иммиграцию, обещали переселенцам богатство, высокое положение.

— А те, что переехали раньше в страну единоверцев, разбогатели? Живут ли они счастливо? — спрашивали крестьяне.

Ответы агитаторов бывали не просто утвердительными, но характеризовали жизнь иммигрантов как роскошную, обеспеченную и счастливую. «А после смерти будете в раю с гуриями!» — добавляли эти доверенные представители единоверной страны.

Да, эти разносторонние и хорошо подготовленные агитаторы могли увлечь огромные массы фанатично настроенных мусульман-адыгов. Чтобы противостоять их намерениям, нужны были достоверные факты, опровергающие лживость рассказов о райской жизни людей на чужбине.

Задачу эту взял на себя Бекмурза Пачев, делегированный сходом односельчан в Оттоманскую империю. Он объездил многие синджаки и вилайеты, где жили адыги-иммигранты. Познакомился с их жизнью; поговорил с молодыми и старыми людьми. Вернувшись на родину, он заявил откровенно:

— Живите в своем богатом и счастливом междуречье. Не ищите счастья за рубежами своей родины!

Он сказал не только это, но и прочел свое стихотворение «Стамбул», в котором поведал о том, как широко господствует в Турции страшная коррупция, рассказал о продажности должностных лиц, о бедной, бесправной жизни не только переселенцев, но и людей труда самой Оттоманской империи. «Когда начинается война, начальство радуется — будут взятки»; «Идешь в учрежденье — бери свой кошель, не возьмешь — угодишь в тюрьму»; «Если ослик может пробраться в горах — там можно селить крестьян». Строки эти из стихотворения «Стамбул», еще не переведенного на русский язык, были написаны поэтом в начале девяностых годов. Несколькими годами позже на эту же тему писал образованный черкес Д. Хатакоков, живший в Турции и близко стоявший к ее правительственным кругам: «Я буду говорить и повторять: остерегайтесь, дорогие братья черкесы, переезжать в Турцию: за редким исключением, там ждет вас холодная могила... Воровство, взяточничество, грабеж, убийства процветают, как встарь». Удивительное совпадение мнений!

Живые свидетели всей одиссеи Пачева, старые крестьяне Шабих Афашагов и Хажумар Кулахшинов, о воспоминаниях которых поведал читателям литературовед Инал Пшибиев, с благодарностью и великим почтением к народному поэту рассказали о том, как путешествие Бекмурзы Пачева в Турцию предотвратило иммиграцию многих тысяч кабардинцев. Говоря иными словами, он спас жизнь тысячам людей.

Сам поэт в стихотворении «Память» писал о том, как он изучал житье-бытье адыгских поселений в Турции, и с радостью восклицал о том, что, к счастью, в этот гибельный путь не взяли детишек. Есть там и строки, свидетельствующие о том, как высоко оценил народ его «турецкое путешествие», предотвратившее новую беду.

Он верил в народ, в его способность установить справедливый социальный строй. Такова была основа его гуманизма. Эта вера, любовь к человеку нашли достойное отражение и в лирических стихах поэта.

В цикле стихов «Годы и люди» он с большой любовью пишет о старике:

Кто приголубит
Его на миг,
Того полюбит
Навек старик.
Тверди с охотой

Ему про то,
Что проживет он
Еще лет сто.
Не грех нисколько
Обман такой:
Ведь жив он только
Одной мечтой.

(Перевод А. Шпирта)

Такой же нежностью проникнут образ милой, доброй женщины, хозяйки дома, которая скрепляет семью, является олицетворением семейного счастья.

Все доброе, все счастливое и хорошее радовало, волновало поэта. Для таких случаев он находил мягкое, задушевное слово:

Новой жизни
Новоселы!
Чашей брызнем
Хох веселый.
В сердце пышет
Радость наша.
Выше, выше
С брагой чаша!

Выпьем чашу с молодыми!
День счастливый входит к ним.
Он, как дар неповторимый,
Лишь дается молодым!

(Перевод А. Шпирта)

Гуманизм Пачева не признавал всепрощающего абстрактного «человеколюбия». Он зло и едко издевался в своих сатирических произведениях над муллами и другими угнетателями народа. Еще в 1915 году он так нарисовал портрет муллы:

Полон смиренья,
Льстив он, угодлив,
От ожиренья
Неповоротлив.
Сел поудобней,
Нам обещая
В жизни загробной
Прелести рая.
Если попросим,
Рад нам помочь,—
Гривен за восемь
Рай сбыть не прочь...

(Перевод Н. Милованова)

Сколько злой иронии и сарказма посылает Бекмурза в адрес изнеженных, холодных, не приспособленных к труду женщин из аристократических семей! К ним «прикоснуться опасно,— говорит он в стихотворении «Княгиня»,— вдруг останется ямка? Кошкой бродит по дому, вся-то крашена-мазана».

Обвевай веерами
Эти пышные груди,
Только, чур, осторожнее:
Крик пойдет о простуде.

(Перевод А. Адалис)

Нещадно бичевал поэт лицемера в стихотворении «Лицемер», хвастуна — в одноименном произведении, пустомелю — в «Болтуне». Пачев всей силой своей поэтической правды обрушивался на несправедливых, фальшивых людей:

Он во все дела влезает, всюду нос совать привык.
Оболгать любого может, сам в свою поверит ложь,
Ради красного словечка друга он продаст за грош.

(«Болтун». Перевод Т. Стрешневой)

Перу Бекмурзы принадлежит значительное количество изречений и афоризмов.

Не держись законов старых,
Если новый есть закон.

Мудреца по молчанью
Узнаешь ты порой;
Дурака многословье
Выдает с головой.

Если кто совета дать не может,
Пусть умеет выслушать совет.

Если похвалу услышит глупый,
Он себя за мудреца сочтет.

Кто в работе много успевает,
Значит, вместе с солнцем он встает.

Оптимистический дух, присущий поэзии Пачева, в послереволюционные годы получил широкий простор для своего развития. Поэт, не знавший счастливого детства, радостной молодости, обеспеченной жизни в зрелом возрасте, посвятивший всего себя, свое творчество борьбе за счастье народа, с особенной остротой подмечал все чудесные изменения, которые происходили в жизни его народа. И он откликнулся на них ликующими песнями.

В стихотворении «Рождение жизни» (1935) Пачев писал:

Ночь озарилась невиданным солнцем!
Смотришь — не веришь: земля обновилась!
Жизнь, о которой мечтали веками,
Только теперь на земле появилась!

(Перевод А. Шпирта)

Бекмурза хорошо знал, чьим творением является долгожданная новая жизнь. Ее создали революционный русский рабочий класс, трудовые народы Советского Союза, Ленинская партия.

И лучшие свои стихи, самые волнующие места в своей поэме «Кабарда» Пачев посвятил великой Коммунистической партии. В стихотворениях «Ленина сила морю подобна», «Песня о Ленине»,

«Мир в трауре» и в ряде других поэт выразил свою любовь и благодарность освобожденного народа основателю партии—Ленину, который был для поэта олицетворением народного гения. Одно из своих стихотворений он заканчивает так:

Буря была, но корабль шел вперед,—
Искусным кормчим был наш Ленин,
Берег счастья мы увидели,
Мы увидели землю радости.
В вечность отошел он, но, как звезда,
Он навсегда свой след оставил.
Никогда не забудем мы Ленина.

(Перевод А. Глобы)

В исторической поэме «Кабарда» Пачев повествует о тяжелом, тернистом пути, который прошел кабардинский народ, о трагедиях, пережитых им в прошлом, о новой, радостной жизни, обретенной при советской власти.

Во многих своих произведениях поэт проникновенно говорит об узах дружбы, связывавших Россию и Кабарду с давних пор. Особенно ярко и мудро сказал он об этой дружбе в поэме «Мое слово о Москве», поэме, считавшейся погибшей, но счастливо сохранившейся у академика С. Н. Джанашиа, который был лично знаком с поэтом.

Воздав должное историческому прошлому русского народа, его древней столице Москве, Бекмурза Пачев свое задушевное слово посвящает русскому революционному рабочему классу, русским революционерам, которые «жизни желали новой и дыханья времени свежего» и отважно несли в народ правдивое слово. Он говорит об этих революционерах как о людях, которые, идя на казнь, видели юность нового мира:

Государство Московское — сила!
В слабом таких не бывало бы:
Горе било их больно,
Слез не выбивало.
В каторжных шахтах каменных
Падали, но не сетовали.
В глухих одиночных камерах
Спокойно с нами беседовали.
Говорили о светлом по-разному,
И светлей было в мире с ними
До восхода ясного разума,
Имевшего «Ленин» имя!..

(Перевод А. Адалис)

В произведениях, посвященных Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войне и социалистическому строительству, народный поэт говорит о единении и сплоченности всех народов, населяющих Россию, которую поэт с любовью называет «нашей большой родиной».

В последние годы жизни Бекмурза Пачев вдохновенно воспевал социалистическое строительство в Кабардино-Балкарии. Этой

величественной теме он посвятил ряд стихов, песен, уже упомянутую поэму «Кабарда». В кабардинских селениях появились автомашины. Поэт слагает сатихотворение «Машины, привозящие счастье-добро». Он откликнулся стихотворением «Канал» на сооружение Мало-Кабардинской оросительной системы, давшей воду засушливым Урожайненскому и Терскому районам.

Стихотворения «Закон», «Труд», «Колхоз», «Баксан» и другие прославляют коллективный труд. Общеизвестна «Здравица» Пачева — пламенный гимн новой жизни.

Пусть будет наш урожай обильным
И лето солнечное — в плодах!
Пусть государством большим и сильным
Всегда мы будем врагам на страх!
Пускай вовеки не иссякает
Сундук сокровищ — родной Кавказ!
Пускай во все времена рассказ
О нашей родине не смолкает!

Пусть наши дети познают в школе
Науки сладость, плоды трудов!
Пусть прогибается наше поле
От наливающихся хлебов!
. . . .
Пускай из самой крепчайшей стали
Стоят ворота моей страны,
Чтобы республики вырастали —
Светлы, как солнце; как сталь, сильны!

(Перевод А. Шпирта)

Михаил Михайлович Пришвин, один из больших мастеров советской литературы, высоко ценивший Бекмурзу Пачева, писал в статье, посвященной ему: «Насколько этот замечательный самородок кабардинской культуры, глубокий старец был человеком и нашего времени — говорит его известная поэма о Ленине». Назвав Бекмурзу «памятником устной словесности», М. М. Пришвин далее писал: «Под богатыми кукурузными полями Кабарды в древних могильниках и курганах много хранится драгоценных памятников о жизни людей этого края. И много лет еще можно снимать урожаи кукурузы, не очень беспокоясь о том, что памятники эти будут попорчены временем. Не то с памятниками устной словесности, фольклором, исчезающим бесследно со своими сказителями».

К счастью нашему, Бекмурза преуспел и в этом: работники научно-исследовательского института в тридцатые годы записали из его уст много тысяч строк народной поэзии, большое количество сказов, преданий, легенд. Они вошли в книгу, изданную этим институтом, и в шестой том «Кабардинского фольклора», выпущенного Московским издательством «Академия».

Велики заслуги Пачева перед кабардинской литературой и культурой. Он был популярен в народе и любим им. Не мог не

пользоваться любовью и уважением народа поэт, на творческом знамени которого написано:

Кто знает цену жизни,
В сраженьях кто бывал,
Кто много лет отважно
За правду воевал,
Кто предан ей до смерти,
Кто любит свой народ,
Кто ни за что на свете
Друзей не подведет
И кто за всех на муки
Готов пойти один,—
Тот верный сын народа,
Его прекрасный сын!

(«Верные слова». Перевод А. Шпирта)

Поэзия Пачева — жизнь народа, породившего его. И эта поэзия прочно вошла в со[illegible]цу кабардинской художественной литературы.

Бекмурза пел песни народу, для которого создавал алфавит, слагал стихи и хохи, пел для тех, кому адресовал мудрейшие свои изречения, драматические сценки и диалоги. Он был талантом необычайной силы и мудрым человеком. Вместе с тем очень скромным и добрым.

Я, Бекмурза Пачев,
Что в Москве не бывал,— не в обиде,
На площади Красной парада
Я своими глазами не видел.
Но когда мои песни-потомки,
Все, что отдал я доброму люду,
По Москве погуляют немного —
И тогда уже счастлив я буду!

1947

СОДЕРЖАНИЕ

Теунов Хачим.

Т 37 Избранное. Авториз. пер. с кабардинского. Вступит. статья Нафи Джусойты. М., «Худож. лит.», 1976.

429 с.

В «Избранное» известного кабардинского писателя и литературоведа Хачима Теунова вошли лучшие образцы его произведений, созданных в различных жанрах — романа, повести, новеллы, очерка — более чем за сорок лет творчества и представляющих как бы художественную энциклопедию жизни кабардинского народа в первую половину нашего века.

Т $\frac{70303\text{-}108}{028(01)\text{-}76}$ 121-76 **С(Кав)**

Хачим Теунов

ИЗБРАННОЕ

Редактор *А. Марусич*

Художественный редактор
В. Горячев

Технический редактор
Г. Лысенкова

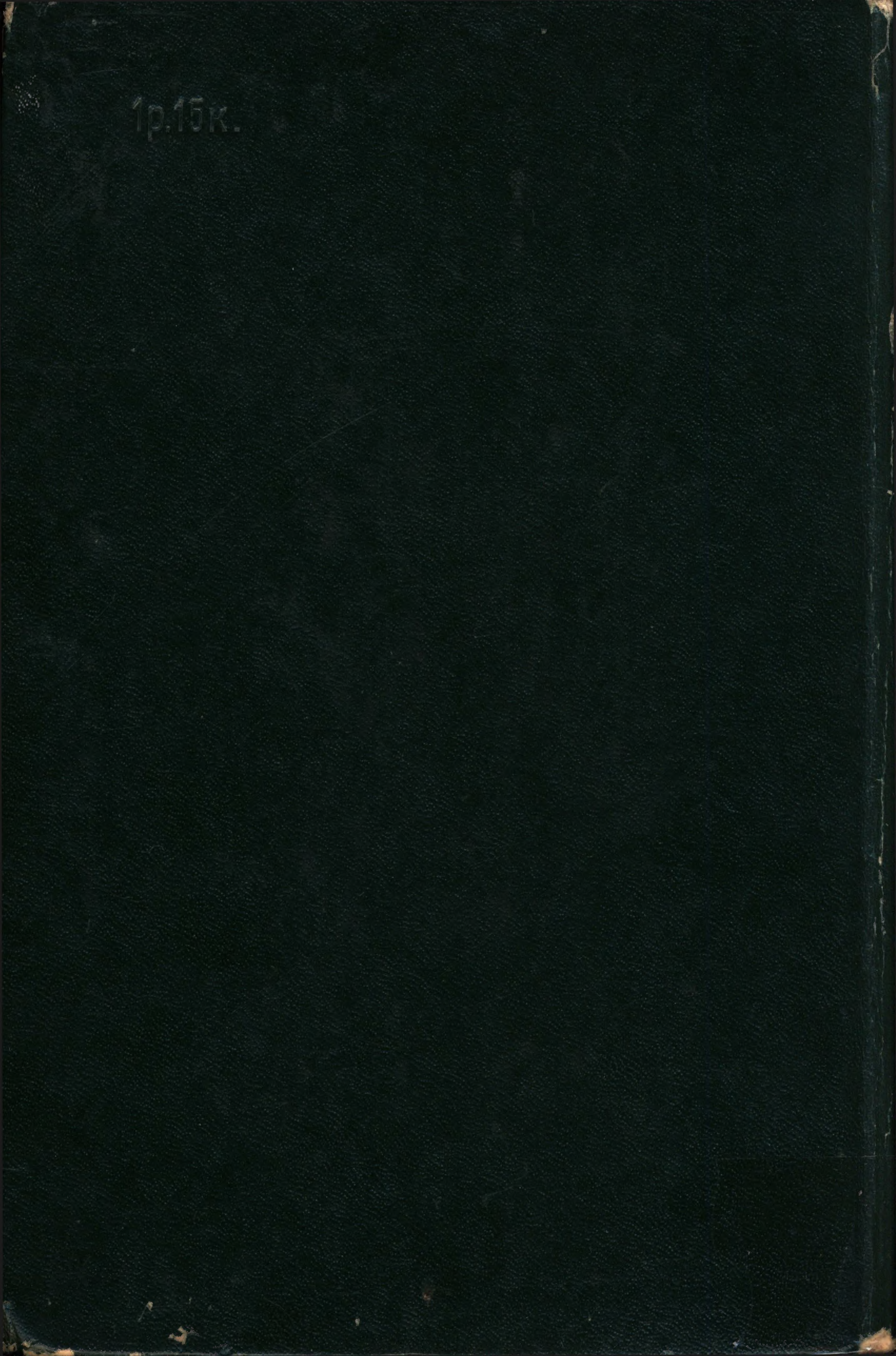
Корректор *Н. Усольцева*

Сдано в набор 1.09.75. Подписано в печать 17.05.76. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$. Бумага № 3. 27,0 печ. л. 27,0 усл. печ. л. 29,511+1 вкл=29,561 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 189 Цена 1 р. 15 к.

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в полиграфическом комбинате им. Я. Коласа Государственного Совета Министров Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29


1р.15к.

ХАЧИМ
ТЕУНОВ